

Д Ж О Н А Т А Н Ф Р А Н З Е Н

Б Е З
Г Р Е
Ш Н О
С Т Ь

CoRpus

Р О М А Н

Annotation

Двадцатитрехлетняя Пип ненавидит свое полное имя, не знает, кто ее отец, не может расплатиться с учебным долгом, не умеет строить отношения с мужчинами. Она выросла с эксцентричной матерью, которая боготворит единственную дочь и наотрез отказывается говорить с ней о своем прошлом. Пип не догадывается, сколько судеб она связывает между собой и какой сильной ее делает способность отличать хорошее от плохого.

Следуя за героиней в ее отважном поиске самой себя, Джонатан Франзен затрагивает важнейшие проблемы, стоящие перед современным обществом: это и тоталитарная сущность интернета, и оружие массового поражения, и наследие социализма в Восточной Европе. Однако, несмотря на неизменную монументальность и верность классической традиции, “Безгрешность”, по признанию критиков, стала самым личным и тонким романом Франзена.

- [Джонатан Франзен](#)
 -
 -
 - [В Окленде](#)
 - [Понедельник](#)
 - [Вторник](#)
 - [Среда](#)
 - [Четверг](#)
 - [Республика дурного вкуса](#)
 - [Лишняя информация](#)
 - [Ферма](#)
 - [\[le1o9n8a0rd\]](#)
 - [Убийца](#)
 - [Стук дождя](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)

- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)

- [84](#)
 - [85](#)
 - [86](#)
 - [87](#)
 - [88](#)
 - [89](#)
 - [90](#)
 - [91](#)
 - [92](#)
 - [93](#)
 - [94](#)
 - [95](#)
 - [96](#)
 - [97](#)
 - [98](#)
 - [99](#)
 - [100](#)
 - [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
 - [107](#)
-

Джонатан Франзен

Безгрешность

© Jonathan Franzen, 2015

© Л. Мотылев, перевод на русский язык, главы “Ферма «Лунное сияние»”, “le1o9n8a0rd”, “Убийца”, “Стук дождя”, 2016

© Л. Сумм, перевод на русский язык, главы “В Окленде”, “Республика дурного вкуса”, “Лишняя информация” (под ред. Л. Мотылева), 2016

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2016

© ООО “Издательство АСТ”, 2016

Издательство CORPUS ®

* * *

*Посвящается
Элизабет Робинсон*

*...Die stets das Böse
will und stets das Gute
schafft^[1].*

В Окленде

Понедельник

– Котенок, я так рада тебя слышать! – сказала ей мать по телефону. – Ты знаешь, тело опять меня подводит. Порой мне кажется, вся моя жизнь – одна долгая, многоэтапная измена тела.

– Разве не всякая жизнь так устроена? – откликнулась Пип. Она завела привычку звонить матери посреди обеденного перерыва. Это помогало хоть ненадолго избавиться от чувства, что она не годна к этой работе, что к работе в “Возобновляемых решениях” ни один человек не годен – или, наоборот, что все дело в ней самой, что ей ни одна работа не подойдет; проговорив минут двадцать, она могла, не кривя душой, сказать матери, что ей пора возвращаться к делам.

– Левое веко вниз тянет, – объяснила мать. – Как будто к нему грузик подвешен, грузило на тоненькой леске.

– Прямо сейчас?

– То потянет, то отпустит. Начинаю бояться: может быть, это паралич Белла?

– Не знаю, что такое паралич Белла, но это точно не он.

– Как ты можешь быть уверена, котенок, если даже не знаешь, что это такое?

– Ну... ведь у тебя уже “была” болезнь Грейвса? Потом гипертиреоз? И меланома?

Не то чтобы Пип нравилось высмеивать маму с ее болячками, но любой их разговор был чреват “моральным риском” – этот весьма полезный термин девушка усвоила, когда изучала в колледже экономику. В материнской экономике она была чем-то вроде очень крупного банка, чье банкротство совершенно недопустимо, или ценнейшим сотрудником, которого невозможно уволить за нахальство, потому что без него не обойтись. Кое у кого из оклендских подруг тоже были непростые родители, но все же каждой из них удавалось поддерживать с родителями ежедневное общение без неподобающих странностей, потому что даже в самом трудном случае дочь не была для старшего поколения, как Пип для ее матери, единственным светом в окошке.

– Мне кажется, я не смогу сегодня пойти на работу, – сказала мать. – Мне только медитация дает для нее силы, а никакой медитации толком не получится, когда веко тянет вниз *невидимое грузило*.

– Мама, ты не можешь снова сказать больно. Еще даже июль не

наступил. А если потом и правда заболеешь каким-нибудь гриппом?

– И пусть все удивляются: что это за старуха пакует их закупки, а у самой пол-лица до плеча свисает? Как же я завидую твоему личному отсеку в офисе, ты себе не представляешь. Твоей невидимости.

– Вот уж отсек идеализировать не стоит, – заметила Пип.

– Самое ужасное в телах именно это – их видимость. Они очень *видимы*, очень.

Нет, мать Пип не была сумасшедшей, хоть и страдала хронической депрессией. На должности кассирши супермаркета в Фелтоне, торговавшего натуральными продуктами, она держалась уже десять лет с лишним, и Пип прекрасно могла уследить, о чем мать говорит и почему, если отказывалась на время от собственного образа мыслей и подчинялась материнскому. На серых стенках офисного отсека Пип имелось единственное украшение – наклейка на бампер: ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ ВОЙНА ИДЕТ ХОРОШО. Другие сотрудники оклеили свои отсеки фотографиями и вырезками из журналов, но Пип, подобно ее матери, чувствовала притягательную силу невидимости. К тому же стоит ли вить гнездышко, если тебя не сегодня завтра уволят?

– Ты уже думала, как мы *не будем* праздновать *твой день*? – напомнила она матери.

– Честно говоря, я бы весь этот день провела в постели, укрывшись с головой. Я и без него прекрасно помню, что старею и старею. Мое веко очень хорошо мне об этом напоминает.

– Давай я сделаю торт, приеду, и съедим его вместе. Ты что-то сегодня совсем мрачная.

– Увижу тебя – не буду мрачной.

– Гм... Жаль, что меня не продают в таблетках. Торт со стевией^[2] подойдет?

– Не знаю. Химия моей слюны на стевию реагирует как-то странно. Вкусовые бугорки, по моему опыту, не так легко обмануть.

– Сахар тоже дает послевкусие, – заметила Пип, хоть и понимала, что шансов выиграть спор у нее нет.

– Сахар дает *кислое* послевкусие, с которым у вкусового бугорка проблем не возникает: он так устроен, что сообщает о кислом, но не сосредоточивается на нем. Не сигнализирует пять часов подряд: странно, странно! Как было в тот единственный раз, когда я выпила что-то со стевией.

– Кислый привкус все-таки тоже не сразу исчезает.

– Это никуда не годится, если бугорки все еще чувствуют странность

через пять часов после того, как выпьешь подслащенный напиток. Ты слышала, что стоит один-единственный раз покурить метамфетамин, и вся химия мозга изменится до конца твоих дней? Вот о чем мне напомнил вкус стевии.

– Я тут не балуюсь метом, если ты на это намекаешь.

– Я намекаю, что никакого торта мне не нужно.

– Ладно, придумаю другой торт. Прости, что предложила тебе *отраву*.

– Я не говорила, что это отравка. Просто стевия как-то странно действует...

– ...на химию твоей слюны, поняла.

– Котенок, я буду есть любой торт, какой ты привезешь, от ложки рафинированного сахара я не умру. Я не хотела тебя огорчить. Ну пожалуйста, хорошая моя!

Звонок нельзя было считать завершенным, пока они друг друга не изведут. С точки зрения Пип, проблема – то, что сковывало ее, глубинная причина, по которой она ни в чем не могла достичь результата, – заключалась вот в чем: она любила маму. Жалела ее, страдала с ней на пару, телом отзывалась на звук ее голоса, испытывала асексуальную, но выводящую из равновесия физическую тягу к ней, тревожилась даже о химии ее слюны, хотела видеть ее более счастливой, терпеть не могла ее расстраивать, находила ее милой. Это был массивный кусок гранита посреди ее жизни – источник сарказма и злости, которые она направляла не только на мать, но и на менее подходящие объекты, причем в последнее время со все более скверными последствиями для себя. Когда Пип злилась, то не на мать на самом деле, а на этот гранитный блок.

Ей было восемь или девять, когда она додумалась спросить, почему в их маленьком домике под секвойями поблизости от Фелтона празднуется только ее день рождения. Мама ответила, что у нее, у мамы, дня рождения нет, что ей важен только день рождения Пип. Но Пип не отставала, пока мама не согласилась считать “своим днем” летнее солнцестояние и отмечать его тортиком. После этого естественным порядком возник и вопрос о мамином возрасте, на который она отвечать отказалась, лишь сообщив с улыбкой дзэнского наставника, произносящего коан:

– Мне достаточно лет, чтобы быть твоей мамой.

– Но сколько же тебе все-таки?

– Погляди на мои руки, – предложила ей мама. – Когда наберешься опыта, сможешь узнавать возраст женщины по рукам.

И тогда – словно впервые – Пип присмотрелась к маминым ладоням. Кожа на тыльной стороне была не такой розовой и непрозрачной, как у нее

самой. Казалось, будто кости и сосуды силятся выйти на поверхность, будто кожа – вода в мелеющем заливе, из-под которой выступили неровности дна. Хотя волосы у мамы были густые и очень длинные, в них попадались сухие на вид седые пряди, а кожа на горле напоминала кожуру перезрелого персика. В ту ночь Пип долго не могла уснуть: все думала, не умрет ли мама в скором времени. Это было предвестье гранитного блока.

За последующие годы в ней развилось пламенное желание, чтобы в жизни матери появился мужчина или хоть кто-нибудь, какой-нибудь человек, помимо нее, который бы ее любил. Как потенциальных кандидатов она рассматривала то соседку Линду, тоже мать-одиночку и тоже изучающую санскрит; то Эрни, мясника из маминого супермаркета и притом вегана, как и мама; то педиатра Ванессу Тонг, которая обрушила на маму свою влюбленность в форме настойчивых приглашений понаблюдать вместе за жизнью птиц; то Сонни, здешнего мастера на все руки с окладистой бородой, которому любой ремонт давал повод для разговора о жизни и обычаях индейцев пуэбло в старые времена. Все эти сердечные обитатели долины Сан-Лоренсо приметили в матери Пип то, что и сама Пип подростком в ней увидела и чем стала гордиться: некое невыразимое величие. Необязательно братья за перо, чтобы стать поэтом, и не всякий художник что-то рисует. Духовная, медитативная жизнь матери сама по себе была искусством – искусством невидимости. Телевизора в их домике не было никогда, компьютера, пока Пип не исполнилось двенадцать, тоже не было; новости мама черпала главным образом из газеты “Санта-Круз сентинел”, которую читала ради ежедневного мини-удовольствия испытать тихий ужас перед тем, что творится в мире. Само по себе такое не было диковинкой в их долине; людей смущала, однако, исходившая от матери застенчивая уверенность в собственном величии – по крайней мере, держалась она так, словно в том прошлом до рождения Пип, о котором она наотрез отказывалась говорить, была кем-то значительным. И то, что соседка Линда могла поставить своего сына Дэмиана, ловца лягушек с вечно раззявленным ртом, на одну доску с ее неповторимой и безупречной Пип, мать даже не обижало – это повергало ее в уныние. Что до мясника, она воображала, что навсегда травмирует его, если скажет, что даже после душа он пахнет мясом; она страдала, придумывая предлоги для отказа от приглашений Ванессы Тонг, но так и не сказала ей, что боится птиц; когда же к домику на своем пикапе с высоким клиренсом подъезжал Сонни, мать посылала Пип открыть переднюю дверь, а сама уходила в лес через заднюю. Возможность быть такой невыносимо привередливой обеспечивала ей Пип: снова и снова мать давала всем понять, что Пип –

единственная, кто сполна отвечает требованиям, единственная, кого *она* любит.

Для Пип все это, конечно, сделалось источником мучительного смущения, когда она достигла юности. При этом, злясь на мать и говоря ей неприятные вещи, она упускала из виду ущерб, который материнская склонность витать в облаках наносила ее, Пип, жизненным перспективам. Никто не подсказал вовремя Пип, что закончить колледж с долгом в сто тридцать тысяч долларов по учебному кредиту – не лучшее начало жизненного пути для человека, желающего нести в мир что-то хорошее. Никто не предупредил, что на собеседовании с Игорем, главой клиентского отдела “Возобновляемых решений”, следует обратить внимание не на “тридцать – сорок тысяч комиссионных” в первый же год работы, а на размер базовой зарплаты: двадцать одна тысяча долларов. Никто не предостерег, что Игорь с его умением убеждать клиентов может ловко подсунуть неопытной выпускнице дерьмовую должность.

– Насчет выходных, – жестким тоном произнесла Пип. – Предупреждаю: я намерена говорить с тобой о том, о чем ты говорить не хочешь.

Мать испустила легкий смешок, по идее обаятельно-беззащитный.

– Есть только одно, о чем я не люблю с тобой говорить.

– Вот об этом-то я и хочу поговорить. Так что готовься.

На это мать ничего не ответила. Там, в Фелтоне, утренний туман уже, наверно, рассеялся, туман, с которым мать каждый день прощалась с сожалением, поскольку предпочитала не принадлежать к яркому дневному миру. Медитация лучше всего шла под защитой серого утра. Сейчас там, наверно, солнечный свет, зеленовато-золотой благодаря фильтру из иголок секвой; сейчас летняя жара сочится сквозь сетчатые окна на веранду, где стоит кровать, которую Пип в свое время присвоила в подростковой жажде уединения, отправив мать в комнату на раскладушку. После ее отъезда в колледж мать вернулась на веранду, и там-то она, скорее всего, и лежит сейчас, предаваясь медитации. А если так, то не заговорит, пока к ней не обратишься: полностью сосредоточилась на дыхании.

– Ничего личного, не бойся, – сказала Пип. – И я никуда от тебя не денусь. Но мне нужны деньги, у тебя их нет, у меня тоже, и я знаю только один способ их получить. Только один человек на свете мне что-то *теоретически* может быть должен. Вот об этом и пойдет разговор.

– Котенок, – печально отозвалась мать, – ты же знаешь, что это бесполезно. Мне очень жаль, что ты нуждаешься, но вопрос не в том, хочу я или не хочу, а в том, могу я или нет. Не могу, так что придется поискать

какой-нибудь другой выход.

Пип нахмурилась. Довольно часто она чувствовала потребность растянуть ту смирительную рубашку, в которую обстоятельства загнали ее два года назад, проверить, не окажутся ли на этот раз податливее рукава. Но рубашка неизменно оказывалась столь же тугой, как прежде. Все те же сто тридцать тысяч долга, все та же роль единственной отрады бедной матери. Поразительно, как мгновенно и радикально она лишилась свободы, едва истекли четыре вольных студенческих года. Эта мысль, вероятно, вогнала бы ее в депрессию, если бы она могла позволить себе раскиснуть.

– Ну, мне уже некогда, давай прощаться, – сказала она в трубку. – И ты одевайся на работу. Глаз, скорее всего, дергается потому, что не высыпаясь. Со мной тоже такое случается, когда недосплю.

– Правда? – с энтузиазмом откликнулась мать. – С тобой такое бывает?

Пип понимала, что сейчас разговор затянется и, возможно, перейдет в обсуждение наследственных заболеваний, причем от нее потребуется масса лукавства; но она сочла, что матери полезнее подумать о своей бессоннице, чем о параличе Белла, – хотя бы потому, что от бессонницы, в чем Пип безуспешно пыталась убедить мать уже не один год, имеются эффективные средства. В итоге, когда Игорь в 13:22 заглянул в отсек Пип, она еще висела на телефоне.

– Извини, мама, я уже не могу, пока! – И она повесила трубку.

Игорь стоял, уставив на нее свой Взгляд. Игорь был русский – светловолосый, шелковобородый, бессовестно красивый. Пип была убеждена, что он до сих пор не уволил ее лишь потому, что с удовольствием подумывает, не трахнуть ли ее, но вместе с тем она не сомневалась, что, если бы до этого дошло, ее полнейшее унижение не заставило бы себя долго ждать: ведь у него и внешность, и отличная зарплата, а у нее – у нее ничего, кроме проблем. И еще она была убеждена, что Игорь тоже все это понимает.

– *Прошу извинить*, – с нажимом сказала она ему. – Прошу извинить за эти семь минут. У мамы проблемы со здоровьем. – Она подумала и добавила: – Впрочем, нет. Отменяется. *Не* прошу извинить. Много ли клиентов я бы успела обработать за семь минут?

– У меня что, укоризненный вид? – поинтересовался Игорь, хлопая ресницами.

– Тогда зачем ты пришел? И почему так смотришь?

– Я подумал, не хочешь ли ты сыграть в вопросы и ответы.

– Пожалуй, нет.

– Ты будешь угадывать, чего я от тебя хочу, а я буду отвечать

безобидными “да” или “нет”. Прошу занести в протокол: только “да” или “нет”. Лимит – двадцать вопросов.

– Хочешь пойти под суд за сексуальное домогательство?

Игорь рассмеялся, довольный собой донельзя:

– Нет! Осталось девятнадцать вопросов.

– Я, между прочим, не шучу. У меня подруга учится на юриста, она говорит – достаточно создать атмосферу.

– Я жду вопроса.

– Как тебе объяснить, насколько мне это все не смешно?

– Спрашивай так, чтобы я мог ответить “да” или “нет”.

– О господи. Да катись ты!

– Или поговорим об итогах твоей работы за май?

– Иди, иди! Я сию секунду сажусь на телефон.

Игорь вышел, а она вызвала на экран компьютера список телефонов, с отвращением поглядела на них и снова уменьшила табличку. За двадцать два месяца работы в “Возобновляемых решениях” ей всего четыре раза удалось оказаться по итогам месяца не последней, а предпоследней на доске, где отмечалась достигнутая сотрудниками “широта охвата”. И вряд ли можно было считать случайным совпадением, что примерно с такой же частотой – четыре из двадцати двух раз – Пип, поглядев в зеркало, видела там симпатичную особу, а не ту, которая, может, и сошла бы за симпатичную, будь она не Пип, а другая девушка. В какой-то мере, конечно, недовольство своим телом она унаследовала от матери, но о том, что эти проблемы не ее выдумка, ясно свидетельствовал ее опыт с парнями. Многим она очень даже нравилась, но мало кто в итоге не задумался, что же с ней неладно. Игорь вот уже два года ломает голову над этой загадкой. Вечно присматривается к ней так, как она сама присматривается к своему отражению: “Вроде бы вчера она казалась вполне ничего, и все же...”

В колледже Пип, чей ум, как наэлектризованный воздушный шарик, притягивал проплывавшие мимо разрозненные идеи, каким-то образом подхватила мысль, что верх цивилизации – возможность провести воскресное утро в кафе за чтением настоящей бумажной воскресной “Нью-Йорк таймс”. Она возвела это в еженедельный ритуал, и откуда бы эта идея ни взялась, Пип и правда в воскресенье утром чувствовала себя более цивилизованной, чем когда-либо. До какого бы часа она ни пила с друзьями в субботу, ровно в восемь утра Пип покупала “Таймс”, шла в “Кофейню Пита”, брала двойной капучино со сконом, занимала раз навсегда облюбованный столик в углу и на два-три часа блаженно забывалась.

Прошедшей зимой у “Пита” она обратила внимание на симпатичного

худощавого паренька, который соблюдал тот же воскресный ритуал. Через несколько недель она уже не столько читала новости, сколько думала, как она выглядит, читая новости, и не пора ли поднять глаза и перехватить взгляд парня, когда тот посмотрит на нее, и в конце концов стало ясно: надо либо искать новую кофейню, либо заговорить с ним. В очередной раз поймав на себе его взгляд, Пип попыталась изобразить приветливый наклон головы – вышло до того механически и искусственно, что она поразила мгновением, с какой это подействовало: парень сразу поднялся, подошел и без смущения предложил, поскольку они встречаются тут каждую неделю в одно и то же время, брать одну газету на двоих и тем самым беречь леса от вырубки.

– А если мы захотим один и тот же раздел? – поинтересовалась Пип с долей враждебности.

– Вы начали ходить сюда раньше, – ответил парень, – поэтому первый выбор будет за вами.

После чего он раскритиковал своих родителей, жителей города Колледж-Стейшн, Техас, за неэкологичную привычку покупать два номера воскресной “Таймс”, чтобы не спорить, кому какой раздел.

Пип, которая порой была как собака, способная понять в потоке человеческой речи лишь свою кличку да пять простых слов, услышала одно: парень вырос в нормальной семье с двумя родителями и без денежных проблем.

– Но это вообще-то единственное время за всю неделю, когда я могу побыть сама по себе.

– Извините, – сказал парень, отступая. – Мне просто показалось, вы что-то хотели сказать.

На интерес к ней со стороны парней ее возраста Пип не умела реагировать без враждебности. Отчасти дело было в том, что она никому в мире, кроме матери, не доверяла. В старших классах и колледже горький опыт научил ее: чем парень милее, тем хуже придется им обоим, когда он увидит, что у Пип внутри куда больший бардак, чем можно подумать, судя по ее милой внешности. Чему она пока еще не научилась – это не хотеть общения с кем-нибудь милым. Это прекрасно чувляли парни иного сорта, которых милыми вряд ли можно назвать, и умело этим пользовались. В итоге она перестала доверять всем молодым людям вообще, тем более что не очень-то умела понять, милый он или нет, пока дело не дойдет до постели.

– Может быть, выпьем кофе в какой-нибудь другой день? – предложила она парню. – Будним утром.

– Конечно, – неуверенно отозвался он.

– Потому что раз мы поговорили, значит, переглядываться уже не надо. Можем спокойно читать каждый свою газету, как ваши родители.

– Меня, между прочим, Джейсон зовут.

– А меня Пип. Ну вот, теперь мы еще и по имени друг друга знаем – тем более нет нужды переглядываться. Я могу думать: а, это Джейсон, ну и что? Вы можете думать: а, это Пип, ну и что?

Он рассмеялся. Далее в разговоре выяснилось, что он выпускник Стэнфорда, математик и – мечта для человека с его дипломом – работает в организации, которая занимается развитием математической грамотности в стране. Учебником, который пишет, он надеется произвести переворот в преподавании статистики. После двух свиданий он уже нравился Пип достаточно, чтобы она подумала: надо лечь с ним в постель. Если долго откладывать, можно ему, себе или обоим сделать больно. Джейсон увидит всю ее мешанину денежных и эмоциональных задолженностей и обратится в бегство. Или же придется ему сказать, что более глубокие ее чувства принадлежат мужчине намного старше, который мало того что не верит в деньги – ни в американскую валюту, ни в саму необходимость их иметь, – но еще и женат.

Чтобы не вовсе о себе умалчивать, она рассказала Джейсону, что в свободное время занимается волонтерством в области ядерного разоружения, но оказалось, что он знает на эту тему куда больше нее, хотя это ее “работа”, а не его, и потому она опять ощутила к нему некоторую враждебность. К счастью, он был большой говорун, любитель фантастических романов Филипа Дика, сериала “Во все тяжкие”, каланов и пум, энтузиаст применения математики к повседневной жизни и автор нового геометрического метода преподавания статистики, который он так здорово сумел разъяснить, что Пип почти поняла. На третьем свидании в ресторанчике, где Пип вынуждена была изображать отсутствие аппетита, поскольку с обналичиванием зарплатного чека у нее вышла задержка, она оказалась перед выбором: рискнуть утратой нового друга – или решиться на необременительный секс.

Выйдя из ресторана в легкий туман на тихую воскресным вечером Телеграф-авеню, она выдала Джейсону кое-какие авансы, и он не остался в долгу. Прижимаясь к нему, она чувствовала, как урчит у нее в животе; оставалось надеяться, что Джейсон не слышит.

– Пойдем к тебе? – шепнула она ему на ухо.

Увы, ответил Джейсон, к нему нельзя, приехала в гости сестра.

При слове “сестра” сердце Пип враждебно сжалось. Не имея братьев и

сестер, она не могла удерживаться от раздражения при мысли о чужих братьях и сестрах, об их требовательности и в то же время готовности помочь, об этой нормальности семейного устройства, об унаследованном капитале близости.

– Можем ко мне, – сказала она не слишком ласково. И так была погружена в недобрые мысли о сестре Джейсона, которая преградила ей путь в его спальню (и, если уж на то пошло, в его сердце, хотя на сердце она, честно говоря, не очень-то претендовала), так была озабочена обстоятельствами своей жизни, пока они с Джейсоном, держась за руки, шли по Телеграф-авеню, что лишь у двери дома вспомнила: сюда-то ведь тоже нельзя.

– Ох! – выдохнула она. – Ох! Подождешь тут минутку, пока я кое-что улажу?

– Конечно, – откликнулся Джейсон.

Она поблагодарила его поцелуем, и они еще минут десять тискались и обжимались на пороге; Пип целиком погрузилась в удовольствие, которое доставляли ласки опрятного и очень умелого парня, но потом отчетливо слышное урчание в животе вернуло ее к действительности.

– Минутку, хорошо? – повторила она.

– Ты хочешь есть?

– Нет! То есть вдруг, наверно, да, немножко. А в ресторане не хотелось.

Она вставила ключ в замок и вошла. В гостиной ее соседи – шизофреник Дрейфус и умственно отсталый инвалид Рамон – смотрели баскетбол по добытому на помойке телевизору, к которому третий сосед Стивен, тот самый, в кого Пип была, можно сказать, влюблена, выменял на улице с рук цифровой преобразователь. Тело Дрейфуса, опухшее от лекарств, которые он пока что добросовестно принимал, целиком наполняло приземистое кресло, тоже с помойки.

– Пип, Пип! – закричал Рамон. – Пип, чего ты сейчас делаешь, ты говорила, ты поможешь мне с моим запасом, поможешь мне со слухарным запасом прямо сейчас?

Пип прижала палец к губам, и Рамон обеими руками закрыл себе рот.

– Вот-вот, – негромко прокомментировал Дрейфус. – Она не хочет, чтобы кто-нибудь узнал, что она тут. А почему бы это? Не потому ли, что в кухне засели немецкие шпионы? Слово “шпионы” я использую, разумеется, в самом широком смысле слова, но оно может оказаться вполне уместным, учитывая, что в Оклендской исследовательской группе по ядерному разоружению состоит приблизительно тридцать пять человек, из

которых Пип и Стивен отнюдь не самые немаловажные, и тем не менее германцы со всей своей типично германской педантичностью и пронырливостью одарили своим вниманием именно наш дом. Любопытный факт, стоит призадуматься.

– Дрейфус! – прошипела Пип, приближаясь к нему вплотную, чтобы не повышать голос.

Дрейфус преспокойно переплел на животе толстые пальцы и продолжал обращаться к Рамону, которому никогда не надоедало слушать Дрейфуса.

– Не в том ли дело, что Пип предпочитает не общаться с немецкими шпионами? Вероятно, сегодня в особенности предпочитает? Поскольку она привела с собой юного поклонника, с коим лобызалась у нас на крыльце добрых пятнадцать минут.

– Это *ты* – шпион! – яростно шепнула Пип. – Ненавижу твое шпионство!

– Не любит, когда я подмечаю факты, мимо которых не прошел бы ни один разумный человек, – пояснил Дрейфус Рамону. – Подмечать то, что находится прямо у тебя перед носом, отнюдь не значит шпионить, Рамон. И возможно, наши германцы тоже всего лишь подмечают. Но шпиона делает шпионом *мотив*, и тут, Пип, – наконец он обернулся к ней, – тут я бы посоветовал задать самой себе вопрос: что эти пронырливые и педантичные немцы делают в нашем доме?

– Ты лекарства принимать не забываешь? – шепнула Пип.

– *Лобызалась*, Рамон. Отличное словарное словцо для тебя.

– А чего значит?

– Значит тискаться. Уста прижать к устам. “Поцелуи с корнями вырвать с губ”^[3].

– Пип, ты сможешь мне со словарным запасом?

– Мне кажется, на этот вечер у нее иные планы, мой друг.

– Не сейчас, милый, позже, – шепнула Пип Рамону, а Дрейфусу напомнила: – Немцы живут у нас, потому что мы их пригласили, ведь у нас была пустая комната. Но ты прав: пожалуйста, не говори им, что я вернулась.

– Что скажешь, Рамон? – спросил Дрейфус. – Будем ей помогать? Или нет? Тебе-то со словарем она помочь не хочет.

– Бога ради, помоги ему сам! У тебя словарный запас ого-го.

Дрейфус опять повернулся к Пип и пристально в нее взгляделся – сплошной интеллект в его глазах, ни грамма чувства. Похоже, лекарствам удалось подавить его безумие настолько, чтобы он не крошил первого

встречного в капусту, но из глаз оно ушло не полностью. Стивен уверял Пип, что Дрейфус на всех смотрит одинаково, но она была убеждена, что стоит ему забросить таблетки, и она окажется первой, за кем он погонится с мечом или еще с чем-нибудь, окажется той самой, кого он обвинит во всех мировых бедах, во всеобщем заговоре против него; более того, Пип думалось, что отчасти он прав, видя в ней что-то фальшивое.

– Эти немцы, шпионство их, мне отвратительны, – сообщил ей Дрейфус. – Стоит им переступить порог любого дома, и первая их мысль: как бы этим домом завладеть.

– Они пацифисты, Дрейфус. От всех попыток завоевать мир они отказались лет этак семьдесят тому назад.

– Я хочу, чтобы вы со Стивеном их выгнали.

– Ладно. Выгоним! Но чуть позже. Завтра.

– Мы тут немцев не любим, верно, Рамон?

– Мы любим, как нас тут всего пять, мы семейка, – сказал Рамон.

– Ну... не совсем так. Не одна семья. Нет. У каждого своя, верно, Пип?

Дрейфус снова заглянул ей в глаза, зная, глубоко, со значением – и ни капли человеческого тепла; или это всего лишь отсутствие влечения? Может быть, взгляд любого мужчины делается столь же бессердечным, если полностью вычесть секс? Пип подошла к Рамону, опустила руки на его толстые, покатые плечи:

– Рамон, милый, сегодня я занята. Но завтра весь вечер буду дома. Договорились?

– Договорились, – ответил он, полностью ей доверяя.

Она ринулась обратно к входной двери и впустила Джейсона, который уже дул на пальцы. Когда проходили гостиную, Рамон опять прижал руки к губам, подтверждая готовность хранить молчание; Дрейфус невозмутимо продолжал смотреть баскетбол. Джейсон много чего мог в этом доме увидеть лишнего, к тому же от Дрейфуса и Рамона пахло, от первого дрожжами, от второго мочой; она-то привыкла, но гость вполне может почувствовать. На цыпочках Пип торопливо стала подниматься по лестнице; Джейсон, она надеялась, сообразит, что ему тоже надо побыстрее и потише. Из-за двери на втором этаже слышались знакомые голоса, знакомые интонации: Стивен и его жена разносили друг друга в пух и прах.

В своей крохотной спальне на третьем этаже Пип сразу же повела Джейсона к матрасу, не включая света: не хотела, чтобы он видел ее нищету. Она была чудовищно бедна, однако простыни у нее были свежие: чем-чем, а чистотой она была богата. Переехав год назад в эту комнату, Пип отскребла каждый квадратный сантиметр пола и подоконника, изведя

целую бутылку моющего и обеззараживающего средства, а когда заявили в гости мыши, Стивен научил ее напихать во все щели стальной стружки, после чего она снова оттерла пол. Все бы ничего, но, стянув с костлявых плеч Джейсона футболку и позволив ему раздеть себя и приступить к приятной прелюдии, она внезапно вспомнила, что весь ее запас презервативов находится в пакете с туалетными принадлежностями, который она перед уходом оставила в ванной первого этажа, потому что обычную ее ванную заняли немцы; так что сама ее любовь к чистоте тоже стала вдруг источником затруднения. Поцеловав аккуратно обрезанный восставший член Джейсона, она прошептала: “Одну минуточку, сейчас вернусь” и накинула халат, а полностью его запахла и подпоясала уже на полпути между вторым и первым этажом, и тогда же она сообразила, что не объяснила Джейсону, куда и зачем отправилась.

– Черт, – буркнула она и затормозила. Джейсон не выглядел дико неразборчивым в половом отношении, у нее имелся еще не просроченный рецепт на утренние таблетки, и в ту минуту ей казалось, будто секс – единственное, где она на что-то годна; однако пренебречь телесной чистотой она не могла. Ей стало жалко себя: для кого еще секс сопряжен со столь изощренной логистикой? Словно это вкусная рыбка с кучей мелких косточек. За ее спиной, за дверью супружеской спальни, жена Стивена на повышенных тонах рассуждала о моральном высокомерии.

– Лично я предпочту моральное высокомерие, – перебил ее Стивен, – если альтернатива – согласиться с божественным планом, обрекающим на нищету четыре миллиарда человек.

– В этом самая суть морального высокомерия! – торжествующе воскликнула жена.

Желание, которое пробудил в Пип голос Стивена, было глубже и сильнее того, что она чувствовала к Джейсону, и ей тут же пришло в голову, что она-то моральным высокомерием уж точно не грешит, скорее – заниженной самооценкой: готова переспать не с тем, кого хочет на самом деле. Она спустилась на цыпочках на первый этаж, миновала наваленные в коридоре стройматериалы с помойки. В кухне немка Аннагрет говорила по-немецки. Пип проскочила в ванную, сунула в карман халата полоску из трех презервативов, осторожно выглянула за дверь и тут же втянула голову обратно: Аннагрет теперь стояла в дверях кухни.

Аннагрет, темноглазая красавица с приятным голосом, была живым опровержением предвзятых мнений Пип об уродстве немецкого языка и голубых глазах его носителей. Она и ее бойфренд Мартин проводили отпуск, путешествуя по американским трущобам, распространяя, как они

говорили, сведения об их международной организации, занимающейся защитой прав сквоттеров^[4], и устанавливая связи с американским движением против ядерного оружия; но создавалось впечатление, что в основном они снимали друг друга на фоне жизнерадостных граффити в гетто. В прошлый вторник за общим ужином, от которого Пип не могла уклониться, поскольку подошла ее очередь готовить, жена Стивена прицепилась к Аннагрет насчет ядерной программы Израиля. Жена Стивена была из тех, кто не прощает другим женщинам их красоту (тот факт, что против Пип она ничего не имела, а, напротив, пыталась обращаться с ней по-матерински, подтверждал невысокое мнение Пип о собственной внешности), и привлекательность Аннагрет, дававшаяся ей без малейших усилий – даже дикарская стрижка и яростный пирсинг бровей не столько портили эту красоту, сколько оттеняли, – так расстроила жену Стивена, что та наговорила об Израиле массу глупостей. А поскольку так вышло, что ядерная программа Израиля была единственной в области разоружения темой, в которой Пип, сделав недавно по ней доклад в исследовательской группе, неплохо разбиралась, и поскольку она болезненно ревновала Стивена к его жене, она вмешалась в разговор и пять минут излагала доказательства наличия у Израиля ядерного оружия.

Как ни странно, этим она произвела глубокое впечатление на Аннагрет. Провозгласив, что Пип ее “полностью покорила”, немка увлекла ее в гостиную, и там, на диване, они долго вели девичий разговор. Устоять перед Аннагрет, если она одарила тебя вниманием, было невозможно, и когда она повела речь о знаменитом Робин Гуде интернета Андреасе Вольфе, с которым она, как выяснилось, была знакома, и сказала, что именно такие молодые люди, как Пип, требуются проекту Вольфа “Солнечный свет”, и стала настаивать, чтобы Пип бросила свою ужасную и почти бесплатную работу и подала заявку на оплачиваемую практику – в Проекте как раз открылось несколько вакансий, – и когда она добавила, что Пип почти гарантированно получит одно из этих мест – нужно всего-то, пока Аннагрет в городе, ответить на вопросы анкеты, которая у нее есть с собой, – Пип почувствовала себя столь востребованной, столь *желанной*, что пообещала заняться анкетой. К тому времени она уже четыре часа тянула дешевое вино, наливая себе из большой бутылки.

Наутро, протрезвев, она пожалела о своем обещании. Андреас Вольф с его Проектом находился сейчас в Южной Америке, потому что в разных странах Европы и в США были выписаны ордера на его арест по обвинениям в хакерстве и в шпионаже, а Пип никак не могла бросить маму и уехать в Южную Америку. Кроме того, хотя в глазах некоторых ее друзей

Вольф был героем, да и сама она испытывала кое-какой интерес к его идее, что секретность – это угнетение, а открытость – свобода, Пип не была политически ангажированным человеком, она всего лишь плелась следом за Стивеном и то загоралась политикой, то остывала к ней, занималась ею приступами, как фитнесом. Кроме того, этот самый “Солнечный свет”, о котором Аннагрет говорила так страстно, – не культ ли это? Кроме того, едва она ответит на анкету, наверняка сразу выяснится, что она далеко не так умна и эрудированна, как могло показаться после ее пятиминутной речи об Израиле. По всем этим причинам Пип с тех пор избегала немцев, пока сегодня утром, собираясь в кафе читать с Джейсоном одну воскресную “Таймс” на двоих, не обнаружила записку от Аннагрет – записку до того обиженную, что Пип сочла своим долгом оставить перед ее дверью ответную с обещанием сегодня же вечером все обсудить.

Теперь же, когда ее желудок все громче жаловался на пустоту внутри, ей пришлось дожидаться перемены в потоке немецких слов, которая подсказала бы, что Аннагрет ушла с порога кухни. Дважды, точно собака, слушающая людскую речь, Пип уловила в этом потоке свое имя. Если бы она могла в эту минуту ясно соображать, она вошла бы в кухню, сообщила бы, что ее наверху ждет парень и потому сейчас ей не до анкеты, и отправилась бы к себе. Но голод отбил ей соображение, да и секс из-за него отошел на второй план, превратился в абстракцию.

Наконец послышались шаги, скрипнул кухонный стул. Пип ринулась прочь из ванной, но зацепилась за что-то подолом халата. За гвоздь, торчавший из помоечной деревяшки. Пип едва увернулась от падающих досок, и тут у нее за спиной раздался голос Аннагрет:

– Пип! Пип, я тебя уже три дня ищу.

Пип обернулась – Аннагрет неумолимо приближалась к ней.

– Привет, да, извини, – забормотала она, торопливо поправляя доски. – Но сейчас я не могу. У меня там... Давай завтра?

– Нет, – улыбнулась Аннагрет. – Давай сейчас. Идем, идем, ты же обещала.

– Гм. – Пип никак не удавалось расставить приоритеты. На кухне, где расположились немцы, имелись также хлопья и молоко. Может быть, ничего страшного, если перед возвращением к Джейсону она слегка подкрепитя? Может быть, кукурузные хлопья придадут ей энергии, сделают более отзывчивой, помогут достичь результата?

– Я сбегаяю на секундочку наверх. На одну секундочку, ладно? И тут же вернусь, честное слово.

– Нет-нет, идем сейчас. Идем-идем. Несколько минут всего, десять

минут. Увидишь, это интересно, это всего-навсего формальность. Идем. Мы тебя весь вечер ждали. Сейчас пойдем и сделаем это, ja?

Красавица Аннагрет манила ее на кухню. Пип понимала, что не нравится в немцах Дрейфусу, и вместе с тем просто подчиняться приказам было для нее облегчением. К тому же она уже пробыла внизу так долго, что малоприятно будет бежать наверх и просить Джейсона потерпеть еще, а в ее жизни и так было столько всего малоприятного, с чем не хотелось встречаться, что она завела привычку откладывать встречу как можно дольше, пусть даже отсрочка означала, что встреча в итоге окажется еще неприятнее.

– Дорогая Пип, – сказала Аннагрет, поглаживая волосы Пип (та сидела за кухонным столом, ела хлопья из большой миски и не особенно хотела, чтобы ее волосы кто-то трогал), – спасибо, что согласилась сделать это для меня.

– Только давай по-быстрому, хорошо?

– Да, сама увидишь. Это всего-навсего формальность. Ты очень похожа на меня в твоём возрасте, когда я искала цель в жизни.

Это Пип тоже не понравилось.

– Так, – сказала она. – Ты уж прости, что я об этом спрашиваю, но ваш Проект – случайно не культ?

– Культ? – расхохотался на другом конце стола Мартин, весь состоявший из щетины и арафатки. – Разве что культ личности.

– Ist doch Quatsch, du, – в сердцах возразила ему Аннагрет. – Also wirklich.

– Прости, что ты сказала? – переспросила Пип.

– Говорю, что он несет вздор. Проект – вовсе не культ, наоборот. Это честность, правда, открытость, свобода. Его терпеть не могут власти именно тех стран, где царит культ личности.

– Но руководитель Проекта очень *харизматический*, – заметил Мартин.

– Харизматический? – поправила Пип.

– Да, харизматический. У меня вышло похоже на арифметику. Андреас Вольф – харизматическая личность. – Мартин вновь рассмеялся. – Прямотаки словарный пример. Как использовать слово “харизматический”. “Андреас Вольф – харизматическая личность”. Все понятно без пояснений, и вы сразу видите, что значит это слово. Он и есть определение этого термина.

Мартин, похоже, подкалывал Аннагрет, Аннагрет это не нравилось, и Пип угадала или решила, будто угадала, что Аннагрет когда-то прежде

спала с Андреасом Вольфом. Она была старше Пип как минимум лет на десять, а то и на пятнадцать. Из полупрозрачной пластиковой папки – на вид европейского производства – она извлекла несколько страниц чуть длиннее и уже американских.

– Ты что-то вроде вербовщицы? – спросила Пип. – Разъезжаешь повсюду с этой анкетой?

– Да, я уполномочена, – ответила Аннагрет. – Вернее, не уполномочена, мы не признаем таких вещей. Просто одна из тех, кто делает эту работу в нашей группе.

– За этим ты и приехала в Штаты? Набирать людей?

– Аннагрет – *многостаночница*, – сказал Мартин, улыбаясь восхищенно и в то же время саркастически.

Аннагрет попросила его оставить их с Пип в покое, и он двинулся в сторону гостиной, до сих пор, видимо, пребывая в блаженном неведении о том, как мало Дрейфусу приятно его общество. Пип воспользовалась паузой, чтобы насыпать себе еще хлопьев; по крайней мере, в графе “питание” будет проставлена галочка.

– Если бы не эта ревность, у нас с Мартином были бы отличные отношения, – прокомментировала Аннагрет.

– К кому он ревнует? – спросила Пип, жуя. – К Андреасу Вольфу?

Аннагрет покачала головой.

– Я долгое время была очень близка с Андреасом, но это кончилось за несколько лет до знакомства с Мартином.

– То есть ты была тогда совсем юной.

– Мартин ревнует меня к подругам. В чем немецкий мужчина, даже вполне хороший, видит самую большую угрозу? В близкой дружбе между женщинами у него за спиной. Это его страшно расстраивает, как будто мир оказался не таким, каким должен быть. Как будто мы вместе выведем все его тайны, лишим его власти, а то и вообще научимся без него обходиться. У тебя таких проблем не возникает?

– Нет, боюсь, я сама ревнующая сторона.

– Ну так вот, поэтому Мартин ревнует и к интернету, ведь по большей части я общаюсь с подругами в сети. У меня много подруг – настоящих, – с которыми я никогда не встречалась. Электронная почта, социальные сети, форумы. Мартин, я знаю, иногда смотрит порнографию, у нас нет друг от друга секретов, а если бы не смотрел, он был бы один такой мужчина в Германии; мне кажется, порнография в интернете специально для них и создана, для немецких мужчин, потому что им нравится быть в одиночестве, все контролировать и предаваться фантазиям о власти. Но он

говорит, он смотрит ее только потому, что у меня слишком много подруг в интернете.

– Что, конечно, похоже на ту же порнуху, только для женщин, – заметила Пип.

– Нет. Ты потому так говоришь, что еще молода и, может быть, не так сильно нуждаешься в дружбе.

– А ты никогда не думала просто перейти на женщин?

– В Германии сейчас все с этим довольно скверно – с мужчинами и женщинами, – ответила Аннагрет, и почему-то было ясно, что это означает “нет”.

– Я вот что пыталась сказать: что интернет многие потребности удовлетворяет на расстоянии. И мужские, и женские.

– Но женскую потребность в дружбе интернет действительно удовлетворяет, это не фантазии. А поскольку Андреас понимает силу интернета, его власть, понимает, как много он может значить для женщин, Мартин и к Андреасу ревнует – вот в чем дело, а не в том, что я когда-то была близка с Андреасом.

– Ясно. Но если Андреас – харизматический лидер, значит, он обладает властью, и чем же он тогда отличается в твоих глазах от всех прочих мужчин?

Аннагрет покачала головой:

– Андреас – фантастическая личность, он понимает, что интернет – величайший в истории инструмент выявления правды. И что интернет говорит нам? Что все в обществе на самом деле вращается вокруг женщин, а не мужчин. Мужчины смотрят на изображения женщин, женщины общаются с другими женщинами.

– По-моему, ты забываешь про гей-секс и видео с котиками, – заметила Пип. – Но давай к анкете. Меня там наверху, видишь ли, ждет парень, поэтому не удивляйся, что я в халате на голое тело.

– Прямо сейчас ждет? Наверху? – взволновалась Аннагрет.

– Я думала, анкета коротенькая, разве нет?

– Может быть, он придет как-нибудь в другой раз?

– Нет уж, давай без таких крайностей.

– Тогда сходи скажи ему, что тебе нужно несколько минут всего, десять минут на важный разговор с подругой. Пусть он для разнообразия побудет ревнующей стороной.

И Аннагрет ей подмигнула; этому умению Пип могла только завидовать, ведь подмигивание – противоположность сарказму.

– Давай лучше сразу, бери меня тепленькой, – сказала Пип.

На эти вопросы, заявила Аннагрет, нет правильных и неправильных ответов; Пип не верилось – ведь зачем нужна анкета, если не может быть неправильных ответов? Красота Аннагрет, однако, была очень убедительной. Глядя на нее через стол, Пип воображала, будто проходит собеседование на должность Аннагрет.

– “Какой из перечисленных суперсил Вы предпочли бы обладать? – прочла Аннагрет. – Умением летать, читать мысли или останавливать время для всех, кроме Вас”.

– Читать мысли, – сказала Пип.

– Хороший ответ – хотя тут нет правильных и неправильных.

Улыбка Аннагрет была такой теплой – хоть окулись в нее, а Пип все еще тосковала по колледжу, где ей хорошо давались тесты.

– “Объясните свой выбор”, – прочла Аннагрет.

– Потому что я не доверяю людям, – сказала Пип. – Даже мама, которой я верю, кое о чем умалчивает, об очень важном, и было бы здорово иметь возможность про это узнать, не обращаясь к ней. Я бы выяснила что мне надо, а она бы не переживала. И так с каждым, буквально с каждым: я никогда толком не знаю, что обо мне думают, а угадывать плохо получается. Было бы здорово, если бы я могла просто нырнуть человеку в голову, всего на пару секунд, и убедиться, что все в порядке, что он не думает про меня тайком ничего ужасного, – и тогда я бы могла ему доверять. Ни для чего плохого я бы этим не пользовалась, нет. Но ведь так тяжело – жить и никому не доверять. Столько сил приходится тратить, чтобы разобраться, чего от меня хотят. Это так утомительно!

– О, Пип, будь моя воля, я бы дальше тебя не спрашивала. Все, что ты говоришь, – просто фантастика!

– Правда? – печально улыбнулась Пип. – Но понимаешь, я даже сейчас начинаю думать, почему ты это сказала. Может быть, просто пытаешься сделать так, чтобы я продолжала отвечать на вопросы? И кстати, я вообще не могу понять, почему это для тебя так важно.

– Мне ты можешь доверять. Просто ты произвела на меня такое впечатление...

– Послушай, ведь это бессмыслица какая-то, я ни на кого не произвожу особого впечатления. И в ядерном оружии не очень-то разбираюсь, только про Израиль и знаю. Я ни капельки тебе не доверяю. Не доверяю. Я вообще никому не доверяю. – Пип чувствовала, что лицо становится горячим. – Знаешь, мне, пожалуй, пора. Сколько парень может меня ждать.

По идее этого было достаточно, чтобы Аннагрет отпустила ее или хотя бы извинилась, что задерживает, однако та (видимо, что-то немецкое?)

была, похоже, малочувствительна к сигналам.

– Нужно следовать правилам, – сказала она. – Формальность, но мы должны ее соблюдать.

Она похлопала Пип по руке, а потом и погладила.

– Мы быстро.

Пип странно было, что Аннагрет все время ее трогает.

– “Ваши друзья исчезают. Не отвечают на эсэмэс, на сообщения в Фейсбуке, не берут трубку. Вы обращаетесь к их работодателям, и Вам говорят, что на службе они не появлялись. Вы звоните их родителям, те тоже очень встревожены. Вы идете в полицию и там узнаете, что расследование уже проведено, с Вашими друзьями все в порядке, но они переехали в другие города. И так постепенно исчезают все Ваши друзья до единого. Как Вы поступите? Будете ждать вашего собственного исчезновения, надеясь после этого узнать, что произошло с друзьями? Попытаетесь провести свое расследование? Сбежите?”

– Исчезают только мои друзья? – уточнила Пип. – А на улице по-прежнему полно людей моего возраста?

– Да.

– Честно говоря, я бы, наверно, обратилась к психиатру.

– А психиатр сам поговорит с полицией и убедится, что все так и есть.

– Ну, тогда по крайней мере один друг у меня будет – психиатр.

– Потом психиатр тоже исчезает.

– Полный бред. Как будто из головы Дрейфуса.

– Ждать, расследовать или бежать?

– Или покончить с собой. Как насчет этого варианта?

– Неправильных ответов не бывает.

– Наверно, я бы поехала к маме. Чтобы она все время была у меня на глазах. А если все-таки и она исчезнет, я, скорее всего, покончу с собой, потому что будет очевидно, что любая связь со мной вредна для здоровья.

Аннагрет снова улыбнулась:

– Замечательно.

– *Что?*

– Ты справляешься очень, очень хорошо, Пип. – Она перегнулась через стол и обеими ладонями, горячими ладонями обхватила щеки Пип.

– Самоубийство – это правильный ответ?

Аннагрет убрала руки.

– Тут нет неверных ответов.

– Тогда твое “хорошо справляешься” мало что значит.

– “Что из перечисленного Вам случилось сделать без разрешения:

влезть в чужую электронную почту, читать содержимое чужого смартфона, шарить в чужом компьютере, читать чужой дневник, просматривать чужие личные бумаги, слушать чужой частный разговор, когда Ваш телефон случайно к нему подключился, получить под ложным предлогом информацию о другом человеке, прижаться ухом к стене или двери, чтобы подслушать разговор, или что-либо подобное?”

Пип нахмурилась.

– Можно пропустить этот вопрос?

– Доверься мне. – Аннагрет в очередной раз притронулась к ее ладони. – Правильнее будет ответить.

Поколебавшись, Пип выложила:

– Я просмотрела каждый клочок бумаги, какой нашла у мамы. Если бы она вела дневник, я бы и его прочла, но дневника нет. Если бы у нее была электронная почта, я бы в нее влезла. В интернете я обшарила все базы данных, какие только могла. Я этим ни капельки не горжусь, но она отказывается назвать мне имя моего отца, скрывает место моего рождения и даже свое настоящее имя. Она говорит, что таким образом хочет защитить меня, но мне кажется, угроза существует только у нее в голове.

– Все это тебе следует знать, – сумрачно подтвердила Аннагрет.

– Да.

– Ты имеешь право знать.

– Да.

– Ты понимаешь, что “Солнечный свет” может помочь тебе это выяснить?

Сердце Пип забилося – отчасти потому, что прежде ей такое не приходило в голову и перспектива пугала, но главным образом потому, что она почувствовала: вот тут начинается настоящее соблазнение, все прикосновения Аннагрет были всего лишь прелюдией. Она отняла ладонь и нервно обхватила себя руками.

– Я думала, Проект занимается государственными и корпоративными секретами.

– Да, конечно. Но у Проекта большие возможности.

– Тогда, может быть, я просто напишу им и попрошу дать информацию?

Аннагрет покачала головой:

– Это же не детективное агентство.

– А если бы я поехала туда и прошла практику?

– Тогда другое дело.

– Что ж, интересно.

– Есть над чем подумать, ja?

– Ja-ah, – отозвалась Пип.

– “Вы путешествуете по чужой стране, – прочла Аннагрет, – и ночью к Вам в гостиницу является полиция, арестовывает Вас и обвиняет в шпионаже, хотя Вы не шпионили. Вас привозят в полицию. Вам разрешено сделать один звонок при условии, что он будет полностью прослушиваться. Вас предупреждают: тот, к кому Вы обратитесь, тоже окажется под подозрением в шпионаже. Кому Вы позвоните?”

– Стивену, – ответила Пип.

По лицу Аннагрет пробежала тень разочарования.

– Этому Стивену? Который здесь живет?

– Да, а что в этом такого?

– Прости, я думала, ты скажешь: маме. До сих пор ты упоминала ее в каждом ответе. Это же единственный человек, которому ты веришь.

– Да, но только в глубоком смысле, – сказала Пип. – Она в такой ситуации с ума сойдет от тревоги, она понятия не имеет, как в мире все устроено, и не сообразит, куда обратиться, чтобы меня вытащить. А Стивен точно будет знать, кому позвонить.

– На мой взгляд, он слабоват.

– Что?

– Ну, слабоват. Живет с этой сердитой, властной особой.

– Да, брак у него несчастливый – уж это-то я знаю.

– Ты к нему равнодушна! – в смятении воскликнула Аннагрет.

– Да, а что?

– Ты мне этого не сказала. Мы сидели с тобой на диване, обо всем друг другу рассказывали, а об этом ты умолчала.

– А ты не говорила, что спала с Андреасом Вольфом!

– Андреас – публичная персона. Я должна соблюдать осторожность. Да и было это много лет назад.

– Ты говоришь о нем так, словно в любой момент рада бы все повторить.

– Пип, пожалуйста! – Аннагрет схватила ее за руки. – Давай не будем ссориться. Я не знала, что тебя интересует Стивен. Прости меня.

Но рана, нанесенная словом “слабоват”, болела все сильнее, и Пип была в ужасе от того, сколько всего личного уже выложила этой женщине, до того уверенной в своей красоте, что способна воткнуть себе в лицо кучу металла и стричься так, словно в ход шли не ножницы, а секатор. Пип, у которой причин для такой уверенности в себе не было, вырвала руки, встала и со стуком опустила свою миску в раковину.

– Ладно, я пошла.

– Но у нас еще осталось шесть вопросов...

– Потому что я, конечно, не поеду ни в какую Южную Америку и тебе я ни капельки не доверяю, ни вот настолечко, так что ехала бы ты лучше со своим дрочащим дружком в Лос-Анжелес, ищи себе там, кто вас пустит к себе жить, и подсовывай свою анкету таким, кто не влюбляется в слабаков вроде Стивена. Я вас в этом доме видеть не хочу, и другие тоже не хотят. Если бы ты меня хоть чуточку уважала, давно бы поняла, что я не хочу тут сейчас находиться.

– Пип, прошу тебя, погоди, я правда очень, очень виновата. – Аннагрет выглядела искренне расстроенной. – Можно на этом и закончить с анкетой...

– Я думала, это всего-навсего формальность, которую надо соблюсти. Надо, надо... Господи, ну и дура же я.

– Нет, Пип, ты очень умная. Ты просто фантастическая. Только мне кажется, ты сейчас немножко больше, чем нужно, зациклена на мужчинах.

Новое оскорбление. Пип только молча таращила глаза.

– Мне кажется, тебе нужна подруга, женщина чуть постарше, которая в молодости была во многом такая же, как ты.

– Ты никогда не была как я, – отрезала Пип.

– Ты ошибаешься. Сядь, пожалуйста, ја? Давай поговорим.

Голос Аннагрет был таким шелковисто-властным, а ее оскорбительное замечание проливало такой унижительный свет на присутствие Джейсона в спальне Пип, что Пип чуть было не послушалась и не села. Но, испытав прилив недоверия к человеку, она физически не могла оставаться с ним рядом. Она ринулась по коридору, не оборачиваясь ни на скрежет отодвигаемого стула, ни на звук своего имени.

На втором этаже остановилась выпустить пар. Стивен слабоват? Она слишком много думает о мужчинах? *Вот уж спасибо так спасибо. Здорово прибавила мне уверенности.*

У Стивена супружеская ссора стихла. Пип очень осторожно придвинулась поближе к его двери, подальше от баскетбола на первом этаже, и прислушалась. Вскоре заскрипели кроватьные пружины, а затем донесся недвусмысленный полувздых-полустон, и Пип поняла: Аннагрет права, Стивен действительно слабоват, более чем... хотя что, собственно, такого в том, что муж и жена занялись сексом? Этот звук, плюс мысленная картина, плюс ощущение, что она тут лишняя, – все это наполнило Пип тоской, унять которую она могла лишь одним способом.

Она поспешила наверх, шагая через ступеньку, словно пять секунд

могли искупить получасовое отсутствие. Перед дверью сделала кроткое, виноватое лицо – с мамой это неплохо срабатывало сотни раз. Приоткрыла дверь и заглянула внутрь с таким именно видом. В комнате горел свет, Джейсон был одет и, сидя на краю матраса, что-то увлеченно печатал на телефоне.

– Тс-с, – шепнула Пип. – Очень на меня сердишься?

Он покачал головой.

– Просто я обещал сестре вернуться к одиннадцати.

Слово *сестра* наполовину стерло извинение с лица Пип; правда, Джейсон на нее не смотрел. Она вошла, села рядом, дотронулась.

– Но еще ведь нет одиннадцати?

– Двадцать минут двенадцатого.

Она положила голову ему на плечо, взялась обеими руками за его руку выше локтя. Ладонями чувствовала по работе мышц, как он печатает.

– Ну прости меня, – сказала она. – Не могу объяснить, что случилось. Вернее, могу, но не хочется.

– Не надо ничего объяснять. Я и так догадывался.

– О чем?

– Ни о чем. Неважно.

– Нет, о чем все-таки? О чем ты догадывался?

Он перестал набирать эсэмэс и уставился в пол.

– Я и сам не сказать чтобы такой уж прямо нормальный. Но сравнительно...

– Я хочу заняться с тобой нормальной любовью. Может быть, еще не поздно? Хотя бы полчаса. Скажи сестре, что немного задержишься.

– Послушай, Пип. – Он нахмурился. – Кстати, тебя действительно так зовут?

– Так я себя называю.

– Почему-то, когда я говорю “Пип”, мне кажется, что я не к тебе обращаюсь. Не знаю... Пип, Пип... Звучит как-то... не пойму.

Извинение исчезло с лица Пип полностью, и она отняла руки. Она понимала, что должна удержаться от вспышки, но не справилась. Максимум, что ей удалось, – это не повышать голоса.

– Так, – сказала она. – Имя мое тебе не нравится. Что еще тебе во мне не нравится?

– Ой, брось. Сама ведь оставила меня тут на час. Даже больше.

– Ага. А тебя сестра дома ждет.

Опять произнести это слово – *сестра* – было все равно что кинуть спичку в духовку, полную газа. В голове у нее что-то полыхнуло. Пип

постоянно носила в себе злость, готовую взорваться.

– Нет, серьезно, – заговорила она с колотящимся сердцем. – Ты вполне можешь мне перечислить все, что тебе во мне не нравится, ведь секса у нас уже явно никогда не будет, раз я ненормальная. Но все-таки будь добр, помоги мне понять, что во мне такого уж ненормального.

– Да ладно тебе, – сказал Джейсон. – Я мог просто взять и уйти.

Самодовольное чувство собственной правоты, прозвучавшее в его голосе, подожгло в ней новую, более обширную и рассеянную массу газа, горючую политическую смесь, которой ее сначала подпитывала мать, затем некоторые преподаватели в колледже и фильмы определенного рода, а теперь еще и Аннагрет, – ощущение того, что один преподаватель назвал несправедливой *анизотропией* гендерных отношений: парень спокойно может камуфлировать свои потребности, объективируя девушку, с помощью языка чувств, девушка же играет в его эротическую игру на свой страх и риск и может остаться ни с чем, если объективирует его, и оказаться жертвой, если нет.

– Когда твой член был у меня во рту, ты что-то не жаловался, – сказала она.

– Я не сам его туда сунул. Да и пробыл он там недолго.

– Потому что мне пришлось идти вниз за презервативом, чтобы ты мог сунуть его в меня.

– Ух ты! Так это я теперь во всем виноват?

Сквозь пелену то ли огня, то ли горячей крови Пип вдруг увидела его телефон.

– Ты что! – крикнул Джейсон.

Но она уже вскочила и отбежала в дальний конец комнаты с гаджетом в руке.

– Послушай, так нельзя!

Он кинулся к ней.

– Очень даже можно.

– Нет, нельзя, нечестно. Эй! Эй! Отдай!

Она втиснулась под детский письменный стол, который был у нее единственным предметом мебели, повернулась лицом к стене и обхватила ногой ножку стола. Джейсон попытался вытащить ее за пояс халата, но не смог, а более грубого насилия применять, судя по всему, не хотел.

– Ты что, припадочная? – спросил он. – Да что ты творишь?

Дрожащими пальцами Пип включила экран.

Встретимся в 4 в музее.

– Черт, черт, черт! – твердил Джейсон, расхаживая у нее за спиной. – Да что же это такое!

Она потыкала в экран и отыскала более позднюю переписку.

Coitus interruptus maximus! [\[5\]](#)

62 мин и все еще нет.

Она хоть клевая?

Лицо милое, фигура потрясная.

Дай определение потрясной фигуры. Сиськи?

8 с гаком.

Стоит подождать.

Бери себе, если любишь с приветом.

68 мин!

Она наклонилась вбок, положила телефон на пол и подтолкнула к Джейсону. Злость выгорела так же быстро, как вспыхнула, осталась только пепельная горечь.

– Просто у некоторых моих друзей такая манера общаться, – сказал Джейсон. – Это ничего не значит.

– Пожалуйста, уходи, – тихо попросила она.

– Давай начнем сначала. Может, получится перезагрузиться? Я виноват, прости.

Он положил руку ей на плечо; она резко им повела. Он убрал руку.

– Ладно, слушай, давай завтра поговорим, хорошо? – предложил он. – Сегодня мы оба что-то не на высоте.

– Просто уходи, очень тебя прошу.

“Возобновляемые решения” ничего не производили, не строили и даже не устанавливали. Приспосабливаясь даже не к правовому климату, а к правовой погоде, меняющейся от месяца к месяцу, а порой чуть ли не от часа к часу, компания “предоставляла пакеты услуг”, “осуществляла посредничество”, “собирала информацию”, “проводила исследования” и “поставляла клиентуру” – в теории все это выглядело очень даже достойно. Америка выбрасывает в атмосферу слишком много углерода, использование возобновляемых энергоресурсов могло бы помочь с решением этой проблемы, органы власти штата и всей страны постоянно вводят различные налоговые послабления, энергетические компании в целом не прочь “озеленить” свой имидж, и не столь уж малая часть калифорнийских домохозяйств и предприятий готова приплачивать за

более чистое электричество; эти добавочные деньги от многих тысяч плательщиков, плюс деньги из федерального бюджета и из бюджета штата, минус деньги, которые шли компаниям-производителям и тем, кто устанавливал оборудование, составляли доход, откуда платилась зарплата пятнадцати сотрудникам “Возобновляемых решений” и дивиденды вложившимся в компанию венчурным капиталистам. С ключевыми словами в компании тоже все было хорошо: *коллектив, сообщество, сотрудничество*. Пип как раз и хотела творить добро – может быть, за недостатком более масштабных амбиций. Мать внушила ей мысль, что в жизни надо иметь моральную цель, а из колледжа она вынесла тревогу и чувство вины по поводу разрушительного уровня потребления в стране. Но в “Возобновляемых решениях” Пип никогда не могла до конца уразуметь, чем именно она торгует, пусть даже ей удавалось находить на свой товар покупателей, а как только это ей становилось более-менее ясно, ей поручали продавать что-нибудь другое.

Сначала (теперь, задним числом, это смущало ее меньше, чем все последующее) она находила малые и средние предприятия, готовые заключить договор о покупке электроэнергии, пока штат не запретил таким компаниям, как “Возобновляемые решения”, брать свои небольшие комиссионные. Потом ей поручили работать с домохозяйствами в районах, где *в перспективе* можно было использовать возобновляемую энергетику: каждый дом, участвующий в программе, приносил “Возобновляемым решениям” вознаграждение от некой третьей стороны или сторон, которые создавали рынок фьючерсов – по идее доходный. Затем она проводила среди жителей таких районов “исследование”: выясняла, в какой мере они готовы к повышению налогов или к перекройке муниципальных бюджетов ради перехода на возобновляемые источники; когда Пип заметила Игорю, что рядовые граждане не располагают достаточной информацией, чтобы отвечать на ее вопросы, тот сказал ей, что она ни при каких обстоятельствах не должна делиться подобными сомнениями с респондентами, потому что положительный отклик – это доход не только компаний-производителей, но и тех малопонятных третьих сторон, что занимаются фьючерсами. Пип чуть было не уволилась, но тут доходность откликов уменьшилась, и ее перевели на учебные программы, связанные с солнечной энергией. Шесть сравнительно приятных недель, пока в бизнес-модели не обнаружился изъян. И теперь, с апреля, она пыталась формировать вдоль южной части залива Сан-Франциско микроколлективы жителей, заинтересованных в энергетической утилизации отходов.

Ее сослуживцы в отделе привлечения клиентов, конечно, впаривали

людям такую же лажу. У них потому получалось лучше, чем у нее, что, распространяя очередной “продукт”, они даже и не пытались понять, что он собой представляет. В подачу “продукта” они вкладывались всей душой, как бы смешно и/или бессмысленно это ни было, а если потенциальный клиент не понимал “продукта”, не признавали вслух, что тут и правда так сразу не разберешься, не предпринимали честных усилий объяснить непростую суть дела, а просто молотили дальше по писаному. Это был, разумеется, верный путь к успеху и источник двойного разочарования для Пип, которая не только чувствовала себя наказанной за то, что пользуется мозгами, но и каждый месяц получала свежие доказательства того, что средний клиент лучше клюет на полубессмысленную зазубренную заготовку, чем на искренние старания участливой девушки-агента разъяснить суть предложения. Лишь когда ее сажали на рассылку или на распространение информации в соцсетях, у Пип пропадало ощущение, что ее способности растрачиваются попусту: поскольку она выросла без телевизора, с письменной речью у нее был порядок.

Сегодня, в понедельник, она беспокоила звонками многочисленных пенсионеров из жилого микрорайона Ранчо-Анчо в округе Санта-Клара, которые не пользовались соцсетями и не отреагировали на ковровую бомбардировку рекламными письмами. Микроколлектив имело смысл создавать только в том случае, когда на предложение отзывались почти все жители, организатора отправляли на место лишь по достижении пятидесятипроцентного отклика, а до той поры Пип не набирала ни одного балла за “широту охвата”, сколько ни трудилась.

Она надела наушники, заставила себя снова посмотреть на таблицу звонков и выругала ту прежнюю Пип, что часом раньше, перед перерывом, выбрала из списка “изюм”, оставив на после обеда такие имена, как “Гуттеншвердер, Алоизиус” и “Баткевидж, Деннис”. Подобные заковыристые имена она терпеть не могла – стоит неправильно произнести, и клиент тут же замыкается в себе, – но, пересилив себя, храбро позвонила по первому номеру. У Баткевиджей мужской голос хрипло и хмуро произнес “алло”.

– Аллоооо! – откликнулась Пип со знойной растяжкой, в которую научилась вносить извиняющуюся нотку. – Я Пип Тайлер из “Возобновляемых решений”, несколько недель назад мы вам писали. Я говорю с мистером Баткевиджем?

– Букаваж, – хмуро поправил ее собеседник.

– Прошу прощения, мистер Букаваж.

– Так в чем дело?

– У вас есть возможность снизить расходы на электроэнергию, помочь нашей планете и получить справедливую долю налоговых субсидий на федеральном уровне и на уровне штата, – затараторила Пип, хотя, по правде говоря, удешевление электричества было пока что гипотетическим, энергетическая утилизация отходов экологически сомнительна, и если бы “Возобновляемые решения” и их партнеры намеревались щедро делиться с потребителями налоговыми субсидиями, она бы сейчас не звонила мистеру Букаважу.

– Не интересуется, – буркнул Букаваж.

– Но вы знаете, – продолжила Пип, – многие ваши соседи выразили желание сформировать коллектив. Вы могли бы их немного расспросить, узнать, что они думают.

– Я с соседями не общаюсь.

– Нет, разумеется, я ни к чему вас не принуждаю. Но почему они заинтересовались? Потому что жители вашего микрорайона имеют шанс, действуя сообща, обеспечить себя более чистой и дешевой энергией, а также получить реальные налоговые льготы.

Одно из наставлений Игоря: непременно повторить словосочетания “более чистая и дешевая” и “налоговые льготы” не менее пяти раз каждое – тогда собеседник не устоит.

– Вы что продаете? – чуть менее хмуро спросил мистер Букаваж.

– Нет-нет, я не предлагаю вам ничего купить, – соврала Пип. – Мы пытаемся активизировать общественную поддержку так называемой энергетической утилизации отходов. Это более чистый, дешевый и льготный в налоговом отношении способ решить сразу две крупные проблемы вашего местного сообщества. Я имею в виду большие расходы на электроэнергию и избавление от твердого мусора. Мы можем помочь вам сжигать ваш мусор при чистых, высоких температурах и направлять электроэнергию прямо в сеть, что в перспективе даст вам существенное сокращение расходов и реально пойдет на благо нашей планеты. Могу я рассказать вам чуть подробнее, как это работает?

– Ваша-то выгода в чем? – спросил ее мистер Букаваж.

– Простите, не поняла?

– Вот вы мне звоните, когда я прилег отдохнуть. Кто-то же вам за это платит. Чего ради?

– Ну, по сути дела мы координаторы. Ведь у вас и ваших соседей, скорее всего, нет времени и опыта, чтобы самим создать микроколлектив для энергетической утилизации отходов, и поэтому вы упускаете возможность получить более чистую и дешевую электроэнергию и

определенные налоговые преимущества. Мы и наши партнеры владеем опытом и знаниями, которые помогут вам обрести бóльшую энергетическую независимость.

– Ясно, но кто вам платит?

– Как вы, вероятно, знаете, очень большое количество средств из бюджета штата и федерального бюджета идет на поддержку инициатив по использованию возобновляемой энергии. Мы получаем свою долю на покрытие расходов, а остальная часть сэкономленных средств достанется вашему сообществу.

– Иными словами, с меня дерут налоги на все эти затеи, а теперь я, *может быть*, получу что-нибудь обратно.

– Интересная мысль, – сказала Пип. – Но на самом деле все немного сложнее. Во многих случаях прямых налогов для финансирования этих инициатив вы не платите. При этом – потенциально – вы получаете налоговые субсидии и более чистую, более дешевую энергию.

– Сжигая свой собственный мусор.

– Да, в этой области есть просто поразительные новые технологии. Сверхчистые, сверхэкономные.

Куда бы еще вставить налоговые льготы? Пип так до сих пор и не избавилась от страха перед тем, что Игорь называл “моментом давления”; но, кажется, с мистером Букаважем этот момент настал, никуда не денешься. Она набрала в грудь побольше воздуха.

– У меня создалось впечатление, что вас могут заинтересовать подробности.

Мистер Букаваж пробормотал в ответ что-то невнятное, кажется “свой собственный мусор”, и бросил трубку.

– Да чтоб тебя! – выругала Пип отключившегося собеседника, но тут же об этом пожалела. Вопросы мистер Букаваж задавал вполне разумные, а с фамилией ему не повезло, и к тому же друзей у него нет по соседству. Такая же, наверно, одинокая душа, как ее мать, а Пип ко всякому, кто напоминал мать, питала какое-то беспомощное сочувствие.

Поскольку мама не водила машину и в таком маленьком местечке, как Фелтон, ей не требовалось удостоверение личности с фотографией, а дальше центральной части Санта-Круза она никуда из Фелтона не отлучалась, то единственным документом ей служила карточка социального страхования на имя “Пенелопа Тайлер” (без второго имени). Чтобы получить эту карточку на имя, которое она приняла уже взрослой, мать должна была представить либо подложное свидетельство о рождении, либо подлинник настоящего свидетельства о рождении и юридический

документ о перемене имени. Пип не раз тщательно прочесала материнские вещи, но ничего подобного не обнаружила, не нашла и ключей от банковского сейфа и пришла к выводу, что мать либо уничтожила документы, либо зарыла их в землю, как только получила новую карточку соцстрахования. В каком-нибудь окружном суде, возможно, хранится запись о перемене имени, но округов в Соединенных Штатах великое множество, и лишь малая часть из них выложила свои архивы в интернет, а Пип даже не знала, с какой части страны начинать поиски. Она перебрала все мыслимые комбинации ключевых слов, испробовала все платные поисковые системы, но в итоге выяснила лишь одно: возможности поисковых систем весьма преувеличены.

В раннем детстве Пип удовлетворялась расплывчатыми историями, но к одиннадцати годам стала задавать вопросы так настойчиво, что мама согласилась “рассказать ей все”. Когда-то, сказала она, у нее было другое имя и другая жизнь – в другом штате, не в Калифорнии. Она вышла замуж за человека, который после рождения Пип начал проявлять склонность к насилию. Он физически ее мучил, но был очень хитер, умел причинять боль, не оставляя на теле следов, а еще сильнее терзал ее психологически. Вскоре она превратилась в совершенно беспомощную заложницу и, возможно, так с ним и жила бы, пока он ее не убил бы, но плач маленькой Пип начал приводить его в такую ярость, что она испугалась за девочку. Она попыталась сбежать от него с ребенком, но он выследил их, измучил ее психологически и вернул их домой. У него там, где они жили, имелись влиятельные друзья, она не могла доказать факт насилия и знала, что в случае развода он частично сохранит родительские права на Пип. Этого она допустить никак не могла. Она совершила ошибку, выйдя замуж за опасного человека, и готова была за это расплачиваться, но не рисковать жизнью Пип. И вот однажды вечером, когда муж был в командировке, она собрала чемодан, села вместе с Пип на автобус, уехала в другой штат и обратилась в убежище для женщин, подвергшихся насилию. Там подруги по несчастью помогли ей получить карточку на новое имя и сменить свидетельство о рождении Пип. После этого она опять села в автобус и отправилась в горы Санта-Круз, где каждый может быть тем, кем назовется.

– Я сделала это, чтобы защитить тебя, – сказала она Пип. – А теперь, когда я тебе все рассказала, ты сама должна беречься и никому ничего не говорить. Я знаю, что за человек твой отец. Я знаю, как он разъярен из-за того, что я посмела ему воспротивиться и забрала тебя от него. И я знаю: если он выяснит, где ты, он приедет и возьмет тебя обратно.

В одиннадцать лет Пип была наивна и доверчива. У матери на лбу был

длинный тонкий шрам, который проступал, когда она краснела, а между передними зубами виднелась щель, и по цвету они не совпадали с другими. Пип так была уверена, что это из-за отцовских побоев, так ее жалела, что не посмела даже спросить, его ли это вина. Такого страха набралась перед отцом, что какое-то время не могла спать одна. Забивалась в постель к матери, и та, сжимая ее в объятиях, уверяла, что Пип в полной безопасности, лишь бы она никому не выдала их тайну, и так велика была детская наивность, до того отчетлив был страх, что Пип хранила секрет вплоть до мятежных лет отрочества. А уж тогда поведала двум подругам, взяв с каждой клятву молчать, потом еще кое-кому рассказала в колледже. Одна из новых подруг, Элла, девушка из округа Марин, которая в школьном возрасте была на домашнем обучении, как-то странно поглядела на Пип.

– Чудная история, – сказала она. – Такое чувство, что я где-то слышала все это от слова до слова. В Марине живет писательница, она что-то очень близкое описала в воспоминаниях.

Писательницу звали Кандида Лоуренс (тоже вымышленное имя, по словам Эллы); Пип добыла ее мемуары и увидела, что они были опубликованы за несколько лет до того, как мать “рассказала ей все”. История Лоуренс была не вполне такой же, но до того похожей, что Пип в холодной ярости ринулась в Фелтон, полная подозрений и готовая обвинить мать во лжи. Но вот что странно: у Пип, когда она накинулась на мать, возникло чувство, будто она совершает такое же насилие, как этот неизвестный ей отец, и мать сморщилась, как могла бы сморщиться именно такая заложница и жертва физического и эмоционального насилия, какой она изобразила себя в замужестве; атаковав мать с ее рассказом, Пип, выходит, получила некое подтверждение того, что этот рассказ правдоподобен. Мать безобразно рыдала и умоляла Пип сжалиться над ней, потом, рыдая, ринулась к книжному шкафу и вытащила с полки, где Пип ни за что бы не заметила эту книгу среди литературы по самосовершенствованию, мемуары Лоуренс. Она бросила их Пип, точно принося жертву, и сказала, что книга долгие годы была для нее огромным утешением, что она прочла ее три раза, что читала и другие книги Лоуренс, что почувствовала себя благодаря им не такой одинокой на выбранном пути: есть, оказалось, по крайней мере еще одна женщина, которая перенесла нечто подобное и вышла из испытаний цельной и сильной.

– Я *подлинную* историю тебе рассказала! – крикнула мать. – Не знаю, как рассказать тебе более правдивую историю и при этом тебя оберечь.

– То есть как? – с холодным, жестоким спокойствием переспросила Пип. – Значит, существует более правдивая история, которую ты

утаиваешь, чтобы меня “оберечь”?

– Нет! Ты искажаешь мои слова, я правду тебе сказала, ты должна мне верить. Ты все, что у меня есть на свете!

Дома, после работы, мать распускала длинные волосы, и теперь, когда она, стоя перед Пип, голосила и задыхалась, точно большой обиженный ребенок, вся эта пушистая седая масса тряслась.

– Для ясности, – с еще более убийственным спокойствием проговорила Пип. – Ты читала книгу Лоуренс перед тем, как рассказала мне свою историю? Да или нет?

– О! О-о! Ведь я же тебя оберегаю!

– Так, мама, для ясности: сейчас ты тоже сказала неправду?

– О-о!

Руки матери судорожно метались вокруг головы, словно готовясь удержать осколки, когда она взорвется. Пип вдруг отчетливо захотелось шлепнуть мать по лицу, а потом как-нибудь хитро причинить ей боль, не оставляя следов.

– Не получилось у тебя, – сказала она. – Не получилось меня оберечь.

И, подхватив рюкзак, вышла за дверь и двинулась по узкой крутой дорожке под сенью стойких и неизменных секвой к Ломпико-роуд. Позади слышались жалобные крики матери: “Котенок!” Соседи могли подумать, зверюшка потерялась.

Близко знакомиться с отцом ей совершенно не хотелось, ей и матери хватало с избытком, но она считала, что он должен дать ей денег. Сто тридцать тысяч долларов учебного кредита – это куда меньше того, что он сэкономил, не растя ее и не тратясь на ее учебу. Разумеется, он может заявить, что не видит причин платить теперь за дочь, радости общения с которой он все эти годы не испытывал и от которой вряд ли что-нибудь получит в будущем. Но, видя материнскую истеричность и ипохондрию, Пип не исключала, что он, может быть, человек в принципе порядочный, просто мать пробудила в нем худшее. Теперь он, может быть, мирно живет с другой женой и рад будет узнать, что давно утраченная дочь жива; обрадуется и достанет чековую книжку. Пип была даже согласна, если понадобится, на какую-нибудь необременительную форму общения: письмо по электронной почте, звонок время от времени, рождественская открытка, дружба в Фейсбуке. Ей уже двадцать три, ни о каких родительских правах и речи быть не может, она ничем не рискует, а выиграть может немало. Требовалось узнать только его имя и дату рождения. Но мать так стерегла эти сведения, словно Пип пыталась вырвать из ее тела жизненно важный орган.

В шесть вечера, когда долгий тоскливый обзвон жителей Ранчо-Анчо подошел к концу, Пип сохранила в компьютере таблицу звонков, надела рюкзачок и велосипедный шлем и попыталась незаметно проскочить мимо кабинета Игоря.

– Пип, на пару слов! – послышалось оттуда.

Она попятилась, чтобы Игорь смог ее увидеть из-за своего стола. Он скользнул этим своим Взглядом сверху вниз по ее грудям, на которых, показалось ей в этот момент, гигантскими цифрами был написан размер: восемь дюймов, – и остановился на ногах. Пип было ясно как божий день, что ее ноги для Игоря – точно нерешенная головоломка. Именно с таким видом он сейчас, глядя на них, сосредоточенно хмурился.

– Что? – спросила она.

Теперь он посмотрел ей в лицо.

– Как обстоят дела с Ранчо-Анчо?

– Есть позитивный сдвиг. Сейчас у нас примерно тридцать семь процентов.

Он покачал головой на русский манер, уклончиво.

– Позволь тебя спросить. Тебе нравится эта работа?

– Ты имеешь в виду – не хочу ли я, чтобы меня уволили?

– Мы думаем о реструктуризации, – сказал он. – Ты, может быть, получишь возможность проявить другие свои способности.

– О господи. Другие способности? Ты и правда создаешь атмосферу.

– Скоро будет два года – по-моему, первого августа. Послушай, голова у тебя хорошая. Сколько времени мы еще отводим на эксперимент с привлечением клиентов?

– Разве это я решаю?

Он снова покачал головой.

– У тебя есть устремления? Планы?

– Вот если бы ты не затевал сегодня игру в вопросы и ответы, мне было бы легче воспринимать этот разговор всерьез.

Он поцокал языком.

– Ух какая сердитая.

– Скорее усталая. Можешь это себе представить? Давай я пойду, а?

– Не знаю почему, но ты мне нравишься, – сказал он. – Я был бы рад, если бы у тебя что-то начало получаться.

Она не стала ждать, что он еще скажет. В вестибюле три сослуживицы шнуровали кроссовки: в понедельник после работы женская пробежка, повышает чувство локтя. Кому за тридцать, а кому и за сорок, все замужем, у двух дети, и чтобы узнать, что они думают о Пип, суперсил не

требовалось: нытик, неудачница, считает, что все ей должны, юный магнит для Игорева Взгляда, использует его снисходительность во вред делу, особа без детских фотографий на стенках отсека. Во многом, признавала Пип, это справедливо: едва ли какая-нибудь из них могла бы так грубить Игорю и не быть уволенной, – и все-таки она обижалась, что ее никогда не приглашают на пробежку.

– Как день прошел, Пип? – спросила ее одна из них.

– Даже не знаю. – Что бы такое сказать, что не прозвучало бы как жалоба? – Кто-нибудь из вас знает рецепт веганского торта из цельнозерновой муки, чтоб не очень много сахара?

Все три уставились на нее.

– Да, понимаю, понимаю, – сказала она.

– Все равно что спросить: как устроить хорошую вечеринку без выпивки, сладостей и танцев, – заметила другая сослуживица.

– *Сливочное масло* можно? – спросила третья.

– Нет, масло – животный продукт, – сказала первая.

– А топленое? Это же просто жир без молочного белка.

– Животный жир, животный.

– Хорошо, спасибо, – промолвила Пип. – Приятной пробежки.

Спускаясь по ступенькам к велосипедной стоянке, она была почти уверена, что слышит их смех над собой. Почему? Разве попросить рецепт – не в добрых женских традициях? По правде говоря, у нее оставалось все меньше друзей даже среди сверстников. В больших компаниях Пип все еще ценили за умеренную остроту сарказма, но для того чтобы подружиться с кем-нибудь, ей было слишком трудно проявлять интерес к твитам, постам и бесчисленным фоткам довольных жизнью девиц, которые не могли взять в толк, почему она живет на птичьих правах в таком доме; а для девиц, недовольных жизнью, ведущих себя саморазрушительно, для девиц со злыми татуировками и паршивыми родителями Пип была недостаточно ожесточена. Она уже чувствовала, что ступила на путь, в конце которого, как у матери, полное отсутствие друзей, и Аннагрет была права: это заставляло ее больше, чем следовало, интересоваться носителями Y-хромосомы. Четыре месяца воздержания после случая с Джейсоном стали тяжким испытанием.

Погода была прекрасная, но не для нее. Пип была в таком упадочном состоянии, что тащилась вдоль Мандела-паркуэй на первой передаче, не обгоняя еле ползущий транспорт на эстакаде у себя над головой. По ту сторону залива, над Сан-Франциско, солнце еще не опустилось к горизонту, и его свет не приглушала, а лишь слегка смягчала тонкая, высоко

поднявшаяся океанская дымка. Пип начинала, подобно матери, предпочитать солнцу дождь и густой туман – они ни в чем тебя не упрекают. Выехав на Тридцать четвертую улицу с домами точно из тетриса, она переключила передачу и прибавила скорость, чтобы не встречаться взглядом с наркоторговцами.

Дом, где она жила, в прошлом принадлежал Дрейфусу: после самоубийства матери он взял ипотеку, заплатив первоначальный взнос из наследства. Из него же он взял деньги на то, чтобы открыть около Пьемонт-авеню букинистический магазин. Состояние жилища соответствовало состоянию его разума: довольно долго дом был более-менее в порядке, потом появился эксцентрический хлам вроде старинных музыкальных автоматов, и наконец весь дом от пола до потолка заполнили материалы его “исследований” и запасы продовольствия на случай “осады”. Книжный магазин, куда раньше заглядывали удовольствия ради, заглядывали поговорить с кем-то умнее себя (ибо не было человека умнее Дрейфуса, он обладал фотографической памятью и в уме решал сложнейшие логические и шахматные задачи), стал средоточием гнилостных запахов и паранойи. Дрейфус рычал на покупателей, пробивая чек, потом стал орать на каждого, кто заглянет в магазин, а там и книгами начал швыряться; затем последовали визиты полиции, нападение на представителей власти, принудительное лечение. К тому времени, как его выпустили, прописав новый набор лекарств, Дрейфус лишился магазина, книги были проданы для покрытия долга по аренде и реального или мнимого ущерба, а дом за неуплату перешел в собственность банка.

Дрейфус тем не менее снова в него вселился. Что ни день, писал десятистраничные письма банку, его представителям и во всевозможные государственные органы. За шесть месяцев четырежды угрожал разного рода исками и в итоге создал патовое положение; то, что дом был в ужасном состоянии, сыграло ему на руку. Но помимо пенсии по инвалидности у Дрейфуса не было ни цента, поэтому он примкнул к движению протеста “Оккупай”, сдружился со Стивеном и согласился в обмен на еду, оплату коммунальных услуг и прочее пускать в дом других сквоттеров. В разгар движения дом походил на зверинец или на перевалочный пункт, полный всевозможных смутьянов. Понемногу, однако, жена Стивена навела какой-никакой порядок. Одну комнату отвели кратковременным жильцам, две другие отдали Рамону и его брату Эдуардо, которые явились одновременно со Стивеном и его женой из приюта Движения католических рабочих, где жили до тех пор.

Пип познакомилась со Стивеном в группе по изучению проблем

разоружения за несколько месяцев до того, как Эдуардо погиб, попав под грузовик. Те месяцы были для Пип счастливыми: у нее сложилось отчетливое впечатление, что Стивен с женой чужие друг другу. К Стивену с его темпераментом, с его фигурой кулачного бойца и вихрастой, как у мальчишки, головой Пип потянуло мгновенно, и она чувствовала, что на других девушек в группе он производит такое же впечатление. Но именно она отважилась пригласить его после собрания на чашку кофе (и заплатить за кофе, потому что Стивен не признавал деньги). Он так охотно откликнулся, что она, казалось, не без оснований сочла это чем-то вроде первого свидания.

Во время их последующих встреч за кофе она рассказала ему про свой студенческий болезненный страх перед ядерным оружием, про свое желание делать что-то хорошее и поделилась опасением, что пользы от их группы может оказаться так же мало, как от “Возобновляемых решений”. Стивен, в свою очередь, поведал ей, как влюбился в однокурсницу, как они поженились и до тридцати лет жили в приютах Движения католических рабочих, соблюдая обет бедности, всё по Дороти Дэй^[6], католическая вера и радикальная политика, но теперь их пути разошлись: жена делается все более религиозной и отходит от политики, а Стивен наоборот, жена открыла банковский счет и начала работать в пансионате для инвалидов, а Стивен посвящает все свое время движению протеста и живет без денег. Хотя он утратил веру и ушел из церкви, годы в Движении католических рабочих наделили его почти женской эмоциональной непосредственностью, волнующим стремлением пробиться к сути вещей – Пип никогда прежде не встречала подобного в мужчине, тем более в таком закаленном, выдавшем виды. В приливе откровенности она рассказала ему еще кое-что о себе, пожаловалась, что ей очень тяжело выкраивать деньги на жилье, которое она делит с бывшими однокурсницами, и Стивен слушал так сочувственно, что, когда вскоре после гибели Эдуардо он предложил ей поселиться в освободившейся комнате и жить там бесплатно, Пип восприняла это, помимо прочего, как свой шанс на близкие отношения с ним.

Но когда она пришла осмотреть дом и показать себя его жителям, выяснилось, что Стивен с женой не совсем уж далеко разошлись и по-прежнему делят супружеское ложе. К тому же Стивена в тот вечер вообще не было дома – не чуял ли он, что эта кровать изрядно обескуражит Пип? У нее появилось чувство, что он ввел ее в заблуждение насчет своего брака. Но зачем он это сделал? Не дает ли это оснований все же на что-то надеяться? Жену Стивена звали Мари, она была румяная блондинка под

сорок. Она-то и беседовала с Пип; Дрейфус, загадочный, как сфинкс, сидел в углу, Рамон оплакивал брата. И то ли Мари по самонадеянности не увидела в Пип соперницу, то ли ее католическое милосердие было столь искренним, что денежные трудности Пип вызвали ее подлинное сочувствие, – так или иначе, Мари проявила к ней материнскую доброту, которая и тогда, и позже была укором для Пип, изнывавшей от ревности.

Не будь этой ревности и жути, которую порой наводил Дрейфус (правда, жуть компенсировалась удовольствием наблюдать за работой его ума), Пип была бы вполне счастлива в этом доме. Здесь она получила убедительное доказательство того, что она чего-то стоит: она заботилась о Рамоне. Вскоре после переезда она узнала, что Стивен и Мари официально усыновили Рамона за год до смерти его брата, чтобы Эдуардо мог жить своей жизнью. Рамон был всего на год-другой моложе Стивена и Мари, но считался их *сыном* – это показалось бы Пип полнейшей дикостью, если бы она сама очень скоро его не полюбила. Занимаясь с Рамоном, пополняя его “словар-рный запас”, осваивая простенькие видеоигры, в которые он был способен играть (на деньги, которых у нее вообще-то не было, она купила в дом в качестве рождественского подарка игровую приставку), готовя ему сильно промасленный попкорн и пересматривая с ним его любимые мультики, Пип осознала привлекательность христианской любви. Она, может быть, и в церковь попробовала бы ходить, если бы Стивен не отверг церковь за мздоимство, за преступления против женщин и против планеты. Через дверь его супружеской спальни она однажды услышала, как Мари, крича, предъявляет Стивену его любовь к Рамону как аргумент: мол, он позволил своему мозгу отравить сердце, восстал против Писания, а в сердце-то Слово по-прежнему живет, пример Христа действует, иначе разве он любил бы приемного сына так нежно?

Даже не ходя в церковь, Пип одного за другим теряла друзей по колледжу: слишком часто на приглашения потусоваться отвечала эсэмэс-отказами, потому что обещала поиграть с Рамоном или сходить с ним в дешевый магазин за кроссовками. Это мешало планировать встречи, но главное, подозревала Пип, заключалось в том, что друзья уже начали списывать ее со счетов как девицу с придурью, живущую в странной компании сквоттеров. Друзей оставалось всего трое, с ними она могла посидеть субботним вечером в баре и переписывалась в другие дни, но личную информацию она от них тщательно скрывала: ведь она правда была с придурью и правда жила со сквоттерами. В отличие от Стивена и Мари, выросших в хороших католических семьях среднего достатка, Пип, перебравшись на Тридцать третью улицу из крошечного материнского

домика, свой статус не сильно понизила, а учебный долг фактически налагал на нее обет бедности. Делая что-то по дому или помогая Рамону, она чувствовала себя как никогда полезной, как никогда на месте. И все же на вопрос Игоря о ее устремлениях она могла бы ответить, что есть у нее одно устремление, хоть и нет никакого плана в голове. Оно состояло в том, чтобы не уподобиться матери. Поэтому из своей эффективности в качестве сквоттера Пип не могла почерпнуть утешения – скорее она ее пугала.

Свернув на Тридцать третью, Пип увидела на крыльце дома Стивена, одетого, как всегда, словно маленький мальчик: кеды из секонд-хенда, ситцевая рубашка оттуда же, большим бицепсам тесно в коротких рукавчиках. Легкий вечерний туман придавал солнечным полосам между опорами эстакады особый золотистый оттенок. Стивен сидел, повесив голову.

– Привет-привет, – бодро обратилась к нему Пип, слезая с велосипеда.

Стивен поднял голову и посмотрел на нее покрасневшими глазами. Лицо было мокрое от слез.

– Что случилось? – спросила она.

– Кончено.

– Что кончено? – Она уронила велосипед. – У Дрейфуса забирают дом? Что стряслось?

Он слабо улыбнулся.

– Нет, у Дрейфуса дом не забирают. Ты что, шутишь? Просто я жену потерял. Мари ушла. Съехала.

Его лицо исказилось, и в Пип из центра к периферии стал распространяться холодный страх; но когда страх спустился ниже пояса, там разлился отнюдь не холод, а жар. Как же хорошо тело знает, чего хочет! Как быстро улавливает благоприятную для себя новость! Сняв шлем, она села рядом со Стивеном на ступеньку.

– Ох, Стивен, я очень тебе сочувствую, – сказала она. До сих пор они обнимались только при встрече и прощании, но сейчас ее конечности вдруг так ослабели, что она не могла не положить ладони ему на плечи, словно иначе руки отвалятся. – Это так неожиданно...

Он шмыгнул носом.

– Ты не замечала?

– Нет-нет-нет.

– Вот именно, – горько проговорил он. – Я всегда считал, у меня есть заветный козырь. Считал, повторно она выйти замуж не может.

Пип прижалась к нему, погладила бицепсы, и в этом не было ничего предосудительного: Стивен нуждался в утешении. Но его мышцы были

теплыми и тестостеронно-твердыми. И главное препятствие было устранено: *ушла, съехала.*

– Все-таки вы очень много ссорились, – сказала она. – Почти каждый вечер, из месяца в месяц.

– Последнее время не так много, – возразил он. – Я подумал, все налаживается. Но причина была в том, что...

Он снова зарылся лицом в ладони.

– У нее кто-нибудь есть? – спросила Пип. – Кто-нибудь, с кем она...

Он качнулся вперед, словно всем телом отвечая: “Да”.

– О господи! Ужас. Просто ужас, Стивен. – Она прижалась лицом к его плечу. – Скажи, чем я могу помочь, – шепнула она в ситец его рубашки.

– Кое-чем можешь, – ответил он.

– Скажи, – попросила она и потерлась о рубашку лицом.

– Поговори с Рамоном.

Это вырвало ее из нереальности происходящего; напомнило, что она сидит, уткнувшись лицом в чужую рубашку. Пип убрала руки и буркнула:

– Черт.

– Вот именно.

– Что с ним теперь будет?

– Она все продумала, – сказал Стивен. – Всю свою жизнь наперед рассчитала, как корпоративный план. Она получит полные родительские права, а я получу посещения. Как будто за этим я его усыновил – чтобы навещать. У нее... – Он с трудом перевел дыхание. – У нее с директором пансионата.

– Господи Иисусе! Чудненько.

– Директор, похоже, дружит с архиепископом, а он может аннулировать наш брак. Да, чудненько. Рамона – в пансионат и чему-нибудь обучать, а она на досуге может по-быстрому сварганить троих ребятишек. Ничего планчик, да? И какой судья не отдаст родительские права матери, которая работает на полную ставку как раз в заведении для таких, как Рамон? Отличный план. И ты не поверишь, как она собой гордится, какая она праведница.

– Пожалуй, в это я поверить могу, – отважилась заметить Пип.

– Я очень люблю праведность, – дрожащим голосом продолжил Стивен. – И она действительно праведница. Она и вправду стремится к моральной цели. Я просто не хотел заводить троих детей.

И слава богу, подумала Пип.

– Рамон пока здесь? – спросила она.

– Завтра утром они с Винсентом его забирают. Судя по всему, они

давно уже все спланировали, ждали только, пока освободится место. – Стивен покачал головой. – Я-то думал, Рамон спасет наш брак. Сын, которого мы оба любим, и неважно, что во всем остальном мы не сходимся.

– Ну... – сказала Пип с неудовольствием, видя, что его мыслями по-прежнему владеет Мари. – Ваш брак не первый, который не спасло наличие детей. Я сама, вероятно, родилась в таком браке.

Стивен повернулся к ней:

– Ты настоящий друг.

Она взяла его за руку и переплелась с ним пальцами, стараясь точно рассчитать силу пожатия.

– Да, я твой друг, – подтвердила она. Но сейчас, когда его рука так тесно касалась ее руки, тело Пип сердцебиением и частым дыханием давало понять, что ждет не дождется рук Стивена повсюду, сверху донизу... Сколько ждать – дни? Часы? Тело, как большой пес, рвалось с поводка ее разума. Она позволила себе уронить их сплетенные ладони на свое бедро – туда, где более всего хотела почувствовать его прикосновение, – и высвободила руку.

– Что ты сказал Рамону?

– Я не в силах. Так и сижу тут с тех пор, как она ушла.

– А он сидит в доме и ты ему ничего не сказал?

– Она ушла всего с полчаса назад. Он расстроится, если увидит, что я плачу. Ты бы как-нибудь его подготовила, а потом я постараюсь поговорить с ним разумно.

Слабоват, вспомнился ей приговор Аннагрет; но ее влечение к Стивену от этого меньше не стало. Мало того, она бы предпочла забыть на время о Рамоне, сидеть тут дальше, вплотную к Стивену, потому что если слабоват, то может и не устоять.

– А со мной ты не поговоришь? Потом, попозже, – попросила она. – Наедине. Мне это очень нужно.

– Конечно. В остальном ничего не изменилось, из дома нас никто не гонит. Дрейфус – настоящий бульдог. Так что об этом не беспокойся.

Хотя телу Пип было предельно ясно, что на самом деле изменилось все, ее разум готов был простить Стивену неспособность это увидеть: ведь его только-только бросила жена, с которой он прожил пятнадцать лет. Ее сердце по-прежнему колотилось; она встала и завела велосипед в дом. Дрейфус сидел в гостиной один – крутящееся шестиногое офисное кресло с помойки казалось под ним карликовым – и пощелкивал мышью общего компьютера.

– Где Рамон? – спросила Пип.

– У себя.

– Тебя, думаю, и спрашивать не стоит, знаешь ли ты, что тут происходит.

– Я в семейные дела не лезу, – прохладно ответил Дрейфус. Повернулся к Пип – ни дать ни взять толстый шестиногий паук. – Факты, однако, проверил. Пансионат святой Агнессы – лицензированное штатом заведение на тридцать шесть мест, открыт в восемьдесят четвертом году, получает хорошее освещение в прессе. Директор – Винсент Оливьери, вдовец, сорок семь лет, трое сыновей – кому за двадцать, кому немного меньше двадцати, магистерский диплом в Сан-Францисском университете штата Калифорния. Архиепископ Эванс посещал это заведение по меньшей мере дважды. Хочешь взглянуть на фото Эванса и Оливьери на крыльце пансионата?

– Дрейфус, ты хоть что-нибудь чувствуешь?

Он смотрел на Пип ровным взглядом.

– Чувствую, что Рамон будет получать всю необходимую ему заботу. Мне будет недоставать его дружеского присутствия, но по его видеоиграм и крайне ограниченному диапазону беседы я скучать не стану. Мари, хоть и не сразу, вероятно, добьется аннуляции брака – я обнаружил в церковном округе несколько прецедентов. Признаться, я испытываю некоторую озабоченность по поводу наших финансов в связи с тем, что мы лишаемся ее взносов. Стивен говорит, что нам нужна новая крыша. И хотя тебе, судя по всему, нравится разделять с ним обязанности по дому, в роли кровельщиков я вас не очень хорошо себе представляю.

По меркам Дрейфуса это была весьма прочувствованная речь. Пип поднялась к Рамону и увидела, что он лежит на смятой постели лицом к стене, оклеенной спортивными постерами. Контраст между его запахом и улыбающимися лицами спортивных звезд был таким разительным, что у Пип навернулись слезы.

– Рамон, милый!

– Привет, Пип, – ответил он, не пошевелившись.

Она присела на кровать, дотронулась до его пухлой ладони.

– Стивен сказал, ты хотел меня видеть. Так повернись, посмотри на меня.

– Я хотел, чтоб мы были семейка, – сказал он, не поворачиваясь.

– Мы и будем семьей, – сказала она. – Никто никуда не денется.

– Я денусь. Мари сказала. В дом, где она работает. Там другая семейка, а я люблю нашу семейку. Ты разве не любишь нашу семейку, Пип?

– Еще как люблю.

– Пусть Мари уходит, а я хочу быть с тобой, и Стивеном, и Дрейфусом, как у нас было...

– Но мы все будем приходить к тебе в гости, а у тебя там появятся новые друзья.

– Не хочу новых друзей. Хочу старых, как у нас было.

– Но ты ведь любишь Мари. А она там будет каждый день, ты никогда не будешь один. Это будет немножко по-старому и немножко по-новому – все хорошо будет.

Ей показалось, голос у нее стал такой же, как на работе, когда она врала людям по телефону.

– Мари не занимается так со мной, как ты, Стивен, Дрейфус, – сказал Рамон. – Она все время занята. Почему, не понимаю, мне надо идти с ней, а не быть тут?

– Пойми, она заботится о тебе по-другому. Она зарабатывает деньги, и всем нам от этого хорошо. Она любит тебя так же сильно, как Стивен, и к тому же она теперь твоя мама. Человек должен быть с мамой.

– Но мне тут нравится, с семейкой. Что с нами будет, Пип?

Она уже рисовала себе, что теперь будет: как много времени она сможет проводить наедине со Стивеном. Самым лучшим в ее жизни здесь, лучше даже, чем открывшаяся в ней способность делать людям что-то хорошее, оказалась возможность каждый день быть с ним рядом. Выросшая с матерью, которая была настолько не от мира сего, что не могла картинку на стену повесить, ведь для этого надо вбить гвоздь, а сначала купить молоток, Пип переехала на Тридцать третью с большим желанием набраться практических навыков. И Стивен дал ей эти навыки. Показал, как шпаклевать и конопатить, как орудовать бензопилой, как застеклить окно, как привести в рабочее состояние добытую на помойке лампу, как разобрать велосипед, и был до того терпеливым и щедрым наставником, что Пип (или, по крайней мере, ее телу) казалось: ее готовят к тому, чтобы она стала ему лучшей парой, чем Мари, чьи домашние навыки строго ограничивались кухней. Он водил ее на помойки и показывал, как запрыгнуть в контейнер и раскидать мусор, добираясь до чего-то полезного, и теперь порой, если на глаза попадался многообещающий контейнер, она делала это сама, а потом, притащив домой что-нибудь годное, радовалась вместе со Стивеном. Это их объединяло. Она могла сделаться более похожей на него, чем Мари, а значит, со временем и более любимой. Эта надежда смягчала боль неутоленного желания.

Когда они с Рамоном вдоволь наплакались и она спустилась вниз одна, потому что он твердо заявил, что не голоден, со Стивеном сидели два его

молодых дружка из “Оккупай”, которые принесли большие бутылки дешевого пива. Она застала всех троих за кухонным столом, говорили они не о Мари, а о зарплатно-ценовой обратной связи. Она разогрела духовку, чтобы сунуть туда замороженную пиццу, вклад Дрейфуса в питание их коммуны, и тут сообразила, что с уходом Мари вся готовка, вероятно, ляжет на нее. Пока она размышляла о проблеме распределения обязанностей в коммуне, Стивен со своими приятелями, Гартом и Эриком, строил трудовую утопию. По их теории, рост эффективности труда благодаря новым технологиям и, как результат, уменьшение числа рабочих мест на производстве неизбежно приведут к более правильному распределению доходов. Помимо прочего – к тому, что большинство населения будет получать неплохие деньги ни за что, ведь Капитал осознаёт: обнищание потребителей изготавливаемой роботами продукции не в его интересах. Безработные потребители будут получать то же, что получали бы в качестве рабочих, и объединятся с теми, кто будет трудиться в сфере обслуживания; так возникнет новая коалиция трудящихся и постоянно безработных, колоссальный размер которой станет фактором социальных перемен.

– Но у меня вопрос, – вмешалась Пип, разрывая на листья кочан салата ромейн – других салатных ингредиентов Дрейфус не считал нужным покупать. – Если один получает сорок тысяч в год просто как потребитель, а другой те же сорок тысяч за то, что выносит утки в доме престарелых, разве второй не обозлится слегка на первого?

– Работникам сферы обслуживания нужно платить больше, – признал Гарт.

– *Намного* больше, – уточнила Пип.

– В справедливом мире, – подхватил Эрик, – именно сотрудники домов престарелых и ездили бы на мерседесах.

– Да, но даже в таком мире, – сказала Пип, – я все равно не хочу выносить утки, а ездить могу на велике.

– Да, но, допустим, ты захотела мерседес, а единственный способ его получить – это выносить утки?

– Нет, Пип права, – заявил Стивен, и по ее телу прошла легкая приятная дрожь. – Нужно вот как: труд обязателен, но мы постепенно снижаем пенсионный возраст, так что до тридцати двух, тридцати пяти или скольких там лет все работают на полную катушку, а после этого возраста никто не работает и все на полном обеспечении.

– Хреново будет в вашем новом мире молодым, – заметила Пип. – Которым уже и в старом-то мире хреново.

– А я бы согласился, – сказал Гарт. – Ведь я буду знать, что после тридцати пяти – сам себе хозяин.

– Если снизить пенсионный возраст до тридцати двух, – добавил Стивен, – можно к тому же запретить заводить детей до пенсии. Вот и демографическая проблема решена.

– Верно, – сказал Гарт, – но когда население сократится, пенсионный возраст придется опять поднимать, потому что обслуживающий персонал все равно нужен.

Пип вышла с телефоном на заднее крыльцо. Подобных утопических дискуссий она уже наслушалась немало, и то, что Стивену с приятелями так и не удастся разработать осуществимый план, в какой-то мере ее утешало: выходит, не только ее жизнь упорно не поддается исправлению, но и мир. Пока западный небосклон темнел, Пип из чувства долга отвечала на эсэмэски немногих оставшихся друзей, а потом из того же чувства написала матери, выражая надежду, что с глазом у нее лучше. Что касается ее собственного тела – оно по-прежнему ждало великих перемен. Под громкий стук сердца она смотрела, как небо над эстакадой меняет цвет с оранжевого на индиго.

Когда Пип вернулась, Дрейфус уже раздавал пиццу, а разговор каким-то образом вырuling на Андреаса Вольфа, пресловутого Светоносца. Пип налила себе пива в большой стакан.

– Это была утечка или они хакнули? – спросил Эрик.

– Они этого никогда не раскрывают, – сказал Гарт. – Может, кто-то просто слил им пароли или ключи. У Вольфа принцип: полная защита источников.

– Так пойдет, об Ассанже все скоро напрочь забудут.

– Ну, как программист он Ассанжу в подметки не годится. У него хакеры только наемные. Сам он даже игровую приставку не сможет хакнуть.

– Но “Викиликс” – грязная штука. Кому-то она и жизни стоила. А Вольф пока что довольно чистый. Безгрешный. Это у него бренд сейчас: безгрешность.

От слова *безгрешность* Пип передернуло.

– Это нам точно на руку, – сказал Стивен. – В этой куче много документов по недвижимости на нашем берегу залива. Ровно такую пакость мы старались подтвердить документально, действуя снаружи. Надо обратиться ко всем домовладельцам на нашем берегу, которые упомянуты в утечке. Привлечь их на нашу сторону, шум поднять, митинг устроить и все такое.

Пип, не понимая, о чем речь, повернулась к Дрейфусу. Он поглощал пищу с такой безрадостной быстротой, что казалось, будто она исчезает с тарелки без всякого его участия.

– Проект “Солнечный свет”, – заговорил он, – в субботу вечером выложил в сеть из неизвестной точки в тропиках тридцать тысяч электронных писем из чужой корпоративной переписки. По большей части это банк “Деловая хватка”, а он, что небезынтересно, является, как ты знаешь, банком, с которым у меня заключен ипотечный договор. И хотя мой случай нигде в этой переписке не упоминается, вряд ли можно считать патологическим умозаключение, что немецкие шпионы, пронюхав, как называется мой банк, попытались таким способом оказать нам услугу. Так или иначе, письма – в высшей степени разоблачительные. “Деловая хватка” по-прежнему систематически искажает факты, мошенничает, запугивает, чинит всевозможные препятствия и стремится к присвоению собственного капитала домовладельцев, временно оказавшихся в затруднительных обстоятельствах. В целом переписка проливает убийственный свет на отношения между федеральным правительством и банками.

– Немцы не шпионили, Дрейфус, – поправил его Стивен. – Это я сообщил Аннагрет про твой банк.

– Что? – резко спросила Пип. – Когда?

– Что – когда?

– Когда ты сообщил Аннагрет? Вы с ней что, до сих пор переписываетесь?

– Конечно.

Пип вперилась в раскрасневшееся от пива лицо Стивена, ища признаки вины. Признаков не увидела, но ее ревность обошлась и без них, сразу же нарисовав картину: теперь, когда Мари вышла из игры, Аннагрет бросает своего дружка, переезжает в Окленд, забирает себе Стивена, а Пип выживает из дому.

– Это потрясающая утечка, – сказал ей Стивен. – Тут все: как договориться с домовладельцем о рефинансировании, а потом уйти со связи, а потом “потерять” документы и начать процедуру изъятия недвижимости. Даже цифры есть. Схема применяется ко всякому, у кого два просроченных или неполных платежа подряд и собственный капитал составляет семьдесят пять тысяч или больше. И много случаев прямо здесь, на нашем берегу. Для нас это потрясающий подарок. И да, я практически уверен, что это устроила нам Аннагрет.

Слишком взволнованная, чтобы есть, Пип допила пиво и налила себе еще. За последние четыре месяца она получила двадцать с лишним

электронных посланий от Аннагрет и все, не читая, пометила как прочитанные. В Фейсбук она заглядывала довольно редко, отчасти потому, что ее угнетали фотографии тех, кто счастливее, отчасти потому, что на работе пользование соцсетями в личных целях не поощрялось; но чтобы все-таки сохранить себе эту возможность, она отклонила предложение Аннагрет о дружбе, иначе та и в Фейсбуке бомбардировала бы ее сообщениями. Воспоминания об Аннагрет переплетались у нее с воспоминаниями о Джейсоне, и все это создавало у нее странное ощущение замаранности, как будто она, отвечая на анкету, была не в халате, а голая, а потом замарала собой и Джейсона; как будто между ней и Аннагрет произошло что-то личное и очень нехорошее, такое, о чем потом могут сниться плохие сны. И теперь на все это наложилось слово *безгрешность*, которое для нее было самым постыдным словом на свете, ибо таково было ее полное имя. Пьюрити. Безгрешность. Она стыдилась своего водительского удостоверения, где рядом с унылой фотографией значилось: ПЬЮРИТИ ТАЙЛЕР. Заполнение любой казенной бумаги было для нее мини-пыткой. Мать добилась противоположного тому, чего хотела, нарекая ее так. Словно пытаясь избавиться от бремени обязанностей, налагаемых именем, Пип отнюдь не безгрешно вела себя в старших классах, она грешила и сейчас, вождедея чужого мужа... Она пила пиво, пока оно не притупило в ней мышление настолько, чтобы она почувствовала в себе силы встать и пойти с пиццей к Рамону.

– Я не голодный, – сказал он, лежа лицом к стене.

– Малыш, тебе нужно что-нибудь съесть.

– Я не голодный. А где Стивен?

– К нему пришли друзья. Скоро он к тебе поднимется.

– Я тут хочу остаться. С тобой, и Стивеном, и Дрейфусом.

Пип прикусила губу и спустилась обратно на кухню.

– Вы, ребята, сейчас идите, – сказала она Гарту и Эрику. – Стивену надо поговорить с Рамоном.

– Я скоро к нему поднимусь, – пообещал Стивен.

Страх, который ясно читался в его лице, разозлил Пип.

– Он твой сын! – напомнила она ему. – Он не хочет есть, пока ты с ним не поговоришь.

– Ладно, – отозвался он с детским раздражением, которое раньше обращал на Мари.

Глядя ему вслед, Пип задалась вопросом, не проскочат ли они со Стивеном мимо фазы блаженства напрямиком в ту фазу, когда милые начинают собачиться. Успешно нарушив посиделки, она прикончила пиво.

Она чувствовала, что назревает взрыв, и понимала, что самое лучшее было бы лечь спать, но очень уж сильно билось сердце. Желание, злость, ревность и недоверие слились в итоге в единую пивную, горькую жалобу: Стивен забыл о своем обещании поговорить с ней вечером с глазу на глаз. С Аннагрет отношения поддерживает, а Пип – *бросил*. Она услышала, как наверху захлопнулась дверь его комнаты, и, дожидаясь, пока она опять откроется, молча повторяла свою жалобу, формулировала ее так и сяк, пытаясь придать словам способность выдержать вес обиды, которую ощущала; но они этого веса все никак не выдерживали. Все-таки она поднялась на второй этаж и постучалась в дверь Стивена.

Он сидел на супружеской кровати и читал книгу с красным названием на обложке – что-то политическое.

– Ты читаешь? – изумилась она.

– Лучше читать, чем думать о том, чего я все равно не могу изменить.

Она закрыла дверь и села на край кровати.

– Вот ты разговаривал сейчас с Гарттом и Эриком – не знала бы, ни за что бы не догадалась, что сегодня что-то произошло.

– А чем бы они могли помочь? Моя работа как была, так и осталась. Друзья как были, так и остались.

– И я. Я тоже у тебя осталась.

Стивен нервно отвел взгляд.

– Да.

– Ты забыл, что обещал поговорить со мной?

– Да, забыл. Извини.

Она старалась дышать глубже и медленней.

– Что с тобой? – спросил он.

– Ты знаешь, что.

– Нет, не знаю.

– Ты пообещал со мной поговорить.

– Извини, пожалуйста. Я забыл.

Жалоба оказалась ровно такой хилой и бесполезной, как она опасалась. Повторять ее в третий раз смысла не было.

– И как мы теперь будем? – спросила она.

– Ты и я? – Он захлопнул книгу. – С нами ничего не случится. Найдем еще пару соседей, лучше женщин, чтобы ты не была единственной.

– То есть ничего не изменится. Все по-прежнему.

– А что должно измениться?

Она помолчала, слушая собственное сердце.

– Ты знаешь, год назад, когда мы с тобой ходили пить кофе, мне

показалось, что я тебе нравлюсь.

– Конечно, нравишься. Очень даже.

– И ты так говорил о своем браке, как будто это почти уже и не брак.

Он улыбнулся.

– Выходит, я был прав.

– Нет, но *тогда*, – настаивала она. – Ты *тогда* так говорил. Зачем ты так со мной поступил?

– Как я с тобой поступил? Мы пили кофе, и все.

Она смотрела на него умоляюще, искала глазами его глаза, пыталась понять по ним, на самом ли деле он такой бестолковый или только прикидывается по каким-то своим жестоким соображениям. Ее просто убивала невозможность прочесть его мысли. Дыхание стало чаще, потекли слезы. Не печали, а возмущения и упрека.

– Да что с тобой? – повторил он.

Она все глядела ему в глаза, и наконец он, кажется, понял.

– О, нет, – сказал он. – Нет-нет-нет. Нет-нет-нет.

– Почему нет?

– Пип, ну брось. Нет.

– И ты не замечал, – она уже задыхалась, – как я тебя хочу?

– Нет-нет-нет.

– Я думала, мы просто *ждем*. А теперь наконец-то. Наконец-то.

– Боже, Пип, нет.

– *Я тебе не нравлюсь?*

– Конечно, нравишься. Но не так, не в таком смысле. Прости, но не в таком смысле. Я тебе в отцы гожусь.

– Перестань! Всего пятнадцать лет! Это пустяки!

Стивен косился то на окно, то на дверь, словно искал путь для бегства.

– Ты хочешь сказать, что никогда ничего ко мне не чувствовал? – наседала она. – Что я все это навоображала?

– Должно быть, ты неправильно поняла.

– Что именно?

– Я никогда не хотел заводить детей, – сказал он. – От этого у нас с Мари все и пошло. Я не хотел детей. Я ей говорил: “Зачем нам дети? У нас есть Рамон, у нас есть Пип. Мы и так уже – родители”. Вот как я отношусь к тебе. Как к дочери.

Она смотрела на него во все глаза.

– Так вот, значит, какая у меня роль? Быть для тебя вроде *Рамона*? Жаль, что от меня не пахнет для полного твоего счастья. У меня есть мать, других родителей мне не надо!

– Ты уж прости, но похоже, кое-кого тебе не хватает, – возразил ей Стивен. – Мне кажется, тебе очень нужен отец. И я могу им быть. Ты можешь здесь оставаться.

– Ты в своем уме? Остаться? В качестве дочери?

Она встала и дико огляделась по сторонам. Уж лучше злиться, чем испытывать боль, может, лучше даже, чем быть любимой и лежать в его объятиях, потому что не злость ли на него она все это время на самом деле чувствовала? Злость, маскирующуюся под желание.

Не управляя собой, сама не зная, чего хочет, она стянула свитер, а потом сняла и лифчик, а потом забралась на колени к Стивену на кровать, навалилась на него, грубо домогаясь его своей наготой.

– Ну что, похожа я на дочь? Неужели похожа?

Он закрыл руками лицо.

– Прекрати.

– Посмотри на меня.

– Не хочу на тебя смотреть. Это ты не в своем уме.

– Говнюк! Говнюк! Говнюк, говнюк, говнюк! Ты такой херовый слабак, что даже глянуть на меня боишься?

Откуда взялись эти слова? Из какого тайного вылезли места? Уже прибывало, точно вода во время прилива, раскаяние, завихряясь вокруг ее колен, и уже Пип знала, что это раскаяние будет хуже всех прежних вместе взятых, но поделаться ничего не могла, уж начала, так идти до конца, делать то, чего требовало тело, а телу нужен был Стивен. Она терлась голой грудью о ситцевую рубашку, она оторвала его ладони от щек и занавесила ему лицо своими волосами; и она увидела, что наконец-таки добилась результата. Что он пришел в ужас.

– Ты совсем уверен, совсем? – спросила она. – Уверен, что я для тебя только дочь?

– Поверить не могу, что ты это делаешь. Четыре часа всего с тех пор, как она ушла.

– А если бы четыре дня – было бы по-другому? Или четыре месяца? Четыре года? – Она опустила лицо прямо к его лицу. – Потрогай меня!

Она попыталась управлять его руками, но Стивен был очень сильный и без труда оттолкнул ее. Слез с кровати и отступил к двери.

– Знаешь что, – сказал он, тяжело дыша. – Я не очень-то верю в психотерапию, но тебе, по-моему, она бы не помешала.

– Как будто у меня есть на нее деньги.

– Серьезно, Пип. Ты полную херню тут устроила. Ты о моих чувствах хоть на секунду задумалась?

– Я пришла, ты читал... – Она взяла книгу и посмотрела. – Грамши^[7].

– Если ты и с другими так себя ведешь, с людьми, у которых за тебя душа не болит, ничего хорошего из этого не выйдет. Мне не нравится, что ты совершенно не умеешь себя контролировать.

– Ну еще бы. Я же ненормальная. Только это всю жизнь и слышу.

– Нет, ты замечательная. Чудесная. Правда. Но... серьезно, Пип!

– Ты влюблен в нее? – спросила Пип.

Он уставился на нее от двери.

– В кого?

– В Аннагрет. В этом все дело? Ты в нее влюблен?

– Ох, Пип.

Его взгляд, полный жалости и заботы, был так чист и безгрешен, что почти победил ее недоверие; она почти поверила, что у нее не было причин ревновать.

– Она в Дюссельдорфе, – сказал он. – И мы едва знакомы.

– П-понятно... Но вы на связи.

– Пип, послушай себя. И попробуй посмотреть на себя со стороны.

– Я не слышу четкого “нет”.

– Господи боже!

– Пожалуйста, скажи мне, что я ошибаюсь. Просто скажи это.

– Мне нужна только Мари. Как ты не понимаешь?

Пип сощурилась, пытаясь понять и в то же время отказываясь.

– Но у Мари теперь другой мужчина, – сказала она. – А ты поддерживаешь связь с Аннагрет. Ты еще не понял, что любишь ее, но думаю, так оно и есть. Или скоро будет. Она же по возрасту тебе подходит, правда?

– Мне надо глотнуть свежего воздуха. А ты иди, пожалуйста, к себе.

– Докажи мне, – сказала она. – Докажи мне, что я неправа. Просто поддержи меня за руку одну секунду. Пожалуйста. Без этого я тебе не поверю.

– Ну что ж, значит, не поверишь.

Она съежилась на его кровати.

– Так я и знала, – прошептала она. Мука ревности была наслаждением по сравнению с мыслью, что она просто чокнутая. Но эта мысль набирала силу.

– Я пошел, – сказал Стивен.

И он оставил ее лежать на кровати.

Вторник

Она написала на работу, что нездорова, проблемы с желудком, – в какой-то мере это даже была правда. Около десяти утра к ней постучалась Мари, попросила выйти попрощаться с Рамоном, но малейшее телесное движение заставляло Пип вспомнить, что она натворила вчера. Когда Мари, подойдя к ее двери во второй раз, решилась войти в комнату и посмотреть, что в ней делается, Пип едва хватило голоса прошептать: *уйди*.

– Ты не заболела? – спросила Мари.

– Пожалуйста, уйди. И закрой за собой дверь.

Она слышала, как Мари подходит ближе, как опускается на колени.

– Я пришла попрощаться, – сказала Мари.

Пип не открыла глаз и ничего не ответила, а слова, которые затем излила на нее Мари, были лишены смысла, просто били ее одно за другим по мозгам, и ей ничего не оставалось, как ждать конца этой пытки. Но за пыткой словами последовала другая, еще худшая: Мари стала гладить ее по плечу.

– Ты так и не поговоришь со мной? – спросила Мари.

– Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, уйди, – только и смогла произнести Пип.

Мари нехотя ушла, и это была новая почти невыносимая пытка, которой звук закрывающейся двери не прекратил. Ничто не могло ее прекратить. Пип не могла подняться с постели, тем более покинуть комнату, тем более выйти на улицу, под сильный солнечный свет очередного дня, прекрасного, но не для нее, прекрасного до отвращения – она бы там просто умерла от стыда. У нее было полплитки темного шоколада, им она и питалась весь день, откусывала дольку, а потом лежала в полной неподвижности, оправляясь от этого напоминания о ее физическом я с его *видимостью*, которая так тяготила мать. Даже слезы были бы напоминанием, поэтому Пип не плакала. Ждала, что с приходом темноты станет полегче, но ошиблась. Изменилось только одно: теперь она могла рыдать об утрате Стивена, приступами, много часов подряд.

Среда

На рассвете она проснулась от жажды и голода. Желание сделать все по-тихому обострило ее чувства; она быстро оделась, собрала рюкзачок и пробралась на кухню. Задача была одна: не встречаться со Стивеном, в идеале – до конца своих дней, и хотя Стивен так рано не вставал, Пип не стала задерживаться, чтобы позавтракать, просто схватила что-то съестное наугад и сунула в рюкзачок. Затем выпила три стакана воды и зашла в туалет. Когда вышла, в коридоре ее подждал Дрейфус в своей теплой ночной пижаме.

– Вижу, лучше тебе, – констатировал он.

– Да, вчера весь день с животом было нехорошо.

– Я думал, в среду у тебя поздняя смена. А ты вдруг поднялась в шесть пятнадцать.

– Надо отработать за вчерашний день.

Дрейфуса не могла смутить даже самая откровенная ложь. Она лишь замедляла слегка работу его мозга, пока он обрабатывал информацию.

– Верно или ошибочно мое предположение, что ты тоже съезжаешь?

– Вероятно, съеду.

– А почему?

– Ты явно сам знаешь почему, раз предположил, так зачем спрашиваешь? Ты же обо всем знаешь, что в доме происходит.

Он невозмутимо проанализировал ее слова.

– Возможно, тебя заинтересует: я прочел переписку Стивена с немкой по электронной почте и в социальной сети. Все абсолютно невинно, полная идеологизированность переписки нагоняет скуку. Мне неприятно думать, что такой незначительный повод может лишит меня твоего интеллектуального общества.

– Ух ты, – сказала Пип. – Только я хотела признаться, что мне будет тебя слегка не хватать, как выясняется, что ты не только подслушиваешь, но и читаешь нашу почту.

– Только Стивена, – уточнил Дрейфус. – У нас один компьютер, а он всегда забывает выйти из системы. Полагаю, в юридическом плане это то же самое, что оставить предмет, могущий послужить уликой, на видном месте.

– Аннагрет, к твоему сведению, меня меньше всего сейчас беспокоит.

– Многие ее письма Стивену, что интересно, касаются тебя. Она явно

весьма огорчена тем, что ты не пожелала с ней подружиться. Лично я считаю твою позицию вполне объяснимой, скажу даже – в высшей степени благоразумной. Повторяю: благоразумной. Так или иначе, тебе, может быть, нелишне будет знать, что для немки интерес в этом доме представляешь именно ты. Не наш друг Стивен. Не Рамон и не Мари, разумеется. И, если проанализировать факты по правилам строгой логики, даже не я.

Пип уже надевала велосипедный шлем.

– Поняла, здорово, – сказала она. – Полезно знать.

– С этими немцами что-то было не так.

За латте со сконом в безликой забегаловке на Пьемонт-авеню она написала текст, над которым затем сидела в мучительных раздумьях, но который в конце концов все-таки отважилась послать: имейл Стивену, не получавшему эсэмэс, потому что для этого надо было оплачивать телефонный тариф. Да, почту Стивена читает Дрейфус, но это ее мало волновало: это было равнозначно тому, что о ней что-то “знает” компьютер или пес.

Прошу прощения за то, как я себя вела. Сообщи, пожалуйста, когда тебя не будет дома на этой неделе, чтобы я могла забрать свои вещи.

Отправив письмо, она явственнее ощутила утрату и попыталась представить себе, как могли бы развиваться события в комнате Стивена, если бы он не сумел ей воспротивиться, но воображение рисовало лишь то, что произошло на самом деле; а плакать в общественном месте – не лучшее занятие.

Через два столика от Пип сидел седобородый любитель чая со специями, сидел и поглядывал на нее. Когда она быстрым взглядом застала его врасплох, он тут же виновато опустил глаза в свой планшет. Почему Стивен не смотрел на нее так? Что, она прямо уж страшно многого хотела?

Мне кажется, тебе очень нужен отец. Из всего, что Стивен ей сказал у себя в комнате, это было самое жестокое. Но ведь у нее и в самом деле, конечно, далеко не все ладно, и уж если злиться, то не на Стивена, а на отсутствующего отца. Сощурился глаза, Пип уставилась на любителя чая по-восточному. Когда он снова глянул на нее, она ответила деланой гримаской, нехорошей улыбочкой; седобородый любезно кивнул и отвернулся от нее всем телом.

Она спросила эсэмэской подругу Саманту, не пустит ли она ее к себе с

ночевкой. Из оставшихся друзей и подруг Саманта была более всех погружена в себя, а потому менее всех склонна задавать неудобные вопросы. К тому же у Саманты, любительницы готовить, была неплохо оборудованная кухня, а Пип не забыла, что должна в пятницу привезти матери торт на ее день.

Надо было убить три часа до поздней смены на работе. Самое время оставить матери телефонное сообщение, не рискуя, что она возьмет трубку: ранним утром мать всегда слишком глубоко медитирует, чтобы отвечать на звонки, – но у Пип не было на это сил. Она смотрела, как выстраивается небольшая очередь за кофе и выпечкой – приятная глазу очередь из оклендцев разных рас, все только что из-под душа и вполне могут себе позволить ежеутренний завтрак вне дома. Вот бы ей работу, которая нравится, спутника жизни, которому доверяешь, ребенка, который тебя любит, жизненную цель! И ей пришло в голову, что как раз такую цель и предложила ей Аннагрет. Аннагрет она была нужна. Аннагрет была нужна *она*. Стыдно вспомнить, как она по-идиотски вцепилась в мысль, будто между Стивеном и Аннагрет что-то есть. Пиво, должно быть, виновато.

Она взялась за телефон и собрала вместе все письма от Аннагрет за четыре месяца. Самое раннее было озаглавлено пожалуйста, прости меня. Пип прочла его, получая удовольствие и от извиняющегося тона, и от комплиментов своему уму и характеру, и тут же поймала себя на том, что исполнила просьбу Аннагрет – что простила ее с поспешностью, которая сама, может быть, была чуточку идиотской. Или не такой уж идиотской? Ведь Аннагрет не только симпатизировала ей, но и была *права* – насчет Стивена права, насчет мужчин вообще, во всем права. И не махнула на нее рукой, двадцать писем ей написала, последнее – всего неделю назад. Никто другой, кого она знала, не был бы так настойчив.

Она открыла письмо двухмесячной давности под заголовком прекрасная новость.

Дорогая Пип! Я знаю, ты, видимо, все еще сердишься на меня и, может быть, даже не читаешь мои письма, но я должна сообщить тебе очень хорошую новость: тебя ПРИНЯЛИ на практику в проект “Солнечный свет”! Надеюсь, ты воспользуешься этой суперувлекательной и многообещающей возможностью. Я не перестаю думать о том, что ты хотела найти некую информацию личного характера, – теперь у тебя есть шанс сделать это. Проект оплатит тебе питание и

проживание в самом интересном уголке Земли, сверх того ты будешь получать небольшую ежемесячную стипендию, часто удастся помочь и с оплатой авиаперелета. Прочти письмо в приложении и ознакомься с подробной информацией. Добавлю одно: я дала тебе НАИЛУЧШУЮ рекомендацию, и дала ее от всего сердца. Судя по всему, Андреас и другие все еще доверяют моему выбору! ☺

Я очень рада за тебя и надеюсь, ты не отвергнешь это предложение. Жаль только, если ты приедешь, меня там с тобой не будет. Но может быть, если ты все еще на меня сердишься, мое отсутствие придаст тебе желания поехать? ☺ Обнимаю, Аннагрет.

P. S. Вот адрес Андреаса: ahw@sonnenlicht.org. Можешь написать ему напрямую и задать вопросы.

Прочитав, Пип почувствовала смутное разочарование. Похоже было на анкету, где не может быть неправильных ответов: если получить практику в Проекте так легко, много ли она стоит? И что получается: едва она начала менять свое отношение к Аннагрет, как та пытается отправить ее к очередному мужчине, пусть и знаменитому, *харифметическому*. Досадуя, не давая себе времени подумать, она ткнула пальцем в адрес Вольфа и отстучала ему письмо:

Уважаемый Андреас Вольф! От малознакомой мне Аннагрет я получаю сообщение, что могу стать в Вашем проекте платной практиканткой. Ваша-то выгода в чем? Вы девиц для секса, что ли, так заманиваете? Фальшиво все это выглядит, откровенно говоря, и очень подозрительно. Ощущение, что тебе лапшу на уши вешают. Меня не особенно интересует, чем Вы там у себя в джунглях или еще где занимаетесь, но Аннагрет, похоже, считает, что мое отношение значения не имеет. Это удивляет, мягко говоря. Ваша Пип Тайлер. Окленд, Калифорния, США.

Едва нажав на кнопку “Отправить”, она ощутила раскаяние; разрыв между поступком и раскаянием сокращался так стремительно, что скоро у нее, видимо, останется одно раскаяние без поступков – может, оно и к

лучшему.

В порядке покаяния она залезла в поиск и запоздало кое-что посмотрела о Вольфе и его проекте. Впечатляло, как мало нашлось недоброжелательных отзывов, ведь интернет кишит людьми, брызжущими ядом, – а тут лишь нападки горстки негибавших приверженцев Джулиана Ассанжа да заявления правительств и корпораций о преступном характере деятельности Вольфа, но их-то интерес очевиден. А так он купался во всеобщем обожании, словно Аун Сан Су Чжи^[8] или Брюс Спрингстин. Поиск по сочетанию его имени со словом *безгрешность* принес четверть миллиона ссылок.

Девиз Вольфа, боевой клич его проекта, гласил: “Солнечный свет – лучший антисептик”. Он родился в Восточной Германии в 1960 году и в восьмидесятые приобрел известность как решительный и дерзкий критик коммунистического режима. После падения Берлинской стены он возглавил борьбу за сохранение гигантских архивов восточногерманской тайной полиции и за то, чтобы они были открыты обществу; недоброжелателей и тогда у него было очень мало, только бывшие осведомители, чья репутация пострадала после воссоединения страны, когда их прошлое было вынесено на солнечный свет. Проект “Солнечный свет” Вольф основал в 2000 году; вначале он сделал акцент на разного рода злоупотреблениях в Германии, но вскоре масштаб его деятельности расширился, он принялся разоблачать проявления социальной несправедливости и раскрывать грязные секреты по всему миру. В сети имелось несколько сотен тысяч его фотографий, внешность у него, судя по ним, была впечатляющая, но женат он, похоже, никогда не был и детей не имел. В 2006 году ему пришлось бежать от судебного преследования из Германии, а в 2010 году и вообще покинуть Европу; убежище он получил сначала в Белизе, а позднее в Боливии, где его горячо поддержал президент-популист Эво Моралес. Единственным, что Вольф хранил в секрете, были личности его главных спонсоров (по этому поводу в интернете накопился терабайт, а то и два жарких споров о его “непоследовательности”), и единственным, что в его поведении выглядело небезупречным, была жесточенность, с какой он стремился превзойти Ассанжа. Вольф язвительно критиковал и методы, которыми пользовался Ассанж, и его личную жизнь; Ассанж, со своей стороны, всего-навсего делал вид, будто никакого Вольфа на свете не существует. Вольф часто сопоставлял “Викиликс” – “нейтральную, ничего не фильтрующую платформу” – со своим “решающим сознательно поставленные задачи” Проектом и часто проводил моральное различие между своим *доброкачественным и открыто признаваемым побуждением*

защищать спонсоров Проекта и дурными *тайными побуждениями* тех, кого “Солнечный свет” разоблачал.

Пип была поражена огромным количеством разоблачений зла, причиняемого женщинам: не только такие крупные темы, как насилие над женщинами во время войны или сознательная дискриминация женщин в сфере зарплат, но и мелкие сюжеты – например, сексистские письма банковского менеджера из Теннесси. Редко попадалось интервью или пресс-релиз, где не упоминался бы воинствующий феминизм Вольфа. Пип теперь лучше понимала, как Аннагрет может, предпочитая общаться с женщинами, восхищаться Вольфом.

Серьезность и сам объем интернет-информации о Вольфе усугубили раскаяние Пип из-за ее письма. Он: подлинный, идущий на риск герой, друг президентов. Она: глупая мелкая злючка. Вплоть до минуты, когда уже пора было отправляться на работу, она не могла заставить себя проверить почту. Одно за другим пришли два новых письма: от Стивена, а затем от Вольфа.

Извинение принято, инцидент на пути к забвению. Съезжать нет никаких причин. С тобой очень здорово жить под одной крышей, а Рамон будет у нас три вечера в неделю: мы с Мари вчера так договорились.

С.

Электронная почта тем нехороша, что письмо можно стереть – и только; его нельзя смять, кинуть на пол, растоптать, разорвать, сжечь. Что может быть более жестоким со стороны человека, отвергшего твою любовь, чем такая сочувственная снисходительность? Злость мигом прогнала раскаяние и стыд. Нет уж, пусть “инцидент” запомнится хорошенько! Пусть он хорошенько обратит на нее внимание! Она дала очередь:

Решив все забыть, ты, похоже, забыл и мой вопрос: когда тебя не будет дома?

Поднявшись за четыре часа до начала рабочего дня, теперь она почти опаздывала, но, пока кровь не остыла, а раскаяние было оттеснено, она решила прочесть и письмо Вольфа.

Дорогая Пип Тайлер!

Над Вашим письмом я обхохотался, побольше бы таких. Само собой, у Вас есть вопросы, мы были бы разочарованы, если бы их не было. Нет, в сексуальное рабство я никого не обращаю, и лапшу у нас готовят, но только для еды. Замечательных хакеров, юристов, теоретиков у нас так много, что я не всегда могу сполна их загрузить. Чего нам, *откровенно говоря* (Ваше забавное выражение), не хватает, так это обычных людей с живым умом и независимым характером, которые помогали бы нам видеть мир, каков он есть, а миру – видеть нас, каковы мы есть. С Аннагрет я знаком много лет, доверяю ей, и она никогда еще так горячо не рекомендовала соискателя. Мы будем очень рады, если Вы приедете и ознакомитесь с нашей деятельностью. Если мы Вам не понравимся, считайте, что просто провели отпуск в красивой местности, и спокойно возвращайтесь домой. Но мне кажется, что мы Вам понравимся. Наш маленький грязный секрет состоит вот в чем: мы тут очень весело живем.

Шлите мне еще вопросы, чем смешнее, тем лучше.

Ваш

Андреас

После всего, что она прочла о Вольфе, она поверить не могла, что он прислал ей такое длинное письмо, да так быстро. Она перечитала его дважды, прежде чем села на велосипед и покатила под гору, подгоняемая, помимо гравитации, будоражащей мыслью, что она, может быть, и правда неординарная личность, что в жизни у нее именно поэтому такой бардак, что Аннагрет первая это увидела и что даже если Вольф – самый коварный в мире распутник, а Аннагрет – его сексуально травмированная сводня и даже если она, Пип, падет жертвой его распутства, Стивену она так или иначе отомстит: ведь Вольф, кем бы он ни был, уж точно не *слабоват*.

Когда доехала до работы, пять минут в запасе еще оставалось. Она задержалась в гараже для велосипедов и напечатала сложившийся в голове ответ:

Уважаемый мистер Вольф! Спасибо за милое

письмо, которое пришло подозрительно быстро. Если бы я пыталась заманить невинную молодую девушку в Боливию, чтобы обратить в сексуальное рабство и/или превратить в служительницу моего собственного культа, я бы в точности такое письмо и написала. Честно говоря... приходит мысль... откуда мне знать, что это послание написано не служительницей Вашего культа и сексуальной рабыней по совместительству? Личностью с живым умом и некогда независимым характером? Налицо проблема с верификацией!

Ваша Пип Т.

Надеясь, что заставит его этим письмом обхохотаться еще раз, Пип прошла наверх, в свой отсек. Возле компьютера увидела наклейку от сослуживицы: *Вот нашла – ☺ Джанет* и распечатку рецепта: “Торт из цельнозерновой пшеничной муки с веганским сырным кремом и ежемалиной”. С тяжелым вздохом рухнула на стул. Мало ей в чем раскаиваться – теперь еще и в недобрых мыслях о сослуживицах.

Но есть и плюсы: похоже, она завязала игривую переписку с мировой знаменитостью. Пип всегда думала, что магия чужой славы на нее не действует, – в какой-то мере даже испытывала к славе неприязнь, смутно родственную ее неприязни к людям, имеющим братьев или сестер. Чувство было такое: *почему это ты заслуживаешь настолько большего внимания, чем я?* Когда друг по колледжу получил работу в Голливуде и начал хвастаться знакомствами с известными актерами, Пип тихо прекратила с ним общение. Но сейчас она видела: слава значима тем, что на *других людей* ее магия действует; на них ее, Пип, знакомство со знаменитостью может произвести впечатление, и тогда ее собственная значимость пусть ненамного, но увеличится по сравнению с нынешним нулем. В этом состоянии приятной соблазненности она углубилась в список телефонов Ранчо-Анчо, умышленно воздерживаясь от проверки своей почты, растягивая предвкушение.

В обеденный перерыв она прочла ответ Вольфа.

Вижу, почему Вы так понравились Аннагрет. Мое письмо попало бы к Вам еще быстрее, если бы не прошло через четырехкратное по сравнению с обычным число серверов. В наши дни у высокоэффективного

профессионала должен быть, по сути, только один обязательный навык: вовремя разгрести почту. К сожалению, по соображениям безопасности я не могу предложить Вам видеочат. Но важно другое: нашему Проекту нужны люди со здравым смыслом, готовые к риску. Пусть Ваш здравый смысл подскажет Вам, стоит ли рискнуть и поверить моим письмам. Разумеется, Вы можете призвать все возможности интернета на помощь своему здравому смыслу и будьте уверены: если Вы решитесь на прыжок, мы Вас подхватим. Но решать, верить мне или нет, в конечном счете только Вам. А.

Она с удовольствием отметила, что он отказался от обращения в начале письма, и, отвечая, тоже опустила эту отчуждающую формальность.

Но может ли доверие быть односторонним? Не стоило ли бы и *Вам* довериться *мне*? Возможно, каждому из нас стоило бы рассказать другому о чем-нибудь таком, чего он стыдится. Я даже готова быть первой. Мое настоящее имя – Пьюрити. Я так его стыжусь, что всегда крепко сжимаю бумажник, когда вынимаю его при друзьях, потому что люди, бывает, выхватывают у друзей бумажники, чтобы поржать над фото в водительском удостоверении, а у меня в удостоверении – “Безгрешность”.

Как Вам это, мистер Безгрешность? Ну, теперь Ваша очередь.

От собственной дерзости кружилась голова, аппетит пропал, и она решительно двинулась по коридору к кабинету Игоря. Тот складывал вещи в портфель: его рабочий день закончился. При виде Пип он нахмурился.

– Да, знаю, – сказала она. – Три дня голову не мыла.

– С желудком лучше? Ты не заразная?

Она плюхнулась в кресло для посетителей.

– Так, послушай, Игорь. Эта твоя игра в вопросы и ответы...

– Давай об этом не будем, – быстро сказал он.

– Ты чего-то от меня хотел и предложил, чтобы я сама угадала. Чего ты хотел?

– Пип, извини. Я везу сыновей на бейсбол. Момент неподходящий.

- Насчет суда я пошутила.
- Ты правда выздоровела? Ведешь себя как-то странно.
- Ты ответишь на мой вопрос?

Игорь смотрел затравленно, прямо как Стивен двумя днями раньше.

– Если тебе нужно еще время поправиться, возьми пару дней. Придешь на следующей неделе.

– Я бы вообще не приходила.

– Вопросы и ответы – это я глупо пошутил. Прошу у тебя прощения. А сейчас извини, меня сыновья ждут.

Сыновья: еще хуже, чем братья и сестры!

– Сыновья могут пять минут подождать, – сказала она.

– Поговорим завтра с самого утра.

– Ты сказал, что я тебе нравлюсь, хоть ты и не знаешь почему. Сказал, был бы рад, если бы у меня начало получаться.

– И то и другое – чистая правда.

– Но у тебя не найдется пяти минут, чтобы уговорить меня не увольняться?

– Завтра – хоть целое утро. Но прямо сейчас...

– Прямо сейчас тебе флиртовать некогда.

Игорь вздохнул, глянул на часы и сел во второе гостевое кресло.

– Не увольняйся сегодня, – попросил он.

– Думаю, как раз сегодня я и уволюсь.

– Из-за флирта? Я спокойно могу без него обойтись. Я думал, тебе нравится.

Пип нахмурилась.

– Так ты ничего на самом деле от меня не хотел.

– Нет, просто так, забава. Просто подразнить тебя. Ты такая смешная, когда злишься. – Он был явно доволен этим объяснением, доволен своим добродушием, не говоря уже о мужской красоте. – Ты могла бы победить на всекалифорнийском конкурсе “Самая злая служащая года”.

– Значит, за твоим флиртом ничего не стояло.

– Конечно, нет. Я женат, в браке у меня все хорошо, мы на работе, существуют правила.

– Иными словами, я для тебя худшая из подчиненных и ничего больше.

– Мы можем утром поговорить о другой работе для тебя.

Вот и все, чего она добилась, пойдя на него в атаку: разрушила давнюю игру, которая делала эту работу хотя бы отчасти сносной. Утром Пип казалось, что большего одиночества и быть не может, но оказывается, может.

– Понимаю, звучит безумно, – сказала она, почувствовав, как перехватило горло. – Но может быть, попросишь сегодня сходить на бейсбол жену? Может быть, сводишь меня куда-нибудь поужинать и поможешь мне кое-что решить?

– Я бы не против, но сегодня у жены другие планы. А я уже опаздываю. Ты бы ехала домой, а завтра утром потолкуем, хорошо?

Она покачала головой.

– Мне очень, очень, очень нужен друг – прямо сейчас.

– Мне жаль. Но я ничем не могу помочь.

– Вижу.

– Не знаю, что с тобой стряслось, но у меня есть предложение: съезди к маме. Отпускаю тебя до понедельника, а там поговорим.

У Игоря зазвонил телефон, и пока он отвечал, Пип сидела, понурился голову, завидуя жене, перед которой он извинялся за опоздание. Когда он дал отбой, она почувствовала, что он медлит, стоя над ней, словно соображает, не положить ли руку ей на плечо. Он не стал этого делать.

Когда он ушел, Пип вернулась к себе в отсек и напечатала заявление об увольнении. Проверила эсэмэски и почту, но ни от Стивена, ни от Андреаса Вольфа ничего нового не было, так что она набрала номер матери и оставила ей сообщение: она приедет в Фелтон на день раньше, чем собиралась.

Четверг

От Саманты до автобусной станции было мили полторы пешком. Пока Пип туда добиралась с рюкзаком на спине и со взятой у Саманты взаймы коробкой от роликовых коньков, куда она положила веганский торт с ежемалиной, над которым билась все утро, ей понадобилось в туалет. Но дверь в дамскую комнату преграждала девица ее лет с афрокосичками, наркоманка, и/или проститутка, и/или сумасшедшая; она выразительно покачала головой, когда Пип попыталась протиснуться мимо нее.

– Можно я быстренько пописаю?

– Нет, ждать придется.

– А долго ждать-то?

– Сколько понадобится.

– Для чего понадобится? Я ни на что смотреть не буду, мне только пописать.

– А в коробке что? – спросила девица. – Ролики?

В результате на автобус до Санта-Круза Пип села с полным мочевым пузырем. Туалет в хвосте автобуса, ясное дело, не работал. Мало ей общего жизненного кризиса – теперь всю дорогу до Сан-Хосе, а то и до Санта-Круза сиди, терпи, и неизвестно, дотерпишь ли.

Пи-пи-контроль, – сказала она себе. – *Контроль-пи. Ctrl+P*. Когда подростком, живя в Фелтоне, она ездила в школу в Санта-Круз, у всех ее подруг были *Apple*, а ей мать купила простенький ноутбук *PC*, и когда *надо* было с него что-нибудь распечатать, она нажимала клавиши *Ctrl* и *P*. Печатать, губя лесные массивы, мать ей разрешала, лишь когда действительно было *надо*, как по-маленькому. “Мне *надо* это распечатать”: в “Возобновляемых решениях”, подчеркивая свою заботу о планете, всегда делают особое ударение на слове *надо*. А ей сейчас *надо Ctrl+P...* Ход мысли показался ей занятным; она гордилась тем, что способна на такие затейливые ассоциации; эта мысль, однако, бегала по кругу и никуда не вела. И всю дорогу (в “Возобновляемых решениях” так любили говорить: *всю дорогу вместо постоянно*) Пип хотелось по-маленькому.

Когда шоссе ненадолго выныривало из промышленных низин восточного берега, прежде чем снова в них погрязнуть, за горами по ту сторону залива Пип видела туман. Вечером туман распространится; Пип надеялась, что, если она не дотерпит и обмочится, это все же произойдет под его милосердным покровом. Чтобы отвлечься, она воткнула себе в уши

Арету Франклин – по крайней мере, больше не надо, подлаживаясь под вкусы Стивена, заставлять себя любить мужской хардкор-рок – и перечитала свою последнюю переписку с Андреасом Вольфом.

Он ответил ей поздно вечером, когда она, приняв Самантин ативан, уже вырубилась у нее на диване.

Будьте уверены: я не выдам тайну Вашего имени. Как Вы понимаете, публичным фигурам следует соблюдать особую осторожность. Представьте, с каким недоверием мне приходится идти по жизни. Раскрывая кому-нибудь что-нибудь постыдное, я рискую быть выставленным на всеобщее обозрение, осужденным, осмеянным. Всех, кто пускается в погоню за славой, стоит предупреждать об этой ее стороне: ты никогда уже не будешь никому доверять. В каком-то смысле ты оказываешься проклят – не только потому, что не можешь никому доверять, но и, хуже того, ты постоянно должен принимать в расчет свою важную роль, внимание к себе прессы, и это разлучает тебя с самим собой и отравляет тебе душу. Быть знаменитым отвратительно, Пип. Однако все хотят быть знаменитыми, из этого весь мир сейчас и состоит, из этой тяги к известности.

Если я сообщу Вам, что, когда мне было семь лет, мать показала мне свои гениталии, как Вы распорядитесь этой информацией?

Прочитав это письмо утром и мгновенно усомнившись, что Вольф действительно поделился с ней тем, чего никто о нем не знает, она тут же забила в поиск: *андреас вольф мать гениталии семь лет* и получила только семь ссылок, которые все вели не туда. Среди них – “72 интересных факта об Адольфе Гитлере”. В ответ она написала:

Я скажу: ни хрена себе – и буду держать язык за зубами. Потому что, мне кажется, Вы слегка преувеличиваете, когда пишете, как Вам жалко себя и как плохо быть знаменитым. Похоже, забыли, как это фигово, когда ты никому не интересен и не имеешь никаких возможностей, никакой власти ни над чем. Если

Вы вздумаете раскрыть мой секрет, Вам поверят, но если я раскрою Ваш, просто скажут, что я сфабриковала письмо от Вас по какой-то своей нездоровой женской причине. Считается, что у нас, у девушек, есть по крайней мере эротическая власть, но мой недавний опыт показывает, что это просто-напросто ложь, мужчины так говорят, чтобы им не было слишком стыдно иметь ВСЮ власть, какая бывает.

По-видимому, у Вольфа как раз было время переписки – в Боливии послеполуденное: его ответ пришел быстро, несмотря на бесконечную цепочку серверов, обеспечивающих информационную безопасность.

Извините, если это прозвучало как жалость к себе, – я-то хотел, чтобы прозвучало трагично!

Да, я обладаю некоторой властью как мужчина, но я же не просил о том, чтобы родиться мужчиной. Есть мнение, что родиться мужчиной – все равно что родиться хищником, и тогда единственное, что остается хищнику, если он сочувствует мелкой живности и не хочет смириться с предназначением ее убивать, – это изменить своей природе и заморить себя голодом. Но, может быть, родиться мужчиной – это больше похоже на что-то иное? Скажем, на то, чтобы родиться, имея больше денег, чем другие. Тогда вопрос, как правильно себя вести, приобретает более интересную социальную окраску.

Надеюсь, Вы приедете к нам. Приедете и убедитесь, что возможностей у Вас больше, чем Вы думали.

Ответ ее разочаровал. Многообещающий, казалось бы, флирт переходил в немецкие отвлеченности. Пока пропекались коржи для торта, она написала ему:

Уважаемый мистер с весьма уместной волчьей фамилией!

Я-то чувствую себя скорее мелкой живностью, которая смирилась со своей природой и просто-напросто хочет быть съеденной. Причина тому – несомненно, мое

душевное состояние, тот внутренний бардак, что виден сейчас многим, кто меня знает. Ваш Проект кажется мне местом, где многие гораздо более благополучные, чем я, люди радостно реализуют свой потенциал. Если у Вас нет лишних \$ 130 000, чтобы я расплатилась по учебному кредиту, и если у Вас нет настроения написать моей матери (одинокой, нелюдистой, склонной к депрессии) что-нибудь такое, что убедило бы ее согласиться неизвестно сколько обходиться без меня, боюсь, я не смогу раскрыть у Вас эти свои чудесные новые возможности.

Искренне Ваша, Пип

От письма разило жалостью к себе, но она его все-таки отправила, а затем, покрывая торт веганским кремом, похожим на оконную замазку, и собирая рюкзак для поездки в Фелтон, мысленно проиграла заново свои последние неудачи с мужчинами.

Дороги были загружены, и потому автобус сделал в Сан-Хосе слишком короткую остановку, выйти Пип не успела. Пока автобус ехал дальше по Семнадцатому шоссе и через горы Санта-Круз, она чувствовала, как боль расходится от мочевого пузыря по всему животу. Когда проезжали Скоттс-Вэлли, появился драгоценный туман, и внезапно время года стало иным, время суток – менее определенным. Июньскими вечерами очень часто бывает так, что океанский туман, накрывая прибрежный Санта-Круз точно огромной лапой, ползет над деревянными “русскими горками”, над медленно текущей рекой Сан-Лоренсо, над широкими улицами, где селятся серферы, и поднимается вверх, к секвойям. К утру то, что выдохнул океан, сгущаясь, становится росой, такой обильной, что начинают течь ручейки. И это один из обликов Санта-Круза: призрачный, серый, поздно просыпающийся город. Когда же океан поздним утром делает вдох, появляется другой Санта-Круз, оптимистичный, солнечный; но огромная лапа весь день висит над океаном, дожидаясь своего часа. Ближе к закату, словно депрессия после эйфории, она снова надвигается на берег, приглушая все человеческие звуки, скрывая пейзажи, делая все более локальным, – зато хриплый рев морских львов на камнях под пирсом, кажется, звучит теперь громче. Их *арп, арп, арп*, которым они сзывают родичей, все еще плавающих в тумане, слышно за мили.

К тому времени, как автобус, свернув с Фронт-стрит, подъехал к

станции, зажглись обманутые датчиками уличные фонари. Пип проковыляла в уборную, отыскала незанятую кабинку, уронила рюкзак на грязный пол, сверху пристроила коробку с тортом и сдернула с себя джинсы. Внутренние мышцы медленно расслаблялись – и тут пискнул телефон, сигнализируя о входящем сообщении.

Практика рассчитана на три месяца с возможностью продления. Ваша стипендия покрывает текущие платежи по кредиту. А Вашей матери, не исключая, будет полезно немного побыть без Вас.

Жаль, что Вам сейчас нехорошо и Вы чувствуете себя бессильной. Перемена обстановки иногда в таких случаях помогает.

Мне часто хотелось понять, как чувствует себя пойманная добыча. Иногда она, кажется, застывает в челюстях хищника, словно не испытывает боли. Словно природа в последнюю минуту проявляет к ней милосердие.

Пип изучала последний абзац, пытаясь понять его смысл: завуалированная угроза? Или, наоборот, обещание? Но тут вставил свое слово рюкзак – вернее, не слово, а этакий суховатый выдох. Просел под тяжестью коробки с тортом. Прежде чем Пип успела унять струю мочи и рвануться за коробкой, та сползла на пол, раскрылась и вывалила торт вниз кремом на влажный от тумана пол, где сигаретный пепел был смешан с нечистотами, где наследили уличные музыкантши, бродяжки и попрошайки. Раскатились ягоды.

– Очень мило с твоей стороны, – сказала она погубленному торту. – Как ты для меня постарался.

Плача из-за своей незадачливости, она собрала незапачканные остатки торта в коробку, а потом так долго вытирала бумажными полотенцами пол от крема – можно подумать, это какое-то дерьмо-альбинос, можно подумать, кому-нибудь, кроме нее, важна тут чистота, – что едва не опоздала на фелтонский автобус.

Попутчица, грязнуха со светлыми дредами, обернулась и спросила:

– В Ломпико едешь?

– Нет, только донизу, до Фелтона, – ответила Пип.

– Я в Пико три месяца, раньше никогда не была, – сказала девушка. – Там так клево, ни на что не похоже! Там два парня, они меня пустили к

себе жить за секс с обоими. А я разве против? В Пико все по-особому. Ты там бывала?

Так вышло, что именно в Ломпико Пип рассталась с девственностью. Может, и правда там особое место?

– Вижу, у тебя неплохо все складывается, – вежливо заметила она.

– Пико – это супер, – подтвердила девушка. – Они возят к себе воду на участок, потому что он наверху. И с пригородной швалью не тусуются. Круто! И кормят меня, и всё. Там ни на что не похоже!

Девушка выглядела вполне довольной жизнью, а Пип словно осыпали пеплом. Она выдавила из себя улыбку и воткнула в уши наушники.

До Фелтона туман еще не добрался, воздух на остановке все еще пах прогретыми иглками секвой, устилающими землю, но солнце уже зашло за кряж, и птицы, детские подруги Пип, все эти коричневые и пятнистые тауи, скакали по тенистой дорожке, по которой она шла. Едва Пип увидела свой домик, как дверь распахнулась и мать выбежала навстречу, восклицая: “О! О!” Любовь, которой светилось ее лицо, показалась Пип обнаженной почти до неприличия. И все же, как всегда, Пип не могла не обнять мать в ответ. Тело, с которым мать была в таких сложных отношениях, дочери было дорого. Его тепло, его мягкость; его смертность. Слабый, но отчетливый запах материнской кожи возвращал Пип в детские годы – они долго тогда с матерью делили постель. Ей каждый раз, возвращаясь домой, хотелось уткнуться лицом в грудь матери и стоять так, обретая покой, но почти всегда она заставляла мать посреди каких-то мыслей, которыми той не терпелось поделиться.

– Я только что так приятно поболтала про тебя с Соней Доусон в магазине! – заговорила мать. – Она припомнила, как ты была добра ко всем малышам, когда сама училась в третьем классе. Помнишь? Она до сих пор хранит рождественские открытки, которые ты сделала для ее близнецов. Я напрочь забыла, что ты сделала открытки для *всех* детсадовских. Соня говорит, весь тот год, стоило спросить близняшек, что они больше всего любят, и они отвечали: Пип. Любимое блюдо – Пип! Любимый цвет – Пип! Ты у них была самая любимая во всем. Такая милая маленькая девочка, так добра к малышам. Ты же помнишь Сониных близняшек?

– Смутно, – ответила Пип, направляясь к дому.

– Они тебя обожали. Преклонялись. Весь детский сад поголовно. Я так обрадовалась, когда Соня мне напомнила.

– Очень жаль, что я не могла вечно оставаться восьмилетней.

– Все говорили, что ты необычная, особенная, – не умолкала мать, следуя за ней по пятам. – Все учителя. И даже другие родители. В тебе

была особая магия – любви, доброты. Я так бываю счастлива, когда вспоминаю об этом.

В домике Пип поставила вещи на пол и тут же расплакалась.

– Котенок? – всполошилась мать.

– Я испортила твой торт! – горевала Пип, как восьмилетняя.

– О, ну разве это беда? – Мать обхватила ее, стала качать, словно баюкая, притянула ее лицо к своей ключице, держала ее крепко. – Я так счастлива, что ты здесь!

– Я его весь день делала! – прорыдала Пип. – А потом уронила на грязный пол на автобусной станции. Прямо на пол, мама. Прости меня! Я все пачкаю, к чему ни притронусь. Прости меня, прости. Прости!

Мама что-то ласково шептала, целовала ее в голову, пригревала, пока часть горя не вышла из Пип в виде соплей и слез, и тогда у нее возникло чувство, что, сорвавшись, она поступилась каким-то ценным преимуществом. Она высвободилась и пошла в ванную привести себя в порядок.

На полках – выцветшие фланелевые простыни, на которых она спала еще в детстве. На вешалке – все то же застиранное банное полотенце, мать пользовалась им уже двадцать лет. На бетонном полу крошечного душа, который мать регулярно терла и скребла, давно не осталось ни следа краски. Увидев, что мать ради нее зажгла на умывальнике две свечи, как для романтического свидания или религиозного ритуала, Пип чуть снова не разрыдалась.

– потушила чечевицу и сделала капустный салат, как ты любишь, – сообщила ей мать, стоя у двери. – Забыла тебя спросить, ешь ли ты до сих пор мясо, поэтому не стала покупать отбивную.

– Трудновато жить в коммуне и не есть мяса, – сказала Пип. – Впрочем, я больше там не живу.

Открывая бутылку вина, привезенную исключительно для себя, и дожидаясь, пока мать выставит на стол угощение, на которое ей позволила расщедриться скидка для работников магазина, Пип излагала причины – по большей части вымышленные – своего ухода из дома на Тридцать третьей. Мать, похоже, верила каждому ее слову. Затем Пип налегала на вино, а мать жаловалась на веко (тика нет, но такое ощущение, что в любую минуту может снова начаться), на последние вторжения в ее личное пространство на работе, на бестактность к ней покупателей в магазине; рассказала о моральной дилемме, которую ставит перед ней кукареканье соседского петуха в три часа ночи. Пип рассчитывала отсидеться у матери с неделей, прийти в себя и понять, что делать дальше; но, хотя по идее она была для

матери центром всего, вдруг появилось ощущение, что материнские навязчивые опасения и обиды – самодостаточная мини-вселенная. Что для Пип теперь нет, по большому счету, места в ее жизни.

– С работы я тоже ушла, – призналась Пип, когда ужин был съеден и вино почти выпито.

– Это хорошо, – сказала мама. – Мне всегда казалось, что эта работа не для тебя с твоими дарованиями.

– Нет у меня, мама, никаких дарований. Голова работает, но вхолостую. И денег нет. А теперь и жить негде.

– Сюда ты в любую минуту можешь вернуться.

– Давай все-таки будем реалистами.

– Забирай обратно веранду. Тебе же нравилось спать на веранде.

Пип налила себе остатки вина. Готовность матери идти в общении с ней на моральный риск позволяла ей попросту игнорировать материнские высказывания, когда ей хотелось.

– Я вот что думаю, – сказала она. – Два варианта. Первый: ты помогаешь мне найти отца, чтобы я попробовала получить от него какие-нибудь деньги. Второй: есть возможность поехать на какое-то время в Южную Америку. Если хочешь, чтобы я осталась, помоги мне отыскать второго родителя.

Благодаря медитациям осанка матери была настолько же прямой и красивой, насколько Пип позволяла себе раздолбайски сутулиться. Мать словно отдалялась от нее сейчас, лицо делалось другим, более молодым – мало общего с теперешним ее лицом. Не иначе, подумалось Пип, это лицо той, кем она была раньше, до материнства.

Глядя мимо кухонного стола в потемневшее теперь уже окно, мать ответила:

– Нет, даже для тебя я этого не сделаю.

– Ладно, значит – Южная Америка.

– Южная Америка...

– Мама, я туда ехать не хочу. Не хочу жить так далеко от тебя. Но тогда ты должна мне помочь...

– Вот! – крикнула мать, по-прежнему глядя точно в некую даль, как будто в окне могла видеть что-то помимо своего отражения. – Он и теперь меня не оставляет в покое! Хочет отнять тебя у меня! Нет, не допущу.

– Мама, ну что ты несешь! Мне уже двадцать три. Если бы ты видела, где я жила, поняла бы, что я могу о себе позаботиться.

Наконец мама повернулась к ней.

– А что там – в Южной Америке?

– Там вот что, – с неохотой, словно признаваясь в нехорошем побуждении или поступке, начала Пип. – Довольно интересная штука. Называется – проект “Солнечный свет”. Они оплачивают практику и учат всякому разному.

Мать нахмурилась.

– Незаконные утечки?

– Ты про это знаешь? Откуда?

– Я же читаю нашу газету, котенок. Это группа, которую создал сексуальный преступник.

– Ну конечно, – сказала Пип. – Еще бы. Ты спутала с “Викиликс”. А о Проекте ничего не знаешь. Откуда тебе знать, живя в горах.

На секунду мать как будто усомнилась. Но затем с нажимом поправилась:

– Не Ассанж. Я ошиблась. Андреас.

– Надо же. Прости. Кое-что ты, оказывается, знаешь.

– Но он такой же, как тот, если не хуже.

– Нет, мама, ничего подобного. Они совершенно разные.

Тут мать закрыла глаза, села еще прямей и принялась размеренно дышать. Она всякий раз так делала, когда расстраивалась, и Пип оказалась в затруднительном положении: нарушать медитацию не хотелось, но не хотелось и сидеть целый час, дожидаясь, пока мать вынырнет.

– Это, конечно, очень полезно для тебя, успокаивает, – сказала она наконец. – Но обрати все-таки на меня внимание.

Мать дышала – и только.

– Может быть, объяснишь хотя бы, что на самом деле произошло с моим отцом?

– Уже объяснила, – пробормотала мать, не открывая глаз.

– Не объяснила, а солгала. И знаешь что? Андреас Вольф, может быть, поможет мне его найти.

Мать широко распахнула глаза.

– Так что либо ты мне рассказывай, – давила Пип, – либо я поеду в Южную Америку и сама все выясню.

– Пьюрити, послушай меня. Я знаю, я трудный человек, но ты должна мне поверить: если ты поедешь в Южную Америку и сделаешь это, ты меня убьешь.

– Почему? Многие в моем возрасте путешествуют. И ты ведь знаешь, что я вернусь. Знаешь, как я тебя люблю.

Мать покачала головой.

– Это мой худший кошмар. А теперь еще Андреас Вольф. Это кошмар,

кошмар.

– Что ты знаешь об Андреасе?

– Знаю, что он нехороший человек.

– Откуда? Откуда ты можешь это знать? Я полдня провела в интернете, читала, что о нем пишут. Только хорошее! Я получила от него электронные письма! Могу показать.

– О господи... – качала головой мать.

– Ну что? Что – о господи?

– Ты задумывалась, зачем такому человеку могло понадобиться писать тебе?

– У них есть оплачиваемая практика. Нужно пройти тест, и я его прошла. Они делают поразительные дела, и они действительно зовут меня. Он посылает мне личные письма, хотя он невероятно занят и знаменит.

– Тебе, может быть, пишет какой-нибудь помощник. Ведь так всегда с электронными письмами: как узнать, кто тебе на самом деле написал?

– Нет, это точно он.

– Но ты задумайся, Пьюрити. Зачем ты им нужна?

– Ты же сама все двадцать три года мне твердишь, какая я замечательная.

– Чего хочет аморальный мужчина, когда зазывает в Южную Америку красивую молодую женщину?

– Мама, я не красивая. Но и не дура. Я все проверила и только потом ему написала.

– Котенок, тут, в Калифорнии, полным-полно людей, которые тоже будут тебе рады. Хороших людей. Добрых.

– Что ж, должна сказать, мне такие не попадались.

Мать взяла Пип за обе руки и всмотрелась в ее лицо.

– С тобой что-нибудь случилось? Расскажи мне, что с тобой случилось.

Вдруг руки матери показались Пип когтистыми лапами, сама мать – чужой женщиной. Пип вырвала у нее ладони.

– Ничего со мной не случилось!

– Сердце мое, мне ты можешь рассказать.

– Вот тебе как раз я ничего рассказывать не хочу. Ты-то сама – что мне рассказываешь?

– Все рассказываю.

– Все, кроме важного.

Мать откинулась на спинку стула и опять уставилась в пустое окно.

– Да, это так, – признала она. – Не рассказываю. У меня есть на это

причины – но ты не ошибаешься.

– Так оставь меня в покое. У тебя нет на меня никаких прав.

– У меня есть право любить тебя больше всего на свете!

– Нет! – закричала Пип. – Нет у тебя такого права! Нет! Нет!

Республика дурного вкуса

Церковь на Зигфельдштрассе была открыта для всех пасынков Республики, смущавших ее покой, а Андреас Вольф смущал ее покой так сильно, что прямо там, в подвале пасторского дома, и поселился; но, в отличие от других – от подлинно верующих христиан, от “друзей Земли”, от отщепенцев, рассуждавших о правах человека или не желавших участвовать в Третьей мировой, – свой собственный душевный покой он смущал не меньше.

Для Андреаса самым тоталитарным в Республике была ее смехотворность. Да, при попытке побега через границу людей несмешно расстреливали, но ему это представлялось скорее неким диковинным геометрическим феноменом, разрывом между плоской двумерностью Востока и объемной трехмерностью Запада, который надо было принимать во внимание, чтобы математика не вышла тебе боком. Если же не приближаться к границе, худшее, что с тобой могло произойти, это слезка, арест, допросы, тюремный срок и испоганенная жизнь. При всех неудобствах, какие это доставляло человеку, смягчающим началом служила глупость всей большой машины – нелепый язык со ссылками на “классового врага” и “контрреволюционные элементы”, абсурдная приверженность юридическому протоколу. Власти никогда не шли по легкому пути: просто продиктовать тебе признание или отречение, а потом вынудить тебя подписать или подделать твою подпись. Нет, им нужны были фотографии и аудиозаписи, аккуратно оформленные дела, ссылки на “демократически” принятые законы. Что-то до боли немецкое было в этом стремлении Республики к логической непротиворечивости и к тому, чтобы делать все правильно. Здесь ощущалась серьезность мальчика, старающегося произвести впечатление на советского папашу, а в чем-то его и превзойти. Здесь даже не хотели подтасовывать результаты выборов. И люди, главным образом из страха, но, может быть, еще и из жалости к мальчику, верившему в социализм так же, как западные дети верили в летающего младенца Христа, который зажигает свечи на рождественской елке и оставляет под ней подарки, дружно шли к урнам и голосовали за Партию. В восьмидесятые уже было очевидно, что на Западе живется лучше – что там и машины лучше, и телевидение, и шансов больше, – но граница была закрыта, и люди потакали иллюзиям мальчика, словно вспоминая, и не без нежности притом, свои собственные иллюзии первых

лет Республики. Даже диссиденты говорили не о свержении, а о реформах. Повседневная жизнь была не ужасной, не трагичной – всего лишь стесненной (катастрофой в понимании газеты “Берлинер цайтунг” было остаться на Олимпиаде всего лишь с бронзой). И Андреас, чье смущение проистекало из того, что он был мегаломаном, противостоящим диктатуре, слишком смехотворной, чтобы быть достойной противницей мегаломана, держался в стороне от других отщепенцев, которых церковь взяла под крыло. Они не удовлетворяли его эстетически, они оскорбляли его чувство собственной избранности, и, так или иначе, они ему не доверяли. Живя на Зигфельдштрассе, он иронизировал приватно.

Наряду с общей парадоксальностью его положения (атеист, он пребывал, так сказать, в лоне церкви), иронию порождал и более частный парадокс: он зарабатывал на хлеб, консультируя подростков из группы риска, – а кто в Восточной Германии мог похвастаться более привилегированным, более благополучным детством, чем у него? Ныне же, повзрослев, он проводил в подвале пасторского дома групповые и личные собеседования, давал подросткам советы, как избавиться от сексуальной неразборчивости и алкогольной зависимости, как справиться с домашними неурядицами и стать более полезным членом общества – общества, которое он презирал. Свою работу он делал хорошо: умел возвращать подростков в школу, находил им подработку в сером секторе экономики, направлял к надежным соцработникам из государственных служб – словом, как это ни парадоксально, сам стал вполне полезным членом этого самого общества.

Видя в нем человека, павшего с высоты привилегий, подростки доверяли ему. Их проблема была в том, что они принимали все слишком близко к сердцу (саморазрушительное поведение – признак чересчур серьезного отношения к себе), и говорил он им, по сути, вот что: “Посмотрите на меня. Мой отец – член ЦК, а я живу в церковном подвале; но хоть раз вы меня серьезным видели?” Это неплохо работало, хотя вообще-то не должно было: ведь, по правде говоря, он, живя в церковном подвале, сохранил немало от былых привилегий. Он порвал все связи с родителями, но в обмен на этот добрый поступок они защищали его. Его ни разу не арестовали, как арестовали бы любого из его подверженных риску подопечных, позволь он себе то, что позволял себе в этом возрасте Андреас. И все-таки он им нравился; они прислушивались к нему, потому что он говорил правду, а они изголодались по правде, и им было наплевать, откуда у него взялась привилегия так свободно рассуждать. На риск, сопряженный с его деятельностью, государство, похоже, готово было пойти; он был фальшивым маяком честности для сбитых с толку и трудных

подростков, для которых его притягательная сила становилась, однако, новым источником риска. Девушки чуть не в очередь выстраивались у его двери, чтобы ему отдаться, и тем, которые убедительно заявляли, что им уже больше пятнадцати, он помогал с пуговицами. Здесь тоже, конечно, была своя ирония. Он оказывал государству ценную услугу, заманивая асоциальные элементы обратно в загон, говоря правду и вместе с тем предостерегая их от того, чтобы говорить ее самим, и получал за эту услугу плату юной плотью.

Его молчаливое соглашение с государством действовало так долго – шесть лет с лишним, – что он считал свое положение безопасным. Одну предосторожность все же соблюдал: не заводил дружбы с мужчинами. Он видел, во-первых, что другие околоцерковные мужчины завидуют его популярности у юного поколения и потому не одобряют его поведение. Во-вторых, статистика: на каждую стукачку приходилось, вероятно, с десятков стукачей (те же статистические соображения подсказывали, что юные девушки предпочтительны: вербовщики были слишком большими сексистами, чтобы ожидать многого от школьниц). Но самый крупный недостаток мужчин – с ними он не мог заняться сексом, скрепить близость.

Хотя его аппетит в отношении девушек был, казалось, безграничным, он гордился тем, что никогда сознательно не вступал в связь ни с такой, которая не достигла возраста согласия, ни с жертвой сексуального насилия или домогательств. Последних он распознавал очень чутко – иногда по фекальным или септическим метафорам, которые они применяли к себе, иногда просто по определенной манере хихикать, – и за годы работы ему, пользуясь своими инстинктами, не раз удавалось отправить виновного в тюрьму. Но если такая девушка проявляла к нему эротический интерес, он не уходил – он убегал: отвращение к хищничеству доходило у него до фобии. Хищники, которые лапали девушек в толпе, ошивались около игровых площадок, приставали к племянницам, использовали как приманку конфетки или безделушки, вызывали у него смертельную ярость. Из девушек он сближался только с теми, что были более-менее в здравом уме и хотели его сами.

Если же собственное поведение казалось ему не вполне здоровым (что означает его приверженность одному и тому же сценарию со всеми девушками? почему этот сценарий никогда ему не надоедает, почему хочется все больше и больше? почему его губы всегда ищут не губ, а промежности?) – он объяснял эти странности тем, что живет в нездоровой стране. Республика сформировала его, ни одна из сторон его жизни по-прежнему не была от нее свободна, и, очевидно, одна из навязанных ему

ролей – *Assibräuteaufreißer*^[9]. Ведь не он, в конце концов, сделал всех мужчин и всех женщин старше двадцати не заслуживающими доверия. Кроме того, он вышел из привилегированного слоя; он был светловолосым принцем-изгнанником с Карл-Маркс-аллее. Живя в подвале пасторского дома, питаясь дрянными консервами, он считал, что одну маленькую привилегию имеет право оставить за собой. Не имея банковского счета, он вел в уме сексуальный кондуит и регулярно его мысленно пролистывал, желая быть уверенным, что помнит не только имена и фамилии девушек, но и точный порядок их следования.

Зимой 1987 года, когда он допустил ошибку, их у него насчитывалось пятьдесят две. Проблема с пятьдесят третьей, с миниатюрной рыжеволосой Петрой, жившей на тот момент с нетрудоспособным отцом в брошенной квартире без горячей воды в Пренцлауэр-Берге, состояла в том, что она, как и ее отец, была чрезвычайно религиозна. Что интересно, ее влечение к Андреасу (как и его к ней) от этого меньше не стало; но секс в церкви она считала непочтением к Богу. Он попытался рассеять в ней это предубеждение, но добился лишь того, что она страшно обеспокоилась состоянием его души, и он почувствовал, что рискует потерять ее совсем, если не вложит в это дело и душу. Когда он был на что-то нацелен, он не мог думать ни о чем другом, и поскольку у него не было приятеля, готового предоставить квартиру, и не было денег на гостиницу, а погода в тот вечер стояла морозная, то имелся единственный путь к гениталиям Петры, более желанным, казалось ему сейчас, чем у всех ее предшественниц, хоть Петра и не блистала умом и вообще была слегка тронутая: сесть с ней на электричку и поехать на родительскую дачу на озере Мюггельзее. Родители редко пользовались дачей зимой и никогда – в рабочие дни.

Вообще-то Андреасу полагалось бы вырасти в Хессенвинкеле или даже Вандлице, где располагались виллы партийного руководства, но мать настояла на том, чтобы поселиться ближе к центру, на Карл-Маркс-аллее, на верхнем этаже, в квартире с большими окнами и балконом. Андреас подозревал, что истинная причина ее неприятия привилегированных пригородов – буржуазно-интеллигентский снобизм, из-за которого она считала мебель и разговоры на этих виллах невыносимо *spießig* – мещанскими, – но эту правду она была не более способна признать вслух, чем любую другую, и потому заявила, что не может ездить из пригорода на свою ответственную преподавательскую работу в университет: ее, мол, страшно укачивает в машинах. Поскольку отец Андреаса был незаменим для Республики, никто не возражал ни против их проживания в городе, ни против того, что его жена, опять-таки под предлогом укачивания, выбрала

местом дачи, куда они выбирались на выходные в теплое время года, берег Мюггельзее. Постепенно Андреасу становилось ясно, что его мать чем-то напоминает террористку-смертницу с бомбой: от нее вечно исходила угроза безумного поведения, и отец, как мог, потакал всем ее желаниям, прося взамен лишь помощи в поддержании некой видимости. А это для нее никогда трудности не составляло.

Дача, до которой от станции можно было дойти пешком, располагалась на большом поросшем соснами участке, полого спускавшемся к берегу озера. В темноте Андреас нащупал ключ, висевший в обычном месте. Когда вошел с Петрой в дом и зажег свет, он на миг растерялся: гостиная была заставлена псевдодатской мебелью его детства, из города. Он не бывал на даче с тех пор, как шестью годами раньше закончилась его бесприютность. За это время мать, судя по всему, заново меблировала городскую квартиру.

– Чей это дом? – спросила Петра, на которую обстановка произвела сильное впечатление.

– Неважно.

Опасности, что она увидит здесь его фотографию, не было (скорее уж портрет Троцкого). Из башни поставленных друг на друга пивных ящиков он взял две поллитровые бутылки и дал одну Петре. Верхняя “Нойес Дойчланд” в стопке прочитанных газет была более чем трехнедельной давности. Представив себе, как родители сидели тут, бездетно и одиноко, зимним воскресным днем, лишь изредка обмениваясь еле слышными фразами по обыкновению пожилых пар, он ощутил в сердце опасную готовность к сочувствию. Нет, он не сожалел, что оставил их под старость одних – винить в этом они должны были только себя, – но в детстве он любил их так сильно, что вид знакомой старой мебели опечалил его. Все-таки они люди и все-таки не молодеют.

Он включил электрообогреватель и повел Петру по коридору в комнату, которая раньше была его. Быстрое средство от ностальгии – зарыться лицом промеж ее ног; он уже трогал ее там через трусы, когда они тискались в поезде. Но ей вздумалось принять ванну.

– Если ради меня, то не надо.

– Я четыре дня не мылась.

Ему не хотелось возиться с мокрым полотенцем; перед уходом его надо будет высушить и сложить. Но девушка и ее желания важнее.

– Хорошо, – сказал он ей ласково. – Ванна так ванна.

Он сел с пивом на свою старую кровать и услышал, как она заперла дверь ванной. В последующие недели щелчок замка был семенем, из

которого росла его паранойя: зачем запирается в доме, где, кроме них двоих, никого нет? Невероятно было – по восьми разным причинам, – чтобы она знала о последующем и уж тем более была к нему причастна. Но зачем еще ей могло понадобиться запереть дверь?

А может быть, ему просто не повезло, что она была в ванной и не могла никуда из нее двинуться, что из-за льющейся воды он не услышал ни приближающейся машины, ни шагов? Раздался стук во входную дверь, а за ним лающее:

– Volkspolizei!^[10]

Вода резко перестала течь. Андреас подумал было о бегстве, но он не мог бросить Петру в ванной. Он неохотно встал с кровати, пошел к входной двери и открыл. Двое полицейских – две темные фигуры, окруженные светом автомобильных фар и вспышками мигалки.

– Да? – спросил он.

– Документы, пожалуйста.

– А в чем дело?

– Предъявите документы.

Имейся у этих полицейских хвосты, они бы ими сейчас не виляли; будь у них заостренные уши, они бы настороженно прижали их к черепу. Разглядывая синюю книжечку Андреаса, старший по званию нахмурился; затем он передал ее младшему, а тот отнес ее в машину.

– Вам разрешено здесь находиться?

– В определенном смысле.

– Вы здесь один?

– Как видите. – Андреас сделал вежливый приглашающий жест. –

Хотите войти?

– Мне понадобится телефон.

– Разумеется.

Полицейский осторожно вошел. Андреас догадывался, что он больше опасается хозяев дома, чем мог бы бояться любых притаившихся в нем вооруженных бандитов.

– Это дача моих родителей, – сказал Андреас.

– Товарища секретаря ЦК мы знаем. А вот с вами незнакомы. Сегодня никому нельзя здесь находиться.

– Я тут всего пятнадцать минут. Быстро вы. Похвальная бдительность.

– Мы заметили свет.

– В высшей степени похвальная.

Из ванной донесся одинокий всхлип стекающей воды. Задним числом Андреас сочтет подозрительным, что полицейский не проявил интереса к

ванной. Офицер полистал потертый черный блокнот, отыскал нужный номер и набрал его, пользуясь телефоном секретаря ЦК. Главным, что чувствовал в ту минуту Андреас, было желание, чтобы полицейские поскорее ушли и он смог сделать маленькой Петре куннилингус. Все остальное складывалось так неудачно, что и думать не хотелось.

– Товарищ секретарь ЦК? – Полицейский представился и кратко доложил о присутствии постороннего, претендующего на родство с хозяевами дома. Затем он несколько раз повторил в трубку: “Да”.

– Скажите ему, что я бы хотел с ним поговорить, – вмешался Андреас.

Полицейский знаком велел ему замолчать.

– Я хочу с ним поговорить.

– Конечно, сию минуту, – сказал полицейский секретарю ЦК.

Андреас попытался взять у него трубку. Полицейский резким толчком в грудь сбил его с ног.

– Нет, это он попробовал выхватить трубку... Так точно... Да, разумеется. Я доведу до его сведения... Будет выполнено, товарищ секретарь ЦК. – Полицейский положил трубку и сверху вниз поглядел на Андреаса. – Вам надлежит немедленно уйти и забыть сюда дорогу.

– Я вас понял.

– Еще раз здесь появитесь – будут большие неприятности. Товарищ секретарь ЦК велел объяснить это вам доходчиво.

– На самом деле он мне не отец, – сказал Андреас. – У нас просто одинаковая фамилия.

– А от себя, – продолжил полицейский, – добавлю, что буду рад развлечению, если ты опять сюда сунешься в мое дежурство.

Вошел младший офицер с удостоверением Андреаса и протянул его старшему. Кривя губу, тот изучил его еще раз, а затем швырнул Андреасу в лицо.

– Дверь запереть не забудь, мудака.

Когда полицейские ушли, он постучался в дверь ванной и сказал Петре, чтобы погасила свет и ждала его. Он выключил свет во всем доме и, выйдя в темноту, направился в сторону электрички. Увидев за первым поворотом припаркованную темную патрульную машину, он слегка помахал сидящим в ней полицейским. За следующим поворотом нырнул в сосняк – переждать, пока они уедут. Вечер выдался не из приятных, и он хотел получить компенсацию. Но когда ему удалось наконец прокрасться обратно к даче и войти, когда он обнаружил Петру на своей детской кровати – она съежилась и скулила от страха перед полицией, – он был из-за своего унижения слишком зол, чтобы думать о ее удовольствии. Он

приказывал ей делать в темноте то и это, и кончилось тем, что она расплакалась и сказала, что ненавидит его; он, надо признать, сполна отвечал ей взаимностью. Больше он ни разу ее не видел.

Три недели спустя его пригласили на конференцию Немецкой христианской молодежи в Западный Берлин. Он предполагал (хотя с ними никогда не знаешь наверное; в этом-то и прелесть), что среди участников кишмя будут кишеть засланцы его троюродного дяди Маркуса Вольфа^[11], ведь приглашение пришло через МИД вместе с предложением явиться за уже готовой визой. Было до смешного очевидно: если он пересечет границу, обратно его уже не впустят. Столь же очевидно было, что все это – предостережение от отца, наказание за то, что посмел проникнуть в дачный дом.

Заграничная поездка была для всех остальных жителей страны еще более вождедена, чем автомобиль. Ради какой-нибудь несчастной трехдневной торговой конференции в Копенгагене рядовой гражданин готов был стучать на сослуживцев, на близких родственников, на друзей. Андреас во всем чувствовал себя особенным, но в презрении к поездкам это проявлялось ярче всего. Уж как хотели датский монарх-отравитель и лживая королева усладить сына из замка! Он чувствовал себя Гамлетом, который для страны был “цвет и надежда”, чувствовал себя ее порождением и шутовской антитезой и потому первым своим долгом считал не отлучаться из Берлина. Пусть родители, если их можно так назвать, знают, что он по-прежнему здесь, на Зигфельдштрассе, и что он знает о них то, что знает.

Но быть особенным – дело одинокое, а одиночество питает паранойю, и вскоре он достиг точки, когда не мог отделаться от мысли, что Петра его подставила, что весь этот цирк насчет недопустимости секса в церкви, эта внезапная необходимость принять ванну – уловки, чтобы вынудить его откровенно нарушить неписанный договор с родителями. Теперь каждый раз, когда в дверях кабинета появлялась очередная девушка из группы риска с хорошо знакомым ему горящим взглядом, он вспоминал, как небывало для себя эгоистично обошелся с Петрой и как его унизили полицейские, и не шел навстречу желаниям девицы, а, немного подразнив, спроваживал. Он задавался вопросом, не лгал ли себе насчет девиц с самого начала: может быть, ненависть, которую он почувствовал к пятьдесят третьей, не только обоснованна, но и применима задним числом ко всем предыдущим, с первой по пятьдесят вторую? Не напрасно ли он иронизировал над государством, думая о своем положении в нем? Может быть, государство само поймало его, разгадав его слабое место?

Весну и лето он провел в унынии, из-за которого его озабоченность сексом все росла, но, разом потеряв доверие и к себе, и к девицам, он отказывал себе в сексуальной разрядке. Сократил личные собеседования, перестал курсировать по молодежным клубам в поисках проблемных подростков. Хотя он рисковал лучшей работой, какую только мог найти в Восточной Германии в его положении, он целыми днями валялся на кровати и читал английские романы, детективные и иные, запрещенные и разрешенные. (К американской литературе после того, как мать насильно пичкала его Стейнбеком, Драйзером и Дос Пассосом, он особого интереса не испытывал. Даже лучшие из американцев раздражали его своей наивностью. А британская жизнь – сука-жизнь. В хорошем смысле.) Наконец он пришел к выводу, что уныние нагнала его детская кровать, сама эта кровать в доме на Мюггельзее, и чувство, что он так и не покинул ее: чем яростнее он восставал против родителей, чем упорнее превращал свою жизнь в упрек их жизни, тем глубже уходил корнями все в ту же детскую общность с ними. Но одно дело выявить источник уныния, другое – излечиться.

К тому дню в октябре, когда пришел молодой викарий – помощник пастора – поговорить о новой девушке, его воздержание длилось семь месяцев. Викарий был облачен по всем канонам церковного ренегатства: окладистая борода – имеется; выцветшая джинсовая куртка – имеется; стильное бронзовое распятие – имеется; но он испытывал, к пользе Андреаса, некоторую робость перед его уличным опытом.

– Я недели две назад ее заметил в церкви, – заговорил викарий, усевшись на пол. В какой-то книге, должно быть, вычитал, что сидеть на полу – это по-христиански и способствует сближению. – Иной раз час просидит, иной раз до полуночи. Молиться не молится – уроки делает. Наконец я подхожу, спрашиваю, не помочь ли чем-нибудь. Испугалась, стала извиняться, сказала – думала, тут можно сидеть. Я говорю: церковь всегда открыта всем нуждающимся. Хотел начать с ней разговор, но этого ей явно не было нужно – только знать, что она ничего тут не нарушает.

– И?

– Ну, ты же у нас по работе с молодежью.

– Не с той, что в церкви сидит.

– Мы всё понимаем: ты устал, выгорел. Мы тебе дали время отдохнуть.

– Ценю.

– Беспокоит меня эта девушка. Вчера опять с ней говорил, спросил, не случилось ли что, – есть у меня опасение, что с ней плохо обошлись. Она

так тихо отвечает, что трудно понять, но я вроде разобрал, что про нее уже знают где следует и к властям обращаться нет смысла. Похоже, пришла сюда, потому что больше некуда идти.

– Как и все мы.

– Тебе, может быть, скажет больше.

– Сколько ей лет?

– Совсем девочка. Пятнадцать-шестнадцать. И поразительно красивая. Несовершеннолетняя, красивая, плохо обошлись. Андреас вздохнул.

– Ты же не можешь вечно сидеть в этой комнате, – заметил викарий.

Когда Андреас вошел в церковь и увидел девушку, сидящую в предпоследнем ряду, он тут же ощутил ее красоту – ощутил как нежелательное осложнение, как особенность, отвлекающую его от той общей для всего женского пола части тела, которой он так долго уделял особое внимание. Темноволосая и темноглазая, одетая не вызывающе, она сидела с прямой осанкой, на коленях – открытый учебник. С виду примерная девочка, член Союза свободной немецкой молодежи, в его подвал такие никогда не заглядывали. Пока он шел к ней, она не поднимала головы.

– Хочешь со мной поговорить? – спросил он.

Она покачала головой.

– С викарием ты говорила.

– Только чуть-чуть, – пробормотала она.

– Хорошо. Давай я за тобой сяду, так ты не будешь меня видеть. И тогда, если ты...

– Пожалуйста, не надо.

– Ладно, останусь на виду. – Он сел в ряду перед ней. – Меня зовут Андреас. Я консультант при церкви. Скажешь мне свое имя?

Она покачала головой.

– Ты пришла помолиться?

Ее губы тронула усмешка.

– А Бог существует?

– Нет, конечно. С чего бы вдруг такая мысль?

– Кто-то ведь построил эту церковь.

– Кто-то принял желаемое за действительное. Лично я смысла в этом не вижу.

Она приподняла голову, словно бы слегка заинтересовавшись.

– А вы не боитесь?

– Кого? Пастора? Бог – только слово, которое он выставляет против государства. В этой стране все существует лишь по отношению к

государству.

– Разве можно такое говорить?

– Я только повторяю то, что говорит государство.

Он опустил глаза на ее ноги – они вполне соответствовали всему остальному.

– А ты чего-нибудь боишься? – спросил он.

Она покачала головой.

– Значит, боишься не за себя, а за кого-то другого. Я угадал?

– Я потому сюда прихожу, что здесь – это нигде. Приятно побыть нигде.

– Да, нигде не найдешь такого нигде, как здесь.

Она слабо улыбнулась.

– Когда ты смотришься в зеркало, – спросил он, – что ты видишь? Красивое лицо?

– Я не смотрюсь в зеркала.

– Что бы увидела, если бы посмотрелась?

– Ничего хорошего.

– Что-то плохое? Вредное? Опасное?

Она пожала плечами.

– Почему ты не хотела, чтобы я сел у тебя за спиной?

– Я хочу видеть, с кем разговариваю.

– Значит, мы все-таки разговариваем. Ты только делала вид, что не желаешь со мной говорить. Ты разыгрывала спектакль. Драму.

Внезапная лобовая атака была одним из его фирменных психологических приемов. То, что он был этими трюками сыт по горло, не означало, что они не действуют.

– Я и так знаю, что я плохая, – сказала девушка. – Можете мне этого не объяснять.

– Но тебе, должно быть, трудно из-за того, что люди не знают, какая ты плохая. Они просто поверить не могут, чтобы эта милая девочка была плохая внутри. Тебе, должно быть, трудно сохранять уважение к людям.

– У меня есть подруги.

– У меня вот тоже были друзья в твоем возрасте. Но разве от этого легче? От того, что люди ко мне тянутся, только хуже. Меня считают забавным, меня считают привлекательным. Я один знаю, какой я внутри плохой. Очень плохой и очень важный. По правде говоря, я самый важный человек в стране.

Она фыркнула, как фыркают подростки, – это его ободрило.

– Никакой вы не важный.

– Очень даже важный. Ты просто не знаешь. Но каково это – быть важным, – тебе уже понятно. Ты сама очень важная. Все на тебя обращают внимание, всех к тебе тянет из-за твоей красоты, а потом ты причиняешь им вред. И должна прятаться в церкви, чтобы побыть нигде, чтобы мир от тебя отдохнул.

– Пожалуйста, оставьте меня в покое!

– Кому ты вредишь? Просто скажи мне.

Девушка опустила голову.

– Мне ты можешь сказать, – добавил он. – Я тоже мастер причинять вред. Давно этим занимаюсь.

Она слегка задрожала, переплела пальцы на коленях. С улицы донесся грохот грузовика, резкое клацанье плохой коробки передач – звуки повисли в воздухе, пропахшем свечной гарью и старой медью. Деревянный крест на стене за кафедрой показался Андреасу магическим в прошлом предметом, который от чрезмерного употребления то в интересах государства, то против потерял волшебную силу и превратился в убогое приспособление, в унылую принадлежность диссидентства. Помещение для общей молитвы стало наименее существенной частью церкви; Андреас почувствовал к нему жалость.

– *Маме*, – пробормотала девушка. Ненависть в ее голосе плохо вязалась с мучениями из-за причиняемого вреда. Андреас достаточно знал о сексуальных домогательствах, чтобы понять подоплеку.

– А отец где? – мягко спросил он.

– Умер.

– А мама снова вышла замуж.

Она кивнула.

– И сейчас ее нет дома.

– Она ночная медсестра в больнице.

Его переделернуло; картина была ясна.

– У нас ты в безопасности, – сказал он. – Ты и правда тут – нигде. Тут ты никому не можешь сделать ничего плохого. Не бойся сказать мне, как тебя зовут. Это не имеет никакого значения.

– Аннагрет, – ответила она.

Этот их первый разговор был таким же прямым и стремительным, как те его прежние, что приводили к соблазнам, но по духу он был полной их противоположностью. Красота Аннагрет была до того поразительна, так далеко выходила за рамки нормы, что казалась прямым вызовом Республике дурного вкуса. Такой красоте не полагалось существовать, она нарушила порядок в стройной вселенной, в центре которой Андреас всегда

помещал себя, – и это его напугало. Ему было двадцать семь лет, и если не брать в расчет детских отношений с матерью, он ни разу еще не влюблялся, потому что не встречал девушку, достойную его любви. Даже перестал ее себе воображать. Но вот она.

Он виделся с ней три следующих вечера подряд. Ему было стыдно, что он ждет этих встреч только потому, что она так красива, но он ничего не мог с этим поделать. На второй вечер, чтобы углубить ее доверие к нему, Андреас признался, что переспал в помещении при этой церкви с десятками девушек.

– Это было как наркомания, – сказал он. – Но я провел строгие границы. И ты должна мне поверить: лично ты никак в них не вписываешься.

Это была правда и в то же время, в глубине, абсолютная ложь, и Аннагрет ему не поверила.

– Все думают, что у них строгие границы, – сказала она. – Пока их не нарушат.

– Позволь мне быть человеком, который докажет тебе, что бывают по-настоящему строгие границы.

– Я слыхала, что тут у вас сборище аморальных людей. Думала, врут: ведь церковь как-никак. А теперь получается, что это правда.

– Жаль, что именно я разочаровал тебя.

– Что-то с этой страной не так.

– С этим не поспоришь.

– В клубе дзюдо хватало всякого разного. Но чтобы при церкви...

Таня, старшая сестра Аннагрет, в старших классах всерьез занималась дзюдо. Хорошие оценки и классовая принадлежность давали обеим сестрам неплохой шанс на университетское образование, но Таня бегала за мальчиками, да и со спортом переусердствовала, так что в итоге пошла после школы работать секретаршей, а досуг проводила либо в клубах, где можно было потанцевать, либо в спортивном центре, где занималась сама и тренировала других. Аннагрет была на семь лет младше и не такая спортивная, как сестра, но дзюдо – это было у них семейное, и в двенадцать лет она тоже пришла в этот центр.

Туда регулярно ходил Хорст, мужчина постарше, видный собой и владелец огромного мотоцикла. Ему было, наверно, лет тридцать, и женат он явно был только на своем мотоцикле. Спортцентр он посещал главным образом для того, чтобы накачивать и без того впечатляющую мускулатуру (Аннагрет казалось во время первых встреч, что он улыбается ей как-то самодовольно), но еще играл в гандбол и любил смотреть на спарринг

перспективных дзюдоистов, и мало-помалу Таня удостоилась свидания с ним и его байком. Дальше второе свидание, третье, и тут приключилась беда: Хорст познакомился с их мамой. После этого он перестал катать Таню на мотоцикле; он хотел видаться с ней у них дома, в их крохотной поганой квартирке, в присутствии мамы и Аннагрет.

Мать, вдова автомеханика, который мучительно умер от опухоли мозга, была внутри женщиной жесткой и разочарованной, но внешне в свои тридцать восемь она была очень даже ничего, красивее Тани – и вдобавок ближе к Хорсту по возрасту. С тех пор как Таня обманула ее ожидания, не поступив в университет, они ссорились из-за всего на свете, а теперь еще из-за Хорста, которого мать считала староватым для дочери. И когда сделалось очевидно, что Хорст предпочел Тани ее, она не стала себя за это упрекать. Аннагрет, к счастью, не было дома тем судьбоносным вечером, когда Таня, внезапно вскочив, заявила, что ей надо подышать воздухом, и попросила Хорста прокатить ее на мотоцикле. Хорст тогда сказал, что есть одна трудная тема, что надо бы обсудить ее втроем. Можно было бы и поделикатнее, но по-хорошему все равно получиться не могло. Таня хлопнула дверью и три дня не возвращалась. Как только смогла, перебралась в Лейпциг.

Поженившись, Хорст и мать Аннагрет переехали с ней в отличную просторную квартиру, где у девочки появилась своя комната. Сестру она жалела, мамин поступок не одобряла, но отчим ее очаровал. Его должность – профсоюзного руководителя на самой крупной электростанции города – была хорошей, но не такой хорошей, чтобы понятно было, откуда столько всего: мощный мотоцикл, просторная квартира, апельсины, бразильские орехи, записи Майкла Джексона, которые он иногда приносил домой. Когда Аннагрет описала отчима Андреасу, у него сложилось впечатление, что Хорст из тех людей, чья любовь к себе не ведает стыда и потому чрезвычайно заразительна. Аннагрет, конечно же, нравилось с ним общаться. Он отвозил ее в спортцентр на байке и забирал оттуда. Учил самостоятельно водить мотоцикл – пока что на парковочной площадке. Она, в свою очередь, показала ему несколько приемов дзюдо, но у него был так непропорционально развит торс, что он неправильно падал. По вечерам, когда мама уходила в ночную смену, девочка рассказывала отчиму о дополнительных заданиях, которые выполняла, чтобы поступить в *Erweiterte Oberschule*^[12]; то, как быстро он все схватывал, производило на нее впечатление, и она говорила ему, что напрасно он сам не окончил двенадцатилетку. Вскоре она уже считала его одним из своих лучших

друзей. Помимо прочего, это было приятно матери, которая терпеть не могла работу в больнице, все больше от нее уставала и радовалась, что муж и дочь нашли общий язык. Таня – отрезанный ломоть, но Аннагрет – хорошая девочка, мамина надежда и будущее семьи.

А потом как-то вечером, в этой отличной просторной квартире, Хорст постучался к ней, когда она еще не погасила свет.

– Ты в приличном виде? – игриво поинтересовался он.

– Я в пижаме.

Он вошел и пододвинул стул к ее кровати. У него была очень большая голова; Аннагрет не могла толком объяснить Андреасу свое ощущение, но ей казалось, что именно благодаря большой голове все всегда складывается в его пользу. *О, у него такая замечательная голова, надо дать ему, чего он хочет.* Что-то в этом роде. А в тот вечер его большая голова горела от выпитого.

– От меня, наверно, пивом несет, извини, – сказал он.

– Если бы я сама немножко выпила, я бы не чуяла.

– Похоже, ты знаешь толк в пиве.

– Нет, просто слышала.

– Тебе можно было бы пива, если бы ты бросила тренироваться, но ты ведь не бросишь, значит, тебе нельзя.

Ей нравилась эта их шутливая манера общения.

– Но ты ведь тренируешься, а пиво пьешь.

– Я сегодня потому так много выпил, что мне надо тебе сказать кое-что важное.

Она присмотрелась к большому лицу – в нем и правда сегодня было что-то новое. В глазах какое-то с трудом сдерживаемое болезненное переживание. И руки дрожат.

– Что такое? – встревожилась она.

– Ты секреты хранить умеешь?

– Не знаю.

– Должна научиться, потому что рассказать я могу только тебе, а если ты проболтаешься, нам всем будет плохо.

Она обдумала его слова.

– А зачем мне рассказывать?

– Потому что тебя это касается. Речь идет о твоей матери. Будешь держать язык за зубами?

– Постараюсь.

Хорст глубоко вздохнул – опять понесло пивом.

– Твоя мать – наркоманка, – сказал он. – Я женился на наркоманке. Она

ворует в больнице наркотики и употребляет и на работе, и дома. Ты об этом знала?

– Нет, – ответила Аннагрет. Но она готова была поверить. В последнее время мама все чаще была какая-то слегка одурманенная.

– Она очень ловко ворует, – продолжил Хорст. – Никто в больнице ничего не заподозрил.

– Нам надо поговорить с ней, сказать, чтобы перестала.

– Наркоман не может завязать без лечения. Но если она обратится за лечением, станет известно, что она воровала наркотики.

– Но все будут рады, что она честно призналась и хочет вылечиться.

– Ты понимаешь... тут есть, к сожалению, еще одна проблема. И это тоже секрет. Еще больший секрет. Даже мама не знает. Могу я тебе его открыть?

Он был один из ее лучших друзей, и, поколебавшись, она сказала “да”.

– Я дал обязательство никому не говорить, – сказал Хорст. – Сейчас нарушаю это обязательство. Я уже несколько лет негласно работаю на Министерство госбезопасности. Я доверенный внештатный сотрудник. Время от времени встречаюсь с куратором. Передаю информацию о рабочих и особенно о начальстве. Это необходимо, потому что электростанция жизненно важна для нашей национальной безопасности. Мне очень повезло, что в министерстве я на хорошем счету. Это и для вас с мамой очень полезно. Но ты ведь понимаешь, что из этого следует?

– Нет.

– Все наши привилегии – от министерства. И что, по-твоему, подумает куратор, если узнает, что моя жена – воровка и наркоманка? Он решит, что мне нельзя доверять. У нас могут отобрать квартиру, а меня могут снять с должности.

– Но ты же можешь сам рассказать куратору все как есть. Это же не твоя вина.

– Если расскажу, маму уволят с работы. И, скорее всего, посадят. Ты этого хочешь?

– Нет, конечно.

– Значит, нам надо держать все в секрете.

– Лучше бы я ничего не знала! Почему я должна это знать?

– Потому что ты сможешь мне хранить секрет. Твоя мать предала нас, нарушив закон. Семья – это теперь мы с тобой. А она – угроза семье. Мы должны позаботиться, чтобы она ее не погубила.

– Нам надо постараться помочь ей.

– Ты сейчас значишь для меня больше, чем она. Ты теперь главная

женщина в моей жизни. Погляди-ка сюда. – Он положил ладонь ей на живот и растопырил пальцы. – Ты уже стала женщиной.

Рука на животе испугала ее, но не так сильно, как то, что он рассказал.

– Очень красивой женщиной, – хрипло добавил он.

– Мне щекотно.

Он закрыл глаза, а руку не убрал.

– Все должно оставаться в секрете, – сказал он. – Я могу тебя защитить, но ты должна мне довериться.

– Почему нельзя просто поговорить с мамой?

– Нельзя. Одно поведет к другому, и она окажется в тюрьме. Мы будем в большей безопасности, если она будет и дальше воровать и употреблять, – она очень ловкая, не попадетсЯ.

– Но если ты ей скажешь, что работаешь на министерство, она сама поймет, что нужно прекратить.

– Я ей не доверяю. Она уже нас предала. Теперь ты мое доверенное лицо.

Она чувствовала, что вот-вот заплачет; дыхание стало чаще.

– Убери руку, – попросила она. – Это нехорошо.

– Может быть, да, чуточку нехорошо при такой разнице в возрасте. – Он кивнул большой головой. – Но видишь, как я тебе доверяю. Мы можем сделать вместе что-то пусть даже чуточку и неправильное, потому что я знаю: ты никому не расскажешь.

– Могу и рассказать.

– Нет. Тогда ты выдашь наши секреты, а этого нельзя делать.

– Ох, как бы я хотела, чтобы ты ничего мне не рассказывал.

– Но я рассказал. Надо было. Так что теперь у нас есть общие секреты. Только наши с тобой. Могу я тебе доверять?

Она уже еле сдерживала слезы.

– Не знаю.

– Открой мне какой-нибудь свой секрет. Тогда я пойму, что могу тебе доверять.

– У меня нет секретов.

– Так покажи мне что-нибудь секретное. Есть у тебя что-то самое тайное, что ты могла бы мне показать?

Ладонь на ее животе двинулась ниже, и сердце ее сильно застучало.

– Вот это? – спросил он. – Тут твоя главная тайна?

– Не знаю, – прохныкала она, испуганная, сбитая с толку.

– Все хорошо. Не надо мне показывать. Хватит того, что ты позволила мне пощупать. – Через его ладонь она ощутила, как расслабилось все его

тело. – Теперь я могу тебе доверять.

Для Аннагрет ужас был в том, что ей это нравилось – по крайней мере поначалу. Поначалу это была просто более близкая дружба. Они по-прежнему вместе смеялись, она все так же рассказывала ему, как прошел школьный день, они все так же вместе катались и тренировались в спортцентре. Обычная жизнь, но с секретом, с самым что ни на есть взрослым секретом – она переодевалась в пижаму, ложилась в постель, и тут-то все и происходило. Он дотрагивался до нее и все твердил, какая она красивая, какая она идеальная красавица. И поскольку поначалу он ничего, кроме рук, в ход не пускал, она винила во всем только себя, словно все это была ее затея, словно она сама навлекла это на них своей красотой и нет другого способа прекратить это, кроме как поддаться и получить облегчение. Она ненавидела свое тело за то, что оно желало облегчения, – ненавидела за это еще больше, чем за “красоту”, но почему-то ненависть лишь обостряла желание. Она хотела, чтобы он ее целовал. Хотела, чтобы он ее хотел. Плохая девчонка, совсем испорченная. Да и логично: как не быть испорченной, раз мать у нее наркоманка? Однажды она мимоходом спросила мать, не соблазнялась ли та когда-нибудь наркотическими средствами, которые назначались пациентам. Изредка – да, бывало, не моргнув глазом ответила мать; если чуть-чуть остается лишнего, она или другая сестра может воспользоваться для успокоения нервов, от этого наркоманкой не станешь. Наркоманию, что примечательно, помянула именно она, а не Аннагрет.

Для Андреаса ужас был в том, как сильно сосредоточенность отчима на ее “тайном местечке” напоминала его собственную одержимость. И сходство лишь ненамного уменьшилось, когда Аннагрет рассказала о дальнейшем: все эти недели щупания оказались лишь прелюдией к тем вечерам, когда Хорст расстегивал ширинку. Рано или поздно такое должно было случиться, но это разрушило чары, под действием которых она пребывала; в их тайну посвятили третьего. Этот третий ей не понравился. Она поняла: он шпионил за ними с самого начала, выжидал, манипулировал ими, точно куратор из министерства. Она не хотела его видеть, не хотела, чтобы он появлялся рядом, а когда он попытался утвердить свою власть, стала бояться вечеров. Но куда ей было деваться? Член знал ее секреты. Знал, что она – пусть только поначалу – хотела, *предвкушала*. Полуосознанно она сделалась его доверенной внештатной сотрудницей, дала ему молчаливое обязательство. Теперь она задумывалась: не потому ли мать употребляет наркотики, что не хочет знать, к какому телу на самом деле вожделеет член. Член все знал о

провинностях матери, за членом стояло Министерство госбезопасности, поэтому в полицию Аннагрет обратиться не могла: мать посадят, а ее оставят во власти члена. То же самое случится, если она расскажет матери: мать пожалуется на мужа, а член за это отправит ее за решетку. Мать, может быть, и заслуживает тюрьмы, но не заслуживает, чтобы Аннагрет при этом оставалась дома и продолжала чинить ей вред.

То была последняя глава ее незавершенной пока что истории – до нее она дошла на четвертый вечер бесед с Андреасом. Закончив свою исповедь в прохладном сумраке церкви, Аннагрет расплакалась. Видя, как она плачет, невысказанно красивая, как она младенчески трет кулачками глаза, Андреас испытал неведомое ему прежде телесное ощущение. Любитель посмеяться, поиронизировать, подлинный мастер несерьезного жанра, он не сразу и понял, что с ним творится: он тоже заплакал. Но почему – это он понял. Он плакал о себе – о том, что с ним было в детстве. Историей о растлении несовершеннолетних ему довелось выслушать немало, но впервые – от такой хорошей девочки, от девочки с идеальными волосами, с идеальной кожей, фигурой. Красота Аннагрет что-то отомкнула в нем. Он почувствовал, что он *такой же, как она*. И теперь он тоже плакал, потому что полюбил ее и потому что она не могла ему принадлежать.

– Ты сумеешь мне помочь? – прошептала она.

– Не знаю.

– Зачем же я все тебе рассказала, если ты не можешь помочь? Зачем ты задавал столько вопросов? Ты вел себя так, будто знаешь, как помочь.

Он покачал головой и ничего не ответил. Она положила руку ему на плечо – едва дотронулась, но и легчайшее ее прикосновение было ужасно. Он подался вперед, содрогаясь от рыданий.

– Мне так за тебя больно.

– Теперь ты понимаешь, о чем я говорила. Я причиняю вред.

– Нет.

– Может быть, мне просто стать его любовницей? Пусть разведется с мамой и возьмет меня в подружки.

– Нет. – Он пересилил себя, вытер лицо. – Нет, он больной, извращенец. Я в этом немного разбираюсь, потому что сам не в полном порядке. Я могу представить себе.

– Ты что, мог бы так же, как он?..

– Нет. Клянусь тебе. Я – как ты, а не как он.

– Но... если ты не в полном порядке и как я, значит, и я не в полном порядке.

– Я не это имел в виду.

– Но ты прав. Мне надо пойти домой и стать его девушкой. Раз я не в полном порядке. Спасибо за помощь, товарищ консультант.

Он взял ее за плечи и заставил посмотреть на себя. Кроме недоверия, в ее глазах сейчас ничего не было.

– Я хочу быть твоим другом, – сказал он.

– Дружба ведет известно к чему.

– Ты ошибаешься. Побудь тут еще, давай вместе подумаем. Подружись со мной.

Она высвободилась, плотно скрестила руки на груди.

– Мы можем пойти прямо в Штази^[13], – сказал он. – Он нарушил режим секретности. Как только они поймут, что он может их скомпрометировать, они от него избавятся, как от зачумленного. Что он для них? Информатор нижнего звена. Мелюзга.

– Нет, – возразила она. – Они решат, что я вру. Я не все тебе рассказала. Стыдно. Я кое-что делала, чтобы его заинтересовать.

– Это неважно. Тебе пятнадцать. По закону ты ответственности не несешь. Если он не полный дурак, он сейчас трясется от страха. Все в твоих руках.

– Но даже если они мне поверят, это всем сломает жизнь, и мне в том числе. У меня не будет дома, я не поступлю в университет. Даже сестра меня возненавидит. Лучше, наверно, я просто буду все ему позволять, пока не повзрелею, а тогда уеду.

– Ты этого хочешь?

Она покачала головой.

– Если бы хотела, не была бы здесь. Но теперь вижу, что никто не может мне помочь.

Андреас не нашелся с ответом. Больше всего он хотел бы, чтобы она поселилась у него в подвале пасторского дома. Он защищал бы ее, учил бы ее на дому, занимался бы с ней английским, подготовил бы ее на роль консультанта для подростков из группы риска, и они были бы друзьями – так король Лир воображал себе жизнь с Корделией: узнавать издали придворные новости, смеяться, слыша, “кто в силе, кто в опале”. Может быть, со временем они бы стали настоящей парой, парой в подвале, живущей там своей частной жизнью.

– Мы можем тут найти тебе место, – сказал он.

Она опять покачала головой.

– Он и так злится, что я задерживаюсь до полуночи. Думает, с мальчиками гуляю. Если я совсем перестану приходить, он донесет на маму.

– Он так тебе сказал?

– Он плохой человек. Я долго думала, что он хороший, но все, конечно с этим. Сейчас что бы он ни сказал – всюду угроза. Он не отступится, пока не получит все, чего хочет.

Новое чувство – уже не слезы, а ненависть – захлестнуло Андреаса.

– Я могу его убить, – сказал он.

– Я не это имела в виду, когда просила помочь.

– Так и так чья-нибудь жизнь должна быть погублена, – заговорил он, следуя логике своей ненависти. – Почему бы не его и моя? Я тут все равно как в тюрьме. Кормить меня за решеткой вряд ли будут хуже. Книги буду читать за государственный счет. А ты будешь ходить в школу и поможешь маме справиться с наркоманией.

Она хмыкнула.

– План хоть куда. Напасть на такого силача.

– Заранее его предупреждать я не буду, разумеется.

В ее взгляде читалось: это не может быть всерьез. И раньше, в любой другой момент его жизни, она была бы права. Его коньком было легкое ко всему отношение. Но в том, как Республика походя губит людские жизни, труднее находить смешную сторону, когда речь идет о жизни Аннагрет. Он уже начал в нее влюбляться и ничего не мог поделать с этим чувством, ничего не мог сделать и ради этого чувства, ничего, чтобы она ему доверяла. Но что-то из этого она, похоже, увидела в его лице, потому что выражение ее лица изменилось.

– Нет, не надо его убивать, – тихо сказала она. – Он просто очень больной. В нашей семье со всеми что-то не так; куда я ни пойду, со всеми что-то не так, и со мной тоже. Мне просто нужна *помощь*.

– В этой стране тебе помощи неоткуда ждать.

– Так не может быть.

– Так есть.

Какое-то время она глядела прямо перед собой – то ли на передние ряды, то ли на крест за алтарем, одинокий, еле освещенный. Потом ее дыхание участилось, стало отрывистым.

– Я бы не заплакала, если б он умер, – сказала она. – Но если это делать, то мне самой, а я ни за что не смогу. Ни за что. Нет. Лучше уж стать его подружкой.

Поразмыслив, Андреас понял, что и ему на самом деле не хочется убивать Хорста. В тюрьме он, вполне возможно, выжил бы, но клеймо убийцы не отвечало его представлениям о себе. Клеймо будет преследовать его вечно, и он уже не сможет так нравиться себе и другим, как сейчас.

Одно дело – *Assibräuteaufreißer*, охотник до асоциальных телочек: такое клеймо достаточно смехотворно, чтобы ему подойти. Но не *убийца*.

– Ладно, – сказала Аннагрет, поднимаясь. – Очень мило, что ты это предложил. Очень мило, что выслушал меня и тебе не стало совсем уж противно.

– погоди. – Ему пришла в голову новая мысль: если она станет его сообщницей, его могут и не поймать, а даже если поймают, ее красота и его любовь всегда будут неотделимы от того, что они совершили вдвоем. Не просто *убийца* – человек, уничтоживший осквернителя необыкновенной девушки.

– Можешь мне довериться? – спросил он.

– Мне нравится, что я могу с тобой разговаривать. Я не боюсь, что ты кому-нибудь расскажешь.

Не этих слов он ждал от нее. Они заставили его устыдиться своей фантазии о том, как приютит ее и будет обучать у себя в подвале.

– Твоей девушкой я быть не хочу, – добавила она, – если ты это имел в виду. Я ничьей девушкой не хочу быть.

– Тебе пятнадцать, мне двадцать семь. Я совсем не об этом.

– У тебя, конечно, есть своя история. И, конечно, очень интересная.

– Хочешь послушать?

– Нет. Просто хочу опять стать нормальной.

– Нормальной ты уже не будешь.

У нее сделалось несчастное лицо. Самое естественное сейчас – обнять ее, утешить, но в их положении не было ровно ничего естественного. Он чувствовал себя абсолютно бессильным – еще одно новое ощущение, и оно не нравилось ему совершенно. Он опасался, что сейчас она уйдет и никогда не вернется. Но она глубоко вздохнула, успокаиваясь, и, не глядя на него, спросила:

– Как бы ты это сделал?

Тихим, глухим голосом, словно в трансе, он сказал ей как. Ей надо перестать бывать в церкви. Надо прийти домой и соврать Хорсту. Сказать: я ходила в церковь, чтобы посидеть одной, помолиться и спросить Бога, как мне быть, и теперь мысли у меня прояснились. Я готова тебе совсем отдаться, но только не дома, это будет неуважением к маме. Я знаю одно хорошее место, романтическое, туда мои друзья и подружки ездят иногда по выходным пить пиво, целоваться и все такое. Если тебе дороги мои чувства, давай туда поедem.

– Ты знаешь такое место?

– Знаю, – сказал Андреас.

- С какой стати тебе на это идти для меня?
- А для кого? Кто заслуживает этого больше? Ты имеешь право на хорошую жизнь. Ради этого я готов рискнуть.
- Это не рискнуть. Тебя точно поймают.
- Хорошо, давай мысленный эксперимент. Если бы меня точно *не* поймали, ты бы мне позволила?
- Это меня надо убить. Я ужасно поступаю и с сестрой, и с мамой.

Он вздохнул.

- Аннагрет, ты мне очень нравишься. Но я не люблю, когда разыгрывают драмы.

Это были те слова, какие нужно, – он это сразу увидел. Было бы преувеличением сказать, что глаза ее вспыхнули, но искра точно мелькнула. Почувствовав ответный огонь у себя в паху, он испытал к этой части тела чуть ли не отвращение; нет, он не хочет, чтобы это было просто очередным соблазнением. Он хочет, чтобы она вывела его из бесплодных земель похоти и соблазнения, где он жил.

- Я бы все равно не смогла, – сказала она, отворачиваясь.
- Ясно. Проехали. Мы просто разговариваем.
- Ты тоже любитель драматизировать. Сказал, ты самый важный человек в стране.

Он мог бы возразить, что такое смехотворное заявление можно сделать только иронически, но увидел, что это верно лишь наполовину. Ирония – вещь скользкая, а искренность Аннагрет была тверда.

- Ты права, – благодарно подтвердил он. – Я тоже склонен драматизировать и преувеличивать. И в этом мы с тобой опять-таки похожи.

Она недовольно пожала плечами.

- Но поскольку мы всего лишь разговариваем, скажи: ты хорошо умеешь водить мотоцикл?
- Я просто хочу опять стать нормальной. Не хочу быть как ты.
- Хорошо. Постараемся сделать тебя опять нормальной. Но если ты умеешь водить его мотоцикл, это может нам помочь. Я ни разу в жизни не садился.

- Мотоцикл – как дзюдо, – сказала она. – Нужно поддаваться, а не перебарывать.

Славная девочка-дзюдоистка. Так она и вела разговор: то закрывала перед Андреасом дверь, то слегка приоткрывала, то отвергала некие возможности, то, повернувшись на сто восемьдесят, допускала; наконец ей стало пора домой. Они договорились, что в церковь она больше ходить не

будет, если только не решится привести с ним вместе в исполнение его план или перебраться к нему в подвал. Больше ничего у них надумать не получалось.

Она перестала появляться в церкви, и общаться с ней у Андреаса возможностей не было. Шесть вечеров подряд он приходил в церковь и сидел там до ужина. Он был практически уверен, что никогда больше ее не увидит. Просто школьница, и если она им и заинтересовалась, то совсем чуть-чуть, и отчима она ненавидит не так смертельно, как он. Она сдастся: либо в одиночку пойдет в Штази, либо пустится с Хорстом во все тяжкие. Так проходил вечер за вечером, и Андреас даже начал чувствовать некое облегчение. Всерьез задумать убийство – почти так же хорошо для жизненного опыта, как осуществить его, но при этом никакого риска. Не сидеть, ясное дело, лучше, чем сидеть. Что мучило его – это мысль, что он никогда больше не увидит Аннагрет. Он представлял мысленно, как она, хорошая девочка, старательно отрабатывает броски в клубе дзюдо, и проникался жалостью к себе. Того, что, может быть, происходит с ней дома по вечерам, он представлять себе не хотел.

Она пришла на седьмой день ближе к вечеру, бледная, изголодавшаяся на вид, в уродливом дождевике, какой носил каждый второй ее сверстник в Республике. Зигфельдштрассе поливал противный морозящий холодный дождь. Она села в заднем ряду, наклонила голову, переплела мучнистые, искусанные пальцы. Увидев ее после того, как неделю только воображал ее себе, Андреас был поражен контрастом между любовью и возделением. Любовь оказалась чем-то душевыматывающим, перекручивающим живот, диковинно клаустрофобным: словно в него втолкнули безмерность – безмерный вес, безмерные возможности, – оставив для нее единственный узенький выход – бледную дрожащую девочку в плохом дождевике. Прикоснуться к ней – у него и мысли такой не было. Побуждение было – броситься к ее ногам.

Он сел поодаль от нее. Долго – несколько минут – они молчали. Любовь изменила его восприятие: он прислушивался к ее неровному дыханию, смотрел на ее дрожащие руки, и его мучило все то же несоответствие между тем, как много она значит, и обыкновенностью этих звуков, этих пальцев школьницы. Его посетила странная мысль: неправильно, дурно помышлять об убийстве человека, который, пусть и извращенно, тоже любит ее; ему следовало бы испытывать к этому человеку сочувствие.

– Мне скоро на дзюдо, – сказала она наконец. – Долго тут быть не смогу.

– Рад тебя видеть, – сказал он. Из-за любви у него было чувство, что это самые правдивые слова за всю его жизнь.

– Так скажи мне просто, что я должна делать.

– Момент не совсем подходящий. Давай в какой-нибудь другой день.

Она покачала головой, пряди волос упали на лицо. Она не стала их отводить.

– Просто скажи мне, что делать.

– Черт, – не сдержался он. – Ведь мне так же страшно, как тебе.

– Не может быть.

– Почему тебе не сбежать просто-напросто? Живи здесь. Комнату мы найдем.

Ее затрясло сильнее.

– Если ты мне не поможешь, то я сама. Ты думаешь, ты плохой, но я хуже.

– Нет, постой, постой. – Он обеими руками взял ее дрожащие руки. Ледяные и обычные, такие обычные; он их любил. – Ты очень хорошая. Ты просто попала в дурной сон.

Она повернула к нему лицо, и сквозь пряди волос он увидел горящие глаза, до костей прожигающий взгляд.

– Так поможешь мне или нет?

– Ты этого хочешь?

– Ты сам сказал, что поможешь.

Есть ли на свете человек, ради которого стоило бы? Он не знал ответа, но выпустил ее ладони и достал из кармана нарисованную от руки карту.

– Вот он, дом, – сказал он. – Съездишь вначале одна на электричке, чтобы точно знать дорогу. Поезжай вечером, когда темно, и поглядывай, нет ли полицейских. Когда отправитесь с ним на мотоцикле, скажи ему, чтобы перед последним поворотом выключил фары, а потом заехал за дом. Дорожка его огибает. Останóвитесь – сделай так, чтобы он снял шлем. Какой день выберем?

– Четверг.

– Когда у мамы начинается смена?

– В десять.

– Не приходи домой ужинать. Пообещай встретиться с ним у мотоцикла в девять тридцать. Не надо, чтобы видели, как ты выходишь из дома с ним вместе.

– Ладно. А ты где будешь?

– Об этом не беспокойся. Веди его сразу к задней двери. Все будет так, как мы говорили.

По ней прошла легкая судорога, похожая на рвотный позыв, но она справилась с собой и засунула карту в карман.

– Это все? – спросила она.

– Ты уже предложила это ему. Свидание.

Она коротко кивнула.

– Прости меня, – сказал он.

– Это все?

– Еще только одно. Посмотри на меня, пожалуйста.

Она так и оставалась согнутая, похожая на провинившуюся собаку, но голову к нему повернула.

– Ты должна мне честно сказать, – потребовал он. – Ты делаешь это для себя или для меня?

– Какая разница?

– Огромная. От этого все зависит.

Она снова опустила взгляд себе на колени.

– Я просто хочу с этим покончить. Любым способом.

– Ты ведь понимаешь: нам нельзя будет потом видеться очень долго, как бы все ни повернулось. Никаких контактов.

– Так даже и лучше почти.

– Но подумай. Если ты просто переселишься сюда, мы сможем видеться каждый день.

– По-моему, это не лучше.

Он поднял глаза к запятнанному потолку церкви и подумал: это какая-то космическая шутка. Первую, кого его сердце свободно выбрало, он не только не может получить, ему даже нельзя будет ее видеть. И при этом чувство, что так и должно быть. В самом его бессилии была сладость. Кто бы мог предугадать? В голове промелькнули разные любовные штампы: глупые изречения, строчки из песен...

– Я на дзюдо опаздываю, – сказала Аннагрет. – Мне пора.

Он закрыл глаза, чтобы не видеть, как она уходит.

Так легко во всем винить мать. Жизнь – убогий парадокс, желания безмерны, а ресурсы ограничены, рождение – пропуск в смерть; так почему не возложить вину на ту, которая тебе все это подсунула? Хорошо, может быть, это и несправедливо. Но твоей матери ничто не мешает винить собственную мать, а той свою, а той свою, и так далее вплоть до Эдема. Люди из века в век порицают своих матерей, но Андреас был более или менее уверен, что мало кто из этих женщин так же достоин порицания, как его мать.

Случайный фактор – особенность развития мозга – отнимает у ребенка все козыри: мать располагает тремя-четырьмя годами, чтобы уделать твой мозг, пока твой гиппокамп еще не сохраняет долговременные воспоминания. Ты говоришь с матерью с года, слышишь ее с рождения, но ни слова из сказанного надолго не запоминаешь, пока гиппокамп не включится как следует. И тогда твое сознание, впервые открыв глазки, видит, что ты по уши влюблен в маму. И как мальчик на редкость одаренный и восприимчивый, ты, кроме того, уже веришь в историческую неизбежность социалистического пролетарского государства. Мама в глубине души, может быть, в нее и не верит, но ты веришь. Ты сформировался как личность задолго до того, как обрел сознательное “я”. Твое тельце когда-то находилось глубже в материнской утробе, чем проникал отцовский член, потом всю твою проклятущую башку протащило сквозь ее влагалище, а потом долго-долго ты, когда хотелось, сосал ее сиськи, и ничегошеньки из этого ты не мог запомнить при всем желании. Ты самоотчужден от рождения.

Отец Андреаса был самым молодым – за одним исключением – членом партии, избранным в Центральный комитет, и работа у него была самая творческая во всей Республике. Как главный экономист страны он отвечал за всеобъемлющую подтасовку данных, за демонстрацию прироста производительности там, где его не было, за цифры бюджета, которые с каждым годом уходили все дальше от реальности, за приспособление к бюджетным нуждам курсов обмена всей твердой валюты, какую Республике удавалось правдами и неправдами выманить у Запада, за то, чтобы немногочисленные успехи раздувались, а куда более частым провалам подыскивались оптимистические оправдания. Другие партийные руководители могли себе позволить относиться к его цифири как к чему-то недоступному их пониманию или цинически над ней посмеиваться, но сам он должен был верить тому, что она говорила. Для этого требовались политическая убежденность, способность к самообману и – самое, может быть, главное – жалость к себе.

Лейтмотивом, прошедшим через все детство Андреаса, был бесконечно повторяемый отцом перечень трудностей и несправедливостей, с которыми столкнулось немецкое рабочее государство. Нацисты преследовали коммунистов и едва не уничтожили Советский Союз, и тот был совершенно прав, возмещая материальные потери за счет Германии; между тем Америка, отнимая скудные ресурсы у своего собственного угнетенного рабочего класса, отдавала их Западной Германии, чтобы творить иллюзию процветания, сбивать восточных немцев с толку и

переманивать тех, кто послабее. “Ни одно государство в мировой истории не создавалось в таких неблагоприятных условиях, как наше, – твердил отец. – Страна была в развалинах, все на нас ополчилось, но мы сумели прокормить наших граждан, одеть, обеспечить жильем и образованием, сумели каждому дать такую уверенность в завтрашнем дне, какая на Западе есть только у самых богатых”. Эти слова – *все на нас ополчилось* – неизменно находили отклик в душе Андреаса. Отец виделся ему величайшим из людей, мудрым и добросердечным защитником немецких рабочих, против которых все строили козни, которых все оплеывали. Есть ли на свете что-нибудь более достойное сочувствия, чем страдающий, поверженный народ, который вытерпел все и побеждает благодаря одной лишь вере в себя? Чем народ, на который *ополчилось все*?

Отец, однако, страшно много работал и часто ездил в СССР и другие страны Восточного блока. Подлинной любовью Андреаса стала его мать Катя, не уступавшая отцу совершенством, но гораздо более доступная. Она была красивой, живой, быстрой – только в политике она была непреклонна. Мальчишеская стрижка – несравненные рыжие волосы огненного и притом естественного оттенка, которого она добивалась благодаря импортному средству, доступному только самым привилегированным. Она была украшением Республики, женщиной огромного физического и интеллектуального обаяния, которая решила остаться, когда другие подобные ей спешили на Запад. Никому не удавалось придерживаться партийной линии так непринужденно. Андреас ходил на ее лекции и видел, как она держит аудиторию, как гипнотизирует всех пламенем волос и эмоциональным красноречием без бумажки. Она по памяти большими кусками цитировала Шекспира, причем экспромтом, иллюстрируя пришедшую ей только что мысль, и тут же с легкостью переводила на немецкий для студентов, не воспринимающих английскую поэзию на слух, однако все, что она говорила, было пронизано ортодоксией: датская трагедия – притча о ложном сознании и его крахе, Полоний – пародия на буржуазную интеллигенцию, светловолосый принц – предтеча Маркса, Горацио – его Энгельс, а Фортинбрас – подобие Ленина, носитель и защитник революционного сознания, прибывший в Данию, как тот на Финляндский вокзал. Если кого-то и отталкивало Катино бьющее в глаза самомнение, если кого-то и смущала ее яркая живость (тусклая заурядность – безопаснее), успокоению этих ретивых способствовал ее пост председателя политического комитета кафедры.

К тому же – славное происхождение. В 1933 году, после поджога Рейхстага и запрета Коммунистической партии, те партийные лидеры, что

посообразительней или поудачливей, бежали в Советский Союз и там прошли интенсивную подготовку в НКВД, а прочие рассеялись по Европе. Мать Кати имела британский паспорт и смогла с мужем и двумя дочерьми выбраться в Ливерпуль. Отец устроился на работу в военный порт и поставлял Советам достаточно шпионской информации, чтобы не потерять их благосклонность; по словам Кати, по крайней мере однажды у них ужинал Ким Филби^[14]. Когда началась война, семью вежливо, но твердо препроводили в Уэльс, в сельскую местность, где она и провела военные годы. Без Катиной старшей сестры, которая вышла замуж за руководителя джазового оркестра, родители затем вернулись в Восточный Берлин и прошли в праздничном параде. Воздав им публичную хвалу за сопротивление фашизму, подготовленные НКВД руководители, которых советские привели к власти, тихо сплывили их в Росток. В Берлине разрешили остаться только Кате, потому что она поступила в университет. Отец повесился в Росток в 1948 году, у матери началось психическое расстройство, и ее поместили в больницу, где она вскоре тоже умерла. Андреас потом пришел к мысли, что его деда, возможно, довели до самоубийства, а бабушку до психического расстройства органы госбезопасности, но для Кати такие “утешения” были политически недопустимы. Ее звезда взошла, когда закатилась звезда ее родителей, которых теперь спокойно можно было поминать как мучеников. Она стала профессором и позднее вышла замуж за коллегу по университету, который вместе с другими Вольфами, своими родственниками, провел военные годы в Советском Союзе, где изучал экономику.

Детство Андреаса с такой матерью было совершенно необычайным. Она разрешала ему все, а взамен требовала только, чтобы он всегда был с ней, просила только, чтобы он ею восхищался. Восхищение давалось ему без труда. Она преподавала в университете “англистику” и с сыном с самого начала говорила на обоих языках, подчас соединяя немецкий и английский в одной фразе. Смешение языков – это было самое лучшее, бесконечная потеха. “Что это за bloody awful mess?^[15] Соединенные Штаты are rotten!^[16] Is that a fart^[17] или машины старт? Хочешь one more кусочек creamcake?^[18] What goeth in thy little head on?^[19]” Она не отдавала его в детский сад, потому что он нужен был ей весь целиком, и благодаря привилегированному положению ей это было можно. Читать он научился так рано, что сам не помнил, как это случилось. Зато помнил, как спал с мамой в одной кровати, когда папа уезжал в командировку, помнил и то, как отец храпел, когда он пытался влезть в постель к ним обоим, помнил, как

он пугался храпа и тогда мать вставала, отводила его обратно в детскую и сама ложилась рядом. Казалось, он не способен сделать то, что ей бы не понравилось. Если с ним случалась детская истерика, она садилась на пол и плакала с ним вместе, и если это еще больше его расстраивало, она тоже расстраивалась еще больше, и так до тех пор, пока ее смешное поддельное огорчение не отвлекло его от собственного огорчения. Тогда он смеялся, и она смеялась вместе с ним.

Однажды он так разозлился, что ударил ее ногой по голени, и она заковыляла по гостиной, прикидываясь насмерть раненной, восклицая по-английски: “A hit, a palpable hit!”^[20] Это было так забавно и так обидно, что он подскочил и ударил ее опять, сильнее. На этот раз она рухнула на пол и лежала неподвижно. Он захихикал и подумал, не стукнуть ли ее еще, раз это так весело. Но она все так же лежала не двигаясь, и он встревожился и опустился на колени у ее лица. Она дышала – не умерла, – но глаза были странные, пустые.

– Мама?

– Тебе бы понравилось, если бы тебя так ударили? – тихо, размеренно спросила она.

– Нет.

Больше она ничего не сказала, но он был восприимчив не по годам, и ему мигом стало стыдно. Ей никогда не было нужды объяснять ему, чего не следует делать, и она никогда не объясняла. Он принялся теребить ее, тянуть, толкать, пытался поднять, говоря: “Мама, мама, прости, что я тебя ударил, пожалуйста, вставай”. Но она уже плакала, и это были настоящие слезы, а не игра. Он перестал трогать ее; он не знал, как быть. Побежал к себе в комнату и сам там поплакал, надеясь, что она услышит. Под конец уже просто завывал, но она все не шла к нему. Он перестал плакать и вернулся в гостиную. Она по-прежнему лежала на полу, точно в такой же позе, глаза были открыты.

– Мама?

– Ты ничего плохого не сделал, – пробормотала она.

– Я тебе не сделал больно?

– Ты у меня идеальный. А вот о мире этого не скажешь.

Она не двигалась. Он только одно мог надумать: вернуться к себе и лежать тихо, очень тихо, как она. Но лежать было скучно, и он открыл книгу. Он все еще читал, когда услышал, как вернулся отец. “Катя?.. Катя!” Шаги отца звучали жестко, сердито. Потом – звук пощечины. Через мгновение – еще один. Затем снова шаги отца, и шаги матери, и грохот сковородок и кастрюль. Когда он пришел на кухню, мама улыбнулась ему

теплой улыбкой, своей обычной теплой улыбкой и спросила, что он читал. За ужином родители вели обычный разговор, отец упомянул о ком-то, мать отпустила о нем какое-то замечание, смешное и чуточку ядовитое, а отец сказал на это: “От каждого по способностям” или что-то в этом роде, сентенциозное и правильное, а мать повернулась к Андреасу и подмигнула ему по-особенному, как ей нравилось ему подмигивать. Как же он любил ее! Как же он любил их обоих! А то, что было раньше, – просто дурной сон.

Многие из иных его ранних воспоминаний – о том, как мать брала его в университет на заседания комитета. Она сажала его в углу, подальше от стола президиума, и он, развитый не по годам, читал книги в изданиях для школьников: по-немецки – Вернера Шмоля^[21], *Nackt Unter Wölfen*^[22], *Kleine Shakespeare-Fabeln für junge Leser*^[23], по-английски – “Робин Гуда” и Стейнбека; а профессора тем временем из кожи вон лезли, предлагая новые способы согласовать преподавание “англистики” с вопросами классовой борьбы и нуждами немецкого рабочего класса. Наверное, во всем университете не проводилось более удушливых, более доктринерских заседаний – а все потому, что не было кафедры более уязвимой, более “лишней”. У Андреаса установилась почти телепатическая связь с матерью; он точно угадывал момент, когда надо было поднять глаза от книги и перехватить ее особое подмигивание, которым она сообщала ему: мы с тобой тут страдаем вместе, мы же тут самые умные. Коллегам, вероятно, не нравилось, что на заседании присутствует ребенок, но маленький Андреас мог необычайно долго быть сосредоточен на чтении и был до того точно настроен на материнскую волну, что прекрасно знал, чего не надо делать, чтобы ей не было за него стыдно, и никогда этого не делал. Лишь в случае крайней нужды он вставал и тянул ее за рукав, чтобы она сводила его в дамскую комнату пописать.

Как-то раз заседание сильно затянулось – это рассказывала Катя, сам Андреас не помнил, – и Андреаса разморило, он не мог больше читать и опустил голову на подлокотник кресла. Один из Катиных коллег, желая соблюсти в присутствии ее сына такт и не догадываясь о его языковых познаниях, посоветовал ей по-английски “полóжить” мальчика в ее кабинете. По словам Кати, Андреас тут же сел, выпрямился и вскричал по-английски: “Полóжить вместо положить – от слова ЛОЖЬ”. Да, он и правда рано научился правильно произносить этот глагол и рано начал весьма высоко оценивать свой ум – и все-таки он не мог поверить, что уже в шесть лет сумел так высказаться. Но Катя настаивала: сумел. То была одна из

многих историй о его раннем развитии, которые она любила рассказывать: ее сын в шесть лет знал английский лучше преподавателя с ученой степенью. Андреаса эти рассказы не смущали так, как – он понял это потом – должны были. Он рано научился отключать внимание от этих выражений материнской гордости, принимать их как данность и жить своей жизнью.

Когда началась школа с ее муштрой и идеологической обработкой плюс продленка, он стал меньше времени проводить с матерью, но тогда он уже был убежден, что его родители – лучшие на свете. Дома он все с таким же удовольствием состязался с матерью в изоощренной двуязычной игре, он уже лучше был готов к тому, чтобы читать ее любимые пьесы и романы, он становился тем, кем не был его отец, – человеком, любящим литературу, – и хотя теперь он вместе с тем отчетливее понимал, что мать психически не вполне устойчива (с ней случались новые срывы, один раз она лежала на полу у себя в кабинете, другой раз в ванне, иногда она отлучалась неизвестно куда, а потом давала неправдоподобные объяснения), он считал своим сыновним долгом принимать как аксиому, что у друзей и одноклассников матери не такие замечательные, как у него. Эту убежденность он сохранял до половой зрелости.

В теории Республика дурного вкуса в психологах не нуждалась, потому что невроз – буржуазное заболевание, выражение тех противоречий, каких в идеальном пролетарском государстве по определению быть не может. Психологи, однако, имелись, хоть и в небольшом количестве, и когда Андреасу было пятнадцать, отец записал его к одному из них. Его подозревали в покушении на самоубийство, но самым заметным симптомом расстройства было излишнее увлечение мастурбацией. Что для одного излишне, считал Андреас, то другому как раз, по мнению матери, он проходил естественную возрастную фазу, но он допускал, что отец может быть и прав, думая иначе. С тех пор как он отыскал тайный выход из самоотчуждения, возможность быть и дарителем, и получателем удовольствия, он все хуже относился к любой деятельности, которая отвлекала его этого занятия.

Больше всего времени поглощал футбол. Не было вида спорта, менее интересного восточногерманской интеллигенции, но к десяти годам Андреас впитал от матери достаточно презрения к интеллигенции. Отцу он заявил, что Республика – рабочее государство, а футбол – спорт рабочих масс, но это был циничный фальшивый довод в духе его матери. Подлинная же привлекательность футбола состояла в том, что он отделял его от одноклассников, которые воображали себя невесть чем, а были

ничем. Он уговорил своего лучшего друга Йоахима, для которого, как для Офелии Гамлет, представлял собой “чекан изящества, зеркало вкуса”, ходить вместе с ним. Они стали заниматься в спортивном центре, довольно далеко, что хорошо, расположенном от Карл-Маркс-аллее, и вели разговоры о Беккенбауэре и мюнхенской “Баварии”, в которых одноклассники на равных участвовать не могли. Позднее, после встречи с призраком, Андреас начал играть в футбол иступленно, он тренировался и в спортивном центре с ребятами, и сам по себе на Вебервизе, воображая себя звездой нападения и этим заглушая мысли о призраке.

Но звездой нападения ему не суждено было стать, и легкость мастурбации только увеличивала его досаду на защитников, мешавших ему забивать. У себя в комнате он мог забивать сколько вздумается. Тут единственным источником досады были скука и угнетенность, когда он забивал слишком много и не мог какое-то время забить еще.

Для поддержания интереса он надумал рисовать карандашом голых девиц. Первые рисунки выходили страшно грубыми, но затем он обнаружил в себе какой-никакой талант – особенно удачно получалось срисовывать из иллюстрированных журналов, срисовывать и одновременно раздевать, а другой рукой он в это время щупал себя и так растягивал удовольствие на целые часы. На менее удачные рисунки он кончал, потом комкал листок и выбрасывал; лучшие же сохранял, совершенствовал и не спешил снабжать грязными надписями: идеализированные личики и тела сохраняли для него привлекательность, а вот слова, которые он вкладывал девицам в уста, на следующий день его смущали.

Он сообщил родителям, что бросает футбол. Мать с одобрением принимала все, что бы он ни сделал и ни решил, но отец сказал: если он уйдет из секции, нужно выбрать что-нибудь другое, столь же здоровое и занимающее свободное время; и тогда однажды вечером по пути с тренировки он прыгнул с моста Рейнштрассе в грязные кусты, прямо туда – так уж вышло, – где в последний раз видел призрака. Он сломал лодыжку, а родителям сказал, что прыгнул по глупости, на спор.

Что в Республике у всех имелось в достатке, так это время. Не сделанное сегодня вполне можно было отложить на завтра. Всякий товар был в дефиците, но только не время, тем более если у тебя сломана лодыжка, а ум изощрен. Домашние задания – сущий пустяк, если ты с трех лет читаешь, а с пяти знаешь таблицу умножения; поражать и забавлять своим умом одноклассников – приятно, но этому удовольствию есть предел; девочки его не интересовали; а после встречи с призраком его не радовало и общение с матерью. Она по-прежнему была интересна, за

ужином она дразнила его своей занимательностью, как ломтиком роскошного плода, но он потерял к этой роскоши аппетит. Он пребывал в бескрайней пролетарской пустыне времени и скуки и потому не видел ничего дурного или “излишнего” в том, чтобы посвящать немалую часть дня сотворению красоты собственными руками, превращению пустой бумаги в женские лица, обязанные ему самим своим существованием и способные превратить его маленького червячка в нечто большое и крепкое. Он до того перестал стыдиться своего рисования, что взял моду работать над этими личиками прямо на диване в гостиной, порой дотрагиваясь до ширилки ради умеренной стимуляции, а то и вовсе забывая о стимуляции – настолько он погружался в свое искусство.

– Кто это? – спросила однажды мать, заглянув ему через плечо. Ее тон был игрив.

– Никто, – ответил он. – Просто лицо.

– Но это ведь чье-то лицо? Твоя одноклассница?

– Нет.

– Видно, что у тебя набита рука. Ты именно этим занимаешься, когда сидишь у себя закрывшись?

– Да.

– Есть у тебя еще рисунки, на которые мне можно посмотреть?

– Нет.

– У тебя настоящий талант. Можно мне все-таки взглянуть на другие рисунки?

– Я их выбрасываю, когда заканчиваю.

– У тебя *нет* других?

– Угадала.

Мать нахмурилась.

– Ты делаешь это назло мне?

– Честно говоря, мысль о тебе никогда меня не посещает. Вот посещала бы – тогда тебе стоило бы беспокоиться.

– Я могу тебя защитить, – сказала она, – но для этого ты должен поговорить со мной откровенно.

– Я не хочу с тобой разговаривать.

– Возбуждаться от картинок – это нормально в твоем возрасте. Все это здоровые потребности для твоего возраста. Я только хочу знать, чье это лицо.

– Мама, это *придуманное* лицо.

– Но рисунок такой выразительный. Он выглядит так, словно тебе очень хорошо известно, кто это.

Ничего не говоря, он сунул рисунок в папку и ушел в свою комнату. Когда он снова открыл папку, лицо показалось ему отвратительным. Мерзость, мерзость! Он разорвал лист. Мать постучалась и открыла дверь.

– Почему ты прыгнул с моста? – спросила она.

– Я же говорил тебе. На спор.

– Ты хотел причинить себе вред? Ты должен сказать мне правду! Если ты поступишь так же, как поступил со мной мой отец, для меня это будет концом всего.

– Я уже говорил: мы поспорили с Йоахимом.

– Ты слишком умен, чтобы на спор выкинуть такую глупость.

– Хорошо. Я нарочно сломал ногу, чтобы больше времени оставалось на мастурбацию.

– Не смешно.

– *Пожалуйста, уйди, чтобы я мог заняться мастурбацией.* – Слова сами слетели с губ, но что-то словно высвободилось в Андреасе от удара, когда он их услышал. Он вскочил и подошел к матери; дрожа, ухмыляясь, повторил: – *Пожалуйста, уйди, чтобы я мог заняться мастурбацией. Пожалуйста, уйди, чтобы я мог...*

– Прекрати!

– Я не похож на твоего отца. Я на *тебя* похож. Но я хотя бы уединяюсь. Никому не причиняю вреда, кроме себя.

Она побледнела. Один – ноль.

– Понятия не имею, о чем ты.

– Ну да, разумеется. Это ведь я – сумасшедший. Не отличу *сокола от цапли*. – Последние слова он произнес по-английски.

– Хватит разыгрывать Гамлета!

– *A little more than kin, a little less than kind*^[24].

– У тебя какая-то совершенно ложная мысль в голове, – сказала она. – Ты ее взял из книги, и меня бесят эти твои намеки. Начинаю думать, что прав был твой отец: зря я так рано позволяла тебе все это читать. Я все еще могу тебя защитить, но ты должен мне признаться. Сказать, что ты думаешь на самом деле.

– Я не думаю – ничего.

– Андреас.

– Пожалуйста, уйди, чтобы я мог заняться мастурбацией.

Это он ее защищал, а не она его, и когда отец вернулся из очередной поездки по заводам и сообщил, что записал его к психологу, Андреас предположил, что его задача во время предстоящих бесед – по-прежнему защищать ее. Отец не доверил бы его никому, кроме самого политически

благонадежного психолога, одобренного органами госбезопасности. Поэтому, как бы ни росла в нем ненависть к матери, он ни за что не должен рассказывать психологу о призраке.

Столица Республики была плоской не только в духовном, но и в буквальном смысле. Немногие возвышенности образовались из военных развалин, и на одной из них, за оградой футбольного поля, невысокой, продолговатой и поросшей травой, Андреас и увидел впервые призрака. За ней были заброшенные рельсы и пустырь, узкий и до того неправильной формы, что его пока не удалось включить ни в какой пятилетний план застройки. Призрак, должно быть, поднялся со стороны рельсов во второй половине дня, когда Андреас, уставший от рывков, повис на прутьях забора и прижал к ним лицо, переводя дыхание. Впереди, метрах в двадцати, стоял и смотрел на него сверху вниз человек – тощий, бородатый, в истрепанной замшевой куртке. Восприняв это как вторжение в личное пространство и покушение на привилегии, Андреас повернулся и прислонился к забору спиной. А когда опять пошел делать рывки и глянул за забор, призрака уже не было.

Но на закате следующего дня он опять появился, опять стоял и смотрел прямо на Андреаса, выделяя его из всех. На этот раз и другие игроки заметили призрака, заорали: “Вонючий маньяк! Иди подотрись!” и тому подобное – с тем презрением, не умеряемым никакими соображениями морали, что члены футбольного клуба питали ко всякому, кто не играл по правилам общества. Обругав бродягу, ты ничем не рискуешь – наоборот, тебя больше будут уважать. Один из парней отделился от команды и двинулся к забору, чтобы хорошенько послать пришельца с ближнего расстояния. Заметив его, призрак нырнул за возвышенность и скрылся из виду.

Потом он появлялся уже в темноте, торчал в той точке длинного холма, где как раз кончался свет фонарей над футбольным полем; голова и плечи виднелись уже смутно. Бегая по полю, Андреас все поглядывал: там ли он еще? То его было видно, то нет; дважды он, показалось Андреасу, поманил его, мотнув головой. Но до финального свистка он всегда исчезал.

Через неделю такой игры в прятки Андреас после тренировки, когда все уходило с поля, отвел Йоахима в сторону.

– Этот чувак на холме, – сказал Андреас. – Он все поглядывает на меня.

– А, так это ты ему нужен.

– Как будто хочет что-то мне сказать.

– Джентльмены предпочитают... кого? Блондинов. Надо бы сообщить

куда следует.

– Я схожу за забор. Хочу узнать, что у него за история.

– Не будь идиотом.

– Он как-то странно на меня смотрит. Как будто меня знает.

– Не знает, а *хочет* узнать. Говорят тебе: все дело в твоих золотистых кудрях.

Йоахим, вполне возможно, был и прав, но у Андреаса имелась мать, в глазах которой любой его поступок был верным, из-за чего к четырнадцати годам он уже привык следовать своим побуждениям и брать что хочется – главное не бросать прямого вызова властям. Все всегда оборачивалось в его пользу, он не падал в грязь лицом, а удостаивался похвалы за инициативу и творческий подход. Теперь ему хотелось поговорить с призраком в замшевой куртке и выслушать его историю – уж наверняка она будет не такой скучной, как все, что ему пришлось выслушать за последнюю неделю; пожав плечами, Андреас подошел к забору и поставил ногу на перекладину.

– Ты что, не надо, – сказал Йоахим.

– Если через двадцать минут не вернусь, зови полицию.

– Ты псих. Ладно, я с тобой.

Этого-то Андреас и хотел, и, как всегда, он это получил.

С вершины длинного холма мало что можно было разглядеть в темноте у старых рельсов. Скелет грузовика, сорная трава, чахлые деревца без будущего, какие-то бледные полосы – может быть, остатки стен, – да еще их собственные слабые тени от фонарей над полем. Вдали – нагромождения социалистической жилой застройки средней этажности.

– Эй, ты! – крикнул во тьму Йоахим. – Асоциальный элемент! Ты здесь?

– Умолкни, – оборвал его Андреас.

Внизу у рельсов они заметили движение. Они двинулись туда самым прямым путем, каким только могли, прокладывая себе дорогу в слабом свете, раздвигая голыми коленками жесткую траву. Пока добирались до путей, призрак дошел почти до моста Рейнштрассе. Казалось – хотя точно определить было трудно, – что он смотрит на них.

– Эй, ты! – заорал Йоахим. – Мы хотим с тобой поговорить!

Призрак снова начал перемещаться.

– Иди душ принимай, – сказал Андреас. – Ты его пугаешь.

– Не будь идиотом.

– Я дальше моста не пойду. Можешь там наверху меня подождать.

Йоахим колебался, но он почти всегда в итоге делал так, как хотел

Андреас. Когда он ушел, Андреас побежал рысцой вдоль путей, получая удовольствие от своего маленького приключения. Призрака он теперь не видел, но быть в диком месте, в темноте – уже интересно. У него была голова на плечах, он знал правила и знал, что ничего тут не нарушает. Он чувствовал себя в полном праве, как чувствовал себя вправе быть именно тем футболистом, которого выбрала эта фигура. Он не боялся; было ощущение неуязвимости. Уличным фонарям на мосту он, однако, был рад. Он остановился перед мостом и заглянул в темноту под ним.

– Эй! – произнес он.

В темноте шаркнула обо что-то подошва.

– Эй!

– Зайди под мост, – произнес голос.

– Лучше сам выйди.

– Нет, ты под мост. Я ничего плохого тебе не сделаю.

Голос из-под моста был мягким голосом образованного человека, и Андреаса это почему-то не удивило. Человеку неинтеллигентному неуместно было бы высматривать его и подавать ему знаки. Андреас зашел под мост и увидел у одной из опор человеческую фигуру.

– Кто вы? – спросил он.

– Никто, – ответил призрак. – Так, нелепость.

– Что вам тогда надо? Я вас знаю?

– Нет.

– Что вам надо?

– Я не могу здесь оставаться надолго, но я хотел тебя увидеть, прежде чем вернусь.

– Куда?

– В Эрфурт.

– Хорошо, вот я. Вы меня видите. Можно поинтересоваться – почему вы за мной шпионите?

Мост над их головами вздрогнул и загремел под тяжестью проезжающего грузовика.

– Что бы ты сказал, – промолвил призрак, – если бы услышал от меня, что я твой отец?

– Сказал бы, что вы сошли с ума.

– Твоя мать – Катя Вольф, урожденная Эберсвальд. Я был ее студентом, а потом коллегой в Гумбольдтовском университете с пятьдесят третьего года по февраль шестьдесят третьего, когда меня арестовали, судили и приговорили к десяти годам за подрывную деятельность.

Андреас невольно отступил на шаг. Его страх перед прокаженными –

политически прокаженными – был инстинктивным. Ничего хорошего от общения с ними ждать не приходилось.

– Нет нужды говорить, – добавил призрак, – что никакой подрывной деятельностью я не занимался.

– Видимо, народная власть считала иначе.

– Нет, никто, что интересно, не считал иначе. На самом деле меня посадили за другое преступление: за связь с твоей матерью до ее замужества и во время. Главным образом, конечно, за *во время*.

Жуткое чувство охватило Андреаса: частью отвращение, частью боль, частью праведный гнев.

– Слушай, ты, поганец, – сказал он. – Не знаю, кто ты такой, но про мою мать не смей так говорить, понял? Увижу тебя еще у нашего поля – позову полицию. Тебе все ясно?

Он повернулся и заковылял обратно, к свету.

– Андреас! – крикнул ему вслед поганец. – Я держал тебя маленького на руках.

– От. бись, кто бы ты ни был.

– Я твой отец.

– От. бись, грязная вонючая тварь.

– Сделай мне одно одолжение, – сказал поганец. – Вернешься домой – спроси супруга своей мамы, где он был в октябре и ноябре пятьдесят девятого года. Только и всего. Просто спроси – и послушай, что он ответит.

Взгляд Андреаса упал на валявшееся рядом полено. Он может размозжить поганцу башку, и никто его не хватится, врага государства, никому до него нет дела. И даже если он, Андреас, на этом попадет, он может сказать, что это была самозащита, и ему поверят. От мысли у него встал член. В нем, выходит, живет убийца.

– Не беспокойся, – сказал поганец. – Больше ты меня не увидишь. Мне запрещено находиться в Берлине. Почти наверняка меня опять посадят – просто за то, что отлучился из Эрфурта.

– Думаешь, меня это волнует?

– Нет, конечно. С какой стати? Я же никто.

– Как твоя фамилия?

– Лучше тебе не знать, для твоей же безопасности.

– Тогда зачем ты со мной так поступаешь? Зачем вообще сюда явился?

– Затем, что я десять лет сидел и представлял себе это. И еще год представлял, когда вышел. Так бывает: очень долго что-то себе представляешь, и потом уже нет другого выхода, кроме как сделать это. Может, когда-нибудь у тебя тоже будет сын. Тогда, может быть, лучше

поймешь.

– Людям, которые грязно врут, место в тюрьме.

– Я не вру. Я сказал, какой вопрос тебе надо задать.

– Если ты плохо обошелся с моей мамой, тем более тебе место в тюрьме.

– Именно так смотрел на дело ее муж. Но у меня, как ты понимаешь, несколько иной взгляд на ситуацию.

Поганец произнес эти слова с ноткой горечи, и Андреас уже чувствовал то, что позже стало ему полностью ясно: этот человек виновен. Может быть, не в том, за что его посадили, но, безусловно, в том, что воспользовался чем-то неустойчивым в Кате, а теперь еще и вернулся в Берлин, чтобы чинить неприятности; в том, что поквитаться с бывшей возлюбленной для него важнее, чем чувства их четырнадцатилетнего сына. Он дрянь, ничтожество, *бывший аспирант кафедры английского языка*. Устанавливать с ним отношения – Андреасу это и в голову ни разу не пришло.

Но пока он сказал только:

– Спасибо, что испортил мне день.

– Я должен был хоть раз тебя повидать.

– Отлично. А теперь у. бывай в свой Эрфурт.

Повторяя себе под нос эти слова, Андреас торопливо вышел из-под моста и вскарабкался по насыпи на Рейнштрассе. Йоахима нигде не было видно, и он двинулся домой; по дороге дважды заходил в темные подъезды поправить трусы, потому что вставший от мысли об убийстве член по-прежнему оттопыривал футбольные шорты. Он отнюдь не собирался задавать отцу подсказанный призраком вопрос, но вдруг припомнил кое-какие сцены последних двух-трех лет, которые показались ему в свое время настолько бессмысленными, что он добропорядочно выкинул их из головы.

Тот случай, когда он приехал на дачу в пятницу днем и застал мать совершенно голой. Она сидела на земле между двух розовых кустов и не могла или не хотела вымолвить даже слово, пока – уже после наступления темноты – не приехал отец и не залепил ей пощечину. Очень странно было. А еще – когда у него поднялась температура и его отослали из школы домой. Дверь родительской спальни была заперта, а потом оттуда торопливо вышли двое рабочих в синих комбинезонах. А еще был случай: он подошел однажды к двери ее университетского кабинета, нужно было ее разрешение на школьную поездку, и опять-таки дверь была заперта, а через несколько минут из нее вышел студент с прилипшими ко лбу от пота волосами, а когда Андреас попытался войти, мать надавила на дверь

изнутри и снова заперлась.

И вот какие пленительно-небрежные объяснения она потом давала:

– Я просто нюхала розы, а день был такой прелестный, что я все с себя сняла, чтобы быть ближе к природе, а когда ты вдруг появился, мне стало так неловко, что я слова не могла сказать.

– Они чинили у меня проводку и попросили встать около выключателя и то включать свет, то выключать, опять и опять, и такие у них дурацкие правила – даже дверь не позволяли мне открыть. Как будто я их пленница!

– У меня с ним был ужасный, мучительный разговор о дисциплине, беднягу исключают – ты не слышал, как он плакал? – а потом мне надо было срочно кое-что записать, пока я не забыла.

Теперь он припомнил, как неумолимо давила на него дверь ее кабинета, выталкивая его наружу. Припомнил, как, увидев в розовом саду ее гениталии, понял, что видит их уже не первый раз: то, что казалось будоражающим сном из раннего детства, было на самом деле вовсе не сном, она уже ему их показывала, отвечая на какой-то не по годам умный вопрос. Припомнил, что, хотя он, больной, распростерся в гостиной на самом виду, рабочие в комбинезонах с ним не поздоровались, даже не посмотрели на него, так поспешно они уматывали.

Когда он вернулся домой, Катя сидела на псевдодатской софе из искусственной кожи – безвкусица, но все равно не в пример лучше, чем большая часть мебели в Республике, – и, потягивая вино из бокала, который позволяла себе после работы, читала “Нойес Дойчланд”. Она, похоже, знала, что могла бы послужить рекламой восточноберлинской жизни. В окно позади нее светили милые огоньки другого классного современного здания по ту сторону улицы.

– Так и пришел в футбольной форме, – сказала она.

Андреас зашел за стул, чтобы скрыть эрекцию.

– Да, решил пробежаться до дома.

– А одежду там оставил?

– Завтра заберу.

– Только что звонил Йоахим. Спрашивал, куда ты подевался.

– Я ему позвоню.

– У тебя все в порядке?

Ему хотелось верить в то, что она из себя изображала, ведь этот образ явно очень много для нее значил: безупречная труженица, мать, жена отдыхает после проведенного с пользой дня, пользуясь благами системы, которая дает человеку бóльшую уверенность в завтрашнем дне, чем капитализм, и к тому же более серьезна в лучшем смысле этого слова.

Катина способность с видимым интересом прочитывать партийную газету от первого до последнего скучного слова производила, нельзя отрицать, сильное впечатление. Он только сейчас начал догадываться, как сильно ее любит, – сейчас, когда ее вид внушал также и отвращение.

– Лучше не бывает, – ответил он.

Закрывшись в ванной, он извлек свой член и опечалился: он был такой маленький по сравнению с тем ощущением мощной штуки в трусах, что было на улице. Что ж, надо работать с тем, что имеешь, и он работал в тот вечер, и в следующий, и в следующий, пока мысль, не спросить ли родителей, где отец был осенью пятьдесят девятого года, не выветрилась из головы. Да, призрак из Эрфурта пострадал, и пострадал, может быть, несправедливо, но самому Андреасу ведь ничего не сделалось. Во всяком случае – ничего особенного. Чем поднимать бессмысленную бучу, чем причинять родителям неприятности, лучше было воспользоваться тем, что он знал и подозревал о матери, ради одного: оправдать свои одинокие оргии. Если она вправе развлекать в своей спальне во вторник посреди дня парочку случайных рабочих, то и он, конечно же, вправе вкладывать похабные слова в уста нарисованных женщин и прыскать на них спермой.

Психолог, доктор Гнель, принимал в просторном кабинете на первом этаже клиники Шарите. Он сидел за столом во впечатляюще медицинском белом халате. Андреас, сядясь напротив, почувствовал себя, точно больной у врача или соискатель должности на собеседовании. Доктор Гнель спросил, знает ли он, почему отец направил его сюда.

– Он проявляет здравомыслие и осторожность, – ответил Андреас. – Если я окажусь сексуальным маньяком, будет запись, показывающая, что он принимал меры.

– Значит, вы лично считаете, что вас напрасно ко мне послали?

– Я бы с гораздо большей радостью мастурбировал дома.

Доктор Гнель кивнул и что-то записал в блокноте.

– Это шутка была, – сказал Андреас.

– Выбор темы для шутки порой кое-что раскрывает.

Андреас вздохнул.

– Я бы предложил вам исходить из того, что я намного умнее вас. Моя шутка ничего не раскрывает. Цель шутки была в том, чтобы вы решили, будто она что-то раскрывает.

– Но вам не кажется, что этот ваш ход сам по себе что-то раскрывает?

– Только потому, что я сам этого хочу.

Доктор Гнель отложил ручку и блокнот.

– Вам, похоже, не приходит в голову, что у меня бывали и другие очень

умные пациенты. Разница между ними и мной в том, что я психолог, а они нет. Чтобы помочь вам, мне необязательно быть таким же умным, как вы. Достаточно быть умным в одном.

Неожиданно для себя Андреасу стало жалко психолога. Как, должно быть, тяжело сознавать, что твой ум ограничен. Как, должно быть, стыдно сказать об этом пациенту. Андреас прекрасно понимал, что он сообразительней прочих ребят в школе, но ни один из них не признал бы его превосходство так откровенно, с таким внушающим жалость смирением, как доктор Гнель. Он решил хорошо относиться к психологу и обращаться с ним бережно.

Доктор Гнель, не оставаясь перед ним в долгу, вынес заключение, что склонности к самоубийству у него нет. Когда Андреас объяснил, почему прыгнул с моста, доктор ограничился тем, что похвалил его за изобретательность:

– Вы чего-то хотели, никак не могли этого добиться и все-таки нашли способ.

– Спасибо, – кивнул Андреас.

Но у психолога были и другие вопросы. Нравится ли ему какая-нибудь девочка в школе? Хочется ли поцеловать кого-нибудь из них, потрогать, заняться сексом? Андреас честно ответил, что все одноклассницы глупые и противные.

– В самом деле? Все до одной?

– Я как будто вижу их через искажающее стекло. Они полная противоположность девушкам, которых я рисую.

– Вы хотели бы заняться сексом с девушками, которых рисуете.

– Очень хотел бы. Страшное разочарование, что не могу.

– Вы уверены, что не автопортреты рисуете?

– Нет, конечно, – возмутился Андреас. – Это абсолютно женские лица.

– Я ничего не имею против ваших рисунков. В моих глазах это еще одно проявление вашей изобретательности. Я не хочу судить, я только хочу понять. Вот вы говорите, что рисуете плоды своего воображения, нечто, существующее только у вас в голове, – разве это не автопортреты в некотором смысле?

– Разве что в самом узком и буквальном.

– А как насчет мальчиков в школе? Никто из них вас не привлекает?

– Нет.

– Вы так категорично ответили, словно не захотели честно вдуматься в мой вопрос.

– У меня есть друзья, они мне нравятся, но это не значит, что я хочу

заниматься с ними сексом.

– Хорошо. Я вам верю.

– Вы сказали это так, будто на самом деле не верите.

Доктор Гнель улыбнулся.

– Расскажите мне еще про это искажающее стекло. Какими выглядят сквозь него одноклассницы?

– Скучными. Тупыми. Социалистическими.

– Ваша мама предана делу социализма. Она тоже тупая, скучная?

– Вовсе нет.

– Ясно.

– Я не хочу заниматься сексом с мамой, если вы это подразумеваете.

– Я этого не подразумеваю. Я просто думаю о сексе. В большинстве своем люди стремятся к сексу с кем-то реальным, из плоти и крови. Пусть даже эта партнерша в общении наводит скуку, пусть даже кажется глупой. Я пытаюсь понять, почему у вас это не так.

– Не могу объяснить.

– Может быть, то, чего вы хотите, кажется вам таким грязным, что ни одна реальная девушка этого никогда не захочет?

Возможно, психолог и правда был умен только в одном, но Андреасу пришлось признать, что в узких рамках своей специальности доктор явно умней его. У него-то в голове была полная путаница: он располагал уликами, говорящими о том, что его мать хотела грязного и делала грязное, и, по идее, это означало, что другие представительницы ее пола, вполне возможно, тоже хотят это делать, и делать с *ним*; но чувствовал он почему-то нечто прямо противоположное. Как будто он так сильно, даже сейчас, любил мать, что мысленно изымал из нее все, что причиняло ему беспокойство, и пересаживал в других женщин, из-за чего они внушали ему страх, заставляли предпочитать мастурбацию, мать же при этом оставалась совершенством. Бессмыслица – но именно так обстояло дело.

– Я даже и знать не желаю, чего хочет реальная девушка, – сказал он.

– Вероятно, того же, что и вы. Любви, секса.

– Боюсь, со мной что-то не так. Я хочу только мастурбировать.

– Вам всего пятнадцать. Еще рано заниматься сексом с кем-то. Я не пытаюсь вас к этому подтолкнуть. Я просто нахожу любопытным, что никто в классе, ни из девочек, ни из мальчиков, вас не привлекает.

Даже спустя годы Андреас все еще не мог понять, как действовали эти беседы с доктором Гнелем: то ли очень помогли, то ли страшно навредили. Непосредственный же их результат состоял в том, что он начал гоняться за девочками. Главное, чего он хотел, – это чтобы с *ним* все было в

порядке. Даже еще до того, как встречи с психологом закончились, он применил ум к задаче собственной нормализации, и выяснилось, что доктор Гнель был прав: от реальных отношений можно получить больше. Они сильнее волновали, они больше от него требовали, чем рисование картинок, но не ставили таких непосильных задач, как сделаться звездой футбола. Благодаря общению с матерью у него был мощный арсенал: чуткость, уверенность в своем праве, взгляд свысока, – и он, имея дело с девочками, пускал все это в ход. Поскольку времени, чтобы потрепаться, у всех было вдоволь, а интересных тем мало, все в школе знали, что его родители – важные шишки. Это способствовало тому, чтобы девочки доверяли ему и улавливали его намеки. Их возбуждали, а не пугали его шуточки насчет Союза свободной немецкой молодежи, насчет старческого маразма членов советского Политбюро, насчет солидарности Республики с ангольскими повстанцами, насчет евристических принципов отбора в олимпийскую команду прыгунов в воду, насчет жутких мелкобуржуазных вкусов соотечественников. Социализм по большому счету был ему безразличен, целью шуточек было убеждать слушательниц, что он парень дерзкий, и оценивать степень их готовности быть дерзкими с ним на пару. В последний школьный год он со многими из них зашел довольно далеко – но раз за разом в решительный момент наталкивался на их узколобую пролетарскую мораль. Позволить щупать себя внизу пальцем и позволить трахнуть себя по-настоящему – для них эти две вольности были разделены такой же границей, как шутки про немецко-ангольское братство и заявление, что социалистическое рабочее государство – обман и что его ждет крах. Только две девочки согласились перейти с ним эту границу, но обе они лелеяли удручающе романтические мечты о совместном будущем.

Поиски более отвязных девиц привели его в богемные круги Берлина – в такие заведения, как “Мозаик” и “Фенглер”, на поэтические чтения. Он уже учился в университете – изучал математику и логику, науки точные и потому одобренные отцом, но вместе с тем достаточно абстрактные, чтобы ему не докучали политикой и идеологией. Он получал лучшие в группе оценки, усердно читал Бертрانا Рассела (к матери у него были счеты, но к ее англофилии – никаких), а свободного времени все равно оставалось много. Увы, он был далеко не единственным, кому вздумалось искать себе в таких местах сексуальных партнерш, и хотя у него имелись такие козыри, как юность и красота, мешало то, что его привилегированность просто была в глаза. Не то чтобы кто-нибудь подумал, будто Штази хватит глупости заслать к ним столь очевидного шпиона, но всюду, где бы Андреас ни появился, он чувствовал, как его привилегированность всех

настораживает, внушает опасение, что с ним нарвешься на неприятности, хочет он того или нет. Чтобы закадрить девицу из творческих сфер, нужно было доказать свою нелояльность властям. Первой, какая ему приглянулась, была Урсула, называвшая себя поэтом-битником. Он видел ее на двух чтениях, задница у нее была – полный восторг. Завязав с ней беседу после второго чтения, Андреас вдруг взял и брякнул, что и сам пишет стихи. Это была наглая ложь, но благодаря ей она согласилась выпить с ним кофе.

На свидании она нервничала. Отчасти беспокоилась за себя, но больше, судя по всему, за него.

– Ты думаешь о самоубийстве? – напрямик спросила она.

– Ха. Только при норд-норд-весте.

– Что это значит?

– Это из “Гамлета”. Значит: на самом деле нет.

– У меня в школе был друг, он покончил с собой. Ты чем-то на него похож.

– Я однажды прыгнул с моста. Но там было всего восемь метров.

– То есть не самоубийца, а бесшабашный членовредитель.

– Это был рациональный и взвешенный поступок, никакой бесшабашности. И это было давно.

– Но я чувствую прямо сейчас, – настаивала она. – Чуть ли не носом чую. Вот и от моего друга так пахло. Ты нарываешься и, кажется, даже не понимаешь, как сильно в этой стране можно нарваться.

Лицо у нее было так себе, но это не имело значения.

– Я не нарываюсь, а ищу другой способ жить, – серьезно ответил он. – Плевать как, лишь бы по-другому.

– Как по-другому?

– Честно. Мой отец врет профессионально, мать – как талантливая любительница. И если такие процветают, что это говорит о стране? Знаешь эту песню “Роллинг стоунз” – *Have You Seen Your Mother, Baby?*

– *Standing in the shadow...*

– Когда я первый раз ее услышал по американскому радио, я нутром почуял: все, что мне талдычили о Западе, – вранье. Мне звука хватило, чтобы понять: общество, где рождается подобный звук, не может быть таким обществом угнетения, как нам говорят. Нахальство, распущенность – может быть. Но это счастливое нахальство, счастливая распущенность. И что можно сказать о стране, где пытаются запретить такой звук?

Он говорил эти слова просто так, надеясь произвести впечатление на Урсулу, но говоря их, понял, что действительно так думает. Такой же

парадокс случился, когда он пришел домой (он по-прежнему жил с родителями) и попытался сочинить что-нибудь такое, что Урсула могла бы принять за настоящие стихи: первое побуждение было расчетливо-мошенническим, но вдруг оказалось, что из-под пера выходит нечто подлинное – тоскливое и жалобное.

Так он стал – на некоторое время – поэтом. С Урсулой у него ничего не вышло, но он обнаружил в себе талант к стихосложению, возможно родственной его способности реалистично изображать обнаженных женщин, и уже через несколько месяцев одно его стихотворение принял к публикации государственный журнал и он дебютировал в поэтических чтениях. Мужская часть богемы по-прежнему ему не доверяла, но о молодых женщинах этого нельзя было сказать: настала счастливая пора, когда он просыпался то в одной, то в другой постели – дюжина их сменилась за короткое время, – просыпался в разных концах города, в кварталах, о существовании которых прежде и не подозревал, в квартирах без водопровода, в узких до нелепости спальнях у Стены, в местах, где от автобуса надо двадцать минут топтать пешком. Есть ли что-нибудь столь же сладко-экзистенциальное, как в три часа ночи идти ради секса по самым пустынным улицам на свете? Как походя уничтожить всякий разумный распорядок сна? Как встретиться по пути в душераздирающе скверный санузел с чьей-нибудь матерью в халате и бигуди? Он писал об этих приключениях изощренно рифмованные стихи, отражая в них пребывание своего ни на что не похожего, субъективного “я” в краю, чье убожество скрашивал лишь восторг сексуальных побед, – писал и никаких неприятностей не нажил. Цензурный режим в стране к тому времени несколько смягчился и допускал подобные субъективные высказывания – по крайней мере, в поэзии.

Что подвело его – это стихи с секретом, которые он сочинял, когда голова уставала от математики. Та поэзия, в рамках которой он писал, успокаивала его тем, что сужала выбор слов. После хаоса, каким сделала его детство мать, ему желанна была дисциплина схем рифмовки и прочих формальных ограничений. На очередном сборном литературном вечере, получив всего семь минут, он прочел свои стихи с секретом, потому что они были короткие и не выдавали секрет слушателю – только читателю. После выступления редактор из “Ваймарер байтреге” похвалила стихи и сказала, что могла бы кое-что напечатать в номере, который ей скоро сдавать. Почему он согласился? Может быть, в нем и правда таилась некая склонность к самоубийству? Или все дело в том, что надвигалась армейская служба? Уже то, что он получил отсрочку, было, учитывая высокую

должность отца, до некоторой степени скандально. Пусть даже, что вполне вероятно, его ждала служба в элитных частях разведки или связи, он не мог себе представить, как он выживет в армии (поэтическая дисциплина – одно, армейская – совсем другое). Или, может быть, его согласие объяснялось просто-напросто тем, что редактор была примерно сверстницей его матери и кое-чем ее напоминала: до того ослеплена самомнением и привилегиями, что не видит, какой она абсолютный инструмент, винтик. Она, должно быть, воображала себя чуткой покровительницей юношеской субъективности, человеком, хорошо понимающим современную молодежь, и ни ей, ни ее начальству, видимо, не могло прийти в голову, что молодой человек, еще более привилегированный, чем они, захочет поставить их в неловкое положение. Потому что никто из них не заметил того, что заметили все читатели журнала в первые же сутки продаж:

Muttersprache / Mother Tongue

I	Ich
connected	danke
her	es
with	deiner
inappropriate	immensen
desire,	Courage,
made	allabendlich.
every	Träume
enthusiastically	ermächtigen.
unnatural	Träume
response	hüten
entirely	eines
mine.	Muttersöhnchens
She	ohnmächtigen
observed	Schlaf.
zealously,	Träumend
if	gelingt
a	Liebe
little	ohne
irritably;	Reue:
she	In
made	Oedipus'
up	Unterwelt
such	singt
droll	ein
excuses;	jauchzender,
nobody	aberwitziger
had	Chor
ever	uns
really	Lügen
relished	aus
lying	Träumen
if	ins

correct
hypocrisies
sufficed
to
evade
negativity.
She
allowed
me
everything;
not
every
radically
grotesque
upbringing
so
succeeds.

Ohr.
Nur
tags
offenbaren
Yokastes
Obsession
und
Rasen
sich,
ordnungshalber,
charakterlich.
Ich
aber
liege
im
Schlaf,
Mutter¹.

[25]

И гвалт же поднялся – любо-дорого! Журнал снимали со всех магазинных полок, увозили на переработку в макулатуру, редакторшу уволили, главного понизили, Андреаса мгновенно вышибли из университета. Из кабинета декана он вышел с такой широкой ухмылкой, что шея заболела. Судя по тому, как поворачивались к нему головы незнакомых студентов – и как знакомые поспешно отворачивались, – весь университет уже прослышал, что он натворил. Конечно, прослышал, ведь

сплетни – главное, чем наполняли свои дни все жители Республики, за исключением разве что его отца.

Выйдя на Унтер-ден-Линден, он заметил черную “ладу”, припаркованную вторым рядом напротив главного входа в университет. Двое мужчин, сидевшие в машине, смотрели на него, он им помахал – они не ответили. Ареста, при таких-то родителях, он не мог себе вообразить – впрочем, он даже не возражал бы. Он тешил себя мыслью, что не отречется, если на то пошло, от своих стихов. Ведь секс – его любимое занятие, верно? Ведь он так любит кончать. А раз так, что он написал крамольного? Можно ли принести социализму более прочувствованную дань, чем посвятить ему свой великолепнейший оргазм? Даже его своенравный член салютует Республике, встав по стойке “смирно”!

“Лада” следовала за ним по пятам до самой Александерплац, а когда он вышел из метро на Штраусбергерплац, другой, но тоже черный автомобиль уже дожидался на Карл-Маркс-аллее. Две предыдущие ночи он отсиживался на даче, но теперь, когда его официально исключили, прятаться от родителей смысла не было. День для февраля выдался на редкость теплый и солнечный, угольным дымом пахивало, но слегка, почти приятно, горло не саднило, и Андреас был в таком приподнятом, солнечном настроении, что ему захотелось подойти к черной машине и беззаботным тоном сообщить тем, кто в ней сидит, что он лицо более значительное, чем они когда-либо станут при самом лучшем раскладе. Он чувствовал себя гелиевым шариком, стремящимся в небо, натягивающим тонкую нить. Он надеялся, что никогда больше не будет серьезным человеком.

Машина следовала за ним до книжного магазина имени Карла Маркса. Зайдя внутрь, он спросил продавца, от которого плохо пахло, есть ли в продаже последний номер “Ваймарер байтреге”. Продавец, знавший его в лицо, но не по фамилии, коротко ответил, что пока нет.

– Нет? – переспросил Андреас. – А я думал, он поступил уже в пятницу.

– Там проблема с содержанием. Перепечатаывают.

– Что за проблема? С каким содержанием?

– Не слышали?

– Нет, не слышал.

Продавец явно счел такое неведение подозрительным. Он сощурил глаза.

– Другого кого-нибудь спросите.

– Вечно я все узнаю последним...

– Какой-то юный идиот, вандал, выкинул штуку – и неприятности людям, и деньги псу под хвост.

Что такое с продавцами книжных, почему от них всегда так пахнет?

– Повесить его мало, – сказал Андреас.

– Пожалуй, – согласился продавец. – Что мне не нравится: подставил ни в чем не повинных людей. Я считаю, он эгоист. Социопат.

Слово ударило Андреаса в живот, точно кулак. Из магазина он вышел сдувшийся, весь в сомнениях. Он – социопат? Таким, что ли, воспитали его мать и родина? Если так, то от него уже ничего не зависит. И все же он страшился диагноза, клейма, означающего, что с ним что-то не в порядке. Идя к дому родителей по Карл-Маркс-аллее под солнцем, которое теперь казалось тусклым, он суетливо пытался подвести под свой поступок с редактором рациональную основу: говорил себе, что она получила по заслугам, получила то, что причитается любому функционеру, любому винтику системы, что она наказана за собственную глупость – как можно было проглядеть бросающийся в глаза акростих? – говорил себе, что он, так или иначе, пострадал не меньше, и все-таки не мог скрыть от себя тот факт, что, давая ей свои стихи, он не то что дважды, даже единожды не подумал, какими могут быть для нее последствия. Он поступил как водитель, который вздумал покончить с собой и врезался на полном ходу в машину с детьми.

Андреас напрягал память, пытаясь вспомнить, обращался ли он хоть с одним человеком не как с орудием. Родители не в счет – все его детство было сплошным мозгобством и насилием над здравым смыслом. Но доктор Гнель? Разве он не проникся к психологу сочувствием и не обращался с ним бережно? Увы, ярлык социопата не оставлял от этого примера камня на камне. Пытаться обаять спеца, исследующего твою социопатию? Мотивы сомнительны, чтобы не сказать хуже. Он стал перебирать женщин, с которыми переспал за время своей поэтической оргии, – ведь он каждой был глубоко *благодарен*, разве это не свидетельствует в его пользу? Возможно. Но ведь он уже половину их имен перезабыл, а усилия, приложенные, чтобы доставить им удовольствие, задним числом казались всего лишь средством к тому, чтобы самому наслаждаться. К своему смятению, он не находил ровно никаких доказательств, что они были дороги ему как человеческие существа.

Странно: вот он шел и нравился себе, наслаждался собой, любил себя, шел, довольный своими талантами, своей легкостью; но стоило продавцу в книжном обронить слово, как он увидел себя совершенно иначе, объективно, увидел нечто мерзкое. Вспомнилось, как прыгнул с моста:

сначала восторг полета, но тут же безжалостное ускорение, земля кренясь навстречу свирепый неуправляемый разгон соударение боль. Гравитация объективна. Но кто побудил его прыгнуть? Проще простого было возложить вину на мать. Он был ее орудием, аксессуаром ее социопатии. В том, как она с ним обращалась, была подспудная, но убийственная жестокость, однако быть убийцей – это не вязалось с ее самомнением, и он в угоду ей прыгнул с моста, а теперь опубликовал эти стихи.

Черная машина следовала за ним до их дома и остановилась, когда он повернул к подъезду. Войдя в квартиру на верхнем этаже, он почувствовал необычный для нее запах сигаретного дыма; на псевдодатском журнальном столике стояла переполненная пепельница. Он поискал Катю в ее спальне, в ее кабинете, в своей комнате и наконец нашел в ванной. Она лежала на полу возле унитаза в позе эмбриона, взгляд уткнулся в основание унитаза.

На миг он почувствовал, как внутри все перевернулось. Ему опять четыре года, опять он в шоке из-за того, что любимая рыжеволосая мама в таком состоянии. Все вернулось, любовь особенно. Но ее возвращение разозлило его.

– А, так вот мы где, – сказал он. – Что случилось: от сигарет стало плохо?

Она не двигалась, не отвечала.

– Аккуратнее надо, когда через двадцать лет возвращаешься к старой привычке.

Нет ответа. Он присел на край ванны.

– Все как в добрые старые времена, – произнес он бодрым тоном. – Ты на полу в состоянии фуги, я не знаю, как быть. Для сумасшедшей ты на удивление эффективна во всем. На полу только я один тебя и вижу.

Она выдохнула, губы при этом слабо шевельнулись, ловя воздух; еле слышно прозвучало несколько согласных, но ничего похожего на слово.

– Прости, не разобрал, – сказал Андреас.

Звуки, которые породил следующий выдох, можно было истолковать как вопрос: *что с тобой творится?*

– *Со мной?* Это я, что ли, лежу на полу, выпав из реальности?

Нет ответа.

– Наверняка жалеешь сейчас, что вовремя не сделала аборт. Куда легче было тогда, чем ждать двадцать лет, чтобы я сам это с собой проделал.

Она даже не моргала.

– Понадоблюсь – буду у себя в комнате, – сказал он, вставая. – Кстати, о возвращении к старым привычкам: может быть, захочешь навеститься и поглядеть, как я мастурбирую.

На самом деле он дрожить не собирался и не был уверен, что его вообще когда-нибудь на это потянет. Не было ни сонливости, ни угнетенности; прилечь не хотелось. Он был в новом для себя состоянии – в состоянии человека, которому совершенно нечего делать. Математику и логику изучать нет смысла, стихи писать нет смысла, читать неинтересно, швыряться вещами нет сил, отвечать не за кого. Ничего. Подумал, не собрать ли сумку, но на ум не приходило ничего, что хотелось бы взять с собой, куда бы он ни двинулся отсюда. В ванную возвращаться боялся – вдруг захочется пнуть мать; хотя пощечины отца выводили ее из таких состояний, он что-то сомневался, что его пинки подействуют так же. Облокотившись на подоконник, он смотрел вниз, на черный автомобиль. Человек на пассажирском сиденье читал газету. Тщета, мучительная тщета, думалось Андреасу.

Через несколько часов зазвонил телефон. Он сообразил, что звонит отец и ему не стоит подходить к телефону. Тем лучше: разговора с отцом он боялся. И, может быть, он все-таки не был законченным социопатом: мысль о гневе отца, о его стыде и разочаровании заставила его заплакать. Отец – серьезный немецкий мальчик, верящий в социализм. Он усердно работает, у него психически неустойчивая жена, он любовно вырастил сына, с которым его не связывает даже духовное родство. Помимо жалости, Андреас испытывал к нему некое братское чувство: они вдвоем несли бремя, которым была Катя.

Телефон звонил и звонил. Это были те же пощечины, но ослабленные расстоянием, поэтому Андреас, прежде чем услышал, что Катя зашевелилась, насчитал более пятидесяти звонков. Послышались неуверенные шажки ее маленьких ног. Звонки прекратились, она несколько раз что-то пробормотала в трубку и положила ее. Потом, судя по звукам, стала приводить себя в порядок. Когда подошла к двери его комнаты, ее шаги уже звучали твердо, уверенно, фальшивое “я” восстановилось.

– Ты должен отсюда уйти, – сказала она с порога. В одной руке зажженная сигарета, в другой пепельница, которую она успела вытряхнуть.

– Да неужели.

– Сейчас ты в безопасности: благодаря твоему отцу тебя не арестуют. Но это, конечно, может измениться в любой момент. Смотри как ты будешь себя вести.

– Скажи ему, что я благодарен. Seriously.

– Он делает это не ради тебя.

– Пусть так. Но мне ведь тоже хорошо. У меня прекрасный отчим.

Она не клюнула. Глубоко затянулась, не глядя на него.

– Ну как тебе, вкусно после стольких лет?

– Есть возможность, чтобы ты сейчас пошел в армию. Служба будет трудная, далеко не в лучшей части, и за тобой будут наблюдать. Твоя отсрочка и так уже дорого стоила отцу, и если ты сейчас отслужишь, то окажешь мне очень большую услугу. Ты мог бы вспомнить, что я за тебя просила.

– Разумеется, ты всегда только и делала, что за меня просила. Всем, чем я являюсь, я обязан тебе... мамочка.

– Ты поставил нас обоих в ужасное положение. Особенно меня, потому что именно я за тебя просила. Самое правильное сейчас с твоей стороны – принять это в высшей степени великодушное предложение.

– Раз, два, левой! Ты в своем уме? – Он засмеялся и постучал себя по голове. – Извини, бестактный вопрос.

– Ты примешь предложение?

– Насколько тебе это важно? Ты готова ради этого поговорить со мной откровенно?

Короткая затычка. Навыки бывлой курильщицы никуда не делись.

– Я всегда с тобой откровенна.

– Поняла, да, к чему я клоню? Нет, так легко ты не отделаешься. Но я немного прошу: один-единственный раз сказать правду. Скажешь – и я пойду в армию.

Она снова быстро затынулась.

– В этой сделке нет смысла, если ты отказываешься верить правде.

– Уж будь уверена: я распознаю правду, когда ее услышу.

– Альтернатива службе одна: ты не имеешь с нами впредь никакого дела и полагаешься только на себя.

Эти слова, да еще произнесенные так холодно, оказались для него неожиданно болезненным ударом. На свой лад она, он видел, действительно была сейчас с ним откровенна: в доме секретаря ЦК Вольфа есть место только для одного чокнутого члена семьи. Отцу и так хватало забот: надо было ее прикрывать, заминать ее фортели, извлекать ее из розовых садов. Как минимум одного ее любовника он отправил в тюрьму, чтобы не мешал им обоим, и неизвестно, какие он еще творил чудеса подавления; Катя хоть и с приветом, но не настолько, чтобы не понимать свой интерес. Пока Андреас был самым умным и развитым мальчиком на свете, пока он был в нее влюблен, пока оставался ее милым принцем, ей было с ним хорошо, лестно. Но едва она увидела его рисунки, тут же наябедничала отцу, добилась, чтобы его отправили к психологу, а теперь он ей уже и вовсе ни к чему. Пришло время выставить его за дверь.

И опять к глазам подступили слезы: ведь как бы сильна ни была теперь его ненависть к ней, он даже в этом возрасте старался произвести на нее впечатление, заслужить похвалу: показывал как лестные для матери свидетельства сыновьего интеллекта свои работы, основанные на трудах Бертрана Рассела, конструировал схемы рифмовки. Подспудно надеялся даже, что она оценит изощренность “Родного языка”. Двадцать лет, а все такой же дурак. И ему не хотелось с ней расставаться. Вот что самое печальное, самое болезненное. Все тот же четырехлетний мальчик, все такой же зависимый, все так же сбитый с толку той дрянью, что ему вбили в мозг до того, как он обрел памятное “я”.

Он смотрел, как изящные пальцы гасят окурок. Он уже испытывал боль абстиненции, сила которой показывала, как велика была его наркотическая зависимость от матери.

– Ты шесть лет трахалась с аспирантом, – сказал он. – Так долго трахалась, что он успел за это время стать твоим коллегой.

– Нет, – возразила она спокойно, чуть ли не со скукой в голосе. – Я бы на такое никогда не пошла.

– Ты всю осень, когда я был зачат, жила одна.

– Нет. Твой отец никогда не ездил в такие долгие командировки.

– А потом, когда я родился, продолжала с ним трахаться.

– Это абсолютная неправда, – сказала она. – Но мои слова, полагаю, не имеют для тебя значения, поскольку верить мне ты не настроен. Прошу об одном: не употребляй слово “трахаться”, когда говоришь с матерью.

Этот довольно мягкий упрек был в их отношениях чем-то почти неслыханным: прямые замечания – совершенно не ее метод воспитания.

– С какой стати образованный человек, которого я никогда раньше не видел, – спросил он, – взялся бы вдруг высматривать меня на футбольном поле, а потом рассказал бы мне такую историю?

Ее лицо стало похоже на маску.

– Мама! Зачем бы он это сделал?

Она моргнула и пришла в себя.

– Понятия не имею, – сказала она. – Мало ли странных людей на свете. Если тебя именно это беспокоило все это время... – Она нахмурилась.

– Да?

– Мне пришло в голову, что у нас есть и третья возможность. Поместить тебя в психиатрическую больницу.

Он расхохотался.

– Ты серьезно? В психиатрическую?

– Боюсь, мы слишком долго не слышали, как ты взывал о помощи. Но

на этот раз твой крик нельзя не услышать, и еще не поздно, тебе можно помочь. Я даже думаю сейчас, что это, наверно, лучший вариант из всех трех.

– Ты полагаешь, что я психически болен.

– Нет, никоим образом. Не психически. Острое эмоциональное расстройство. Ты получил тогда на футбольном поле некую душевную травму, которую от нас утаил. Это как скрытый нарыв.

– Пожалуй.

Ее взгляд ушел в сторону – за дверь, в коридор.

– Андреас, подумай сам, – сказала она. – В моей семье это не первый случай эмоционального расстройства. Такие вещи могут передаваться.

– Через поколение, разумеется.

– Так поступить, как ты поступил с отцом и со мной, значит причинить людям крайнее огорчение. Неудивительно, что я лежала после этого в ванной на полу.

– В другой раз прихвати подушку. Пол жесткий.

– Да, у меня бывали иногда перепады настроения. Но это всего лишь перепады настроения. Прошу прощения, если тебе это осложняло жизнь. Но этим нельзя оправдать то, как ты с нами поступил.

– У меня свое, единственное в своем роде психическое заболевание.

– Ну так вот, – сказала она, отворачиваясь. – Поразмысли, пожалуйста. По-моему, хорошо, что у нас был этот откровенный разговор.

То, что ему пришлось чуть ли не силой подавить в себе желание погнаться за ней и укокошить первым, что под руку попадет, говорило не в пользу его душевного здоровья. Надежду, что с психическим здоровьем у него не так безнадежно плохо, внушало то, что он это желание все же подавил. Порыв, последовавший за первым, – выскочить на улицу и найти себе девчонку, с которой можно перепихнуться, – был не только объясним, но и вполне реализуем: его богемная репутация была сейчас выше некуда. Он кинул в сумку кое-какую одежду и несколько книг. За последующие семь лет видел мать всего два раза, да и то издали и случайно.

Морось упорно сыпалась с неба всю неделю, порой переходя в более сильный дождь, и три ночи подряд он мог думать только о дожде, все гадал, хорошо это или плохо. Когда удавалось на минутку уснуть, ему снились сны, которые в обычную пору он считал бы смехотворными в своей банальности: то мертвец не там, где он его оставил, то к нему в комнату входят люди и видят ноги, торчащие из-под кровати, – но в нынешних обстоятельствах это были настоящие кошмары, пробуждению от которых

он в обычную пору был бы рад. Но сейчас ему наяву становилось еще хуже. Он прикидывал плюсы и минусы дождя. Нет луны – плюс. Глубокие следы от обуви и шин – минус. Легче копать и скользкие ступени – плюс. Скользкие ступени – минус. Дождь многое смывает – плюс. Грязь – минус... Тревога жила своей собственной жизнью, крутилась и крутилась у него в голове. Единственная мысль, приносящая облегчение: Аннагрет, несомненно, страдает еще сильнее. Источником облегчения было ощущение связи с ней. Облегчением была любовь, изумление от того, что ее муку он переживает острее, чем свою, что о ней беспокоится больше, чем о себе. Пока удавалось держаться за эту мысль, существовать внутри нее, он хоть как-то дышал.

Есть божество, ведущее нас к цели... [26]

В четверг в половине четвертого дня он собрал рюкзак: кусок хлеба, перчатки, моток рояльной струны, запасные брюки. Прошлую ночь он, казалось ему, совсем не спал; если и спал, то самую малость. Из своего подвала он по задней лестнице поднялся во двор, где слегка моросило. Серьезные пасынки Республики курили сигареты в комнате для собраний на первом этаже, там уже горел свет.

В электричке он занял место у окна и низко надвинул капюшон непромокаемой куртки, притворяясь спящим. Выйдя в Рансдорфе, устался себе под ноги и шел медленно, давая другим пассажирам себя опередить. Небо уже почти потемнело. Оставшись один, он зашагал живее, как будто вышел размять ноги. Промахнули две машины – не полицейские. Под дождем он не должен был привлечь внимания. Свернув на улицу, где стоял родительский дом, и убедившись, что она пуста, двинулся размашистым шагом. Почва здесь была песчаная, хорошо впитывающая. По крайней мере на гравийной дорожке он следов не оставлял.

Сколько ни прокручивал все в голове, он не до конца понимал, как у него получится задуманное: как ему удастся полностью спрятаться и в то же время быть на таком расстоянии, с какого можно нанести удар. Он отчаянно хотел уберечь Аннагрет, сохранить в неприкосновенности то хорошее, что было в ней заложено, но боялся, что не сумеет. Прошлой ночью его тревога крутилась вокруг жуткой картины схватки с участием всех троих – схватки, из-за которой ее доверие к нему пошатнется.

Он натянул рояльную струну между двумя столбиками перил, вдоль второй ступеньки деревянного заднего крыльца. Закрепил ее достаточно низко, чтобы Аннагрет смогла украдкой перешагнуть, не выдав себя; струна вдавилась в дерево столбиков и слегка повредила краску, но тут уж ничего не поделаешь. Посреди первой своей ночи тревог он встал с

постели и пошел к подвальной лестнице провести опыт: что будет, если споткнуться на второй ступеньке. Хоть он и знал наперед, что споткнется, он так грохнулся, что сам удивился и едва не растянул связки в запястье. Но он-то ведь не такой спортсмен, как ее отчим, не такой силач...

Обойдя дом, он подошел к переднему крыльцу и разулся. Интересно, патрулируют ли сегодня те два полицейских, с которыми он имел дело прошлой зимой? Вспомнились слова старшего, что он будет рад еще раз с ним повстречаться. Увидим, вслух произнес Андреас. Услышав свой голос, он почувствовал, что тревога слегка уменьшилась. Действовать куда лучше, чем раздумывать. Он вошел в дом и снял ключ от сарая с крючка, на котором он висел с тех пор, как Андреас был маленьким.

Выйдя из дома, снова обулся и аккуратно прошел по краю заднего двора, стараясь не оставлять следов. Отперев сарай без окон, нащупал фонарь – все там же, на знакомой полке. При свете фонаря проверил инвентарь. Тачка – есть. Лопата – есть. Глянув на часы, испытал шок: уже идет к шести. Погасил фонарь и, взяв его и лопату, вышел под морось.

Намеченное им место находилось за сараем, там, куда отец выбрасывал растительные отходы. За кучей росли редкие сосны, опавшие иглы густо устилали землю, вспученную морозами прошлых зим. Здесь тьма была почти кромешной – лишь несколько сероватых полос между деревьями со стороны более яркого Западного Берлина. Голова работала так четко, что он сообразил снять часы и спрятать в карман, чтобы, копая, не повредить. Зажег фонарь, пристроил его на земле и очистил ее от иголок, самые свежие собирая отдельно. Затем выключил фонарь и принялся копать.

Труднее всего было перерубать корни – работа и тяжелая, и шумная. Но в соседних домах было темно. Он то и дело останавливался, чтобы прислушаться, но слышал только дождь и слабые обобщенные звуки людской жизни по берегу озера. И вновь он порадовался тому, что почва здесь песчаная. Вскоре добрался до гравия – удары лопаты стали громче, зато не так скользко. Трудился упорно, рубил корни, выворачивал камни, но внезапно – легкая паника: который час? Чувство времени у него сбилось. Выбрался из ямы, подставил циферблат под свет фонаря. Без четверти девять. Яма уже больше полуметра в глубину. Недостаточно, но начало неплохое.

Он приказал себе копать дальше, но тревога вернулась и требовала проверять и проверять, который час. Он знал, что нужно терпеть и как можно дольше *действовать*, а не думать, однако вскоре тревога до того усилилась, что он едва удерживал лопату. А еще ведь не было и половины

десятого, Аннагрет еще даже не встретила с отчимом в городе; но Андреас выкарабкался из ямы и заставил себя съесть кусок хлеба. Кусай, жуй, глотай, кусай, жуй, глотай. Беда в том, что пересохло во рту, а воды с собой он не взял.

Вдруг совсем потеряв голову, он уронил хлеб наземь и с лопатой в руках побрел обратно к сараю. Он едва понимал, где находится. Начал чистить руки в перчатках о мокрую траву, но слишком плохо соображал, чтобы довести дело до конца. Побрел по краю двора, оступился, оставил глубокий след на цветочной клумбе, упал на колени, судорожно стал заравнивать и ухитрился оставить другой след, еще глубже. Ему уже казалось, будто минуты пролетают, как секунды, а он и не замечает. Он наблюдал за собой словно с огромного расстояния, но смехотворность свою все-таки видел. Он мог вообразить себе, как весь вечер оставляет все новые следы, очищая руки после заравнивания следов, которые оставил, очищая руки, но сознавал при этом, что опасно давать своему воображению такую волю. Глупость влекла к себе, как милая детская приманка, как отвлечение от тревоги, – а то, глядишь, захиреет под ее бледным налетом решимости природный цвет^[27], и тогда он, положив лопату, вернется в город и посмеется над самой этой мыслью: стать убийцей. Будет прежним Андреасом, а не тем, кем хочет быть сейчас. Он ясно это видел и ровно так в уме и формулировал. Убить другого, чтобы убить себя прежнего.

– Хер с ним, – сказал он, решив оставить глубокий след незаровненным. Сколько он простоял на коленях на траве, предаваясь этим лишним, несвоевременным мыслям, он не знал, но боялся, что куда больше, чем казалось. Он видел, вновь точно с огромного расстояния, что мыслит как сумасшедший. Может быть, в этом-то и заключена суть сумасшествия: предохранительный клапан, уберегающий от невыносимого давления тревоги.

Интересная мысль, но момент для нее неподходящий. Сейчас нужно держать в голове множество мелочей и делать все в правильной последовательности, а у него не получается. Вот он опять стоит на переднем крыльце – стоит, не помня, как сюда попал. Ничего хорошего. Снял грязные ботинки и липкие носки, вошел внутрь. Что же еще, что же еще, что же еще? Перчатки и лопата остались на крыльце. Вернулся за ними, снова вошел в дом. Что же еще? Закрой дверь, запри. Отопри заднюю. Потренируйся открывать ее.

Лишняя, плохая мысль: линии на пальцах ног – они тоже уникальны, как на пальцах рук? Не оставляет ли он опознаваемые следы?

И другая, хуже: что, если подлюга додумается захватить фонарь или

вообще всегда ездит с фонарем?

И другая, еще хуже: подлюга *почти наверняка* всегда ездит с фонарем на случай поломки в темное время.

И другая мысль была доступна Андреасу, еще хуже той: что Аннагрет будет рядом с подлюгой и может использовать свое тело, изобразить пылкую страсть, чтобы помешать ему зажечь фонарь, – но он твердо решил про это не думать, даже ради смягчения вновь напавшей на него жуткой тревоги, ведь тогда придется признать очевидный факт: она, должно быть, уже использовала свое тело, уже изобразила пылкую страсть, чтобы выманить подлюгу сюда. У Андреаса не было сил представить себе будущее убийство иначе, как полностью изъяв из него Аннагрет. Стоило ему ее туда впустить – стоило позволить себе признать, что она использовала-таки свое тело ради этого убийства, – как человеком, которого он хотел убить, становился уже не ее отчим, а он сам. За то, что втянул ее в такое; за то, что осквернил ее, осуществляя свой план. Раз ты решился убить отчима за то, что он ее осквернил, отсюда логически вытекает, что за это же следует убить и себя самого. Чем-то надо было отогнать эту плохую мысль, и он отгонял ее мыслью, что отчим, даже если при нем будет фонарь, проволоку все равно не заметит.

Кто-то, возможно доктор Гнель, говорил ему, что любой суицид – подмена некоего убийства, которое самоубийца способен совершить лишь символически; каждое самоубийство – несостоявшееся убийство. Андреас готов был благодарить Аннагрет абсолютно за все, но сейчас благодарность была конкретной: она доставляет ему того, кого стоит убить. Он представлял себе, как выйдет из этого очищенным и смиренным, освобожденным наконец от грязи, как поставит точку в скверной повести, частью которой была эта дача на озере. Даже если он попадет в тюрьму, он в прямом смысле будет обязан Аннагрет жизнью.

Так, но где же его собственный фонарь?

В карманах нет. Он мог оставить его где угодно, хотя ронять точно не ронял. Без него не разглядеть циферблат, а не разглядев циферблат, не понять, есть ли время надеть ботинки и вернуться на задний двор искать фонарь, чтобы понять, было ли у него на самом деле время его искать. Вдруг возникло чувство, что мироздание, его логика, терпит крах.

В кухне над плитой имелась, однако, слабенькая лампочка. Зажечь на секунду и посмотреть на часы? Слишком изощренный ум у него был для убийцы, слишком богатое воображение. Никаких разумных оснований для боязни включить этот свет он не видел, но одно из свойств изощренного ума – понимание собственной ограниченности, понимание, что все

предусмотреть невозможно. Глупость принимает себя за ум, а ум сознает собственную глупость. Интересный парадокс. Но на вопрос, включить свет или нет, он ответа не дает.

А почему, собственно, так важно посмотреть на часы? Он не знал почему. К вопросу об уме и его ограниченности. Он прислонил лопату к задней двери и сел, скрестив ноги, на коврик у порога. Потом забеспокоился, как бы лопата не упала. Потянулся поправить ее такой неверной рукой, что она и правда упала. Грохот – катастрофический. Он вскочил на ноги и включил свет над плитой – на мгновение, чтобы проверить время. Оставалось еще по меньшей мере полчаса, а то и сорок пять минут.

Он опять сел на коврик и впал в состояние, очень похожее на гриппозный сон, но только он отчетливо сознавал, что спит.словно ты умер, но так и не отмучился. И, может быть, верно обратное тому, что ему говорили, может быть, каждое убийство – несостоявшееся самоубийство: ведь он чувствовал, помимо всепроникающей жалости к своему измученному “я”, что для того-то и должен довести дело до конца, для того-то и должен убить, чтобы самому избавиться от страданий. Не ему предстояло умереть, но в каком-то смысле и ему, потому что облегчение, которое последует за убийством, обещало быть глубоким и окончательным, похожим на смерть.

Без явной причины он вдруг очнулся от своего сна, и сразу пришла холодная ясность. Услышал он что-то? Сейчас ничего не было, никаких звуков, кроме легкого дождя. Времени, ему показалось, прошло очень много. Он встал и взялся за рукоять лопаты. Еще одна плохая мысль пришла ему в голову: как тщательно он все ни продумывал, как ни тревожился, он почему-то не принял во внимание вариант, что Аннагрет с отчимом просто не явятся; он был одержим мелочами, а тут огромное слепое пятно, ведь скоро выходные, могут приехать родители, и не исключено, что ему предстоит закапывать пустую могилу... И тут он услышал негромкий голос за кухонным окном.

Девичий голос. Аннагрет.

Где же мотоцикл? Как он мог его не услышать? Или они пешком подошли? Мотоцикл чрезвычайно важен.

Мужской голос, погромче. Они обходят дом. Все совершалось очень быстро. Его так затрясло, что он едва не упал. За дверную ручку, боясь издать звук, он не решался взяться.

– Ключ на крючке, – услышал он голос Аннагрет.

Ее шаги на ступеньках. А потом – грохот, сотрясение, громкий возглас.

Он схватился за ручку, повернул сначала не туда, потом правильно. Выбегая, подумал, что забыл лопату, но нет, не забыл. Она была у него в руках, и он с размаху опустил лезвие выпуклой стороной на темную фигуру. Тело рухнуло на ступеньки. Готово: он убийца.

Помедлив, чтобы увидеть, где голова, он занес лопату и ударил так, что услышал, как треснул череп. Все пока шло в полном соответствии с планом. Где-то слева Аннагрет издавала самый неприятный звук, какой ему доводилось слышать: стон-причитание-отрыжка-удушьё, все вместе. Не глядя в ее сторону, он протиснулся рядом с телом, бросил лопату, за ноги стащил тело с крыльца. Голова была теперь свернута набок. Он взял лопату и для верности со всей силы ударил еще раз, метя в висок. Аннагрет, услышав, как опять треснул череп, испустила ужасный крик.

– Кончено, – сказал он, тяжело дыша. – Больше этого не будет.

Он смутно видел, как она перемещается по крыльцу, подходит к перилам. Потом – странно детские, почти трогательные звуки рвоты. Сам он не чувствовал дурноты. Скорее как после оргазма; огромная усталость и еще бóльшая печаль. Тошнить его не тошнило, но он заплакал – сам стал издавать детские звуки. Уронил лопату, рухнул на колени, зарыдал. Голова была свободна от мыслей, но не от печали.

Дождик был такой мелкий, что почти туман, а не дождь. Когда он выплакался досуха, он ощутил такую усталость, что первой мыслью было: надо пойти с Аннагрет в полицию и сдать. Он не чувствовал в себе сил сделать то, что еще надо было сделать. Убийство не принесло никакого облегчения – на что он рассчитывал? Облегчение придет в полиции, когда он сдастся.

Аннагрет, пока он плакал, вела себя тихо, но теперь спустилась с крыльца, присела рядом. От прикосновения ее руки к плечу он снова заплакал.

– Тс-с, тс-с, – шепнула она.

Она прильнула лицом к его мокрой щеке. Гладкая кожа, милосердие теплой близости; усталость мигом испарилась.

– От меня, наверно, рвотой пахнет, – сказала она.

– Нет.

– Он мертвый?

– Должно быть.

– Какой-то кошмарный сон. Вот прямо сейчас. До этого не было так плохо. А сейчас совсем...

– Знаю.

Она заплакала – без голоса, одно пыхтение, и он обнял ее. Он

чувствовал, как она содрогается всем телом: уходило напряжение. Оно, похоже, было у нее невероятным, и он, как ни сочувствовал ей, ничем тут помочь не мог, мог только крепко ее держать, пока длились содрогания. Когда они наконец прошли, она утерла нос рукавом и прижалась лицом к его лицу. Приоткрыла губы, коснувшиеся его щеки: что-то похожее на поцелуй. Они были сообщниками, и самое естественное было бы войти в дом и скрепить сообщничество, и вот как он уверился, что его любовь к ней чиста, безгрешна: он отстранился и встал.

– Я тебе не нравлюсь? – шепнула она.

– Вообще-то я люблю тебя.

– Я хочу прийти повидаться. Плевать, если нас схватят.

– Я тоже хочу тебя видеть. Но нельзя. Опасно. Еще долго придется ждать.

В темноте, у его ног, она как-то вся осела.

– Значит, я совсем одна.

– Ты можешь думать о том, как я думаю о тебе, потому что так оно и будет, когда бы ты ни подумала обо мне.

Она негромко фыркнула – не исключено, что с удовлетворением.

– Я тебя почти не знаю.

– По крайней мере, ты видишь, что убивать людей мне в новинку.

– Это ужасно, – сказала она, – но я, наверно, должна тебя поблагодарить. Спасибо тебе, что убил его. – И опять этот словно бы удовлетворенный звук. – Вот слышу себя и еще сильнее убеждаюсь, что это я плохая. Сначала сделала так, чтобы он меня захотел, а потом подбила тебя вот на это.

Андреас понимал, что время уходит.

– Где мотоцикл?

Она не ответила.

– Мотоцикл здесь?

– Нет. – Она глубоко вздохнула. – После ужина он занялся ремонтом. Когда я подошла, он еще не собрал машину: сказал, нужна какая-то деталь. Предложил съездить в другой день.

Не так уж он пылал страстью, подумал Андреас.

– Я подумала, может, он что-то заподозрил, – продолжила она. – Не знала, как быть, но сказала, что очень хочу именно сегодня.

Андреас опять запретил себе думать, какими средствами она выманила сюда отчима.

– Так что мы поехали на электричке, – сказала она.

– Нехорошо.

– Прости!

– Нет, ты правильно поступила, но это усложняет дело.

– Мы сидели не вместе: я сказала, так будет безопаснее.

Скоро другие пассажиры увидят в газетах, а то и по телевизору фото пропавшего мужчины. Весь план держался на мотоцикле. Но Андреас не мог допустить, чтобы она пала духом.

– Ты очень умная, – сказал он. – Ты все сделала правильно. Боюсь только, ты даже на самой ранней электричке не успеешь попасть домой вовремя.

– Мама, как приходит с работы, сразу ложится. А дверь в свою комнату я оставила закрытой.

– Ты подумала об этом.

– На всякий случай.

– Ты очень, очень умная.

– Недостаточно умная. Нас арестуют. Я точно знаю. Не надо было ехать поездом, ненавижу поезда, люди вечно на меня пялятся, наверняка меня запомнили. Но я не знала, как быть по-другому.

– Просто оставайся такой же умной. Самое трудное позади.

Ухватившись за его руки, она подтянулась и встала.

– Пожалуйста, поцелуй меня, – попросила она. – Один только разочек, на память.

Он поцеловал ее в лоб.

– Нет, в губы, – сказала она. – Нас посадят в тюрьму на всю жизнь. Я хочу остаться с этим поцелуем. Я только о нем и думала. Иначе бы не продержалась эту неделю.

Он боялся того, к чему поцелуй мог повести, – время шло неумолимо, – но боялся зря. Губы Аннагрет были целомудренно сомкнуты. Она, должно быть, хотела того же, чего и он. Чего-то более чистого, избавления от грязи. Андреасу ночная тьма пришлась очень кстати: яснее видел бы, какими глазами она на него смотрит, – может быть, не сумел бы от нее оторваться.

Она осталась ждать на дорожке, в стороне от трупа, а он вошел в дом. Кухня, где он сидел в засаде, словно пропиталась за это время злом, тут разителен был злой контраст между миром, где Хорст был жив, и миром, в котором он был мертв, но Андреас заставил себя сунуть голову под кран и напиться. Потом вышел на переднее крыльцо и снова надел носки и ботинки. В одном ботинке обнаружился фонарь.

Когда обошел вокруг дома, Аннагрет бросилась к нему и стала безудержно, открытым ртом, целовать, запустила пальцы ему в волосы.

Душераздирающе юная – и он не знал, как быть. Хотел дать ей то, чего она желала, чего он сам желал, – но понимал, что по большому счету она должна хотеть другого: не попасться. Мучительно быть старшим, более разумным, быть тем, кто принуждает. Ладонями в перчатках он обхватил ее лицо.

– Я люблю тебя, но надо остановиться, – сказал он.

Она дрожала и жалась к нему.

– Давай проведем эту ночь, и пусть нас берут. Я сделала все, что могла.

– Давай сделаем так, чтобы нас не взяли, а потом у нас будет много ночей.

– Он был не такой уж плохой, просто некому было ему помочь.

– Помоги сейчас мне. Это одна минута. Одна минута, а потом ляжешь и поспишь.

– Это так ужасно.

– Просто поддержи тачку. Можешь закрыть глаза. Сумеешь – ради меня?

В темноте он увидел – или ему показалось, – что она кивнула. Он отошел от нее и, выбирая дорогу, двинулся к сараю. Погрузить тело на тачку было бы куда легче, если бы она ему помогла, но он чувствовал, что хочет разобраться с трупом в одиночку. Он защищал ее от прямого соприкосновения, старался уберечь и хотел, чтобы она это знала.

Труп был в комбинезоне – в рабочей одежде с электростанции, в одежде, подходящей для ремонта мотоцикла, но не для жаркого свидания за городом. Трудно было отделаться от мысли, что у подлюги не было на самом деле желания ехать сюда этим вечером; но Андреас старался об этом не думать. Он перевернул убитого на спину. Тяжелое, накачанное тело спортсмена. Нашел бумажник, сунул в карман своей куртки, а потом попытался поднять труп за комбинезон, но ткань затрещала. Пришлось обхватить его и прижать к себе, чтобы взгромоздить голову и торс на тачку.

Тачка повалилась набок. Ни он, ни Аннагрет не сказали ни слова. Просто повторили попытку.

За сараем вновь пришлось повозиться. Она толкала тачку за ручки, он тянул спереди. Следов, конечно, оставили великое множество. Добравшись наконец до ямы, постояли, переводя дух. Тихо капало с сосновых лап, хвойный запах смешивался с острым, слегка отдающим какао запахом свежей земли.

– Ничего, терпимо было, – сказала она.

– Прости, что заставил тебя помогать.

– Просто... не знаю.

- Что?
- Это точно, что Бога нет?
- Довольно-таки искусственная идея, тебе не кажется?
- У меня такое чувство, очень сильное, что он где-то сейчас живой.
- Сама подумай – где? Как это возможно?
- Просто такое чувство.
- Он был твоим другом. Тебе гораздо тяжелее, чем мне.
- Как ты думаешь, ему было больно? Он успел испугаться?
- Нет, поверь мне. Все произошло очень быстро. А теперь, когда он мертв, боли в любом случае нет. Словно он и не существовал никогда.

Он хотел, чтобы она этому поверила, но не был убежден, что верит этому сам. Если время бесконечно, то три секунды и три года – равно малая его доля, бесконечно малая. А значит, если обречь человека на три года страха и страданий – дурно, с чем любой согласится, то и на три секунды – столь же дурно. В этой математике, в ничтожной длительности любой жизни ему вдруг почудился намек на Бога. Никакая смерть не может наступить так быстро, чтобы причинение боли стало простительно. Если ты способен постичь эту математику, значит, в ней таится некая мораль.

– Если Бог все-таки есть, – сказала Аннагрет потверже, – то мой дружок, наверно, в ад попадет за то, что меня изнасиловал. Хотя мне лично было бы спокойнее, если бы он попал в рай. Отправила его в могилу – и хватит с него. Но говорят, у Бога правила строгие.

- Кто тебе это сказал?
 - Папа, перед смертью. Он не мог понять, за что Бог его наказывает.
- Раньше она об отце не заговаривала. Будь у них больше времени, Андреас постарался бы расспросить ее обо всем, он хотел все про нее знать. Он любил в ней то, что у нее не сходились концы с концами; что она, может быть, даже не совсем честна. Сейчас она впервые употребила слово *изнасиловал* и, похоже, была лучше знакома с религией, чем показывала тогда, в церкви. Желание ее разгадать было таким же сильным, как желание лечь с ней; два желания были почти нераздельны. Но время уходило. Все мышцы до одной у него болели, но он спрыгнул в могилу и стал ее углублять.

- Этим мне бы заниматься.
 - Иди в сарай, ляг. Постарайся уснуть.
 - Как бы хотелось, чтобы мы лучше друг друга знали.
 - И мне. Но тебе нужно поспать.
- Она молча смотрела на него, долго, с полчаса, пока он копал. У него было странное двойное чувство – и близости ее, и совершенной чуждости.

Они вместе убили человека, но у нее были свои мысли, свои мотивы, очень близкие к тому, что он думал и переживал, и вместе с тем страшно далекие. И вновь он почувствовал благодарность: она была умна не только по-мужски, как он, но и по-женски. Она сразу поняла, как важно быть вместе – какой бесконечной пыткой станет после того, что они сделали, разлука, – а он только сейчас это увидел. Пятнадцатилетняя, она соображала куда быстрее него.

Лишь когда она ушла в сарай лечь, его ум переключился на насущные дела. Он копал до трех ночи, а потом сразу, не передохнув, подтащил тело, перекатил в яму и прыгнул туда следом, чтобы распрямить. Лица он помнить не хотел, поэтому первым делом забросал его землей. Потом зажег фонарь и обследовал тело на предмет ювелирных изделий. Нашлись массивные, недешевые часы и хлипкая золотая цепочка на шее. Часы снялись легко, а вот чтобы сорвать цепочку пришлось упереться рукой в засыпанный землей лоб и дернуть. К счастью, если что и было реальным, то ненадолго. Спустя ничтожно малое время бесконечность его собственной смерти вступит в свои права и сделает все это нереальным.

Через два часа яма была засыпана, и он попрыгал сверху, утрамбовывая. Войдя в сарай, стал искать лучом фонаря Аннагрет и нашел в углу, съежившуюся, дрожащую, обхватившую руками колени. Он не знал, что ему мучительнее видеть – ее красоту или ее страдание. Он выключил фонарь.

– Поспала?

– Да. Замерзла и проснулась.

– Наверно, не поглядела, когда первая электричка.

– В пять тридцать восемь.

– Какая ты предусмотрительная.

– Это он поглядел, а не я.

– Хочешь, пройдемся по тому, что ты будешь говорить?

– Нет, я сама уже прошла. Я знаю, что говорить.

Разговаривали они сейчас прохладно, сухо. Впервые Андреасу пришло в голову, что у них, может быть, и нет общего будущего: они совершили ужасный поступок и теперь будут из-за него испытывать друг к другу неприязнь. Любовь разрушена преступлением. Уже казалось, прошло очень много времени с той минуты, когда она подбежала к нему и поцеловала. Может быть, она была права: может быть, надо было провести эту ночь вместе, а потом сдать полицию.

– Если за год ничего не случится, – сказал он, – и если ты не будешь чувствовать, что за тобой следят, я думаю, можно уже будет увидеться.

– Это все равно что сто лет, – с горечью возразила она.

– Я все время буду думать о тебе. Каждый день. Каждый час.

Он услышал, как она встала.

– Мне пора на станцию, – сказала она.

– Подожди минут двадцать. Не надо, чтобы видели, как ты там стоишь.

– Мне надо согреться. Пробежусь где-нибудь, а потом на станцию.

– Прости меня.

– Нет, это ты меня прости.

– Сердишься на меня? Я не удивлюсь. Что бы ты ни чувствовала, я все приму.

– Мне просто тошно. Зададут первый же вопрос, и все станет очевидно. Мне слишком тошно, чтобы притворяться.

– Ты вернулась домой в девять тридцать, его не было. Ты неважно себя чувствовала и поэтому сразу легла...

– Сказала же: не надо об этом.

– Извини.

Она двинулась к двери, натолкнулась на него, пошла дальше. Где-то в темноте остановилась.

– Ну, значит, до встречи через сто лет.

– Аннагрет.

Он слышал, как чавкает грязь под ее ногами, видел, как удаляется, проходя через задний двор, темная фигура. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким усталым. Но доделывать свои дела было легче, чем думать о ней. Экономно расходуя свет фонаря, он засыпал могилу вначале старыми сосновыми иглами, а потом более свежими, постарался заровнять следы ног и колею от тачки, аккуратно разбросал палую листву и прочий растительный мусор. Ботинки и рукава куртки безнадежно испачкались, но он слишком устал, чтобы волноваться еще и по этому поводу. Запасные брюки у него с собой были.

Дождевая пыль сменилась более теплым туманом, из-за которого рассвет стал диковинно внезапным. Туман – это неплохо. Он осмотрел задний двор – не осталось ли следов обуви или колес. Лишь когда рассвело почти полностью, вернулся к заднему крыльцу снять проволоку. Крови на ступеньках было больше, чем он ожидал, зато на кустах у перил меньше рвоты, чем он опасался. Он видел все точно в подзорную трубу. Несколько раз наполнял лейку под краном во дворе, смывал кровь.

Напоследок проверил кухню, не осталось ли там беспорядка. Обнаружил лишь брызги в раковине – это он пил воду, к вечеру все высохнет. Запер за собой переднюю дверь и отправился в Рансдорф. В

восемь тридцать уже был у себя в подвале. Снимая куртку, вспомнил, что у него при себе бумажник, часы и цепочка покойника, но легче было слетать на Луну, чем избавляться от этого сейчас; он едва сумел расшнуровать свои грязные ботинки. Затем лег на кровать и стал ждать полицию.

Полиция не пришла. Ни в тот день, ни через неделю, ни через месяц – вообще не пришла.

А почему? Среди гипотез, которые строил Андреас, наименее правдоподобной была та, что им с Аннагрет удалось совершить идеальное преступление. Вполне возможно, родители не увидели, во что он превратил задний двор дачи; неделей позже выпал первый за осень густой снег. Но чтобы никто не приметил поразительно красивую девушку в электричке туда или обратно? Чтобы никто из ее соседей не увидел, как они с Хорстом идут к станции? Чтобы никто не поинтересовался, где она бывала в последние недели перед убийством? Ее что, не допросили как следует? Перед их расставанием у Андреаса было чувство, что ее перышком можно перешибить.

Правдоподобней было, что мать Аннагрет допросили в Штази, и тут выплыли и ее наркомания, и воровство. Пропажей своего внештатного осведомителя Министерство госбезопасности не могло не заинтересоваться. И если мать попала в руки Штази, вопрос не в том, создалась ли она в убийстве Хорста – или в содействии его бегству на Запад, смотря по тому, как решили в Штази представить дело. Единственный вопрос – какие психологические пытки она перенесла, прежде чем создалась.

А может быть, подозрения пали на старшую падчерицу, живущую в Лейпциге. Или на кого-нибудь из тех работников электростанции, на которых Хорст стучал. Может быть, кто-то из них уже сидит за это преступление. В первые недели после убийства Андреас каждый день просматривал газеты. Если бы дело расследовал уголовный розыск, фотографию пропавшего непременно поместили бы в газете. Но фотография так и не появилась. Единственное разумное объяснение: Штази отстранила полицию от расследования.

Основываясь на этом допущении, Андреас предположил далее, что Аннагрет в Штази без труда сломали, что она привела их на дачу и они поняли, кому она принадлежит. Чтобы не компрометировать члена ЦК, они согласились рассматривать домогательства Хорста как смягчающее обстоятельство и удовольствовались тем, что насмерть запугали Аннагрет. А чтобы помучить Андреаса неопределенностью, чтобы превратить его

жизнь в ад, чтобы заставить бояться собственной тени, они оставили его наедине с собой.

Эта гипотеза была ему ненавистна, но смысла, увы, в ней было больше, чем в любой другой. Она потому была ему ненавистна, что ее легко было проверить: найти Аннагрет и спросить. Желание повидаться с ней редко отпускало его даже на час, но если гипотеза неверна и девушка все еще под подозрением и пристальным наблюдением, встреча обернется катастрофой. Только сама Аннагрет могла решить, что они в безопасности.

Он опять консультировал подростков из группы риска, но внутри него, в глубине, теперь все время было по-новому пусто. Он перестал учить парней и девушек не принимать ничего слишком близко к сердцу. Теперь он сам был в группе риска – рисковал заплакать, выслушивая их печальные истории. Слово печаль была химическим элементом, из которого состояло все, до чего он дотрагивался. Больше всего он горевал по Аннагрет, но еще и по своему прежнему легкомысленному, эротичному “я”. Он ожидал, что главным его чувством станет тревога, лихорадочная боязнь разоблачения и ареста, но Республика по какой-то нездоровой причине, похоже, решила его пощадить, и он уже не помнил толком, почему смеялся над этой страной, над царящим в ней дурновкусием. Теперь она казалась ему Республикой бесконечной печали. Девушек все так же к нему влекло, его грустный вид, может быть, интриговал их даже сильнее, но он думал теперь не об их юных кисках, а об их юных душах. Каждая была воплощением Аннагрет; ее душа присутствовала в каждой из них.

Тем временем в России уже была *гласность*, уже был Горби. Простодушно верующий мальчик, которым была Республика, по-детски чувствуя себя так, словно советский папаша его предал, жестче надавил на своих диссидентов. Полиция провела рейд в другой берлинской церкви, в церкви Сиона, и на Зигфридштрассе преисполнились серьезности и чувства собственной значимости. На собраниях царил дух военного времени. Отсидевшаяся, по своему обыкновению, у себя в подвале, Андреас обнаружил, что печаль не исцелила его от мегаломании и солипсизма. Они, если на то пошло, только усилились. Его скорбь, казалось, накрыла всю страну. Государство словно подавилось его преступлением; словно, не смея или не желая его арестовать, оно решило взамен проучить всех остальных. Пасынки этажом выше были удивлены и, может быть, втайне разочарованы тем, что на их церковь рейда не последовало. Но Андреас не удивлялся: государство избегало его, как яда.

Под конец весны 1989 года тревога вернулась. Поначалу он почти обрадовался, как будто следом за ней, пробужденное теплыми ночами и

цветущими деревьями, могло вернуться и его отбившее невесть куда либидо. Его потянуло к телевизору в общей комнате – смотреть по западногерманскому *ZDF* непрепарированные вечерние новости. Пасынки, смотревшие вместе с ним, ликовали, предсказывали падение режима в течение года, но как раз перспектива падения режима его и тревожила. Отчасти это был незамысловатый страх преступника: он подозревал, что только Штази не подпускает к нему обычную полицию, что он поэтому может не опасаться преследования лишь пока держится режим, что Штази (парадокс парадоксов) – его единственный друг. Но была и другая, более обширная и расплывчатая тревога, удушливая, как хлористоводородное облако. Узнавая о том, что в Польше легализована “Солидарность”, что от СССР откалываются балтийские республики, что Горбачев публично отпустил страны-приемыши из Восточного блока на все четыре стороны, Андреас все больше и больше чувствовал себя так, точно близилась его собственная смерть. Без Республики, определяющей его, он станет ничем. Его важные-преважные родители тоже станут ничем, даже хуже, станут замаранными, нагоняющими тоску “бывшими” из дискредитировавшей себя системы; рухнет тот единственный мир, где он что-то значил.

Летом сделалось еще хуже. Он уже не в силах был смотреть новости, но даже сидя у себя взаперти, он слышал, как в коридоре обсуждают последние события, без умолку говорят о массовой эмиграции через Венгрию, о демонстрациях в Лейпциге, о возможности государственного переворота; ни о чем другом теперь не говорили. Хонеккера и особенно Мильке, возглавлявшего Штази, всё еще боялись, но Андреас нутром чуял, что игра сыграна. Помимо тревоги, помимо сознания, что он понятия не имеет, чем мог бы заниматься после краха режима, была еще печаль о серьезном маленьком мальчике – о немецком социализме, оставленном Советами на произвол судьбы. Печаль и жалость к нему. Андреас не был социалистом, но ему очень легко было почувствовать себя этим маленьким мальчиком.

Однажды в октябре, во вторник, наутро после крупнейшей за все это время демонстрации в Лейпциге, к нему постучался молодой викарий. Помощнику пастора полагалось бы ликовать, но что-то его беспокоило. Вопреки обыкновению, он не сел, скрестив ноги, на пол, а принялся расхаживать по комнате.

– Ты, конечно, слышал новости, – сказал он. – Сто тысяч человек на улице – и никакого насилия.

– Ура? – спросил Андреас.

Викарий колебался.

– Я должен тебе кое в чем признаться, – проговорил он. – Мне давно следовало это сделать, но я трусил. Надеюсь, ты простишь меня.

Андреас никогда бы не заподозрил в нем доносчика, но вступление наводило на такую мысль.

– Нет, не то, что ты думаешь, – сказал викарий, поняв, что у него на уме. – Но люди из Штази действительно ко мне сюда приходили – примерно два года назад. Двое, и выглядели соответствующе. Задавали вопросы о тебе, и я ответил. Прозрачно намекнули, что меня арестуют, если ты узнаешь об их посещении.

– Но теперь выясняется, что их ружья заряжены семенами маргариток.

– Они сказали, что пришли по уголовному делу, но не объяснили, по какому. Показали фотографию той красивой девушки, что сюда приходила. Их интересовало, говорил ли ты с ней. Я ответил – возможно, потому что ты консультируешь молодежь. Ничего определенного я им не сказал. Но они еще хотели знать, видел ли я тебя вечером такого-то дня. Я ответил – не уверен, ты много времени проводишь у себя один. Пока мы разговаривали, ты почти наверняка все время был тут, внизу, но к тебе они идти не захотели. Ушли и больше не возвращались.

– Это все?

– С тобой ничего не случилось, ни с кем из нас тоже, и я решил, что обошлось. Но у меня было нехорошо на душе, что я говорил с ними, а тебе не рассказал. Хочу, чтобы ты знал.

– Тает лед – обнажаются трупы.

Викарий ощетинился.

– По-моему, мы тут были к тебе добры. И нам с тобой было хорошо, и тебе с нами. Знаю, наверно, я должен был раньше тебе сообщить. Но, честно говоря, мы тут всегда тебя немножко побаивались.

– Я вам благодарен. Благодарен и прошу простить за беспокойство.

– Ты ничего мне не хочешь рассказать? С девушкой ничего плохого не произошло?

Андреас покачал головой, и викарий оставил его наедине с его тревогой. Раз люди из Штази приходили в церковь, значит, Аннагрет допрашивали и она не молчала. Следовательно, в Штази знают как минимум часть фактов, а может быть, и всё знают. Но сейчас, когда в Лейпциге на улицу вышло сто тысяч человек и никто их не разогнал, дни Штази, очевидно, сочтены. Скоро делом об исчезновении человека займется обычная полиция, займется и выполнит свою полицейскую работу...

Он вскочил с кровати и надел куртку. Теперь он, по крайней мере,

знал, что мало чем рискует, если увидится с Аннагрет. Он стал прикидывать, где мог бы ее найти, но кроме школы-двенадцатилетки, ближайшей к тому месту во Фридрихсхайне, где она жила, ничего, увы, в голову не приходило. Трудно было поверить, чтобы она поступила в *Erweiterte Oberschule*, – а, с другой стороны, какие еще варианты? Он вышел на улицу и торопливо зашагал по городу, черпая некое утешение в его долговечной серости; дойдя до школы, встал у главного входа. Сквозь высокие окна он видел учеников, все еще постигавших марксистскую биологию и марксистскую математику. Когда кончился последний урок, он стал вглядываться в лица выходивших из школы старшекласниц. Стоял и смотрел, пока поток не превратился в тонкую струйку, а затем и вовсе не иссяк. Он был разочарован, но не слишком удивлен.

Наутро пришел снова, но опять безрезультатно. Тогда отправился в семейную консультацию к сотруднице, которой вполне доверял; подождал, пока она созвонилась с центральной регистратурой, и опять-таки ушел с пустыми руками. Всю следующую неделю с середины дня до вечера околачивался у клубов дзюдо и спортивных центров, на автобусных остановках в той части города, где жила Аннагрет. К концу октября он уже потерял надежду ее разыскать, но все еще бродил по улицам. Пристраивался к запланированным и спонтанным демонстрациям протеста, слушал, как рядовые граждане, рискуя попасть в тюрьму, требуют честных выборов, свободы передвижения, роспуска Штази. Хонеккер ушел, новое правительство пребывало в кризисном состоянии, и с каждым днем, прошедшим без насилия, репрессивная акция в духе площади Тяньаньмэнь выглядела все менее вероятной. Венгрия уже была свободна, на очереди другие страны Восточного блока. Надвигались перемены, и Андреасу оставалось только ждать, пока они его захлестнут. В берлинском воздухе он постоянно чувствовал хлористоводородный запах.

А потом, четвертого ноября, – чудо. Полгорода отважно вышло на улицы. Он методично двигался через людскую массу, всматривался в лица, улыбался, слыша усиленный громкоговорителем “голос разума”, отвергающий воссоединение страны и призывающий взамен к реформам. На Александерплац, ближе к неплотной периферии толпы, где топтались нерешительные и страдающие клаустрофобией, его сердце вдруг екнуло, опережая мозг. Девушка. Шипастая прическа, в ухе булавка вместо серьги – и все-таки это Аннагрет. Рядом другая девушка с такой же прической, они сцепились руками. Лица у обеих пустые, скучающе-агрессивные. Нет, она больше не была хорошей девочкой.

МЫ ДОЛЖНЫ НАЙТИ НАШ СОБСТВЕННЫЙ ПУТЬ, ВЗЯТЬ

ЛУЧШЕЕ ОТ НАШЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЙ СИСТЕМЫ И ОТ ТОЙ СИСТЕМЫ, КОТОРАЯ НАМ ПРОТИВОСТОЯЛА...

Ища, видимо, избавления от скуки, которую нагонял голос из громкоговорителя, Аннагрет огляделась по сторонам – и увидела Андреаса. Глаза ее расширились. Он невольно улыбнулся. Она не улыбнулась в ответ, но сказала что-то подруге на ухо и отошла от нее. Пока она приближалась, он яснее увидел, как она изменилась и как мало шансов, что она по-прежнему его любит. Она остановилась близко, но так, чтобы обнять ее он не мог.

– У меня минута всего на разговор, – сказала она.

– Необязательно сейчас. Просто скажи мне, где тебя найти.

Она покачала головой. Ни вызывающая стрижка, ни булавка в ухе не повредили ее красоте, а вот то, что она была несчастна, свое дело сделало. Черты лица те же, что и два года назад, но свет в глазах померк.

– Опасности больше нет, – сказал он. – Поверь мне.

– Я теперь в Лейпциге. Мы сюда только на один день.

– Это твоя сестра?

– Нет, подруга. Захотела тут побывать.

– Я приеду к тебе в Лейпциг. Там и поговорим.

Она покачала головой.

– Ты не хочешь меня видеть, – сказал он.

Она настороженно оглянулась через плечо, потом через другое.

– Сама не знаю. Я про это не думала. Знаю только, что нам грозит опасность. Больше ни о чем думать не могу.

– Нам ничего не грозит, пока существует Министерство госбезопасности.

– Мне пора к подруге.

– Аннагрет. Я знаю, ты говорила с людьми из Штази. Они приходили в церковь и спрашивали про меня. Но потом ничего не было, меня не допрашивали. Нам ничего не грозит. Ты все сделала правильно.

Он придвинулся ближе. Она дернулась и отступила от него.

– Нет, мы в опасности, – возразила она. – Они много чего знают. Просто ждут.

– Если они так много знают, то все равно, пусть нас и увидят вместе. Они прождали уже два года. Теперь они уже ничего с нами не сделают.

Она снова оглянулась через плечо.

– Мне надо идти.

– Я должен с тобой увидеться, – сказал он по одной лишь причине – из честности. – То, что мы не видимся, меня убивает.

Казалось, она почти не слушает, утонув в своем несчастье.

– Они забрали маму, – сказала она. – Мне надо было что-то им рассказать. Сначала в психушку, там лечили от наркомании, потом в тюрьму.

– Мне очень жаль.

– Но она пишет письма в полицию. Хочет знать, почему его исчезновение не расследовано. В феврале она выйдет.

– А ты с полицией говорила?

– Я не могу с тобой видеться, – сказала она, глядя себе под ноги. – Я тебе очень-очень обязана, но, наверно, никогда с тобой видеться не смогу.

– Аннагрет. Ты с полицией говорила?

Она покачала головой.

– Тогда, может быть, мы все уладим. Позволь мне попробовать все уладить.

– Это был ужас, когда я тебя сейчас увидела. И желание, и смерть, и *то самое*, все вместе – ужас просто. Я не хочу никогда больше этого хотеть.

– Позволь мне это прогнать.

– Это никогда не уйдет.

– Позволь мне попробовать!

Она пробормотала что-то, чего он за шумом не расслышал. Может быть, снова: *не хочу этого хотеть*. И убежала к подруге, с которой они поспешно, не оглядываясь, ушли.

И все-таки надежда есть, решил он. Окрыленный ею, он ринулся бегом и так и бежал до самой Маркс-Энгельс-плац. Каждый прохожий был помехой на его пути. Ему хотелось одного: снова увидеть Аннагрет. Нужно было “это прогнать”, добиться, чтобы дело об убийстве окончательно похерили, – иначе ему с ней не быть.

Но ее мать, которой, как теперь стало ясно, он не уделил должного внимания, создавала серьезную проблему. Нет никаких причин, чтобы она перестала настаивать на расследовании, и она скоро выйдет из тюрьмы. Будет настаивать, настаивать. Когда со Штази будет покончено, полиция, вполне возможно, получит в свое распоряжение дело об убийстве и начнет собственное расследование. Даже если он их опередит, даже если сумеет как-нибудь перезахоронить труп, дело все равно выплывет, когда падет правительство. А что там, в этом деле? Надо было спросить Аннагрет, что именно она сказала людям из Штази. Известно им про дачу? Или они свернули расследование, как только узнали о связи между Аннагрет и им?

Он вернулся на Александерплац в надежде снова ее найти. До ночи прочесывал толпу, но тщетно. Подумывал съездить в Лейпциг – адрес ее

сестры, у которой она, скорее всего, поселилась, выяснить будет нетрудно, – но побоялся, что навсегда ее потеряет, если станет разыскивать и допытывать вопросами.

Дальше – два месяца бессилия и страха. В тот вечер, когда в Стене пробили бреши, он чувствовал себя единственным трезвым на целый перепившийся город. Случись это в прошлом, он посмеялся бы над тем, как смехотворно завершились двадцать восемь лет, в течение которых население целой страны было интернировано, как нескольких слов, которые, импровизируя, произнес переутомленный Шабовски^[28], хватило, чтобы разрушить весь аппарат лишения свободы; но сейчас, когда он слышал крики наверху, когда к нему в подвал опростетью, неся благую весть, сбежал викарий, Андреас почувствовал себя космонавтом в капсуле, чью оболочку пробил метеороид. Свист выходящего воздуха, вторжение вакуума. Здание опустело, все ринулись к ближайшему пропускному пункту убедиться, а он остался – сидел на кровати, забившись в угол, подтянув колени к подбородку.

Желания пересечь границу у него не было ни малейшего. Он мог отправиться в Лейпциг, разыскать Аннагрет, они могли вдвоем уйти на Запад, чтобы никогда не возвращаться, могли найти способ уехать в Мексику, в Марокко, в Таиланд. Но пусть даже она хочет так жить, пусть она согласна быть в бегах... зачем? Лишь на родине его жизнь имела смысл. И неважно, как сильно он ненавидел эту родину, – все равно оставить ее он не мог. Единственный путь к спасению он видел в том, чтобы прийти к Аннагрет как мужчина, способный гарантировать ей безопасность, в том, чтобы обеспечить себе и ей возможность ходить среди людей с высоко поднятой головой. Сильней, чем когда-либо, он в эти бурные дни после прорыва Стены чувствовал, что Аннагрет – его единственная надежда.

Он начал ездить на метро до Норманненштрассе, смешивался с протестующими у главных ворот Штази, собирал слухи. Говорили, что в Штази сутками напролет измельчают и жгут бумаги. Говорили, что документы грузовиками вывозят в Москву и в Румынию. Он вообразил себе было, что и его дело могут уничтожить или отправить подальше, – но нет, в Штази, конечно, действуют с немецкой методичностью, двигаясь сверху вниз, разбираясь вначале с документами, компрометирующими их собственных сотрудников и шпионов, а этого добра, разумеется, достаточно, чтобы дать шредерам, печам и грузовикам работу не на один месяц.

В хорошую погоду у входа на территорию Штази собирались большие

толпы обеспокоенных граждан. В плохую – только ядро протеста, одни и те же лица, мужские и женские, люди, которые незаслуженно подвергались репрессиям и имели к министерству суровые личные счета. Больше всех Андреасу приглянулся один молодой человек его возраста – его схватили на улице еще школьником после того, как он вступился за одноклассницу, к которой грубо приставал сынок крупного чина из Штази. Его предупредили, он проигнорировал предупреждение – и шесть лет, две тюрьмы. Он пересказывал свою историю вновь и вновь, пересказывал всякому, кто готов был слушать, и каждый раз она трогала Андреаса. Хотел бы он знать, что случилось с девушкой.

А однажды вечером в начале декабря, спустившись к себе в подвал, он открыл дверь и увидел: на кровати сидит и спокойно читает “Берлинер цайтунг” его мать.

Дыхание пресеклось. Он мог только стоять на пороге и смотреть на нее. Пугающе похудевшая, но прекрасно одета и в целом ухоженная. Она сложила газету и поднялась.

– Хотела посмотреть, как ты живешь.

По-прежнему дьявольски хороша. Волосы все того же невероятного рыжего цвета. Черты заострились, но морщин нет.

– Кое-что из книг я бы охотно взяла почитать, – сказала она, подойдя к полкам. – Отрада сердцу – видеть, как много тут по-английски. – Она сняла с полки томик. – Что, любишь Айрис Мердок так же, как я?

Дыхание восстановилось. Он спросил:

– Зачем ты сюда явилась?

– Зачем? Ну, не знаю. Увидеть свое единственное дитя спустя девять лет. Что тут странного?

– Я хочу, чтобы ты ушла.

– Не говори так.

– Я хочу, чтобы ты ушла.

– Нет, не говори так, – повторила она, ставя книгу на полку. – Садись, побеседуем. Теперь нам ничего не грозит. Уж кому знать, как не тебе.

Она оскверняла комнату, оскверняла его, и все же какая-то предательская его часть была вне себя от радости. Девять лет он томился по ней. Именно ее искал в каждой из пятидесяти трех девиц, искал и не находил. Ужас как сильно он ее любил.

– Посиди со мной, – промолвила она, – расскажи про себя. Выглядишь замечательно. – Тепло улыбаясь, она окинула его взглядом с головы до ног. – Мой сильный красавец сын.

– Я тебе не сын.

– Не глупи. У нас были тяжелые времена, но теперь все это позади. – Ее улыбка лишилась тепла. – Сорок лет под властью свиней, которые довели моего отца до самоубийства, – все это позади. Сорок лет ублажать самых глупых, скучных, подлых, уродливых, трусливых, самодовольных вонючих филистеров, каких только видел мир. Все позади. Пуф!

Поток уничижительных эпитетов мог бы сойти за проявление освежающей откровенности, если бы не породившее их самомнение – оно было прежним, а потому слова матери лишь усугубили оскорбление, которое она ему нанесла своим приходом. В прежние времена она так же бодро и язвительно поносила американскую администрацию. Он чувствовал, что готов придушить ее ради спасения собственной жизни, придушить, чтобы перестала выделять этот яд самомнения. Второе убийство всегда легче проходит, чем первое.

– Ну садись же, садись, поговорим, – настаивала она.

– Нет.

– Андреас, – в ее голосе послышались успокаивающие нотки, – все уже миновало. Твоему отцу, конечно, ужасно тяжело. Единственный в стране по-настоящему умный и честный человек. Единственный, кто искренне старался служить стране, а не себе. Он безутешен. Как бы я хотела, чтобы ты пришел с ним повидаться.

– Этого не будет.

– Неужели ты не можешь понять его и простить? Ты поставил его в ужасное положение. Теперь это кажется смешным, но тогда было вовсе не смешно. Перед ним был выбор: служить стране или быть отцом поэта-оппозиционера.

– Нетрудный выбор, учитывая, что я ему даже не сын.

Она вздохнула.

– Как бы я хотела, чтобы ты оставил это.

Он видел, что она права: это не имело значения. Ему было безразлично теперь, кто его отец, он полностью утратил связь с тем юным Андреасом, которому это было важно. Может быть, причина в том, что он размозжил человеку голову лопатой? Той, старой злости уже не было. Остались только любовь и отвращение – чувства более глубокие.

– Все будет хорошо, – сказала Катя. – Даже у твоего отца. Ему просто надо пережить эти трудные дни. Он пять лет, если не больше, знал, к чему идет дело, но смотреть, как все происходит, – это для него убийственно. Ему предлагают должность в новом правительстве, но он намерен в конце года уйти. Все в итоге будет хорошо – у него блестящий ум, он еще не слишком стар, чтобы преподавать.

– *Все хорошо, что хорошо кончается*, – процитировал он Шекспира по-английски.

– Он ничего плохого не делал. В правительстве были убийцы и воры, но он не из их числа.

– Всего-навсего он сорок лет им содействовал.

Она расправила плечи.

– Я по-прежнему верю в социализм – он работает и во Франции, и в Швеции. Если хочешь кого-то винить, вини советских свиней. Мы с твоим отцом делали все, что можно было делать в тех условиях. Мне не за что извиняться.

Политика, коллективная вина, конформизм – все это нагоняло на него сейчас бóльшую скуку, чем когда-либо.

– Так или иначе, – продолжала Катя, – я подумала, может быть, ты хочешь вернуться домой. Ты можешь снова поселиться в своей комнате, там гораздо удобнее, чем в этом... помещении. Думаю, тебя примут обратно в университет, учишься и живи с нами, за жилье тебе платить не надо будет. Возвращайся в семью.

– Тебе нравится эта идея?

– Нравится, поверь мне. Ты можешь, если надумаешь, поселиться и на даче, но оттуда далековато ездить. К тому же не исключено, что мы ее продадим.

– Что?

– Невероятно, но перекупщики с Запада уже рыщут по всему городу. Один добрался до Мюггельзее, говорил с нашими соседями, предлагал твердую валюту.

– Вы продаете дачу, – глухо проговорил он.

– Это же не дом, а уродство. Твой отец не согласен, но это у него чистейшая сентиментальность. Перекупщик сказал, что есть план снести все дома по берегу озера, расчистить все бульдозерами и устроить поле для гольфа. Весси^[29] не так сентиментальны.

Помимо страха, при мысли о бульдозерах у него возникло и другое чувство: чувство, что Республика его предала. Все, к чему она прикасалась, обращалось в дерьмо. Даже от западных перекупщиков не сумела защититься. Он всегда знал о ее смехотворной беспомощности, но сейчас эта беспомощность уже не казалась забавной.

– О чем думаешь? – с ноткой игривости спросила Катя.

Оставался только один путь. Он перешагнул порог, вошел в комнату и закрыл за собой дверь.

– Хочешь, чтобы я вернулся домой, – сказал он.

– Это так много для меня значит! Настало время тебе вновь расцвести. С твоим умом ты через три года защитишь диссертацию.

– Расцвести было бы неплохо, согласен. Но сначала вы должны кое-что для меня сделать.

Она надула губы.

– Торговаться? Что-то мне не очень это нравится.

– Это не то, что ты подумала. Мне безразлично, как ты поступала. Правда безразлично. Я сейчас имею в виду совсем другое.

От него не укрылось нечто странное, творившееся с ее лицом: трудноуловимая, но какая-то безумная смена выражений, свидетельство внутренней борьбы. Представление о себе как о любящей матери столкнулось с досадой на материнские заботы. Он чуть ли не жалел ее сейчас. Она хотела, чтобы все давалось ей легко, затруднения лишали ее и сил, и терпения.

– Я вернусь домой, – сказал он, – но сначала мне нужно кое-что получить от госбезопасности. Мне нужно все, что у них на меня есть. Все папки. Прямо мне на руки.

Она нахмурилась.

– Что у них на тебя есть?

– Возможно, кое-что плохое. То, что помешает мне “расцвести”. То, что может скомпрометировать тебя.

– Ты что-то натворил? Что ты сделал?

Услышав этот вопрос, он вздохнул с облегчением. Штази явно свернула расследование по собственной инициативе, ни о чем не уведомив его родителей.

– Тебе не надо этого знать, – сказал он. – Твоя задача – добыть для меня папки. Дальше я сам разберусь.

– Сейчас каждый хочет раздобыть свое дело. По всей стране осведомители сидят и мерзко трясутся, и в Штази это знают. Эти папки для Штази – страховые полисы.

– Да, но члены ЦК, думаю, не так напуганы. В эти дни просьба выдать мое дело на руки должна выглядеть почти рутинной.

Испуганным взглядом она шарила по его лицу.

– Что ты сделал?

– Ничего такого, чем бы ты не могла гордиться, если бы знала. Но другие могут отнестись к этому иначе.

– Я могу попросить твоего отца, – сказала она. – Но он от той твоей выходки едва оправился. А теперь что-то новое? Сейчас не лучшее время, чтобы давать ему об этом знать.

– Разве ты не любишь меня, мама?

Этот вопрос не оставлял ей выбора; она согласилась помочь. Перед ее уходом они сочли необходимым обняться, и какое странное это было объятие... не объятие, а вымученная сделка: она, неспособная на искреннюю любовь, притворялась любящей матерью, а он, по-настоящему ее любивший, эксплуатировал ее притворную любовь. Убежище он нашел в том уголке сознания, где была заперта безгрешная любовь к Аннагрет.

Прошла неделя, за ней другая. Наступило и миновало Рождество, а от матери – ничего. Может быть, она уже раздобыла дело и прочитала? Прочитала и думает заново, хочется ли ей вернуть сына в свою жизнь? Однажды она уже решила, что может жить без него.

Наконец, в канун Нового года, он сам ей позвонил.

– Сегодня твой отец работает последний день, – сообщила она ему.

– Да, и это меня немного беспокоит, – сказал он. – Как частное лицо он будет не столь влиятелен.

Она промолчала.

– Мама. У меня есть причина для беспокойства?

– Мне кажется, ты на меня давишь, Андреас. Мне кажется, ты злоупотребляешь моим желанием воссоединить семью.

– Ты его попросила или нет?

– Я ждала подходящего момента. Он ужасно деморализован. Лучше бы ты пришел и попросил его сам.

– Теперь, когда уже поздно?

– Почему ты не говоришь мне, что там может быть, в этих папках? Там ничего особенно страшного нет, я убеждена.

– Невероятно. Ты три недели тянула!

– Будь добр, не кричи на меня. Ты забываешь, кто твои родственники.

– Маркус не имеет отношения к внутренним делам.

– Его имя много значит. Твоя семья – все еще королевский род в этом свинарнике. И твой отец по-прежнему член ЦК.

– Так попроси его, пожалуйста!

– Сначала я хочу знать, что ты пытаешься утаить.

Если бы он думал, что это ему поможет, он бы с радостью рассказал ей все, но инстинкт велел ему молчать и в особенности ни словом не упоминать о существовании Аннагрет. Он проговорил вместо этого:

– Мама, я буду знаменит. – Раньше ему такое в голову не приходило, но, сказав, он сразу же понял, что это правда: он скроен из того материала, из которого выходят знаменитости. – Я расцвету, прославолюсь, и ты будешь очень рада, что ты моя мать. Но если ты не добудешь мне папки, я

прославлюсь на иной лад, и тебе это не понравится.

Еще две недели ожидания. Теперь даже в самые сумрачные дни на Норманненштрассе собиралось много народу, а потом вдруг, промозглым и сиротливым днем, – громадная толпа. Поблизости от главного входа на территорию комплекса Андреас поднялся на бампер грузовика, чтобы оценить количество. Сколько хватал глаз – люди и люди. Многие тысячи. Плакаты, пикетчики, скандирование, телерепортеры.

Stasi RAUS. Stasi RAUS. Stasi RAUS!.. [\[30\]](#)

Передние давили на ворота из листового металла, лезли на них, становясь на ручки и петли, кричали на охрану внутри. И вдруг – необъяснимо и к его ужасу – ворота распахнулись внутрь.

Он все еще стоял на бампере грузовика, и от ворот его отделяла изрядная людская толща. Спрыгнув, он присоединился к толпе, ладонью уперся в кожаную куртку впереди, сохраняя небольшой просвет на случай давки.

Молодая женщина слева радостно вскрикнула:

– Это ты?

Лицо милое, но только смутно знакомое, а может быть, и вовсе незнакомое.

– Привет, – отозвался он.

– Господи, – сказала она. – Ты меня даже не узнал.

– Конечно, узнал.

– Ага. – Она неприятно улыбнулась. – Узнал, как же.

Он притормозил, дожидаясь, чтобы ее место рядом с ним занял кто-то другой из напирающих. Голоса вокруг слегка поутихли – то ли из почтения, то ли из давней привычки к послушанию, – но когда Андреас протиснулся сквозь ворота во двор, он услышал громкие буйные крики в здании впереди. К тому времени, как ему удалось в него войти, на полу уже валялось битое стекло, на стенах было что-то намалевано краской. Люди валили по главной лестнице наверх, где, как говорили, располагались кабинеты Мильке и других высших чинов Штази. Сверху сыпались бумаги, отдельные листы лениво проплывали в воздухе, пачки увесисто шлепались на пол. Добравшись до лестницы, он оглянулся и увидел надвигающиеся лица, отчетливые, точно в замедленной съемке, покрасневшие или посеревшие от холода, лица, полные изумления, торжества, любопытства. У входа охранники в форме смотрели на все с каменным безразличием. Он протолкнулся к одному из них.

– Где тут архив? – спросил он.

Охранник поднял руки: мол, ничего не знаю.

– Да ладно вам, – сказал Андреас. – Думаете, после сегодняшнего все вернется к старому?

Охранник повторил тот же самый жест.

Вернувшись во двор, куда, точно паломники, втекали все новые и новые горожане, Андреас обдумал происходящее. Чтобы умиротворить толпу, кто-то принял решение пустить ее в главное административное здание, откуда, видимо, заранее вынесли все компрометирующее. Вся акция была символической, ритуальной, возможно, даже предусмотренной неким сценарием. На территории имелось еще как минимум с десяток зданий, но в них никто и не пытался проникнуть.

– Архив! – крикнул он. – Давайте найдем архив!

Несколько голов к нему повернулось, но все неуклонно двигались вперед, сосредоточенные на символическом вхождении в святая святых. Под вспышками фотоаппаратов и светом из камер вылетали из разбитых окон бумаги. Дойдя до ограды на южном краю территории, Андреас присмотрелся к самому большому и темному из прочих зданий. Но даже если удастся организовать поход на архив, шансы найти в нем свое собственное дело близки к нулю. Оно где-то там хранится, но прорыв во двор несколько ему не помог. Он лишь ослабил его друга – Штази.

Через двадцать минут он уже нажимал кнопку звонка в вестибюле родительского дома. Голос, затрещавший в домофоне, был отцовский.

– Это я, – сказал Андреас. – Твой сын.

Когда он поднялся на верхний этаж, в дверях квартиры стоял старик в шерстяной кофте на пуговицах. Перемена в отце была разительна. Он уменьшился в росте, стал более хрупким, сутулым, под скулами и на шее – впадины. Он протянул руку для пожатия, но Андреас обнял его. Секунду спустя почувствовал ответное объятие.

– У мамы сегодня лекция, – сказал отец, вводя Андреаса в квартиру. – Я тут ем кровяную колбасу. Могу и тебе сварить, если хочешь.

– Нет, я не голодный. Только стакан воды, если можно.

В интерьере квартиры преобладали теперь кожа и хром, освещение, как водится у пожилых людей, слишком яркое. В одинокой тарелке расплылось и стыло багровое месиво. Дрожащей рукой отец налил в стакан минеральной воды, подал ему.

– Ешь свою колбасу, пока теплая, – посоветовал Андреас, садясь за стол. Но отец отодвинул тарелку.

– Потом еще себе сварю, если проголодаюсь.

– Как живешь?

– Физически неплохо. Постарел, как видишь.

– Выглядишь отлично.

Отец сидел за столом и молчал. В глаза смотреть он никогда не любил.

– Я так понимаю, новости ты не включаешь, – сказал Андреас.

– Я потерял к ним интерес несколько месяцев назад.

– Штурмуют здания Штази. Прямо сейчас, в эти минуты. Тысячи людей. Они уже в главном корпусе.

Отец всего-навсего кивнул, словно соглашаясь.

– Ты хороший человек, – сказал Андреас. – Прости, что осложнил тебе жизнь. Моя проблема всегда была не в тебе.

– В каждом обществе свои правила, – проговорил отец. – Человек либо соблюдает их, либо нет.

– Я уважаю твое решение соблюдать правила. Я не для того пришел, чтобы тебя обвинять. Я пришел попросить о помощи.

Отец снова кивнул. Снизу, с Карл-Маркс-аллее, доносились торжествующие автомобильные гудки.

– Мама говорила тебе, что я нуждаюсь в помощи?

Лицо отца омрачилось.

– На твою мать тоже есть дело, и довольно пухлое, – сказал он.

Андреас был до того изумлен этим неожиданным замечанием, что не нашелся с ответом.

– Время от времени, – продолжил отец, – у нее случались эпизоды безответственного поведения. Она предана делу социализма, она достойный член общества, но эти эпизоды ее компрометировали. Их было не так мало. Полагаю, тебе это известно.

– Мне важно именно от тебя это услышать.

Отец слегка, одними пальцами, отмахнулся.

– На протяжении лет нам не раз приходилось решать с Министерством госбезопасности вопросы субординации и контроля. Благодаря троюродному брату и моей роли в формировании их бюджета у меня сложились с ними неплохие отношения. Но их министерство располагает значительной автономией, а любые отношения строятся на взаимности. За прошедшие годы я нередко просил их об одолжениях, а сам теперь мало что могу предложить взамен. Боюсь, я исчерпал свои возможности, когда раздобыл для твоей матери ее дело. У нее впереди еще много лет профессиональной жизни, и для ее будущего важно, чтобы не всплыли подробности ее прежнего поведения.

Какой бы силы ни достигала в прошлом ненависть Андреаса к Кате, никогда она не была такой, как сейчас.

– Постой-постой, – сказал он. – Получается, ты знаешь, что мне от

тебя нужно.

– Она об этом упоминала, – промолвил отец, все так же не глядя ему в глаза.

– Но заботы обо мне не проявила. Только о себе.

– Она и за тебя попросила, когда мы получили ее дело.

– Приоритеты ясны!

– Она моя жена. Ты должен это понимать.

– А я на самом деле не твой сын.

Отец смущенно поерзал.

– В чисто биологическом плане – да, с этим можно согласиться.

– Итак, она меня кинула. Я в пролете.

– Ты предпочел не играть по правилам общества и, похоже, в этом не раскаиваешься. А мама, когда приходит в себя, всегда раскаивается в том, что сделала, будучи не в себе.

– Иными словами, мне ты ничем помочь не можешь.

– Мне бы не хотелось идти к колодцу, который, я полагаю, уже вычерпан.

– Ты знаешь, почему это так для меня важно?

Отец пожал плечами.

– Могу догадываться, учитывая твоё прежнее поведение. Но нет, знать я не знаю.

– Тогда позволь мне тебе рассказать, – проговорил Андреас. Он проклинал себя, что потерял больше месяца, дожидаясь, пока мать его выручит; когда наконец он перестанет быть безмозглым четырехлетним несмышленьшцем? Он мог теперь выбирать только из двух возможностей: либо бежать из страны, либо довериться человеку, который не был на самом деле его отцом, – и, выбрав второе, он рассказал ему свою историю. Рассказал, существенно приукрасив и кое-что важное выпустив, аккуратно подав все как повесть о хорошей социалистической девочке-дзюдоистке, которая именно что *соблюдала все правила*, а в итоге ее изнасиловал мерзавец из мерзавцев, за которым стояла Штази. Он привел аргументы, которые должны были говорить о его, Андреаса, исправлении: успешная работа с молодежью из группы риска, бескорыстная служба обществу, нежелание стать диссидентом; одним словом, там, в подвале пасторского дома, он стремился стать сыном, достойным своего отца. Свои антигосударственные стихи он назвал достойной сожалею, но понятной реакцией на психическую болезнь матери. Сказал, что раскаивается в них теперь.

Когда он кончил, отец долго не отвечал. На улице по-прежнему то и

дело гудели машины; остатки кровяной колбасы застыли и потемнели почти до черноты.

– Где произошло это... событие? – спросил отец.

– Не имеет значения. В уединенном месте за городом. Лучше, если ты не будешь знать где.

– Тебе надо было сразу обратиться в Штази. Они бы сурово наказали негодяя.

– Она не захотела. Она всю жизнь соблюдала правила. Она просто хотела жить по-человечески в том обществе, какое есть. Я попытался помочь ей с этим.

Отец отошел к буфету и вернулся с бутылкой “Баллантайнс” и двумя стаканами.

– Твоя мать – моя жена, – сказал он, наливая. – Она всегда будет на первом месте.

– Разумеется.

– Но твоя история трогательна. Она представляет кое-что в ином свете. В какой-то мере вынуждает меня пересмотреть свое мнение о тебе. Могу я ей верить?

– Я выпустил только то, что может тебе повредить.

– Матери рассказал?

– Нет.

– Хорошо. Только расстроил бы ее без всякой пользы.

– Я скорее как ты, чем как она, – сказал Андреас. – Видишь это или нет? Оба пытаемся иметь дело с одной и той же трудной особой.

Отец одним глотком осушил стакан.

– Сейчас трудные времена, – сказал он.

– Ты можешь мне помочь?

Отец подлил себе виски.

– Спросить – могу. Но ответ, боюсь, будет отрицательным.

– Уже то, что ты согласишься...

– Не надо меня благодарить. Я сделаю это не для тебя, а для твоей матери. Закон есть закон, и мы не можем брать его в свои руки. Даже если у меня получится, ты должен пойти в полицию и во всем признаться. Если ты явишься с повинной в тот момент, когда уже не будет причин опасаться разоблачения, это особенно хорошо тебя охарактеризует. Если факты действительно таковы, как ты мне их представил, ты можешь рассчитывать на существенное снисхождение, особенно в нынешнем климате. Твоей матери будет нелегко, но это будет правильный поступок.

Андреас подумал, но не сказал, что на самом деле он все-таки скорее

как мать, чем как отец: его ничуть не привлекала мысль совершить правильный поступок, если неправильный может спасти его от позора и тюрьмы. Его жизнь показалась ему долгой войной между двумя началами в нем: между тем нездоровым, что он унаследовал от матери, и щепетильностью, доставшейся от биологически неродного отца. Он боялся, однако, что в основе его личности все же Катя и только Катя.

Когда он шел к лифту, за спиной снова открылась дверь квартиры.

– Андреас! – позвал его отец.

Он вернулся.

– Назови мне имя и фамилию этого человека, – сказал отец. – Полагаю, тебе понадобится и дело о его исчезновении.

Андреас пристально всмотрелся в отцовское лицо. Не собирается ли старик его выдать? Так и не найдя ответа, Андреас сообщил ему, как звали убитого.

На следующий день, ближе к вечеру, к нему спустился викарий и позвал к телефону.

– Судя по всему, мне удалось, – сказал в трубку отец. – Но полной уверенности не будет, пока ты не явишься в архив. Папки будут находиться там, и вполне возможно, что тебе не разрешат их забрать. Но ознакомиться с ними ты сможешь. Так, по крайней мере, мне обещано.

– Не знаю, как тебя благодарить.

– Лучшая благодарность – никогда больше к этой теме не возвращаться.

На следующий день в восемь утра, следуя указаниям отца, Андреас подошел к главным воротам на Норманненштрассе и представился охранникам. Рядом стоял фургон телевизионщиков, они перекусывали хрустящими булочками. Он назвал, как ему было велено, имя: капитан Ойген Вахтлер – и позволил себя обхлопать. Рюкзачок, в котором он надеялся вынести папки, пришлось сдать.

Капитан Вахтлер подошел к воротам минут через двадцать. Лысый, лицо серое, наводящее на мысль о чем-то предраковом, взгляд слегка отсутствующий, как у человека, который терпит хроническую боль. На лацкане пиджака небольшое пятно.

– Андреас Вольф?

– Да.

Капитан подал ему пропуск на шнурке.

– Наденьте и следуйте за мной.

Не обменявшись больше ни словом, они прошли через двор, затем через незапертые ворота, а затем через другие ворота, которые Вахтлер

отпер и, пройдя, запер снова. Вход в главное здание архива преграждали запертые двери, от одной из которых у Вахтлера имелся ключ, а другую открыл дежурный, сидевший за толстым стеклом. Следуя за капитаном, Андреас поднялся на два лестничных марша и двинулся по коридору мимо череды закрытых дверей.

– Интересные времена настали, – отважился он произнести.

Вахтлер не ответил. В конце коридора он отпер дверь и жестом пригласил Андреаса войти в маленькую комнату, где стояли стол и два стула. На столе аккуратной стопкой лежали четыре папки.

– Я вернусь ровно через час, – сказал Вахтлер. – Вы не должны покидать помещение и не должны выносить отсюда какие-либо материалы. Страницы пронумерованы. Перед уходом я проверю, все ли они на месте.

– Понял.

Капитан ушел. Андреас раскрыл верхнюю папку. В ней было всего десять страниц: дело об исчезновении внештатного осведомителя Хорста Вернера Кляйнхольца. Вторая папка – те же десять страниц, второй машинописный экземпляр. Увидев эту копию, Андреас тут же понял, что надежда есть. Да, ему вроде бы запретили выносить что-либо из комнаты, но какой был бы смысл предоставлять и первый, и второй экземпляр, если бы от него ждали исполнения этого предписания? Копия через копирку – ясный сигнал, что этим материалы по делу исчерпываются, что ему дали все. Он преисполнился любви, гордости, благодарности. Этот поступок отца по-своему венчал те сорок лет, что он проработал в системе, играя по правилам. Отец все еще обладал влиянием, и в Штази пошли ему навстречу.

Андреас вытащил пластиковый пакет, который заранее спрятал в ботинке, и сунул туда оба экземпляра дела об исчезновении. Две другие папки были потопище. В них он нашел свое собственное дело – в двух частях, со сквозной нумерацией. Их он тоже положил в пакет.

Сердце сильно колотилось, и член у него встал, потому что дальнейшее было игрой. Правила игры состояли в том, чтобы нарушить правила, чтобы выкрасть без ведома и согласия Штази материалы, на которые ему разрешили только взглянуть. Если материалы пропадут, вины Штази в этом не будет.

Мелькнула тревога – не запер ли его капитан в этой комнате, но нет, дверь открылась, игра началась. Он вышел в коридор. В здании царило неестественное молчание, ни единого голоса, лишь некий обобщенный еле слышный учрежденский шум. Он двинулся обратно к лестнице, потом два марша вниз. Из главного вестибюля доносились шаги и голоса служащих,

пришедших на работу. Он отважно, уверенным шагом вступил в вестибюль и направился к выходу. Служащие окидывали его холодными, равнодушными взглядами.

Он постучал в окошко у двери, за которым сидел дежурный.

– Можете меня выпустить?

Дежурный привстал, всмотрелся в висевший на шее Андреаса пропуск.

– Дождитесь сопровождающего.

– Мне нехорошо. Того и гляди вырвет.

– Туалет там, по коридору, слева.

Он вошел в туалет и заперся в кабинке. Если пошла игра, должен найтись какой-то выход. Член по-прежнему стоял, и он почувствовал диковинно сильное желание вынуть его и довести до *великолепнейшей* эякуляции прямо тут, над унитазом Штази. Он три года не был так возбужден; и все же сказал себе – произнес вслух: “Подожди. Скоро. Не сейчас. Скоро”.

Вернувшись в вестибюль, он увидел открытую дверь, за ней дневной свет – значит, там есть окно, через которое он, может быть, сумеет выбраться. Вновь уверенным шагом он подошел к двери, заглянул. Это оказался конференц-зал, окна во двор. На окнах тяжелые решетки, но два из них открыты – возможно, для лучшего освещения. Когда он шагнул в комнату, раздался резкий женский голос:

– Вам что-нибудь нужно?

Плотная женщина средних лет раскладывала на стеклянном блюде печенье.

– Нет, извините, ошибся дверью, – сказал он и ретировался.

Всё новые служащие входили в здание, растекаясь затем по лестницам и боковым коридорам. Встав в дальнем конце вестибюля, он поглядывал на дверь конференц-зала, дожидаясь, чтобы та женщина вышла. Стоял, ждал и вдруг увидел, что в другом конце, у проходной, началась какая-то суета. Он ринулся туда с пакетом в руке.

Человек восемь – десять, мужчины и женщины, явно не из Штази, шли через проходную. Внутри их встречала меньшая группа сотрудников Штази, все в приличных костюмах. Кое-кого из посетителей Андреас знал в лицо – это, судя по всему, был импровизированный Гражданский комитет Норманнштрассе, люди явились сюда для первого, под строгим надзором, осмотра архива. Члены комитета держались очень прямо, с чувством собственной значимости – но также и с неким трепетом. Когда двое обменивались рукопожатиями с представителями Штази, Андреас

протиснулся мимо них в открытую внутреннюю дверь.

– Стойте! – раздался голос дежурного из-за стекла.

Другой сотрудник уже запирает внешнюю дверь, но не успел – Андреас оттолкнул его, повернул ручку и выскочил наружу. С пакетом в руке бросился бежать через двор. За спиной слышались крики.

Внутренние ворота оказались заперты, но колючей проволоки не было. Он вскарабкался на ограду, перевалился на ту сторону и со всех ног понесся к главным воротам. Охранники, когда он выбегал на улицу, только смотрели на него.

А за воротами – телекамеры. Целых три, и все сразу нацелились на него.

На вахте зазвонил телефон.

– Да, он тут, – подтвердил охранник.

Андреас оглянулся через плечо и увидел, что к нему идут двое охранников. Он выронил пакет, поднял руки и обратился к телевизионщикам:

– Вы снимаете?

Одна съемочная группа только пробиралась через толпу. Женщина из другой подала ему ободряющий знак. Он заговорил в ее камеру:

– Меня зовут Андреас Вольф. Я гражданин Германской Демократической Республики, и я пришел сюда наблюдать за работой Гражданского комитета Норманненштрассе. Я только что побывал в архиве Штази – у меня есть основания опасаться, что там сейчас заматают следы. У меня нет никакого официального статуса. Я не работаю здесь *ни с кем и ни на кого*, я работаю *против*. Эта страна – страна гнилых секретов и ядовитой лжи. Только самый сильный солнечный свет обеззаразит ее!

– Эй, погодите! – крикнул телевизионщик из той группы, что опоздала. – Скажите это еще раз.

Он сказал это еще раз. Чистейшей воды импровизация, но чем дольше он говорил, чем дольше его снимали, тем меньше была вероятность, что охранники решатся его схватить. То был первый – из многих – момент его медийной славы. Он провел на Норманненштрассе весь остаток утра: давал интервью, сплывал собравшихся, требовал пролить солнечный свет на гнойник госбезопасности. К тому времени, как члены Гражданского комитета вернулись на улицу, им уже ничего не оставалось, как принять Андреаса в качестве соратника, ибо в телесюжетах он успел оттеснить их на второй план.

Пластиковый пакет был отчетливо виден на тысячах кадров отснятой в тот день пленки. Когда, уже под вечер, Андреас прибежал к себе в подвал,

пакет был крепко зажат у него под мышкой. Он был почти свободен. Устранить последнее препятствие – ненадежно захороненный труп, – и он получит Аннагрет, а либидо уже вернулось. Он даже не глянул на папки в пакете, просто сунул их под матрас и снова выбежал на улицу. В состоянии сексуальной эйфории он двинулся к Фридрихштрассе, пересек бывшую границу и отправился на запад – на Курфюрстендамм, где познакомился с добропорядочным американцем Томом Аберантом.

Лишняя информация

Обычно Лейла ждала командировок с нетерпением. В гостиничном номере со своими пакетиками зеленого чая, с анонимным *Wi-Fi*, с шариковыми ручками двух цветов и с таблетками амбиена она чувствовала себя профессионалом в полном смысле слова, имеющим безусловное право отрешиться на время от денверских функций нянечки. Но сейчас, когда она прилетела из Денвера в Амарилло, с первой же минуты что-то пошло не так. Словно ей никогда в этот Амарилло и не хотелось. Экономичная оперативность, с которой она, как всегда, действовала, – быстрый отъезд с парковки для арендуемых машин на правах постоянного клиента, оптимальный маршрут к домику Джанелл Флайнер, стремительность, с какой ей удалось войти к Флайнер в доверие и разговорить ее, – в другой раз все это ее бы порадовало, но теперь почему-то нет. Ближе к вечеру заехала в магазин и купила порцию мясного салата с яйцом и сыром. В номере, прокуренном прошлым постояльцем, открыла салатный соус и почувствовала себя потребительской единицей, послушно выбравшей продукт, предназначенный для ее демографической группы – для одиноких женщин за пятьдесят, которые стараются питаться разумно. Ей пришло в голову, что тоскливое чувство, которое она испытывает, имеет конкретную причину. У нее появилась новая помощница по сбору информации, Пип Тайлер, и она жалела, что нельзя было взять девушку с собой.

Слегка побаливало горло, но от этого единственным лекарством была работа, и после ужина Лейла отправилась к бывшей подружке Коуди Флайнера. Свет в номере оставила, на дверную ручку повесила табличку “Не беспокоить”. Снаружи по безоблачному небу были рассыпаны звезды, редкие и тусклые; распознать созвездия мешали городские огни и пылевое загрязнение. Техасский северный выступ пятый год терпел засуху, которую, наверно, скоро повысят в ранге: назовут не засухой, а проявлением бесповоротной перемены климата. Апрель, но вместо тающего снега – пыль.

По пути она подключила телефон через блютуз к колонкам машины и без удовольствия прослушала свой разговор с бывшей женой Коуди Флайнера. Она считала себя человеком сердечным, готовым сочувственно выслушать, но в записи отчетливо различалось манипулирование с ее стороны.

– Элу́ – что это за фамилия?

- Ливанская... Я из ливанских христиан. А выросла в Сан-Антонио.
- То-то я все прислушиваюсь: выговор тexasский.

Но тexasский выговор у Лейлы давно исчез, он появлялся, только когда она интервьюировала тexasцев.

– Лейла, вы меня извините, но не похожи вы на девушку, которая не умеет выбрать себе парня.

– Ха. Приглядитесь получше.

– Значит, вы понимаете, каково это, когда тебе изменяют.

– Про несчастливое замужество – еще как понимаю.

– Хорошо, значит – подружки по несчастью. Ваш диктофон работает?

– Я могу его выключить, если вы...

– Нет, я же вам сказала: пусть он все запишет. Самое время, чтобы хоть кто-нибудь меня выслушал. А то я уж думала, совсем никому нет дела. Хоть в интернет выкладывайте: КОУДИ ФЛАЙНЕР – РАЗДОЛБАЙ И БАБНИК, я только рада буду.

– Я слыхала, он стал очень набожным баптистом.

– Коуди? Да бросьте, не смешите меня. Для него Десять заповедей – китайская премудрость. У него теперь, точно знаю, девчонка девятнадцати лет в этой общине баптистской. И пошел он к ним только потому, что папаша заставил.

– Расскажите об этом.

– Ну, вы же и так знаете. Вы бы тут не сидели, если бы не знали. Его, голубчика, застукали. Он Третью мировую мог начать, когда привез домой эту штуку на своем распрекрасном пикапе. И его даже не уволили! Начальника сняли, а Коуди “перевели на другую должность” – всего-то. Конечно, хорошо, когда у тебя папочка – большая шишка на заводе. И надо отдать старику должное: он неплохо на него надавил. Вдруг первый раз с тех пор, как Коуди нас бросил, получаю алименты.

– Начал давать на детей?

– Пока дает. Посмотрим, на сколько ему хватит новой веры. Думаю, пока у его малышки во Христе живот не вспухнет.

– Как ее зовут?

– Дуреха Толстомясяя.

– А по-настоящему?

– Марли Коупленд. Ударение на “и”. Вы, наверно, думаете, нехорошо, что я все это про него знаю.

– Что вы, я понимаю. Он отец ваших детей.

– Девчонка с вами говорить не станет, бесполезно. Если только сам Коуди не заговорит.

Двигаясь на восток по бульвару Амарилло, она проехала, почти подряд, тюрьму строгого режима “Клементс Юнит”, мясоперерабатывающий завод компании “Маккаскилл” и завод “Пантекс”, специализирующийся на ядерных боеголовках, – три массивных комплекса, чье наружное сходство благодаря грубой утилитарности зданий и натриевым лампам заметно преобладало над различиями. В зеркале заднего вида мелькали евангелические церкви, территории вокруг офисов Движения чаепития^[31], “Уотабургеры”^[32]. Впереди – нефтяные и газовые скважины, установки для гидроразрыва пласта, вытравленные пастбища, загоны для откорма скота. Видно, что водоносный слой истощен. На общеамериканском конкурсе крутизны и раздолбайства городу Амарилло светит первенство по ряду показателей. По количеству заключенных – первые. По потреблению мяса – первые. По стратегическим ядерным боеголовкам – первые. По выбросу углеводородов в атмосферу на душу населения – первые. В очереди на Царствие Небесное – первые. Нравится это американским либералам или нет, мир видит их страну как одно большое Амарилло.

Лейле нравилось. Она выросла в “синей” зоне Техаса, голосующей за демократов, притом выросла во времена, когда эта зона была больше, чем сейчас, но все равно она до сих пор любила весь штат, не только Сан-Антонио с его мягкими от близости Мексиканского залива зимами и яркой зеленью мескитовых деревьев весной, она любила и бьющее в глаза уродство “красной” республиканской части. Щедрость объятий, в которые оно, это уродство, тебя принимает; рьяное его изготовление; способность гордого своим штатом техасца видеть в нем красоту. А еще – исключительная вежливость водителей, и сохранившаяся доньше обособленность былой республики^[33], и убежденность в своем праве быть блистательным образцом для всей Америки. На прочие сорок девять штатов техасцы смотрят свысока, с таким великодушным сожалением.

– Филлиша – она из тех девиц, кому стоит только тряхнуть золотыми локонами, и мужики ума лишаются. Трюкачка с одним трюком, я бы сказала. Ее трюк – волосы. Трясь-трясь-трясь. А Коуди – он же тупее фонарного столба. Столб хоть знает, что тупой, а Коуди нет. А я, похоже, самая из всех тупая, раз вышла за такого.

– После того как Коуди “перевели”, Филлиша Бабкок, я так понимаю, его бросила?

– Нет, это мистер Флайнер-старший заставил Коуди с ней развязаться. Это одно из его условий было, чтобы Коуди мог остаться на

заводе. Ну и скверная же баба. Мало того что семью разрушила, еще и карьеру его чуть не загубила.

Брошенные жены, пожалуй, самые общительные из источников, самые откровенные. Бывшая миссис Флайнер, крашено-рыжая, с каким-то вогнутым лицом, что придавало ей виновато-застенчивый вид, испекла к приходу Лейлы кофейный пирог и продержала ее за кухонным столом до тех пор, пока дети не вернулись из школы.

Организовать встречу с Филлишей Бабкок было посложнее. После разрыва с Флайнером она сошлась с кем-то недоверчивым, склонным все контролировать, и он фильтровал все звонки на единственный ее номер, какой удалось узнать. Все три раза, что Лейла звонила, бойфренд ограничивался фразой: “Я вас не знаю, всего доброго” (даже он не был обделен техасской учтивостью и не позволял себе выразиться резче). Из социальных сетей – тоже, видимо, по настоянию дружка – Филлиша ушла. Но Пип Тайлер оказалась очень дотошной. Путем проб и ошибок она в конце концов узнала новое место работы Филлиши: закусочная “Соник” для автомобилистов в городе Пампа.

За две недели до поездки в Амарилло, во вторник в восемь вечера, когда посетителей в таких заведениях обычно мало, Лейла дозвонилась до закусочной, попросила позвать Филлишу и спросила, нельзя ли поговорить с ней о Коуди Флайнере и о случившемся в День независимости четвертого июля.

– Это вряд ли, – ответила Филлиша, что внушало надежду. Безнадежно отрицательным ответом было бы: “Пошла на хрен”. – Если бы мне с каналов “Фокс” позвонили, тогда может быть, но вы не оттуда, так что вот.

Лейла объяснила, что “Денвер индипендент”, где она работает, – независимая служба новостей, она ведет собственные расследования на средства частного фонда. ДИ, сказала она, сотрудничает с целым рядом общенациональных новостных программ, включая “Шестьдесят минут”.

– Я не смотрю “Шестьдесят минут”, – отрезала Филлиша.

– Может, я заеду к вам в “Соник” как-нибудь вечером в будний день? После этого я даже о том, что мы встречались, никому сообщать не буду обязана. Я просто пытаюсь выяснить обстоятельства. Можно не под запись – как вам угодно.

– Мне уже то не нравится, что вам известно, где я работаю. А моему другу не нравится, чтобы я вела личные разговоры с кем-то, кого он не знает.

– Понятно. Хорошо, не будем. Не хочу навлекать на вас неприятности.

– Да нет, это глупо, сама понимаю. Чего он может бояться – сбегу я,

что ли, с вами?

– Правила есть правила.

– Точно, черт бы их драл. Вот прямо сейчас он, скорее всего, сидит там через дорогу и думает, с кем это я тут болтаю. Не раз уже так было.

– Тогда не буду вас задерживать. Но если я загляну к вам как-нибудь во вторник примерно в это же время?

– Как, говорите, журнал называется?

– “Денвер индипендент”. Мы только в интернете, печатной версии нет.

– Даже не знаю. Кто-то должен рассказать обо всей той херне, что у них там на заводе происходит. Но своя рубашка, как говорится, ближе к телу. Так что нет, пожалуй.

– Я все-таки заеду на минутку. Увидите меня – и решите. Как вам такой вариант?

– Лично против вас я ничего не имею. Положение просто у меня такое.

Впервые Филлишу Бабкок Лейла увидела на фотографиях с празднования Четвертого июля, которые Коуди Флайнер разместил летом на своей странице Фейсбука. Особа в бикини цветов американского флага пьет пиво. Для совершенства фигуры ей недоставало только здорового питания и каких-никаких физических упражнений, но лицо и волосы скоро, видимо, подтвердят недобрую присказку Лейлы: блондинки хороши только в молодости (средний возраст Лейла считала Местью Брюнеток). Филлиша красовалась на переднем плане почти всех снимков и чаще всего была в фокусе, но один раз автофокусировка дала сбой, и на этом снимке очень хорошо было видно, что крупный предмет в кузове пикапа “додж рам”, который Флайнер припарковал на дорожке чуть поодаль, – термоядерная боеголовка B61. На другой фотографии, где задний план был несколько размыт, Филлиша, оседлав боеголовку, склонилась – похоже, напоказ, – чтобы лизнуть ее кончик.

Когда Пип Тайлер приехала в Денвер на собеседование (открылась вакансия практиканта-исследователя), Лейла была в командировке в Вашингтоне, но слух о том, как прошло собеседование, распространился быстро. Чтобы продемонстрировать, какой материал она способна нарыть, Пип привезла с собой скриншоты этих фотографий. Глава информационного отдела ДИ спросил ее, как она их раздобыла; Пип ответила, что у нее есть друзья в Окленде, в группе, борющейся за ядерное разоружение, а у тех есть знакомые хакеры с доступом к программному обеспечению, распознающему объекты, и с доступом (нелегальным) к сети доставки фейсбучного контента. Она сказала, что уже зафрендил Коуди Флайнера через знакомого из антиядерной группы, который до этого

зафрендил его под ложным предлогом. Спросив Коуди в личке о картинках с боеголовкой, которые он давно уже стер со страницы, Пип получила от него лаконичный ответ: “Она ненастоящая, киса”. Портфолио Пип и прочие бумаги были просто идеальны, и глава информационного отдела тут же взял ее на работу.

На следующей неделе, вернувшись из Вашингтона, Лейла прямоком направилась в угловой кабинет Тома Аберанта, основателя и главного редактора “Денвер индипендент”. Ни для кого в ДИ не было секретом, что они с Томом уже больше десяти лет вместе, но на работе они держались официально. Она всего-то и собиралась сказать: “Привет, я вернулась”. Но, подойдя к открытой двери кабинета, уловила какие-то необычные флюиды.

Спиной к двери сидела девушка с длинными блестящими волосами. Лейла явственно ощутила, что Тому с ней как-то не по себе – а ведь Том никогда ничего не боялся. Лейла, к примеру, боялась смерти, а Том – нет. Его не пугали угрозы исков и судебных запретов, не пугали корпоративные финансы, он бесстрашно увольнял сотрудников; для Лейлы он был мощным оплотом. Но сейчас уже в том, как поспешно он поднялся ей навстречу, хотя она еще и порог не переступила, чувствовалось беспокойство. Странной была и неуверенность, с какой он представил их друг другу: “Пип – Лейла – Лейла – Пип...”

У девушки был на редкость густой загар. Том торопливо вышел из-за стола и сделал широкое движение руками, как бы подталкивающее женщин друг к другу и в то же время выпроваживающее, словно ему не терпелось избавиться от Пип. Или словно он хотел подчеркнуть, что не пытается скрыть новенькую от Лейлы. Лицо у девушки было честное, дружелюбное, красивое, но не угрожающе красивое; она при этом и сама выглядела растерянной.

– Пип уже кое-что новое выяснила про Амарилло, – сказал Том. – Я знаю, сколько у тебя дел, но, может быть, вы бы взялись за это вместе?

Лейла испытующе, чуть нахмурившись, посмотрела на него и что-то уловила в его отведенных глазах.

– Вообще-то я на этой неделе очень занята, – приятным тоном ответила она. – Тем не менее помочь, чем смогу, буду рада.

Том потихоньку выпроваживал их в коридор.

– Лейла у нас лучшая, – сообщил он Пип. – Она хорошо о вас позаботится. – Он посмотрел на Лейлу. – Ты ведь не возражаешь?

– Не возражаю.

– Вот и отлично.

И он закрыл за ними дверь. Дверь, которую практически никогда не

закрывал. Несколько минут спустя пришел к Лейле – поздороваться так, как они должны были бы поздороваться в кабинете. Она знала, что не следует спрашивать его, все ли в порядке, потому что сама терпеть не могла этот вопрос и отучила Тома его задавать: “Давай договоримся, я сама скажу, если вдруг что-то будет не в порядке”. Но сейчас не удержалась.

– Все замечательно, – ответил он. Глаз не разглядеть за бликами от потолочной лампы в его очках. Он носил очки в тонкой оправе по жуткой моде семидесятых, что вполне соответствовало короткой военной стрижке, которой он подвергал оставшиеся волосы; еще одним, чего он не боялся, было мнение людей о его внешности. – Думаю, она будет великолепным работником.

Она. Как будто вопрос Лейлы был о ней.

– Скажи-ка мне... от какого сюжета мне отказаться ради этого?

– Решай сама, – сказал он. – Она говорит, что владеет этим сюжетом единолично, но такое не проверишь. Лучше не дожидаться, пока он начнет распространяться, как вирус.

– “Сломанная стрела-2”?^[34] Круто для первого материала практиканта-исследователя.

Том рассмеялся.

– Думаешь? Уже не “Стрейнджлав”^[35], а “Сломанная стрела”. Такие у нас сегодня ассоциации.

И он снова засмеялся, теперь больше похожий на самого себя.

– Я просто хотела сказать, это немножко чересчур эффектно, чтобы оказаться правдой.

– Она из Калифорнии.

– Вот, значит, откуда загар.

– Из района Залива, – сказал Том. – Как грипп приходит из Китая, где свиньи, люди и птицы живут под одной крышей, так история вроде этой должна была, конечно, явиться именно оттуда. Хакерские силы плюс ментальность “Оккупая”.

– С этим я согласна. Но странно, что она обратилась именно к нам. С таким сюжетом куда угодно можно было пойти. В “Пропаблика”. В “Калифорния уотч”. В “Центр журналистских расследований”.

– Как я понял, ее дружок сюда переехал, а она с ним.

– Полвека феминизма, а женщины все еще послушно следуют за бойфрендами.

– Никто лучше тебя не поможет ей разобраться в жизни. Если, конечно, ты не против.

– Я, конечно, не против.

– Всего лишь одним человеком больше в списке тех, с кем Лейла обошлась по-доброму.

– Ты совершенно прав. Всего лишь одним человеком больше.

Так состоялась передача Пип с рук на руки Лейле. Предохранялся ли Том таким образом от соблазна, поручая девушку своей многолетней подруге? Пип была далеко не самой соблазнительной из практиканток, прошедших через ДИ, и Том не раз утверждал непререкаемым тоном, который у него имелся в арсенале, что его привлекает именно тип Лейлы (худые, с маленькой грудью, ливанского происхождения). Что, спрашивается, может быть такого в Пип, что потребовало предохранения? Потом Лейле пришло в голову, что девушка, может быть, принадлежит к типу, привлекавшему Тома *раньше*, – к тому же типу, что его бывшая жена. Кстати, нельзя сказать, что Том совсем уж ничего не боялся. Все, что имело отношение к его бывшей, нервировало Тома. Он ерзал, если кто-то в телевизоре казался похожим на нее, он вступал в диалог с телеэкраном. Поняв вероятную суть одолжения, которое она делает Тому, Лейла взяла Пип под крыло.

– Обсуждал ли с вами Коуди систему охраны периметра, когда вы были женаты? Когда вы узнали, что он привез к себе домой бомбу, это вас удивило?

– Какую бы глупость Коуди ни сотворил, меня этим не удивишь. Однажды счищал краску с нашего гаража и вздумал прикурить от паяльной лампы. Он даже не сразу обратил внимание, что у него воротник полыхает.

– Но что насчет периметра?

– Там много всяких параметров, они с отцом это обсуждали. Про параметры я точно слышала. Параметры воздействия окружающей среды, по-моему... и что-то еще, протоколы какие-то.

– Нет, я спрашиваю про ворота, про ограду.

– О господи. Периметр. Вы про периметр, а я про параметры. А сама даже не знаю толком, что это за параметры такие.

– Так слышали ли вы когда-нибудь от Коуди, что тайком что-то вынесли за периметр или пронесли внутрь?

– Внутрь по большей части. А ведь у них там бомб достаточно, чтобы весь наш Техасский выступ превратить в дымящуюся воронку. Казалось бы, они там должны хоть немного нервничать и беспокоиться, но нет, все наоборот, потому что весь смысл бомбы в том и состоит, чтобы гарантировать, что ее никогда не придется пустить в ход. То есть

вся эта история – вроде как одно большое ничто, и те, кто там работает, это понимают. Вот почему там у них разные конкурсы безопасности, софтбольная лига, сборы пожертвований для голодающих: чтобы не так скучно было. Там работа получше, чем на мясокомбинате или в тюремной охране, но все равно тоскливая и тупиковая. Отсюда всякие дела с проносом.

– Алкоголь? Наркотики?

– Спиртное – нет, с ним попадешься. Но кое-какие нелегальные стимуляторы. И чистая моча для наркотических анализов.

– А выносят что?

– Ну, вот у Коуди, например, был тут целый ящик отличных инструментов, которые чуточку фонят, так что в отделе охраны труда сказали, ими нельзя пользоваться. А так прекрасные инструменты.

– Но бомбы не пропадали.

– Что вы, нет, конечно. У них же там и штрихкоды, и GPS, и бесконечные сопроводилки. В любой момент про каждую бомбу известно, где она. Я знаю, потому что именно там Коуди работал.

– Контроль материальных средств.

– Точно.

Подъезжая к Пампе, Лейла выключила запись. Эта часть Техасского выступления была до того плоской, что парадоксальным образом вызывала головокружение: двумерная инопланетная поверхность, с которой, не имея ориентира, чтобы уцепиться взглядом, ты в любой момент, кажется, можешь куда-то скатиться. Ни углубления, ни холмика, ничего. Так мало от этой земли пользы и для коммерции, и для сельского хозяйства, что местные жители с легкостью тратят по пол-акра, расставляя уродливые приземистые строения подалее друг от друга. В свете фар мимо Лейлы проплывали пыльные, кое-как посаженные деревца, полумертвые или уже сдохшие. Но они тоже были техасцами, и она находила в них свою прелесть.

На парковке у “Соника” было пусто. Звонить Филлише второй раз Лейла не стала, боясь спугнуть ее; если сейчас не ее смена, можно приехать завтра. Но Филлиша была на месте, более того: высунулась из окна выдачи для автомобилистов и, рискуя выпасть, попыталась дотянуться рукой до асфальта.

Подойдя, Лейла увидела под окном долларовую бумажку, подняла и вложила Филлише в руку.

– Спасибо, мэ. – Филлиша втянулась обратно. – Что закажете?

– Я Лейла Элу. Из “Денвер индипендент”.

– Ух ты! А по разговору кажется, что из Техаса.
– Выросла тут. Можно с вами поговорить?
– Не знаю. – Филлиша снова высунулась в окно и оглядела парковку и улицу. – Я же вам объяснила ситуацию. Он меня в десять должен забрать, но иногда он приезжает раньше.
– Сейчас только восемь тридцать.
– И вам по-любому тут стоять не надо. Здесь только для машин.
– Можно я тогда войду?
Филлиша задумчиво покачала головой.
– Со стороны такое трудно понять. Не могу вам объяснить.
– Добровольный плен.
– Плен? Не знаю. Может быть. Пленница из Пампы. – Она захихикала. – Можно про меня роман такой написать.
– Сильно к нему привязаны?
– По уши втрескалась, если честно. Даже и против плена почему-то несильно возражаю.
– Понимаю.
Филлиша заглянула Лейле в глаза.
– Понимаете?
– У самой в жизни бывало всякое.
– Ладно, была не была. Войдете – садитесь на пол, чтобы видно не было. Менеджер не заметит, если вы с черного хода. А все прочие тут мексиканцы.

Главная профессиональная проблема у Лейлы состояла в том, что источники нередко хотели с ней дружить. В мире слишком много желающих выговориться и слишком мало слушателей, и у нее часто складывалось впечатление, что для источника она едва ли не первая, кто готов его как следует выслушать. Это всегда были однократные источники, любители, так сказать; она входила к ним в доверие, прикинувшись той, кто был им нужен. (Она умела притвориться кем надо и в общении с профессионалами – со штатными сотрудниками агентств, с помощниками конгрессменов, – но они использовали ее в такой же мере, в какой она их.) Многие ее коллеги, даже иные из тех, кто был ей симпатичен, безжалостно бросали свои источники, прекращали с ними всякое общение, исходя из принципа: милосерднее, переспав с человеком и не собираясь делать этого повторно, не отвечать на его звонки. Но Лейла и в профессиональной, и в личной жизни всегда была из тех, кто перезванивает. Только так она могла мириться с собственным притворством: хотя бы отчасти на самом деле быть той, за кого себя выдавала. И потому чувствовала себя обязанной

отвечать своим источникам, пусть и утратившим для нее всякую ценность, на звонки, на электронные письма и даже на рождественские открытки. Она до сих пор получала письма от Унабомбера – от Теда Казински^[36], – хотя с тех пор, как она написала сочувственную статью о его юридическом казусе, прошло десять лет с лишним. Казински не позволили выступать на суде в качестве собственного защитника, лишив его тем самым трибуны для радикальной критики американских властей, на том основании, что он страдает психическим заболеванием. А чем доказано, что он психически болен? Тем, что он считает американские власти репрессивной хунтой, подавляющей радикальную критику. Здоровый человек так думать не может! Унабомбер проникся к Лейле очень большой симпатией.

Усадив Лейлу на пол, испачканный кетчупом, Филлиша под звуки мексиканской музыки заговорила о том, как считала дни, желая избавиться от Коуди Флайнера, от этого пустобреха и неудачника. Да, не устояла перед его соблазнительной задницей и нежным взглядом из-под опущенных щенячьих ресниц, запрыгнула с ним в койку, но, клялась она Лейле, забрать его от жены и детей у нее и в мыслях не было. Его решение стало для нее полнейшим сюрпризом, и волей-неволей пришлось какое-то время с ним жить. Всего-то навсего хотела хорошо провести время – и пожалуйста, испортила людям жизнь. Ей стало совестно, потому-то она и протянула с Коуди целых полгода.

– Вы оставались с ним, потому что чувствовали себя виноватой? – уточнила Лейла.

– Вроде того. Плюс за жилье не платить, и других вариантов сразу не находилось.

– А знаете, я в вашем возрасте сделала то же самое. Разрушила брак.

– Мне кажется, если брак *можно* разрушить, то это и *надо* сделать.

– На этот счет есть разные мнения.

– А долго вы потом тянули? Или вообще себя виноватой не чувствовали?

– То-то и оно, – улыбнулась Лейла. – Я до сих пор за ним замужем.

– Ну, значит, все счастливо обернулось.

– Без чувства вины все-таки не обошлось.

– Надо же, а вы ничего. Никогда раньше с репортерами дела не имела.

Вы не такая, как я думала.

Просто я умею разговаривать человека, подумала Лейла.

Филлиша прервалась, чтобы обслужить полную машину молодежи, а потом прикрикнула на своих мексиканцев:

– Hey fellas, no quiero la musica. Menos loud-o, por favor?^[37]

Убеждение Коуди, будто он лучший подарок, какой только могла получить Филлиша, сама она отнюдь не разделяла. Чем больше он старался произвести на нее впечатление, тем хуже ему это удавалось. Он подрался при ней в баре – для того, видимо, чтобы показать, как хорошо держится, когда из него делают отбивную котлету. Его жена, обезьяна безногая, так и не добилась, чтобы с него взыскивали на детей, – от государственных властей с их бюрократизмом толку, как всегда, никакого, – и он покупал Филлише множество цацек и всего прочего, новенький айпад, в общем, всячески старался произвести впечатление. И этот его фортель в День независимости – тоже чтобы произвести впечатление. Она знала, что он работает на военном заводе, где занимаются бомбами, и что должность у него там скучнейшая. Он часами мог болтать о *регулируемой мощности заряда*, о “разрушителях бункеров”, о *килотоннаже*, словно национальная безопасность зависела от него лично. В конце концов ей надоело, и она выложила ему все как есть: что он никто и звать его никак, что никакого такого впечатления все эти бомбы на нее не производят, к тому же отношения к ним он, по сути, не имеет. Наплевать, что причинила ему боль. К тому времени она уже переглядывалась с его приятелем Кайлом, жителем Пампы.

Вечером третьего июля, вернувшись домой поздно – выпивала с подружками, – она увидела Коуди на переднем крыльце, он ее ждал. Сказал, привез ей новый подарочек, и повел на задний двор. Там на одеяле лежало что-то большое, цилиндрической формы. Термоядерная боеголовка B61, сказал Коуди. Полностью готовая к использованию. Ну, и что она об этом скажет?

Что-что. Напугалась, вот что.

Коуди сказал:

– Я хочу, чтобы ты ее потрогала. А потом чтобы разделась и легла на нее, и тогда я тебя отделаю так, как тебя в жизни никто не отделявал.

Она отговаривалась: мол, не хочет облучиться и мало ли что еще.

Но Коуди сказал, боеголовку трогать не опасно и рядом с ней находиться тоже. Заставил потрогать бомбу рукой и пустился объяснять про систему безопасности и контроль несанкционированной активации. Обычная его манера: болтать про то, в чем он на самом деле ни уха ни рыла, к чему он никакого отношения не имеет, – но только на этот раз на одеяле посреди его двора лежала настоящая ядерная боеголовка.

– И я знаю, как ее активировать, – похвастался он.

Ничего ты не знаешь, сказала ему Филлиша.

– Можно, если тебе известны коды, а мне известны коды. Могу стереть наш старый добрый Амарилло с лица земли. Вот возьму и сотру.

Может, не надо, сказала Филлиша. Наполовину поверила ему, на две трети нет.

– Надо, – ответил Коуди. – Чтобы ты увидела, как я тебя люблю.

Филлиша заметила, что не видит связи между любовью к ней и уничтожением Амарилло. Ей казалось возможным, что такими словами она выигрывает время и спасает жизни десятков тысяч невинных горожан, не в последнюю очередь свою собственную. Одним ухом прислушивалась, когда же завоюют полицейские сирены.

Коуди, чуть подождав, заверил ее, что ничего взрывать не собирается. Он лишь хочет, чтобы она понимала: он *может* это сделать. Лично он, Коуди Флайнер. Хочет, чтобы она почувствовала, какая в его руках власть. Хочет, чтобы она сняла с себя все, легла на бомбу, обняла ее и подставила ему свой аккуратный задик. Разве чудовищная и опасная мощь бомбы не пробудила в ней такого желания?

Пробудила, если честно, когда он это произнес. И она сделала, как он велел, и такого классного секса у них не было с тех самых пор, как он удивил ее, уйдя от жены. Быть в такой близости от стольких потенциальных смертей и разрушений, соприкоснуться потной кожей с прохладной оболочкой смертоносной бомбы, воображать себе, как весь город в момент ее оргазма взлетает на воздух грибовидным облаком... Да, это, признаться, было круто.

Но понятно было, что это всего лишь на одну ночь. Потом либо Коуди сцапают и отправят в тюрьму, либо он отвезет В61 обратно на место – вот и все, не бывать больше таким бурным оргазмам, не вжиматься ей больше лицом в губительную трехсоткилотонную бомбу. Чтобы взять от ситуации максимум, они занялись этим по второму разу. Коуди ее здорово завел, но потом она как-то загрустила по его поводу. Не блещет умом человек, и она уже надумала уйти от него к Кайлу.

Золотко, сказала она ему, тебя ведь посадят.

– А вот и нет, – возразил Коуди. – Не посадят за копию.

За копию?

– Для тренировок. Один к одному, только ядерной начинки нет.

Она расстроилась. Он что, решил ей показать, какая она дура? Сказал же – полностью готовая к использованию!

– Никто не возит настоящую бомбу на пикапе, сердечко мое!

Значит, копия? Ну да, вполне в его духе.

– А какая, собственно, разница? – спросил он. – У тебя-то все было по-

настоящему, только держись. Какие там петарды на Четвертое июля!

Лейла бешено строчила в блокноте.

– И как долго он продержал у себя эту копию? У нас есть фотографии от Четвертого июля.

– На следующий вечер и отвез, – сказала Филлиша. – Четвертого на заводе тихо, и тех, кто на вахте, он знал. Но сначала ему приспичило похвастать этой штукой перед друзьями на пикнике. Кайл говорит, Коуди всегда был вроде собачки, которая за тобой бегаёт и выделывает всякие штуки. В общем, лишь бы зауважали.

– Ну и как, произвел на друзей впечатление?

– На Кайла нет. Ему было понятно, чем мы с Коуди ночью занимались, Коуди только что впрямую этим не хвастал. Говорил: это не просто бомба, это секс-бомба.

– Мило. Но спрошу для полной ясности: на одной фотографии вы вроде бы...

Филлиша покраснела.

– Знаю, про какой вы снимок. Я это сделала для Кайла. Прямо в глаза ему смотрела в этот момент.

– Вряд ли Коуди был рад.

– Не скажу, что горжусь своим поведением. Но я испугалась, как бы Кайл не подумал, что у нас с Коуди опять все супер-пупер. Сделала то, что надо было сделать.

– Коуди из-за этого с вами порвал?

– Да кто это вам сказал? Пока Коуди отвозил бомбу, Кайл помог мне упаковать вещички. Тем же вечером. С тех пор я тут, в Пампе. У меня до сих пор из-за этого на душе тяжело, но все-таки о последнем, что у нас было, у Коуди останется хорошая память. Ночка с бомбой была незабываемая. Воспоминание на всю жизнь.

– А как про это стало известно на заводе, не знаете случайно?

– Ну, трудно такое проделать, и чтобы все шито-крыто. К тому же он в Фейсбуке это разместил – можете себе представить?

Попрощавшись с Филлишей и чувствуя, как распирает, точно вымя недоенной коровы, кратковременную память, Лейла выехала с парковки “Соника” и остановилась чуть дальше по улице. Красной ручкой дополнила и прояснила торопливые записи в блокноте. Это нельзя было отложить до возвращения в Амарилло: детальные воспоминания о разговорах держались у нее в голове меньше часа. Она еще не успела закончить, как мимо профырчал старый пикап, повернул на площадку “Соника” и почти сразу отправился обратно. Когда он проезжал мимо Лейлы, она разглядела

Филлишу – не на пассажирской стороне сплошного сиденья, а почти посередине; одной рукой она обвивала шею водителя.

Лейле было как раз достаточно лет, чтобы слушания по Уотергейтскому делу застали ее в том возрасте, когда она уже могла разобраться в происходящем. От матери в ее памяти не сохранилось почти ничего, кроме смеси страха и горя, больничных палат, слез отца, похорон, которые, казалось, длились не один день. Только уотергейтским летом, летом Сэма Эрвина, Джона Дина и Боба Холдемана^[38], она стала сполна запоминающей личностью. Лейла для того стала смотреть слушания, чтобы поменьше общаться со старухой Мари, родственницей отца. Отец, имевший обширную стоматологическую практику и, кроме того, занимавшийся научными исследованиями, выписал Мари с родины, чтобы вела дом и заботилась о Лейле. Мари пугала Лейлиных подруг, за едой облизывала нож, клацала плохими зубными протезами, но менять их отказывалась, без конца жаловалась на кондиционеры и была чужда идеи, что ребенку надо позволять выигрывать в настольные игры. Каждое лето с ней тянулось долго, и Лейла навсегда запомнила то волнение, с каким вдруг осознала, что понимает все, что говорят по телевизору взрослые люди в Вашингтоне; что она способна следить за нитью заговора. Несколько лет спустя, когда отец повел ее на фильм “Вся президентская рать”, она попросила его оставить ее в кинотеатре и пробралась без билета на следующий сеанс.

Без билета – это отец одобрил. Он жил по правилам Старого Света: грань между тем, что хорошо, и тем, что плохо, была у него размыта, важно было не попасться. Он воровал из отелей полотенца, поставил на свой кадиллак антирадар и не устыдился, только был раздосадован, когда его уличили в уклонении от налогов. Но он не был чужд и Новому Свету. Когда Лейла под влиянием “Всей президентской рати” заявила, что хочет заниматься журналистскими расследованиями, отец ответил, что журналистика – мужская профессия и как раз поэтому ей стоит выбрать это занятие и показать, на что способна женщина из семьи Элу. Америку, сказал он, горячий нож ее интеллекта прорежет, как масло, Америка – страна, где женщина совсем не обязана, подобно Мари, быть приживалкой у родственника.

Он рассуждал как феминист, но феминистом не был. Учась в колледже, а потом работая в газете, Лейла не могла отделаться от ощущения, что доказывает что-то не себе, а ему. Когда она получила настоящую репортерскую должность в “Майами геральд”, а отца разбил

инсульт, она поняла: он хочет и ждет, чтобы она оставила работу и вернулась в Сан-Антонио. Мари к тому времени уже умерла, но у отца было два сына от первого брака, один в Хьюстоне, другой в Мемфисе. Не будь они оба мужчинами, кто-нибудь из них мог бы взять его к себе.

Чтобы заполнить вечера в Сан-Антонио подле чахнувшего отца, Лейла начала писать рассказы. Впоследствии ей сделалось стыдно, что она возомнила себя писательницей, так стыдно, что рассказы эти вспоминались с отвращением, точно некие струпья, которые она, не в силах удержаться, расчесывала, но стеснялась ободрать до крови. Она уже не могла восстановить причины, побудившие ее сочинять, видела лишь свое желание взбунтоваться против далеко идущих планов отца на ее счет и вместе с тем наказать его за то, что сам же и помешал их осуществлению. Но после его смерти от второго инсульта она решила потратить значительную часть наследства (оно заметно уменьшилось из-за уплаты недоимок по налогам и было разделено с двумя сводными братьями и с двумя практически неизвестными ей женщинами, одна из которых долго работала ассистенткой отца) на то, чтобы пройти в Денвере курс писательского мастерства.

Она была старше большинства денверских студентов, успела хлебнуть реальной жизни, и в активе у нее был опыт семейных бед и запас иммигрантских историй. Она, кроме того, считала себя более привлекательной, чем можно было бы судить по ее прежним бойфрендам. И когда в первом семестре один из преподавателей, Чарльз Бленхайм, выделил и расхвалил “экспериментальные” работы более молодой участницы семинара, в Лейле пробудился наследственный дух соперничества. В семье Элу главной формой общения были карточные и настольные игры, причем молчаливо предполагалось, что все мухлюют. Лейла усердно трудилась над собственной прозой и еще усерднее – над критикой произведений юной соперницы. Она точно установила, куда всаживать иглу, и вскоре завладела вниманием Чарльза.

Чарльз находился в высшей точке своей писательской карьеры, как раз в том году он был стипендиатом фонда Ланнана, “Таймс” на первой полосе провозгласила его наследником Джона Барта и Стэнли Элкина, – но он не знал, что это высшая точка и впереди спад. В свете его блестящих перспектив брак, продержавшийся пятнадцать лет, выглядел тусклым и не вполне ему подходящим: контракт, заключенный в пору, когда акции Бленхайма котировались слишком низко. Лейла подросла как раз вовремя, чтобы положить этому конец. Попутно она навсегда восстановила против Чарльза двух его дочерей. Она понимала, кем, должно быть, выглядит в их

глазах и в глазах его жены, и сожалела об этом – она терпеть не могла, когда к ней плохо относятся, – но особенно виноватой себя не чувствовала. Не ее ведь вина, что Чарльзу с ней лучше. Чтобы предпочесть его и своему счастью счастье его семьи, нужна была очень строгая принципиальность. Но в критический момент, заглянув в себя, чтобы разобраться, что хорошо, а что плохо, она обнаружила невнятицу, унаследованную от отца.

Какое-то время она была от Чарльза без ума. Из всех своих учениц он выбрал ее. На фоне внушительной фигуры старшего мужчины ей стала нравиться ее худоба; она чувствовала себя поразительно сексуальной. Он приезжал в университет на мотоцикле “Харли-Дэвидсон”, носил кожаный пиджак, льняные волосы отпустил до плеч и, говоря о титанах литературы, панибратски называл их по именам. Чтобы избавить его от конфликта интересов, Лейла прекратила учебу. Через неделю после того, как его развод вступил в силу, он повез ее на своем мотоцикле в Нью-Мексико, и в Таосе они поженились. Она стала ездить с ним на конференции, свою роль на которых поняла не сразу: роль молодой, свежей, капельку экзотичной спутницы жизни, предмета зависти для всех писателей мужского пола, еще не сменивших жен или сменивших их давно. Несколько публикаций в небольших журналах, где слово Чарльза имело вес, ей хватило, чтобы считаться сочинительницей прозы.

Когда все медовые месяцы Чарльза подошли к концу, он засел за *большую книгу* – за роман, который должен был обеспечить ему место в современном американском литературном каноне. Когда-то достаточно было написать “Шум и ярость” или “И восходит солнце”, но теперь требовался объем. Толщина. Возможно, не стоило Лейле так скоропалительно выходить замуж за прозаика и не стоило сразу воображать себя писательницей, надо было попробовать сначала, каково это – жить в доме, где пишется *большая книга*. Чтобы оплакать день творческого затора – три большие порции бурбона. Чтобы отпраздновать день концептуального прорыва и эйфории – четыре. Чтобы расширить сознание до необходимых размеров, Чарльзу надо было неделями ничего не делать. Хотя университет требовал от него очень немногого, кое-чего он все-таки требовал, и мельчайшие неисполненные обязанности причиняли ему великие муки. Лейла делала за него все, что могла, и многое, за что ей братья не следовало, но не могла же она, к примеру, вести за него семинары. Их трехэтажный дом в стиле “крафтсман” часами оглашался стонами Чарльза: опять идти преподавать. Стоны слышались на всех этажах и были искренними и шуточными одновременно.

Чарльза спасало, а Лейлу привязывало к нему чувство юмора. Изредка

выдавались хорошие дни, когда у него получался длинный абзац – не связанный, как все подобные ему, ни с каким другим абзацем, – над которым она хохотала до колик. Но гораздо чаще никакого абзаца не возникало. Вместо этого в тот небольшой отрезок времени, когда Лейла имела возможность сесть за детский письменный стол, прежде служивший его старшей дочери, в комнате, которая прежде была ее спальней, и поработать над чем-то своим, с ненавистью к себе сопоставляя свой репортерский стиль с “лихорадочно-мускулистым” (первая страница книжного обзора “Нью-Йорк таймс бук ревью”) стилем мужниных абзацев, которые он, впрочем, еще до их женитьбы напрочь разучился связывать между собой, она слышала, как открывается на третьем этаже дверь его уставленного книгами кабинета, и – ШАГИ. Он нарочно их замедлял, зная, что она слышит эти ШАГИ, и сам звук их делая смешным. Наконец останавливался перед ее закрытой дверью и – словно можно было вообразить, что она не слышала приближающихся ШАГОВ, – выжидал минуту или несколько минут, прежде чем постучать. И, даже открыв дверь, не входил сразу, а стоял и медленно обводил комнату взглядом, точно прикидывал, не лучше ли у него пойдет работа над *большой книгой* в детской, или заново осваивался со странным маленьким мирком Лейлы. А потом вдруг – момент он всегда выбирал комически-расчетливо – взглядывал на нее в упор: “Ты занята?” Она никогда не отвечала утвердительно. Он входил в комнату, падал на односпальную кровать с подзором и испускал мультишный стон. Он никогда не забывал извиниться за беспокойство, но в этих извинениях Лейла различала досаду: как это она, справляясь с домашним хозяйством, еще и успевает писать в своем репортерском стиле что-то связное? Иногда они обсуждали этиологию его писательского затора или препятствие, мешающее ему *сегодня*, но это лишь служило прелюдией к тому, зачем он на самом деле к ней спускался: чтобы оттрахать ее либо на кровати с подзором, либо на паркете из пихты, либо на детском письменном столе. Ей это нравилось. Очень-очень нравилось.

Мотор *большой книги* все не запускался, и через год такой жизни она почувствовала, что ей больше не хочется писать прозу. Будучи феминисткой, Лейла не могла оставаться всего лишь женой Чарльза, поэтому она устроилась на работу в газету “Денвер пост” и быстро там преуспела, занимаясь теперь журналистикой ради себя, а не ради отца. Без ее присутствия в доме страницы *большой книги* начали срастаться, но медленно и ценой потребления все большего количества бурбона. Получив премию за репортаж о махинациях на ежегодной ярмарке штата, Лейла осмелела настолько, что начала уклоняться от ужинов, которыми Чарльз

должен был угощать писателей, приезжавших в университет. Просто жуть, а не ужины: бесконечная выпивка, неизбежная очередная обида, и очередное имя добавляется к списку врагов Чарльза. Фактически из всех живущих американских писателей Чарльз не считал теперь своими врагами только собственных учеников, нынешних и бывших, да и то, если кто-нибудь из бывших добивался некоторого успеха, предательство с его стороны, обида Чарльза и занесение в черный список были всего лишь делом времени.

Вера Чарльза в свои силы уменьшалась, жалость к себе росла, и это, по идее, могло бы дать Лейле повод опасаться, как бы он не повторил с какой-нибудь молоденькой студенткой то, что проделал с ней. Но он по-прежнему вождедел к ней чуть ли не маниакально. Словно он был большим котом, а она, маленькая, худенькая, – мышкой, на которую инстинкт велит ему набрасываться. То ли это у всех романистов так, то ли это особенность Чарльза – никак он не мог оставить ее в покое. Когда они не занимались сексом, он все равно трогал ее и тыкал, лез пальцами в душу, ничего не оставлял недосказанным.

Похоже, сработала самозащита: настал момент, когда ей захотелось, чтобы он сделал ей ребенка. В “Пост” у нее были подруги с грудничками, годовалыми, шестилетними. Она брала малыша на руки, и душа таяла от невинной доверчивости, с какой он трогал ладонями ее лицо, прижимался лицом к груди, просовывал ножку между ее ног. Нет ничего милее ребенка, думалось ей теперь, нет ничего дороже, ничего желанней. Но когда она на исходе тщательно выбранного дня, за который книга продвинулась на добрую тысячу слов, сделала глубокий вдох и заговорила о ребенке, Чарльз разыграл спектакль из спектаклей. С комической медлительностью он повернул к ней голову и окинул ее Взглядом. Взгляд тоже предполагался комическим, но ее он скорее напугал. Взгляд означал: *Подумай над своими словами. Или: Да ты, наверное, шутишь. Или пострашнее: Понимаешь ли ты, что обращаешься к крупному американскому писателю?* Последнее время она так часто удостаивалась Взгляда, что стала уже задумываться, кто она и что в его глазах. Раньше она думала, что привлекла его талантом, жесткостью и зрелостью, но теперь стала опасаться, что главная причина всего лишь в ее худобе.

– Что такое? – спросила она.

Он сощурился так плотно, что все лицо пошло морщинами. Потом заморгал, открыл глаза.

– Извини, – сказал он. – О чем ты спрашивала?

– О том, не поговорить ли нам о ребенке.

– Не сейчас.

– Ладно. Но “не сейчас” означает “не сегодня” или “не в ближайшие десять лет”?

Он испустил театральный вздох.

– Что именно в моих практически отсутствующих отношениях с уже имеющимися детьми наводит тебя на мысль, что я гожусь в отцы? Или я чего-то не замечаю?

– Но перед тобой я. Не она.

– Я вижу разницу. А ты видишь, под каким я сейчас давлением?

– Этого трудно не заметить.

– Нет, но можешь ли ты себе *представить*... можешь ли *вообразить* хоть на секунду, как я дописываю книгу, когда в доме младенец?

– До младенца еще как минимум девять месяцев. А тебя некий более-менее щадящий предельный срок может и подхлестнуть.

– У меня уже был предельный срок, он прошел три года назад.

– Настоящий предельный срок. Такой, от которого никуда не деться. Послушай меня. Я хочу, чтобы мы это сделали *вместе*. Я хочу, чтобы ты закончил свою книгу и чтобы у нас, если получится, был ребенок. Это не взаимоисключающие вещи. Они могут быть по-хорошему связаны.

– *Лейла!* – гаркнул он. Сурово, но и с иронией, чтобы вышло смешно.

– Что?

– Я люблю тебя больше всего на свете. Пожалуйста, подтверди, что ты это знаешь.

– Я это знаю, – тихонько сказала она.

– Так выслушай же меня, прошу. Прошу тебя, услышь: каждая минута этого конкретного разговора означает для меня один потерянный рабочий день на ближайшей неделе. Одна минута – один день, я это чувствую. Когда тебе плохо, мне тоже плохо, ты же знаешь. Так давай остановимся прямо сейчас, пожалуйста!

Она кивнула. Потом плакала, потом занималась с ним сексом, потом снова плакала. Несколько месяцев спустя “Пост” предложила ей отправиться на пять лет корреспондентом в Вашингтон, и она согласилась. Она не до конца разлюбила Чарльза, но долго находиться с ним рядом не могла, что-то ныло в груди. Она ощущала в себе новую верность – ребенку, который даже еще не был зачат. Верность возможности.

Она сопутствовала ей в Вашингтон, эта возможность, и раз в месяц летала обратно в Денвер на редакционные собрания и для исполнения супружеских обязанностей. Лейле не хотелось думать, что в сорок с небольшим она окажется разведенкой, работающей по шестьдесят –

семьдесят часов в неделю и все еще мечтающей о ребенке, но, похоже, траектория ее жизни вышла из-под контроля: Лейла уносилась прочь, в космос, скорость схода с околоземной орбиты была почти достигнута. Она это понимала, но не хотела знать, куда ее несет. Разговаривая поздними вечерами с Чарльзом по телефону, она чувствовала, что ему одиноко: никогда еще он не проявлял такого интереса к ее журналистской работе, такой готовности помочь. Но когда летом, а потом следующим летом он к ней приезжал, ее маленькая квартирка на Капитолийском холме превращалась в затхлую клетку большущего кота, слишком унылого, чтобы вылизаться как следует. Целыми днями он сидел в трусах и ругал погоду. Впервые она почувствовала к нему физическую неприязнь. Изобретала резоны, чтобы задерживаться допоздна, но он всякий раз дожидался ее, одержимый, жаждущий наброситься. Он наконец отослал свою *большую книгу* в издательство, но редактор хотел поправок, а Чарльзу трудно было решиться даже на малейшие изменения. Он раз за разом задавал ей одни и те же вопросы по тексту, и не было никакого смысла на них отвечать – следующим вечером он задавал их снова. Оба вздыхали с облегчением, когда он уезжал в Денвер, где новая поросль студентов жадно ждала его наставлений.

С Томом Аберантом она познакомилась в феврале 2004 года. Том был уважаемым журналистом и редактором, он приехал в Вашингтон в поисках талантов для некоммерческой службы новостей и журналистских расследований, которую он организовывал, и Лейла, недавно разделившая с другими номинантами Пулитцеровскую премию (сибирская язва, 2002 год), значилась в его списке. Он пригласил ее на ланч и сообщил, что стартовый капитал составляет двадцать миллионов. Разведенный и бездетный, он обитает в настоящее время в Нью-Йорке, но свой исследовательский центр собирается разместить в Денвере, своем родном городе, потому что там накладные расходы поменьше. Заранее собрав информацию, он знал, что в Денвере у Лейлы живет муж. Так, может быть, она не прочь вернуться домой и работать в некоммерческой компании, застрахованной от надвигающегося падения доходов от печатных рекламных объявлений, где нет ни жестких ограничений по объему материала, ни жестких ежедневных сроков сдачи и где будут платить приличную зарплату?

Казалось бы, что может быть лучше? Но всего неделю назад *большая книга* Чарльза наконец вышла, и рецензенты разносили ее в пух и прах (“раздутая и совершенно неудобоваримая” – Митико Какутани^[39], “Нью-Йорк таймс”), поэтому Лейла была в тревоге. Звонила Чарльзу три-четыре раза на дню, старалась подбодрить, говорила, как ей жаль, что она не может

сейчас быть с ним. Однако ее кислая реакция на предложение Тома ясно показала ей, что на самом деле ей вовсе не жаль. Нет, она не хотела быть женой, бросающей мужа после того, как его главный труд потерпел фиаско. Но не было возможности скрыть ни от себя, ни от Тома свое нежелание покинуть Вашингтон.

– Вы твердо решили, что это будет Денвер? – спросила она.

Лицо у Тома было мясистое, рот несколько черепаший, глаза сощурены, словно по-доброму над чем-то посмеиваются. Те волосы, что еще оставались у него ближе к затылку, были коротко подстрижены и мало тронуты сединой. У мужчин в расцвете сил есть такая особенность: им можно довольно далеко отклоняться от общепринятых представлений о мужской красоте. Им можно иметь животик и даже высокий голос, если этому голосу присуща и некоторая шершавость, как у Тома.

– В общем, да, – ответил он. – У меня там сестра с племянницей. Я скучаю по Западу.

– Проект выглядит замечательно, – сказала Лейла.

– Хотите подумать? Или собираетесь сказать “нет” прямо сейчас?

– Я не говорю “нет”. Я...

Было чувство, что ее переживания перед ним как на ладони.

– Это просто ужасно, – сказала она. – Я ведь знаю, о чем вы сейчас думаете.

– И о чем же я думаю?

– О том, почему я не хочу возвращаться в Денвер.

– Не стану вам лгать, Лейла. Вы для меня были бы самым ценным сотрудником. Я рассчитывал, что Денвер добавит моему предложению привлекательности.

– Нет, с профессиональной стороны все замечательно, и вы совершенно правы насчет будущего отрасли. Сто лет мы, газетчики, имели монополию на рекламные объявления. Печатали деньги, можно сказать. А теперь эти времена прошли. Но...

– Но?

– Момент для меня неудачный.

– Домашние проблемы.

– Ага.

Том заложил руки за голову и откинулся на спинку стула, натягивая пуговичные петли классической рубашки.

– Скажите мне, знакомо ли это звучит, – проговорил он. – Вы любите человека, но жить с ним не можете, он борется с чем-то, вы решили, что разлука пойдет на пользу и ему, и вам. Потом наконец приходит пора вновь

соединиться, ведь вы расставались не навсегда, и тут вы обнаруживаете, что нет, что на самом деле вы все время лгали себе.

– Вообще-то, – сказала Лейла, – я уже довольно давно подозреваю, что лгу себе.

– Значит, женщины умнее мужчин. Или просто вы умнее, чем был я. Но давайте раскрутим наш гипотетический сценарий немного дальше...

– Мы ведь оба знаем, о ком сейчас идет речь.

– Я его поклонник, – сказал Том. – “Мой грустный папа” – замечательная книга. Ироничная. Роскошная.

– Жутко смешная, это правда.

– Но теперь вы в Вашингтоне. А новую его книгу бьют в хвост и в гриву.

– Да.

– Черт бы их взял, этих критиков. Я-то все равно ее куплю. Но, рассуждая гипотетически, имеется ли тут кто-нибудь другой, о ком мне полезно было бы знать? Если, к примеру, он хороший журналист и занимается расследованиями, я был бы рад взглянуть на его резюме. Не вижу причины не взять на работу сразу двоих.

Она покачала головой.

– Нет – в смысле нет такого человека? – уточнил Том. – Или он не журналист?

– Вы пытаетесь выяснить, доступна ли я в некоем ином отношении?

Он подался вперед, морща рубашку, и закрыл руками лицо.

– Поделом мне, – сказал он. – *Этого* я, поверьте, в виду не имел, но вопрос и в самом деле был с подоплекой. Есть у меня такая особенность: я специалист по чувству вины. Не следовало мне вас об этом спрашивать.

– Если бы вы видели, до каких уровней доходит мое чувство вины, вам как специалисту это показалось бы интересным.

Элемент кокетства в этой фразе сделал ее истинной. Лейлу напугал автоматизм, с которым она расположилась к первому же приятному, с чувством юмора, добившемуся в жизни успеха и неженатому мужчине, какой ей встретился после того, как на *большую книгу* обрушился поток едких определений: “не первой свежести”, “болезненно тучная”, “тягомотная”. Но, как бы она себя за это ни винила, ничего поделать с собой не могла: она злилась на Чарльза из-за его провала. И еще ее злило, что теперь из-за того всего лишь, что ей понравился Том Аберант, она будет чувствовать себя пустышкой, падкой на чужой успех. Если бы книга Чарльза получила великолепные отзывы и была номинирована на премии, Лейла могла бы, не испытывая чувства вины, продолжать двигаться по

своей космической траектории. Никто бы ее не попрекнул. Наоборот, было бы некрасиво *вернуться*: сбежала от него в Вашингтон, когда он мучился, а теперь несется обратно, чтобы разделить успех. Она ничего не могла с собой поделаться: ей хотелось, чтобы Чарльза не существовало. В том параллельном мире, где его не было, она могла принять чрезвычайно привлекательное предложение Тома.

Вместо этого она договорилась с Томом встретиться еще раз и выпить вместе. В бар явилась в коротком черном платье. Потом, уже из дома, отправила Тому длинное многозначительное письмо. В тот вечер она тянула и тянула со звоном Чарльзу. Нарастающее чувство вины из-за этой отсрочки, *вина как таковая* придала ей воли к тому, чтобы не звонить вовсе, и снабдила соответствующим мотивом (хотя человек, которого мучит чувство вины, может в любой момент положить муке конец, просто поступив правильно, мука все равно реальна, пока она длится, а жалость к себе не так уж переборчива и кормится любыми видами мук). Наутро она не открыла ответное письмо Тома, пошла на работу, днем трижды позвонила Чарльзу, вечером поужинала с очередным источником. Вернувшись домой, позвонила Чарльзу в четвертый раз и наконец открыла письмо Тома. Многозначительным оно не было, но в нем содержалось приглашение. В пятницу она села на вечерний поезд до Манхэттена (странным образом чувство вины, которое должно бы *следовать* за изменой, не только возникло до нее, но и загоняло Лейлу в измену) и провела ночь у Тома. Она провела с ним выходные целиком, отлучаясь лишь в туалет и позвонить Чарльзу. Вина была так велика, что обрела гравитационные свойства, искривила пространство и время, соединилась, благодаря неевклидовой геометрии, с той виной, которой Лейла не ощущала, когда разрушала первый брак Чарльза. Та вина, как выяснилось, лишь казалась несуществующей, просто была в результате деформации пространственно-временного континуума перенесена на Манхэттен в 2004 год.

Без помощи Тома она бы этого не выдержала. С Томом она чувствовала себя в безопасности. Он был и причиной вины, и лекарством от нее, потому что понимал, что такое вина, и сам с ней жил. Всего на шесть лет старше Лейлы – лысина его несколько старила, – но так рано женился, что развод после двенадцати лет брака был уже довольно далеко позади. Его жена Анабел, многообещающая молодая художница, занималась живописью и кино и происходила из одной из семей, владевших компанией “Маккаскилл”, крупнейшим в мире производителем продуктов питания. На бумаге она была безумно богата, но с

родственниками не общалась и принципиально отказывалась брать у них деньги. К тому времени, как Том вырвался из этого брака, стало ясно, что ее художественная карьера не состоялась, ей было уже за тридцать пять, и она все еще хотела ребенка.

– Я вел себя как трус, – сказал он Лейле. – Я должен был уйти на пять лет раньше.

– Разве это трусость – оставаться с человеком, которого любишь и который в тебе нуждается?

– Сама и ответь.

– Гм-м. Давай вернемся к этому позже.

– Будь ей тридцать один, она могла бы наладить жизнь, встретить другого человека и родить ребенка. Я слишком затянул и все для нее усложнил.

– Если она богата, это, наверное, могло бы ей пригодиться?

– Она была сдвинута на денежном вопросе. Скорее бы умерла, чем взяла что-нибудь у отца.

– Ну, так это ее выбор. Почему ты винишь себя за ее выбор?

– Потому что я знал, что она будет упорствовать в этом выборе.

– Ты ей изменял?

– Нет, пока мы не расстались.

– Тогда прости, но на конкурсе виноватых я, похоже, тебя опережаю.

Но было еще кое-что, сказал Том. Отец Анабел всегда хорошо к нему относился и предлагал финансовую помощь. Том не мог ничего у него брать, пока жил с Анабел, но когда бывший тесть умер – после их развода прошло десять лет с лишним, – он оставил Тому по завещанию двадцать миллионов долларов, и Том их взял. На эти деньги он и затеял свою некоммерческую службу новостей.

– Ты еще и из-за этого чувствуешь себя виноватым?

– Я мог отказаться.

– Но на эти деньги ты делаешь потрясающее дело.

– Я пользуюсь деньгами, которых моя жена никогда не приняла бы. Не просто пользуюсь – строю на них карьеру. Нарращиваю те профессиональные преимущества, что у меня есть как у мужчины.

Хотя Лейле нравилось быть с Томом, это чувство вины казалось ей несколько преувеличенным. Уж не раздувает ли он чувство вины, принижая тем самым – ради Лейлы – свою эротическую привязанность к Анабел? Приехав в Нью-Йорк на следующие выходные, она попросила разрешения покопаться в его коробке со старыми фотографиями. Молодой человек, которого она увидела, оказался таким худощавым, юным и густоволосым,

что она едва узнала Тома.

- Ты тут совершенно другой.
- Я и был совершенно другим.
- Нет, но как будто другая ДНК.
- Именно так я это ощущаю.

При виде Анабел Лейла стала лучше понимать, откуда взялось у Тома чувство вины. В этой женщине – в не улыбочивой полногрудой анорексичке с испепеляющим взором и волосами Медузы – был *внутренний заряд*, и еще какой. На заднем плане снимков – студенческое жилье, какие-то трущобы, зимний Нью-Йорк с башнями-близнецами.

- Она чуточку устрашающе выглядит, – сказала Лейла.
- Не то слово. У меня от одного вида этих фотографий включается посттравматический синдром.
- Но ты! Такой молодой, такой трогательный.
- Считаю, ты нашла краткую формулу нашего брака.
- Где же она сейчас?
- Понятия не имею. У нас не было общих друзей, и связь порвана полностью.

– Так, может быть, она все-таки взяла деньги. Может быть, живет теперь где-нибудь на собственном острове.

- Все возможно. Но вряд ли.

Лейла хотела попросить на память одну фотографию Тома, самую трогательную, которую Анабел сделала на статен-айлендском пароме, но рановато еще было обмениваться снимками. Она закрыла коробку и поцеловала Тома в черепашьи губы. Секс с ним был не таким драматичным, как с Чарльзом – тот хищно набрасывался на жертву, прыгал на ней, она кричала, – но ей уже думалось, что так, как сейчас, пожалуй, лучше. Спокойнее, медленнее, словно посредством тел общаются умы и души.

С Томом у нее было глубинное ощущение правильности происходящего – и это сильнее многого другого заставляло ее чувствовать себя виноватой, ведь это значило, что с Чарльзом было неправильно, что с ним с самого начала было неправильно. Сдержанность Тома, его нежелание навязываться были бальзамом для ее внутреннего мира, куда на всем протяжении брака то и дело лезли пальцами. И у Тома, казалось ей, возникло такое же ощущение правильности. Журналисты, они говорили на одном языке. И все же она не раз задавалась вопросом, почему он, находка для многих женщин, не женился снова. И в одну из встреч, когда с Чарльзом еще не были сожжены мосты, она спросила об этом Тома.

Он ответил, что после того, как развелся, ни с одной женщиной не провел больше года. Согласно его этическим представлениям, год – предельный срок для отношений без обязательств, по крайней мере в Нью-Йорке, а к обязательствам он после неудачного брака не был готов.

– Что же получается? – спросила она. – Что у меня осталось десять месяцев, а потом ты укажешь мне на дверь?

– Ты ведь сама состоишь в неких отношениях с обязательствами, – напомнил он ей.

– Верно. Смешно. И что же, об этом своем правиле ты объявлял на первом же свидании?

– Это общее правило нью-йоркских знакомств, принятое по умолчанию. Не я его выдумал. Смысл в том, чтобы не сжевать у женщины пять лет ее жизни, прежде чем указать ей на дверь.

– А не пробовал преодолеть свой страх перед обязательствами?

– Пробовал, и не раз. Но явно у меня классический случай посттравматического синдрома. Были самые настоящие панические атаки.

– Больше похоже на классический случай закоренелого холостяка.

– Лейла, эти женщины были намного моложе. Я знал то, чего они не знали, я знал, чем это может кончиться. С тобой, даже не будь ты сейчас замужем, все было бы по-другому.

– Ну да, все правильно. Мне сорок один, товар просрочен. Так что когда ты меня бросишь, ты не будешь чувствовать себя таким виноватым.

– Разница в том, что у тебя есть опыт брака.

Но Лейлу уже озарило.

– Нет, – сказала она. – Дело не в этом. Разница в том, что я старше, чем твоя жена была на момент развода. Ты не променял ее на особу двадцати восьми, скажем, лет. Со мной ты не повысил, а снизил свои запросы. И поэтому не чувствуешь такой вины.

Том промолчал.

– Знаешь, почему я это знаю? Потому что сама занимаюсь такими же подсчетами. Мой ум хватается за все, что может отвлечь от вины хотя бы на пять минут. В “Адирондак ревью”, на сайте, появилась рецензия на книгу Чарльза. Хвалебная. Так он взял и разослал ссылку по всем адресам, какие у него есть, я увидела его письмо уже по дороге сюда, к тебе. Кто-то должен был остановить его, сказать, что не нужно делать такую рассылку. Я, жена, должна была ему сказать: “Не стоит этого делать”. Но я была занята, говорила с тобой по телефону. Мне бы очень помогло выйти из положения какое-нибудь свое маленькое правило. Но где такое правило? Его у меня нет.

Говоря, она одевалась и клала вещи в сумку.

– Да и у меня больше нет этого правила, – сказал Том. – Я только потому о нем упомянул, что доверяю тебе, я знал, что ты меня поймешь. Но ты права: хорошо, что тебе сорок один. Не буду отрицать.

Его откровенность была, казалось, адресована призраку бывшей жены, а не Лейле.

– Пойду-ка я лучше, пока ты не довел меня до слез, – сказала она.

Из квартиры Тома ее выгнало в тот вечер некое инстинктивное ощущение, касающееся его. Будь сдержанность его природным свойством, Лейла могла бы успокоиться и принять ее как данность. Но ведь он не всегда был таким сдержанным. Он с готовностью вступил в свой заряженный брак и был в нем открыт, до того открыт, что и теперь чувствовал себя травмированным, и Анабел явно все еще имела власть над его совестью. Что-то у него с Анабел было такое, чего он не хотел больше ни с кем, и инстинкт подсказывал Лейле, что она всегда будет на втором месте, что этого состязания ей не выиграть.

Но Том звонил ей всю зиму, рассказывал, как идут дела с его службой новостей, и она не могла притворяться, будто предпочла бы поговорить с кем-то другим. В начале мая, через три с половиной месяца после их знакомства, он опять приехал в Вашингтон. Едва она, встречая его на вокзале, увидела, как он не торопясь идет по платформе в мятых брюках хаки и в старой спортивной рубашке пятидесятых годов, которую нарочно выбрал именно за уродство, рассчитывая, что она правильно поймет это как приватную шутку над хорошим вкусом, в голове у нее точно прозвонил колокольчик, однократно и чисто, и она поняла, что любит его.

Он забронировал номер в “Джордже”, предоставляя ей решать, где он будет жить, но в отеле так и не побывал. Всю неделю прожил в ее квартире, пользовался ее интернетом, читал на ее диване, задрав очки на лысину, сплетя пальцы на корешке книги, поднесенной к близоруким глазам. Ей казалось, он всегда был тут, на этом диване; словно, возвращаясь к себе и видя его на нем, она впервые по-настоящему, впервые в жизни попадала домой. Она согласилась перейти из “Пост” в его некоммерческий центр. Если бы нужно было согласиться еще на что-нибудь, она бы и это приняла. Она хотела (о чем пока не говорила) попытаться завести с ним ребенка. Она любила его и желала, чтобы он никогда ее не покидал. Оставалось лишь одно дело, которое она часто с ним обсуждала, но которого пока так и не сделала: объясниться с Чарльзом. И, может быть, поговори она с Чарльзом вовремя, она стала бы женой Тома. Но она трусила, как трусил в свое время Том, не решаясь на развод. Она тянула с этим разговором, тянула и с

уходом из “Пост”, а в конце июня, теплой колорадской ночью, на извилистой дороге в предгорье около Голдена Чарльз перелетел через руль своего *XLCR 1000*, купленного на последнюю треть британского аванса, и остался жив, но с парализованными ногами. На мотоцикл он сел пьяным.

Сам виноват, но и свою вину она отрицать не могла. Влюбившись в другого, позволила жизни мужа выйти из-под контроля. Лейла тут же перевелась в Денвер, и пока Чарльз лежал в больнице, а потом проходил реабилитацию, она не могла рассказать ему про Тома: нужно было поддерживать в нем бодрость духа. Но чем дольше она откладывала, тем сильнее пугала ее сама мысль о признании. Роль любящей жены она играла безупречно: ненадолго забегала к Чарльзу каждое утро, а вечером проводила с ним не один час, продала их трехэтажный дом и купила более удобный, подбадривала Чарльза и проносила ему виски, подружилась с врачами и медсестрами, жила изнурительной жизнью – и все это время в симпатичном доме в хорошем районе, который Том приобрел отчасти на наследство от бывшего тестя, она занималась сексом с другим мужчиной.

Несчастный случай с Чарльзом стоил ей года репродуктивности. Немыслимо было, пока он проходил терапию, ошарашить его известием, что она забеременела от другого. Немыслимо было и добавить ребенка к жизни, и без того напряженной сверх всякой меры. А потом, когда она привезла Чарльза в новый дом, неммыслимо было сразу взять и оставить его. Но она все еще думала о ребенке, и когда Том, выждав некоторое время, спросил, долго ли она еще собирается жить с Чарльзом, она невольно ответила вопросом на вопрос.

– Нет, – сказал он.

– Нет – и все? – уточнила она. – Вот так?

Он привел немало разумных доводов: они оба преданы своей работе, оба чрезвычайно заняты, с возрастом родителей увеличивается риск врожденных дефектов, при жизни ребенка, весьма вероятно, произойдут глобальные катаклизмы, связанные с климатическими изменениями и перенаселенностью Земли; но что сердило его – это что она по-прежнему живет с Чарльзом и не рассказала ему о Томе. Как можно думать об общем ребенке с женщиной, которая еще даже не рассталась с мужем?

– Как только забеременею, сразу ему все скажу, – пообещала она.

– Почему не прямо сейчас?

– Он страдает. Ты бы бросил Анабел, окажись она в инвалидной коляске? Я нужна Чарльзу.

– Но попробуй встать на мою точку зрения! Я готов, прямо сейчас. Готов завтра же на тебе жениться. А ты не назначаешь даже срок, когда

закончится твой нынешний брак.

– Я сказала тебе, как ты можешь мне в этом помочь.

– А я тебе отвечаю: что-то не так, если тебе нужна для этого такая помощь.

Она была в слабом положении: хотела ребенка, а время утекало. Если не с Томом, то уже ни с кем. Она горевала по умирающей возможности, страдала из-за его отказа, злилась на него за то, что не хотел того же, чего она. Он как будто не понимал тяжести ее положения. Она была убеждена, что доводы против ребенка, которые он высказал, – фальшивые доводы, что действительная причина – нежелание усилить свое чувство вины перед бывшей женой, которой он отказал в ребенке. И при этом ее чувство вины перед Чарльзом он не хотел принимать всерьез.

Пошли ссоры. Она горячилась, он был холоден. Вновь и вновь один и тот же тупик: пока она не уйдет от Чарльза, никакого зачатия. Том ни разу не вышел из себя, ни разу даже не повысил голоса, и то, как он это объяснял – мол, он столько ссорился с Анабел, что хватит на пять жизней, – побуждало Лейлу выходить из себя за двоих. Чарльз никогда не доводил ее до исступления, и никто не доводил, но состязание с Анабел – доводило. Собственные вопли были ей так противны, что она перестала видеться с Томом. Через неделю они помирились. Еще через неделю разошлись вновь. Она подходила ему, он подходил ей, но они не могли придумать способа быть вместе.

Почти два месяца не общались. Однажды вечером, уложив Чарльза спать, она отчистила унитаз от его кала, попавшего не туда, и заплакала, и не устояла перед искушением позвонить Тому. Взяла трубку, но что-то было не так – она не услышала гудка.

– Алло? – сказала она.

– Алло.

– Том?

– Лейла?

Два месяца не виделись и не разговаривали, и вдруг оба одновременно решили позвонить. Она не верила в знаки, но что это, если не знак? Она выпалила сразу: с Чарльзом развестись она не в состоянии, но без Тома не может жить. Он ответил: ему безразлично, разведется ли она с Чарльзом, он тоже не может без нее жить. Это ощущалось как возвращение домой.

Наутро она сказала Чарльзу, что будет жить отдельно и переходит из “Пост” в новую некоммерческую службу новостей. Она не хотела ничего объяснять, но Чарльз, по своему обыкновению, полез пальцами ей в душу и, по сути, продиктовал ей признание. Она до сих пор проводила у него

каждый второй уикенд, но остальное время жила у Тома, не как хозяйка в доме, не считая себя вправе, скажем, что-то решать в отношении интерьера, но скорее на правах постоянной особой гостьи. Оба они похоронили тот главный спор, из-за которого чуть не расстались, похоронили его глубоко. Лейла так до конца и не простила Тому нежелание завести с ней ребенка, но со временем это утратило актуальность. Оба работали на полную катушку, превращая ДИ в авторитетную на общенациональном уровне службу новостей, а еще она заботилась о Чарльзе; порой даже ловила себя на мысли, что, пожалуй, и хорошо, что она не обременена детьми.

Их жизнь с Томом была странной, нечетко определенной, постоянно временной, но именно поэтому она была жизнью, в большей степени основанной на подлинной любви: они по свободной воле выбирали эту жизнь каждый день, каждый час. Это напоминало ей различие, о котором она узнала в детстве в воскресной школе. Брак каждого из них был ветхозаветным: она чтит свое священное обязательство перед Чарльзом, Том страшился гнева и суда Анабел. В Новом же Завете значение имели только любовь и свободная воля.

Наутро после встречи с Филлишей она подъехала к дому, который купил после увольнения с военного завода Эрл Уокер. Официальная цена – триста семьдесят две тысячи долларов. При доме имелся гараж на три машины и система разбрызгивания, поработавшая спозаранку так усердно, что улица, где Лейла припарковалась, была еще мокрая. Что делают в Амарилло, когда от засухи чахнут газоны? Правильно, поливают. На дорожке перед домом лежала перетянутая резинкой газета. Лейла посидела несколько минут в ожидании. Вышла весьма дородная женщина лет пятидесяти с лишним, сурово посмотрела на Лейлу, подобрала газету и вернулась в дом.

Уокер был начальником Коуди Флайнера в контроле материальных средств. Эту информацию Лейла получила от Пип, она же выяснила, что прежний свой дом Уокер продал за двести тридцать тысяч. Обычно, потеряв работу, человек не покупает себе дом побольше, он не лучший кандидат на ипотеку, и нет никаких данных, чтобы за последние три года Уокер получал наследство, позволяющее покрыть разницу в сто сорок две тысячи долларов. Этот факт представлял почти такой же интерес, как фотографии в Фейсбуке. Еще один факт, выявленный Пип в январском отчете генерального инспектора: прошлым летом на заводе “имели место незначительные нарушения в контроле материальных средств”, которые были, согласно отчету, “удовлетворительно исправлены” и больше “не

составляли проблемы”. Фотографии из Фейсбука Пип по совету Лейлы показала автомеханику, и тот сказал, что если на пикапе Флайнера не усиливали подвеску, то вряд ли предмет в кузове может весить, как полноценная В61, девятьсот фунтов. “Она не настоящая, киса” – вот и весь комментарий, какой Лейле и Пип удалось получить непосредственно от Флайнера. Единственный звонок Лейлы Флайнеру быстро завершился угрозами и бранью.

Уокер тоже сказал ей “нет”, но просто “нет”, а просто “нет” означало “может быть”. И вот она сидела в машине, прихлебывая зеленый чай и отвечая на письма по другим сюжетам, пока наконец не вышел из дома и не направился прямо к ней по пропитанному водой газону сам Уокер. Тощий, как Джек Спрат^[40], в тренировочном костюме с лилово-белой эмблемой Техасского христианского университета. “Рогатые лягушки”. Лейла опустила стекло.

– Кто вы такая? – спросил Уокер. Лицо любителя виски, примерно как у ее мужа.

– Я Лейла Элу. Из “Денвер индипендент”.

– Так я и думал, и я уже вам сказал, что нам не о чем разговаривать.

От неумеренного употребления виски румянец, вызванный расширением капилляров, розовый и более разлитой, чем от джина, и не такой лиловый, как от вина. Каждый университетский ужин – отличный повод для изучения оттенков румянца.

– У меня всего пара вопросов, простых и коротких, – сказала Лейла. – От этого у вас никаких неприятностей не будет.

– Для меня уже неприятность, что вы появились. Не хочу вас видеть на моей улице.

– Так, может быть, посидим где-нибудь за чашкой кофе? Меня любое время сегодня устроит.

– Думаете, я мечтаю рассиживать с вами на публике? По-хорошему вас прошу – пожалуйста, уезжайте. Я все равно не могу с вами разговаривать, даже если бы захотел.

Не на моей улице. Не на публике. Нельзя разговаривать.

– Красивый у вас дом, – промолвила она. – Смотрю и восхищаюсь.

Она мило улыбнулась ему и поправила волосы на виске – лишь для того, чтобы он увидел ее пальцы, коснувшиеся волос.

– Послушайте, – сказал он. – Вы вроде приятная дама, грубить вам мне не хочется. Нет тут никакой истории. Вы думаете, есть, но на самом деле нет. За пустышкой гоняетесь.

– В чем тогда проблема? – спросила она. – Давайте быстренько все

проясним. Я вам скажу, почему мне кажется, что тут есть что-то, вы мне объясните, почему ничего нет, и к вечеру я уже вернусь к себе в Денвер, лягу в свою постельку.

– А давайте-ка лучше все-таки заводите мотор и поезжайте с этой улицы.

– Или ничего не объясняйте, если не хотите. Просто кивните раз-другой или покачайте головой. Закон же этого не запрещает, правда?

Она снова улыбнулась и показала, как покачать головой. Уокер вздохнул, словно в нерешительности.

– Вот, видите, я завожу мотор, – сказала она, включая стартер. – Сейчас уеду с вашей улицы.

– Спасибо.

– Но, может быть, вы куда-нибудь собирались? Могу вас подвезти.

– Не надо меня подвозить.

Она выключила двигатель, и Уокер вздохнул еще глубже.

– Извините, – сказала она. – Все-таки я как ответственный журналист обязана выслушать вашу версию событий.

– Не было никаких событий.

– Ну, так это – уже версия. Потому что другие люди утверждают, что события *были*. И некоторые говорят даже, что вам заплатили за молчание. И я тоже думаю: за что же вам заплатили, если ничего не было? Понимаете, о чем я?

Уокер наклонился к окошку. Его лицо походило на пятнистую карту густонаселенной местности.

– С кем вы говорили?

– Я не выдаю источники. Это первое, что вам следует обо мне знать. Разговаривая со мной, вы ничем не рискуете.

– Думаете, вы такая умная.

– Да нет, на самом деле. Эта история не по моим женским мозгам. Помогите же мне разобраться.

– Умная дама из большого города.

– Просто назовите время и место. Где мы можем встретиться. Укромное место.

Укромное – это был ее любимый эпитет, когда она имела дело с источниками мужского пола. Правильные коннотации. Укромность – нечто противоположное жене у Уокера в доме. Которая как раз в этот момент распахнула дверь и крикнула:

– Эрл, кто это?

Лейла прикусила губу.

– Репортерша, – прокричал ей Уокер. – Спрашивает, как выехать из города.

– Сказал ей, что тебе не о чем с ней говорить?

– Ты слышала, что я тебе ответил?

Дверь захлопнулась, и Уокер, не глядя на Лейлу, проговорил:

– За складом “Сентергэс” на Клиффсайде. Приезжайте к трем. Если к четверем не появлюсь, отправляйтесь себе в Денвер в свою постельку.

Отъезжая от дома, опьяненная добытым согласием – главный для нее кайф в профессии журналиста, – Лейла уговаривала себя не разгоняться. Кто бы мог подумать, что из десятка пущенных в ход приемов на Уокера подействует упоминание про *постельку*?

Вернувшись в гостиницу, она нажала на телефоне букву П.

– Пип Тайлер, – откликнулась Пип из Денвера.

– Привет-привет. Только что условилась о встрече с Эрлом Уокером.

– Ого!

– И с Филлишей Бабкок уже поговорила.

– *Прекрасно.*

– Смешнее вы ничего в жизни не слышали: бомба понадобилась Флайнеру как подспорье для секса.

– Она вам прямо так и сказала?

– Это была бы лишняя информация, если бы в нашем деле существовало такое понятие. И еще она подтвердила, что это была копия.

– О...

– Все равно отличная история, Пип. Если сотрудник может вывезти копию, то может и настоящую бомбу. Сюжет у нас все-таки есть.

– Наверное, это к лучшему: мир оказался не таким опасным, как я думала.

Сообщая Пип подробности, Лейла радовалась как человек – хотя как начальнице ей радоваться, возможно, и не следовало бы – тому, что Пип, похоже, не спешит вернуться к сбору материала для статьи другого журналиста о лицензировании коронеров.

– Пожалуй, пора мне отпустить вас к вашим протоколам вскрытия, – сказала она наконец. – Как они?

– Нудятина.

– Что ж, приходится заниматься и этим.

– Я не жалуясь, просто сообщаю.

Лейла подавила прилив чувств. Потом поддалась ему.

– Я тут скучаю без вас.

– О! Спасибо.

Лейла ждала, надеясь на большее.

– И я без вас скучаю, – сказала Пип.

– Зря я не взяла вас с собой.

– Ничего. Ведь я никуда не денусь.

После звонка Лейла остро почувствовала, что слишком уж привязалась к девушке. Вытягивать из подчиненной признание, что она по тебе скучает, – уже чересчур, а Лейла хотела большего. Она была слишком откровенна, осталась неудовлетворенной и чувствовала себя немножко душой. В нежности, которую она питала к детям, всегда была физическая составляющая, она располагалась в ее теле поблизости от тех органов, что стремились к близости и сексу. Но всякий раз этой нежности сопутствовало понимание, что тепло, которым она, Лейла, прониклась к ребенку у нее на руках, – тепло бескорыстное, что она никогда не предаст малыша, не воспользуется его невинностью. Вот почему ребенка не заменит ничто: родительская любовь, мучительная и сладкая в своей ненасытности, присуща человеку неотъемлемо.

И как странно, что полное имя Пип – Пьюрити. Безгрешность. (В резюме она назвалась Пип Тайлер, но Лейла просмотрела и приложение к ее диплому.) Имя показалось Лейле уместным, хотя она не вполне понимала почему. Разумеется, физически невинной Пип не была: в Денвере она жила с бойфрендом, о котором решительно отказывалась говорить – сообщила лишь, что он музыкант и зовут его Стивен. В Окленде обитала в убогих условиях вместе с немытыми анархистами, и фотографии с устроенного Коуди Флайнером пикника были добыты противозаконно, хакерами. Лейла задумывалась: может быть, невинность, которую она чувствует в Пип, это ее собственная невинность в двадцать четыре года? Тогда она понятия не имела, как мало искушена, но теперь она ясно видела это в Пип.

Ей хотелось стать для нее хорошим феминистическим образцом для подражания, дать Пип наставление, какого ей самой в том возрасте никто не дал.

– Парадокс интернета, – заметила она как-то за ланчем с Пип, – в том, что он, казалось бы, очень упростил работу журналиста. За пять минут можно выяснить больше, чем в прежние времена за пять дней. Но при этом интернет убивает журналистику. Нет замены журналисту, который оттрубил в профессии двадцать лет, оброс источниками, умеет различать, где есть сюжет, а где им не пахнет. *Google* и *Accurint* помогают нам почувствовать себя крутыми, но лучшие сюжеты можно найти только “в поле”. Источник обронит фразу – и вдруг понимаешь, где собака зарыта. Вот тогда-то я чувствую себя по-настоящему живой. За компьютером я

только полчеловека.

Пип слушала внимательно, но уклончиво. Похоже, она, как многие нынешние выпускники колледжей, предпочитала воздерживаться от слишком определенных суждений, чтобы не показаться, с одной стороны, несовременной, с другой – непочтительной. Вдруг Лейле пришло на ум, что Пип едва ли невинное дитя, что на самом деле она искушеннее самой Лейлы – ведь она и ее ровесники отлично понимают, сколь безнадежно загубленный мир они наследуют, – и что если кто тут наивен, то сама Лейла. И все-таки она надеялась, что сквозь сдержанность Пип еще можно будет прорваться, что это всего лишь стиль, свойственный ее поколению.

Пип либо совсем не брала в рот спиртного, либо пила слишком много. Лейла время от времени водила ее в рестораны, чтобы подкормить, но пила при этом одна. Однако на прошлой неделе, в четверг, Пип вдруг заказала за ужином бокал вина и в две минуты его осушила. Затем точно так же расправилась со вторым бокалом и спросила, не будет ли Лейла против, если она закажет бутылку; смешно, но предложила за нее заплатить. Часом позже бутылка была пуста, к еде Пип едва притронулась, и глаза у нее были на мокром месте. Лейла потянулась к ней через стол, коснулась рукой раскрасневшейся щеки.

– Милая моя, – сказала она.

Пип выскочила из-за стола и скрылась в туалете. Вернувшись, спросила, нельзя ли будет поехать к Лейле домой, только один раз, только сегодня, и заночевать у нее на диване или где угодно.

– Милая моя, – повторила Лейла. – Что случилось? Не хотите со мной поделиться?

– Ничего не случилось, – ответила Пип. – Просто мне тут очень одиноко. Я скучаю по маме.

О ее маме Лейла предпочитала не думать.

– Если хотите у меня переночевать, поедем, – сказала она, – но вам нужно кое-что знать о моей ситуации.

Пип торопливо кивнула.

– Или вы уже о ней слышали?

– Кое-что.

– При обычном раскладе я бы провела эту ночь у Тома – полагаю, это входит в то, что вы слышали. Но это не лучший вариант, мне кажется.

– Понятно. Зря я спросила.

– Нет! Очень хорошо, что вы спросили. Есть другое место, где я как бы на правах гостя. Если вы не против пробраться тайком...

– Я даже не знаю...

– Я бы не стала предлагать, если бы что-то было не так.

Дом Чарльза находился в трех кварталах от университетского здания, где шли занятия по литературному творчеству. Он мог бы ездить на работу в инвалидном кресле, мог бы и выйти на пенсию, но предпочитал проводить семинары и консультации на дому. Дом был его логовом, которое он старался покидать как можно реже; лучше, говорил он, быть полновластным правителем на двух тысячах квадратных футов, чем жалким инвалидом-колясочником во внешнем мире. Он неплохо контролировал функции кишечника, у него были крепкие плечи и хороший пресс, и с креслом он управлялся очень ловко. Пил по-прежнему слишком много, но все же поменьше, потому что намеревался прожить долго. Паралич он в какой-то мере отождествлял с враждебным ему литературным миром, который, полагал он, теперь еще сильнее желает его скорейшего ухода со сцены; такого удовольствия он доставлять никому не собирался.

Лейла по-прежнему проводила у Чарльза каждый второй уикенд, но спала отдельно. У нее имелась своя небольшая комната в начале коридора, ведущего к спальне “большого кота”. Она предпочла бы провести Пип в дом тайком, но когда они остановились на подъездной дорожке, было всего десять и в гостиной горел свет.

– Ну что же, – сказала она. – Кажется, вам предстоит познакомиться с моим мужем. Вы к этому готовы?

– Любопытно, честно говоря.

– Настоящая журналистка.

Лейла постучала во входную дверь, отперла ее и сунула голову внутрь предупредить Чарльза, что она не одна. Войдя, они с Пип увидели его лежащим на диване со стопкой студенческих работ на груди и красным карандашом в руке. Он сохранил впечатляющую внешность и длинные волосы, которые собирал в почти уже белый хвост. Под рукой стояла бутылка виски, закупоренная. Книжные полки от пола до потолка, стопки книг на полу.

– Это Пип Тайлер, наш практикант-исследователь, – сказала Лейла.

– Пи-ип! – пророкотал Чарльз, оглядывая девушку с головы до ног с откровенно мужским любопытством. – Имя мне нравится. Возлагаю на вас большие надежды^[41]. Ай, вы, наверное, уже много раз это слышали.

– Не в такой изящной форме, – сказала Пип.

– Пип нужно где-то переночевать, – вмешалась Лейла. – Надеюсь, ты не против?

– Разве ты не моя жена? Разве это не наш общий дом?

Чарльз не сказать чтобы очень мило рассмеялся.

– Ну, как бы то ни было... – промолвила Лейла, подвигаясь в сторону коридора.

– Вы *читательница*, Пип? Читаете *книги*? Вид столько книг в одной комнате вас не *пугает*?

– Я люблю книги, – ответила Пип.

– Хорошо. Очень хорошо. И вы, конечно, поклонница *Джонатана Савуар-Фэра*?^[42]

– Вы имеете в виду его книгу в защиту животных?

– Вот именно. Но он еще и романист, говорят.

– Про животных я читала.

– Столько *Джонатанов*. Просто чума эти Джонатаны в литературе. Когда читаешь “*Нью-Йорк таймс бук ревью*”, может показаться, что это самое распространенное мужское имя в Америке. Синоним таланта, величия. Синоним честолюбия, энергии. – Он выгнул бровь, глядя на Пип. – А как насчет Зэди Смит?^[43] Круто пишет, верно?

– Чарльз, – сказала Лейла.

– Посидите со мной. Выпейте глоточек.

– Выпивка – как раз то, в чем мы сейчас не нуждаемся. А тебе нужно читать работы учеников.

– Перед *долгим и мирным* ночным сном. – Он взял с груди страницу. – “Мы втягивали в себя дорожки, длиннющие и толстенные, как соломинки для молочных коктейлей”. Сумеет ли мы обнаружить изъян в этом сравнении, а, Пип? Можете мне сказать, что в нем безупречно?

Пип, похоже, получила удовольствие от спектакля, который Чарльз затеял в ее честь.

– Существует ли различие между соломинками для молочных коктейлей и всеми прочими?

– Верно подмечено, верно. Демон ложной специфичности. И к тому же *трубчатость* соломинки для питья, тусклое сияние пластика – закрадывается сомнение, знаком ли автор по личному опыту с физическими свойствами кокаина в порошке. Или же он перепутал саму субстанцию с орудием, посредством которого субстанция потребляется назально.

– Или просто перестарался, – сказала Пип.

– Или перестарался. Да. Именно так, дословно, я и напишу на полях. Представьте себе, некоторые мои коллеги не пишут замечаний на полях. А я вот по-настоящему *забочусь* об этом своем ученике. Я уверен, что он сумеет писать лучше, если поймет, что он делает не так. Скажите-ка, а вы верите в существование *души*?

– Я не люблю думать об этом, – ответила Пип.

– Чарльз.

Он бросил на Лейлу взгляд, исполненный комически печального упрека. Неужели ему, инвалиду-колясочнику, нельзя чуточку поразвлечься?

– Душа, – сказал он Пип, – это химическое явление. На этом диване вы видите развитую форму существования *фермента*. У каждого фермента своя работа. Он проводит жизнь в ожидании той самой молекулы, с которой ему предназначено вступить во взаимодействие. Может ли фермент быть *счастлив*? Есть ли у него *душа*? На оба вопроса я отвечаю: да! Фермент, который вы перед собой видите, создан для того, чтобы находить плохую прозу и взаимодействовать с ней, делая ее лучше. Вот во что я превратился: в *фермент-исправитель плохой прозы*, плавающий в этой клетке. – Он кивнул в сторону Лейлы. – А она переживает, достаточно ли я счастлив.

Пип хотела что-то сказать, но смолчала, округлив глаза.

– Она все еще в поисках своей молекулы, – продолжил Чарльз. – А я свою нашел. Знаете ли вы свою?

– Я устрою Пип в комнате внизу, – сказала Лейла.

– Надежно, но не на сто процентов, – откликнулся он. – Мне случалось одолевать эти ступеньки, и не однажды.

Спустившись на цокольный этаж, Лейла устроила Пип в постели и села около нее под пледом с бутылкой вина, которую открыла на нервной почве и поделила с Пип, хотя и чувствовала, что не стоит. Вино, постель и близость этой девушки пробудили в ней что-то хищное, что-то пылкое и алчное, то наследственное свойство Элу, благодаря которому она некогда заполучила Чарльза, а потом Тома. Она рассказала Пип, как у нее в итоге оказалось двое мужчин: супруг, которому нужен уход, и бойфренд, которого она любит. О том, как она хотела иметь детей, Лейла упоминать не стала, потому что история ее разочарования в этом вопросе была слишком личной и слишком близкой к происходящему прямо сейчас: она сидела у кровати рядом с девушкой, годящейся ей в дочери. Но она продолжала пить и много еще наговорила. Сказала Пип, что, если бы пришлось выбирать между мужчинами, она бы, вероятно, выбрала Чарльза, ведь с ним она связана брачным обетом и к тому же, можно сказать, разрушила его жизнь, а он не держит на нее за это зла. Сказала, что он все еще нуждается в ней и все еще порой способен к сексу. Что он массу всего разузнал о Томе и любит ее подразнить, заводя о нем разговор; что, хотя она призналась ему в существовании Тома, имени его она никогда не называла и за десять с лишним лет эти двое ни разу не встретились. Что молекула, для которой она, очевидно, служит ферментом, – забота об инвалиде, который

существенно ее старше. И что, вопреки теории Чарльза, взаимодействие с этой молекулой не приносит ей счастья. Счастьем была бы безраздельная жизнь с Томом.

– Но больше этим заниматься некому, – сказала она. – Дети так и не простили ему развод, да у них и у самих все искривлено и криво. Я – все, что у него есть.

Услышав это, Пип снова заплакала. Лейла забрала у нее бокал, явно с опозданием, и взяла ее за руку.

– Не расскажете мне, что вас огорчает?

– Просто чувствую себя совсем одинокой.

– Тяжело, когда единственный близкий человек во всем городе – твой бойфренд.

На это Пип не ответила.

– Между вами все ладно?

– Думаю, скоро мне придется вернуться в Калифорнию.

– Потому что с ним не складывается?

Пип покачала головой и нехотя рассказала, в чем дело. Ее долг по учебному кредиту так велик, что на погашение уходит большая часть крошечной зарплаты практиканта; оставаться в Денвере она могла бы, только если бы не надо было платить за жилье. Долг накопился и за колледж, и за частную старшую школу в Санта-Крузе – мать все твердила ей, что о деньгах ей беспокоиться не надо. А мать, хотя с клинической точки зрения дееспособна, страдает эмоциональным расстройством и не имеет друзей. Кроме Пип, заботиться о ней некому, и это все, что Пип различала в своем будущем: опекать маму.

– Из-за этого я уже чувствую себя старухой.

– Это вы-то старуха?

– Я так виню себя за то, что уехала от нее. Что я здесь делаю, зачем? Гонюсь за какой-то несбыточной мечтой.

Как бы Лейла хотела позвать Пип к себе жить! Но хотя она жила на два дома, ни один из двух не был ее домом в полном смысле слова. Странно для образцовой феминистки.

– Прошло всего два месяца, – сказала она. – Уж конечно, вы можете отлучиться из Калифорнии и на такой срок, и на больший.

– Вы не понимаете, – сказала Пип. – Я потому и чувствую себя виноватой, что *не хочу* возвращаться. Мне так нравится работать у вас, учиться у вас! Но как подумаю, что больше не вернусь, прямо сердце разрывается: как она там будет одна в нашем домике, без меня, вся в тоске?

– Я очень хорошо вас понимаю, – возразила Лейла. – Вы в точности

описываете каждый день моей жизни.

– Но вы хотя бы живете в одном *городе*. Вам не повезло, но вы нашли правильный способ, как с этим быть. Иногда я мечтаю...

– О чем?

Пип покачала головой.

– Я и так слишком долго не даю вам спать.

– А не наоборот?

– Иногда я мечтаю, чтобы у меня была такая мама, как вы.

Маленькая комнатка на цокольном этаже закружилась, и причиной тому было не только выпитое Лейлой вино.

– Вы знаете, – бодро сказала она, похлопывая Пип по руке и поднимаясь, – я бы тоже не отказалась от дочери вроде вас, так что вот.

– Спасибо за ужин и вино.

– Была рада.

– Завтра мы обе будем жалеть.

– Нам грозит похмелье, только и всего. Но жалеть, надеюсь, не будем.

За свой фальшивый негромкий смешок Лейла, поднимаясь с цокольного этажа, наказала себя ударом по лбу тыльной стороной руки. Наверху храпел на диване Чарльз, студенческие работы валялись на полу, от виски мало что осталось. Она разбудила его поцелуем в лоб.

– Готов укладываться в постель?

– Готов *пописать*.

Чтобы перебраться в инвалидное кресло, помощь ему вообще-то не требовалась, но он любил, когда она ему помогала. В некоем очень узком, но глубоком смысле он был ей ближе, чем мог стать кто-либо другой. У них не было друг от друга секретов. За прошедшие годы Чарльз, писатель, разгадал и торжествующе сформулировал вслух практически все, что она чувствовала к Тому и по поводу Тома. По-прежнему уклоняясь от того, чтобы назвать его имя, она оберегала тем самым его личную жизнь, а не свою. Маленькая игра, в которую Чарльз охотно играл.

В той части дома, где располагалась его спальня, слегка, но неистребимо пахло средствами для ухода за кожей и кишечными газами. В ванной Лейла стояла возле унитаза с перилами и смотрела, как моча здоровой струей бьет из пениса Чарльза. То, что он отправлял свои телесные функции у нее на глазах, было во благо им обоим. Так они оба что-то делали друг для друга. Даже когда она массировала его член, доводя до эякуляции, это было не только ради него. Он был тем ребенком, какой ей достался.

– Когда я услышал твою машину, я подумал: “В четверг? Какой милый

сюрприз!”

– Спасибо, что разрешил ей переночевать.

– Потом я подумал: “Неприятности на другом домашнем фронте?”

– Тебе и правда пора было отлить.

– Сохранившаяся у меня способность контролировать мочеиспускание указывает на существование некоего божества, о котором иные свидетельства крайне скудны.

– Я немножко свихнулась на этой девице.

Он поднял бровь.

– Уж не думаешь ли ты сменить ориентацию?

– Боже мой, нет. Она как потерявшийся щенок, который ко мне прибился.

– Можешь держать ее тут в подвале, только приучи терпеть до прогулки.

– Куда Роузи положила чистую пижаму?

– Вот, прямо перед тобой.

– И правда. Прямо передо мной.

Утром, слегка маясь похмельем, она явилась к Тому в кабинет и сказала ему, что нужно взять Пип на полную ставку исследователя и платить достаточно, чтобы девушка могла на это жить. Том напомнил ей, что срок практики у Пип еще не закончился, но Лейла настаивала: “Она молодец, она стоит этих денег, и они ей нужны прямо сейчас”. Том, пожав плечами, согласился. Не давая ему времени передумать, она отправилась к Пип и сообщила ей хорошую новость.

– Это здорово, – тихо промолвила Пип.

На секунду Лейла задалась вопросом: не из эгоистических ли и даже не из болезненных ли побуждений она удерживает Пип в Денвере? Но ведь девушка сама сказала, что не хочет уезжать.

– А теперь поищем вам жилье, – бодро предложила Лейла. – Для начала поспрашиваем у сотрудников.

Пип кивнула, но как-то без энтузиазма.

Встреча с Эрлом Уокером за пропановым складом на окраине Амарило не продлилась и пятнадцати минут. Уокер сидел в своей машине, говорил через открытое окно, двигатель не выключал. Он признал, что получил при расторжении контракта четверть миллиона после того как нарекнул заводскому начальству, что всем будет хорошо, если будет хорошо ему. Он признал, кроме того, что уволили его не без причины, а причина в том, что он *один раз* на работе напился. Всего *один раз*, но

прикрыл его Коуди Флайнер, а потом Флайнер, шантажист и мелкий засранец, заставил его расплатиться за услугу: подписать пропуск, чтобы Флайнер смог вывезти с завода учебную B61 и произвести впечатление на свою девицу. Гордиться, конечно, нечем, но никаких бед, настаивал Уокер, он не наделал. Эту учебную боеголовку привезли по ошибке из Альбукерке, с авиабазы Кертленда, и на заводе к тому моменту уже побывали проверяющие от военно-воздушных сил, обследовали ее, полная машина их приезжала, но грузовик с базы, чтобы ее забрать, еще не прислали. Если бы Флайнеру хватило ума не похваляться этой штуковиной перед приятелями и не размещать фотки в интернете, обошлось бы без последствий.

– Меня ни словом не упоминайте, – сказал Уокер, включая сцепление.

– Разумеется, – заверила его Лейла. – Если что, ваша жена подтвердит, что вы отказались со мной разговаривать.

Мысленно она уже возвращалась к сюжету о связях горнодобывающих компаний с департаментом природных ресурсов штата Колорадо. Придется, конечно, еще побеседовать о копии B61 с руководством завода, но вся эта история в общем-то мелкая, это уже очевидно. Пип будет разочарована, подумала Лейла, и решила: пусть девушка сама напишет статью и пусть там стоит ее подпись.

Вернувшись в гостиницу, попыталась позвонить Пип и Тому, а потом отправила им по эсэмэске. Ответов на обе пришлось ждать не один час, а почему – об этом она, просматривая налоговые декларации и уведомления о конфликте интересов, которые раздобыла для нее Пип, не задумывалась, пока примерно в десять тридцать по Денверу ей не перезвонил Том.

– Где ты был? – спросила она.

– Ужинал, – ответил он. – Пригласил твою девушку на ужин.

Лейла мигом почувствовала неладное: словно зуб хрустнул.

– Я всегда вожу новых штатных сотрудников в ресторан, – напомнил ей Том.

– А! Ну да, понятно. И куда вы ходили?

– В “То место, где было угловое бистро”.

“То место, где было угловое бистро” – это был их с Томом любимый ресторан. Одно название стоило того, чтобы туда зайти.

– Я в ресторанах плохо разбираюсь, – сказал он. – Ни на что другое не хватило воображения.

– Странно себе представить, как ты был там без меня. – Голос Лейлы слегка дрогнул.

– Вот и я подумал. Кажется, я впервые оказался там без тебя.

Но он же и раньше приглашал новых штатных сотрудников ужинать, и всякий раз ему хватало воображения выбрать другой ресторан, не тот, куда он ходил с Лейлой. И хотя они никогда не ссорились – так давно перестали, что Лейла думала, с этим покончено навсегда, – сейчас она, почувствовав сжатие в груди, вспомнила, как это начинается.

– Может быть, я ошибаюсь, – сказала она, – но мне показалось, что тебе как-то не по себе с Пип.

– Не ошибаешься. Ты никогда не ошибаешься.

– Она напоминает тебе Анабел.

– Анабел? Ничего общего.

– Тот же самый тип. Если я это вижу, ты, разумеется, тоже видишь.

– Совершенно другой человек. И ты была права – я рад, что мы взяли ее в штат.

– Всегда слушайся Лейлу.

– Мой жизненный принцип. Но я тут кое-что с ней обсудил. Скажи мне, что ты по этому поводу думаешь. Я сказал ей, что мы и с тобой это обсудим.

– Хочешь перевести ее со сбора информации на репортажи?

– А, нет. Об этом тоже стоит поговорить, но не сейчас. Я спросил ее, не хочет ли она пожить какое-то время у нас. Я так понимаю, ее денежные дела совсем плохи.

Ссора похожа на рвоту. Чем больше лет проходило с последнего раза, тем сильнее пугала мысль о повторении. Даже когда Лейла в конце концов все-таки заболела и ее затошнило, даже когда умом она понимала, что рвота принесет облегчение, она изо всех сил сдерживалась до последней минуты. А ссоры еще хуже: они даже облегчения не приносили. Вернее было бы сравнить их со смертью: оттягивай, только оттягивай.

– У тебя, – сказала она, пытаясь выровнять голос. – Чтобы Пип пожила в *твоем* доме.

– В нашем. Разве ты не говорила мне, что хотела бы ее пригласить?

– Я сказала, что хотела бы иметь такое место, куда могла бы ее позвать. Я не считаю твой дом местом, которое я вправе предлагать.

– Я считаю его *нашим* домом.

– Я знаю, что ты так на него смотришь. А ты знаешь, что я смотрю иначе. Но это долгий разговор, у меня нет сейчас желания его начинать.

– Я ей ничего не обещал.

– Ты ставишь меня в неловкое положение. В положение человека, который этому воспрепятствовал, и она будет знать, что это я.

– Я могу ей сказать, что сам передумал, так что ты ни в каком таком

положении не окажешься. Но объясни мне, пожалуйста, почему ты против? Мне казалось, ты хотела, чтобы она пожила с тобой.

– До сегодняшнего вечера ты даже в одной *комнате* с ней избегал находиться. Что-то уж очень быстрый у тебя поворот на сто восемьдесят градусов.

– Лейла. Полно. Не я, а ты от нее без ума. Я ее от тебя не уведу. И она бы не сумела увести *меня*, даже если бы сделала это целью всей жизни. Она *дитя*.

Лейла не могла разобраться, кого она больше ревнует, Тома или Пип. Но вместе эти две ревности вынудили ее сдаться.

– Ладно, я не против, – сказала она. – Делай, как считаешь нужным.

– Это все, что ты можешь мне сказать?

– А каких слов ты от меня ждал? Что у меня с головой не в порядке? Что я *без ума* от девушки, с которой всего два месяца знакома? Что я *ревную*? Нет, я не собираюсь ссориться из-за этого. Просто ты застал меня врасплох.

– Мы с ней говорили о тебе.

– Как мило.

– Она хочет стать похожей на тебя.

– Вот у кого с головой не в порядке.

– Да, еще одно обстоятельство. Вернее, как раз его отсутствие. Ей стоило бы самой тебе признаться, но она так перед тобой благоговеет, что не посмела. Нет у нее никакого парня.

– Что?

– Она снимает квартиру в Лейквуде с двумя соседками. Про парня она все выдумала. Или, если уж совсем быть точным, парень по имени Стивен существует. Но он живет в Калифорнии, и он женат.

– Она рассказала тебе все это?

– Я тоже умею вытягивать из людей информацию.

Лейле полагалось бы чувствовать себя обманутой, но сильнее оказалась жалость к Пип. Счастливые люди не лгут.

– Зачем она соврала?

– Не хотела, чтобы стало ясно, как ей важно зацепиться за Денвер. Не хотела, чтобы ты знала, как она одинока. Не хотела выглядеть в твоих глазах жалкой. Насколько я понял, уехать из Калифорнии ее заставила именно ситуация с этим женатым человеком. Отчасти и поэтому мне захотелось позвать ее к нам. Девочка очень талантливая, но в аховом положении.

– И как мужчину она тебя не привлекает.

– Ты взяла до того ложный след, что нет слов.

Опасность ссоры сходила на нет. Чтобы сменить тему, Лейла рассказала о встрече с Эрлом Уокером и поделилась идеей позволить Пип написать об этой истории, поскольку она оказалась малозначительной.

– Почему Уокер согласился встретиться с тобой? – спросил Том.

Как только он задал вопрос, она и сама увидела.

– А! – промолвила она. – У тебя нюх.

– Я всего лишь спросил, почему он согласился встретиться.

– Да, но в том-то все и дело. Я заиклилась на Пип, на мысли, что она будет разочарована. А ведь это вопрос.

– Рад был помочь.

– Там был один момент. Уокер сказал, из Альбукерке прислали полную машину проверяющих. А я как-то не придавала этому значения.

– Была заиклена на Пип.

– Ну была, была. Ладно.

– Мы вместе, не забывай. Я тебе не враг.

– Говорю же: ладно.

– Встретиться с ним еще раз.

Закончив разговор, Лейла обнаружила сообщение от Пип: Мне нужно кое в чем признаться. Хорошая девочка, подумала она. Понимает.

А вот сама она напортичила. Разговор с Уокером провела из рук вон плохо. Да, он спешил, да, хотел поскорее удрать, но это не извиняет того, что она не задала ему очевидный вопрос: *почему вообще с авиабазы Кертленда прислали в Амарилло копию боеголовки?* Уокер для того и явился на встречу, чтобы услышать от нее этот вопрос. Завод не выплатил бы ему четверть миллиона долларов лишь ради того, чтобы замять безобидную проделку. Не пропала ли в Альбукерке настоящая боеголовка? Не подменили ли ее учебной копией?

Больше всего ее смущала причина, по которой она не подумала задать этот вопрос. Она возомнила, будто Уокер согласился на встречу благодаря ее умению подать себя, ее женским чарам. Приняла его упоминание о постельке в Денвере за чистую монету, а ведь это был сарказм. Ей пятьдесят два года. Прядь, которую она столь кокетливо теребила, уже седеет.

Фу-у!

Амбиен обычно сразу ее вырубал, но в те ночи, когда этого не происходило, Лейла была беспомощна: наслушавшись историй про сомнамбулизм, она не решалась принять вторую таблетку. Сейчас, в Амарилло, она ворочалась в неприятно сухой из-за здешней погоды

постели, которая почему-то пахла куревом сильнее, чем в прошлую ночь, и обдумывала тот факт, что Пип ей солгала. Что она влюбилась в чужого мужа; сотворила или пыталась сотворить с чьим-то браком то же, что в свое время сама Лейла. Что она, Лейла, теперь женщина в возрасте, более сухая из двух, с более дряблой кожей, но когда-то ведь она была, как Пип сейчас, подвижным дестабилизирующим фактором, этакой шальной боеголовкой...

До чего же это, оказывается, ужасающе легко – переработать природный уран в полые шарики плутония, набить эти шарики тритием, окружить взрывчаткой и дейтерием, и все это настолько миниатюрно, что заряд, способный спалить миллион человек, может поместиться в кузове пикапа Коуди Флайнера. Очень легко. Несравнимо легче, чем выиграть войну с наркодельцами, или искоренить бедность, или придумать, как лечить рак, или решить палестинскую проблему. У Тома была теория, почему люди до сих не получили известий от внеземных цивилизаций: потому что любая цивилизация без исключений взрывает себя примерно в тот момент, когда дорастает до умения посылать межпланетные сигналы, взрывает, просуществовав самое большее несколько космических десятилетий в галактике, чей возраст исчисляется миллиардами лет; потому что цивилизации вспыхивают и гаснут так быстро, что, будь даже в галактике великое множество планет, похожих на Землю, надежды на то, чтобы одна цивилизация получила послание от другой, практически нет, ибо расщепить этот гребанный атом так легко. Лейле эта теория не нравилась, но лучшей у нее не было; любой сценарий “судного дня” вызывал у нее одно чувство: *пожалуйста, пусть я погибну первой*; и все же она заставила себя прочесть о Хиросиме и Нагасаки, о том, что чувствует человек, когда кожа на нем сгорела полностью, а он все еще бредет живой по улице. Не только ради Пип она хотела, чтобы сюжет об Амарилло прогремел по-настоящему. Страх человечества перед ядерным оружием, как ни странно, не похож на ее боязнь ссор и рвоты: чем дольше мир удерживается от того, чтобы выпустить из себя грибообразное облако, тем *меньше* люди боятся. Изю всей Второй мировой лучше помнят уничтожение евреев, даже бомбардировку Дрездена или блокаду Ленинграда, чем те два августовских утра в Японии. О климатических изменениях больше пишут за день, чем о ядерных арсеналах за год. А уж насколько больше, чем о ядерных арсеналах, пишут о рекордах Национальной футбольной лиги, которые установил, играя за “Денвер бронко”, Пейтон Мэннинг, – и говорить нечего. Лейла жила в страхе, и ей казалось, что она одна такая.

Или нет, не одна. Пип тоже боялась. Похоже, мать, давшая ей имя

Безгрешность, не позаботилась объяснить ей толком, что к чему в этом мире, и поэтому Пип смотрела на все свежими глазами, без предвзятости. Она видела планету, где на данный момент семнадцать тысяч ядерных боеголовок – достаточно, скорее всего, чтобы уничтожить на ней всех позвоночных, – и думала: *ничего хорошего*.

Было время, когда постоянный гость в доме стеснил бы и Лейлу, и Тома; когда они опускали жалюзи, задергивали шторы и ходили по дому голые, получая удовольствие от возможности вверить другому вид своего уже не столь юного тела; когда дверь холодильника, как и пол гостиной, была для нее подходящей поверхностью, чтобы позволить ему притиснуть себя к ней. То время давно прошло, но вслух они этого так до сих пор и не признали – много всего невысказанного таилось за блеском очков Тома, – и сейчас Лейла невольно почувствовала себя задетой тем, что, пригласив в дом девушку, он признал это односторонне.

Цепная реакция ядерного синтеза естественна, это источник солнечной энергии, а вот цепная реакция деления – дело другое. Делящийся атом плутония – этакий единорог, диковинка нашего мира, и нигде во вселенной критическая масса этих атомов не собирается естественным путем. Люди добиваются этого искусственно, а потом с помощью взрывчатки приводят вещество в сверхплотное состояние, в котором цепная реакция проходит достаточно стадий, чтобы началась реакция синтеза. И как стремительно это происходит! Кольшущиеся атомные капельки плутония заглатывают налетающие нейтроны, делятся под их воздействием на меньшие капельки, те испускают новые нейтроны. Люди без кожи бредут, спотыкаясь, по улице, кишки наружу, глазные яблоки висят на ниточках...

Им с Томом надо было завести ребенка. Да, в каком-то смысле это огромное облегчение – не иметь детей, не порождать новой жизни на планете, которой суждено либо мгновенно вспыхнуть, либо медленно испечься до смерти; да, хорошо, что не приходится об этом волноваться. И все же следовало это сделать. Лейла любила Тома, безмерно им восхищалась, была благодарна судьбе за то, как легко с ним живет, но без ребенка это была жизнь недоговоренностей. Это были вечера, когда, прижавшись друг к другу, они вместе смотрели кино по кабелю, это были обширные территории согласия, где можно было спокойно обитать, избегая лишь нескольких небольших горячих зон былых несогласий и неспешно продвигаясь к старости. Ее внезапное влечение к Пип было иррациональным, но не бессмысленным; не сексуальным, но заряженным; компенсаторным. Впустить новую частицу в ядро, которым были они с Томом, – она не знала, к чему это приведет, но воображению рисовалось

грибовидное облако.

Через три с половиной недели после переезда к ним Пип Лейла отправилась в Вашингтон. Параллельно с сюжетом о боеголовке она готовила основанный на статистике материал о подозрительно нестрогом применении налогового законодательства в сфере технологий. Все вашингтонские отели в доступной ей ценовой категории наводили уныние, но делать было нечего. Хотелось поскорее вернуться в Денвер, но ее любимый сенатор, самый либеральный из членов комитета по вооруженным силам, обещал ей пятнадцать минут в пятницу во второй половине дня, перед тем как он, подобно всем своим коллегам по Конгрессу, устремится прочь из города. Об этой беседе, чтобы не наследить звонком или электронным письмом, она договорилась с главным помощником сенатора при личной встрече. С тех пор как Агентство национальной безопасности начало раскидывать свои электронные сети, она все больше и больше руководствовалась в Вашингтоне теми же правилами, что разведчик на чужой территории. Члены Конгресса – наиболее привлекательный источник, поскольку их не проверяют на детекторе лжи.

Используя свои знакомства в Пентагоне, иные из которых возникли еще во времена работы в “Пост”, она по кусочкам составила то представление о случившемся в Альбукерке, какое могла составить, не владея секретной информацией. Да, десять боеголовок B61 отвезли в Амарило на плановую модернизацию. Да, одна из десяти оказалась пустышкой, копией из числа тех, что хранятся на базе недалеко от настоящих и используются для тренировок аварийной команды. Да, со штрихкодами и электронными идентификаторами кто-то поработал. Да, одиннадцать дней настоящее боевое оружие было вне поля зрения – предположительно находилось в некоем слабо охраняемом подсобном помещении. Да, полетели головы. Да, теперь боеголовка “возвращена на место”, и встроенная в нее система безопасности все это время была абсолютно надежна. Нет, военно-воздушные силы не станут сообщать подробностей кражи и не станут давать никакой информации о нарушителе или нарушителях.

– Абсолютно надежных систем безопасности не существует, – сказал ей Эд Кастро, ядерщик из Джорджтауна. – Безопасна в том смысле, что не взорвется, если жахнуть по ней молотком, – это да, конечно. Безопасна в том смысле, что не удастся обойти кодовые механизмы, – вероятно. Мы также подозреваем, что бомбы нового поколения портят свой заряд, если в

них начать ковыряться. Но с боеголовками среднего поколения вроде этих B61 проблема в том, что по сути они ужасающе просты. Все по-настоящему тонкие технологии – это ранние этапы, до сборки. Получение и очищение изотопов плутония и водорода – невероятно сложные и дорогие процедуры. Расчет геометрии взрывных линз – непросто. Но собрать целое из составных частей и сделать ба-бах? Увы, не так трудно. Если есть время и парочка специалистов, понять схему подрыва, имея в руках готовое изделие, очень даже можно. Результат будет не столь изящен и миниатюрен, мощность, возможно, будет снижена, но тем не менее – действующее термоядерное оружие.

– Кому оно могло бы понадобиться? – задала Лейла полуриторический вопрос.

Кастро был мастером емких формулировок – таких любят репортеры.

– Все тот же круг подозреваемых, – ответил он. – Исламские террористы. Государства-изгои. Злодеи, как из фильмов о Джеймсе Бонде. Потенциальные шантажисты. Теоретически – борцы с ядерным оружием, пытающиеся доказать свою правоту. Это конечные пользователи, и все они, к счастью, мало что могут сами. Более интересный вопрос – кто может стать поставщиком. Кто умеет раздобыть и переправить то, что никоим образом не должно попасть в чужие руки? Кто потихоньку *коллекционирует* такие вещи в расчете, что они когда-нибудь пригодятся?

– Приходит на ум русская мафия.

– Пока Путин не пришел к власти, я просыпался по утрам с мыслью: надо же, я еще живой.

– Но потом русская мафия стала неотличима от российских властей.

– И клептократия определенно повысила уровень ядерной безопасности.

Журналистика – это некая псевдожизнь, псевдокомпетентность, псевдоопытность, псевдодружелюбие: овладеть темой и тут же забыть, завязать отношения и тут же порвать. Но, как и многое “псевдо”, как и многие имитационные удовольствия, она очень сильно затягивает. Прохаживаясь в пятницу во второй половине дня перед Дирксенбилдингом^[44], Лейла видела других журналистов с Капитолийского холма, окруженных облачками самомнения, различимыми благодаря тому, что она сама пребывала в таком облачке и близость собратьев по профессии ее напрягала. Вынули ли они, как она, батарейки из своих смартфонов, чтобы электронная сеть их не засекала? Что-то она сомневалась.

Сенатор опоздал всего на двадцать пять минут. Его главный помощник, явно предпочитая не светиться, при их с Лейлой разговоре в

кабинете не присутствовал.

– Вы здорово достали ВВС, – сказал сенатор, когда они остались наедине. – Поработали на славу.

– Спасибо.

– Наша с вами встреча, разумеется, должна остаться в тени. Я назову вам других лиц, которые в курсе, и вам придется оставить электронный след контакта с каждым из них. Я хочу, чтобы эта история была рассказана, но это не стоит того, чтобы терять членство в комитете.

– Все настолько серьезно?

– Не настолько. Я бы сказал – происшествие средней серьезности. Но мания секретности вышла из берегов. Вам известно, что органы безопасности уже не довольствуются нумерацией страниц и водяными знаками на всех секретных материалах, какие мы получаем? Они что-то делают с пробелами между буквами – кажется, это называется кернинг.

– Да, кернинг.

– Каждая копия таким образом становится уникальной. “Мы верим в Технологию”. Пусть это напишут на новой стодолларовой купюре.

С годами Лейла пришла к убеждению, что политики – в прямом смысле люди из другого материала, что они химически отличаются от всех остальных. Этот сенатор был человеком обрюзглым, почти лысым, со шрамами от прыщей – и вместе с тем абсолютно магнетическим. Его поры источали некие феромоны, благодаря которым Лейле хотелось смотреть на него, слышать его голос, нравиться ему. И она чувствовала: она ему нравится. Все, кому он сам хотел понравиться, чувствовали то же.

– Выглядеть должно так, что сведения вы могли получить от кого угодно из этих людей, – сказал он, когда она записала имена. – Мы слишком верим в технологию, вот в чем беда. Полагаемся на системы безопасности для боеголовок, а о человеческой стороне дела думать не хотим, потому что технические проблемы проще, а человеческие трудны. С этим сейчас столкнулась вся страна.

– Проще оставить нас, журналистов, без работы, чем найти нам замену.

– Это меня приводит в бешенство. Нет нужды вам объяснять, в каком моральном состоянии находятся люди, обслуживающие бомбардировщики и пусковые установки. Мы не настолько пока еще верим в технологию, чтобы заменить их машинами. В будущем, возможно, до этого дойдет, но сейчас такая должность – карьерное самоубийство. Туда идут худшие, самые тупые – идут охранять наше самое грозное оружие и сходить с ума от скуки. Идут те, кто жульничал на экзаменах, кто нарушает правила, кто

попадает на анализах мочи. Или не попадает.

– В Альбукерке?

– Не метамфетамин, нет. Это все-таки кадровые офицеры. Даже не записывайте, просто запомните имя: Ричард Кенилли. *Доставала* – по крайней мере один такой, думаю, имеется на каждой базе. Надеюсь, вы не будете против, если я кратко суммирую многостраничный секретный доклад, защищенный кернингом, вместо того чтобы дать вам его прочесть?

– Конечно, нет, вам же на самолет.

– Почти все наркотики рецептурные. Аддерол, оксиконтин. Помогают коротать время, пока твои сокурсники по академии выполняют реальные летные задания или угощаются в “Локхид-Мартине”^[45] креветочным пюре из рациона астронавтов. Что я думаю насчет нашего национального законодательства о наркотиках, вы знаете. Замечу лишь, что наркотики, о которых идет речь, – так сказать, офицерские, не солдатские. Но так или иначе, при всех несправедливостях законодательства, в вооруженных силах это абсолютно недопустимо. При проверке они тоже выявляются. И это, если ты *доставала*, здорово мешает твоему бизнесу. Как быть?

Лейла покачала головой.

– Нужно, чтобы добрые друзья, которые снабжают тебя наркотиками, тихо завладели лабораторией, где проверяют мочу.

– Вот как! – сказала Лейла.

– Жаль, что я не могу показать вам доклад, – продолжил сенатор. – Потому что дальше – больше. Друзья-то кто? Ненавижу слово *картель*, оно только с толку сбивает. Правильнее будет – *особая почта: DHL-эспесьяль* или там *FedEx-нелегаль*^[46]. Допустим, вы производите фальсифицированные лекарства от рака где-нибудь в Ухане, и надо переправить контейнер американскому заказчику. К кому вы обращаетесь? К *DHL-эспесьяль*. То же самое с оружием, с подделками под дизайнерскую одежду, с несовершеннолетними проститутками и, разумеется, с наркотиками всех сортов. Одно решение на все случаи жизни. Спрос со стороны американского среднего класса на нелегальные наркотики побудил капитал создать компании, входящие в число самых изощренных и эффективных на свете. Их бизнес – доставка, их офисы – за нашей южной границей, не так уж далеко. И наш *доставала*, этот Ричард Кенилли, чье имя вы запомнили, но не будете записывать, вел с ними дела не один год прямо под носом у многочисленных проверяющих, и выплыла эта история только потому, что учебная копия *B61* оказалась не там, где должна быть.

– Покидала ли базу настоящая боеголовка?

– К счастью, нет. Очень печальная история и пугающая, но по-своему комичная. Имелся или нет у *DHL-эспесьяль* покупатель на боеголовку – этого мы никогда не узнаем. Прежде чем Ричард Кенилли успел хоть что-то предпринять для вывоза “копии”, то бишь настоящей боеголовки, с базы, он споткнулся на парковке и упал на бутылку текилы, которую нес. Стекло разбилось, осколок повредил артерию, он чуть не истек кровью, неделю провалялся в больнице. Это забавная часть истории, а вот менее забавная: Кенилли, получается, не смог поставить боеголовку в срок и не имел возможности дать знать *DHL-эспесьяль* о причинах задержки. Обе его сестры исчезли – одна в Ноксвилле, другая в Миссисипи. Исчезли как раз примерно в то время, когда произошла подмена боеголовок. Очевидно, их захватили в качестве обеспечения. Обеих нашли мертвыми позади автосалона в Ноксвилле – по единственной пуле в затылок. У одной осталось трое детей. Хорошо, хоть дети не пострадали.

Лейла едва успевала записывать.

– Господи, – пробормотала она.

– Да, ужас. Для меня эта история – отнюдь не только о нашем ядерном арсенале. Она и о нашем полном поражении в войне с наркотиками, и о том, что бывает, когда верят в технологию и забывают о людях.

– Понимаю, – сказала Лейла, записывая.

– Независимо от вас с вашими вопросами история все равно выходит наружу. Офицеров, которым Кенилли поставлял наркотики, понижали, снимали с должностей, переводили, и “Вашингтон пост” обратила на это внимание. О наркотиках они знают. Когда кто-нибудь сольет им остальное – вопрос времени.

– А вы с “Пост” говорили?

Сенатор покачал головой.

– Я у них все еще в опале из-за кое-чего другого.

– Почему Кенилли так поступил?

– Отчасти, видимо, ради денег, отчасти из боязни за свою жизнь.

– Он арестован?

– Спросите об этом кого-нибудь другого.

– Звучит как отрицательный ответ.

– Делайте выводы сами. И повторяю: ничего из этого вы не размещаете на вашем сайте, пока не получите подтверждения из другого источника.

– Мы, как правило, не публикуем того, что знаем только из одного источника. Мы старомодны в этом отношении.

– Нам это известно. В том числе и поэтому мы с вами тут сидим.

Вернее, сидели. – Сенатор встал. – Мне и правда пора на самолет.

– Как Кенилли собирался вывезти боеголовку с базы?

– Достаточно, Лейла. У вас уже есть больше чем нужно, чтобы выяснить остальное.

Он не ошибался. Один из лучших сюжетов за всю ее карьеру был, можно сказать, в кармане. Дальше – рутина: интервью со всеми по списку, сопоставление, блеф (“мне нужно лишь подтверждение имеющихся у меня фактов”). И терпеть тошнотворную тревогу, как бы ее не опередила “Пост” или другое издание, менее щепетильное, готовое довольствоваться одним источником.

Выходя из Дирксен-билдинга, она задумалась было, не отказаться ли от возвращения на выходные в Денвер; но подтверждение рассказанной сенатором истории требовало личных встреч, а в такой мягкой и солнечный весенний уикенд никто из тех, с кем надо повидаться, в Вашингтоне сидеть не будет. Лучше провести эти два дня в Денвере, все записать, наметить последовательность интервью и вечером в воскресенье прилететь обратно.

Или так она обосновывала свое желание вернуться. Нехороший, нелестный для Лейлы факт заключался в том, что она не хотела оставлять Тома на выходные наедине с Пип. Она и без того чувствовала себя заваленной обязанностями и досадными проблемами: слишком много сюжетов на ней, и с помощником Чарльза неизвестно что, и обычный наплыв электронных писем и сообщений в соцсетях (бывшая миссис Флайнер писала ей ежедневно, посылала рецепты и фотографии детей), а теперь еще выясняется, что с историей о боеголовке надо работать срочно. Сюжет ответственный, она – его мать-одиночка. Даже вернувшись в Денвер, ни с Томом, ни с Пип она почти не сможет общаться. Они-то располагают двумя свободными днями без жестких планов – сибариты по сравнению с ней. Она понимала, как важно подавлять ревность, досаду и жалость к себе; понимала, но справлялась плохо.

В метро рука у нее так дрожала, что она с трудом приводила в порядок свои торопливые записи, с трудом настучала эсэмэс Тому и Пип. К тому времени, как она села на денверский рейс, тревога, что ее обойдут, сделалась всепоглощающей. Кресла стояли тесно, сидевший рядом бизнесмен мог видеть, что она пишет, а переключиться на налоги в сфере технологий не получалось, мысли так и скакали, поэтому она купила маленькую бутылочку вина и бессмысленно смотрела на самолетик, ползущий по маршруту на экранчике, вделанном в спинку переднего кресла. Потом в ход как средство от тревоги пошла вторая бутылочка.

Разумных возражений против Пип в их доме у нее не было. Девушка

пока не оставляла ни невымытую тарелку или ложку в раковине, ни свет в пустой комнате. Она даже предложила Тому и Лейле стирать в машине их вещи. О том, чтобы она занималась их бельем, оба и слышать не хотели, но она объяснила: никогда еще она не жила в доме, где есть работающая стиральная машина с сушкой (“немыслимая роскошь”); так что они позволили ей стирать простыни и полотенца. Избалованность, из-за которой многие ее сверстники выглядят смешно, Пип совершенно не была свойственна, однако она не извинялась перед Томом и Лейлой за причиненные неудобства и не изливалась в благодарностях. В будни – во всяком случае в те вечера, когда Лейла была дома, – девушка готовила себе ужин отдельно, потом уходила в свою комнату и больше не показывалась. Но в пятницу вечером она непринужденно сажалась в кухне на табуретку, предоставляла Тому смешать ей свой фирменный “манхэттен”, рубила для Лейлы чеснок и забавляла их историями из жизни сквоттеров в Окленде.

Казалось бы, все хорошо. Но у Лейлы имелись причины подозревать, что в те вечера, когда она задерживается на работе допоздна или ездит к Чарльзу, Пип не сидит безвылазно у себя в комнате. Дважды за последний месяц Лейла узнавала важные новости – что грант для “Денвер индипендент” на семь с половиной миллионов от фонда Пью неофициально уже одобрен и что дело, связанное с Первой поправкой^[47], где ДИ выступает соответчиком, попало к недружественному судье, – не прямо от Тома, а от Тома через посредство Пип. Лейле самой в свое время кое-что досталось от опыта старшего мужчины, и она знала, как приятно, когда тебя о чем-то информируют специально, и понимала вместе с тем, что девушка никакой особой привилегии тут не видит и не догадывается, что кому-то это может быть не по душе. Лейле думалось порой, что ее теперешнее чувство вины перед первой женой Чарльза – может быть, вовсе не чувство вины на самом деле, а злость: злость на более молодую Лейлу, которая вошла в литературный мир, потому что приглянулась Чарльзу, злость немолодой феминистки на свое прежнее я. Глядя, как Пип впитывает мудрость Тома и наслаждается тем удовольствием, которое доставляет ему общение с молодой девушкой, Лейла чувствовала отголоски этой злости.

И это не было одним лишь теоретизированием. Дважды за этот месяц Том набрасывался на Лейлу, как некогда Чарльз. Один раз она стояла в ванной перед зеркалом, снимала макияж, а он подошел сзади, член уже высовывался из пижамных штанов; а потом, всего несколько вечеров спустя, едва она выключила свет на прикроватной тумбочке, как почувствовала его ладонь на своей ключице – любимое его место – и на

шее, место еще более любимое. Так Том вел себя только в начале их отношений. У них давно уже все было по-другому, и лишь минимум паранойи требовался для того, чтобы связать внезапную перемену в поведении Тома с радиоактивным воздействием ночующей немного дальше по коридору двадцатичетырехлетней женщины, пышногрудой, гладкокожей, регулярно менструирующей. Живи Лейла с Пип вдвоем, она, может быть, и рада была бы видеть, как девушка свободно себя здесь чувствует, как она выходит из душа без лифчика под рубашкой, как зарывается босыми ногами в подушки дивана, работая полулежа на планшете, предоставленном ДИ, и наполняя гостиную ароматом шампуня от влажных волос. Но при Томе повсеместное присутствие Пип заставляло Лейлу чувствовать себя всего лишь старой.

Пип не делала ничего плохого, просто была собой, но Лейла ощущала, как накапливается досада, ощущала, как сильно она завидует общению девушки с Томом наедине, завидует, что она, а не Лейла наслаждается его обществом. Она верила, что оба, и Том, и Пип, слишком хорошо к ней относятся, чтобы предать, но это не имело значения. Лишь чуть больше минимума паранойи было нужно, чтобы вообразить, что внешнее сходство Пип с бывшей женой пробудило в Томе нечто спавшее, излечило его от посттравматического неприятия женщин этого типа, сделало этот тип для него вновь привлекательным; что это и есть его тип на самом деле, а предпочтение другого, Лейлиного, было лишь затянувшейся реакцией на ужасы первого брака; что Пип – идеальное воплощение юной Анабел, тот самый, нужный ему тип, но без осложнений. Когда Том спросил Лейлу, не возражает ли она, если он, когда она будет в Вашингтоне, сводит Пип на спектакль “Однажды вечером в Майами”, Лейла почувствовала себя заложницей обстоятельств. Могла ли она возражать против их похода в театр, если сама столько времени проводит у Чарльза? И даже до сих пор иногда ему дрожит! У нее нет возможности развязаться с обиженным на жизнь инвалидом-колясочником, свободное время она может выкроить себе лишь за счет сна – а у Пип, которая ни с кем, кроме них, тут тесно не связана, и у Тома, который всегда уходит с работы ровно в семь, свободного времени масса, и как их упрекнешь, если они захотели провести его вместе?

Иррациональность ее досады была бы более явной, не испытывая она постоянного чувства, что не занимает во внутренней жизни Тома первого места. Замужем за Чарльзом она оставалась не только из чувства вины. Она так и не отделалась вполне от подозрения, что, при всей любви Тома к ней самой, для него имеет значение, что он впервые встретил ее уже не

молоденькой; что Анабел не имела бы повода осудить его за эту связь. Точно так же, как не имела бы повода осудить его за то, что создал на деньги ее отца великолепную новостную службу. Эти моральные соображения все еще имели для него силу, а потому преданность Лейлы Чарльзу сохраняла для нее стратегическое значение: она значила, что у нее, как у Тома, есть и кто-то другой. Но теперь она сожалела об этом.

Девушка ее ревности вроде бы и не замечала. Допивая вечером перед отъездом Лейлы в Вашингтон второй “манхэттен”, Пип дошла до того, что заявила: Том и Лейла вселяют в нее надежду на человечество.

– Более того, – подхватил Том, – думаю, я могу сказать и за себя, и за Лейлу: мы оба хотели бы дать надежду человечеству.

– Да, тем, как вы работаете, конечно, – сказала Пип. – И тем, как вы живете. Но все другие пары, какие я видела, – там ничего хорошего. Либо ложь, непонимание друг друга, злобность – либо они такие удушающе... не знаю... милые-милые.

– Лейла бывает удушающе милой.

– Понимаю, вы надо мной посмеиваетесь. Но ведь правда, те совсем-совсем близкие пары, какие я наблюдала, там ни для кого больше нет места. Все сводится к тому, какая они чудесная пара. От них несвежими носками какими-то пахнет или разогретыми блинчиками. Я хочу сказать: я очень рада видеть, что бывает и по-другому.

– Послушаешь такое – и возгордишься.

– Не дразни ее за то, что она говорит людям приятное, – сердито промолвила Лейла.

– Ничего страшного, – сказала Пип.

Они сидели на кухне, и Лейла, учитывая вегетарианские предпочтения Пип, готовила на ужин фриттату из цуккини. И она, и Том замечали, что Пип, когда что-то обжаривается на плите, обычно уходит наверх и закрывает за собой дверь.

– Похоже, вы очень чувствительны к запахам, – заметил Том сейчас. – Блинчики, носки...

– Запах – ад, – сказала Пип и подняла бокал с коктейлем, словно произнесла тост.

– Именно так воспринимала запахи моя бывшая жена, – сказал Том.

– Но он бывает и раем, – добавила Пип. – Я убедилась... – Она осеклась.

– В чем? – спросила Лейла.

Пип покачала головой.

– Я просто вспомнила о маме.

– Она тоже так чувствительна к запахам? – спросил Том.

– Она сверхчувствительна ко всему на свете. И склонна к депрессии, так что для нее запах всегда ад.

– Вы по ней скучаете, – сказала Лейла.

Пип кивнула.

– Может быть, позвать ее сюда в гости?

– Она никуда не поедет. Машину она не водит, на самолет не садилась ни разу в жизни.

– Боится летать?

– Скорее, она из тех жителей гор, что никогда не покидают своих гор. Когда я кончала колледж, мама обещала приехать на вручение дипломов, но я-то чувствовала, как она нервничает, ведь это поездка на автобусе или просить кого-то подвезти, так что наконец я ей сказала, что можно не приезжать. Ей было страшно неловко, но я чувствовала, какое это для нее невероятное облегчение. А до Беркли и двух часов езды нет.

– Ха, – промолвил Том. – Как бы я был рад, если бы моя мама не приехала ко мне на вручение диплома! Она сама потом сказала, что это был самый скверный день в ее жизни.

– Что произошло? – спросила Пип.

– Ей пришлось познакомиться с моей будущей женой. Сцена вышла ужасная.

Он принялся рассказывать, а Лейла едва могла слушать – не потому, что слышала все это раньше, а как раз потому, что *не слышала*. За десять с лишним лет он не удосужился рассказать ей, как прошел у него день выпуска, и теперь она узнаёт об этом лишь потому, что он надумал поделиться историей с Пип. Что еще интересного, подумала Лейла, он рассказал Пип в ее, Лейлы, отсутствие?

– Знаешь, вино у меня не пошло, – подала она голос от плиты. – Сделаешь мне “манхэттен”?

– Давайте я сделаю! – вызвалась Пип.

После знакомства с Пип Лейла стала пить больше. В тот вечер за ужином само собой так вышло, что она пустилась разглагольствовать о ложных ожиданиях, которые связывают с интернетом и соцсетями как заменой журналистике, об идее, будто уже не нужны корреспонденты в Вашингтоне, если можно читать твиты конгрессменов, будто уже можно обойтись без фотокорреспондентов, раз теперь у каждого имеется камера в телефоне, будто уже нет нужды платить профессионалам, лучше прибегнуть к краудсорсингу, будто уже не нужны журналистские расследования, когда по земле ходят гиганты вроде Ассанжа, Вольфа и

Сноудена...

Она чувствовала, что этот монолог адресован Пип, что своей горячностью она пытается воздействовать на прохладную уклончивость девушки, но была здесь и некая подспудная обида на Тома. Он говорил ей, давным-давно уже, что познакомился с Андреасом Вольфом в Берлине, еще в то время, когда был женат. О самом Вольфе сказал только, что, при всем магнетизме его личности, это человек с внутренними проблемами и со своими секретами. Но сказал так, словно этот Вольф очень много для него значит, – такое у Лейлы сложилось впечатление. Он, как Анабел, принадлежал к темной сердцевине внутренней жизни Тома, к его прошлому до знакомства с Лейлой, с которым она соперничала. Она ценила, что Том не лезет ей в душу, и, соответственно, не лезла ему в душу сама. Но не могла не заметить, как он оберегает свои воспоминания о Вольфе, и испытывала к этому человеку ревность, похожую на ее ревность к Анабел.

Один раз это уже вышло на поверхность – год назад, когда Лейла удостоилась интервью в “Коламбия джорнализм ревью”. Когда поинтересовались ее отношением к утечкам, она довольно резко прошла по “Солнечному свету”. Том, прочитав интервью, расстроился. Зачем настраивать против себя искренне верующих в интернет, которым больше нечем заняться, кроме как превратно истолковывать критические доводы тех, кого они называют “луддитами”?^[48] Разве “Денвер индепендент” не так же сильно связан с интернетом, как “Солнечный свет”? Зачем навлекать на себя дешевые нападки? Лейла подумала, но не ответила: *Ты мне ничего не рассказываешь – вот зачем.*

Продолжая в тот вечер свою подогретую “манхэттеном” тираду, она перешла к засилью мужчин в Кремниевой долине, к тому, как она, эта долина, эксплуатирует не только женщин-внештатниц, но и женщин вообще, соблазняя их новыми технологиями, облегчающими треп и пересуды, давая им иллюзию значимости и продвижения вперед и сохраняя при этом контроль над средствами производства: фальшивое освобождение, фальшивый феминизм, насквозь фальшивый Андреас Вольф... Пип перестала есть и с несчастным видом опустила взгляд в тарелку. Наконец Том, тоже изрядно набравшийся, перебил ее.

– Лейла, – сказал он, – ты, кажется, думаешь, что мы с тобой не согласны.

– А вы согласны? Пип – согласна? – Она повернулась к Пип. – У вас есть мнение на этот счет?

Глаза Пип расширились, но взгляд так и не оторвался от тарелки.

– Я понимаю, почему вы так говорите, – сказала она. – Но мне кажется, работа есть и для журналистов, и для организаторов утечек.

– Вот именно, – подтвердил Том.

– Ты думаешь, Вольф с тобой не соперничает? – спросила его Лейла. – Тебе не кажется, что соперничает и *побеждает*? – Она опять повернулась к Пип. – У Тома с Вольфом есть история отношений.

– В самом деле? – спросила Пип.

– Мы познакомились в Берлине, – сказал Том. – После падения Стены. Но это не имеет отношения к тому, что мы обсуждаем.

– Совсем-совсем не имеет? – усомнилась Лейла. – Ассанжа ты терпеть не можешь, но Вольфу почему-то все спускаешь. Все ему всё спускают, носят его на руках, прославляют как героя, спасителя, великого феминиста. Но я не верю этому ни на грош. Особенно феминизму его не верю.

– Никому из организаторов утечек за последние десять лет не удалось нарыть больше, чем ему. Значимые и очень разные сюжеты. Ты потому злишься, что он преуспел не меньше, чем мы.

– Выложить селфи стоматолога, который тычет своей штуковиной в лицо усыпленной пациентке? Пожалуй, можно назвать этот поступок феминистским. Но тебе не кажется, что можно подыскать ему название и *поточнее*?

– Он делает и многое другое. Утечки из “Блэкуотер” и “Халлибертон”^[49] сыграли важную роль.

– Но всегда одна и та же фигня. Проливает свой очищающий свет на мир коррупции. Поучает всех остальных мужчин, что не надо быть сексистами. Впечатление, будто он хочет, чтобы в мире были только женщины и он сам, единственный мужчина, который их понимает. Знаю я таких. От них меня в дрожь бросает.

– Что произошло в Берлине? – спросила Пип.

– Том об этом не говорит.

– Это правда, – сказал Том. – Не говорю. Хочешь, чтобы я сейчас рассказал?

Лейла видела: присутствие Пип – единственная причина, по которой он это предложил.

– Благодаря вам, – сказала она девушке с жалким деланным смешком, – я многое начинаю узнавать о Томе, чего раньше не знала.

Пип, девушка неглупая, почуяла опасность.

– Мне совершенно необязательно знать про Берлин. – Она потянулась к своему бокалу и умудрилась его опрокинуть. – Черт! Прошу прощения!

Том первым вскочил и ринулся за бумажными полотенцами. Чарльз,

даже до несчастного случая, предоставил бы Лейле вытирать вино; он почти не включал в свой учебный курс книг, написанных женщинами, тогда как Том чаще нанимал на работу женщин, чем мужчин. Том был странный, гибридный феминист: безупречный по поведению, но враждебный на концептуальном уровне. “Как борьбу за равноправие я феминизм понимаю, – сказал он ей однажды. – Чего я не понимаю – это теоретическая база. Женщины – в точности такие же, как мужчины, или другие и лучше?” И он рассмеялся таким смехом, каким всегда смеялся над тем, что считал глупым, а Лейла молчала и злилась, потому что была гибридом противоположного сорта: феминисткой на концептуальном уровне, но из тех женщин, для кого важнее всего отношения с мужчинами, для кого близость с ними всю жизнь оказывалась источником карьерных благ. Смех Тома ее уязвил, и с тех пор они оба аккуратно избегали разговоров о феминизме.

Очередная незатрагиваемая тема в их жизни, которая, несмотря на обилие подобных тем, доставляла Лейле удовольствие, пока не появилась эта девушка. Пип, судя по всему, было у них очень хорошо, о возвращении в Калифорнию она заговаривать перестала; избавиться от нее будет не так-то просто. Но Лейла, к своей печали, уже хотела избавиться.

Когда самолет приземлился в Денвере, она проверила рабочую почту, потом прочла эсэмэски. Одна была от Чарльза: Сесар существует?

Сойдя с трапа, она тут же позвонила ему.

– Что, Сесар еще не пришел?

– Пока нет, – ответил Чарльз. – Мне-то разницы мало, но я знаю, как ты любишь откусывать этим людям головы. И кусать их крохотные пяточки.

– Черт бы их взял. Неужели трудно организовать, чтобы сотрудники приходили, когда им положено?

– Р-р-р-р!

Сесар, новый помощник, должен был прийти к шести, помыть Чарльза, провести сеанс физиотерапии и накормить горячим ужином. Было уже полдевятого. Трудность, создаваемая Чарльзом, заключалась в том, что визиты помощников ему не нравились, но не настолько, чтобы он запрещал Лейле их нанимать и контролировать. В итоге она получала много хлопот и мало благодарности.

Идя через здание аэропорта, она позвонила Тому домой, и аппарат тут же переключил ее на голосовую почту. Потом позвонила в агентство.

– “Люди для людей”, Эмма, я вас слушаю. – На слух Эмме было лет двенадцать.

– С вами говорит Лейла Элу, и я хочу знать, почему Сесар до сих пор не у Чарльза Бленхайма.

– Здравствуйте, миссис Бленхайм, – бодро ответила Эмма. – Сесар должен был прийти к шести.

– Мне это известно. Но он не явился к шести. И до сих пор не явился.

– Хорошо, нет проблем. Постараюсь выяснить, где он сейчас.

– Нет проблем? Есть проблема! И не первый раз.

– Я сейчас узнаю, где он. Тут нет проблем, уверяю вас.

– Пожалуйста, перестаньте твердить “нет проблем”, когда проблема есть!

– Сегодня у нас маловато людей. Секундочку... О, вижу теперь, в чем дело. Сесар замещает другого помощника, он заболел. Но скоро уже Сесар доберется до мистера Бленхайма.

Агентство не в состоянии предусмотреть нехватку персонала? Считает, это нормально – задержать помощника на три часа и не известить о задержке? Срывать помощников с запланированных визитов и отправлять к другим клиентам? И те, кто отвечает на звонки, даже не обучены извиняться?

Лейла сумела удержаться и не задать ни одного из этих вопросов. На полпути из аэропорта раздался звонок Эммы.

– Вы знаете, к сожалению, похоже, Сесар сегодня не сумеет освободиться. Но мы можем прислать другую сотрудницу. Она не в состоянии поднимать пациента, но поможет мистери Бленхайму во всем остальном и составит ему компанию.

– Мистери Бленхайму не требуется компания. Ему нужно, чтобы его подняли и помыли.

– Хорошо, нет проблем. Я позвоню еще раз Сесару.

– Оставим это на сегодня. Пришлите завтра к девяти утра мужчину, и чтобы я больше никогда не слышала от вас имя Сесар. Будьте так любезны. Это для вас не проблема?

Чарльз прекрасно мог поесть сам и сам лечь в постель, и Лейла чувствовала, что это она назло себе предоставляет Тому и Пип еще два часа наедине. Так или иначе, поехала к Чарльзу. Застала его в кресле в коридоре, идущем от кухни, где он почему-то остановился. Пахло говяжьей тушенкой из банки.

– Господи, ну и вид у тебя, – сказала она. – Почему сидишь в коридоре?

– На меня напала некая одержимость этим несуществующим Сесаром. Помнишь замечательное место у Пруста, где Марсель говорит о попытке

вообразить лицо девушки, увиденной лишь со спины? Неувиденное лицо всегда прекрасно. А реальный Сесар окажется для меня, конечно же, разочарованием.

– Видимо, ты ехал куда-то и остановился. Куда тебя отвезти?

– Приятно было получше ознакомиться с коридором.

– Что тебе сейчас нужно?

– Хорошая ванна, однако ее я сегодня не получу. А раз так, не мешало бы выпить. Эта карта у меня еще в руке.

Он покатился в гостиную, и она принесла ему бутылку и стакан.

– Беги теперь к своему парню и своей девчужке, – сказал он.

– Сначала скажи, что еще для тебя сделать.

– Ты могла бы и вовсе не приходить. Даже любопытно, почему ты пришла. На другом домашнем фронте все в порядке?

– В полном.

– Но складка у тебя на лбу внушает подозрение.

– Я просто очень устала.

– Я с твоим сердечным другом не знаком – не имел удовольствия. Но про девчужку могу сказать: ей требуется папочка. Даже инвалиду-колясочнику кое-что удалось за те несколько минут, что ты нам предоставила. Мне всю жизнь неплохо удается помогать женщинам, испытывающим такие проблемы, преодолеть застенчивость в этом вопросе.

– Гм. Благодарствую.

– Я не тебя имел в виду. – Он нахмурился. – Разве у нас так с тобой было? Папа и дочка?

– Нет. Но проблемы такого рода, вероятно, у меня имелись.

– В гораздо меньшей степени, чем у этой девчужки. Я бы тебе советовал глаз с нее не спускать.

– Тебе никогда не приходило в голову хоть о чем-нибудь промолчать?

– Я писатель, душа моя. Выразить свои мысли – вот за что мне художественно платят и вот за что меня ругают рецензенты.

– Как ты сам от этого не устаешь.

Когда она подъехала, наконец, к дому Тома, свет в нем горел только в кухонном окне. Она любила этот дом, ей было в нем уютно, но то, что он такой милый и удобный, само по себе служило вечным напоминанием о деньгах отца Анабел, которыми он отчасти был оплачен. Возможно, именно поэтому она за все время даже картины здесь не повесила по своему выбору и не один год уговаривала Тома брать с нее за проживание. Поскольку он наотрез отказывался, она стала вместо этого, успокаивая свою феминистскую совесть, оплачивать помощников Чарльза и делать

большие пожертвования в “Список Эмили”, в *NARAL*, в Национальную организацию женщин и в фонд поддержки Барбары Боксер^[50].

Перед задней дверью, прежде чем войти, она помассировала лоб между бровями, благодарная Чарльзу, а не обиженная на него за упоминание о складке. Она осталась в этом браке, подумалось ей, не столько из чувства вины или ради стратегического равновесия, сколько потому, что просто не могла расстаться с человеком, который по-прежнему ее любит.

Кухня была пуста. Кипела на маленьком огне вода для спагетти, на разделочном столе стоял несмешанный салат.

– Приве-ет! – пропела она, дурашливо растягивая приветствие, как было у них с Томом заведено сообщать о своем возвращении домой.

– Привет, – коротко откликнулся Том из гостиной.

Она вкатила чемодан в прихожую. В полумраке гостиной не сразу разглядела распростертого на диване Тома.

– А где Пип? – спросила она.

– Пип сегодня тусуется с практикантами. А я, дожидаясь тебя, выпил лишнего, и пришлось прилечь.

– Прости, что задержалась. Можем прямо сейчас и поужинать.

– Необязательно сразу. В холодильнике найдешь, что тебе выпить.

– Не буду делать вид, что не хочу.

Она отнесла чемодан наверх, переделась в джинсы и свитер. Из-за того, может быть, что она, вопреки ожиданиям, не застала в доме Пип, он как-то зловеще поглощал звуки, не отзывался обычным эхом на ее шаги, на ее возвращение. Когда она спустилась обратно и налила себе выпить, Том все еще лежал на диване.

– Получил мою эсэмэску? – спросила она.

– Получил.

– Две женщины убиты. Мужчина, который был в центре всей этой истории, видимо, тоже. Тут и бомба, и наркотики. Страшное дело.

– Потрясающе, Лейла.

Его голос звучал рассеянно, тем не менее Лейла, отпивая понемногу, сообщила ему подробности. Он говорил в ответ адекватные вещи, но не тем тоном, а потом наступила тишина. В доме сделалось так тихо, что Лейле стало слышно, как постукивает крышка на кастрюле для спагетти.

– Что происходит? – спросила она.

Том отозвался не сразу.

– Ты, должно быть, очень устала.

– Не так уж. И питье меня бодрит.

Еще более длительное молчание, нехорошее. Возникло чувство, будто она забрела в чужую жизнь, в чужой дом. Все стало каким-то неузнаваемым. Это сделала Пип: пришла и что-то сотворила. Вдруг отдаленное постукивание крышки стало невыносимым.

– Пойду выключу плиту, – сказала она.

Когда вернулась, Том сидел на диване, одной рукой потирая глаза, в другой держа очки.

– Ты намерен мне рассказать, что происходит? – спросила она.

– Всегда слушайся Лейлу.

– Что ты имеешь в виду?

– Что ты была права. Не надо было приглашать ее сюда.

– Почему?

– Ее присутствие тебя расстраивает.

– Мало ли что меня расстраивает. Если это все – проехали.

Молчание.

– Ты понимаешь... она до жути похожа на Анабел, – сказал Том. – Не как человек, но голосом, движениями. Зевает ровно так же, как Анабел. Чихает – такое же ощущение.

– Не будучи знакомой с Анабел, могу лишь поверить тебе на слово. И ты хочешь с ней переспать?

Он покачал головой.

– Уверен?

К ее смятению, он, показалось, задумался.

– Черт, – выругалась Лейла. – Черт!

– Это не то, что ты думаешь.

Ощущение – будто внезапно, неудержимо подступила рвота. Волна злости, то давнее чувство перед ссорой.

– Лейла, это...

– Ты хоть понимаешь, как мне осточертела такая жизнь? Хотя самое смутное представление имеешь, на хрен? Каково мне жить с человеком, которого все еще преследует та, с кем он расстался двадцать пять лет назад? Чувствовать, что для тебя я – не она, и только?

Он мог бы и не реагировать. Он умел сохранять спокойствие и понемногу разряжать обстановку. Но он, похоже, и правда много выпил, пока ее не было.

– Немножко понимаю, – нетвердым голосом проговорил он. – Да, чуть-чуть. А ты-то понимаешь, каково это – весь вечер, пока ты без всякой надобности посещаешь супруга, сидеть и ждать?

– Помощник из агентства не явился.

- Подумать только. Вот неожиданность! Когда такое бывало?
- К сожалению, именно сегодня так вышло.
- Ничего нового для меня.
- Вот и хорошо, потому что и дальше так будет. С какой стати мне сейчас что-то менять? Зачем я вообще сюда приехала? Осталась бы на ночь с человеком, который никогда меня не обижает. Не обижает и не обидит. С человеком, для которого я на первом месте.
- И правда, почему не осталась?
- Потому что я его не люблю! И ты это знаешь. К Чарльзу это не имеет отношения.
- Кое-какое все-таки имеет, мне кажется.
- Нет, нет и нет! Я помогаю Чарльзу, потому что он во мне нуждается. А ты держишься за Анабел, потому что так ее и не разлюбил.
- Полнейшая нелепость.
- Нелепо это отрицать! Я в первую же секунду это почувствовала, когда увидела вас с Пип в одной комнате. *Не может человек быть так одержим другим человеком, если любовь у него прошла.*
- И это *ты* мне говоришь! А сама делаешь мужу рукой.
- Господи!
- Если этим ограничиваешься.
- Господи боже! Так и знала, что нельзя тебе рассказывать!
- Не в том беда, что ты рассказала, а в том, что ты так делаешь. Тебе не кажется, что у тебя двойные стандарты?
- Я потому с тобой поделилась, что это не имеет значения. Ты сам сказал: это все равно что кормить его с ложечки гороховым пюре. Так и сказал, слово в слово.
- А теперь я вот что говорю, Лейла: не тебе попрекать меня тем, что я будто бы одержим. Сама ведь изобретаешь предлоги, чтобы у него побывать.
- Ему нужна забота.
- Он даже *не хочет* и половины того, что ты для него делаешь.
- Что ж, прости, но ты свой шанс упустил. У тебя был шанс сделать так, чтобы у меня появился более подходящий предмет заботы. И единственная причина, по которой ты...
- А! Начинается.
- Единственная причина, по которой ты...
- Серьезных причин было немало, и ты это знаешь.
- Единственная причина, по которой ты не захотел, – Анабел. Анабел, Анабел, Анабел. Что в ней такого чудесного и замечательного? Расскажи

мне, пожалуйста. Я хотела бы понять.

Он тяжело вздохнул.

– Кроме первых двух лет, я почти никогда не был с ней счастлив. А с тобой я счастлив почти всегда. Стоит тебе войти в комнату – и я счастлив.

– Например, сейчас, когда я вошла? Я тебя осчастливила?

– Сейчас мы, кажется, ссоримся.

– Потому что в доме поселилась Анабел – ты сам это сказал. Ее голос, ее движения. Может быть, ты и был счастлив со мной, пока мы были одни, но как только она стала тут жить...

– Я уже признал: пригласить сюда Пип было ошибкой.

– Иными словами: да. Да, я для тебя хороша лишь до тех пор, пока что-нибудь не напомнит тебе о ней.

– Ошибаешься. Ничего подобного.

– Знаешь, как я, пожалуй, сделаю? Оставлю-ка я вас тут вдвоем, разбирайтесь между собой сами. Я поселюсь с мужем, она получит папочку, которого у нее никогда не было, а ты – милую юную реинкарнацию той, от кого так и не смог освободиться. Будешь слушать, как она зевает, и воображать, что с тобой Анабел.

– Лейла.

– Я вообще-то не шучу. Думаю, так и поступлю. Очень даже неплохая мысль: для разнообразия перестать быть любовницей начальника. Наконец-то каждый новый практикант не будет в *первую очередь* узнавать обо мне именно это. Подруг себе новых заведу, не буду больше чувствовать себя изменницей своему полу. Да и мало ли что еще смогу делать, когда у меня будет на пять свободных вечеров в неделю больше и на одного мужчину меньше.

– Лейла.

– Кстати, чемодан у меня не распакован. Так что сиди, жди Пип – а я еду домой. *Домой*. – Она допила и встала. – На случай, если ты не заметил: я уже не так к ней привязана.

– Да, заметил. И она заметила.

– Вот и прекрасно.

– Она ушла сегодня, чтобы мы с тобой могли побыть наедине. Оттого-то смешно и досадно, что тебе вдруг так срочно понадобилось навестить мужа. Нет, она не глупа. И не бесчувственна.

– Разумеется, она прекрасна во всех отношениях. Так вперед, трахни ее как следует.

– Последнее, чего она хочет, это встрять между нами. Она восхищается тобой...

– Сделай *ей* ребенка, теперь ты можешь, ты всю свою вину истратил на меня...

– Восхищается тобой и чувствует, что ты ей тут не рада. Сильно переживает.

– Так. Это очень мило, но мне не нравится, что вы с ней говорите обо мне, и еще меньше нравится, что ты говоришь обо мне сейчас. Окажи мне любезность, переключись на Анабел.

– Ты расстроена, – сказал он. – И я тоже. Пока ждал тебя, разозлился, начал ревновать. Прости меня. Ты приехала домой с замечательным материалом, ты, понятное дело, устала, и что же мы? Мы ссоримся.

– Вернусь я, вернусь. Никуда не денусь, и ты это знаешь. Просто время от времени я сталкиваюсь с тем, как я ненавижу такую жизнь, хоть это и хорошая жизнь. У тебя нет такого чувства?

Он покачал головой.

– Я вымоталась, – сказала она. – И мне предстоит работать все выходные напролет. Сейчас могу думать только об одном: там есть комнатка, и она моя, на все сто процентов моя – там, а не здесь. Прости меня.

Он снова вздохнул.

– Пока ты не ушла...

– Да?

– Я должен кое-что тебе сказать. Только постарайся не сердиться.

– Уже начинаю сердиться от такого вступления.

Он положил очки на подушку и, закрыв лицо руками, потер глаза.

– Ты подумаешь – почему я не начал с этого, – сказал он. – Подумаешь, что я псих. В общем, я предполагаю, что она моя дочь.

– Кто твоя дочь?

Он надел очки и уставился прямо перед собой. В комнате словно присутствовал кто-то третий.

– Это невозможно, – сказал Том. – У меня нет дочери, а если бы даже и была, какая вероятность, что она окажется в моем доме?

– Нулевая.

– Вот именно.

– Так что же?

– Она дочь Анабел, – сказал он. – Ее мать – несомненно, Анабел. А отец – я. В этом я тоже практически уверен.

Лейле пришлось сесть, чтобы комната перестала вращаться.

– Этого не может быть.

– Теперь ты понимаешь, почему я так ждал твоего возвращения.

Даже сидя, она чувствовала, как наклоняется под ней пол, словно пытаюсь вывалить ее из дома наружу. Возможно ли, чтобы все на этом кончилось? Чтобы сейчас она навсегда уехала домой, к Чарльзу? Казалось, возможно.

– Началось с ее слов: “Запах – ад”, – сказал Том, – и с того, что ее мать немного не в себе и живет так, словно от кого-то скрывается. В среду, после театра, я спросил ее, почему ее мать сменила имя. Она ответила: “Из страха, что мой отец заберет меня у нее”. Похоже на Анабел? Еще как. Тогда я спросил ее, есть ли у нее фотография матери...

– Не хочу слушать дальше, – сказала Лейла.

– У нее была фотография, в телефоне.

– Я правда не хочу этого слушать.

Ей уже думалось: знай Том, что Анабел родила ребенка, он бы не отказывал так упорно в этом ей. И думалось, что вот и конец их совместной жизни.

– Так кто же отец? – продолжал Том. – Избавлю тебя от подробностей, но я им никак не могу быть. И вместе с тем я практически уверен, что это я.

– Почему?

– Потому что возраст Пип как раз такой и потому что я знаю Анабел. И понятнее становится, почему она так внезапно исчезла: узнав, что забеременела...

– Повторяю еще раз. Для меня слушать про Анабел – пытка.

Том вздохнул.

– Передать не могу, как странно было увидеть в телефоне Пип ее фотографию. Я секунду всего смотрел, но и секунды хватило. Что я сказал, не помню, но Пип вела себя совершенно непринужденно. Не как человек, пытающийся что-то скрыть. Я попросил – она показала. И это заставляет думать...

– Что она понятия не имеет.

– Да. Или что она на редкость умелая лгунья. Потому что невольно приходит на ум, что она солгала нам насчет бойфренда. Вдруг она все-таки *знает*, кем я ей прихожусь?

– Ты ее не спросил?

– Хотел сначала с тобой поговорить.

Лейла вспомнила про сигареты, которые хранила в холодильнике на крайний случай. Выпивка дала ей по башке. А рассказ Тома дал еще сильнее.

– Ко мне это отношения не имеет, – глухо проговорила она. – Это твоя жизнь, твоя настоящая жизнь, та жизнь, которая имеет для тебя значение. Я

всегда была так, сбоку припека. И даже если ты не хотел ее вернуть, ту свою жизнь, она сама пришла за тобой. Обо мне можешь не беспокоиться, я знаю, как уйти тихо.

– Я бы очень хотел никогда больше не встречаться с Анабел.

Она нервно усмехнулась.

– Боюсь, тебе предстоит видеться с ней довольно много.

– Пип хорошо ищет информацию. Напрашивается мысль, что она сумела узнать, кто ее мать, и это привело ее ко мне. Но если предположить, что она это выяснила, то она должна знать и то, что на имя Анабел существует доверительный фонд на миллиард долларов.

– На миллиард?

– Если бы Пип это знала, она бы не поехала в Денвер. Давила бы на мать, чтобы она погасила ее несчастный учебный долг. И поэтому я думаю, что она ничего не знает.

– Миллиард долларов. У твоей бывшей жены миллиард долларов.

– Я тебе об этом говорил.

– Ты говорил – огромные деньги. Не называл сумму.

– Это оценка на основе доходов компании “Маккасвилл”. На момент смерти ее отца было уже около миллиарда.

Лейла привыкла чувствовать себя легкой, как перышко, но сейчас почувствовала себя совсем невесомой и незначительной.

– Извини, – сказал Том. – Да, много я на тебя всего вывалил.

– Много? Так. У тебя есть *ребенок*. Дочь, про которую ты двадцать пять лет знать не знал. И которая поселилась прямо в твоём доме. Да, пожалуй, многовато ты на меня вывалил.

– Для нас с тобой это ничего не меняет.

– Это уже все изменило, – возразила Лейла. – К лучшему притом. Ты нормализуешь все с Анабел, у тебя сложатся хорошие отношения с Пип, никакой больше одержимости. Будете вместе проводить отпуск. Все чудесно.

– Прошу тебя. Лейла. Помоги мне понять. *Почему она приехала в Денвер?*

– Понятия не имею. Невероятное совпадение.

– Нет, не может быть.

– Ладно, значит, она в курсе и прекрасно умеет врать.

– Ты правда думаешь, что она такая искусная лгунья?

Лейла покачала головой.

– Она не знает, – подытожил Том. – Но если не знает... как же она, черт возьми, сюда попала?

Лейла снова покачала головой. Когда ее тошнило, рвота подступала необязательно при мысли о еде; она подступала при мысли о желании *чего бы то ни было*. Тошнота – запрет на любые желания. И ссора тоже. К ней вернулось былое чувство опустошенности, убеждение, что любовь невозможна, что как бы глубоко они ни хоронили свой конфликт, совсем избавиться от него не удастся. Проблема с жизнью, свободно избираемой каждый день, с новозаветной жизнью, в том, что она в любой момент может кончиться.

Ферма

“Лунное сияние”

Но запах бывает и раем. Он был им не в окрестностях аэропорта Санта-Крус-де-ла-Сьерра, где фекальный дух от коровьих пастбищ смешивался с керосиновой вонью неэффективных двигателей, запрещенных в Калифорнии задолго до рождения Пип; не во внедорожнике, который уверенно повел сквозь дизельные выхлопы по кольцевым бульварам города молчаливый боливиец Педро; не на шоссе, ведущем в Кочабамбу, где каждые полкилометра очередной “лежачий полицейский” давал Пип возможность обонять несвежие фрукты и жареное мясо и видеть приближающихся продавцов этих фруктов и этого мяса – они-то и установили “полицейских”; не в жаркой духоте на пыльной дороге, куда Педро свернул после того, как Пип насчитала сорок шесть “полицейских” (Педро называл их *rompetuelles* – это было первое новое испанское слово, которое она узнала здесь); не за гребнем горы, где они спускались по такому крутому склону, каких мало и в Сан-Франциско, под полуденным солнцем, выпаривавшим летучие компоненты из пластиковой обшивки в салоне “ленд-круизера” и бензин из запасной емкости в грузовом отсеке; но когда дорога, нырнув сквозь сухой древостой и сквозь более влажный лес, наполовину вырубленный ради кофейных плантаций, в конце концов пошла вдоль ручья, втекавшего в маленькую долину такой красоты, какой Пип и вообразить не могла, – тут-то и начался рай. Два аромата одновременно, отдельные, как слои прохладной и теплой воды в озере, – один от какого-то обильно цветущего тропического дерева, другой травяной, составной, от козьего пастбища – хлынули в открытое окно машины. От группы приземистых строений в дальнем конце долины, у маленькой речки, еле слышно веяло сладким древесным дымком. Самому воздуху здесь был присущ некий особый климатический запах, совершенно не североамериканский.

Место называлось Лос-Вольканес. Тут не было вулканов, но долину обступали остроконечные скалы из красного песчаника, поднимавшиеся на полкилометра и выше. Вода, которую песчаник вбирал в себя в дождливый сезон, круглый год питала речку, вившуюся сквозь участок влажного леса – сквозь небольшой джунглевый оазис посреди сухой местности. Через лес, ветвясь, шли ухоженные тропки, и в первые свои две недели в Лос-Вольканес, пока другие практиканты, занятые в проекте “Солнечный свет”,

и наемные служащие делали свою тeneвую работу, Пип, которой доставались только мелкие задания, не требовавшие квалификации (Андреас Вольф был в отъезде, в Буэнос-Айресе, и она поэтому еще не прошла вступительное собеседование, на котором он сообщал новым практикантам, чем им предстоит заниматься), бродила по этим тропкам и каждое утро, и ближе к вечеру. Чтобы отвлечь себя от того, что осталось в Калифорнии, чтобы не звучали в ушах жалобные материнские возгласы: “Пьюрити! Береги себя! Котенок!”, которые неслись ей вслед, когда она отправилась в аэропорт, она погружалась в запахи.

Тропики были обонятельным откровением. Ей стало понятно: выросшая в умеренном климате близ калифорнийского Санта-Круза (не путать с боливийским Санта-Крус-де-ла-Сьерра), она доныне была подобна человеку, чьи глаза привыкли к полутьме. Калифорния сравнительно скудна по обонятельной части, и потому взаимосвязь всевозможных запахов не была ей там очевидна. Вспомнилась лекция в колледже, на которой преподаватель объяснял, почему все цвета, воспринимаемые человеческим глазом, можно представить с помощью двумерного цветового круга: дело в том, что рецепторы нашей сетчатки бывают трех видов и каждый вид воспринимает свой цвет. Если бы рецепторы подразделялись на четыре вида, для того чтобы представить все способы смешения цветов, понадобилась бы трехмерная цветовая *сфера*. Тогда ей не хотелось этому верить, но теперь, в Лос-Вольканес, запахи убеждали ее. Как по-разному может пахнуть одна только земля! От почвы одного вида шел отчетливый дух гвоздичного дерева, от другого – зубатки; в одном месте от суглинка тянуло цитрусом и мелом, в другом – пачулями, в третьем – хреном. И есть ли на свете хоть что-нибудь, чем не может в тропиках пахнуть гриб? В лесу, почуяв мощный аромат жареного кофе, до того богатый, что он чуть погодя напомнил ей запах скунса, а затем шоколада, а затем тунца, она сошла с тропы, пустилась на поиски и наконец отыскала гриб, от которого он исходил; аккорды лесных запахов включали в себя все эти ноты и впервые навели ее на мысль об обонятельных рецепторах в носу. Тот же рецептор, что реагировал на калифорнийскую марихуану, реагировал и на боливийский дикий лук. В радиусе полумили от строений можно было повстречаться с пятью разными цветочными запахами, близкими к запаху маргаритки, который, в свой черед, был недалек от запаха высохшей на солнце козьей мочи. Бродя по тропам, Пип могла вообразить себя собакой, которую никакой запах не отвращает, которая воспринимает мир как единый многомерный пейзаж, составленный из интересных и взаимопереплетающихся запахов. Чем не рай своего рода? Ты точно на

экстази – но без экстази. У нее возникло чувство, что если она пробудет в Лос-Вольканес достаточно долго, то в конце концов сможет улавливать все запахи, какие есть, подобно тому как ее глаза уже видят все краски цветового круга.

Поскольку никто не обращал на нее особого внимания, первую неделю она позволяла себе слегка чудить. Вечерами, когда стремительно, на тропический манер, темнело, она за ужином (который для парней-хакеров был завтраком) пыталась заинтересовать других молодых женщин своими обонятельными открытиями, своим собачьим поиском неизведанных запахов и своей теорией, что плохих запахов не существует в природе, что даже те из них, что считаются самыми скверными – людских испражнений, бактериального разложения, мертвечины, – скверны лишь вне контекста, что в таком месте, как Лос-Вольканес, где обонятельный пейзаж столь богат, можно и в них найти хорошее. Но другие девушки, которые все до одной были – возможно, неслучайно – красивы, похоже, не обладали таким тонким нюхом, как она. Они соглашались, что цветы и воздух после дождя здесь пахнут очень приятно, но она видела, как они переглядываются, составляя мнение на ее счет. Напоминало столовую колледжа в первую неделю учебы.

Ее возраст был лишь чуть-чуть ниже среднего по всему персоналу Проекта. Ее удивляло, сколь многие, когда она спрашивала, почему они работают у Андреаса, говорили о своем желании *изменить мир к лучшему*. При всей похвальности подобного стремления саму эту фразу, думалось ей, давно следовало бы стереть насмешкой с лица земли; способность к иронии явно не входила здесь в число главных требований к сотрудникам. На месте Андреаса Пип начала бы менять мир к лучшему, наняв хотя бы нескольких женщин исполнять программистскую работу. Если не брать в расчет красавца гея Андерса родом из Швеции, который обладал кое-какими журналистскими талантами и писал обзоры утечек, организованных “Солнечным светом”, разделение труда здесь было стопроцентно гендерным. Парни писали программы в надежно защищенном здании без окон за козьим пастбищем, девушки сидели в переоборудованном амбаре и занимались развитием сетевой инфраструктуры, пиаром, поисковой оптимизацией, верификацией источников, установлением связей, текущими делами, связанными с веб-сайтом и бухгалтерским учетом, поиском информации по тем или иным темам, размещением материалов в соцсетях, копирайтингом. У всех до одной биографические данные были более впечатляющими, чем у Пип. Уроженки Дании и Англии, Эфиопии и Италии, Чили и Манхэттена, они,

похоже, потратили свои университетские годы в Брауне или Стэнфорде не столько на сидение в аудиториях (прочитав и перечитав в частных школах для сверходаренных “Улисса” к двенадцати годам, они спокойно могли отлучаться из колледжа на целые семестры), сколько на потрясающую работу у Шона Комса^[51] или Элизабет Уоррен^[52], на борьбу со СПИДом в Тропической Африке или на интимную дружбу с недоучившимися в колледже миллиардерами – основателями новых компаний в Кремниевой долине. Пип увидела, что Проект никак не может быть чем-то зловещим или сектантским: молодые женщины, с которыми она тут познакомилась, были не из тех, кто совершает ошибки.

А история ее жизни и ее ожидания были до боли прозаичными. Она спросила нескольких, не Аннагрет ли их завербовала, но никто этого имени не слышал. Все они приехали в Боливию либо по личной рекомендации, либо в результате прямого обращения в “Солнечный свет”. Пип попыталась развлечь девушек рассказом об анкете Аннагрет, но вскоре почувствовала себя жалобщицей. Они-то жалобщицами не были. Если ты невероятно привлекательна, привилегированна и хочешь только изменить мир к лучшему, жалобы тебе не к лицу.

Но хотя бы животные были бедны, как она. Она подружилась с собаками Педро и старалась заслужить расположение коз. Там летали голубые радужные бабочки размером с блюдца, бабочки поменьше всевозможных цветов и крохотные безвредные пчелки, чье гнездо на задней веранде главного здания приносило, по словам Педро, килограмм меда в год. Вдоль берега реки рыскал, охотясь на агути, восхитительный хищник с темной шерстью, похожий на хорька, – собаки Педро очень его боялись, хотя по размерам превосходили вдвое. В лесу было много причудливых птиц, как из книг Доктора Сюсса^[53], – громадных пенелоп, карабкавшихся на плодовые деревья, тинаму, тихо перебегавших из тени в тень. Кислотно-зеленые попугайчики, визгливо крича, совершали групповые прыжки с обрывов; их крылья, когда они проносились мимо, издавали громкий свист. В зените кружили кондоры – не выращенные в неволе, как в Калифорнии, а дикие. Вместе взятые, все эти животные напоминали Пип, что она из их числа; все то стыдное, что она оставила в Окленде, здесь, в Лос-Вольканес, выглядело не столь значительным.

И поразительная чистота вокруг. То, что издали казалось мусором, на самом деле было упавшим бумажно-белым цветком, или флюоресцирующим оранжевым грибом, формой напоминающим пластиковые ушные затычки, или покрытой капельками росы паутиной,

похожей на обрывок целлофана. В реке, которая текла из большого необитаемого парка на севере, вода была прозрачная и теплая. Пип купалась в ней перед ужином, а потом еще и принимала душ в ванной с артезианской водой при комнате на четверых, где она жила. В комнате были белые стены, красный плиточный пол, по потолку шли открытые балки из стволов упавших поблизости деревьев. Соседки были чистоплотны, пусть и не идеально аккуратны.

Андреас, как говорили, поехал в Буэнос-Айрес на съемки восточноберлинских сцен фильма о нем. Говорили еще, что у него роман с американской актрисой Тони Филд, играющей в фильме его мать, и что этот роман, слухи о котором просочились в прессу, – хороший пиар для Проекта.

– Это его первая кинозвезда, – услышала Пип однажды вечером от Флор, соседки по комнате. – Все, с кем у него романы, остаются ему верны даже после того, как он прекращает отношения, так что этот должен открыть нам двери в Голливуд.

– А нам туда надо? – спросила Пип.

Флор была миниатюрная перуанка, получившая образование в Америке; если бы Дисней надумал сделать полнометражный мультфильм с прицелом на южноамериканский рынок, главная героиня, вероятно, была бы на нее похожа.

– На организатора утечек ополчаются все, – сказала она. – Это первое, что от него слышишь. Поэтому друзья нам нужны всюду, где бы они ни появились.

– Выгодное для него распределение ролей: он бросает женщин одну за другой, а они остаются ему верны.

– Он верен Проекту – это для него главное.

– Ты знаешь, моя мама прониклась мыслью, что он пригласил меня сюда только для того, чтобы спать со мной.

– Ничего подобного, – сказала Флор. – Сама убедишься, когда он придет. Для него нет ничего важнее нашей работы. Он ни за что не совершит поступка, который может ее скомпрометировать.

– То есть все подчинено поддержанию хорошего имиджа в прессе?

– Сочувствую, если ты разочарована.

– Я не разочарована. Но он посылал мне довольно игривые электронные письма.

Флор нахмурилась.

– Он посылал тебе электронные письма?

– Да, несколько штук.

- Необычно с его стороны.
- Но я написала ему первая. Аннагрет дала мне адрес.
- У тебя что, большой опыт такой работы?
- Никакого опыта. Я, можно сказать, пришла сюда с улицы.
- А кто такая Аннагрет?
- Судя по всему, он когда-то был с ней близок. Я почему-то решила, что все здесь отвечали на ее анкету.
- Видимо, она из того времени, когда он еще не обосновался в Боливии.

Пип теперь видела Аннагрет в новом и более печальном свете: женщина средних лет, преувеличивающая свою важность как для Проекта, так и лично для Андреаса, остающаяся верной ему после того, как он ее бросил.

– Перед Тони Филд, – сказала Флор, – была Арлина Ривьера. А еще была Флавия Корриторе, которая пишет в газете “Ла република”. А еще была Филиппа Грегг, которая хотела писать его биографию, – не знаю, в каком состоянии сейчас этот проект. А до нее была Шила Тейбер – у нее из всех профессоров Америки наибольшее количество подписчиков в Твиттере. Все эти женщины помогают нам сейчас.

Пип почувствовалось, что Флор для того перечисляет именитых женщин Андреаса, чтобы пристыдить ее за электронную переписку с ним.

Первым человеком после Педро, кто проявил к ней теплоту, была Коллин, молодая женщина чуть постарше, которая курила сигареты и занимала отдельную комнату в главном здании. Коллин выросла на органической ферме в Вермонте и была, само собой, очень милостива. Будучи административным директором Проекта, она начальствовала над кухней, над Педро и над другим местным персоналом. Поскольку она подчинялась непосредственно Андреасу и поскольку общественное положение в “Солнечном свете”, похоже, определялось близостью к нему, за какой бы стол она ни садилась ужинать, он заполнялся людьми первым. Она отличалась от остальных, и Пип задавалась вопросом, в чем секрет такого отличия, которое привлекает людей, а не отталкивает, как в ее случае.

После ужина Коллин всегда выкуривала две сигареты на задней веранде, где Пип завела привычку сидеть и слушать лягушек, сов и стрекожущих насекомых – ночной оркестр. Коллин почти не говорила с ней, но, должно быть, присутствие Пип ее не тяготило. После второй сигареты Коллин возвращалась в помещение и разговаривала с местными на таком беглом испанском, что Пип испытывала зависть и уныние. Ей не хотелось

превратиться в одну из тех, других девушек, потому что это значило бы расстаться с иронией, но она ловила себя на желании быть такой, как Коллин.

Однажды вечером между сигаретами Коллин, нарушив молчание, сказала:

– Этот мир – дерьмо, согласна?

– Не знаю, – отозвалась Пип. – Я как раз сижу и думаю, сколько в нем дивной красоты.

– Это пройдет. У тебя пока еще сенсорная перегрузка.

– Не думаю, что когда-нибудь устану от мира.

– Он сплошное дерьмо.

– Что в нем такого дерьмового?

В темноте Пип услышала щелчок зажигалки и шумный выдох курильщицы.

– Все, – сказала Коллин. – У нас тут информационная служба дерьма. В утечках хороших новостей не бывает. День за днем только дерьмовые новости, только дерьмовые. Тоска берет.

– Мне казалось, идея в том, что солнечный свет действует как антисептик.

– Я не говорю, что не надо этого делать. Я только говорю, что тоска берет. От бесконечного разнообразия людской мерзости.

– Может быть, ты слишком долго здесь? Когда ты приехала?

– Три года назад. Я тут почти с самого начала. С некоторых пор я штатный депрессивный сотрудник, это, можно сказать, моя главная обязанность. Все остальные смотрят на меня, думают: “Слава богу, со мной такого не происходит”, и им хорошо.

– Ты могла бы уехать.

– Да. Могла бы.

– Что он за человек? – спросила Пип. – Андреас.

– Говнюк.

– Ты шутишь.

– Я даю объективную оценку, и только. Как он может не быть говнюком? Чтобы руководить таким проектом, нельзя им не быть.

– И все-таки что-то тебя здесь держит.

– Он меня морочит. Я ни на секунду про это не забываю – что он меня морочит. Я в Книгу Гиннеса могу попасть по силе желания, чтобы меня морочили. Мне важно быть первой из тех, кто ничего для него не значит. У меня отдельная комната. Я даже знаю, откуда приходят деньги.

– И откуда они приходят?

– Мне важно быть самой-самой из не имеющих никаких шансов. Он очень хорошо умеет играть на чувствах и амбициях.

Стало тихо. Только лягушки квакали, квакали, квакали в темноте.

– Ну а тебя что привело сюда? – спросила Коллин. – Я замечаю у тебя некий дефицит по части правомерности пребывания здесь. В смысле сравнительно с другими.

Пип, благодарная за вопрос, рассказала свою историю, ни о чем не умалчивая – даже о своих недавних предосудительных действиях в спальне Стивена.

– В общем, – подытожила Коллин, – ты толком не знаешь, какого хрена решила сюда податься.

– Я хочу найти отца.

– Это может тебе сослужить неплохую службу. Хорошо иметь нечто помимо жажды любви и одобрения со стороны Любимого Вождя. Мой совет – не забывай, ради чего приехала сюда.

Пип усмехнулась.

– Что тебя развеселило?

– Я просто подумала про Тони Филд, – объяснила Пип. – Предположим, стали бы снимать фильм про меня и я спала бы с актером, который играет моего отца. Странновато, тебе не кажется? Спать с женщиной, играющей твою мать.

– Он вообще странный тип. Почему – нам с тобой без толку гадать.

– По мне, это очень странно. Но Флор, кажется, думает, что это блестящая победа.

– Флор – хищница, которую интересует только одно: популярность. Деньги ей без надобности, ее семья и так владеет половиной Перу. Их вотчина – полезные ископаемые. Она думает: “Популярность? Кажется, я чую популярность? Давайте-ка делитесь ею со мной”. Для нее знать, что Андреас спит с Тони Филд, почти так же круто, как самой с ней спать.

Пип приятно волновала, пусть даже психологический механизм был довольно скверный, возможность показать, что она ценит особое доверие Коллин, которой, в свой черед, оказывал особое доверие Андреас, крутивший сейчас в Буэнос-Айресе роман со своей виртуальной матерью. Чтобы произвести на Коллин впечатление, она сказала, что собирается на реку купаться.

– Прямо сейчас? – спросила Коллин.

– Хочешь, пойдём вместе.

– Не уверена, что жажду подвергнуться нападению хорька.

– Он всегда убегает, когда я его вижу.

- Просто пытается заманить тебя в воду в темноте.
- Я иду. – Пип встала. – У тебя точно нет настроения?
- Терпеть не могу подначек.
- Я тебя не подначиваю. Просто спрашиваю.

Пип ждала ответа Коллин. Она немногое в жизни могла занести себе в актив, но купание в темноте – тут у нее был приличный опыт: в калифорнийском парке Генри Кауэлла, поросшем секвойями, она облюбовала место в реке Сан-Лоренсо и плавала там летними вечерами, когда еще не было сильной жары, из-за которой река мелела и пенилась. Как ни странно, ее мама часто плавала с ней вместе – может быть, потому, что в темноте ее тело было не столь *видимо*. Пип помнила удивление, с которым она осознала, видя, как мама покачивается на спине в своем черном закрытом купальнике, что когда-то мама была девушкой вроде нее.

– Ладно, черт с тобой, – сказала Коллин, вставая. – Не отдам тебе победу просто так.

Над восточной вершиной поднялась луна, серебря лужайку и делая темноту у реки под деревьями совсем уж чернильной. Чтобы попасть на купальное место, Пип и Коллин перешли реку по доске, привязанной к дереву канатом на случай подъема воды. Раздеваясь, Пип украдкой поглядывала на Коллин. Та вся как-то съежилась, ссутулила плечи и больше походила сейчас на саму Пип, чем на тех ее соседок по комнате, что выходили из душа с гордой осанкой, с высоко поднятой головой.

Коллин помочила в реке кончик ступни.

– С чего я взяла, что вода здесь теплая?

Пип поступила так, как надо было поступить: бросилась в воду с разбега и погрузилась с головой. Ей было знакомо это чувство: ждешь неизвестно чьего укуса в любое место в любую секунду, а потом приходит удовольствие от сознания, что тебя не укусили; зарождение доверия в темной воде. Коллин, по-прежнему ежась, обхватив себя освещенными лунной руками, медленно, точно ацтекская девственница, не слишком радостно готовящаяся принять ритуальную смерть, двинулась вперед, пока вода не дошла ей до колен.

- Ну не классно ли? – сказала Пип, плещась в воде.
- Ужас. Ужас.
- Окуни голову, окуни.
- Ни за что на свете.
- Мне кажется, тут самое красивое место на Земле. Прямо не верится, что я здесь.
- Просто ты еще со змеей не повстречалась.

– Нырни, и все. Опустив голову в воду.

– Я не такое дитя природы, как ты.

Пип встала на дно, чувствуя себя эластичной, как рыбий плавник, и схватила Коллин за руку.

– Не надо, – сказала Коллин. – Я серьезно!

– Хорошо, – сказала Пип, отпуская ее.

– Я такая всегда и во всем. Погружаюсь по колено, а дальше ни-ни. От обоих миров получаю худшее.

Пип снова опустилась в воду.

– Знакомое ощущение, – сказала она. – Но сейчас его у меня нет.

– Не понимаю, как ты не боишься, что в тебя вцепится хорек.

– Слабый самоконтроль имеет свои плюсы.

– Пойду выкурю еще одну, – сказала Коллин, выходя из воды. – Если я тебе понадобится, испусти леденящий душу вопль.

Пип надеялась, что Коллин передумает, но этого не случилось. Оставшись одна, окруженная кваканьем лягушек, журчанием проточной воды и запахами, запахами, Пип пережила минуту более чистого, более безгрешного счастья, чем когда-либо за всю жизнь. Купаться голышом в ничем не загрязненной воде вдали от всего на свете, в одной из труднодоступных долин беднейшей страны Южной Америки – уже счастье, а тут еще и сознание своей отваги на фоне невротического страха Коллин. Она испытала прилив благодарности к матери, и ей стало жаль, что ее здесь нет, что она не плавает рядом. Любовь, которая была для Пип гранитным камнем преткновения в центре ее жизни, была также и непоколебимым фундаментом; Пип чувствовала на себе материнское благословение.

Она чувствовала его и в последующие вечера на задней веранде, когда Коллин рассказывала ей про свое дерьмовое детство. Ферма в Вермонте была чем-то средним между коллективным хозяйством и религиозной общиной; земля принадлежала ее отцу, который являл собой некий гибрид между Генри Дэвидом Торо^[54], библейским патриархом-многоженцем и психологом Вильгельмом Райхом^[55]. Его беспрестанная самореализация выражалась в том, что он уезжал на месяцы, оставляя ферму на мать Коллин, возвращался с более молодыми женщинами, помогавшими ему направлять свою “оргонную энергию” на улучшение каменистой земли, на повышение ее плодородия, и спорадически делал мать Коллин беременной. Коллин училась дома, пока ей не исполнилось шестнадцать и она не сбежала – сначала в Бостон, а потом в Германию, в Гамбург, где жила в семье, изучая язык и помогая по хозяйству. После этого поступила в

Уэллсли-колледж, получала там полную стипендию и окончила, когда ей было двадцать два. Она чувствовала иронию своего нынешнего положения: ее роль была сходна с ролью ее матери во владениях “патриарха”. Ощущая дерьмовость ситуации, она испытывала от нее какую-то извращенную радость.

Пип, со своей стороны, чувствовала, что наконец нашлась подруга, способная понять ее собственное странное детство. Ее влекло к Коллин, в ее мрак, пахнувший сигаретным дымом, и теперь ей не надо было беспокоиться о том, где сидеть за ужином: Коллин приберегала для нее рядом с собой свободное место. Она видела, что Коллин нравится ее сарказм, и немножко усиливала его ради нее. Коллин приглашала ее к себе в милую комнату с низким потолком потрепаться, попить пива и посмотреть телевизор через частную оптоволоконную линию, которую Андреас получил в обмен на услуги по совершенствованию связи в боливийской армии. Будь Коллин парнем, Пип спала бы с ним. А так она ложилась сильно за полночь, просыпалась поздно и не без похмельных ощущений и забивала теперь на утренние прогулки.

Однажды вечером, вернувшись после такой долгой вылазки в лес, что обратную дорогу пришлось искать ощупью, она вошла в столовую и увидела, что на ее обычном месте около Коллин сидит Андреас Вольф. Ее сердце подпрыгнуло. Он серьезно слушал другую женщину за столом, слушал и кивал, и Пип мигом поняла, что имел в виду бойфренд Аннагрет, говоря о его харизме. Отчасти сказывалась его привлекательная внешность, в которой было что-то немецкое и, несмотря на возраст, юношеское, но имелось и нечто другое, неизъяснимое: то ли свечение заряженных микрочастиц славы, то ли уверенность в себе, до того спокойная и мощная, что она меняла геометрию столовой, отклоняя в его сторону линии всех взглядов. Неудивительно, что он так много значил для Коллин, хоть она и считала его говнюком. Пип и самой хотелось смотреть на него и смотреть.

Коллин сидела сгорбленная, отвернув лицо от Андреаса, и постукивала пальцем по столу, на котором стояла ее нетронутая еда. Пип укололо, что она не заняла для нее место по другую сторону от себя. Она села на единственный свободный стул подле Флор, своей соседки по комнате. Из рук в руки передавали миску с тушеной говядиной, приготовленной, как обычно, с тапиокой, картофелем, луком и помидорами. Пип, в общем, уже отказалась от вегетарианства. Коров в Боливии по крайней мере кормят травой.

– Итак, Любимый Вождь вернулся, – сказала она.

– Почему ты его так называешь? – резко спросила Флор. – Мы не в

Северной Корее.

– Она так говорит, потому что Коллин так говорит, – сказала девушка по имени Уиллоу.

Пип словно пощечину получила.

– Как хорошо, что мы уже не в восьмом классе.

– Будьте уверены, Коллин никогда не скажет “Любимый Вождь” ему в лицо, – сказала Уиллоу.

– Ты ошибаешься, – возразила Пип. – Наверняка он рассмеялся бы, и только. Я писала ему довольно наглые электронные письма, но, как видите, все равно приглашена.

Флор недружелюбно, хоть и не напоказ, округлила глаза, и Пип поняла, что не улучшает свою репутацию упоминаниями об электронной переписке с Андреасом.

– Надо ли тебе тут оставаться, если ты так критически настроена? – спросила Уиллоу.

– Если невинная шутка здесь так опасна, как это характеризует здешнюю атмосферу?

– Не опасна. Скучна. “Студия 30”^[56] уже обыграла тему Северной Кореи. Отсмеялись.

Пип, которая “Студию 30” не смотрела, не нашлась с ответом и ступевалась. Весь ужин лучи популярности и харизмы, исходившие от Андреаса, грели ей спину. Она знала, что ей следовало бы уже пойти к себе в комнату, ответить пренебрежением на пренебрежение Коллин и не выглядеть зависимой от нее, но ей, помимо прочего, хотелось познакомиться с Андреасом, поэтому она медлила с ужином, сидела за двумя порциями лаймового крема, когда другие уже ушли. Позади нее Андреас и Коллин разговаривали по-немецки. И это в конце концов заставило ее почувствовать себя до того оттесненной и ненужной, что она резко встала из-за стола и двинулась к выходу.

– Пип Тайлер, – позвал ее Андреас.

Она обернулась. Коллин опять смотрела в сторону и постукивала пальцем; голубые глаза Андреаса глядели на Пип.

– Посидите с нами, – сказал он. – Мы еще не познакомились.

– Я буду на веранде, – бросила Коллин, вставая.

– Нет, не уходите, – сказал ей Андреас.

– Надо покурить.

Коллин вышла из столовой, не взглянув на Пип. Андреас жестом предложил ей сесть.

– По чашечке эспрессо?

– Я даже и не знала, что тут можно пить эспрессо.

– Надо только попросить. Тереса!

Из кухни показалась голова Тересы, жены Педро, и Андреас поднял два пальца. Пип села за его стол, выбрав самый дальний стул. От нахальства, которое она вложила в электронные письма к нему, не осталось и следа, она не решилась даже протянуть ему руку для пожатия. Сидела нахохлившись и ждала, когда он заговорит.

– Коллин сказала мне, что вы тут приятно проводите время.

Она кивнула.

– Я вам не писал, что это красивейшее место?

– Нет-нет, писали.

– Жаль, меня не было, когда вы приехали. Превратить столицу Аргентины в Восточный Берлин семидесятых – для этого понадобились серьезные консультации.

– Здорово, что о вас снимают фильм.

– Довольно странно, но и очень здорово, вы правы. И очень скучно, кроме того. Болтаешься десять часов, дожидаясь двадцати минут действия, и даже тогда не видишь это действие напрямую. Выглядываешь из-за спин в прицепном фургоне и пытаешься что-то разглядеть на мониторе.

– И все же, – сказала Пип.

– И все же страшно льстит самолюбию.

– Догадываюсь, с самолюбием у вас все в полном порядке.

– Не жалуясь.

Подошла жена Педро с двумя эспрессо, и Андреас сказал ей по-испански, что она прекрасно выглядит. От комплимента Тереса – обычно само долготерпение, сама унылость – прямо-таки расцвела, и Пип мимолетно почувствовала, как Андреас, скорее всего, представляет себе мир: как людскую массу на стадионе, в которой у всех есть цветные дощечки, чтобы в нужный момент их синхронно выставить и образовать приветствие, лозунг. Приветствие, которым его неизменно встречают, гласит, что он неповторим и велик. Вступает на стадион, и вдруг море человеческих тел превращается в слова: МЫ ЛЮБИМ ТЕБЯ, ПАРЕНЬ. Пип ощутила укол неприязни.

– Как вам Тони Филд? – спросила она.

– Очень милая. Талантливая.

– Она действительно играет вашу маму?

– Да.

– Ваша мама была в те годы такая же знойная, как Тони Филд?

Андреас улыбнулся.

– Я знал, что вы мне понравитесь.

Пип старалась держать в уме слова *говнюк* и *морочит*.

– Чем?

– Вы задаете хорошие вопросы. Ваша злость перевешивает осторожность.

Она не знала, что на это отвечать.

– Я устал сегодня, – сказал он. – Вступительное собеседование проведем с вами утром. – Он допил эспрессо. – Если только у вас нет ощущения, что в гостях хорошо, а дома лучше.

– Пока нет.

– Отлично. Приходите завтра утром в амбар.

Когда он ушел, Пип отправилась на веранду и села рядом с Коллин, глядевшей на темную реку. Ветер был теплый, и расквакалось так много лягушек, что звук образовывал сплошную стену.

– Кот вернулся, стало быть, – сказала Пип. – Значит ли это, что мышинные пляски окончены?

Коллин, не отвечая, зажгла вторую сигарету.

– Мне только кажется, – спросила Пип, – или от тебя действительно идут в мою сторону недобрые лучи?

– Прости меня, – сказала Коллин. – Видела когда-нибудь женщину в обмороке, с которой мужчина танцует бальный танец? Я – такая женщина. Он перемещает меня, двигает моими руками. Моя голова болтается, как у тряпичной куклы, но я проделываю все танцевальные па. Как будто все в лучшем виде. Надежная старая Коллин крепко держит штурвал.

– Мне почудилось, ты злишься на меня за что-то.

– Нет. Погружена в себя, вот и все.

Это немного успокоило Пип, но не до конца. Начав сближаться с Коллин, она настроила против себя всех немрачных девушек, но Коллин оказалась слишком мрачной, чтобы с ней можно было сблизиться по-настоящему. За две недели с небольшим Пип ухитрилась воспроизвести здесь свое оклендское положение.

– Я надеялась, мы подружимся, – сказала она.

– Я этого не стою.

– Ты тут единственная, кто мне нравится.

– Взаимно, пожалуй, – сказала Коллин. – Но знаешь, что я однажды сделаю, когда этого меньше всего будут ждать? Вернусь в Штаты, устроюсь в большую юридическую фирму, выйду замуж за какого-нибудь нудного типа и рожу от него детей. Вот мое будущее, чей приход я оттягиваю.

– Разве для этого не надо окончить что-нибудь юридическое?

– А я и окончила. В Йеле.

– Бог ты мой.

– Торчу тут в надежде на какую-то более интересную жизнь. Но – увы. И рано или поздно сдамся и совершу безвольный поступок. Скучный поступок.

– Солидная работа, семья – не вижу здесь ничего особенно плохого.

– Тебе с твоим характером, может быть, удастся что-нибудь получше.

– Обычно я как-то не чувствую в себе характера.

– У людей с характером так чаще всего и бывает.

Какое-то время молчали, слушая лягушек.

– Можно мне еще тут с тобой посидеть? – спросила Пип.

– *Бог ты мой.* Ты первый человек, от кого я это слышу: *бог ты мой.* – Коллин подняла руку, поколебалась и похлопала Пип по тыльной стороне ладони. – Можно посидеть.

Утром после ранней прогулки Пип отправилась искать Андреаса. Здание, где парни выполняли высококвалифицированную работу, питал электричеством специальный генератор в звуконепроницаемом бункере, работавший от природного газа. Линия газоснабжения, проложенная за государственный счет, ответвлялась от десятидюймового трубопровода, который шел по гребню горы. Все прочие здания, включая амбар, получали ток от микрогидроэлектростанции и от солнечных панелей на полпути к шоссе. Андреас восхищал многих тем, что у него не было личного кабинета. Он работал на ноутбуке на переоборудованном чердаке амбара, где стояли диваны и располагалась кухонька, которой мог пользоваться кто угодно; он подчеркивал тем самым, что Проект – коллективная организация, а не вертикаль. Пип миновала первый этаж, где в изобилии цвела женская красота – где девушки, многие в пижамных штанах, которые будут носить весь день, всю щелкали мышками, – и поднялась по лестнице на чердак.

У Андреаса шло совещание с еще одной группой девушек в пижамных штанах.

– Десять минут, – сказал он Пип. – Подсаживайтесь к нам, если хотите.

– Нет, я лучше снаружи подожду.

Сгустки облаков и тумана, побеждаемые утренним солнцем, рвались в ключья об остроконечные вершины из песчаника; мир здесь, казалось, творился заново каждый божий день. Сидя на траве, Пип смотрела на птичку с длинным раздвоенным хвостом, которая, следуя за козами, поедала вившихся над ними мух. Она будет заниматься этим весь день; ее трудоустройству, ее месту в мире ничто не угрожает. Педро, пересекая

лужайку с цепной пилой и с одним из сыновей, дружески помахал Пип. Ему тоже, казалось, не о чем было беспокоиться.

Андреас вышел из амбара и сел рядом с ней. На нем были хорошие узкие джинсы и облегающая рубашка поло – она подчеркивала, какой плоский у него живот.

– Приятное утро, – сказал он.

– Да, – отозвалась Пип. – Солнечный свет сегодня особенно антисептичен.

– Ха.

– Вы знаете, я всегда терпеть не могла слово “рай”. Мне казалось, оно из той же оперы, что и вся трепотня о “рождении свыше”, а если попростому – это то же самое, что смерть. Но теперь я слегка пересматриваю свое мнение. Видите эту птичку…

– Нашу тиранновую мухоловку.

– Она выглядит абсолютно довольной. Я начинаю думать, что рай – это не вечное блаженство. Скорее наоборот: в ощущении блаженства есть что-то вечное. Вечной жизни нет, время есть время, но можно выскочить из времени, если тебе хорошо, потому что тогда время теряет значение. Есть тут хоть какой-нибудь смысл?

– Очень много смысла.

– Так что я завидую животным. Особенно собакам, потому что для них нет плохих запахов.

– Я рад, что вам здесь нравится, – сказал Андреас. – Коллин наладила ваши платежи?

– Да, спасибо вам за это. Банкротство отодвигается.

– Так давайте теперь обсудим то, что вы могли бы для нас сделать.

– Помимо того, чтобы быть здешней человекособакой? Я же написала вам, чего по-настоящему хочу. Хочу выяснить, кто мой отец, как минимум – настоящее имя и фамилию моей матери.

Андреас улыбнулся.

– Вам это поможет, охотно верю. Но как это поможет Проекту?

– Нет, я понимаю, – сказала Пип. – Я понимаю, что должна работать.

– Хотите заняться поиском информации? Вы массу всего можете почерпнуть от Уиллоу. Она фантастический мастер поиска.

– Уиллоу меня не любит. Честно говоря, меня никто тут особенно не любит, кроме Коллин.

– Этого не может быть.

– Видимо, я слишком саркастична. Повсюду подозреваю фальшь и ворочу нос. И слишком много рассуждаю о запахах.

– Намерения здесь у всех хорошие. И каждый по-своему исключительная личность.

– Вы знаете, это первые по-настоящему подозрительные слова, какие я от вас услышала.

– Как так?

– Будь я у вас главной по имиджу, я бы что сделала? Наняла бы побольше толстых, некрасивых. И отсоветовала бы вам разбивать лагерь в самой живописной долине на свете. Меня жуть берет от всей этой красоты, мурашки ползут. Из-за этого и вы мне не нравитесь.

Андреас напрягся.

– Ну, это никуда не годится.

– А может быть, как раз годится. Может быть, тем, что вы мне не нравитесь, я буду вам полезна. Я более-менее уверена, что не одна такая на свете, у кого от здешнего пейзажа могут поползти мурашки. Ведь вы сами мне писали, что хотите, чтобы я вам помогла понять, как вас воспринимает мир. Я могу быть вашим штатным скептиком. У меня есть кое-какие навыки по этой части.

– Забавно, – сказал он. – Чем больше я вам не нравлюсь, тем сильнее вы мне нравитесь.

– Бывший начальник мне тоже такое говорил.

– Здесь у нас нет начальников.

– Я вас умоляю.

Он засмеялся.

– Вы правы – я здесь начальник.

– И если уж у нас разговор начистоту, я никогда не была под сильным впечатлением от вашего Проекта. Что о нем думает мир – ваша проблема, а не моя. Я хочу сказать: очень мило, что вы меня пригласили. Но главное, почему я приехала, – то, что Аннагрет посулила мне ответы на мои вопросы.

– И что же, Проект вас совсем-совсем не восхищает?

– Может быть, я не понимаю его пока. Охотно верю, что он достоин восхищения. Но иные из ваших утечек такие незначительные – почти на уровне сайтов, где размещают фотки в отместку неверным возлюбленным.

– Ну, это, пожалуй, жестковато. Мы тут как раз обсуждали новый массив данных: электронную переписку австралийского правительства насчет угрожаемых видов. Кенгуру, попугаи. О том, как изображать заботу об их сохранении, на деле жертвуя ими ради доходов от скотоводства, охоты и добычи полезных ископаемых. Это довольно значительная утечка. Но единственный способ ее получить – это поставлять продукт каждый

день, чтобы все время быть на слуху. Если хочешь добывать крупное, приходится заниматься и мелочами.

– Согласна, судьба животных в Австралии – важная тема, – сказала Пип. – Но все-таки я чую и что-то другое.

– Ох уж этот ваш нос. И что он вам говорит?

Она медлила с ответом. На самом деле ей не хотелось быть его штатным скептиком – она понимала, какая это была бы выматывающая и неблагодарная работа. Она приехала в Боливию с желанием восхищаться Проектом; против него ее здесь настраивал главным образом удушающе сильный уровень восхищения других практикантов. Так или иначе, критичность помогла ей выделиться из массы. Она, возможно, была для нее способом удовлетворить свое мелкое самолюбие и понравиться Андреасу.

– Вспоминается одна молочная ферма, – сказала она. – Называлась “Лунное сияние”, я жила в детстве недалеко от нее. Вероятно, это была настоящая молочная ферма, там было множество коров, но главные деньги они получали не от молока, а от продажи высококачественного навоза фермерам, применяющим только органические удобрения. Они производили дерьмо, маскируясь производством молока.

Андреас улыбнулся.

– Вижу, куда вы клоните, и мне это не нравится.

– Вы заявляете, что ваше дело – гражданская журналистика. Занимаетесь вроде бы утечками. Но ваш главный бизнес, может быть...

– Коровий навоз?

– Я хотела сказать: популярность и преклонение. Ваш продукт – вы сами.

Утром в тропиках всегда наступает момент, когда солнце перестает быть приятным и становится злым. Но этот момент еще не пришел. Пот на лице Андреаса выступил из-за чего-то другого.

– Аннагрет не ошиблась, – сказал он. – Вы действительно тот человек, который был мне нужен. Вы отважная, цельная личность.

– Предполагаю, вы всем девушкам такое говорите.

– Неправда.

– Коллин не говорили?

– Да, пожалуй. – Он медленно кивнул, глядя в землю. – Ей, может быть, говорил. И что, вам не легче теперь мне поверить?

– Нет. Мне теперь хочется пойти собирать чемодан. Коллин абсолютно несчастна.

– Она пробыла здесь слишком долго. Ей пора двигаться дальше.

– И теперь вам нужна новая Коллин? Чтобы эксплуатировать и

морочить? В этом ваша идея?

– Мне жаль ее. Но я ей ничего плохого не сделал. Она хочет того, чего я не мог и не могу ей дать, и я всегда был с ней вполне откровенен на этот счет.

– Она говорит об этом по-другому.

Он поднял на нее глаза.

– Пип, – сказал он, – за что вы меня не любите?

– Честный вопрос.

– Из-за Коллин?

– Нет. – Она чувствовала, что теряет контроль над собой. – Мне кажется, я вообще очень критична сейчас, особенно к мужчинам. Такая у меня проблема. Разве этого не видно было по моим имейлам?

– Читая имейл, трудно уловить интонацию.

– Мне было здесь совсем даже неплохо до вчерашнего вечера. А теперь я вдруг опять во всем том дерьме, от которого хотела убежать. Я все та же злючка, не умеющая себя контролировать. То, что вы защищаете кенгуру и попугаев, – это здорово, нет сомнения. Так держать, больше солнечного света! Но мне лично, пожалуй, надо собирать чемодан.

Она встала, чтобы уйти до того, как ее прорвет по-крупному.

– У меня нет возможности вас остановить, – сказал Андреас. – Все, что я могу, – это открыться перед вами. Прошу вас, сядьте и выслушайте правду.

– Если правда не очень длинная, я могу ее выслушать и стоя.

– Сядьте, – произнес он совсем другим тоном.

Она села. К тому, чтобы ею командовали, она не привыкла. Подчиняясь, она, пришлось ей признать, испытала облегчение.

– Вот две истины, касающиеся популярности, – сказал он. – Во-первых, она делает тебя очень одиноким. Во-вторых, окружающие постоянно проецируют себя на тебя. Это-то отчасти и делает тебя таким одиноким. Ты как бы и не человек даже. Ты всего лишь объект, на который люди проецируют свой идеализм, свой гнев или что там еще. И, конечно, ты не вправе жаловаться, не вправе даже говорить об этом: ведь ты же сам хотел стать популярным. А если все-таки заведешь об этом разговор, какая-нибудь молодая злючка из Окленда, Калифорния, тут же обвинит тебя в жалости к себе.

– Я написала о том, что увидела, вот и все.

– Какой-то всеобщий заговор, чтобы сделать популярного человека еще и еще более одиноким.

Она была разочарована, что его правда – о нем, а не о ней.

– А как насчет Тони Филд? – спросила она. – С ней вам тоже одиноко? Не потому ли знаменитости сочетаются браком – чтобы было с кем поговорить о жуткой боли, которую причиняет популярность?

– Тони – актриса. Спать с ней – своего рода сделка. Взаимовыгодная, взаимно лестная.

– Ух ты. Она-то знает, как вы про это думаете?

– Мы оба знаем условия сделки. Эти условия были у меня со всеми после Аннагрет. С Аннагрет было по-другому, потому что я был никем, когда мы познакомились. Поэтому я ей доверяю. Поэтому я ей поверил, когда она мне сказала, что нам надо пригласить вас сюда.

– Я не доверяла ей ни капельки.

– Я знаю. Но она увидела в вас что-то особенное. Не только талант, но и что-то еще.

– Что все это значит, объясните наконец! Чем больше вы пытаетесь раскрыть мне правду, тем страннее делается.

– Я просто прошу вас дать мне шанс. Хочу, чтобы вы продолжали быть собой. Не проецируйте себя. Попробуйте увидеть во мне человека, руководящего неким начинанием, неким бизнесом, а не популярного мужчину старше вас, на которого вы злы. Воспользуйтесь возможностью. Позвольте Уиллоу передать вам кое-какие исследовательские навыки.

– Эта идея насчет Уиллоу кажется мне очень сомнительной.

Андреас взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза. Она не смела пошевелить и пальцем – ладони оставались совсем расслабленными. Голубизна его глаз была красива, надо признать. Даже за вычетом зрительных искажений, вносимых харизмой, ему трудно было отказать в мужской привлекательности.

– Хотите еще порцию правды? – спросил он.

Она отвела взгляд.

– Не знаю.

– Правда состоит в том, что Уиллоу станет к вам чрезвычайно добра, если я ей так велю. Непритворно добра. Искренне. Мне всего-навсего надо кнопку нажать.

– Ничего себе, – сказала Пип, высвобождая руки.

– А как мне быть, спрашивается? Делать вид, что это не так? Отрицать свое влияние? Она проецирует себя на мою персону как бешеная. Что я могу с этим поделать?

– Ничего себе.

– Вы же за правдой сюда приехали, разве не так? Я считаю, вы достаточно сильны, чтобы воспринимать ее неразбавленной.

– Ничего себе.

– Ладно, – сказал он, вставая. – Встретимся за ланчем.

Солнце уже неистовствовало. Пип, словно его лучи толкали ее, упала на бок, голова у нее плыла. Ощущение было такое, будто с мозгов на минутку сняли крышку черепа и энергично в них помешали деревянной ложкой. До того, чтобы подчиниться ему, чтобы отдать себя в его распоряжение, было еще далеко, но на минутку он так глубоко внедрился внутрь ее головы, что она почувствовала, как это может произойти: как Уиллоу может изменить свое отношение к чему бы то ни было, точно осьминог окраску, только потому, что он ей так велел; как Коллин могла увязнуть в ненавистной ей среде под воздействием желания, которого, она знала, никогда не удовлетворит тот, кого она сама считала и считает говнюком. На минутку в Пип возникло пугающее противоречие. На одной стороне – ее здравый смысл и скепсис. На другой – всеобъемлющая податливость, отличная от всего, что ей доводилось переживать в прошлом. Даже на пике влюбленности в Стивена ей не хотелось быть для него *объектом*; она не фантазировала о *подчинении* и *покорности*. Но именно такую податливость она обнаружила в себе сейчас – вот что пробудил в ней Андреас с его популярностью, с его уверенностью в себе. Теперь она лучше понимала презрение Аннагрет к слабости Стивена.

Она заставила себя сесть и открыть глаза. Каждая краска вокруг была и собой, и ослепительной белизной. В лесу за рекой заунывно пела цепная пила. Как она могла подумать, что хоть сколько-нибудь понимает, где находится? Она понятия об этом не имела. Здесь исповедовали культ – культ якобы добрый, но оттого еще более дьявольский.

Она встала, вернулась в амбар, взяла свободный планшет и отправилась с ним в прибрежную тень. Каждый второй день после приезда она посылала матери на адрес ее соседки Линды бодрое электронное письмо. Несколько раз Линда отвечала, сообщая, что мама “не очень”, но “держится”. Пип сочинила легенду, будто звонить из Лос-Вольканес нельзя – ведь какой смысл здесь находиться, если звонить матери каждый день, – и теперь она колебалась, прежде чем активировать здешний аналог скайпа. Сломаться и позвонить было почти равносильно признанию, что она больше тут не может, что она хочет уехать. Но ситуация выглядела экстренной. Деревянная ложка в мозгах не нравилась ей совершенно.

– Котенок! Что-нибудь не так?

– Нет, все хорошо, – ответила Пип. – Педро понадобилось в город за покупками, он взял меня с собой. Звоню оттуда из телефонной будки. В смысле отсюда. Из города.

– Ох, поверить не могу, что слышу твой милый голос. Я думала, пройдут месяцы и месяцы.

– Вот он, мой голос.

– Золото, как ты? Действительно все хорошо?

– Отлично. Ты не представляешь, как тут красиво; у меня тут подруга есть, Коллин, я тебе про нее писала, она очень-очень умная и забавная, она окончила юридический в Йеле. Тут у всех прекрасное образование. И все поддерживают связь с родителями.

– Ты уже знаешь, когда вернешься домой?

– Мама, я только сюда приехала.

Наступила тишина, в которой, вообразила себе Пип, ее мать вспомнила, зачем она поехала в Боливию, и вспомнила сердитые слова, которые дочь сказала ей перед отъездом.

– Вот что еще, – сказала Пип. – Вчера вечером вернулся Андреас. Андреас Вольф. Я наконец с ним познакомилась. Он и правда очень приятный человек.

Мать молчала, и Пип пустилась рассказывать ей про съемки в Буэнос-Айресе, про Тони Филд и других женщин Вольфа, надеясь внушить матери, что он не рассматривает практиканток как свою добычу. То, что она хотела ей это внушить, в то время как единственной причиной ее звонка была боязнь стать его добычей, хорошо иллюстрировало их отношения.

– Такие вот дела, – подытожила Пип.

– Пьюрити, – сказала ее мать, – он нарушитель закона. Линда распечатала мне статью о нем. У него очень серьезные нелады с законом. Его почитателей это, похоже, не смущает – они считают его героем. Но если ты сама нарушишь закон – просто-напросто тем, что помогаешь ему, – тебе, может быть, навсегда будет отрезан путь домой. Подумай об этом, пожалуйста.

– Что-то я не видела сообщений о практикантах, возвращающихся на родину в наручниках.

– Нарушение федерального закона – это не шутка.

– Мама, все здесь из очень состоятельных семей и хорошо образованны. Я не думаю...

– Может быть, у их родителей есть деньги на хороших адвокатов. До тех пор пока ты благополучно не вернешься, я не буду нормально спать по ночам.

– Что ж, по крайней мере, у тебя сейчас имеется хоть какая-то причина для бессонницы.

Это было, пожалуй, жестоковато, но Пип теперь видела – ей следовало

это видеть до того, как она приняла ошибочное решение позвонить, – что мать не может предложить ничего полезного.

– Оп-ля, – сказала она. – Педро мне машет – надо идти.

Она двинулась к амбару, и тут из него вышла Уиллоу. На ней был деспотически красивый сарафан в горошек.

– Привет, Уиллоу, как дела?

– Пип, мне надо с тобой поговорить.

– Ух ты, дай-ка угадаю. Ты хочешь извиниться.

Уиллоу нахмурилась.

– За что?

– Ну, не знаю... Может быть, за то, что нахамила мне вчера?

– Я не хамила. Это была откровенность.

– Господи. Охренеть.

– Seriously, – сказала Уиллоу. – Что ты услышала в моих словах, кроме откровенности?

Пип вздохнула.

– Даже не вспомню. Ты права, конечно.

– Андреас сейчас сказал мне, что хочет, чтобы мы работали вместе. Я думаю, это отличная идея.

– Еще бы ты не думала.

– В смысле?

– Он велел тебе начать испытывать ко мне теплые чувства, и ты их испытываешь. Естественно, меня от этого жуть берет.

– Я и до этого хотела их испытывать, – сказала Уиллоу. – Мы все хотели. Просто нам нелегко переварить твой скепсис.

– Уж так я устроена. Иначе не могу.

– Тогда, может быть, расскажешь мне? Если я получше пойму, откуда он идет, он больше не будет мне мешать. Давай прогуляемся и поговорим.

– Уиллоу. – Пип помахала рукой перед ее глазами. – Проснись! Ты абсолютную жуть на меня наводишь. От тебя у меня мозги набекрень. Ты была по-настоящему зла на меня вчера вечером – уж что я почувствовала, то почувствовала. А теперь навязываешься в подруги? Потому что Андреас тебе так велел?

Уиллоу усмехнулась.

– Он велел мне помнить, что ты странная – что твой ум работает по-своему. И он прав. Ты действительно странная.

Пип отделилась от нее и решительно пошла к амбару. Уиллоу побежала следом и схватила ее за руку.

– Пусти, – сказала Пип. – Ты хуже, чем Аннагрет.

– Нет, – возразила Уиллоу. – Нам предстоит очень много времени проводить вместе. Нам надо найти способ нравиться друг другу.

– Ты мне никогда не будешь нравиться.

– Почему?

– Ты не хочешь этого знать на самом деле.

– Я хочу знать. Я хочу, чтобы ты была со мной откровенна. Только так, иначе ничего не выйдет. Давай посидим, и ты мне выскажешь все, что имеешь против меня. Я уже сказала, что мне не по душе твой скепсис.

Пип надо было, похоже, выбрать одно из двух: либо укладывать чемодан, либо послушаться Уиллоу. Если бы она не позвонила матери, она могла бы воображать, что ей есть к чему возвращаться домой. И ведь она приехала сюда в надежде получить информацию, но еще не получила; Коллин и Андреас назвали ее отважной. Так что она села с Уиллоу в тени цветущего дерева.

– Я имею против тебя то, что ты гораздо красивее меня, – сказала Пип. – И то, что всегда среди девушек есть альфа-особи и ты одна из них, а я нет. И то, что ты училась в Стэнфорде. И то, что тебе не надо беспокоиться из-за денег. И то, что до тебя никогда не дойдет настоящего, насколько ты привилегированна. И то, что ты любишь Проект и ни капельки не чувствуешь здешней жути. И то, что у тебя нет причин язвить. И то, что ты вообразить не можешь, каково это – быть бедной и не знать, как выплатить долг, быть дочерью одинокой депрессивной матери, быть такой злой и нелепой, что даже никакого бойфренда... господи, зачем я все это говорю? – Пип с отвращением покачала головой. – Это моя жалость к себе, ничего больше.

Но Уиллоу залилась пурпурной краской.

– Нет, – возразила она. – Нет. Ты просто высказала то, что многие обо мне думают. Я всегда это знала.

Ее лицо искривилось, она заплакала. Пип была в ужасе.

– Я не виновата, что у меня такая внешность, – шмыгая носом, жаловалась Уиллоу. – Я не виновата, что привилегированна.

– Я знаю, знаю, – утешала ее Пип. – Конечно, не виновата.

– Чем я могу это компенсировать? Как мне быть, что я должна сделать?

– Ну... Скажем, так. Есть у тебя лишние сто тридцать тысяч долларов? Уиллоу улыбнулась сквозь слезы.

– Забавно. Да, ты и правда странная.

– Истолковываю это как отказ.

– Ведь я тоже страдаю. Страдаю, поверь мне. – Уиллоу взяла руки Пип

и потерлась о ее ладони большими пальцами. Это бесцеремонное хватание рук, судя по всему, было особой фишкой Проекта. – Послушай, могу я быть с тобой совсем откровенной?

– Будет только справедливо.

– У того, что я на тебя косо смотрю, есть еще одна причина. Он к тебе равнодушен.

– К тебе тоже, мне кажется.

Уиллоу покачала головой.

– То, как он со мной про тебя говорил... мне все ясно стало. И даже раньше мне было ясно. Ты явно была не очень воодушевлена Проектом. А потом мы узнали о вашей электронной переписке... Трудновато будет работать с тобой, зная, до чего он к тебе равнодушен.

Пип начала испытывать двойной страх: перед тем, что она и вправду нравится Андреасу больше других, и перед тем, что к ней из-за этого будут относиться неприязненно, что придется просить прощения – в первую очередь у Коллин.

– Так, – сказала она. – Теперь уже у меня возникает чувство вины.

– Ничего веселого, согласна?

Уиллоу улыбнулась, наклонилась к ней и по-сестрински обняла. У Пип появилось нехорошее ощущение, что она купилась на перспективу дружбы с альфа-особью, на возможность быть принятой в здешнюю среду. Так или иначе, недоверие к Уиллоу у нее прошло. Это выглядело шагом вперед.

Вечером на веранде Пип рассказала Коллин почти все о событиях дня.

– Уиллоу далеко не худшая, – заметила Коллин. – Сказала она тебе, что три года назад у нее погиб один из братьев?

– Боже мой, нет.

– Сноуборд, несчастный случай. Она до сих пор на таблетках, да еще каких. Волк по фамилии Вольф, разумеется, об этом знает. Волк всегда чувствует, кто слабая овечка в отаре.

То, что Уиллоу не стала, говоря с ней, разыгрывать карту своей утраты, впечатлило Пип – почти привело в замешательство. Просто сидела под деревом и безропотно принимала наказание. Да, сильно, должно быть, подействовали на нее слова Андреаса.

– Теперь я чуть лучше понимаю твое положение здесь, – сказала Пип.

– Вот-вот. Из того, что ты рассказала, я делаю вывод, что с момента твоего приезда мои дни тут сочтены.

– Коллин. Ты же знаешь, я больше хочу дружить с тобой, чем с ним.

– Это ты сейчас говоришь. Но он вернулся только вчера.

– Я не желаю тут находиться, если тебя тут не будет.

– Серьезно? Если ты хотела побыть подальше от матери, две недели – это маловато.

– Я не обязана возвращаться в Калифорнию. Мы можем вместе поехать куда-нибудь еще.

– Мне казалось, ты задалась целью найти отца.

– Может быть, Флор даст мне сто тридцать тысяч, и тогда мне не надо будет его искать.

– Тебе еще многое предстоит узнать о богатых людях, – сказала Коллин. – Флор и зубной пастой не поделится.

На следующее утро, когда Пип после ранней прогулки вошла в амбар, Уиллоу, не изменившись внешне, показалась ей совсем другим человеком – душевно неустойчивой особой на антидепрессантах, охваченной чувством вины из-за смерти младшего брата. На сей раз Пип обняла ее первой. Она не могла решить – то ли она хорошо поступает, преодолевая в какой-то мере свою враждебность, то ли скверно и своекорыстно, обнимаясь с девушкой из узкого круга; то ли она прогрессирует, то ли развращается. Так или иначе, талант к поиску информации у Уиллоу был потрясающий. Она так стремительно набирала текст и орудовала мышкой, работала с таким большим количеством окон одновременно – переход из рук в руки недвижимости в Австралии, списки директоров австралийских корпораций, архивы австралийских бизнес-новостей, анонимные базы данных австралийского правительства, – что Пип стало ясно: пройдут недели, прежде чем она научится следить за действиями Уиллоу, не теряя нить.

Андреас не говорил с ней отдельно ни в тот день, ни на завтра, ни в последующие десять дней. Он то и дело тихо совещался с другими девушками, курсировал между амбаром и зданием, где трудились парни, вел долгие рабочие разговоры с Уиллоу, тогда как Пип по-ученически сидела рядом. В том, что он игнорировал ее одну, словно подчеркивая, что из практикантов только она не вносит существенного вклада в общее дело, был очевиден умысел. Он явно старался разжечь в ней аппетит к личному контакту, к новым моментам пьянящей откровенности. Она, со своей стороны, не могла побудить себя ни к противостоянию ему, ни к негодованию на него. Он помешал у нее в голове деревянной ложкой. Ей хотелось новую порцию того, что он пока утаивал. Не какую-нибудь там огромную порцию, говорила она себе. Совсем чуть-чуть, чтобы вспомнить, какой у этого вкус, чтобы проверить, может ли Андреас Вольф оказать на нее такое же воздействие во второй раз.

А потом вдруг выяснилось, что он опять отбыл.

– Тони Филд в городе, – сообщила ей за ужином Коллин.

– Правда? В Санта-Крус? А почему она прямо сюда не приехала?

– Он тщательно разделяет работу и развлечения. Кроме того, в отношении Тони, видимо, нужны особые меры. Она слегка зарывается – до того им увлечена. Похоже, перестала понимать, кто устанавливает правила. Приехать к нему в Боливию – уже значит грубо их нарушить. Может быть, в эту самую минуту он прекращает отношения с ней. Наиделикатнейшим образом, конечно.

– Это ты от него узнала?

– Он очень многим со мной делится, сестричка. Я по-прежнему для него первый ноль среди нулей. Не забывай об этом, пожалуйста.

– Ненавижу тебя.

– Разбиваешь мне сердце, Пип. Я же тебя честно предостерегала на его счет. А теперь ты мне такое говоришь.

Через два дня, вернувшись с утренней прогулки, Пип увидела, что на лужайке перед главным зданием ее ждет Педро; рядом стоял “ленд-круизер”. Она по-прежнему понимала Педро далеко не на сто процентов, но уловила, что *El Ingeniero* (так он называл Андреаса) хочет, чтобы она немедленно приехала к нему в Санта-Крус.

– ¿Yo? ¿Está seguro?

– Si, claro. Pip Tyler. Va a necesitar su pasaporte^[57].

Педро не терпелось ее везти, но она выпросила у него разрешение принять душ и переодеться. И так разнервничалась, что машинально принялась намыливать голову по второму разу. Она совершенно не представляла себе, для чего могла бы ему там понадобиться. В голове сталкивались между собой осколки мыслей. Нет времени спрашивать у Коллин, бывало ли такое, чтобы практиканты ездили с Андреасом. Нет времени спрашивать у Педро, брать ли что-нибудь кроме паспорта и как одеться. Она опустила глаза на левую ладонь и увидела, что в третий раз наполнила ее шампунем.

Поездка в город показалась не такой эпически длинной, как из города. Цивилизация возвращалась в виде пыльных дорожных работ, дешевых громкоговорителей, откуда лилась *música valluna*^[58], щитов с рекламой мобильных устройств, детей группами в школьной форме, все более ощутимой примеси взвешенных частиц в воздухе. Только когда они добрались до кольцевых бульваров Санта-Круса, до улиц с магазинами, которые были просто маленькими складами без передней стены, Пип отважилась спросить Педро, почему, он думает, *El Ingeniero* вызвал ее в город.

Педро пожал плечами:

– *Negocios. Él siempre tiene algún “negocito” que atender*^[59].

В более ухоженной и тенистой части города они остановились у невысокого отеля под названием “Кортес”. Педро помог ей получить номер и велел сидеть в нем и ждать звонка от *El Ingeniero*. Она взгляделась в лицо Педро, ища признаков тревоги за нее, но он только улыбнулся и пожелал ей получить удовольствие от города.

Она никогда раньше не останавливалась в отеле. В вестибюле и баре, по которым она медленно прошла с рюкзаком на плече, слышались разговоры на английском и, может быть, на русском. Во двореке росли палисандровые деревья и стоял большой аист из стеклопластика с телефоном-автоматом в животе. Ей показалось, что она видит Андреаса за столиком у бассейна, но это был не он.

Номер отеля, предназначенный ей одной, где ради нее одной сделали уборку, был, может быть, самым шикарным подарком, какой она получала в жизни. В уборной поперек сиденья бумажная полоска с надписью *desinfectado*, стаканы для питья – в хрустящей чистой бумаге, телевизор, встроенный кондиционер, мини-бар, словом – полная роскошь. Ей вспомнились рассказы одноклассников о гавайских курортах, восторги подруг по колледжу по поводу обслуживания в номерах, вспомнилось, какой обездоленной она чувствовала себя, слушая. Даже семьи из более бедных иногда останавливались в недорогих мотелях. Но ее мать никуда не ездила, и в весенние каникулы, когда однокурсники колесили по дорогам, она, послушная долгу, неизменно приезжала домой в Фелтон.

Она скинула туфли, бросилась на кровать и перекатилась, наслаждаясь чистотой наволочек. Закрывает глаза и увидела шоссе в тропиках с *rompetuelles*. Она ожидала скорого звонка, но телефон молчал, поэтому она лежала и слушала Арету Франклин. Пыталась смотреть мыльные оперы, но с ее испанским толку было мало. Выпила пива, взяв бутылку из мини-бара, и в конце концов принялась за роман Барбары Кингсолвер^[60], который навязала ей Уиллоу. Солнечный свет за окном, смягчаясь, приобретал абрикосовый оттенок, когда позвонил Андреас.

– Очень хорошо, вы на месте.

– Да, – подтвердила Пип. После часов, проведенных в кровати гостиничного номера, ее голос прозвучал чувственно. Уже в том, что он заставил ее немалую часть дня пробыть в постели, было нечто от деревянной ложки.

– У меня был очень долгий разговор с помощником министра

обороны.

– Впечатляет. О чем вы говорили?

– Я буду в баре. Вы не могли бы спуститься?

Когда она клала трубку, руки у нее дрожали – целиком, от самых плеч. Вновь ощущение, что понятия не имеешь, где находишься. Она почти видела то, о чем ей говорила мать: нехорошую подоплеку интереса Андреаса к ней. Казалось, все происходит само, помимо ее воли – до того стремительно настал этот момент, до того прямой была линия от анкеты Аннагрет до номера в отеле “Кортес”. Но ведь никто не принуждал ее послать Андреасу электронное письмо. Для приезда в Боливию у нее были свои личные причины, и, если честно, ничего выдающегося, ничего сверхпривлекательного в ней нет. Что, просто-напросто самая слабая овечка в отаре?

Андреас сидел за столом в углу бара и печатал на планшете. По пути к нему до Пип донеслись от стола, где сидели три бизнесмена-американца, слова: “Тони Филд”. Американцы смотрели на Андреаса, и это усугубляло ее смущение, когда она, никому не известная, села рядом с ним. Он печатал еще несколько секунд, потом поднял глаза от планшета и улыбнулся ей.

– Итак, – сказал он.

– Вот именно: итак, – отозвалась Пип. – Все это крайне необычно.

– Хотите выпить?

– Нас не выгонят отсюда, если я не буду?

– Конечно, нет.

Она скрестила руки на груди, чтобы они не дрожали, но вместо них теперь задрожал подбородок. Она чувствовала себя абсолютно потерянной.

– У вас страшно испуганный вид, – сказал Андреас. – Пожалуйста, не пугайтесь. Я понимаю, вам все это кажется странным, но поверьте, я вызвал вас сюда исключительно по делу. Мне надо с вами поговорить, но там я не могу. Там целая сеть наблюдения и прослушки, которую я же и создал.

– Всегда есть лес, – возразила Пип. – Кроме меня, там, по-моему, никто не гуляет.

– Доверьтесь мне. Так будет лучше.

– Доверие – пожалуй, противоположное тому, что я чувствую сейчас.

– Повторяю: это по делу, и только. Как вам нравится работать с Уиллоу?

– С Уиллоу? – Она оглянулась через плечо на американцев. Один из них все еще смотрел на Андреаса. – Все как вы обещали. Она ко мне

искренне добра. Правда, не уверена, что она сохранит ко мне теплые чувства после того, как я побуду с вами в этом отеле. Коллин точно не сохранит. Я уже здорово скомпрометирована этой поездкой.

Андреас взглянул на американцев и легонько им помахал.

– Тут за углом есть милая *churrasquería*^[61]. В это время дня там почти никого. Хотите перекусить?

– И да и нет.

Идя по улице со Светоносцем, она ощущала за плечами свой глупый рюкзачок и чувствовала себя глупой деревенской девчонкой из долины Сан-Лоренсо. Над головой, перекрикивая шум автобусов и мотороллеров, стайкой пролетели оранжево-зеленые попугаи. Она жалела, что не может улететь с ними. В *churrasquería*, в уединенном угловом отсеке, Андреас заказал бутылку вина. Она знала, что ей не стоит пить, но не могла воспротивиться.

– Честно вам скажу, – призналась она, когда вино было налито. – Мне неизвестно, почему я здесь, но я не хочу этого узнавать.

– Вы были вольны решать, – сказал он. – Вы не обязаны были ехать.

– Как это – вольна решать? Вы начальник, вы платите мой долг. У вас вся власть. Вы владеете всем, я ничем. Но это не значит, что я хочу быть у вас на особом счету.

Он смотрел, как она пьет, но сам не пил.

– Разве это плохо – быть на особом счету?

– Вы смотрели последнее время какие-нибудь детские фильмы?

– Я высидел “Холодное сердце” с женщиной, с которой встречался.

– Там всё каждый раз крутится вокруг того, что кто-то особый, избранный. “Только ты можешь спасти мир от Зла” – в таком роде. И плевать, что эта избранность теряет всякий смысл, если все мальчики и девочки избранные. Я смотрела эти фильмы и думала про всех неизбранных, про участников массовки. Про тех, кто просто живет в обществе, – ведь это трудная работа. Вот кто для меня близкие люди. Кино надо снимать о них.

Он усмехнулся.

– Вам надо было родиться в Восточной Германии.

– Может быть!

– Вы хотите быть как все. Но что, если это окажется несбыточной мечтой?

– Поймите наконец, если вы действительно хотите мне помочь – оставьте меня в покое. Не заставляйте меня целый день ждать вас в номере отеля. Я предпочитаю быть в общей массе.

– Сожалею, что причинил вам неудобство, – сказал он. – Я очень хорошо вас понимаю. Но и мне нужна помощь с вашей стороны.

Пип снова наполнила свой бокал.

– Так. Догадываюсь, на очереди у нас план “Б”.

– Я хочу признаться вам в том, в чем за всю жизнь признался только одному человеку. И прошу вас, когда вы это услышите, подумать, кто из нас двоих теперь имеет власть над другим. Я намерен дать вам власть, которой, вы говорите, у вас нет. Хотите ее получить?

– О господи. Еще одна порция правды?

– Да, еще одна. – Он оглядел пустой ресторан. Официант вытирал бокалы; снаружи темно. – Можно вам доверять?

– Я никому не сказала про вас и вашу голую мать.

– Это были цветочки. А вот ягодки.

Он поднял свой бокал, подержал перед глазами и осушил.

– Я убил человека, – сказал он. – Когда мне было двадцать семь. Лопатой. Я тщательно все спланировал и сделал это хладнокровно.

Опять деревянная ложка в голове, и на этот раз хуже, потому что на этот раз чувство было такое, словно смятение идет от него, из его головы. Его лицо выражало муку.

– Я полжизни уже с этим живу, – проговорил он. – Никуда не уходит.

То, что он сказал, никак не могло быть правдой, но вид у него был до того несчастный – вид рядового человека, страдающего и несколько не похожего на знаменитость, – что она потянулась через стол и сжала его руку.

– Это был отчим Аннагрет, – сказал он. – Ей было пятнадцать, он ее домогался. Он работал в Штази, и ей неоткуда было ждать помощи. Она пришла в церковь, где я работал. Я убил его, чтобы избавить ее.

Пип забрала руку обратно и положила себе на колени. Однажды, когда она училась в старших классах, к ним на урок граждановедения пришел бывший заключенный рассказать о тюремной системе Калифорнии. Этот выходец из среднего класса, белый, хорошо владеющий речью, просидел пятнадцать лет за то, что в пылу ссоры застрелил отчима. Когда он заговорил о своих нынешних трудностях с женщинами, о дилемме – признаваться или нет до первого свидания, что отбыл срок за убийство, – у Пип при мысли о свидании с ним поползли мурашки. Убийца навсегда остается убийцей.

– Что вы об этом думаете? – спросил он.

– Это очень тяжело.

– Еще бы.

– Вы правда никому про это не говорили, кроме меня?
– За одним ужасным исключением – никому.
– Это не инициация? Через это не все проходят, кто начинает у вас работать?

– Нет, Пип, не инициация.

Ей вспомнилось, что после того, как от признаний бывшего заключенного у нее поползли мурашки, пришло ощущение вины и сочувствие ему. Вечно носить повсюду то, что совершил однажды импульсивно, – мучительная судьба. Она сама то и дело совершала импульсивные поступки.

– Так, – сказала она. – Видимо, это настоящая причина того, что вы доверяете Аннагрет.

– Да. Я не все вам рассказал про нас с ней.

– Аннагрет знает, что вы совершили.

– Конечно. Она мне помогала.

– Бог ты мой.

Он наполнил опустевшие бокалы.

– Нам это сошло с рук, – сказал он. – У Штази были подозрения, но родители меня защитили. В конце концов я завладел материалами дела, и дела не стало. Но возникла проблема. После падения Стены я допустил ужасную ошибку. Познакомился в баре с одним человеком, с американцем, и признался ему. – Он закрыл лицо руками. – Жуткая ошибка.

– Зачем вы ему рассказали?

– Он мне понравился. Внушил доверие. К тому же мне нужна была его помощь.

– Но почему это была ошибка?

Андреас опустил руки. В его лице появилась жесткость.

– Потому что сейчас, через столько лет, у меня есть причины подозревать, что он намерен с помощью этой информации погубить Проект. От него уже поступила угроза, довольно-таки нацеленная. Соображаете теперь, почему мне нужен практикант, которому я могу доверять?

– Чего я уж точно не соображаю – почему этот практикант я.

– Я могу вас прямо сейчас отвезти в аэропорт. Ваши вещи пришлем потом. Я пойму, если вы решите немедленно уехать и не иметь больше со мной дела. Что вы на это скажете?

Что-то было не так, совсем не так, но Пип не знала что. Казалось невозможным, чтобы Андреас убил человека лопатой, но в такой же степени казалось невозможным, чтобы он просто-напросто все выдумал.

Правду он говорил или нет, она чувствовала, что этим признанием он пытается что-то с ней сотворить. Что-то неподобающее.

– Анкета, – сказала она. – Кроме меня, вы никому ее не предлагали.

Он улыбнулся.

– Вы – особый случай.

– Кроме меня – никому.

– Вы представить себе не можете, как я рад, что вы здесь.

– Но почему я? Разве вам не лучше подошла бы ваша горячая сторонница?

– Вот именно что нет. Мы заметили кое-какие аномалии в работе нашей внутренней сети. Что-то по мелочи пропадает, в журналах передачи не все ладно. Вероятно, это звучит как крайняя степень паранойи, но на самом деле это только умеренная ее степень. У меня есть причины подозревать, что в команду внедрен журналист.

– Все же думаю, это довольно сильная паранойя.

– Раскиньте мозгами. Если человек хочет приехать к нам, чтобы шпионить, он прикинется самым горячим из сторонников. Так они и внедряются. А у меня все до одного горячие сторонники.

– А Коллин?

– Когда приехала, была горячей сторонницей. Я почти полностью ей доверяю. Почти, но не совсем.

– О господи. Да, вы настоящий параноик.

– Конечно. – Андреас вновь улыбнулся, еще шире. – Я спятил к чертям собачьим. Но этот человек, которому я признался в Берлине – который *выудил* у меня признание, – он был журналист. И знаете, чем он сейчас занимается? У него некоммерческий центр журналистских расследований.

– Как он называется?

– Лучше, если вы не будете знать – пока, по крайней мере.

– Почему?

– Потому что я хочу, чтобы вы просто слушали. Слушали без предвзятости, просто держали уши открытыми. И сообщали мне о своих впечатлениях. Вы очень чуткая, я уже это вижу.

– То есть, по сути, я должна быть подлой шпионкой.

– Может быть – если уж вам так хочется употребить это слово. Но *моей* шпионкой. Человеком, с которым я могу разговаривать и которому могу доверять. Окажете мне такую услугу? Вы можете и дальше учиться у Уиллоу. Мы будем и дальше помогать вам искать отца.

Ей вспомнился душевнобольной старина Дрейфус: *с этими немцами что-то было не так*. Она сказала:

– По-моему, вы никого не убивали на самом деле.
– Нет, Пип, я сделал это. Сделал.
– Не верю.
– Это не вопрос веры. Это факт.
– Гм. И вы говорите, Аннагрет вам помогла?
– Это было ужасно. Но – да. Помогла. Ее мать вышла замуж за очень скверного человека. Мне приходится жить с тем, что я сделал, и притом какая-то часть меня ни о чем не сожалеет.

– И если про это станет известно, тут и конец мистеру Чистеру.
– Конец Проекту, я бы сказал.
– А Проект – это вы. Ваш продукт – вы сами.
– Это ваше мнение.

У Пип резко стиснуло грудь, ее потянуло на рвоту. “Вы мне противны”, – слетело с языка. Вспышка застала ее врасплох. Она кое-как выбралась из отсека, на ходу потянулась обратно за рюкзачком, схватила его и выбежала на тротуар. Затошнило ее, что ли? Да. Она рухнула на колени под фонарем и выпустила изо рта темную струю.

Она все еще стояла на четвереньках, когда Андреас присел подле нее на корточки и положил ладони ей на плечи. Какое-то время ничего не говорил, только мягко поглаживал ее по плечам.

– Вам надо поесть, – сказал он наконец. – Думаю, это поможет.

Она кивнула. Она была в его власти – куда, спрашивается, она могла уйти? И плечи, надо признать, он ей гладил ласково. Никогда еще мужчина, годящийся ей в отцы, не трогал ее так. Она позволила отвести себя обратно в отсек, где он заказал ей омлет и картошку фри.

Съев часть омлета, она снова начала пить – пить усердно, большими глотками. В алкогольном тумане звучали слова, которые он произносил, много слов о его преступлении, об Аннагрет, о Восточной Германии, об интернете, о его матери и отце, о честности и нечестности, о разрыве с Тони Филд – и, помимо звучащих слов, был глубинный безмолвный язык намерения, язык, символом которого была деревянная ложка. Обработка, которой подвергался сейчас ее мозг, была куда более длительной и далеко идущей, чем первая. Толком следить за тем, что говорилось хоть на каком-нибудь из двух языков, было трудно, вербальный и невербальный потоки отвлекали ее друг от друга, и она к тому же все больше пьянела. Так или иначе, когда опустела вторая бутылка вина, когда Андреас расплатился с официантом и они вернулись в отель “Кортес”, где ждал Педро и ждал “ленд-круизер”, она обнаружила, что неважно, противен ей Андреас или нет.

– К полуночи вы будете дома, – говорил он между тем. – Можете

сочинить любую историю. Сломанный зуб, внезапная стоматологическая проблема – что хотите. Коллин останется вашей подругой.

Педро открыл перед ней дверь машины.

– Погодите, – сказала Пип. – Можно я немного полежу у себя в номере? Час, не больше. Голова слегка кружится.

Андреас посмотрел на часы. Ясно было – он хочет, чтобы она поехала сразу; но не менее ясно было, что он теперь не может ей приказывать.

– Час, не больше, – повторила она. – Не хочется, чтобы меня затошнило в пути.

Он нехотя кивнул.

– Максимум час.

Когда она поднялась в номер, ее тут же затошнило и вырвало. Потом она выпила кока-колы из мини-бара и почувствовала себя намного лучше. Но вниз не пошла; села на кровать и принялась тянуть время. Заставлять Андреаса испытывать нетерпение выглядело единственной доступной формой сопротивления, единственным способом дать отпор ложке. Но действительно ли она хотела сопротивляться? Чем дольше ждала, тем более эротичным казалось это ожидание. Сам факт пребывания в номере отеля подразумевал секс – для чего же еще предназначены эти номера?

Когда зазвонил телефон, она не стала брать трубку. Он прозвонил пятнадцать раз и умолк. Минуту спустя раздался стук в дверь. Пип встала и открыла, боясь, что это Педро, но это был Андреас. Бледный, сжавший губы, разгневанный.

– Прошло полтора часа, – сказал он. – Вы не слышали, как я звонил?

– Зайдите на секунду.

Он бросил взгляд в обе стороны коридора и вошел.

– Мне надо иметь основания вам доверять, – сказал он, запирая дверь. – Не слишком хорошее начало.

– Может быть, у вас и не появится для этого оснований.

– Неприемлемый вариант.

– Я не умею себя контролировать. Это установленный факт. Вы знали, с кем имеете дело.

По-прежнему бледный, по-прежнему злой, он двинулся к ней, заставляя ее отступить в угол, за телевизор. Он схватил ее за руки. Ее кожа отреагировала чутко, но она не отваживалась шевельнуться.

– Что вы собираетесь сделать? – спросила она. – Задушить меня?

Он мог бы найти это смешным, но не нашел.

– Чего вы хотите? – спросил он.

– Чего хотят от вас все девушки?

Это, похоже, позабавило его. Он отпустил ее руки и печально улыбнулся.

– Они хотят делиться со мной своими секретами.

– Это не про меня: у меня их попросту нет.

– Вы открытая книга.

– Более или менее.

Он отошел к кровати и сел на нее.

– Честно говоря, – сказал он, – довольно трудно доверять человеку без секретов.

– А мне вообще трудно доверять людям.

– Педро знает, что я у вас, и меня это не радует. Но раз уж я у вас, мы не выйдем отсюда, пока я не буду знать, что могу вам доверять.

– Тогда нам, наверно, долго придется тут пробыть.

– Хотите послушать, какая у меня теория насчет секретов?

– Разве у меня есть выбор?

– Моя теория состоит в том, что личность формируется двумя противоречивыми побуждениями.

– Какими?

– Есть побуждение хранить секреты, и есть побуждение делиться ими. Как вы убеждаетесь, что вы личность, отдельная от других людей? Тем, что некоторые вещи от них утаиваете. Вы оберегаете их от посторонних, потому что в противном случае не будет разницы между внутренним и внешним. Иметь секреты – это способ знать, что у вас есть внутренний мир. Радикальный эксгибиционист – это человек, отказавшийся от своей личности. Но личность в вакууме тоже бессмысленна. Рано или поздно вашему внутреннему миру нужно, чтобы кто-то в него заглянул. Иначе вы просто корова, кошка, камень – всего лишь вещь в мире, предмет, запертый в своей предметности. Чтобы быть личностью, нужна вера в то, что существуют и другие личности. Нужна близость с другими людьми. А чем эта близость создается? Тем, что делятся секретами. Коллин знает, что вы втайне думаете об Уиллоу. Вы знаете, что Коллин втайне думает о Флор. Ваша личность существует на пересечении этих линий доверия. Вы видите какой-то смысл в том, что я говорю?

– Какой-то вижу, – сказала Пип. – Но довольно странно, что эту теорию проповедует человек, чья профессия – выставлять напоказ чужие секреты.

– Вы что, не слушали меня в ресторане? Я занимаюсь этим не по своей воле. Я в ловушке. Я ненавижу интернет так же сильно, как ненавижу свою родину.

– Будем считать, что я прослушала.

– Вы себя-то хоть слушаете? Я не потому этим занимаюсь, что по-прежнему верю во что-то. Нет, теперь это я сам. *Моя личность*.

Он сделал жест, в котором читалось отвращение к себе.

– Не знаю, что вам сказать, – промолвила Пип. – Я уже открыла вам свой секрет. Вы знаете мое настоящее имя.

– В вашем имени нет ничего стыдного.

– В средних классах у меня был период, когда я воровала в магазинах. В десять лет сильно увлеклась мастурбацией.

– Разве это не у всех бывает?

– Ладно, выходит – ничего нет. Я скучная и обыкновенная. Повторяю, вы знали, с кем имеете дело.

Вдруг – она даже плохо поняла, как он преодолел разделявшее их расстояние, – он снова зажал ее в углу. Его губы были у ее уха, ладонь втиснулась между ее ног. Настал странный, насыщенный предчувствием промежуточный момент. Сама не в силах дышать, она слышала его тяжелое дыхание. Потом его рука двинулась вверх, коснулась ее живота и опустилась в джинсы и трусы.

– А это у вас что? – прошептал он ей на ухо. – Разве не тайное местечко?

– Довольно-таки тайное, – подтвердила она с бьющимся сердцем.

– Не это ли путь к тому, чтобы я вам доверял?

Она не могла поверить, что это происходит. Кончик его пальца внедрялся в нее, и не сказать чтобы ее тело говорило “нет”.

– Не знаю, – прошептала она. – Может быть.

– Вы мне это разрешаете?

– Гм...

– Просто скажите мне, чего вам хочется.

Она не знала, что сказать, но что-то сказать, вероятно, следовало, ибо в отсутствие возражений он свободной рукой расстегивал ей джинсы.

– Я знаю, что я на это напрашивалась, – прошептала она. – Но...

Он откинул голову назад. Его глаза блестели алчущим блеском.

– Но что?

– Ну... – произнесла она со смущением. – Разве не принято до того, как лезть в девушку пальцем, поцеловать ее?

– Вам этого хочется? Поцелуя?

– Ну, вот прямо сейчас, если выбирать между одним и другим, пожалуй, да.

Он поднял ладони и сложил их чашечкой вокруг ее щек. Она

почувствовала свой собственный интимный запах и, кроме него, его мужской телесный дух, не неприятный, в котором чудилось что-то европейское. Она закрыла глаза для поцелуя. Но когда получила его, он не вызвал в ней отклика. Почему-то оказался не тем, чего ей хотелось. Ее веки поднялись, и она увидела, что он глядит ей в глаза.

– Поверьте мне, я не ради этого вызвал вас сюда, – сказал он.

– Вы уверены, что хотите этого именно сейчас?

– Совсем честно? Чего я по-настоящему хочу – это поцеловать другое место вашего тела.

– Ничего себе.

– Вам это должно понравиться. И потом вы сможете уехать, а я смогу вам доверять.

– Вы всегда так с женщинами? У вас и с Тони Филд так было?

Он покачал головой.

– Я же вам говорил. В таких сделках я не являюсь собой. Вам я открываю свое истинное “я”, потому что хочу, чтобы мы друг другу доверяли.

– Ладно, но, простите, не понимаю: как это поможет вам доверять *мне*?

– Вы сами это сказали. Если Коллин станет известно, она вас не простит. И ни одна из практиканток не простит. Я хочу, чтобы у вас был секрет, который знаю я один.

Она нахмурилась, стараясь уразуметь его логику.

– Подарите мне этот секрет? – Он снова обнял ладонями ее щеки. – Пойдемте, ляжем вместе.

– Может быть, лучше будет, если я поеду.

– Ведь вы сами захотели подняться в номер. Вы сами заставили меня прийти к вам.

– Вы правы. Я сама.

– Поэтому ложитесь. Тот, кем я являюсь на самом деле, это человек, который хочет войти в вас языком. Позвольте мне это? Позвольте, очень вас прошу.

Почему она пошла за ним к кровати? Чтобы быть храброй. Чтобы принять правила игры, диктуемые номером отеля. Чтобы отомстить равнодушным мужчинам в Окленде. Чтобы сделать ровно то, чего боялась ее мать. Чтобы наказать Коллин за более сильные чувства к Андреасу, чем к ней. Чтобы стать женщиной, которая приехала в Южную Америку и заполучила в любовники знаменитого, могущественного мужчину. У нее не было недостатка в сомнительных причинах, и сейчас, на кровати, когда он, не форсируя событий, целовал ее в глаза и гладил по голове, целовал в

шею, расстегивал на ней рубашку, помогал снять лифчик, касался грудей взглядом, пальцами, губами, нежно спускал с ее бедер джинсы, еще нежней трусы, – все эти причины пребывали в гармонии. Она чувствовала, как дрожат у нее на бедрах его руки, чувствовала, как он возбужден, и это было нечто – это было колоссально много. Похоже, ему на самом деле нужно было ее тайное местечко, и не столько умелые *negocitos*^[62] его губ и языка, сколько сознание этой нужности заставило ее кончить так горячо, так неистово.

Но когда все было позади, вернулась ее неприязнь к нему. Она была смущена и чувствовала себя грязной. Он целовал ее в щеки, в шею, благодаря ее. Она знала, чего требует от нее вежливость, и неослабевающая настоятельность его поцелуев говорила ей, что он этого хочет. Отказать будет эгоистично и неестественно с ее стороны. Но она ничего не могла поделать; трахаться, преодолевая неприязнь, – нет, она не была к этому готова.

– Мне очень жаль, – сказала она, мягко отстраняя его.

– Тебе не должно быть жаль. – Он надвинулся на нее, его ноги в брюках вклинились между ее голых ног. – Ты замечательная. Ты всё, на что я мог надеяться.

– Нет, это было здорово. Грандиозно. Я никогда так быстро и бурно не кончала. Это было просто... сама не знаю что.

– Боже ты мой, – произнес он, закрывая глаза. Взял в руки ее голову, а внизу слегка надавил тем, что бугрилось у него под брюками. – Боже ты мой, Пип. Боже ты мой.

– Но, гм... – Она опять попыталась оттолкнуть его. – Я думаю, мне надо поехать сейчас. Вы сами сказали, что я смогу после этого поехать.

– Мы с Педро придумали легенду, что сломался мост машины. У нас несколько часов, если ты захочешь.

– Я пытаюсь быть честной. Разве не в этом смысл того, что мы здесь?

Он, похоже, сразу постарался стереть то выражение, что возникло на его лице: оно исчезло почти мгновенно, уступив место его обычной улыбке. Но на миг она это увидела: он сумасшедший. Точно в плохом сне – во сне, где внезапно вспоминаешь нечто забытое, скверное, наполняющее чувством вины, – ей пришло в голову, что он ведь убил человека. Да, убил, это не выдумка.

– Все нормально, – сказал он с этой своей улыбкой.

– Это не значит, что мне не понравилось то, что сейчас было.

– Все нормально, не переживай.

Не целуя ее и даже не взглянув на нее, он встал и пошел к двери. По

пути разгладил рубашку и поддернул брюки.

– Пожалуйста, не сердитесь.

– Я нисколько не сержусь, ровно наоборот, – сказал он, по-прежнему не глядя на нее. – Я без ума от тебя. Совершенно неожиданно без ума от тебя.

– Мне очень жаль.

В “ленд-крузере”, чтобы спасти остатки достоинства, она сказала Педро, что *El Ingeniero* нужна была помощь в его *negocios*. Педро, насколько она поняла, ответил в том смысле, что *El Ingeniero* делает очень сложную работу, которая выше его понимания, но ему и не надо ее понимать, чтобы хорошо исполнять свои обязанности в Лос-Вольканес.

Они вернулись домой сильно за полночь, но у Коллин все еще горел свет. Решив, что ложь лучше проглатывается в свежем виде, Пип направилась прямо к ней. Коллин сидела в постели с учебным пособием и карандашом.

– Долго сегодня не спишь, – сказала Пип.

– Готовлюсь к поступлению в Вермонтскую коллегия адвокатов. У меня эта книжка уже год лежит. Сегодня показалось – как раз подходящий момент, чтобы открыть наконец. Как тебе Санта-Крус?

– Я не была в Санта-Кресе.

– Ну прямо.

– За завтраком у меня выпала большая пломба. Педро повез меня к зубному. Но по пути наехал на скорости на “лежащего полицейского” и сломал мост. Я шесть часов просидела у гаража.

Коллин аккуратно сделала в книжке карандашную пометку.

– Врать не умеешь абсолютно.

– Я не вру.

– Тут за двести миль нет ни одного *rompetuelles*, которого Педро бы не знал.

– Мы с ним заговорились, и он не увидел.

– А ну вали из моей комнаты ко всем чертям.

– Коллин.

– Ничего личного. Ты не тот человек, которого я ненавижу. Я знала, что когда-нибудь это произойдет. Просто мне жаль, что это оказалась ты. В тебе очень многое мне было симпатично.

– И мне в тебе – было и есть.

– Я сказала, вали отсюда.

– Ты с ума сошла!

Наконец Коллин подняла глаза от пособия.

– Так. Ты что, хочешь мне врать? Продолжать хочешь?

Слез в ее глазах не было. Они появились у Пип.

– Прости меня.

Коллин перевернула страницу, делая вид, что читает. Пип постояла еще немного в двери, но Коллин была права. Говорить было не о чем.

Утром вместо прогулки Пип пошла завтракать с другими. Коллин в столовой не было, но Педро был. Он уже рассказал историю об их с Пип неудачной поездке к зубному врачу. Если у Уиллоу и других возникли подозрения, они их не выказали. Пип была сама не своя от неопределенного страха и от конкретного чувства вины перед Коллин, но для всех остальных это был очередной день Солнечного Света.

Коллин уехала через два дня. О причинах она высказалась уклончиво: мол, пришло время сменить обстановку, и когда ее уже не было, другие девушки могли без опаски обмениваться откровенными снисходительными суждениями о ее депрессии и о ее любовных страданиях по Андреасу; все сошлись на том, что отъезд для нее – необходимый шаг к восстановлению самооценки. В определенном смысле так оно и было. Но у Пип внутри не гасла верность бывшей подруге и чувство вины перед ней.

Вернувшись, Андреас назначил вместо Коллин административным директором шведа Андерса. Но поскольку никто не считал, что Андерс чем-либо особенно дорог Андреасу, место Коллин на вершине неофициальной иерархии перешло к той, кому, как всем было известно, Андреас симпатизировал сверх обычной меры, к той, чье пребывание в Лос-Вольканес имело, по общему мнению, более незаурядные причины, чем у всех. Теперь именно к Пип Андреас подсаживался за ужином, именно ее стол всегда заполнялся первым. К ее приятному изумлению, Флор вдруг прониклась сильным желанием дружить. Флор даже напросилась с ней погулять, ей захотелось самой почувствовать запахи, которыми восхищалась Пип, и после этого другие девушки начали конкурировать за право составить Пип компанию.

Не вполне здоровое удовлетворение, которое Пип получала от того, что впервые в жизни оказалась в центре кружка, от того, что ее приняли и за нее идет соперничество, связалось в ее сознании с воспоминаниями о языке Андреаса и о взрыве, которым отозвалось на его ласки ее тело. Даже то, что она почувствовала себя потом грязной, было задним числом приемлемо и на какой-то испорченный манер приятно. Она воображала себе некий установившийся порядок, при котором она продолжала бы время от времени пользоваться этой привилегией, и он мог бы ей доверять, и она получала бы свое нечистое удовольствие. Он сам намекнул: он – из

любителей куннингуса. Какой-то взаимоприемлемый порядок наверняка можно выработать.

Но неделя шла за неделей, август сменился сентябрем, и хотя Пип уже была полноправной исследовательницей, самостоятельно выполняла несложные задания по поиску информации, оставлявшие ей время для кропотливых поисков имени “Пенелопа Тайлер” в онлайн-архивах окружных судов, Андреас упорно избегал разговоров с ней один на один – таких, какие он вел с Уиллоу и со многими другими. Она понимала: предполагается, что она ради него шпионит, и поэтому их никогда не должны видеть за тихой конспиративной беседой. Но, с другой стороны, все это шпионство казалось ей нелепым – она ни от кого не получала никаких флюидов, кроме бьющей через край искренности, – и у нее стало возникать чувство, что он ее наказывает; что она, отказавшись ему отдаться, обидела и осрамила его. Теплота и дружелюбие, которые он неизменно к ней проявлял, ничего не значили; она прекрасно понимала, что он притворщик высшего класса; он почти сказал ей об этом сам, и его беспрестанные разговоры о доверии и честности только подтверждали это. В душе, все больше убеждалась она, он сердится на нее и сожалеет, что доверился ей.

И постепенно, соблазненная языком и популярностью, она решила дать ему в следующий раз, когда они будут одни, все, чего он хочет. “Совершенно неожиданно без ума от тебя” – это, вполне возможно, остается в силе, почему нет? Она не была от него без ума, но была растревожена сексуально, испытывала любопытство и все большую решимость. Она начала присматриваться к его повседневным передвижениям, ища возможность подойти к нему, когда рядом никого нет; но в пути из амбара к программистам и обратно его всякий раз кто-то сопровождал, а когда он был один в главном здании, вечно в пределах слышимости находился либо Педро, либо Тереса. Но однажды во второй половине дня ближе к концу сентября она увидела в окне амбара, что он сидит в одиночестве в дальнем углу козьего пастбища и смотрит в сторону леса.

Она поспешила вниз и так торопливо пересекла пастбище, что распугала коз (она оставила попытки с ними подружиться; максимум, чего она могла от них добиться, это безразличия). Андреас должен был слышать ее шаги, но не поворачивался к ней, пока она не приблизилась и не увидела, что он только что плакал. Это напомнило ей кое о чем: о том, как плакал Стивен на крыльце дома в Окленде.

– Боже мой, – сказала она. – Что с вами?

Он похлопал по траве.

– Сядь, пожалуйста.

– Что случилось?

– Сядь, сядь. У меня плохая новость.

Помня, что они в пределах видимости, она села чуть поодаль от него.

– Моя мать больна, – сказал он. – У нее рак. Рак почки. Я только что узнал.

– Я вам очень сочувствую, – сказала Пип. – Я и не знала, что у вас с ней есть связь.

– Я сам с ней не связываюсь. Но она иногда дает о себе знать. Я обрубил в одностороннем порядке.

– Оставить вас одного?

– Нет, побудь. Ты чего-то хотела?

– Неважно.

– Я бы предпочел слушать про тебя, чем думать про нее.

– У нее серьезный рак? Какая стадия?

Он пожал плечами.

– Настолько серьезный, что она хочет приехать повидаться со мной. Я к ней приехать не могу при всем желании. Это хоть маленькая, но удача. От этого решения я избавлен.

– Мне хочется вас обнять. Но нельзя: нас могут увидеть.

– Это хорошо. Ты вообще очень хорошая, между прочим.

– Спасибо. Но... вы на меня не сердитесь?

– Конечно, нет.

Она кивнула, не зная, верить ему или нет.

– Большую часть жизни я ее ненавижу, – сказал он. – Одну из причин ты знаешь. Но сейчас я получил этот имейл и вспомнил, что это не настоящие причины – вернее, ими не все исчерпывается. Только половина. Вторая половина в том, что я никогда не мог перестать любить ее, несмотря ни на что. Я забываю про это, могу на годы забыть. Но теперь этот имейл...

Он шумно выдохнул; Пип не смела взглянуть и потому не знала, смех это или плач.

– Мне кажется, любовь важнее, чем ненависть, – сказала она.

– Для тебя – конечно, еще бы.

– Как бы то ни было, я вам очень сочувствую.

– Тебе, может быть, надо о чем-нибудь мне рассказать? Я могу организовать встречу без посторонних глаз.

– Нет. Мне не о чем рассказывать. Я более-менее уверена, что это ваша паранойя, и только.

– Тогда чего ты хотела?

Она повернулась к нему и лицом показала, чего. Его глаза, которые были красны, расширились.

– О... – произнес он. – Понятно.

Она опустила взгляд в землю и тихо заговорила:

– Мне очень скверно из-за тогдашнего. И я думаю, в другой раз может быть лучше. В смысле, если это вообще вам интересно.

– Да. Более чем. Я и надеяться не мог...

– Простите меня. Вы спросили, чего я хотела, но мне не следовало отвечать. Не тот момент.

– Тот, тот. Не волнуйся. – Он бодро встал, казалось забыв о своих горьких переживаниях. – На следующей неделе я поеду в город повидаться с ней. Я боялся этого, но теперь не боюсь. Я подумаю, как устроить, чтобы ты поехала со мной. Как тебе такой план?

Пип едвахватило воздуху, чтобы ответить.

– Да, хорошо, – сказала она.

Одним из довольно экзотических свойств Проекта была невозможность конфиденциальной электронной переписки. Внутренняя сеть была устроена так, что все чаты и электронные письма были доступны всем ее участникам: программисты, так или иначе, могли прочесть любое сообщение, и давать им такое преимущество было бы нечестно. Если, скажем, девушка проявляла интерес к парню (а такое происходило нередко, хотя здешние парни не были сверхпривлекательны физически), она договаривалась с ним о свиданиях либо через открытую сеть, либо при личных встречах. И вот, выходя следующим вечером из главного здания, Пип почувствовала, как Андреас вкладывает ей в руку записку.

Радуйся: твои шпионские дни, вероятно, окончены. Никакой правдоподобной легенды придумать не получается. Ты едешь со мной, потому что я встречаюсь с потенциальными инвесторами и из всех практикантов твоему суждению доверяю больше, чем чьему-либо. Но подумай хорошенько, готова ли ты к тому, чтобы на тебя теперь смотрели иначе. Я соглашусь с любым твоим решением. Пожалуйста, сожги эту записку. А.

На веранде, над темной рекой, Пип уничтожила записку на огне зажигалки, которую оставила Коллин. Она скучала по Коллин, задавалась вопросом, не предстоят ли ей самой три года, когда ее так же будут морочить, – но в то же время чувствовала в себе победную силу. Она

глубже Коллин зашла в темную реку, глубже, чем просто по колени, и была более или менее уверена, что отношения с Андреасом у нее уже продвинулись дальше. Все это было очень странно и выглядело бы еще страннее, не будь ее жизнь такой странной с самого начала. Самой странной из всех была для нее мысль, что она может быть чрезвычайно привлекательна. Это противоречило всему, в чем она была убеждена, – или, по крайней мере, всему, в чем *хотела* быть убеждена; ибо в глубине души, где нет места притворству, может быть, каждый человек считает себя чрезвычайно привлекательным. Может быть, это просто человеческое свойство.

– Я встречу с вашей матерью? – спросила она Андреаса неделю спустя, когда Педро вез их по дороге, круто поднимавшейся по склону долины.

– А ты хочешь? Из моих женщин с ней встречалась только Аннагрет. Моя мать была к ней очень добра – до поры до времени.

Пип была слишком взволнована словами “моих женщин”, чтобы отвечать. Относились ли они к ней тоже? Похоже, что да.

– Она очень обаятельна, – сказал Андреас. – Тебе она, наверно, понравится. Аннагрет она очень нравилась – до поры до времени.

Пип опустила окно машины, подставила лицо прохладному воздуху раннего утра и прошептала: “Я – твоя женщина?” Вряд ли Андреас мог это услышать, и все же не исключено, что услышал.

– Ты – мое доверенное лицо, – сказал он. – Мне интересно, что ты, с твоим трезвым умом, о ней скажешь.

Он положил руку на ее бедро и оставил. Почти все ее мысли за последнюю неделю сводились к одному. Симптомы влюбленности проявлялись еще ярче, чем во времена Стивена: сердце билось чаще, парализующая неловкость давала себя знать сильнее. Но симптомы эти были двойственны. Во многом так же, наверно, чувствует себя осужденный, идущий к виселице. Когда ладонь Андреаса, вызывая в ней дрожь, поползла в расщелину между бедрами, в ней ни отваги, ни даже мысли не возникло потянуться к нему рукой, отвечая тем же. Становилось очевидно, что слово “добыча” здесь уместно. Влюбленность была сродни тому, что испытывает в зубах волка трепещущая добыча.

Понаторев в испанском, она поняла все, что Андреас сказал Педро. Педро должен приехать к отелю “Кортес” на следующее утро к шести. Скорее всего, Андреас будет его ждать, но если не будет, Педро надлежит отправиться в аэропорт, встать там с плакатиком “Катя Вольф” и привезти ее в отель.

Андреас явно намеревался провести наедине с Пип весь сегодняшний день, всю ночь и, может быть, завтрашнее утро. Как нелепо было, что вначале им надо три часа просидеть на заднем сиденье, пока Педро то ускоряется, то тормозит перед “лежачими полицейскими”. Какая мука все эти *rompetuelles!*

Я влюблена, решила она. Я самая некрасивая девушка в Лос-Вольканес, но я забавная, храбрая и искренняя, и он меня выбрал. Потом он, может быть, разобьет мне сердце – ну и пусть.

В отеле “Кортес” он велел ей подождать пятнадцать минут в вестибюле, а потом подняться к нему в номер. Она смотрела, как постояльцы с влажными волосами и утренними лицами отдают ключи от номеров. Смотрела, и ей казалось, что она в никакой точке Земли в никакое время дня. Бизнесмен-латиноамериканец, праздно стоявший у стойки администратора, вперил взгляд в ее грудь. Она закатила глаза; он улыбнулся. Он был насекомым в сравнении с человеком, который ее ждал.

В номере она увидела его за письменным столом с планшетом. На кровати лежал поднос с сэндвичами и нарезанными фруктами.

– Съешь что-нибудь, – сказал он.

– У меня что, голодный вид?

– У тебя, кажется, нежный желудок. Надо, чтобы ты поела.

Она рискнула взять кусок папайи – мать говорила, что она хорошо действует на желудок.

– Чем ты хотела бы заняться сегодня? – спросил он.

– Не знаю. Есть тут какая-нибудь церковь или музей, куда стоит сходить?

– Я не люблю мелькать на публике. Но старый городской центр заслуживает внимания, это правда.

– Ты мог бы надеть солнечные очки и смешную шляпу.

– Ты именно этого хочешь?

От папайи подступила отрыжка. Возникло чувство, что она должна перестать быть добычей, каким-то образом взять инициативу в свои руки. Она по-прежнему не была склонна прикасаться к нему и все же зашла ему за спину и заставила себя положить руки на его плечи. Затем опустила их ему на грудь. Так надо было.

Он взял ее за запястья, чтобы она не убирала рук.

– Я думала, ты никогда не трогаешь практиканток, – сказала она. – Потому что это плохо для имиджа.

– Ложиться в постель со всеми подряд – да, это было бы плохо для имиджа. Влюбиться в одну – совсем другое дело.

Ее колени задрожали.

– Ты что, действительно сейчас это сказал?

– Сказал.

Деревянная ложка, деревянная ложка.

– Ладно... – промолвила она, оседая на пол.

Он отпустил ее запястья, высвободился из-за стола и, встав на колени, оказался с ней лицом к лицу.

– Пип, – сказал он, – я помню свой возраст. Я гожусь тебе в отцы. Но сердце у меня молодое – у него мало опыта настоящей любви. Вряд ли намного больше опыта, чем у тебя. Для меня тоже все это ново, меня это тоже пугает.

Деревянная ложка. Ее мозги бурлили. Не столько к любовнику, сколько к отцу она в страхе льнула сейчас; к отцу, за которого цеплялась, ища безопасности. И тем не менее накануне вечером она побрила ради него себе интимное место. Она была смущена до предела. Он крепко прижимал ее к себе, гладил по голове.

– Я нравлюсь тебе вообще? – спросил он.

Она кивнула, потому что знала, что он этого от нее хочет.

– Сильно? Или только слегка?

– Очень сильно, – ответила она по той же причине.

– И ты мне тоже.

Она снова кивнула. Но хотя это он принудил ее к лжи, ей было из-за нее нехорошо. Если он и правда начинал любить ее, лгать было скверно с ее стороны. Чтобы исправиться, она попыталась сказать ему что-то и честное, и приятное.

– Мне очень хорошо было тогда, в прошлый раз. Я все время об этом думаю. Прямо помешалась на этом. И хочу повторить это с тобой.

Его тело напряглось. Ее обеспокоило, что она, может быть, сказала не то – что он распознал ее попытку увести разговор от любви и ему от этого больно. И она поцеловала его. Рьяно, бесцеремонно, предлагая ему язык, открываясь ему; он ответил подобным же образом. Но чувственная ее сторона по-прежнему действовала только наполовину. У нее вырвалась усмешка – она не успела ее подавить.

– Что такое? – спросил он, улыбаясь.

– Прости меня, – сказала она. – Просто я спрашиваю себя, не пытаемся ли мы оба делать то, чего ни один из нас по-настоящему не хочет.

Он встревожился.

– Ты про что?

– Да нет, ничего такого, я только поцелуй имею в виду, – поспешила

она сказать. – В тот раз мне показалось, ты не был особенно настроен чмокаться. Ты откровенно дал мне это понять. И, откровенно говоря, я тоже вполне могу без этого обойтись.

И опять то же самое. Опять на секунду, на долю секунды, прежде чем он успел отвернуться, она увидела совсем другого человека. Увидела сумасшедшего.

– Ты замечательная, – сказал он, не поворачивая к ней лица.

– Спасибо.

Он встал и отошел от нее.

– Я искренне это говорю, – сказал он. – Мне кажется, я никогда в жизни так не терял равновесие. Ты заставляешь меня уменьшиться – в хорошем смысле. Я прослыл великим срывателем масок, источником правды, а ты срезаешь меня раз за разом. Я ненавижу это, и я люблю это. Я люблю тебя. – Он повернулся к ней и повторил: – Я люблю тебя.

– Спасибо, – промолвила она, зардевшись.

– И все? – спросил он не своим голосом. – *Спасибо?* Кто тебя такой сделал? Откуда ты явилась?

– Из долины Сан-Лоренсо. Это вполне себе скромное, демократическое место.

Он снова подошел к ней и рывком поднял ее на ноги.

– Ты сводишь меня с ума!

– У меня в голове тоже не сказать чтобы тишь да гладь.

– И как же мы? Как мы с тобой будем? Как нам быть вместе?

– Не знаю.

– *А ну снимай эту чертову одежду. Действует?*

– Пожалуй.

– Так снимай же. Медленно. Хочу смотреть на тебя. Трусы в последнюю очередь.

– Хорошо. Это я могу.

Ей нравилось исполнять его приказы. Нравилось больше чего бы то ни было другого, связанного с ним. Но делая, что ей было велено, расстегивая пуговицу рубашки, а за ней следующую пуговицу, а за ней следующую, она не была уверена, что ей нравится то, что ей это нравится. Ей хотелось, чтобы Стивен никогда не произносил у себя в спальне этих слов о том, что ей на самом деле нужен отец. Когда расстегивала четвертую пуговицу, а затем последнюю, ее начал охватывать страх. Перед ней открывался эмоциональный пейзаж, в котором она была зла на отсутствующего отца, на всех старших мужчин и дразнила *этого* мужчину, годившегося ей в отцы, наказывала его, бесила, побуждала предложить себя в качестве того,

кто должен восполнить пустоту в ее жизни. И ее тело отзывалось на это предложение, но отзывалось так, что ей делалось чуточку гадко. Она позволила лифчику упасть на пол.

– Господи, какая же ты красивая, – проговорил он, глядя на нее во все глаза.

– Наверно, ты хочешь сказать: молодая.

– Нет. Внутри ты еще красивей, чем снаружи.

– Продолжай говорить, – сказала она. – Это помогает.

Когда она наконец сняла с себя все, он рухнул на колени и прижался лицом к ее лобку.

– Ты побрилась ради меня, – прошептал он благодарно.

– Кто сказал, что ради тебя? – спросила она с неуверенным смешком.

Видя, как сильно она ему нравится, она и себе нравилась в эту минуту, но тем, что продолжала его дразнить, чувствуя, как на него это действует, она усугубляла свой страх. Его руки дрожали на ее ягодицах. Он целовал ее между ног, вдыхал ее запах, и она чувствовала, как это может повториться – все как в тот раз, только теперь надо будет уступить ему полностью; слово дано, и она не сможет пойти на попятный.

Но вдруг, хотя воображение было занято предстоящим сексом, она с остротой оргазма испытала нечто иное. Легкость, с какой у нее после минимума “фрикций” дошло до теперешнего, то, как быстро и беспрепятственно он устроил это свидание и добился, чтобы она стояла перед ним нагишом в номере отеля, плюс вдобавок целый клубок опасений: *отец, убийство, деревянная ложка, бегство от правосудия, сумасшедший* – все это вместе породило простую мысль: я не хочу быть его женщиной.

В трезвом свете этой мысли то, что они делали, выглядело нелепым.

– Гм, – сказала она, отступая на шаг. – Ты знаешь, мне нужен небольшой тайм-аут.

Он сразу осел.

– Что еще такое?

– Нет, я серьезно. Я полтора месяца предвкушала. Каждый вечер трогала себя, думала об этом, воображала, что это не я, а ты. Но сейчас – не знаю. Может быть, ими надо было ограничиться, этими воображаемыми встречами.

Он осел еще ниже. Она подняла лифчик и надела. Потом надела и джинсы, пренебрегая трусами, которые лежали прямо перед ним.

– Мне очень-очень жаль, – сказала она. – Не знаю, что со мной происходит.

– И чем бы ты хотела заняться вместо? – Его голос был глухим от самообуздания. – Посетить живописный городской центр?

– Честно говоря, я не загадывала дальше близости с тобой.

– Путь к ней не закрыт.

– Я, наверно, смогу, если ты мне прикажешь. Мне нравится получать от тебя приказы. В душе я, по-моему, рабыня.

– Такого приказа я отдать не в состоянии. Если ты не хочешь этого, я тоже не хочу. Но ведь ты говорила, что хочешь.

– Я знаю.

Он тяжело вздохнул.

– И что изменилось?

– Просто я вдруг почувствовала, что это был бы неверный шаг.

– Я слишком стар для тебя?

– Боже мой, нет. Мне нравится твой возраст. Пожалуй, слишком даже нравится, если на то пошло. Плюс в тебе есть это немецкое мужское, нестареющее. Эти голубые глаза.

Он наклонил голову.

– А я сам, получается, тебе не нравлюсь.

Ей стало его ужасно жаль. Она опустилась перед ним на колени, взяла за плечи, стала гладить, поцеловала в щеку.

– Ты всем нравишься, всем. Миллионам людей.

– Им нравится ложный образ. А тебе я показал себя по-настоящему.

– Мне очень жаль. Прости меня. Прости.

Она прижала его голову к своей груди и стала его легонько раскачивать, словно баюкая. Ее сердце снова начало входить с ним в контакт, и пришла мысль, что вырисовывается секс из жалости. Она никогда раньше таким сексом не занималась, но теперь видела эту возможность. Некой отдаленной частью сознания она, размышляя далее, предполагала, что когда-нибудь позже, возможно, будет испытывать удовлетворение от того, что спала со знаменитым героем, находящимся вне закона; сейчас у нее есть на это шанс, а если, напротив, выйдет так, что она продинамила героя – причем дважды! – то это ее будущее “я” истерзается сожалением.

Его лицо оставалось во впадине между ее грудей, руки лежали на ее ягодицах поверх джинсов. То, что она продинамила его *дважды*, казалось существенным. Ей вспомнились слова матери, сказанные перед тем, как она уехала из Фелтона со своим чемоданом: “Я знаю, ты очень сердита на меня, котенок, и ты имеешь на это право. Мне тревожно за тебя в джунглях, на другом континенте. Мне тревожно за тебя с Андреасом Вольфом. Но за

что мне ни капельки не тревожно – это за твое моральное чутье. Ты всегда была любящей девочкой и верно ощущала, что хорошо, а что дурно. Я знаю тебя лучше, чем ты себя. И это я про тебя знаю”. Пип, которая только и видела, что бардак, в которой она своим дурным поведением превратила все взаимоотношения, какие у нее возникали, была тогда совершенно уверена, что мать не знает про нее ровно ничего. Но вот она *дважды* отшатнулась от Андреаса, когда все было за то, чтобы отдаться, – может быть, это что-то значит? Может быть, мать была права и у нее действительно оно есть – верное моральное чутье? Рамона и даже Дрейфуса она любила чистосердечно, это она помнила. Ее оклендскую жизнь погубила страсть к Стивену и злость на него, на старшего мужчину.

Она поцеловала Андреаса в курчавую макушку и отстранилась от него.

– У нас этого не будет, вот и все, – сказала она. – Прости меня. Мне очень жаль.

Она надела рубашку и спустилась в вестибюль. Ее решение представлялось ей бесповоротным, она, казалось, даже не была над ним властна, и она готова была, если надо, просидеть в вестибюле весь день и всю ночь. Но меньше чем через час подъехал Педро в “ленд-круизере”. Она не могла заставить себя сесть спереди рядом с ним; кожу покалывало, и было ощущение телесной нечистоты. Она легла на заднее сиденье и стала ждать, когда ею овладеют стыд, чувство вины и сожаление.

И когда они ею овладели, это было даже хуже, чем она думала. Двое суток почти безвылазно пролежала в постели, не реагируя на приходы и уходы соседок по комнате. Как высоко воспарила, как нравилась себе, видя, что нравится Андреасу, – и в какую яму недовольства собой угодила теперь, вызвав его недовольство! Даже несмотря на то, что не он ее отверг, а она его, сцена в номере отеля выглядела так же скверно, как случившееся в спальне Стивена. Эта сцена снова и снова повторялась у нее в голове, особенно та ее часть, когда она была раздета, а он стоял на коленях.

На третий день, заставив себя выйти к ужину, она увидела, что снова непопулярна. Поела с опущенной головой, вернулась к себе и опять легла в постель. Никто теперь не был с ней откровенен. Она не знала, в чем причина остракизма: в том ли, что ее считали соблазнительницей Андреаса? Или в том, что он, как видно, не обрел с ней счастья? Так или этак, у нее было чувство, что ею недовольны справедливо. Она сочинила электронное послание Коллин с полной исповедью, но, поняв, что Коллин, прочитав, только сильнее ее возненавидит, удалила все, кроме фраз:

Ты правильно сделала, что уехала. Он и правда

странный тип. Мы только разговаривали, больше ничего у меня с ним не было и не будет. Я и сама недолго тут пробуду.

Вернувшись через три дня, Андреас держался с ней как прежде – отстраненно, но не без сердечности, что заставляло ее чувствовать себя еще более виноватой. Она верила, что он действительно открыл ей секрет, которого никому в Лос-Вольканес не открывал, верила, что он действительно ее хотел, именно ее, и что теперь за его улыбкой не могут не таиться боль и стыд. Неспособная заново сполна пережить тот миг, когда приняла свое решение, она невольно стала думать, что совершила ужасную ошибку. Что, если бы она не отступилась и стала его возлюбленной? Может быть, пусть и не сразу, обрела бы с ним безумное счастье? А теперь все, его страсть закупорена, ей ничего уже не достанется. Приходила мысль слезно попросить его дать ей третий шанс, но она боялась, что опять его продинамит. С неделю жила с комом в горле, в почти клинической депрессии. Делала вид, что отправляется на прогулку, но за первым же поворотом садилась на землю и плакала.

В одном из этих припадков плача он ее и обнаружил. Дело шло к вечеру, и уже темнело; из тучи, закрывшей полнеба, лил дождь. Он показался из-за поворота в желтом дождевике и резиновых сапогах; она сидела и мокла, прислонясь спиной к дереву и обхватив руками колени.

– Хотел тебя найти. – Он сел на корточки рядом с ней. – Не думал, что ты так близко.

– Я больше не гуляю, – сказала она. – Просто прихожу сюда и плачу.

– Прости меня.

– Нет. Это ты меня прости. Я все погубила.

– Не вини себя. Я взрослый человек. Я не раскисну.

– Я никогда тебя не предаю, – рыдая, проговорила она. – Ты можешь мне доверять!

– Не буду делать вид, что не люблю тебя. Люблю, и еще как.

– Прости меня, – рыдала она.

– Ну что ты, хватит, хватит. – Он снял с себя дождевик, надел на нее и сел рядом. – Давай разберемся, чего ты сейчас хочешь.

Она утерла рукой мокрый нос.

– Просто отправь меня домой. Я получила здесь грандиозную возможность и профукала ее.

– Уиллоу говорит, поиски твоего отца ничего пока не дали.

– Прошу прощения: две возможности. И там, и там – полный провал.

– Боюсь, мы с Аннагрет сослужили тебе плохую службу, пообещав помочь. То, что ты ищешь, относится к доцифровой эре, и это очень сильно все затрудняет. Я говорил о тебе с Чэнем. – (Чэнь был главным хакером.) – Я спросил, можем ли мы взять относительно старую фотографию твоей матери и запустить поиск со сравнением лиц. Понадобится очень много ворованного компьютерного времени, и ради тебя я готов на это пойти. Но Чэнь считает, что это будет бесполезная трата ресурсов.

В ясном сером свете своей депрессии Пип увидела, что у нее повторилось то, что уже было с Игорем в “Возобновляемых решениях”: она повелась на пустую приманку работодателя.

– Не надо их тратить, – сказала она. – Ничего страшного. Спасибо, что спросил у него.

– Пока ты здесь, я буду продолжать платежи по твоему учебному кредиту. Но нам надо поразмыслить, каким будет твой следующий шаг. Ты хорошо пишешь и, Уиллоу говорит, очень быстро учишься. На той коммерческой работе ты не была особенно счастлива. А ты никогда не думала о журналистике?

Она выдавила из себя вялую улыбку.

– Разве Проект не уничтожает журналистику как область деятельности?

– Журналистика выживет. В нее сейчас идет огромное количество некоммерческих денег. С твоими способностями ты найдешь работу, если захочешь. В любом случае традиционные СМИ, мне кажется, лучше тебе подходят: ведь то, чем занимаюсь я, тебе не особенно нравится.

– Я хотела, чтобы мне это понравилось. Мне очень жаль, что не получается.

– Ну хватит, хватит. – Он взял ее руку и поцеловал. – Ты такая, какая есть. И я люблю тебя такой, какая ты есть. Я буду по тебе тосковать.

Она заплакала с новой силой. Откуда-то из тумана донесся звук, похожий на треск грома, а затем – глухой удар: от одной из скал отломилась глыба песчаника. Бывало, во время прогулок камни падали так близко, что она слышала свист их полета.

– Ты не мог бы мне приказать? – спросила она.

– Что?

– Прикажи мне. Скажи: ты должна стать журналисткой. Можешь так сказать? Я до сих пор хочу, чтобы ты отдавал мне приказы... – Она болезненно зажмурила глаза. – У меня внутри такой бардак.

– Я не понимаю тебя, – сказал он. – Но если настаиваешь, хорошо, могу приказать тебе: займись журналистикой.

– Спасибо, – прошептала она.

– Что ж, тогда к делу. Для начала я приготовил тебе маленький подарок. Поговори с Уиллоу. Она тебе его покажет.

– Это очень-очень мило с твоей стороны.

– Не переживай. Это и мне кое-что даст. Понимаешь, что?

Она покачала головой.

– Ничего, потом поймешь, – сказал он.

Днем он, видимо, сделал Уиллоу еще один выговор. После десяти дней холодности с Пип она заняла для нее место за ужином и снова стала проявлять какое-то чуть ли не пугающее дружелюбие. Вечером в амбаре она показала Пип фотографии, удаленные пользователем Фейсбука со своей страницы, но все же доступные таким специалистам, как Чэнь. На каком-то пикнике в Техасе в кузове пикапа лежало нечто, выглядывшее точь-в-точь как ядерная боеголовка. Она никак не могла быть настоящей – и все же была неотличима от настоящих, чьи изображения Пип видела на занятиях исследовательской группы по ядерному разоружению в Окленде.

В последующие недели она старалась освоить журналистское ремесло. С помощью одного хакера она добавилась в друзья к пользователю Фейсбука, выложившему фотографии, но это ни к чему не привело. Она понятия не имела, как выйти на людей из военно-воздушных сил или с военного завода, чтобы задать им вопросы, и даже если бы она знала, как это сделать, она звонила бы без всяких полномочий из Боливии по некоему подобию скайпа. Это заставило ее проникнуться новым уважением к журналистам в традиционном смысле, но в личном плане обескуражило. Она, скорее всего, сдалась бы, если бы Андреас не связал ее в этот момент с одним источником на побережье залива Сан-Франциско, у которого была информация о загрязнении грунтовых вод в районе Ричмондской свалки. Используя эти сведения и результаты своих телефонных звонков не столь устрашающим местным властям (она не боялась звонить незнакомым людям – по крайней мере один полезный навык работа в “Возобновляемых решениях” ей дала), она написала статью, которая затем волшебным образом появилась на сайте газеты “Ист-Бэй экспресс”, чей редактор был поклонником Андреаса. “Экспресс” опубликовала и следующую ее статью – юмористическую “Исповедь специалистки по привлечению клиентов”, с которой Уиллоу помогла ей тем, что не смеялась, пока не стало действительно смешно.

В начале января, когда она написала для “Экспресс” еще две небольшие заметки на полученные от редактора темы, которые можно было обсуждать по телефону, Андреас отправился с ней на прогулку и

предложил подать заявление на вакантное место практиканта-исследователя в сетевой журнал “Денвер индипендент”.

– Он специализируется на журналистских расследованиях, – сказал Андреас. – И получает за это премии.

– Почему Денвер? – спросила она.

– На это есть очень веская причина.

– Мне кажется, в “Ист-Бэй экспресс” меня любят. И я бы предпочла жить недалеко от мамы.

– Помнится, ты просила меня дать тебе приказ.

С того утра в отеле “Кортес” прошло три месяца, но она все еще хотела, чтобы он приказал ей лечь с ним в постель.

– Денвер для меня слово, и только, – сказала она. – Я ничего про этот город не знаю. Но все равно. Скажи, чего ты хочешь, и я сделаю.

– Чего я хочу? – Он поднял глаза к небу. – Я хочу тебе нравиться. Хочу, чтобы ты никогда не покидала меня. Хочу состариться с тобой.

– О...

– Прости. Я должен был один раз это сказать до твоего отъезда.

Ей хотелось поверить ему. Он, похоже, себе верил. Но сомнение в правдивости его слов пронизывало ее до мозга костей; оно было в самих ее нервах.

– Вернемся к теме, – сказала она.

– Вернемся. Я немногого от тебя прошу. Если ты получишь это место в Денвере – а я думаю, ты его получишь, – открой приложение, которое я тебе пришлю, когда у тебя появится служебная электронная почта. Редактор, он же издатель, – человек по имени Том Аберант. По большому счету только это от тебя и требуется: открыть приложение. Но если ты вдобавок будешь держать ушки на макушке на тот предмет, не хочет ли “Денвер индипендент” что-нибудь затеять против меня, я буду тебе дополнительно благодарен.

– Он тот самый человек, который знает, что ты сделал. Тот самый журналист.

– Да.

– Ты хочешь заслать меня к нему как шпионку.

– Предоставляю тебе решать. Нет – значит, нет. Открой приложение, и еще я только об одном тебя попрошу: никому не говори, что побывала здесь. Ты никуда не уезжала из Калифорнии. Сказать Аберанту, что побывала у меня, – единственное, чем ты можешь мне всерьез навредить. И себе, разумеется, тоже.

Мрачная мысль пришла ей в голову.

– Не пойми меня неправильно, – сказала она. – Мне нравится журналистика. Но настоящая причина того, что ты мне предложил ею заняться, – этот человек в Денвере?

– Настоящая причина? Нет. Но часть настоящей причины? Конечно. Это будет хорошо для тебя *и* хорошо для меня. В чем проблема?

В тот момент выглядело так, что он действительно просит о немногом. Она отказалась отдать ему свое сердце и тело – и знала по собственному опыту со Стивеном, как это больно и тяжело, когда получаешь такой отказ. Да, она не доверяла Андреасу, но она соперничала ему со всей его паранойей, и если щелчка мышкой будет достаточно, чтобы не быть в таком долгу перед ним, не чувствовать себя такой виноватой, она готова была щелкнуть. И с мыслью, что это поможет поставить точку в их отношениях, она отправилась в Денвер.

Проведя вечер за коктейлями с практикантами журнала “Денвер индипендент”, Пип вернулась домой к Тому и Лейле очень поздно, но, к своему удивлению, увидела Лейлу на заднем крылечке, одетую в теплую флисовую куртку; в воздухе витал сигаретный дымок.

– Ага, вот вы меня и застукали, – сказала Лейла.

– Вы *курите*?

– Примерно пять штук в год.

В белой миске рядом с Лейлой лежали четыре окурка. Она прикрыла миску ладонью.

– Каково это – быть умеренной? – спросила Пип.

– Всего-навсего лишний повод комплексовать. – Лейла неодобрительно усмехнулась сама над собой. – Интересные люди всегда неумеренны.

– Можно я с вами посижу?

– Тут холод собачий. Я собиралась идти в помещение.

Следуя за Лейлой в дом, Пип беспокойно думала: не она ли причиной тому, что Лейла курит? Она в некотором роде влюбилась в Лейлу – примерно так же, как в Коллин в Боливии, но едва она поселилась у них с Томом, у нее возникло чувство, что она создает проблемы в их отношениях. Она и в Тома была немножко влюблена, потому что могла это себе позволить, потому что физического влечения к нему не испытывала – он был старше, и он был *безопасен*, – и Лейла в последнее время весьма заметно ревновала то ли кого-то одного из них, то ли обоих сразу. Пип понимала, что ей следует просто-напросто переехать в другое место. Но трудно было расстаться с чудесной семьей, в которой она оказалась.

В кухне Лейла высыпала окурки и пепел на кусок фольги и скомкала его. Пип, которой придали храбрости четыре коктейля “Маргарита”, спросила ее, можно ли задать ей вопрос.

– Конечно, – ответила Лейла, вынимая из холодильника баночку с кофе.

– Вы не предпочли бы, чтобы я нашла себе другое жилье? Может быть, так будет лучше?

На мгновение Лейла замерла. Она казалась Пип очень милостивой в некоем особом смысле. Не раздражающе красивой, как практикантки проекта “Солнечный свет”; милостивой на не столь юный лад; зрелой женщиной, на которую тебе хотелось бы походить в будущем. Она посмотрела на кофейную банку в руке так, словно не могла понять, откуда она взялась.

– Конечно же, нет, – сказала она. – А вам что, кажется, что я бы этого хотела?

– Гм. Ну... да. Немножко.

– Простите меня. – Лейла резко двинулась к кофеварке. – Я думаю, вы просто реагируете на мои внутренние неурядки, никак не связанные с вами.

– А откуда у вас эти неурядки? Я так вами восхищаюсь!

Банка с кофе полетела на пол.

– Это мне за курение, – сказала Лейла, наклоняясь.

– Почему вы курите? И почему хотите пить кофе в полвторого ночи?

– Потому что я знаю, что все равно не засну. Так почему бы не поработать?

– Лейла, – сказала Пип умоляюще.

Лейла посмотрела на нее даже не раздраженно, а хуже: свирепо.

– Что?

– Что-то не так?

– Нет. Все в порядке. – Лейла взяла в себя в руки. – Получили мое сообщение из Вашингтона?

– Да! Все выглядит серьезней, чем мы думали.

– Это правда. Я с ума схожу от мысли, что кто-нибудь нас опередит с этой историей.

– Могу я чем-нибудь помочь?

– Нет! – Опять эта свирепость. – Ложитесь спать. Поздно.

В коридоре на втором этаже Пип услышала, как храпит Том – похоже, выпил вечером. Она села на край кровати и напечатала электронное письмо Коллин, очередное из многих, до сей поры безответных:

Да, это опять я. Вспомнила о тебе, застав сейчас Лейлу с сигаретой позади дома, и затосковала. Я все время по тебе тоскую. Я знаю: я только и делаю, что предаю людей. Но не могу перестать хотеть, чтобы ты дала мне еще один шанс.

С любовью, П. Т.

Да, она знала, что на нетрезвую голову письма лучше не писать, – и все же нажала “Отправить”.

Ее проблема состояла в том, что это была правда: она только и делала, что предавала людей. Почти сразу после того, как у нее появился электронный адрес в “Денвер индипендент” и она щелкнула по приложению, полученному от Андреаса, она пожалела об этом. Стройная музыка, которой она не смогла услышать в Боливии, в Денвере зазвучала сразу же. Другие практиканты были обычные молодые люди – не богини и не вундеркинды. Репортеры и редакторы были люди неглазкие и саркастичные, разделение труда осуществлялось нейтрально в отношении пола, рабочая атмосфера была серьезной и профессиональной, но несколько не “классной” и не “крутой”. Хотя Андреас, притязая на сочувствие, которое испытываешь к париям, любил говорить практикантам, что *на организатора утечек ополчатся все*, Проект был слишком крутым и знаменитым, чтобы ассоциироваться с париями. Журналисты – вот кто настоящие парии. Как ни подчеркивались скромность Андреаса в личных расходах и безгрешная чистота его миссии, Пип больше импонировало журналистское существование: стесненность в средствах, алименты и ипотечные платежи, сэндвичи за четыре доллара в перерыве на ланч – все это напоминало Пип ее мать и их кое-как перебивающихся соседей в Фелтоне. За шесть часов в ДИ она почувствовала себя в большей степени дома, чем за шесть месяцев в Лос-Вольканес.

И Лейла: милая физически и душевно, заботливая по-матерински и вместе с тем по-сестрински, не удушающе, журналистка с Пулитцеровской премией в активе, чья личная жизнь была еще страннее, чем у Пип. И Том: серьезный в работе, но недотепа в быту, безразличный к чьему-либо мнению о том, что он сказал или как он выглядит, Том, сдержанный и ироничный в такой же мере, в какой Андреас был склонен вторгаться и доминировать, Том, чья преданность Лейле была тем очевидней, что он молчал о ней. Пип полюбила их обоих, и когда они предложили поселиться у них, она почувствовала, что после полосы ограничений, скверных

решений и общей неэффективности получила наконец капитальную передышку.

Что заставило ее еще тяжелей переживать то, что она внедрила в компьютерную систему ДИ шпионскую программу, прикинулась, будто сама добыла фотографии с боеголовкой, которые на самом деле получила от Андреаса, и солгала Тому и Лейле еще с десятков раз. Вранье помельче ей удалось затушевать без чрезмерного вреда или смущения, но крупная ложь – как, по всей видимости, и программа-шпион – оставалась, где была. А теперь Лейла злится на нее, у Тома вдруг появилась какая-то неловкость в общении с ней; вместе взятые, эти две перемены вызвали в ней опасение: хотя она слишком уважала Тома, чтобы флиртовать с ним или нарушать, как она умеет, дистанцию, диктуемую авторитетом, может быть, в нем зародились к ней какие-то романтические чувства? Позавчера он взял ее с собой на шикарный журналистский ужин, и, словно мало было того, что она пришла туда как его спутница, на обратном пути он дал слабину, стал задавать личные вопросы, был, желая ей спокойной ночи, явно бледен и с тех пор избегал ее.

А еще было электронное письмо, недавно полученное от Уиллоу. Полное мелких новостей, оно было на удивление сентиментальным, и сопровождало его селфи, которое Уиллоу сделала, стоя с Пип у амбара. Подпись могла бы гласить: “Альфа-особь и бета-особь”. Но ведь Уиллоу участвовала в фабрикации журналистского послужного списка Пип; разумеется, она знала, что единственный безопасный способ связи с ней для кого бы то ни было из Проекта – зашифрованное текстовое сообщение. Так почему же электронная почта, да еще с приложением? Пип как могла старалась забыть, что открыла его дома, пользуясь частным *Wi-Fi* Тома.

В свете всего этого ей впору было гордиться, что она выпила сегодня с практикантами только четыре “Маргариты”. Она столько лгала и напряжение в доме было таково, что потерять работу и снова оказаться на улице, профукав свою “капитальную передышку”, – это, похоже, было всего-навсего вопросом времени. И она знала, знала, что должна сделать. Предать Андреаса и все рассказать Тому и Лейле. Но разочаровать их – это было выше ее сил.

Своим молчанием она защищала убийцу, сумасшедшего, защищала человека, которому не доверяла. И тем не менее она не хотела терять с ним связь. Он подействовал на ее мозги, и теперь она получала нездоровое удовольствие, имея рычаг воздействия на его мозги: она знала его секреты и могла причинять ему беспокойство. Ей уже не напоминало о недоверии к нему его повседневное присутствие, и его могущество, слава и особый

интерес к ней еще сильнее теперь подогревали ее сексуальные фантазии. По некоторым важным эротическим показателям он набирал ноль баллов, но по другим зашкаливал.

Каждый вечер перед сном она посылала ему текстовое сообщение и не выключала телефон, пока не получала ответ. Она пришла к мысли, что лучше бы она отдалась ему, чем открыла приложение, которое он прислал, – открыть его было большей моральной капитуляцией. Почему, почему, почему она не легла с ним в постель, когда имела такую возможность? Отъезд из Боливии выглядел тем более прискорбным, что страх Андреаса перед Томом, как теперь выяснилось, был необоснованным. Внедрить шпионскую программу было ненужным и поистине тяжким грехом, которого она могла бы не совершать, если бы осталась с Андреасом и совершила более приятный грех.

Внедренного журналиста нет. Расследования нет.

Ты уверена?

Т. явно плохо к тебе относится. Но он даже не рассказал Л. про то, что произошло в Берлине.

Ты в этом абсолютно уверена?

Да. Поверь мне.

Что он сказал о Берлине?

Что познакомился там с тобой.

И все?

Да! Можешь завязать со своей паранойей.

Если бы это было так легко.

Ей приходилось бороться с искушением послать ему фотографию своего интимного места. Она была последней из череды женщин, остающихся ему верными. Деревянная ложка, несомненно, продолжала делать свое дело в ее мозгу.

Скрывать состояние своего мозга от Тома и Лейлы было нетрудно, но перемена в нем была причиной того, что из Боливии она сразу отправилась в Денвер, не заглядывая к матери. Мать могла быть пугающе чуткой к происходящему в ее душе. Едва Пип прилетела в Денвер, ей пришлось солгать матери по телефону.

– Пьюрити. Когда ты сказала мне, что не смогла в Боливии ничего узнать про отца, ты сказала неправду?

– Нет. Я всегда говорю тебе правду.

– Ты ничего про него не узнала?

– Нет.

– Тогда объясни, почему тебе понадобилось в Денвер.

– Я хочу освоить профессию журналиста.

– Но почему именно Денвер? Почему именно *этот* сетевой журнал? Почему ты не выбрала какое-нибудь место поближе к дому?

– Мама, мне сейчас необходимо какое-то время пожить одной. Когда ты станешь старше, я приеду, буду с тобой рядом. Потерпи хоть пару лет без меня.

– Тебя Андреас Вольф туда направил?

Пип секунду поколебалась.

– Нет, – сказала она. – Просто тут оказалось место практиканта, я на него подала, и меня взяли.

– Больше подобных вакансий не было во всей стране?

– Тебе просто потому этот вариант не нравится, что здесь другой часовой пояс.

– Пьюрити. Я еще раз тебя спрашиваю: ты мне говоришь правду?

– Да! Почему ты сомневаешься?

– Линда пустила меня за свой компьютер, и я зашла на сайт. Хотела увидеть своими глазами.

– И? Ты согласна, что это великолепный сайт? Здесь занимаются серьезными, масштабными журналистскими расследованиями.

– У меня есть ощущение, что ты скрываешь от меня то, чего не должна.

– Да нет же, не скрываю! В смысле – мне нечего скрывать!

Как ни чувствительна была ее мать к запахам, еще более острый нюх у нее был на моральные промахи. Она чуяла, что Пип делает в Денвере что-то не то, и Пип сердилась на нее за это. Она уже отказалась от близости с Андреасом из-за слов, произнесенных матерью. Чтобы соответствовать материнскому идеалу, она повела себя более нравственно, чем была обязана, и ей казалось, что за это она заслуживает похвалы, пусть даже мать ничего об этом не знала. У нее не было настроения выслушивать лекции.

Но мать с тех пор была постоянно не в духе. Не отвечала на телефонные послания, а потом, когда Пип до нее дозванивалась, – никаких радостных восклицаний, только вздохи, молчаливые паузы и односложные ответы на вопросы, которые Пип задавала из чувства долга. В итоге Пип вконец разозлилась и перестала звонить совсем. Даже не сказала матери, что переехала к Тому и Лейле. Некоторое время, живя с ними, она укреплялась в мысли, что, имея она таких родителей, вполне могла бы стать хорошо приспособленной, эффективно действующей личностью. Они уже так много для нее сделали, что поиски подлинного отца перестали

быть настоящей потребностью. Но, ловя себя на том, что предпочла бы их в качестве родителей, она испытывала жалость к матери, которая сейчас одна в Фелтоне и которая дала ей максимум возможного при столь скудных ресурсах. Своя жизнь казалась Пип сплошным предательством в отношении всех, кто был с ней связан. И теперь Том, похоже, к ней равнодушен, что означает новое предательство – теперь по отношению к Лейле, предательство, которого Пип не хотела и над которым не властна. Все это делало ее еще более зависимой от вечерней переписки с Андреасом и от мастурбации, которой она часто занималась потом.

Том по-прежнему храпел, когда она решила выйти в ванную. Снизу доносился запах кофе и тихая дробь клавиатуры. Пип чувствовала жалость и к Лейле. Том тоже ее заслуживал – если его и правда к ней, к Пип, потянуло. Как, разумеется, заслуживали ее Андреас и Коллин. Предательство и жалость, видимо, идут рука об руку.

Вернувшись в постель, она написала Андреасу. Было слишком поздно, чтобы ожидать ответа, и ей бы просто уснуть, но она добавляла и добавляла новые сообщения:

Можно сделать так, чтобы твоя шпионская программа самоуничтожилась?

Поскольку оказалось, что Т. ничего опасного не скрывает.

Мне из-за этого трудно. Они хорошие люди.

Меня беспокоит, что Т., может быть, ко мне равнодушен.

Я хочу ощущать твою твердость внутри себя. Очень хочу.

Она стирала последнее сообщение, которое набрала только как подспорье для мастурбации, – как вдруг из Лос-Вольканес пришел ответ:

А ты к нему тоже равнодушна?

Она была удивлена. В Боливии было четыре утра.

Нет! Он Лейлин.

Я бы не возражал.

Я не чувствую к нему ничего.

Ты не должна притворяться ради меня.

Я не притворяюсь. Ты знаешь, к какому старшему мужчине я равнодушна.

Она прождала ответа десять минут, вся в сомнениях из-за своей несдержанности. Она знала, что дурно ведет себя, пытаясь поддержать в

нем интерес к себе после того, как дважды его отвергла. Но этот обмен сообщениями был для нее сейчас самым близким к сексу из всего, что имелось. Она опять принялась печатать:

Прошу прощения за это. Лишняя информация. Ты еще здесь? Ты прочел, что я вначале написала? Можно сделать так, чтобы твоя шпионская программа стерлась?

Я не хочу тебя больше.

Это было как удар в челюсть. Ее руки отпрянули от телефона, и он упал между ее ног. Он что, ревнует ее к Тому? Казалось важным внести ясность, и она опять взяла гаджет в руки. Стала набирать, кляня свои дрожащие пальцы за опечатки.

Я сексуально одержима тобой. Умираю от раскаяния.

Преодолей. Я не хочу тебя.

Ты злишься на меня?

Не злюсь. Просто откровенен. Не пиши мне больше. Я не отвечу.

Она со стоном упала на бок и натянула на голову одеяло. Она не понимала, что сделала не так, – ведь она *написала*, что Том ее не интересуется. За что Андреас ее наказывает? Она корчилась под одеялом, пытаясь уразуметь смысл его слов, пока одеяло не стало ее мучителем. Вся в поту, она сбросила его и спустилась в столовую, где Лейла сидела за работой.

– Все еще не спите? – спросила Лейла.

Ее улыбка была напряженной, но не фальшивой. Пип села по другую сторону стола.

– Не могу уснуть.

– Хотите амбиен? У меня его целый склад.

– Не расскажете мне, что вы узнали в Вашингтоне?

– Выпейте амбиен.

– Нет. Просто позвольте мне посидеть тут, пока вы работаете.

Лейла улыбнулась ей еще раз.

– Мне нравится, как откровенно вы говорите, чего вам хочется. А я такую прямоthu еще в себе не выработала.

Ее улыбки в какой-то мере смягчили воздействие жестоких слов Андреаса.

– Но давайте попробую, – сказала Лейла. – Мне не хочется, чтобы вы сидели тут, пока я работаю.

– О...

– Это будет меня отвлекать. Вы не против?

– Нет. Я уйду. Просто... – (Угроза взрыва! Угроза взрыва!) – Я не понимаю, почему вы так странно со мной. Я ничего вам не сделала. Я никогда вам не сделаю ничего плохого.

Лейла по-прежнему улыбалась, но что-то блестело в ее глазах, что-то до ужаса схожее с ненавистью.

– Я была бы благодарна, если бы вы просто дали мне поработать.

– Неужели вы считаете меня разлучницей, разорительницей гнезд? Неужели вы думаете, что я хоть на вот столечко способна на такое?

– Непреднамеренно...

– Тогда почему вы со мной так, если я ни в чем не виновата?

– Вы знаете, кто ваш отец?

– *Мой отец?*

Гримасой и жестом Пип выразила озадаченность и недовольство.

– Вам хотелось бы это узнать вообще?

– Не понимаю – при чем тут мой отец?

– Я спросила, и только.

– А лучше бы не спрашивали. У меня и без того такое чувство, будто я хожу повсюду с табличкой на шее: **ОСТОРОЖНО, ЗЛАЯ БЕЗОТЦОВЩИНА**. Но это не значит, что я хочу спать со всеми старшими мужчинами, какие попадают мне на пути.

– Простите меня.

– Я могу собрать вещи и уйти завтра же. И с работы уволюсь, если это поможет разрядить ситуацию.

– Прошу вас не делать ни того ни другого.

– Тогда что? Носить паранджу?

– Я намерена больше времени проводить с Чарльзом. Вы с Томом получите дом в свое распоряжение, чтобы разобраться в том, в чем вам надо разобраться.

– *Нам не в чем разбираться.*

– Дело просто-напросто в том...

– Я думала, вы уравновешенные, нормальные люди. Отчасти за это-то я вас и полюбила. А теперь меня, как лабораторную крысу, хотят оставить в клетке с другой лабораторной крысой и посмотреть, что из этого выйдет.

– Нет, я хочу другого.

– Ощущение ровно такое.

– У нас с Томом не все ладно. Не могу ничего к этому добавить. Возьмите амбиен.

Пип выпила амбиен, легла и проснулась одна в доме. За окнами было светло-серое колорадское утреннее небо; по такому небу, она знала, невозможно предсказать дневную погоду – может пойти снег, а может стать немислимо тепло, – но она была рада подобному утру, не солнечному и не мрачному, под стать ее настроению. Андреас отверг ее, но вместе с тем освободил; ушибленная, она при этом чувствовала себя более чистой. Разогрев и съев какие-то замороженные вафли, она вышла и двинулась пешком к деловому центру Денвера.

Пахло весной, и Скалистые горы позади нее, все в снегу, были напоминанием о том, что жизнь по-прежнему предлагает ей многое – например, подняться в Эстес-Парк^[63] и насладиться горами вблизи. Можно сделать это после того, как она признается во всем Тому, перед возвращением в Калифорнию. Вдыхая бодрящий воздух, она ясно видела, что время для признания настало. Пока у нее были эти вечерние обмены сообщениями и чувственные самоприкосновения, имелась хоть какая-то причина сохранять шпионскую программу и избавлять себя от ужасного рассказа Тому о своем поступке: она была заколдована и порабощена Андреасом. А теперь не было ни причины, ни смысла пытаться и дальше вести жизнь, которую она вела в Денвере, сколь бы рьяно она ни погрузилась в эту жизнь вначале. Все здесь было у нее построено на лжи, и пришла пора от этой лжи очиститься.

Ее решимость была тверда до тех пор, пока она не пришла в “Денвер индипендент” и ей не вспомнилось, как она любит это место. В главном помещении верхний свет был выключен, но в конференц-зале сидели два журналиста, и из отсека Лейлы, где горела настольная лампа, доносился ее приятный голос: она говорила по телефону. Пип медлила в коридоре, колебалась: может быть, все же удастся обойтись без признания? Может быть, ее и нет уже или скоро не будет, этой программы-шпиона? Но ведь то, что огорчает Лейлу, не исчезнет само собой. Если она огорчена из-за того, что Том проникся к Пип слишком большой симпатией, полное признание, безусловно, положит этому конец. Пип двинулась к его кабинету по длинному пути, обходя Лейлу.

Дверь у него была открыта. Едва увидев Пип, он тут же схватился за компьютерную мышь.

– Прошу прощения, – сказала она. – Вы заняты?

В первые мгновения вид у него был донельзя виноватый. Он открыл рот, но не издавал ни звука. Потом, собравшись, пригласил ее войти и попросил закрыть за собой дверь.

– Мы в боевом режиме, – сказал он. – Вернее, Лейла в боевом режиме,

а я в режиме беспокойства о Лейле. Когда она боится, что нас опередят, ее мотор сильно разогревается.

Пип закрыла дверь и села.

– Похоже, она раздобыла вчера что-то крупное.

– Страшное дело. Всем новостям новость. Плохо будет всем, кроме нас. А нам будет очень хорошо, если мы сообщим первыми. Она вас проинформирует – ей понадобится ваша помощь.

– Настоящая боеголовка пропала?

– И да и нет. Она не покидала авиабазы Кертленда. Мы избежали армагеддона. – Он откинулся на спинку кресла, и в его ужасающих очках отразился свет люминесцентной лампы. – Были так называемые “Часы Судного дня” – кажется, еще до вашего рождения. По-моему, их придумал Союз обеспокоенных ученых. На них стояло время – без четырех минут полночь, потом новый раунд переговоров об ограничении вооружений, и часы переводили чуть-чуть назад – становилось без пяти минут полночь. Сейчас это выглядит довольно пошло и нелепо, как и все, что было в те годы. Ну разве могут часы двигаться вспять?

Этот свободный поток ассоциаций, казалось, был нужен ему для того, чтобы скрыть что-то.

– Эти часы и сейчас существуют, – заметила Пип.

– Надо же.

– Но вы правы, это выглядит устаревшим. Сегодня люди грамотнее воспринимают рекламу и агитацию.

Он усмехнулся.

– К тому же выясняется, – сказал он, – что в семьдесят пятом году все-таки не было без пяти минут полночь, иначе сейчас нас никого уже не оставалось бы в живых. Было примерно девять пятнадцать.

На внутренних часах Пип, где шел обратный отсчет секунд до признания, застыло время – одна секунда до полуночи.

– Как бы то ни было, Лейла заведена до упора, – сказал Том. – Она такой мирной кажется при первом знакомстве, что люди не подозревают, сколько в ней конкурентного духа.

– Я немножко это понимаю уже.

– Два года назад она была далеко впереди в сюжете об изъятии из продажи автомобилей “тойота” – или думала, что далеко впереди. Она считала, что у нее есть время выяснить все до конца и преподнести сюжет в полном виде. И вдруг начинаются звонки от ее контактов в информагентствах. Они звонят ей, чтобы рассказать потрясающую историю, которую только что услышали от человека из “Уолл-стрит

джорнал”. Это были люди, которые не знали ни шиша, не рассказали ей ни шиша, а теперь у них был весь сюжет полностью! Она слышит, что человек из “Джорнал” всю ночь писал черновой вариант. Она слышит, что “Джорнал” уже подключила юристов. Ощущение – хуже некуда. Нет ничего хуже, чем писать статью, где ты должен признать первенство конкурента, которого намного опережал два дня назад. Кертлендской историей занимается “Вашингтон пост” – Лейле это стало известно вчера. Мы пока еще впереди, но, вероятно, ненамного.

– Она уже пишет?

– Для того-то бессонные ночи и предназначены. Еще немного, и я начну думать, что лучше проиграть эту гонку, чем видеть ее в таком состоянии. Я стараюсь сделать так, чтобы она оставалась хотя бы полувменяемой, и вы должны мне в этом помогать.

Пип начала раскаиваться, что так повела себя с Лейлой; может быть, она просто-напросто перенапряжена из-за работы.

– Но послушайте меня, – сказал Том, наклоняясь к ней. – Прежде чем вы к ней пойдете, я хочу задать вам личный вопрос.

– Я, честно говоря, хотела вам...

– Мы говорили с вами недавно про вашего отца. И я подумал – вы ведь отлично ищете информацию. Вы не пытались его найти?

Она нахмурилась. Почему ее спрашивают и спрашивают об отце? В повинную голову пришла странная мысль: может быть, ее тайный отец – *Андреас*? Потому-то мать и проявляет к нему такую враждебность. А Том с Лейлой обнаружили шпионскую программу и знают про нее, про Пип, больше, чем она сама про себя знает. Не *Андреас* ли ее папаша? Мысль была дикая, но своя логика в ней имелась – гадкая логика, логика вины.

– Пыталась, – сказала она. – Но моя мама очень искусно замела следы. Я знаю только имя, которое она себе придумала, и примерную дату моего рождения. В школе мне всегда казалось, что у меня нормальный рост и размер для своего класса. Но мое свидетельство о рождении точно фальшивое.

Взгляд, которым Том на нее смотрел, внушал ей тревогу: он был любящим. Она опустила глаза.

– Вы знаете, – сказала она, – я ведь не очень хороший человек.

– О чем вы? Что в вас нехорошего?

Она сделала глубокий вдох.

– Я не всегда говорю правду.

– О чем? Об отце?

– Нет, тут все правда.

– Тогда о чем?

Скажи это, просто скажи, думалось ей. Скажи: я не в Калифорнии была, а в Боливии...

В дверь постучали.

Том вскочил на ноги:

– Входите, входите.

Это была Лейла. Бросив взгляд на Пип, она заговорила с Томом:

– У меня был сейчас телефонный разговор с Джанелл Флайнер. Я думала вчера вечером об одной фразе, которую она произнесла. “Пора, чтобы хоть кто-нибудь меня выслушал” – примерно так.

– Лейла, – мягко промолвил Том.

– Дослушай меня. Это не паранойя. Так она сказала, я ей теперь звоню, и выясняется – да, она связывалась кое с кем помимо меня. До меня. Когда фотоснимки Коуди еще были на Фейсбуке, она послала письмо знаменитому организатору утечек. “Солнечной команде” – так она их назвала. Туда, куда все посылают, что у них имеется.

Пип покраснела в два этапа: сначала слегка, а затем жаркая волна накрыла ее всю.

– И что дальше? – спросил Том уже не столь мягко.

– Дальше то, что миссис Флайнер ответа не получила. Ничего не произошло.

– Прекрасно. Все счастливы. Он ни хрена не мог с этим сделать из Боливии. Такие сюжеты требуют работы на месте.

– Да, но Вольф не вывесил эти фотографии. Он по двадцать историй в день обнародует – ничего не фильтрует. А эту почему-то нет.

– Я не обеспокоен совершенно.

– А я обеспокоена глубочайшим образом.

– Лейла. Он владеет этой информацией уже почти год. С какой стати он внезапно решит поделиться ею в ближайшие пять дней?

– Потому что у таких сюжетов есть точка кипения. Вдруг все разом начинают говорить. Если он получит еще одну утечку, он может нам плюнуть в суп. Если “Пост” нас обойдет – это, конечно, будет плохо. Но представить себе, что *этот тип*...

– После бессонной ночи мир выглядит полным опасностей. Но ты же едешь на слоне. Ты одна можешь провести линию от Амарилло до Альбукерке.

– Слонов, бывает, воруют. Это случается очень часто.

– Если тебе уж так прямо надо волноваться, волнуйся из-за “Пост”.

Лейла издала резкий смешок.

– А я это делаю параллельно. В истории с наркотиками на базе Кертленда они, должно быть, опережают нас не на один день. А то и на недели. Я не могу тратить на нее время, пока занята подтверждением термоядерной истории.

– Ты немало с нее получишь косвенно. Если у “Пост” больше подробностей на эту тему – ничего страшного, раз мы первые. Пускай добавят соли в наш суп. В худшем случае они первыми выдадут сюжет с наркотиками, а мы последуем за ними с армагеддоном.

– Ты уверен, что не хочешь с ними кооперироваться?

– С конторой Джеффа Безоса?^[64] Я поражен, что ты спрашиваешь.

– Тогда не удивляйся, если я развалюсь на части.

Лейла вышла; Том проводил ее взглядом.

– Терпеть не могу, когда она такая, – сказал он. – Проиграть гонку для нее конец света.

Пип задалась вопросом, не ошиблась ли она. Он не выглядел как человек, любящий кого-либо, кроме Лейлы.

– У вас с собой телефон? – спросил он.

– Телефон?

– Я хочу сделать пару-тройку звонков в “Пост”. Чтобы узнать, кто у них на рабочем месте в субботу. Если тех, о ком я думаю, сейчас нет, она может волноваться чуть меньше.

Хотя Пип пришла к нему сознаваться, у нее возникло искушение сказать, что телефона с собой нет; он был, как радиоактивным веществом, заражен уличающими текстами. Но соврать, что забыла его, было бы глупо и неправдоподобно. Она протянула его Тому с ощущением, что дает мини-бомбу, и, выйдя из кабинета, расположилась за дверью в надежде, что пребыванием рядом воспрепятствует тому, чтобы он читал ее переписку.

Она поняла, что потеряла решимость и ни в чем сегодня не признается. Если, как она теперь подозревала, она ошибалась насчет интереса Тома к ней, то в ее положении нет ничего такого, чего нельзя исправить удалением шпионской программы Андреаса. Когда Том, улыбаясь, вышел из кабинета, она отправилась с телефоном в женскую уборную и заперлась в кабинке.

Ты не хочешь меня и потому считаешь, что я веду себя как сучка. Может быть, ты и прав. Но ты обязан мне сказать, можно ли удалить шпионскую программу. Если можно, ты обязан это сделать. Ты поставил меня в ужасное положение. Я хочу, чтобы опять стало так, как до встречи с тобой. Я хочу все это вычеркнуть, хочу, чтобы моя жизнь была здесь. Если я хоть что-то для тебя значу, ты должен мне

ответить. Если я от тебя ничего не получу, мне придется все рассказать Т. Да, это угроза.

Она отправила текст и пошла к отсеку Лейлы, где та опять говорила по телефону. Пип встала в коридоре с опущенной головой, приняв покаянный вид.

– Прошу прощения, что отвлекаю вас, – сказала она, когда Лейла дала отбой. – Если вы не слишком сердиты на меня, позвольте мне помочь вам в работе.

Лейла, похоже, готова была сказать что-то неприятное, но передумала.

– Давайте лучше не будем выяснять отношения, – проговорила она. – На этой неделе вы меня будете интересовать как журналистка, а не как исследовательница и не как ночующая гостья. Не против поработать со мной?

– Я очень люблю работать с вами!

Первым заданием, которое получила Пип, было собрать главные сведения об убийстве двух женщин в Теннесси, напоминая казнь. Факты соответствовали страшной истории, которую рассказала ей Лейла. Две сестры (девичья фамилия – Кенилли) были похищены в разных городах почти одновременно – интервал составил считанные минуты; никаких признаков сексуального насилия ни на том, ни на другом теле, и, по официальным данным, у полиции не было никаких зацепок. Затем Пип перешла к их брату Ричарду; выясняя то, что можно было выяснить о его госпитализации и исчезновении, она начала думать, что ее слова о готовности уволиться были словами обидчивого ребенка. Да, поселиться у Тома и Лейлы – несомненная ошибка, но работа – дело другое.

Она периодически ходила в женскую уборную проверять, не написал ли ей Андреас, но лишь когда они с Томом вернулись домой, съели поздний ужин и она легла в постель – в обычное время обмена сообщениями, – пришел ответ:

Я спрошу Чэня, что тут можно сделать.

Она выключила телефон, ничего не написав. Она вынудила Андреаса нарушить свое обещание и отреагировать текстом на ее текст; это доставило ей удовлетворение. Доставило не столько на детский, сколько на взрослый лад: она почувствовала себя не лишенной власти. Не кристально чистой, конечно, не безгрешной, но безгрешность – это из области детства. В деловой части города, в редакции, за своим рабочим столом Лейла, хотя

уже за полночь, сидит одна, работает над статьей, изживая некую личную невзгону; Лейла – взрослая. Ее твердость заставила Пип увидеть Андреаса в новом свете – как мужчину-ребенка, обуянного желанием раскрывать секреты. Она поморщилась, вспомнив его руку у себя в трусах. Она видела – или думала, что видит: взрослые стискивают зубы и держат свои секреты при себе. Ее мать – ребенок во многих отношениях, несмотря на седину, – по меньшей мере в этом одном ведет себя по-взрослому. Хранит свои тайны и платит за это. Пип представила себе, что продолжает работать в “Денвер индипендент”, зная то, что знает, сделав то, что сделала, и не признаваясь. Руководствуясь словами Лейлы: *давайте лучше не будем об этом.*

Это новое ощущение взрослости сохранялось у нее и в последующие дни. Лейла тем временем еще раз слетала в Вашингтон за подтверждениями, вернулась торжествующая, но в еще большей тревоге (один из ее источников проронил фразу: “Вы, может быть, не одна”), и еще раз засела за работу на всю ночь, чтобы дописать черновой вариант. Утром в четверг текст передали юристу. Пип и сама спала очень мало; под заголовком публикации должно было стоять и ее имя как представившей дополнительные данные. У нее не было и минуты, чтобы подумать об Андреасе или о том, удалена ли шпионская программа; она проверяла факты как сумасшедшая. Напряженное ожидание, царившее в редакции, казалось глупым и вместе с тем было волнующим. Глупым потому, что все это было лишь игрой, не имеющей отношения к общественной пользе (какая разница – опередят они на час или на день “Вашингтон пост” или не опередят?), но волнующим так же, как, вероятно, волновало участников проекта “Манхэттен” предстоящее ядерное испытание; информационная бомба, готовившаяся не один месяц, наконец должна была взорваться.

Утром в пятницу, когда она все еще проверяла менее существенные факты, сюжет был опубликован:

КРАЖА ТЕРМОЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В НЬЮ- МЕКСИКО ПРЕДОТВРАЩЕНА БЛАГОДАРЯ СЛУЧАЙНОСТИ

Пропавший виновник связан с мексиканским картелем и со злоупотреблением наркотиками на авиабазе Кертленда; тревога первоначально была

поднята на военном заводе в Техасе

Лейла слегла с температурой, но надеялась прийти в себя к тому времени, когда надо будет давать интервью Национальному общественному радио и кабельным телеканалам. Сотрудники “Денвер индипендент”, работавшие в социальных сетях, трудились в поте лица на своих боевых постах, и телефоны звонили чаще обычного, но в остальном взрыв информационной бомбы мало повлиял на редакционную жизнь. Другие репортеры занимались своими сюжетами, а Том уже час с лишним сидел, закрывшись у себя в кабинете. Ударная волна, проникающая радиация – все это было в киберпространстве.

Пип говорила по телефону с менеджером закуской “Соник”, пытаясь добраться до Филлиши Бабкок, чья история о термоядерном сексе заняла в публикации один абзац; и тут к ее столу подошел Кен Уормболд – менеджер по информационным технологиям. Он подождал, пока она записала, когда у Филлиши начнется и закончится смена, а затем сказал, что Том хочет ее видеть. Она встала из-за стола неохотно. Проверка фактов давала пищу ее нынешнему навязчивому стремлению к чистоте, к опрятности. Ее страшно нервировало, что статья уже вышла, а не все мелочи еще проверены.

Том сидел за столом, поставив на него локти и прижав к губам костяшки сплетенных пальцев. Пальцы были стиснуты до белизны в суставах.

– Закройте дверь, – сказал он.

Она закрыла ее и села.

– Кто вас сюда послал?

– Прямо сейчас?

– Нет. В Денвер. Я и так знаю ответ, поэтому запирается нет смысла.

Она открыла рот и закрыла. Она была до того погружена в работу, что не задалась вопросом, почему Том так надолго уединился с Кеном Уормболдом.

– Разумеется, я озабочен и огорчен, – проговорил он, не глядя на нее. – Но не из-за вас. На вас я не сержусь. Я вам очень симпатизирую и не думаю, что это ваша вина. Поэтому просто скажите то, что должны сказать.

Она попыталась что-то вымолвить. Сглотнула. Попыталась снова.

– Я хотела вам признаться. В субботу. Жалею, что не стала.

– Так говорите сейчас.

– Мне не хочется.

– Почему?

– Вы меня возненавидите. И Лейла возненавидит.

Он взял и кинул ей через стол несколько скрепленных страниц.

– Это отчет Кена о нашей редакционной сети. У нас тут великолепный контроль за компьютерной безопасностью. Мы защищены от всех шпионских программ, известных людям. Но эта программа из числа неизвестных людям. Совершенно незнакомая сигнатура. Кену пришлось повозиться, но в итоге он справился.

У Пип что-то не то делалось со зрением. Текст на странице был одним сплошным пятном.

– Вы знали об этой программе? – спросил Том.

– Я не была уверена. Но тревожилась. Я открыла приложение, которого не должна была открывать.

Он кинул ей еще один документ.

– А об этом что скажете? Это отчет о моем домашнем компьютере. Вы открывали дома какие-нибудь подозрительные приложения?

– Было одно...

Он стукнул рукой по столу.

– Назовите имя!

– Мне не хочется, – проскулила она.

– Мой домашний жесткий диск две недели прочесывался вдоль и поперек. Наша редакционная сеть стала открытой книгой через три дня после того, как мы взяли вас на работу. И кто принес мне сюжет, который я только что опубликовал? От кого я получил эти фотографии с Фейсбука? Как зовут организатора утечек, у которого эти фотографии, как мы теперь знаем, были еще прошлым летом?

– Не знаю.

– Произнесите, ну же!

Она расплакалась.

– Простите меня! Мне так стыдно!

Том толкнул к ней пакетик с бумажными носовыми платками и, скрестив руки, ждал, пока ее слезы не иссякнут.

– Я вам солгала, – шмыгая носом, сказала она. – Я полгода прожила в Боливии. Проект “Солнечный свет”. Там получила фотоснимки с Фейсбука. От него. Я солгала вам об этом. Я обо всем солгала, мне очень жаль. Я знаю, какой вред причинила.

– Знаете?

– Да! Все наши конфиденциальные источники, все базы данных и прочее. Я знаю. *Понимаю*. Мне очень жаль.

Взгляд Тома был сосредоточен не на ней, а на ком-то незримом.

– Я познакомилась в Окленде с одной немкой, – сказала Пип. – Она хотела, чтобы я поехала в Боливию. Сказала, Проект сможет помочь мне найти отца. И я туда поехала, и он...

– Назовите имя.

– Не могу. Он особый интерес ко мне проявил и поделился кое-чем. Тем, что вы, вероятно, знаете.

– Имя.

– Сказал, что убил человека. И что признался в этом одному знакомому. Вам. Тогда я отказалась от мысли найти отца и захотела уехать, и он потребовал, чтобы я поехала сюда. Он боится, что вы захотите его разоблачить. Это он мне послал приложение. Я знала, что это такое, и все-таки открыла. Но клянусь вам, это все, что я сделала.

Том прижал кончики пальцев ко лбу.

– Почему вы согласились оказать ему такую услугу?

– Не знаю! Я к нему прониклась чувствами – он оказывал мне внимание, он очень сильно наседал. Я подумала, что должна отозваться. И отозвалась. Ничего хорошего с моей стороны. Он большая знаменитость, и я не могла устоять. Но потом почувствовала, что он мне не нравится, и обидела его, и тогда – не знаю – похоже, мне показалось, что я в долгу перед ним. А здесь, у вас, мне так хорошо стало – все, что было до этого, сделалось как кошмарный грязный сон.

– Грязный.

– Я не спала с ним. Поверьте!

– С какой стати меня должно интересовать, с кем вы спите?

Зазвонил телефон. Том посмотрел на него, выдернул шнур из розетки и продолжил на него смотреть.

– Так или иначе, – сказала она, – я сознательно ему содействовала. Звоните в полицию, если хотите.

– Что это даст?

– Я буду наказана.

– В какой-то мере, должен признать, я на вас рассержен. Лучше всего, по-моему, вам подать заявление об уходе и вернуться к матери. Но наказывать вас у меня желания нет.

Пип никогда не была под арестом, в школе ее никогда не посылали к директору, и она ни разу не испытала на себе, что такое отцовский выговор. Она совершала в жизни плохие поступки, но не настолько плохие, чтобы не сошли ей с рук благодаря ее трогательному виду, тому, что она внушала жалость или явно хотела как лучше. Ей всегда удавалось избегать суровых порицаний; ныне же она получала по заслугам. И все-таки казалось

жестоким и странным, что человек, чьего доверия она не оправдала, – именно Том. Она не знала никого, чьи моральные устои были бы столь пугающе прочны, никого, чьи представления о хорошем и дурном ей меньше хотелось бы нарушить. Весь его облик зрелого мужчины – гладко выбритые щеки, лысая голова, слегка перекосившийся галстук, вызывающе немодные очки – говорил о нешуточности и требовал ее от других. Ей было до ужаса грустно, что из всех мужчин именно его она предала и разочаровала.

Он листал один из айтишных отчетов.

– Взлом редакционной сети меня не очень сильно беспокоит, – сказал он. – Весь его бизнес зависит от защиты источников. Поэтому я думаю, он не выставит напоказ мои. В худшем случае попробует с них что-нибудь надоесть. Что меня волнует – это домашний компьютер.

– Простите меня, – сказала Пип. – Это было так глупо с моей стороны. Одна из девушек Проекта прислала мне электронное письмо с приложением. Мне не следовало его открывать.

– Вы имели после этого доступ к моему домашнему компьютеру?

– Я? Нет! Да разве я смогла бы? Разве у вас нет паролей?

– Программа запоминает введенные символы.

– Я ничего про это не знаю. Я даже не знала, что там шпионская программа. В смысле – беспокоилась, но не была уверена.

– Вы не получали от него паролей?

– Нет.

– То есть вы ничего не видели с моего жесткого диска? Он не присылал вам документов оттуда?

– Нет! Мы вообще прервали связь!

– Вы абсолютно уверены?

– Том, боже мой, да! Вы и Лейла – мои кумиры. Я в жизни не стала бы за вами шпионить. Я в жизни не стала бы читать то, чего не должна. Я восхищена вами.

– А если он сейчас пришлет вам какой-нибудь документ? Ваши действия?

– Если буду знать, что это ваш документ, – не стану читать.

Том медленно выпустил из груди воздух, его плечи образовали выемку вокруг создавшейся пустоты. Вновь он с неизбывной печалью смотрел на кого-то незримого. Пип недоумевала: что за документ он у себя хранит, которого ей ни в коем случае нельзя видеть? Она не могла себе представить, что ему – ему! – есть что скрывать.

[le1o9n8a0rd]

Мой роман с Анабел начался сразу же после того, как мы развелись официально. В обмен на мое признание, что я ее бросил (такой поступок был одной из немногих причин для развода, которые закон штата Нью-Йорк считал уважительными, и эта причина лучше всех, чувствовала Анабел, отражала причиненное ей зло), мне разрешили занять нашу ценную квартиру в Восточном Гарлеме с регулируемой квартплатой, тогда как Анабел поселилась одна в лесистой части Нью-Джерси. Поскольку о том, чтобы подвергнуть ее тяготам пребывания на Манхэттене, не могло быть и речи, мне приходилось садиться на автобус на той стороне Сто двадцать пятой улицы, потом ехать на метро до Сто шестьдесят восьмой, после чего пускаться в гораздо более долгий и неизменно тошнотворный путь на автобусе через Гудзон и сквозь все более грубо застроенные места к холмам северо-западнее Нетконга.

Я дважды совершил эту поездку в феврале, дважды в марте и один раз в апреле. В последнюю субботу мая мой телефон зазвонил около семи утра, вскоре после того, как я, нетрезвый, лег спать. Я взял трубку только для того, чтобы прекратить звонки.

– О... – сказала Анабел. – А я думала, что попаду на автоответчик.

– Я дам отбой, и оставляй свое сообщение, – сказал я.

– Нет, это не займет больше чем полминуты. Клятвенно обещаю, что на этот раз не буду втягиваться.

– Анабел.

– Я только хотела сказать, что отвергаю твое представление о нас. Полностью отвергаю. Вот мое сообщение.

– Разве нельзя было отвергнуть его просто воздержанием от звонков?

– Втягиваться не буду, – сказала она, – но я же знаю, как ты рассуждаешь. Ты истолковываешь молчание как капитуляцию.

– Неужели ты забыла, что я обещал никогда не истолковывать так твое молчание? Не далее как в последнем нашем разговоре.

– Я уже кладу трубку, – сказала она, – но взгляни все-таки, Том, правде в глаза и признай, что твое обещание было пошлой уловкой. Чтобы оставить за собой последнее слово.

Я положил телефон на матрас близко и ко рту, и к уху.

– Мы уже достигли точки, когда в том, что разговор длится больше полуминуты, становлюсь виноват я? Или этот момент еще впереди?

– Нет, я кладу трубку, – сказала она. – Я только хотела заметить ясности ради, что ты абсолютно не прав в отношении нас. И все. Кладу трубку.

– Вот и хорошо. Понял. До свидания.

Но она не могла дать отбой, и я не в силах был сделать это сам.

– Нет, я тебя не виню, – сказала она. – Ты угробил мою молодость, а потом бросил меня, но я знаю, что за мое теперешнее благополучие ты ответственности не несешь, хотя должна тебе сообщить, что довольна жизнью и дела у меня идут неплохо, каким бы странным это ни казалось человеку, считающему меня, цитирую, “неприспособленной” к тому, чтобы иметь дело, цитирую, “с реальным миром”.

– “Угробил мою молодость, а потом бросил меня”, – процитировал я ее в ответ. – Какое отношение это имеет к длительности разговора? Ты хотела оставить сообщение на полминуты.

– И так бы и сделала! Но ты *отреагировал*...

– Я отреагировал, Анабел... неужели такие вещи надо объяснять? Отреагировал на то, что ты взяла трубку и набрала мой номер.

– Ну конечно. Вся беда в том, что я такая зависимая. Да? Зависимая и жалкая.

От нашего, месячной давности, предыдущего рецидива, от предыдущей попытки единения я не мог вспомнить ни одной счастливой или хотя бы непринужденной секунды. После этих попыток я был весь в синяках и ссадинах, с воронками от бомб в душе, но и со смутным, больным желанием повторения.

– Послушай, – сказал я. – Ты что, хочешь встретиться? Хочешь, чтобы я приехал? Ты поэтому позвонила?

– Нет! Я не хочу с тобой встречаться! Я хочу положить трубку, когда ты соблаговолишь мне это разрешить!

– Я помню прошлые твои звонки: ты тоже начинала с того, что не хочешь встречаться, но потом, после двух часов разговора, оказывалось, что на самом деле ты все время подспудно этого хотела.

– Если ты *сам* хочешь приехать и повидаться со мной, имей порядочность так прямо и сказать...

– И к тому моменту, конечно...

– ...как это делает приличный мужчина, желающий провести время с женщиной, которую уважает, и не превращающий свое предложение в гадкое обвинение...

– ...к тому моменту, конечно, делается уже не так рано, и это значит, что, когда мы все-таки встречаемся, чего ты все время втайне хотела,

делается по-настоящему *поздно*, и когда мы затем с неизбежностью ложимся вместе в постель...

– ...и не ставящий все подлым образом с ног на голову. Так, чтобы выходило, что это я зависимая, а не ты, что это я влачу жалкое существование, а не ты...

– ...с неизбежностью ложимся вместе в постель...

– Я не хочу с тобой спать! Я не хочу тебя видеть! Я не поэтому позвонила! Я позвонила, чтобы сказать простую вещь...

– ...до сна как такового у нас доходит только в три или в четыре утра, а впереди у меня три часа езды и рабочий день, и в прошлом все это создавало не слишком приятное послевкусие. Вот и все, о чем я пытаюсь тебе напомнить.

– Если хочешь приехать и погулять со мной, – сказала она, – будет очень мило. Я была бы рада. Но ты должен сказать, что *ты* этого хочешь.

– Не я тебе позвонил, а ты мне.

– Но ты первый заговорил о встрече. Так что уж будь честен со мной сейчас.

– Ты-то хочешь этого сама?

– Нет, если ты не хочешь и если не скажешь об этом по-человечески.

– Но это зеркально отражает мои собственные ощущения. Так что...

– Послушай, я тебе *позвонила*, – сказала она. – Ты бы мог хотя бы...

– Что я бы мог?

– Я что, причину тебе вред, если ты на долю секунды выйдешь из защитной позы? Я хочу сказать: что, по-твоему, у меня на уме? Обратишь тебя в рабство? Заставишь тебя опять на мне жениться? Речь идет о прогулке, боже ты мой, всего-навсего о прогулке!

Просто чтобы избежать двухчасового варианта этого разговора (сторона А пытается доказать, что роковое высказывание, из-за которого обмен репликами затянулся, сделала сторона Б, та, однако, оспаривает трактовку происходящего, данную стороной А, что, в свой черед, в отсутствие протокола беседы, побуждает сторону А реконструировать по памяти ее начало, в ответ на что сторона Б дает свою версию этого начала, отличающуюся от версии стороны А в ряде ключевых моментов, что делает необходимой продолжительную совместную работу по сопоставлению и согласованию этих двух реконструкций), я согласился поехать в Нью-Джерси и отправиться с ней на прогулку.

Анабел духовно очищалась на участке земли, принадлежавшем родителям Сюзан, ее младшей подруги и единственной поклонницы. Одним из первых моих дел после подачи заявления о разводе было

переспать с Сюзан. Она пригласила меня поужинать, желая выступить в роли посланницы Анабел, надеясь уговорить меня взять заявление назад, но она так устала от ночных двухчасовых телефонных разговоров с Анабел, наполненных жалобами на меня и на нью-йоркский мир искусства, что я в итоге уговорил ее предать Анабел. Должно быть, я хотел заставить Анабел пожелать развода так же сильно, как желал его я, но вышло иначе. Она разорвала дружбу с Сюзан и обвинила меня в том, что я отказываюсь успокоиться, пока не присвою или не оскверню все, что у нее есть, до последней мелочи. Но конечным выводом, который она сделала, пустив в ход свою диковинную моральную математику, было то, что и Сюзан, и я перед ней в долгу. Я по-прежнему отвечал на звонки Анабел и встречался с ней, Сюзан по-прежнему позволяла ей жить в доме в Нью-Джерси, который родители Сюзан, переехавшие в Нью-Мексико, пытались продать по нереалистичной цене.

Я вышел из автобуса с запотевшими окнами на маленьком захолустном лесном перекрестке. Из-за очень влажного воздуха в глазах на долю секунды стало мутновато. Жара наложила на атмосферу своего рода комендантский час; было как в теплице – буйная, заплонившая все растительность. Я увидел Анабел: она выступила из лесочка, где пряталась за деревьями. Ее улыбка была широкой и, если вспомнить все обстоятельства, неуместной: “Привет, Том”. Мое лицо изобразило что-то нелепое и неуместное в ответ: “Привет, Анабел”.

Ее необыкновенная грива темных волос, на тщательный уход за которыми и на все более частое окрашивание у нее уходило, пожалуй, больше времени, чем на что бы то ни было другое, помимо сна и медитаций, парким летом выглядела особенно густой и впечатляющей. Полоска живота между верхней кромкой ее вельветовых брюк без ремня и нижней кромкой облегающей клетчатой рубашки с короткими рукавами могла принадлежать тринадцатилетней. Ей было тридцать шесть. Мне – без двух месяцев тридцать четыре.

– Тебе разрешается подойти ко мне ближе, – сказала она ровно в тот момент, когда я вознамерился подойти ближе.

– Или нет, – добавила она в тот момент, когда я решил не подходить.

Над дорожным полотном висели, не рассеиваясь, автобусные выхлопы.

– Кажется, мы здесь абсолютно рассинхронизированы, – сказал я.

– Разве? – спросила она. – Может быть, только ты? Я не чувствую, что рассинхронизирована.

Я мог бы заметить в ответ, что, по определению,

синхронизированными или рассинхронизированными можно быть только обоюдно, но надо было принимать во внимание логическое древо. Каждое ее высказывание предоставляло мне выбор из нескольких ответных реплик, каждая из которых, будь она произнесена, дала бы ей повод к тому или иному новому высказыванию, на которое я опять-таки мог ответить по-разному, и я знал, как быстро можно, пройдя восемь или десять шагов, оказаться на какой-нибудь опасной ветви этого древа и какой это медленный, кропотливый, приводящий в отчаяние труд – вернуться по пройденному пути в нейтральную начальную точку, ведь в процессе возврата неизбежно прозвучат очередные высказывания, иные из моих ответов на которые наверняка поведут к новым осложнениям; это научило меня всегда в первые минуты после встречи чрезвычайно аккуратно выбирать слова.

– Хочу сразу тебя предупредить, – сказал я, – что мне совершенно необходимо вернуться в город сегодня же последним автобусом. Он довольно рано уходит – в восемь с чем-то.

Лицо Анабел стало печальным.

– Я не буду тебя удерживать.

Пока мы разговаривали, небо неуклонно становилось все менее серым. Я потел с ног до головы, словно кто-то включил духовку.

– Тебе вечно кажется, что я пытаюсь тебя к чему-то принудить, – сказала Анабел. – Сначала заставляю приехать, хотя ты не хочешь. Потом вопреки твоему желанию заставляю остаться. Из нас двоих *ты* приезжаешь и уезжаешь, но тебе почему-то чудится, что я чем-то тут управляю. Если ты чувствуешь себя бессильным, то попробуй представить, как я себя чувствую.

– Я просто хотел дать тебе знать, – промолвил я аккуратно. – Раньше или позже я сказать это должен был, и если бы я сказал позже, могло бы создаться впечатление, что я пытался утаить это от тебя.

Она недовольно тряхнула гривой.

– Ну да, ведь это, конечно же, страшно огорчило бы меня. Ты, видимо, боишься сердце мне разбить своим намерением уехать автобусом восемь одиннадцать. Стоишь тут и ломаешь голову: какую выбрать минуту, чтобы сообщить эту душераздирающую весть своей цепляющейся, задыхающейся бывшей... уж не знаю, как себя назвать.

– Сейчас ты показываешь, – заметил я, – что оба варианта, ранний и поздний, по-своему рискованны.

– Я понять не могу: почему ты считаешь меня своим врагом?

На главной дороге показались машины. Я сделал несколько шагов к

Анабел по более узкой дороге, и она спросила меня, уж не думал ли я, что разочарую ее тем, что не проведу у нее ночь.

– Может быть, такая мысль и мелькнула, – сказал я. – Но только потому, что ты упомянула о том, что на завтра у тебя ничего не запланировано.

– А когда у меня вообще что-нибудь запланировано?

– Вот именно что никогда. И поэтому то, что ты сочла нужным упомянуть...

– ...мгновенно вызвало у тебя мысль об упреках, которые прозвучат, если ты решишь не проводить со мной и завтрашний день.

Я сделал вдох.

– Доля правды в этом есть.

– Что ж, отлично, – сказала она. – Вдруг у меня пропала уверенность, что я вообще хочу тебя видеть, так что...

– Прекрасно, – отозвался я, – но лучше бы ты сказала мне это перед тем, как пригласила меня сюда и я полдня провел в автобусах.

– Я не приглашала тебя. Я приняла твое предложение встретиться. Это большая разница. Особенно если ты приезжаешь в таком враждебном настроении и в первую же секунду сообщаем, когда тебе надо ехать обратно. В первую же секунду.

– Анабел.

– Ты весь день ехал в автобусе. Я сидела здесь и ждала тебя. Спрашивается, кому хуже? Кто в более жалком положении?

Унизительно было перемещаться с ней по логическому древу. Унизительна была моя готовность оспаривать любую мелочь, унизительно было делать это после того, как адски часто делал это в течение двенадцати лет. Я словно бы созерцал свое болезненное пристрастие к веществу, которое давным-давно перестало приносить мне даже малейшее удовольствие. Неслучайно наши теперешние встречи должны были происходить в глубине леса, в строжайшем уединении. Нам слишком стыдно было бы за себя на глазах у посторонних.

– Может, просто пойдем прогуляемся? – предложил я, вскидывая на плечи рюкзачок.

– Да! А ты думал, я хочу без конца так стоять и разговаривать?

Узкая дорога шла вдоль лесной опушки. Минувшая весна была дождливой, и растительность в канавах, на лугах и на более каменистых лесных склонах зеленела фантастически. В воздухе в непристойном количестве висела пыльца, деревья были пышно и ярко отягощены своим плодородием, сочностью разросшейся листвы. Мы протиснулись сквозь

челюсти ржавой калитки и пошли вниз по старой грунтовой дороге, до того размытой, что она больше походила на русло ручья. Дикие травы, которым очень скоро предстояло раскатыться в своем безудержном росте, – травы, уже вымахавшие выше, чем им полагалось за все лето, травы на стероидах, травы, которые будут клониться и гнуться, станут уродливыми, – так сузили путь, что нам пришлось двигаться гуськом.

– Полагаю, мне лучше не спрашивать, почему тебе “необходимо” вернуться сегодня, – сказала Анабел.

– Пожалуй, лучше не надо.

– Мне было бы слишком больно услышать, что завтра у тебя бранч с Вайноной Райдер.

Мой предполагаемый интерес к хорошеньким женщинам сильно моложе меня был теперь, после развода, постоянной темой высказываний Анабел. Но завтрашняя встреча должна была состояться за ужином, а не за поздним завтраком, и ужинать мне предстояло не с молодой женщиной, а с отцом Анабел, которого она терпеть не могла и которого не видела более десяти лет. Несмотря на нашу с ней явную склонность к рецидивам отношений, я убедил себя, что больше ее не увижу и не услышу и потому могу встречаться с ее отцом, не боясь ее упреков.

– Кажется, юные особы очень любят это сейчас, – сказала Анабел. – Встречаться за *бранчем*. Я не знаю более тошнотворного слова во всем английском языке^[65]. Запах киша лорен, смешанный с запахом сосисочного жира.

– Мне надо домой, чтобы поспать, этой ночью я не спал совсем.

– А, ну конечно. Я тебя разбудила, и ты не можешь мне этого простить.

Я сдержался и промолчал. В сознании начали всплывать обрывки нашего предыдущего рецидива, который я старался забыть, но я не столько вспоминал его сейчас, сколько переживал заново. В стране Тома и Анабел прошлое и будущее слились воедино. Низко нависшее небо Нью-Джерси было парной баней, где шло коловращение клубящихся масс, где в непредсказуемом месте густой мрак мог смениться желтым сиянием, не дававшим понятия о том, где находится солнце, какое сейчас время дня, где восток и где запад. Когда Анабел повела меня в лес, где в прошлом охотились индейцы ленапе, моя дезориентация усилилась. Было пять часов, и час, и семь, и утро месячной давности, и завтрашний полдень – все одновременно.

Анабел шла впереди, мой взгляд постоянно упирался в ее покрытые вельветом ягодицы. Она вела меня по оленьим тропам, сама длинноногая, как оленуха, аккуратно обходя все, что напоминало ядовитый плющ. Она

больше не была так убийственно истощена недоеданием, как в годы перед тем, как мы расстались, но по-прежнему была тоненькая. Талию и изгибы вокруг ребер словно выточил ветер в скопившемся снегу.

Когда мы спускались по пружинящему склону, усыпанному ржавыми сосновыми иглами, я увидел, что она расстегнула рубашку. Коротенькие полы рубашки колыхались по ее бокам. Она не оборачивалась, но пустилась бежать по склону. Какая давящая жара, по сравнению с дорогой, стояла в лесу! Следуя за бывшей женой, я вышел на небольшую поляну у впадины высохшего озерца, которое, пока было полноводным, утопило все стоявшие в нем деревья. Передо мной высился лес из палок такого же металлически-серого цвета, как небо. В воздух поднялась серебристая цапля.

– Здесь, – сказала Анабел. Под ногами был мох, и камень, и голая земля. Она скинула рубашку и повернулась ко мне. Ареолы вокруг ее сосков были такими большими и насыщено-красными, что хотелось отвести глаза. Словно в кремовый шелк ее кожи густо впиталась кровь из двух симметричных колотых ранок. Я стал смотреть в сторону.

– Я стараюсь быть с тобой не такой стыдливой, – сказала она.

– Сегодня это у тебя неплохо получается.

– Так посмотри же на меня.

– Хорошо.

Краска в ее лице сделала более заметным тонкий шрам на лбу – следствие того же падения с лошади в детстве, что стоило ей большей части двух передних зубов. Зубы ей восстановили потом у дорогого стоматолога, но заметно все-таки было. Между этими двумя зубами виднелся промежуток, который всегда казался мне эротичным. Маленькая манящая щель. Постоянное приглашение для языка.

Она тряхнула передо мной грудями и, содрогнувшись от стеснительности, отвернулась. Обняв ствол бука, сказала:

– Смотри, какая я древопоклонница.

Мы достигли точки возврата – точки, откуда нам положено было, прыгая с ветки на ветку, двинуться вниз, вспять по логическому древу к его стволу-объединителю; от всех “да-нет” – к согласному “да-да-да”. Я снял одежду и обнаружил, что, хоть мы и разведены, положил в свой рюкзачок пачку презервативов – шесть штук.

Анабел, лежа ничком на мшистой земле, предлагая себя, как женщина из племени ленапе, сказала, что в них нет необходимости.

– Как нет необходимости?

– Нет – и все, – ответила она.

– Поговорим об этом позже, – сказал я, разрывая пачку.

В 1991 году я еще был так худ, что, по сути, не имел тела вовсе. То, чем я располагал, больше напоминало проволочный каркас, к которому были прикреплены кое-какие ключевые высокотехнологичные элементы: увесистая голова, большие ладони, половой член, либо тиранически эрегированный, либо увядший, – и все. Я походил на рисунок Жоана Миро. Я был идеей, и только. В шестой раз сегодня эта странная штуковина вытащила себя в живописные окрестности Делавэр-Уотер-Гап^[66], чтобы стать частью некой дурной идеи, которую мы с Анабел теперь вместе возымели на свой счет. Ничего уютного, ничего милого тут не было и в помине. Это было вот как: она лежала на чем-то жестком и неприятном, а проволочная конструкция бешено прыгала сверху.

Я спросил, не больно ли ей.

– *Повреждений...* нет, кажется...

Прозвучало чуть иронически. Около ее головы лежал камень размером с футбольный мяч. Я задался вопросом: не нарочно ли она легла у этого камня, чтобы навести меня на то, о чем стеснялась попросить вслух? На то, чтобы взять камень и размозжить ей череп. Не в этом ли идея?

– А сейчас? – спросил я, трудясь изо всех сил.

– Уже возможны повреждения.

Все, о чем мы вечно спорили, было ничем. Мы словно бы пытались сделать нулевое содержание ненулевым, умножая его на бесконечность разговоров. Чтобы сделать телесную близость возможной, нам надо было расстаться, а чтобы эта близость стала исступленной и маниакальной, нам надо было развестись. Секс был неистовой атакой на гигантское ничто, которое мы нагромодили спорами, стараясь спастись. Он был единственным спором, который каждый из нас мог проиграть с честью. Но потом все кончалось, и опять оставалось одно ничто.

Анабел лежала лицом вниз на каменистой земле, тихо всхлипывая, пока я разбирался в топологии брючин и белья. Я знал, что лучше не спрашивать, почему она плачет. Если я спрошу, мы останемся тут до ночи. Куда разумнее отправиться в путь, чтобы, разговаривая о том, почему я не спросил, почему она плачет, проделать какое-то расстояние.

Она встала, чтобы надеть рубашку.

– Ну что ж, – промолвила она. – Теперь ты, получив свое, можешь возвращаться в город.

– Не надо только говорить, что ты этого не хотела, очень тебя прошу.

– Но это было *единственное*, чего ты хотел, – сказала она. – Так что теперь можешь возвращаться. Если только не хочешь прямо сейчас это

повторить и вернуться потом.

Прихлопнув комара на руке, я посмотрел на часы и не смог разглядеть того, что они ясно показывали.

– Объясни мне, почему мы не завели детей, – сказала Анабел. – Не могу припомнить, чем ты это мотивировал.

Я внезапно почувствовал головокружение. Поднять детскую тему – это даже по меркам Анабел было непомерно дорого за несколько минут секса. И счет она предъявила адски рано.

– Ты помнишь или нет? – спросила она. – Мне что-то никакого серьезного обсуждения не вспоминается.

– Поэтому давай устроим пятичасовое обсуждение прямо сейчас, – сказал я. – Самое подходящее время и самое подходящее место.

– Ты же сказал: “Поговорим об этом позже”. Вот позже и наступило.

Я убил еще одного комара.

– Чувствительный укусы.

– Я чувствую укусы все время.

– Я не думал, что ты свяжешь тему презервативов с темой детей.

– А что ты думал?

Я дотронулся до выпуклой, завязанной узлом резинки в кармане брюк.

– Ну, не знаю. Что ты заведешь разговор о чем-нибудь эпидемиологическом, о других партнершах.

– Вот уж о чем я слышать не хочу совершенно.

– Жутко комариное место, – сказал я. – Надо двигать отсюда.

– Ты хоть знаешь, где мы находимся? Смог бы сам найти дорогу?

– Нет.

– Получается, я нужна тебе все-таки. Если хочешь успеть на свой автобус.

Чтобы не заблудиться в ветвях логического древа, нужна была бдительность и бдительность, но жар, исходивший от Анабел, тепло ее спины и наших телесных жидкостей, запах шампуня “Мэйн энд тейл” – “грива и хвост” – от ее волос, всегда слабый, но неизменно ощутимый, – все это притупило мои мыслительные способности. Опиум, которым была Анабел, подействовал на меня предсказуемым образом. Я проговорил с ноткой отчаяния:

– Послушай, я уже понял, что ты не позволишь мне успеть на этот автобус.

– Позволю тебе? Ха.

– Не ты, – поправился я. – Мы. Что мы не позволим мне успеть на автобус.

Но ошибка уже была допущена. Брыкнув ногой, она вставила ее в кроссовку, за ней другую.

– Сейчас мы идем напрямик обратно и ждем автобуса, – сказала она. – Просто чтобы я раз в жизни была хоть на сколько-то избавлена от твоей злобы. Чтобы хоть один раз ты не смог меня обвинить в том, что не успел вернуться.

Анабел не желала видеть, что в наших отношениях просто-напросто что-то сломано, сломано непоправимо и нет смысла уже рассуждать, кто виноват и в чем. Во время нашего предыдущего наркоманского срыва мы проговорили девять часов кряду, прерываясь только чтобы выйти по нужде. Я подумал было тогда, что смог наконец доказать ей, что единственный выход из нашего несчастья – расстаться решительно, прервать всякую связь; что сами эти девятичасовые разговоры – часть той болезни, которую они якобы призваны излечить. В этом заключалось представление о нас, которое она, как заявила мне утром по телефону, отвергла. Но каково тогда ее представление? Невозможно сказать. Она была так уверена в себе в моральном плане, постоянно, что бы ни приносила та или иная минута, что у меня надолго возникала иллюзия, будто мы куда-то все-таки движемся; лишь потом я осознавал, что мы двигались по кругу, большому и пустому. При всем своем уме и чуткости она не только ничего не смыслила в происходящем, но и неспособна была признать, что ничего в нем не смыслит, и ужасно было видеть это в женщине, которой я был так глубоко предан и с которой пообещал прожить вместе всю жизнь. Волей-неволей мне надо было прилагать новые и новые усилия к тому, чтобы помочь ей понять, что никакие новые усилия ни к чему не приведут.

– Вот что погано, – сказал я, когда мы поднимались от впадины, где все погибло, к более приемлемым местам. – Я только о себе сейчас говорю. Проходит месяц, и так делается муторно, такая тоска, такой стыд накатывает из-за нашей последней встречи, что я едва могу заставить себя показаться людям на глаза. Поэтому я должен ехать сюда, и когда я здесь, это уже практически *биология* – она требует, чтобы я провел здесь сутки и еще полсуток, она порождает всяческие ложные надежды и ожидания...

Анабел резко повернулась ко мне.

– Заткнись! Заткнись! Заткнись!

– Ты что, хочешь, чтобы я убил тебя?

Она решительно покачала головой: нет, нет, она не хочет быть убитой.

– Тогда не звони мне.

– Не хватило сил удержаться.

– Не вытаскивай меня сюда больше. Не поступай со мной так.

– Я же сказала: не хватило сил! Уймись, бога ради! Сколько можно тыкать меня мордой в то, какая я слабая?

Она принялась кружить передо мной, подняв к лицу руки с обращенными внутрь пальцами-когтями; лицо было такое, словно в голову ей забрался рой жалящих шершней.

– Имей ко мне жалость, – проговорила она.

Я схватил ее и стал целовать, мою Анабел. Из носа и глаз у нее текло, дыхание жаркое – как же она была мне дорога! Эта женщина с неустойчивой психикой, почти нетрудоспособная... Я целовал ее, стараясь унять ее боль, но считанные секунды спустя мои ладони поползли под вельветовые брюки. Ее бедра были такие узкие, что я мог спустить с них брюки не расстегивая. Когда мы полюбили друг друга, мы едва вышли из детского возраста. Ныне все было пеплом, пеплом пепла, сожженного при температуре, при которой горит пепел, но полноценная половая жизнь у нас только началась, и я помыслить не мог, что когда-нибудь перестану любить Анабел. Предстоящие два, три, пять лет секса среди пепла – вот что заставляло меня думать о смерти, об убийстве. Когда она отстранилась от меня, упала на колени, расстегнула мой рюкзачок и вынула оттуда мой складной нож, в голове у меня мелькнуло, что у нее те же мысли. Но нет: пять моих оставшихся презервативов – вот над чем она учинила расправу.

Квартира на Адальбертштрассе была заложницей желудка. Когда Клелия закрывала вечером глаза, ей порой представлялось, будто он висит в темноте над ее короткой кроватью. Снаружи тугой и лоснящийся, этакий светло-розовый баклажан с темными отростками вен, пищеварительный орган был красным и рельефным внутри, содержал в себе едкие жидкости и, как беспокойное дитя, мог впасть в конвульсивное состояние в любой час дня и особенно ночи. Телом, где обитал этот несчастливый орган, было тело Аннели – матери Клелии. Клелия спала в общей комнате через стенку от материнской спальни, так что, когда мать ночью подавала голос, требуя молока и сухарей, она не будила ни младших детей, ни своего брата Руди – только Клелию.

Желудок остро реагировал на жалость Клелии к самой себе. Он слышал, когда она плакала в подушку, ему это не нравилось, и он выплескивал кровь и желчь на материнскую простыню, которую Клелии приходилось после этого снимать и замачивать. С кровью невозможно было спорить. Как бы жестоко ни обращалась с Клелией мать, у нее имелась кровавая козырная карта: она и вправду была больна.

Невозможно было спорить и с тем, что Клелия должна зарабатывать.

Даже если бы ее приняли в университет, где учился ее отец, – в университет, основанный четыреста лет назад, мимо которого она каждое утро проходила по дороге в булочную, – семья не смогла бы прокормиться, занимайся Клелия только учебой. Дядя Руди, асфальтировщик городских улиц, гордо носивший ярко-синий комбинезон – униформу немецкого рабочего, подлинную униформу тирании в социалистическом рабочем государстве, – проявлял заботу о больной сестре тем, что платил за квартиру. Но он пил и заводил подружек, так что о пропитании должна была заботиться Клелия. Брату было пятнадцать, сестре и того меньше.

Днем Клелия обслуживала покупателей в булочной, ночью обслуживала желудок. Только субботними вечерами и по воскресеньям у нее находились кое-какие часы для себя. Она любила гулять вдоль реки и, если день был солнечный, отыскивала клочок чистой травы, ложилась и закрывала глаза. Потребности в людях она не испытывала – она и так брала в булочной деньги у сотен и сотен, у мужчин, которые бесстыдно на нее пялились, у старух, которые выуживали двумя пальцами монетки из матерчатых кошельков так, словно ковыряли в носу. Большинство друзей и подруг Клелии по школе теперь учились в университете и стали ей чужими, остальные держались от нее на расстоянии, потому что ее отец был из буржуазной семьи; да она и сама предпочитала проводить время одна, мечтая о мужчине, который заберет ее с Адальбертштрассе в Берлин, или во Францию, или в Англию, или в Америку. О мужчине, похожем на ее отца, которого она помнила – помнила, как поднималась следом за ним к двери верхнего соседа и как он мягко говорил соседу сквозь крохотную щелку, которую тот нехотя открывал: “Моя жена сегодня очень плохо себя чувствует. Желудок. Не могли бы вы чуть потише?” Вот что он был за человек.

В одну очень теплую июньскую субботу вскоре после того, как Клелии исполнилось двадцать, она сняла в булочной свой фартук и сказала начальнику, что уходит раньше. Дело было в 1954 году, и рабочие и работницы в Йене уже начали понимать: в том, чтобы уйти с работы раньше, ничего страшного нет. Люди будут дольше ждать в очереди, только и всего, в крайнем случае за счет своего собственного рабочего времени, но его потеря точно так же не имела значения. Торопливо придя домой, Клелия переделалась в свое любимое старое выцветшее лавандовое летнее платье. Брата и сестру дядя взял на рыбалку, а мать, которой желудок всю ночь не давал уснуть, теперь спала. Клелия заварила ежевичный чай – мать, хотя он содержит танин и кофеин, говорила, что он успокаивает желудок, – и принесла ей в спальню с сухим печеньем. Села на край кровати и стала

гладить матери голову так, как, она помнила, делал это отец. Мать проснулась и оттолкнула ее руку.

– Вот, чаю тебе принесла перед уходом, – сказала Клелия, вставая.

– Куда ты уходишь?

– Гулять.

Материнское лицо, когда желудок оставлял ее в покое, до сих пор было милостивым. Казалось, она протерпела достаточно, чтобы сделаться дряхлой старушкой, но ей было всего сорок три. На пару секунд Клелии почудилось, что она вот-вот ей улыбнется, но мать опустила глаза на туловище дочери, и ее лицо мигом приняло привычное выражение.

– Только не в этом платье, слышишь меня?

– Почему не в этом? Сегодня жарко.

– Имей ты хоть что-нибудь в голове, ты ни за что не стала бы привлекать внимания к своему телу.

– Что не так с моим телом?

– Главная беда в том, что его много. Девушка, у которой есть капелька ума, постарается свести его эффект к минимуму.

– У меня достаточно ума!

– Ничего подобного, – возразила мать. – Ты глупая гусыня. И я почти уверена, что ты предложишь себя первому же незнакомцу, который скажет тебе два ласковых слова.

Клелия покраснела и, краснея, почувствовала себя именно что глупой гусыней: грудастая, высокая и нелепая, с длинными ступнями и большим ртом. Гусыня – гусыня и есть, и она продолжала гоготать:

– Два ласковых слова – это больше, чем я слышала от тебя за всю жизнь!

– Это несправедливо, но бог с тобой, не важно.

– Я бы хотела, чтобы какой-нибудь незнакомец сказал мне ласковые слова. Я мечтаю услышать ласковые слова.

– О да, конечно, это очень мило, – сказала мать. – Один раз из ста незнакомец может даже произнести их искренне.

– Мне все равно, искренне или нет! Я просто хочу их услышать – ласковые слова!

– Соображай, что говоришь. – Мать пощупала чайник и наполнила чашку. – Ты еще не помыла унитаз. Твой дядя его оставляет черт знает в каком состоянии. Я отсюда чувствую запах.

– Вернусь и помою.

– Нет, сейчас. Не понимаю этого: “сначала развлекусь, потом поработаю”. Приведешь в порядок унитаз, вымоешь пол на кухне, а потом,

если будет время, можешь переодеться и выйти. Я понять не могу, как можно веселиться, зная, что дело не сделано.

– Я ненадолго, – сказала Клелия.

– Тогда почему так торопишься?

– Прекрасный теплый день сегодня.

– Хочешь что-то купить и боишься, что магазин закроется?

Аннели чутьем умела угадать единственный вопрос, на который Клелия не хотела отвечать правдиво, и не преминула задать его.

– Нет, – сказала Клелия.

– Принеси кошелек.

Клелия вышла и вернулась с кошельком, где было несколько мелких купюр и мелочь. Она смотрела, как мать пересчитывает пфенниги. Хотя с тех пор, как она стала кормильцем семьи, мать ни разу не поднимала на нее руки, на лице Клелии было написано беспокойство зверька, загнанного в угол.

– Где остальное? – спросила мать.

– Больше ничего нет. Остальное я тебе отдала.

– Ты врешь.

В левой чашке лифчика Клелии вдруг зашевелились, точно сухокрылые насекомые, готовящиеся взлететь, шесть двадцаток и восемь десяток. Ей слышен был шорох их бумажных крыльев, и это значило, что он слышен и ее чуткой матери. Их колючие ножки и жесткие головки царапали Клелии кожу. Усилием воли она заставила себя не опускать взгляда.

– Платье, – сказала мать. – Ты хочешь купить платье.

– Ты знаешь, что у меня нет денег на это платье.

– Они возьмут двадцать марок, остальное в рассрочку.

– За эту вещь они хотят все сразу.

– А откуда ты это знаешь?

– Пошла и спросила! Потому что я хочу красивое платье!

В смятении, опустив глаза, Клелия смотрела, как ее правая рука всецело по своей собственной воле двинулась вверх и прикоснулась к злосчастному лифчику с левой стороны. Такой вот она была открытой книгой, так бесхитростно давала обо всем знать. Матери только и оставалось, что просто потребовать:

– Покажи, что у тебя там.

Клелия вынула купюры из лифчика и отдала матери. В подсобке магазина одежды на их улице имелось открытое платье западного покроя или покроя, сходившего за западный в богом забытой Йене, – слишком

западное, так или иначе, чтобы вывешивать напоказ. Клелия приносила продавщице свежую выпечку, говоря, что это нераспроданные остатки, и продавщица была к ней добра. Но Клелия, глупая гусыня, разболтала про платье младшей сестренке – мол, вот что иногда можно обнаружить в подсобке магазина в социалистической республике, – и мать, хотя не была большой сторонницей социализма, прослышала и взяла на заметку. Мать вела слежку зорче, чем социалистическая республика. Теперь она со спокойствием победительницы положила деньги в карман халата, отхлебнула чай и спросила:

– Тебе это платье нужно было для какого-то свидания? Или просто для уличных гуляний?

Деньги не принадлежали Клелии по праву и были в определенной мере нереальными для нее, она чувствовала, что заслужила наказание, которым стало их изъятие, – даже некое покаянное облегчение испытала, доставая их из лифчика. Но когда она увидела, как деньги исчезают в материнском кармане, они вновь обрели для нее реальность. Полгода она их скрытно копила. Ее глаза наполнились слезами.

– Это *ты* уличная, – сказала она.

– Как, прости, ты говоришь?

Ужаснувшись самой себе, Клелия попыталась отыграть назад.

– Я хотела сказать, ты любишь гулять по улице. А я люблю гулять в парке.

– Но слово, которое ты произнесла. Повтори, пожалуйста.

– Уличная.

Лиф лавандового платья потемнел от выплеснутого в него теплого чая. Широко открытыми глазами Клелия смотрела вниз, на мокрую ткань.

– Лучше бы я позволила тебе голодать, – проговорила мать. – Но ты ела, ела, ела, и вот как тебя много теперь. Мне надо было дать детям умереть с голоду? Я не могла работать, и путь был один. Потому что ты ела, и ела, и ела. Только ты виновата в том, как я себя вела. Не мой аппетит, а твой.

Аппетит у матери был очень слабый, это верно. Но она сказала это так, как говорят персонажи жестоких сказок, тоном до того непререкаемым, что ее словно не было в постели вовсе, а был манекен, рупор из плоти и крови для мстительного желудка. Клелия медлила в надежде на что-то человеческое, оставшееся в матери, на то, что она одумается и извинится за свои слова, по крайней мере смягчит их; но тут лицо Аннели исказил внезапный желудочный спазм. Она сделала слабый жест в сторону чайника.

– Мне нужен горячий чай. Этот уже остыл.

Клелия выбежала из спальни и бросилась на свою кровать.

– Ты грязная *шлюха!* – прошептала она. – *Грязная шлюха!*

Услышав себя, она мгновенно села и прикрыла рот ладонью. Из-за наворачившихся слез у световых полос по краям плотных штор, которые по требованию желудка постоянно были задернуты, возникли прозрачные дрожащие крылья. Господи, подумала она. Как я могла такое сказать? Какая же я дрянь! И снова бросилась на узкий матрас, снова подушка приняла в себя ее шепот: *Шлюха! Шлюха! Поганая шлюха!* Произнося это, она била себя по голове костяшками пальцев. Она чувствовала себя самой большой дрянью на свете – и в то же время одним из самых несчастных и нелепых существ. Ноги такие длинные, что, ложась на свою детскую кровать, она подгибала их или оставляла ступни висеть. Рост – метр восемьдесят, нелепая гусыня в слишком маленькой клетке детской кровати, и вдобавок самое уродливое имя, что когда-либо давали девочкам. В булочной она казалась людям дурочкой, потому что хихикала без причины и могла выпалить первое, что придет в голову.

Но она не была дурой. В школе училась на отлично, и ее приняли бы в университет, если бы комитет позволил. Официальная причина отказа – буржуазное происхождение отца, но ее отца уже не было на свете, а мать и дядя происходили из правильного класса. Настоящее клеймо позора – то, что мать в самые тяжелые годы спала сначала с одним, а потом с другим мужчиной в черной офицерской форме. Младшая сестра Клелии была дочерью второго. Клелия ела мясо, масло и сладости, это верно, но она была ребенком, непричастным к злу. И не ей, а злему желудку один из офицеров принес целую коробку настоящего пепто-бисмола. Аннели торговала собой ради желудка, а не ради детей.

Мама много раз рассказывала мне эту историю и всегда подчеркивала, что, снимая испорченное платье, надевая другое и беря с собой булочку и две книжки, она не намеревалась бросить брата и сестру, не действовала ни по какому выношенному плану. Она хотела всего-навсего провести вечер подальше от желудка, самое большее – дать себе сутки отдыха от квартиры, где она остро сознавала, как ей не повезло, что она родилась немкой, и где она вместе с тем совершенно не была способна представить себя кем-либо еще. До той июньской субботы самым худшим, что она замышляла, было купить западное платье. Теперь у нее никогда не будет этого платья, но погулять на Западе она все-таки в состоянии: до американского сектора можно доехать на поезде.

С тридцатью марками в наплечной сумочке она поспешно двинулась к

центру города, который по-социалистически неторопливо все еще восстанавливали после бомбардировок – их Йена претерпела из-за того, что в ней производили оптические прицелы для военных нужд. За билет до Берлина и обратно пришлось отдать почти все деньги. На остальное купила пакетик леденцов, от которых, когда она доехала до Лейпцига, ее голод еще усилился. Из еды теперь оставалась только булочка – до того неподготовленным был ее побег. Но главным, чего ей не хватало, был свежий воздух. В отсеке поезда по-социалистически воняло потными подмышками, воздух, вливающийся в открытое окно, был горячим и скверным из-за тяжелой промышленности, на вокзале Фридрихштрассе пахло дымом от дешевого табака и канцелярскими чернилами. Нет, она не чувствовала себя каплей в потоке ума и таланта, хлынувшим из республики в те годы. Она была слепо бегущей гусыней – и только.

Запад Берлина еще сильнее пострадал от войны, чем восток, но воздух там был посвежее, хотя, может быть, просто-напросто из-за того, что настал вечер. Бульвар Курфюрстендамм выглядел так, словно перенес суровую зиму, но не было ощущения постоянной социалистической разрухи. Уже, как подснежники и крокусы, как первые зеленые весенние ростки, на Кудамм появлялись живые начатки коммерции. Клелия прошла весь бульвар туда и обратно, не останавливаясь, потому что остановиться значило вспомнить, как она голодна. Она шла и шла, теперь уже по более мрачным улицам и по сильнее разрушенным кварталам. В конце концов осознала, что бездумно, повинувшись какому-то инстинкту, искала булочную, потому что по субботам булочные, закрываясь, избавляются от зачерствевших *Schrippen*^[67]. Но почему тогда, отчаянно ища в незнакомом городе магазин определенного типа, она неизменно сворачивала туда, где такого магазина не было? Каждый перекресток давал новую возможность ошибиться.

Так, совершая одну ошибку за другой, Клелия забрела в очень темную и пустынную часть Моабита. Пошел легкий дождик, и когда она наконец встала под изуродованной липой, она понятия не имела, где находится. Но город, похоже, знал, где она, – похоже, только и ждал, чтобы она остановилась. Подъехал черный седан с открытыми окнами и усеянной дождевыми каплями крышей; мужчина рядом с водителем наклонился к окну.

– Привет, большеножка!

Клелия оглянулась: может быть, он обращается к кому-то другому?

– Ты, ты! – подтвердил мужчина. – Сколько?

– Что, простите?

– Сколько с нас двоих?

Вежливо улыбаясь, потому что мужчины улыбались ей очень приветливо, Клелия бросила взгляд через плечо и пошла в том направлении. Споткнувшись, заторопилась.

– Постой, постой! Ты потрясная...

– Вернись...

– Большеножка!.. Большеножка!..

Она чувствовала, что ведет себя невежливо, пусть даже эти двое и приняли ее за проститутку. Тут нет злого умысла, просто ошибка, понятная в этой обстановке. Надо вернуться, подумала она. Вернуться, сказать им, что они ошиблись, найти подходящие слова, потому что иначе они будут смущены и пристыжены, пусть даже я по-идиотски поступила, придя на эту улицу... Но ноги сами несли ее дальше. Ей слышно было, как седан повернул и поехал за ней.

– Извините, недоразумение вышло, – сказал водитель, замедляя ход. – Ведь вы приличная девушка, да?

– Милая девушка, – добавил второй.

– В этом районе приличной девушке гулять не стоит. Давайте мы вас подвезем.

– Дождь идет, золотко. Хотите укрыться?

Она продолжала идти, слишком смущенная, чтобы смотреть в их сторону, но и неуверенная в себе, потому что и правда шел дождь и ей очень хотелось есть; может быть, у ее матери именно так все и началось, может быть, она была так же одинока в мире, как Клелия сейчас, и так же нуждалась в чем-то, что ей мог дать мужчина...

Впереди на темном тротуаре замаячила фигура еще одного мужчины. Клелия остановилась – и машина остановилась.

– Понимаете теперь, о чем я? – спросил водитель. – Здесь опасно ходить одной.

– Садитесь, садитесь, – уговаривал ее второй. – Поехали с нами.

Мужчина на тротуаре не был очень уж привлекателен физически, но она увидела, что у него широкое, открытое лицо. И это был мой будущий отец; даже темным дождливым вечером в зловещем Моабите он выглядел безусловно заслуживающим доверия. Я не в силах представить его себе на этой улице ни в чем, кроме как в бодро-ужасающем: ботинки фирмы “Л. Л. Бин” для долгой ходьбы, укороченные брюки защитного цвета и спортивная рубашка, какие носили в пятидесятые, с пластинками в углах широкого отложного воротника. Нахмутив лоб, он оценил положение и заговорил с Клелией на ломаном немецком:

– Энтшульдиг, фройляйн. Кон их дих хельфен? Ист аллес окей здесь? Шпрехен зи энглиш?

– Немного, – ответила она по-английски.

– Вы этих людей знаете? Хотите, чтобы они тут были?

Поколебавшись, она покачала головой. После чего мой отец, который был, так или иначе, физически бесстрашен и, кроме того, верил, что если вести себя с людьми рационально и дружелюбно, то они будут отвечать тебе тем же, и что если все будут так поступать, то мир изменится к лучшему, подошел к седану, пожал мужчинам руки, представился по-немецки как Чак Аберант из Денвера, Колорадо, спросил их, берлинцы они или приехали, как он, на время, выслушал с искренним интересом их ответы и сказал им, чтобы они не беспокоились о девушке: он лично ручается за ее безопасность. Было крайне маловероятно, что он увидит их еще хоть раз в жизни, но, как говорил мой отец, наверняка никогда не знаешь. Имеет смысл обращаться с каждым, кого встречаешь, так, словно он может стать твоим лучшим другом.

Моя мать, которая за первые свои двадцать лет успела пережить бомбардировки Йены и вступление в город Красной армии, которая видела, как ее мать облили содержимым соседского ночного горшка, как собака поедала трупик ребенка, как пианино раскалывали на дрова и как возникало социалистическое рабочее государство, не раз говорила мне, что никогда в жизни не встречала ничего более поразительного, чем теплота этого американца к двоим темным личностям в седане. Она, пруссачка, и представить себе не могла, что возможна такая доверительность и открытость.

– Как вас зовут? – спросил ее мой отец, когда они остались на улице одни.

– Клелия.

– О, какое красивое имя, – сказал мой отец. – *Замечательное имя.*

Моя мать расцвела улыбкой, но затем, убежденная, что у нее не рот, а пасть тираннозавра, попыталась натянуть губы на свои сто зубов; однако спрятать их нечего было и надеяться.

– Вы правда так думаете? – спросила она, улыбаясь еще шире.

Мой отец сказал ей не два ласковых слова, а ближе к десяти. Все равно не так чтобы очень много. В заднем кармане защитных брюк у него имелась карта Берлина с патентованной системой складывания (мой отец любил изобретения, и ему нравилось, когда изобретатель вознаграждался за улучшение жизни людей), и он сумел вывести мою мать к вокзалу Цоо, где купил ей колбасы в ночном продовольственном киоске. На смеси

английского и немецкого, которую моя будущая мать понимала только обрывочно, он объяснил ей, что это его первый день в Берлине и он так взволнован, что мог бы гулять всю ночь. Он приехал как делегат Четвертого всемирного съезда ассоциации “За международное взаимопонимание” (которая не доживет до Пятого съезда, потому что уже осенью будут вскрыты коммунистические источники ее деятельности). Оставив двух маленьких дочерей от первого брака на попечение сестры, он прилетел в Берлин за свой счет. У него были в жизни кое-какие разочарования, он мог бы дать миру больше, чем давал, преподавая биологию старшеклассникам, но работа учителя замечательна тем, что оставляет ему целое лето для выхода *вовне*, в окружающий мир, в природу. Он очень любил знакомиться с иностранцами, находить точки соприкосновения; в какой-то момент принялся учить эсперанто. Его девочки – одной шесть, другой всего четыре – уже были отличные маленькие походницы, а когда они станут постарше, он намеревался съездить с ними в Таиланд, в Танзанию, в Перу. Жизнь слишком коротка, чтобы дрыхнуть. Из своей недели в Берлине он не хотел упускать ни одной минуты.

Когда моя мать призналась ему, что убежала из дому, первым, о чем он подумал, были его дочери, и он стал уговаривать ее вернуться утром в Йену. Но узнав, что дома она терпела побои и что ей не дали продолжить учебу после школы, он взглянул на дело иначе.

– Мать честная, как нехорошо-то, – сказал он. – Что-то неладно с самой системой, если она такую умницу, такую живую девушку заставляет стоять за прилавком в булочной. Я походник старого образца: одеяло и ровная площадка – больше мне для ночлега ничего не нужно. Гостиница у меня так себе, но кровать в номере имеется. Переночуйте в моей, а утром поглядим, что к чему. А я на полу посплю.

Его мотивы наверняка не были грязными. Мой отец был хорошим человеком: неутомимый педагог и верный муж, он прививал моим сестрам независимость характера, не мог устоять перед историями о несправедливостях, инстинктивно предполагал в людях лучшее, рьяно поднимал руку, когда нужны были добровольцы для малоприятной работы. И вместе с тем меня преследует мысль, что всю жизнь он делал ровно то, что ему вздумается. Вздумается поехать с учениками в Гондурас копать канавы для канализации или в резервацию индейцев навахо красить дома и клеймить скот, пусть это и означает, что моя мать на недели остается одна с детьми, – и он делал это. Вздумается остановить семейную машину и погнаться за бабочкой – и он делал это. Вздумается жениться на

миловидной женщине, которая годится ему в дочери, – и он делал это. Дважды.

Он был родом из Индианы. Надеясь внести полезный вклад в сельское хозяйство, он изучал энтомологию, но в энтомологии путь к докторской степени долог. Он исследовал определенные стадии жизненного цикла ручейника и собирать образцы мог только неделю-другую в году, поэтому, чтобы жить все эти годы, он устроился на работу в департамент сельского хозяйства штата Колорадо. Живя в Денвере, он окончил диссертацию и отправил свою коллекцию в Индиану в ученый совет, который не мог присвоить степень, не видя образцов. Посылка с результатами восьмилетних трудов не дошла до адресата – пропала бесследно. Он мечтал преподавать в университете и заниматься чистой наукой, но пришлось довольствоваться должностью учителя в денверской государственной школе.

В конце тридцатых он взял под опеку толковую, но внутренне неустойчивую старшеклассницу, чей отчим был жестоким и грубым алкоголиком. Он проводил беседы с ее матерью, нашел для девушки другую семью, где она могла жить, и побудил ее поступить в колледж. Но спасти девушку оказалось возможным только на время – на то время, пока ее бойфренд сидел в тюрьме. Как только он вышел, они сбежали в Калифорнию. Мой отец прослужил четыре года в войсках связи, последний год в Баварии, и, вернувшись в Денвер на прежнюю работу, узнал, что молодая женщина опять живет дома: бойфренд отбывает срок в военной тюрьме за то, что едва не убил кого-то, подравшись в баре. Мой отец, который, подозреваю, был влюблен в нее с самого начала, стал приглашать ее на долгие прогулки в горах и вскоре сделал ей предложение. Желая повернуть свою жизнь в другую сторону и испытывая давление матери, она, возможно, почувствовала, что у нее нет выбора. (На единственной ее фотографии, какую я видел, она ангельски красива, но в глазах какая-то пустота, омертвелость, отчаяние из-за несоответствия между тем, как она выглядит, и тем, что она чувствует в себе.) Дочерям, которых она родила от моего отца, было год и три года, когда бойфренд освободился и снова оказался в Денвере. Мой отец даже моей матери, не говоря уже обо мне, никогда не рассказывал, что тогда произошло. Все, что я знаю, – это что дальше он растил моих единокровных сестричек как одинокий отец.

Он был более чем вдвое старше моей будущей матери, но она была на пару дюймов выше, и это, возможно, в какой-то мере их уравнивало, делало ситуацию более близкой к нормальной. В Берлине он прогулял пленарные заседания Четвертого съезда, которые даже по меркам международной

идеалистической филантропии, вероятно, ставили рекорды скуки и бесцельности, и вдвоем они вдоволь походили по городу. Плавали на прогулочных речных судах, что непременно надо делать в Берлине, ели в ресторанах, которые казались ей первоклассными. На пятый вечер он усадил ее перед собой и произнес небольшую речь.

– Я вот что хочу, – сказал он. – Я хочу на вас жениться, и нет, не беспокойтесь, у меня нет ничего скверного на уме. Просто мне думается – если вы тут останетесь, то угодите в какую-нибудь историю и глазом не успеете моргнуть, как опять окажетесь в Йене – и на всю жизнь. В общем, вот так, а потом мы позаботимся о вашем паспорте и всем остальном. Я вернусь сюда через неделю с моими девочками, и вы решите, хотите ехать со мной в Штаты или нет. Не захотите – ничего страшного, мы аннулируем брак. Просто я вижу, какая вы милая, какая у вас хорошая голова на плечах, и у меня чувство, что я буду счастлив с такой женой. Вы, черт возьми, сами не знаете, какая вы прелесть, Клелия.

– Моя мама была права, – сказала мне мать гораздо позже, когда моего отца давно не было в живых. – Я была глупой, наивной гусыней. Я безумно жаждала доброты, но даже вообразить не могла, что бывают такие добрые мужчины. Я подумала, что встретила самого доброго мужчину на свете. На темной улице в Моабите! Чудо из чудес! И ты ведь знаешь, какой толстый у него все время был бумажник: всякое такое, чего он никогда не вынимал, визитные карточки полезных людей, полезные вырезки, советы по самосовершенствованию, все эти рецепты улучшения нашего мира. И деньги. Я просто никогда их разом столько не видела, в нашей булочной за весь день набиралось меньше. Дотируемая социалистическая булочная с одной-единственной кассой: вот какое у меня было представление о куче денег! Я даже не поняла, что мы живем в жуткой гостинице, ему пришлось сказать мне, что она жуткая, но и тогда я подумала, что это не он, а съезд поспешил. Что я тогда знала о сильном долларе и слабых европейских валютах? И я не могла уследить за всем, что он говорил, и поэтому решила, что целый город Денвер избрал его своим делегатом на важный всемирный съезд. Я вообразила, что он богат! Я никогда не видела такого толстого бумажника. Я не знала, что из всего штата Колорадо в ассоциации “За международное взаимопонимание” полноправно, с уплатой членских взносов состоят всего четыре человека. Я ничегошеньки не знала. Ему хватило пяти минут, чтобы мое сердце было у него в руках. Я бы на коленях поползла в Америку, чтобы быть там с ним.

Понадобились годы, чтобы страсть моей матери сошла на нет и они с мужем обособились друг от друга. Довольно долго вначале она была

поглощена заботой о детях и занятиями в вечернем колледже, где в конце концов получила диплом фармацевта. Так или иначе, на первых президентских выборах, какие я помню, она голосовала за Барри Голдуотера^[68]. Ее знакомства с социализмом было достаточно, чтобы предвидеть его грядущий крах, она знала, что советские прекрасно могут грабить, насиловать и убивать, и она так и не смогла справиться с потрясением, которое испытала, узнав, что мой отец богат только по меркам Йены, богат не больше, чем любой рядовой американец. Разочаровавшись в нем, она стала идеализировать подлинно богатых, приписывать им невероятные добродетели. За свою молодость и милую внешность она получила жизнь в тесном доме с тремя спальнями, жизнь с мелкотравчатым прогрессистом, слишком хорошим и добрым, чтобы с ним можно было развестись, и, досадуя на свою глупость и наивность, она нашла кем восхищаться – это были мужчины не чета ему: Голдуотер, сенатор Чарльз Перси, позднее Рональд Рейган. Их консерватизм соответствовал ее немецкой убежденности, что природа безупречна, а источник всех мировых бед – человек. В те часы, что я был в школе, она работала в аптеке Аткинсона на Федеральном бульваре, и там перед ней чередой проходили больные люди, которым она по рецептам выдавала лекарства. Люди, деловито отравлявшие себя сигаретами, алкоголем и вредной едой. Они не заслуживали доверия, как не заслуживали его советские, и она сформировала свои политические взгляды соответственно.

Мой отец знал, что природа небезупречна. В те годы, что он работал в департаменте сельского хозяйства, он, бывало, стоял на иссохших полях среди растений, умирающих от жажды из-за того, что теряют слишком много воды через свои устьяца, из-за того, что используют двуокись углерода вопиюще неэффективно, из-за того, что у молекулы хлорофилла левая рука не знает, что делает правая: левая поглощает кислород и выпускает углекислый газ, правая – наоборот. Он предвидел день, когда пустыни зацветут, засеянные более совершенными растениями – растениями, улучшенными человеком, наделенными более качественным, более современным хлорофиллом. И он бросал Клеии, изучавшей в колледже химию, вызов: попробуй опровергни мое доказательство несовершенства природы; они порой спорили о химии на повышенных тонах за обеденным столом.

Увы, она не была хорошей мачехой моим сестрам. Она сама была подобна растению на засыхающем поле, она жаждала, как дождевой влаги, внимания моего отца, которого моим сестрам доставалось чересчур много. И хуже того: она критиковала их в той же манере, в какой ее мать

критиковала ее; особенно ей не нравилось, как они одеваются. Отчасти виной тому были мятежные шестидесятые, трудное время для консерватора, отчасти – мятеж в ее собственном теле, в толстом кишечнике. Мне говорили, что в младенчестве я часто плакал из-за животика, и едва это прошло и она смогла вздохнуть с облегчением, как у нее случилась внематочная беременность. Физический стресс, жизненные разочарования, денежные заботы, наследственная предрасположенность, невезение – все это привело к тому, что ее кишечник воспалился и не давал ей покоя до конца дней. Он дергал за те же ниточки в ее лице, за какие желудок дергал в лице ее матери, и для всех, кроме меня, она стала рупором его заболевания.

Когда я думаю об Анабел и о предупреждающих знаках, которых я предпочел не замечать по дороге к женитьбе на ней, я мысленно возвращаюсь к своей поляризованной семье: отец с моими сестрами в отъезде, меняют мир к лучшему, мы с матерью дома. Она избавила меня от неприглядных подробностей своего недуга (она предпочла бы, я уверен, мучиться, как ее мать, желудком, который извергал всего-навсего кровь, а не то зловонное, что составляет основу немецкой брани, юмора и табу), но, разумеется, я чувствовал, что ей плохо, а мой отец вечно был то на каком-нибудь собрании, то в одной из своих приключенческих отлучек. Я провел с ней наедине, наверно, тысячу вечеров. Большею частью она была со мной очень строга, но мы играли в странную игру с глянцевыми журналами, которые она выписывала. После того как мы целиком пролистывали “Таун энд кантри” или “Харперс базар”, она предлагала мне выбрать себе один дом и одну женщину. Я довольно быстро понял, что выбирать следует самый дорогой дом и самую красивую модель, и рос с ощущением, что смогу, если их заполучу, вознаградить ее за тяготы. Но что было удивительно в нашей игре – это как она, листая журнальные страницы, превращалась в юную девушку, какой открытой, оптимистичной старшей сестрой становилась. Когда я подрос и она рассказала, а потом не раз пересказала мне историю своего побега из Йены, я представлял ее себе именно такой.

Я предал Анабел еще до нашего знакомства. Кончая третий курс в Пенсильванском, я выставил свою кандидатуру на руководящую должность в университетской газете “Дейли пенсильваниан”; моей программой было уделять больше внимания “реальному миру”. После летних каникул в Денвере у матери (отца два года как не было на свете) став главным редактором, я ввел должность редактора городских новостей и дал

репортерам задания написать о перепродаже с рук билетов в “Спектрум”^[69], о загрязнении реки Делавэр ртутью и кадмием, о тройном убийстве на западе Филадельфии. Я считал, что мои репортеры прорывают герметический университетский кокон семидесятых, кокон, в котором кампус хотел жить в свое удовольствие, но подозреваю, что людям, которых они теребили просьбами об интервью, они скорее казались детишками, продающими шоколадные батончики по завышенной цене, чтобы “заработать” себе поездку в летний лагерь.

В октябре моя знакомая Люси Хилл рассказала мне любопытную историю. На той стороне реки, в Элкинз-Парке, декан школы искусств Стеллы Элкинз Тайлер, придя однажды утром в свой кабинет, обнаружил тело, завернутое в коричневую мясницкую бумагу. Красным мелком на бумаге было написано: ВАШЕ МЯСО. Тело было теплое и дышало, но на вопросы не отвечало. Декан вызвал охранников, и те, надорвав бумагу, обнажили лицо Анабел Лэрд, студентки второго курса магистратуры. Ее глаза были открыты, рот заклеен скотчем. Декан знал Лэрд по серии писем, где она возмущалась недостаточным числом женщин среди преподавателей и тем, что учащиеся мужского пола гораздо чаще получают стипендии. Бумагу стали осторожно рвать дальше, и оказалось, что на Лэрд, похоже, нет ничего, кроме этой бумаги. Преодолев первоначальный шок, охранники перенесли сверток в другой кабинет, где секретарша сняла со студентки бумагу, отлепила скотч и укрыла молодую женщину одеялом. Лэрд отказывалась говорить и шевелиться до вечера, пока не пришла другая студентка с одеждой в пластиковой сумке.

Поскольку Лэрд была давней подружкой Люси, мне следовало бы самому редактировать эту публикацию, но я отстал по части учебы и на время отдал газету в руки шеф-редактора Освальда Хакетта, который был моим соседом по общежитию и лучшим другом. Статья про инцидент с Лэрд, написанная известным своей аморальностью второкурсником, была попеременно сальной и ядовитой, изобиловала красочными анонимными высказываниями однокурсников Лэрд (“Она никому не нравится”; “Жалкая сверхобеспеченная папочкина дочка”; “Отчаянная попытка привлечь внимание, которого она не получает как автор фильмов”), но репортер выполнил формальные требования, включив пространные высказывания самой Лэрд и обтекаемые слова декана, и Освальд тиснул статью целиком на первой странице. Прочитав ее на следующий день, я испытал всего лишь легкое, преходящее чувство вины. Только когда я зашел в редакцию и обнаружил телефонные сообщения как от Лэрд, так и от Люси, я понял – понял мгновенно, со сжавшимся сердцем, – что публикация получилась по-

настоящему жестокой.

Была у меня одна особенность, жизненный факт: болезненный страх перед упреками, особенно со стороны женщин. Каким-то образом я убедил себя, что могу не отвечать ни на то, ни на другое сообщение. Не стал я ничего говорить и Освальду: сам очень сильно боясь упреков, я не хотел навлекать их на друга. Казалось, что Люси, живущая вне кампуса, к следующему разу, когда мы увидимся, может и поостыть, и мне не пришло в голову, что студентка, настолько воинственная, что в состоянии завернуться в мясницкую бумагу, способна явиться в редакцию лично.

Как у главного редактора у меня был кабинет, который я мог использовать и для учебных занятий. Приди Анабел туда в полукомбинезоне, который был в Пенсильванском своего рода униформой воинствующих феминисток, я, наверно, догадался бы, кто передо мной, но женщина, постучавшая в мою дверь в пятницу во второй половине дня, была отнюдь не дешево одета: белая шелковая блузка и облегающая юбка ниже колен, в которой я увидел что-то парижское. Рот превращен помадой в темно-красную рану, волосы ниспадают черным каскадом.

– Мне нужен Том Абэррант^[70].

– Аберант, – поправил я ее.

Молодая особа выразила удивление, вытаращив глаза, точно ее душат.

– Вы что, *первокурсник*?

– Нет, последний год учусь.

– Боже мой. Когда поступили, вам сколько было – тринадцать? Я воображала кого-то с бородой.

Мое детское лицо было для меня болезненной темой. На первом курсе сосед по комнате предложил, чтобы я добавил своему облику мужественности, украсив лицо “дуэльным шрамом” в стиле девятнадцатого века, когда молодой человек делал саблей надрез и вкладывал в него волос, чтобы не зажил бесследно. Свое лицо я считал главной причиной того, что, хотя я легко заводил с девушками дружбу, секса у меня ни с одной из них не было. Эротические знаки внимания я получал только от очень малорослых девиц и от голубых парней. Один из геев как-то раз подошел ко мне на вечеринке и, ни слова не говоря, засунул язык мне в ухо.

– Я Анабел, – заявила пришедшая. – Та, на чье сообщение вы не ответили.

Внутри у меня что-то сжалось. Анабел захлопнула за собой дверь движением шикарно обутой ноги и села, туго скрестив руки на груди, словно желая скрыть то, что хотела показать блузка. У нее были большие карие, близко посаженные, оленьи глаза, лицо продолговатое и узкое, тоже

точно оленье; что-то в нем вопреки логике делало ее милостивой. Она была старше меня на два года минимум.

– Простите меня, – сказал я сокрушенно. – Простите, что не ответил вам.

– Люси говорила мне, что вы хороший человек. Сказала, вам можно доверять.

– За статью тоже простите. Честно говоря, я прочел ее только после того, как она вышла.

– Так вы не главный редактор?

– Иной раз полномочия делегируются.

Я избегал ее негодующего взгляда, но чувствовал его на себе.

– Ваш репортер упомянул, что мой отец – президент и председатель совета директоров компании “Маккасвилл”. Это было необходимо? И что меня не слишком сильно любят.

– Мне *очень жаль*, – сказал я. – Как только я увидел публикацию, я понял, что она жестокая. Иногда в горячке работы над статьей забываешь, что ее будут читать.

Она тряхнула темной гривой.

– Выходит, если бы я не прочла, вам не было бы жаль? Как это понимать? Вы раскаиваетесь, когда вас ловят за руку? Это не раскаяние. Это трусость.

– Нам не следовало приводить эти цитаты без указания источника.

– Они провоцируют на веселую игру в отгадки, – сказала она. – Кто считает меня избалованной дочкой богача? Кто считает меня чокнутой? Кто заявляет, что мои работы – дрянь? Хотя, конечно, не особенно весело сидеть в одной комнате с теми, кто это сказал, зная, что они по-прежнему так думают, и чувствовать, что они *смотрят* на меня. Сидеть под всеми этими взглядами. Быть видимой. Быть как на ладони.

Она по-прежнему держала руки скрещенными перед блузкой.

– Но ведь вы сами лежали нагишом в кабинете декана, – не удержался я.

– Нагишом – только после того, как сорвали бумагу.

– Я хотел сказать: вы хотели известности, и вы ее получили.

– О, я не удивлена. Что есть на свете более интересного, чем голое женское тело? На чем лучше всего продаются газеты? Вы доказываете мою правоту лучше, чем я сама.

Это был первый из десяти тысяч раз, когда я не вполне мог уследить за логикой Анабел. Поскольку это был первый раз, а не десятитысячный, и поскольку она была так пылко уверена в себе – мне больно вспоминать ее

тогдашний пыл и тогдашнюю уверенность, – я счел виноватым себя.

– Мы бесплатная газета, – неубедительно возразил я. – Продажи нас не волнуют.

– *Поступки имеют последствия*, – сказала она. – Есть высокий путь и низкий путь; вы выбрали низкий путь. Вы редактор, вы это напечатали, я прочла. Вы сделали мне больно, и вам придется с этим жить. Я хочу, чтобы вы никогда этого не забывали, как я никогда не забуду вашу публикацию. У вас даже толики порядочности не нашлось, чтобы мне перезвонить! Вы думаете, вам это сойдет с рук, потому что вы мужского пола, а я женского. – Она немного помолчала, и я увидел две крохотные слезы, разжижающие тушь на ее ресницах. – Вы сами, возможно, так не считаете, – произнесла она более тихим голосом, – но я пришла сказать вам, что вы козел.

Ее внешность и то, что она старше, добавили этому выпадку остроты. По правде сказать, однако, поводы для сомнений в своей порядочности у меня возникали и раньше. Однажды в пасхальные каникулы, когда я был в седьмом классе, Синтия, младшая из моих старших сестер, приехала домой из колледжа преобразенная в хиппи, в восьмиугольных проволочных очках и с библейски бородатым бойфрендом. Они проявили ко мне дружественный клинический интерес как к одному из первых потенциальных “новых мужчин завтрашнего дня”. Синтия стала задавать мне вопросы про мое пневматическое ружьецо. Тебе по душе идея, что ты будешь подстреливать из него врагов? Хотелось бы тебе раскалывать им выстрелами головы? А каково приходится человеку, если пуля раскалывает ему голову? Думаешь, ему понравилась бы такая игра?

Бойфренд принялся расспрашивать меня про коллекцию бабочек, которую я не слишком рьяно собирал, чтобы отцу было приятно. Тебе нравятся бабочки? Действительно нравятся? Тогда зачем их убивать?

Синтия спросила меня, кем я хочу стать. Кем-кем? Репортером или фотожурналистом? Классно. А почему не помощником врача? Почему не учителем у первоклашек? Это для девочек? Почему только для девочек?

Бойфренд спросил, не думал ли я заняться чирлидингом. Не разрешается? Почему? Почему мальчику нельзя быть чирлидером? Разве мальчики не могут прыгать? Разве они не вправе поддержать любимую команду?

Совместными усилиями они заставили меня почувствовать себя старым и косным. Это выглядело некрасивым с их стороны, но было у меня и виноватое ощущение, что со мной что-то не так. Потом однажды, три или четыре года спустя, я вернулся из школы позже обычного и увидел, что в

доме идет охота на грызунов; мои вещи были разбросаны по полу спальни, мой стенной шкаф был открыт, виднелись ноги отца на стремянке. Я питал слабую надежду, что он не обратил внимания на потрепанный номер журнала “Уи”, который я спер из недр букинистического магазина и спрятал в шкафу; но после ужина он пришел ко мне в комнату и спросил меня, каково это, по-моему, – быть женщиной, снимающейся для порножурнала.

– Я не думал об этом, – сказал я правду.

– А самое время начать уже думать в этом возрасте.

В том году все в моем отце отталкивало и смущало меня. Его очки, как у специалиста из Центра управления полетом, его нефтехимически приглаженные волосы, его широко расставленные, точно у стрелка, ноги. Глубоким прикусом и бессмысленной деловитостью он напоминал мне бобра. Строить еще одну плотину – *зачем?* Подгрызать и валить стволы – *зачем?* Соваться повсюду со своей улыбкой – *зачем*, скажите на милость?

– Секс – драгоценный дар, – сказал он своим учительским голосом. – Но все, что ты видишь в порножурнале, – это человеческое несчастье и унижение. Я не знаю, где ты взял этот журнал, но уже тем, что ты его у себя хранил, ты материально участвовал в унижении человека человеком. Представь себе на их месте Синтию или Эллен...

– Понятно, понятно.

– Не знаю, что тебе понятно. Тебе не приходило в голову, что эти женщины – чьи-то сестры? Чьи-то дочери?

У меня было ощущение моральной травмы, ощущение, что меня оценили хуже, чем я есть, потому что на самом деле я ни в какой эксплуатации материально не участвовал. Наоборот: ставив журнал, я финансово *наказал* магазин за оптовую покупку подержанной порнопродукции; я осуществил, если на то пошло, добросовестный акт повторного употребления, и все, ради чего я в частном порядке использовал украденный “Уи”, было моим личным делом и, пожалуй, даже являло собой, помимо прочего, дальнейшее наказание эксплуататоров, ибо опора на украденное избавляла меня от покупки свежих эксплуатационных материалов, не говоря уже о спасении девственных лесов от переработки на бумагу.

Несколько дней спустя я спер другие номера “Уи”. Я предпочитал этот журнал “Плейбою”, потому что девушки в нем выглядели более реальными и более европейскими, то есть более культурными, умными, душевными. Я воображал себе вдумчивые разговоры с ними, представлял, как благодарно они могут отозваться на мое умение слушать и сопереживать, но не буду

отрицать, что в миг оргазма мой интерес к ним умирал. Я чувствовал себя человеком, столкнувшимся со структурной несправедливостью: сама принадлежность к мужскому полу, неизбирательно возбудимому изображениями, неотвратимо лишала меня правоты. Я не хотел ничего плохого и все-таки поступал плохо.

Дальше было еще хуже. Впереди маячил колледж, и я без любви, но не без волнения договорился об одновременной утрате девственности со своей партнершей по выпускному балу Мэри Элен Сталстром, которая вздыхала по кому-то недостижимому, и вышло так, что в последний возможный летний уикенд в домике в Эстес-Парке, принадлежавшем родителям нашего с ней общего приятеля, в ключевой момент я нечаянно и со всей мужской нетерпеливой резкостью ткнул не туда, в другое – и весьма чувствительное – место Мэри Элен. Она закричала во весь голос, отпрянула и отбрыкнулась от меня. Мои извинения, мои попытки успокоить ее только усилили ее истерику. Она причитала, билась, задыхалась, повторяла невнятную фразу, которую я наконец, к своему огромному облегчению, разобрал: она требовала немедленно отвезти ее домой в Денвер.

Вопль анально поруганной Мэри Элен звучал у меня в ушах, когда я поступил в Пенсильванский. Отец предлагал мне выбрать колледж поменьше, но Пенсильванский предложил мне стипендию, а мать соблазняла меня разговорами о богатых, могущественных людях, с которыми я познакомлюсь в таком престижном учебном заведении. За первые три года в Пенсильванском я ни с кем из богатых не подружился, но мои смутные подозрения о мужской вине получили твердую теоретическую основу. Лекции в аудиториях и вне их, начиная с беседы о сексе во время ознакомительной недели, которую провела старшекурсница в полукомбинезоне, дали мне понять, что я еще сильнее погряз в патриархальных предрассудках, чем думал. Вывод заключался в том, что в любых близких отношениях с женщиной мои мотивы априори подозрительны.

Проблем с близкими отношениями, впрочем, не возникало из-за их отсутствия. Я не казался отталкивающе юным только девушкам ростом пять футов и ниже. Одна из них, с которой я на втором курсе вместе трудился в “Дейли пенсильваниан”, начала бросать на меня многозначительные взгляды, склоняя голову набок, и наконец передала мне записку, где намекала на опасность быть “серьезно раненной” мною. Я целовался с ней однажды вечером посреди университетской лужайки, желая ей угодить, движимый, с одной стороны, чувством вины из-за

слабости своего интереса к сексу с ней, из-за своей мужской неспособности увидеть в ней не только материальный объект, не только малорослое женское тело; с другой – скверным мужским мотивом, состоявшим в том, чтобы переспать в конце концов хоть с кем-нибудь. Но я не в силах был угодить ей признаниями, которые она, склонив голову, у меня вымогала, и в итоге виновато ранил ее тем, что не оправдал ее ожиданий. Она так переживала, что ушла из газеты.

Убежище мне дарили пиво, бильярдные столы в здании студенческого союза и “Дейли пенсильваниан”. Действующие сотрудники студенческого печатного органа, позволяющего себе по-студенчески вольничать, мы с друзьями вышли на такой уровень задиранья носов, с каким я долго потом не сталкивался – до тех пор, пока не познакомился с людьми из “Нью-Йорк таймс”. Начинка в нас, конечно, была невинная, но мы все напропалую хвастались своими школьными сексуальными подвигами, и мне никогда не приходило в голову, что раз я лгу, то не исключено, что мои друзья тоже лгут. Из всех одна Люси Хилл видела, что у меня внутри. До Пенсильванского она была школьницей-стипендиаткой в Чоут-Розмари-Холле^[71], затем два года работала официанткой. У нее был почти тридцатилетний бойфренд, хиппи и плотник-самоучка, очень похожий на Дэвида Герберта Лоуренса, ее любимого писателя. Дружески-клинический интерес Люси ко мне был более определенным и вместе с тем щадящим, чем у моей сестры Синтии. Когда я рассказал Люси, как пострадала от меня Мэри Эллен Сталстром, она засмеялась; Мэри Эллен, предположила она, закричала потому, что моя попытка отвечала ее тайным желанием, в которых она не могла себе признаться. Люси очень хотела теперь найти мне кого-то, с кем я мог бы *трахаться, как кролик с крольчихой*. Мне не слишком нравилась эта фраза, и в глубине души я не был рад покровительственности, которой был окрашен замысел Люси, но поговорить на сексуальные темы мне больше было не с кем, поэтому я продолжал приходить к ней, жившей вне кампуса, на ритуальный чай с мягкими десертами, приготовленными по вегетарианской кулинарной книге.

Когда Анабел, вынеся мне суровый приговор, уходила из моего кабинета, ни она, ни я не догадывались, что я именно тот, кто отвечает ее желанием. Солнце за моим окном внезапно, по-октябрьски, опустилось за горизонт, и я сидел, объятый сумерками и стыдом. Я готов был поверить, что я козел, но меня убивало, что я получил эту характеристику от старшей и очень привлекательной девушки (и богатой, я с самого начала не мог от этого отрешиться), которая ради того, чтобы обвинить меня, специально

отправилась ко мне на другой берег Скулкилла. Я не знал, как мне быть. Позвонить Люси значило просто-напросто навлечь на себя новые упреки. Я не мог выбросить этого “вы козел” из головы. И добавлял волнения мысленный образ голой Анабел в мясницкой бумаге.

Ненадолго завернув в столовую, где я съел две куриные котлеты и кусок пирога, я пришел к себе в комнату и набрал номер Анабел, который записал на ладони. Я считал гудки; на десятом положил трубку. Освальд, вернувшись после ужина, увидел меня сидящим в темноте.

– Мистер Том переживает-переживает, – сказал он. – Что его тревожит и мучит? Что держит его крешня?

Уже не в первый раз он имитировал речь персонажа из сериала “Напряги извилины” – злодея из Восточной Азии по прозвищу Клешня, не способного произносить букву “л”: “Я не Крешня! Я КРЕШНЯ!”

Я хотел сказать Освальду, что он дал маху и подставил меня, но он был в таком безоблачном настроении, до того далек от сознания своей ошибки, что у меня не хватило духу испортить ему вечер. Вместо этого я излил свою злость на автора статьи.

– Он очень похож на маленького зубастого хорька, – заметил, соглашаясь со мной, Освальд. – Будь хоть какая-то справедливость во Вселенной, он не писал бы так гладко.

– Анонимные высказывания насчет Лэрд очень скверно выглядят. Я думаю, не следует ли нам напечатать какое-нибудь извинение.

– Нет, не делай этого, – сказал Освальд. – Ты всегда должен поддерживать своего репортера, пусть даже он маленький острозубый и остроглазый хорек.

Мы с Освальдом вместе делали карьеру в газете, безжалостно критикуя тексты друг друга. Ни один из нас никогда не впадал в такое уныние, из какого второй не мог бы его вывести, и вскоре я уже смеялся, слушая, как Освальд описывает игру Норриса Уиза, запасного квотербека “Денвер бронкос” (уроженец Небраски, Освальд тоже болел за “Бронкос”), и как он цитирует перлы однокурсников, менее умных, но более популярных, чем мы. Свой язвительный скепсис Освальд искупал тем, что по уровню самооценки напоминал ослика Иа-Иа. Его долгая сексуальная засуха недавно закончилась: у него завязались отношения с поэтессой-второкурсницей, которой явно предстояло разбить ему сердце, хотя пока до этого еще не дошло. Помня о моей продолжающейся засухе, он тактично избегал упоминать о своей девушке в разговорах со мной, но когда он снова ушел, я знал, что он направился к ней, и без него я опять провалился в темную яму сожалений.

Около десяти вечера мне удалось дозвониться до Анабел.

– Я хочу, чтобы вы знали, – сказал я. – Мне по-настоящему нехорошо из-за того, что я вас не защитил. Мне хочется как-то это загладить.

– Зло причинено, Том, назад ничего не вернешь. Вы сделали свой выбор.

– Но я не такой, каким вы меня считаете.

– Каким, по-вашему, я вас считаю?

– Плохим.

– Я сужу по поведению, – промолвила она с ноткой игривости, словно намекая на возможное смягчение приговора.

– Хотите, я уйду из газеты. Тогда вы мне поверите?

– Нет, не надо этого делать ради меня. Просто постарайтесь в будущем лучше исполнять редакторские обязанности.

– Обещаю. Обещаю.

– Что ж, тогда ладно, – сказала она. – Я не прощаю вас, но ценю то, что наконец вы перезвонили.

Тут разговору полагалось бы и кончиться, но Анабел уже тогда отличалась специфической нехваткой решимости класть трубку, а я, со своей стороны, не хотел ее класть, не получив прощения. Несколько секунд мы оба молчали. И в этом дрящемся молчании в какой-то момент послышалась – по крайней мере мне – некая обнадеживающая пульсация. Я напряг слух, желая уловить дыхание Анабел.

– Вы показываете свои произведения? – спросил я, когда тишина стала невыносимой. – Мне было бы интересно посмотреть ваши фильмы.

– “Не желаете ли взглянуть на эстампы у меня в спальне?” Вы с такими намерениями мне перезвонили? – Опять игривая нотка. – Может быть, вы хотите прийти и посмотреть мои фильмы прямо сейчас?

– Вы серьезно?

– Подумайте и решите, серьезно я или нет.

– Хорошо.

– Мои произведения не висят на стенке.

– Понятно.

– И никто, кроме меня, не входит в мою спальню.

Это прозвучало не как констатация, а как запрещение.

– Вы, судя по всему, интересная личность, – сказал я. – Мы жестоко с вами обошлись.

– Мне пора уже было привыкнуть. Так люди обычно и поступают.

Снова настал момент, когда разговор мог кончиться. Но свою роль сыграло обстоятельство, не приходившее мне в голову: Анабел была

одинок. В школе Тайлер у нее оставалась одна-единственная подруга – лесбиянка Нола, ее сообщница в выходке с мясницкой бумагой, но из-за давления, которое Нола, безнадежно влюбленная в Анабел, на нее оказывала, Нолу трудно было терпеть в больших дозах. Все остальные, по словам Анабел, обратились против нее. Особый статус, которого она, снимавшая фильмы, добилась в учебном заведении, где вообще-то не было такой программы, вышел ей боком, но главной проблемой был ее характер. Внешность, острый язык и реальная, казалось, возможность того, что она колоссально одарена как художник, – все это привлекало к ней людей; у нее была способность сосредоточивать на себе все взгляды. Но на самом деле она была куда застенчивей, чем можно было предположить, судя по ее манере держаться, и она отталкивала тех, кого к ней тянуло, своей моральной бескомпромиссностью и чувством превосходства, которое очень часто составляет тайную основу застенчивости. Преподаватель, поощривший ее к тому, чтобы снимать фильмы, позднее сделал ей предложение, что было а) свинством, б) банально и в) разрушило ее веру в искренность оценки, которую он дал ее таланту. С той поры она встала в школе искусств на тропу войны. Это прочно поставило ее в положение парии, ибо, сказала она, другим студентам только и нужно, что заслужить одобрение профессора, увидеть его кивок, добиться, чтобы он замолвил слово галерейщикам.

Часть из этого и многое другое я узнал за те волнующие два часа, что мы тогда проговорили. Сам я интересным человеком себя не чувствовал, но других слушать умел. И чем дольше я слушал, тем мягче и дружелюбней становился ее тон. А потом обнаружилось странное совпадение.

Она выросла в Уичито, во впечатляющего вида доме в Колледж-Хилле^[72]. Она принадлежит к четвертому поколению одного из двух семейств, безраздельно владеющих агропромышленным конгломератом “Маккасвилл”, второй по величине частной корпорацией страны. Ее отец унаследовал пять процентов акций, женился на представительнице четвертого поколения Маккасвиллов и стал работать в компании. В детстве, сказала Анабел, она была к отцу очень близка. Когда пришло время послать ее в закрытую школу Розмари-Холл, где ее мать училась до слияния этой школы с Чоут, она отказывалась ехать. Но мать настаивала, отец вопреки себе проявил твердость, и в тринадцать лет она отправилась в Коннектикут.

– Очень долго я все представляла себе совершенно превратно, – сказала она мне. – Мать я считала ужасной, отца чудесным. Он необычайно обаятелен, он умеет располагать к себе людей. Умеет добиваться от них своего. Но когда он начал после того, как я уехала в школу, изменять маме,

а мама принялась пить целыми днями начиная с завтрака, я поняла, что она меня отослала, чтобы защитить. Она никогда мне в этом не признавалась, но я знаю, что это так. Он уничтожал ее, и она не хотела, чтобы он уничтожил и меня заодно. Я была страшно несправедлива к ней. А потом он убил ее. Мою бедную маму.

– Ваш отец убил вашу мать?

– Вам надо понять, как обстоят дела у Маккаскиллов. Они помешаны на том, чтобы бизнес оставался в семье, чтобы никто из посторонних не знал, что у них происходит. Сплошные секреты и семейный контроль. И когда Лэрд женится на Маккаскилл, это должно быть навсегда, потому что они помешаны на семейной солидарности. Так что когда я стала жить в школе и мой отец начал ей изменять, ей ничего не оставалось, как пить. Вот он, путь Маккаскиллов. А еще наркота и опасные хобби вроде вождения вертолетов. Вас бы удивило – сколько из моих родственников подсели на что-нибудь. Как минимум один из моих братьев наверняка прямо сейчас валяется обдолбанный. Либо ты идешь работать в компанию и увеличиваешь семейный капитал – именно это *они* называют путем Маккаскиллов, – либо убиваешь себя гедонизмом, потому что никакого сдерживающего принципа реальности для тебя не существует. Зарабатывать на жизнь ни у кого в семье нет необходимости.

Я спросил, что случилось с ее матерью.

– Утонула, – ответила Анабел. – В нашем бассейне. Отца не было в городе – никаких отпечатков пальцев.

– Давно это произошло?

– Немногим больше двух лет назад. В июне. Чудесным теплым вечером. Алкоголя в крови было столько, что хватило бы убить лошадь. Она вырубилась там, где мелко.

Я сказал, что очень ей сочувствую, а потом – что моего отца не стало в том самом месяце, когда погибла ее мать. Всего двумя неделями раньше он вышел на пенсию – а перед тем считал годы до своего шестьдесят пятого дня рождения, но никогда не говорил об отдыхе, только о прекращении преподавания, потому что энергии у него еще было хоть отбавляй. Он намеревался восстановить свою коллекцию ручейников и защитить наконец докторскую диссертацию, хотел учить русский и китайский, принимать иностранных учащихся, приезжающих по обмену, купить жилой автофургон, отвечающий требованиям моей матери к комфорту. Но первым делом он вызвался в двухмесячную зоологическую экспедицию на Филиппины. Ему хотелось еще раз предаться своей давней страсти к экзотическим путешествиям, пока я еще достаточно юн, чтобы провести

лето дома и не оставлять мать в одиночестве. По пути в денверский аэропорт он сказал мне, что знает, какой трудной может быть моя мать, но попросил, если почувствую раздражение, не забывать, что у нее было тяжелое детство и что она нездорова. Эти теплые слова были последними, какие я от него слышал. На следующий день маленький самолет, в котором он летел, разбился о склон горы. Четыре абзаца в “Таймс”.

– В какой день это случилось?

– На Филиппинах – девятнадцатого июня. В Денвере еще было восемнадцатое.

– Как странно, – сказала Анабел притихшим голосом. – Моя мать погибла в тот же день. Мы осиротели одновременно.

Мне почему-то кажется теперь важным, что все-таки не в тот же день: ее мать утонула девятнадцатого. До того вечернего разговора я не был суеверен и совпадениям значения не придавал. Против них мой отец вел личную войну; у него имелось для учеников дежурное шутовское рассуждение, которое он иногда повторял и дома: “научное доказательство” того, что использование жевательной резинки “Джуси фрукт” делает человека блондином. Но когда Анабел после полутора часов, в течение которых мой мир был уменьшен до размеров ее голоса у меня в ухе, произнесла эти слова – и опять-таки мне представляется важным, что наш первый настоящий разговор был по телефону, дистиллирующему человека, превращающему его в слова, которые идут тебе прямо в мозг, – я содрогнулся, словно почувствовал руку судьбы. Разве могло это совпадение не иметь значения? Интересная особа, которая совсем недавно – и шести часов не прошло – обозвала меня козлом, полтора часа ведет со мной своим милым голосом откровенную, доверительную беседу. Это было невероятно, казалось чудом. И после содрогания у меня возникла эрекция.

– И что, по-вашему, это означает? – спросила Анабел.

– Не знаю. Наверно, ничего. Мой отец сказал бы – ничего. Хотя...

– Очень странно, – сказала она. – Я даже не собиралась к вам в редакцию сегодня. Я возвращалась из Фонда Барнса^[73] – это особая история, почему-то кое-кому до сих пор кажется, что на Ренуара-отца стоит смотреть, но есть у нас один такой в школе Тайлер, я имею несчастье ходить в этом году на его занятия, потому что не ходила на них в прошлом году вместе со всеми. Думала, могут сделать для меня исключение, но явно никто сейчас не настроен делать для меня никаких исключений. В общем, стояла на перроне на Тридцатой улице и так была расстроена из-за того, как вы со мной обошлись, что пропустила поезд. И восприняла это как знак, что должна вас найти. Из-за пропущенного поезда. Раньше я никогда не

впадала в такую задумчивость, чтобы дать поезду уехать.

– Да, в этом видится какой-то знак, – сказал я, побуждаемый эрекцией.

– *Кто вы такой?* – спросила она. – Почему так случилось?

В том состоянии, в какое меня привел ее голос, я не счел эти вопросы глупыми; их серьезность заворожила меня.

– Я американец, уроженец Денвера, – сказал я. И напыщенно добавил: – Сол Беллоу^[74].

– Разве Сол Беллоу из Денвера?

– Нет, из Чикаго. Вы спросили меня, кто я такой.

– Я не спрашивала, кто такой Сол Беллоу.

– Он получил Пулитцеровскую премию, – сказал я, – и я тоже хочу ее получить.

Я хотел выглядеть хоть сколько-нибудь интересным в ее глазах, но вместо этого сам себе показался идиотом.

– Хотите стать писателем? – спросила Анабел.

– Журналистом.

– Значит, мне не надо беспокоиться, что вы возьмете мою историю и вставите в роман.

– Такого не случится.

– Это моя история. Мой материал. То, откуда идет мое искусство.

– Само собой.

– Но журналисты зарабатывают тем, что обманывают доверие людей. Ваш репортериска предал меня, обманул мое доверие. Я подумала, его интересует то, что я пытаюсь выразить.

– Журналисты бывают разные.

– Я сейчас стараюсь понять, не положить ли немедленно трубку. Не *дурные* ли это знаки. Предательство и смерть – ведь это *дурные* знаки, правда же? Я думаю, мне надо кончить этот разговор. Я не забыла, что вы сделали мне больно.

Но положить трубку она, конечно, никак не могла.

– Анабел, прошу вас, – сказал я. Я впервые произнес ее имя. – Я хочу еще раз с вами увидеться.

И я увиделся с ней – но вначале побывал у Люси, пил у нее шиповниковый чай и ел какой-то яблочный пудинг на овсяной муке. У Люси было слишком тепло и пахло тем самым – в общем, кроликом и крольчихой.

– Ты не должен переживать из-за статьи, – сказала она мне. – Я только для того тебе позвонила, чтобы предостеречь о праведном торнадо, которое на тебя шло. Анабел надо почитать Ницше и преодолеть эту свою

зацикленность на добре и зле. Из философов она говорит только о Кьеркегоре. Можешь вообразить секс с Кьеркегором? Он все время будет спрашивать: могу я это? могу я то? ты мне разрешаешь?

– А я все-таки переживаю.

– Она мне вчера звонила насчет тебя. Судя по всему, у вас с ней был марафонский разговор. – Люси положила себе еще пудинга. Она не была толстой, но десерты сказывались на ее лице и бедрах. – Спросила меня, можно ли назвать тебя по-настоящему Хорошим, с заглавной буквы, и я истолковала это так, что она хочет с тобой трахаться. Тебе, безусловно, нужно с кем-нибудь трахаться, но я не уверена, что именно с ней. Я знаю, о чем говорю. В выпускном классе в Чоут я сама была от нее без ума. Все учителя были от нее в восторге, и у нее постоянно имелись деньги и жутко крепкая марихуана – ее тогда начали выращивать на гидропонике. У нее были трудности с общением, но под кайфом они пропадали. На вечеринках она обкуривалась капитально, даже страшно за нее становилось, потом занималась с кем-нибудь сексом, но в шесть утра вставала и писала работы университетского уровня. Я тоже хотела с ней спать, но к тому времени, как мы стали жить в одной комнате, она завязала с сексом. А теперь и травку бросила. Стала святой Анабел. Я по-прежнему в нее влюблена и огорчилась из-за статьи, но, если честно, она сама виновата, что стала разговаривать с твоим репортером. Она подставляется.

– У нее есть бойфренд?

– Давно уже никого нет, – ответила Люси. – Я спросила у нее раз, как часто она мастурбирует, и она разыграла священный ужас. Словно не была одной из самых оторванных девиц в истории школы. Но я думаю, у нее тогда что-то нарушилось в сексуальном плане. Она была слишком юная и к тому же подцепила что-то венерическое. Жаль ее, но если все подытожить, она для тебя не лучшая кандидатура.

Я все еще обрабатывал эту информацию, когда Люси взяла меня за руку и повела из кухни, где громоздились немытые кастрюли и сковородки, в комнату, где она жила с бойфрендом Бобом. Кровать не была застелена, на полу валялась разбросанная одежда.

– У меня есть план, – сказала она. Она уперлась лбом в мой лоб и стала толкать меня задом наперед к кровати. – Можно начать не спеша и посмотреть, как пойдет дело. Что ты об этом думаешь?

– А как же Боб?

– Это моя проблема, а не твоя.

Неделей раньше я мог бы и согласиться на этот план. Но сейчас, когда на уме у меня была Анабел, мысль, что секс, который занял в моем

сознании непропорциональное, пугающе большое место, может быть чем-то столь же натуральным и домашним, как яблочный пудинг, отталкивала меня. К тому же некуда было деться от понимания того, что Люси просто пытается отвлечь меня от Анабел. Она этого почти и не скрывала. Мы минут десять, не больше, тискались на ее узорчатых простынях, а потом я извинился и встал.

– Ведь это приятно, разве не так? – спросила Люси. – Нам давно уже надо было.

– Очень приятно, – сказал я и добавил из вежливости, что буду ждать следующего раза.

Насколько же иначе я провел время с Анабел в воскресенье... Мы встретились у художественного музея под холодным серым небом. Анабел пришла в темно-красном кашемировом пальто с черной отделкой; когда мы договаривались о встрече, я попросил ее быть моим экскурсоводом, и ее суждения о картинах оказались очень категоричны. Она нетерпеливо вела меня через залы, бросая обобщающие пренебрежительные отзывы: “Сонное царство... Неверная идея... Религия, тыры-пыры... Мясо и еще раз мясо...” – пока мы не дошли до Томаса Икинса^[75]. Тут она остановилась и заметно расслабилась.

– Вот этот хорош, – сказала она. – Единственный художник-мужчина, кому я доверяю. Ну, еще, пожалуй, Коро с его коровами. Он передает тоску коровьего существования. И Модильяни, но только потому, что я раньше была от него без ума и хотела, чтобы он был жив и написал меня. Все остальные, клянусь вам, лгут насчет женщин. Даже когда не пишут женщин, даже когда пишут пейзаж – все равно лгут насчет женщин. Даже Модильяни – не знаю, почему я его прощаю, не следовало бы. Вероятно, потому, что он Модильяни. Думаю, хорошо, что мы не могли быть знакомы. Потом я вам покажу всех художниц в этом собрании... о господи. – Она фыркнула. – В этом собрании нет художниц. Оно – одна большая иллюстрация того, что происходит, когда рядом с мужчинами нет женщин, чтобы не давать им забыть о честности. За одним исключением. Да, вот этот мужчина – он честен.

В том, что по крайней мере один художник-мужчина ей нравится, я увидел обнадеживающий знак: выходит, она способна сделать исключение. Лектором по истории искусства она была отвратительным, но для экскурсии, посвященной только одному художнику в этом музее, Икинс был не худшим выбором. Она показала мне, какую геометрическую фигуру образуют гребец, весло, лодка и след на воде, объяснила, как честно Икинс изобразил долину реки Делавер в ее нижнем течении. Но важнее всего для

нее у Икинса были тела.

– Человеческое тело люди изображают тысячи лет, – сказала она. – Можно было бы подумать, что мы к сегодняшнему дню неплохо в этом преуспели. Но оказывается, сделать это правильно – труднее всего на свете. Увидеть тело таким, какое оно есть. А он не только увидел, но и написал красками. Всем остальным, даже фотографам – по правде говоря, особенно фотографам, – мешает какая-то идея. Но не Икинсу. – Она повернулась ко мне. – Вы тоже Томас или просто Том?

– Томас.

– Позволено мне будет сказать, что я бы не хотела носить вашу фамилию?

– Анабел Аберант.

Она задумалась на несколько секунд.

– Я бы сказала, Анабел Абэрант звучит не так уж плохо. Вся история моей жизни ровно в двух словах.

– Вам позволено произносить так, как вы пожелаете.

Словно чтобы отогнать любой завуалированный намек на будущий брак, она проговорила:

– У вас и правда очень юный вид, даже странно. Вы и сами это, наверно, знаете.

– Увы, да.

– У Икинса, по-моему, все дело в характере. Я думаю, чтобы так честно писать картины, надо иметь хороший характер. Возможно, у него не все было просто в сексуальной сфере, но сердце у него было безгрешное. Про Винсента то же самое говорят, но я не верю. У него была куча тараканов в голове.

Я начинал чувствовать себя лишенным всякой изюминки – младшим братом кого-то, кому Анабел сделала одолжение, согласившись на эту встречу. Не верилось, что она звонила Люси насчет меня, не верилось, что сейчас она пытается произвести на меня впечатление. Когда мы шли к выходу, я заметил вслух, что она и Люси очень разные.

– У нее великолепная голова, – сказала Анабел. – В Чоут она была единственным человеком, в ком ощущалось устремление. Она собиралась снимать документальные фильмы и изменить облик американского кино. А сейчас ее устремление – рожать деток от Боба, мастера на все руки. Я удивлюсь, если в нем хоть одна хорошая хромосома осталась после всех галлюциногенов.

– Мне кажется, у них все может разладиться.

– Что ж, тогда, надеюсь, они не будут с этим тянуть.

На ступеньки музея косо падали снежинки – первые этой осенью. В Денвере за один такой день могло навалить шесть, а то и двенадцать дюймов, но в Филадельфии, я уже знал, стоило ожидать перехода в дождь. Когда мы шли по Бенджамин-Франклин-паркуэй, по самой безрадостной из многих унылых авеню Филадельфии, я спросил Анабел, почему у нее нет машины.

– Вы имеете в виду – где мой “порше”? – спросила она в ответ. – У вас ведь это было на уме, правда же? Во-первых, я не умею водить. А во-вторых, на случай, если у вас обо мне неверное представление, я в процессе отлучения себя от семейной груди. Отец оплачивает мой последний семестр, и на этом будет поставлена точка.

– Разве дочери не наследуют?

Она проигнорировала эту мини-вольность.

– Деньги уже губят моих братьев. Я не позволю им погубить и меня. Но причина даже не в этом. Она в том, что на его деньгах кровь. Кровь от мясной реки, я чувствую ее запах, он исходит от моего банковского счета. Вот что такое Маккаскилл – мясная река. Зерном они тоже занимаются, но даже оно во многом идет на подпитку реки. Вполне вероятно, что вы ели сегодня на завтрак маккаскилловское мясо.

– Тут готовят так называемый скрапл. Говорят, в нем используют внутренние органы и глаза.

– Это и есть путь Маккаскиллов: ничто не должно пропадать.

– По-моему, скрапл – это, скорее, что-то национальное, от пенсильванских немцев.

– Вы когда-нибудь были на свиноферме? На птицефабрике? На скотобазе? На бойне?

– Нет, только обонял издали.

– Это мясная река. Я делаю на эту тему дипломный фильм.

– Я бы хотел его посмотреть.

– Он несмотрительный. Он у всех, кроме веганки Нола, вызывает отвращение. А Нола считает меня гениальной.

– Напомните мне, кто такие веганы.

– Никаких животных продуктов абсолютно. Мне тоже надо бы встать на этот путь, но я фактически живу на тостах с маслом, так что для меня это не просто.

Все, что она говорила, очаровывало меня. Мы, похоже, двигались к железнодорожной станции, и я боялся, что мы расстанемся, а я так ничем ее и не очарую.

– Я могу поручить написать статью о скрапле, – сказал я. – Откуда он

берется, из чего сделан, как обращаются с животными. Могу сам ее написать. Все жалуются на скрапл, но никто не знает, что это такое. Это и есть определение хорошей публикации.

Анабел нахмурилась.

– Это моя идея, однако. Не ваша.

– Это дало бы мне шанс заглавить вину перед вами.

– Вначале мне надо выяснить, делает ли скрапл компания “Маккасвилл”.

– Я вам говорю: это от пенсильванских немцев. И, как бы то ни было, я первый поднял эту тему.

Она остановилась, повернулась ко мне и посмотрела на меня в упор.

– Нам *это* предстоит с вами? Борьба за первенство? Не убеждена, что она мне нужна.

Меня обрадовало, что она сказала о *нас* как о чем-то потенциально длительном, и огорчило, что *мы* можем быть чем-то таким, что ей не нужно. Уже неявно предполагалось, что решение за ней. Мой интерес к ней считался само собой разумеющимся.

– Вы художница, – сказал я. – Я всего-навсего журналист.

Ее глаза рыскали по моему лицу.

– Вы очень *хорошенький*, – промолвила она без доброты в голосе. – Не убеждена, что доверяю вам.

– Отлично, – сказал я, преодолевая боль. – Спасибо, что показали мне Томаса Икинса.

– Простите меня. – Она поднесла к глазам руку в перчатке. – Не обижайтесь. У меня вдруг сильно заболела голова, мне надо домой.

Вернувшись в кампус, я думал позвонить ей и спросить, как она себя чувствует, но слово “хорошенький” еще мучило меня, и наше свидание так сильно отличалось от того, на что я надеялся, до того не походило на мечтавшееся мне продолжение нашего телефонного разговора, что стрелка моего сексуального компаса качнулась в сторону Люси и ее плана. Мать недавно принялась предостерегать меня от повторения ошибки, которую сама совершила: не надо в таком молодом возрасте ни к кому слишком сильно привязываться, первым делом карьера – иначе говоря, сначала подзаработать денег и только потом выбрать самый дорогой дом и так далее; а слишком сильно привязаться к Люси – это мне в любом случае не грозило.

Позвонив, как всегда воскресными вечерами, в Денвер, я упомянул в разговоре, что был в художественном музее с одной из наследниц состояния Маккасвиллов. Это была с моей стороны слабость, но я

чувствовал, что разочаровываю мать, учась в престижном университете и не сводя дружбу с правильными людьми. У меня редко были для нее новости, которые могли ее порадовать.

– Она тебе понравилась? – спросила меня мать.

– Да, честно говоря.

– Приятель твоего отца Джерри Нокс всю жизнь проработал в компании “Маккаскилл”. Они славятся очень высокими этическими стандартами. Только в Америке можно найти компанию, которая...

Я понял, что предстоит очередная лекция. После гибели отца моя мать стала занудствовать, многословием она как бы заполняла образовавшуюся пустоту. Она, кроме того, осветлила волосы, сделав их желтовато-седыми, чтобы выглядеть старше, больше походить на вдову, хотя ей было всего сорок четыре, и я надеялся, что она, когда минует приличный, по ее мнению, траурный срок, снова выйдет замуж, выбрав на сей раз кого-нибудь состоятельного и политически правее центра. Ее траур, однако, заключался в том, что она злилась на моего отца и на *бессмысленность* его смерти в авиакатастрофе, предоставив переживать случившееся мне и сестрам. Еще до его гибели я стал относиться к нему мягче, а когда я пришел в актовЫй зал школы, где он работал, и увидел, сколько коллег и бывших учеников явилось на собрание в его память, я испытал сыновнюю гордость за человека, который всю жизнь любому, с кем встречался, был рад и открыт. Обе мои сестры произнесли прочувствованные речи, похоже, нацеленные главным образом на вдову, которая сидела рядом со мной, прикусив губу и глядя прямо перед собой. Ее глаза оставались сухими до конца церемонии. “Он был *очень хороший человек*”, – сказала она.

С тех пор я провел с ней три все более тяжелых лета. Самая высокооплачиваемая работа, какую я мог найти, была в аптеке Аткинсона, где работала она. Все вечера я проводил вне дома с друзьями и, приходя за полночь, сразу чувствовал нехороший запах из уборной. С маминым воспаленным кишечником трудно было ужиться не только мне, но и сестрам. Синтия, уйдя из магистратуры, стала профсоюзным работником в Калифорнийской долине; Эллен жила в Кентукки с бородатым седеющим мастером игры на банджо и вела коррективный курс английского. Обе они, судя по всему, были довольны жизнью, но все, что видела – и о чем бубнила – моя мать, сводилось к одному: к пустой растрате способностей.

Своей аптечной работой я был обязан Дику Аткинсону, владельцу сети. Вторым летом из трех упомянутых кишечное воспаление у матери усугубилось из-за ухаживаний Дика. Он был приятный человек и стойкий республиканец, и мне казалось, что для моей матери, всегда

восхищавшейся его предпринимательским талантом, это далеко не худший вариант. Но Дик был дважды разведен, а она, выдержавшая брак с отцом до конца, не одобряла супружеских расставаний и не хотела пользоваться их результатами. Дик считал этот аргумент нелепым и рассчитывал сломить ее сопротивление. К концу лета она пришла в такое нервное состояние, что гастроэнтеролог назначил ей преднизон. Несколько месяцев спустя она уволилась из аптеки. Теперь она работала – за гроши, как я подозревал, – в команде у Арне Хоулкома, застройщика делового центра Денвера, собиравшегося баллотироваться в Конгресс. Когда я приехал к ней на третье лето, ее здоровье было лучше, но идеализация Арне Хоулкома вышла за все мыслимые пределы, она говорила о нем так много и так занудно, что я опасался за ее психику.

– Что показывают опросы? – спросил я ее по телефону, когда она истощила тему вклада компании “Маккаскилл” в моральные устои страны. – Есть у Арне шансы?

– Арне провел самую образцовую кампанию за всю историю штата Колорадо, – сказала она. – Мы по-прежнему страдаем от последствий правления подлеца президента, который поставил интересы своих подлых дружков выше общественного блага. Каким подарком это стало для демократов с их угодничеством перед группами, добивающимися привилегий, с их тошнотворным, приторно улыбающимся фермером из Джорджии!^[76] Как мало-мальски разумный избиратель может подумать, что Арне имеет хоть что-нибудь общее с Уотергейтом? Меня это озадачивает, Том, просто озадачивает. Но другая сторона знай себе клеветает, знай себе угодничает. Арне отказывается перед кем-либо угодничать. Зачем это ему? Неужели так трудно понять, что человека с двадцатимиллионным состоянием и процветающим бизнесом только чувство гражданской ответственности может побудить спуститься в канаву колорадской политики?

– Значит, ответ – нет? – спросил я. – Плохие результаты опросов?

Прямого ответа я никогда теперь не мог от нее добиться. Она продолжала бубнить о честности и принципиальности Арне, о независимости его мышления, о рациональном деловом решении проблемы стагфляции, которое он предложил, и я, кладя трубку, так и не знал, что показали опросы.

В следующую субботу Люси и Боб устроили у себя хэллоуинскую вечеринку. Мы с Освальдом, надев костюмы с галстуками, темные очки и наушники, изображали агентов секретной службы. Многочисленные друзья Боба, уже почти десятилетие жившие в радиусе мили от своей альма-матер,

для которых вложение сил в пустяки и нелепицу было своего рода политическим кредо, пришли в несуразно концептуальных костюмах (“Я – исключенное среднее между да и нет”, – торжественно сообщил нам, когда мы входили, парень, зажатый, как начинка в сэндвиче, между двумя плоскими кусками пенопласта) и наполняли жилище марихуанным дымом. Боб водрузил на голову лосиные рога, изображая Бульвинкля; Люси была его закадычным другом, бельчонком Рокки. Она вычернила нос, другие части лица намазала коричневым гримом, и на ней была коричневая облегающая пижама с приделанным повыше ягодич хвостом из натурального меха. Она подскакала к нам с Освальдом и предложила потрогать хвост.

– Это обязательно? – спросил Освальд.

– Я Рокки, белка-летяга!

Она, не исключено, была под кайфом. Мне уже было стыдно, что я привел сюда Освальда, который терпеть не мог контркультурного фиглярства. Я оглядывал гостиную в поисках более молодых, резче очерченных лиц и, к своему удивлению, увидел Анабел, которая стояла в углу, плотно скрестив руки на груди. Ее хэллоуинским нарядом было как раз отсутствие наряда: джинсы и джинсовый жакет.

Люси увидела, куда я смотрю.

– Знаешь, как называется ее костюм? “Обычная женщина”. Понял? Она может только *изображать* обычность.

– Это Анабел Лэрд, – пояснил я Освальду.

– Трудно узнать без мясницкой бумаги.

Анабел встретилась со мной глазами и расширила их в своей манере – так, будто ее душат. Интересно было увидеть ее в джинсовом костюме – он и правда выглядел на ней *костюмом*.

– Я подойду, поговорю с ней, – сказал я.

– Не надо, пусть сама начинает снисходить к людям, – возразила Люси. – То же самое было, когда я устраивала гулянку на День Бастилии. На нее смотрели, видели, что с ней стоит пообщаться, подходили ко мне, спрашивали, кто она такая, но к ней боялись приблизиться. Не знаю, почему она посещает вечеринки, где все, по ее мнению, недостаточно хороши для нее.

– Это застенчивость, – сказал я.

– Можно, наверно, и так выразиться.

Анабел, видя, что мы говорим о ней, повернулась к нам спиной.

– Отведи нас к твоему пиву, – сказал Освальд.

Я двинулся следом за ним на кухню, но тут Люси схватила меня за

руку и заявила, что хочет кое-что мне показать. Мы поднялись в ее спальню. Под резким светом потолочной лампы она выглядела там как Люси и в то же время как зверек. Я спросил, ради чего она меня сюда привела.

– Ради моего хвоста. – Она повернулась задом и, взяв в руку мех, помахала им. – Хочешь потрогать?

Каждому приятно прикоснуться к меху. Я погладил ее хвост, и она придвинула ко мне ягодицы, стала тереться ими о мои бедра, смещая хвост. Что-то во мне это возбуждало, что-то оставляло холодным. Она взяла мои руки в свои, положила их себе на груди, которые свободно переваливались под пижамой, и провозгласила:

– Я маленькая белочка, и я очень люблю трахаться!

– Ух ты, здорово, – сказал я. – Но ты же созвала вечеринку, на тебе вроде как обязанности хозяйки.

Она повернулась в моих объятиях ко мне лицом, сняла с меня темные очки и прижала лицо к моему. От ее грима шел сильный масляный запах.

– Довелось ли кому-нибудь потерять девственность с белочкой?

– Трудно сказать, – ответил я.

– Будет ли это считаться потерей девственности?

Она просунула язык между моих губ и стала подталкивать меня к кровати. Секс с белочкой, у которой под детской пижамой круглились возбуждающие груди, не был лишен соблазнительности, и Анабел, странным образом, меня не беспокоила; было ощущение, что, перепихнувшись с кем-нибудь, я, может быть, даже повышу свои шансы на ее благосклонность. Но когда Люси потянула мою руку под резинку своих пижамных брючек со словами: “Пощупай, какой я пушистый зверек”, я невольно увидел ее глупость глазами Освальда, который ужаснулся бы, Освальда, чьи личные качества наводили на мысль об Анабел, о ее суждениях, о ее изумленно расширенных глазах; в общем, я убрал руку. Я встал и надел темные очки обратно.

– Извини, – сказал я.

Люси относилась к сексу слишком прагматически, чтобы выказать – а может быть, даже и почувствовать – разочарование.

– Ничего страшного, – сказала она. – Не надо делать ничего такого, к чему ты не готов.

Гримом теперь пахло и от моего лица; вид у меня, должно быть, был такой, словно я ел дерьмо. Зайдя в ванную умыться, я увидел большое коричневое пятно на воротнике белой рубашки, единственной приличной, какая у меня была.

Внизу звучал альбом *King Crimson* – любимой группы Боба. Анабел нигде не было видно. Освальд стоял у входной двери с “исключенным средним”; в руках у того была стопка брошюрок, перетянутая резинкой.

– Наш друг опубликовал свои стихи, – объяснил мне Освальд.

– Поэзия должна быть свободной и бесплатной, – провозгласил автор, протягивая мне брошюрку. – Прими мой скромный дар.

– Прочти Тому первое, – предложил ему Освальд. – Я в восторге от этой жизнерадостности.

– Мои голые пятки месят черную жижу весны, – продекламировало “исключенное среднее”. – Земля – моя ПОДУШКА-ПЕРДУШКА!

– Вот и все стихотворение, – сказал Освальд. – Чудо поэтического сжатия.

– Ты не видел Анабел? – спросил я. – Анабел Лэрд.

– Только что вышла.

– В джинсовом жакете.

– Она, она.

Я ринулся на улицу. Когда добежал до угла Маркет-стрит, увидел Анабел на следующем углу; она стояла, дожидаясь зеленого света. Я чувствовал, что за полчаса она стала человеком, которому мне было важнее, чем кому бы то ни было на свете, попасться на глаза. Она, похоже, слышала мои торопливые шаги, но не смотрела на меня – даже когда я остановился с ней рядом.

– Как вы могли уйти? – спросил я, тяжело дыша. – Мы даже не поговорили.

Она не повернула ко мне лица.

– Почему вы так уверены, что мне хотелось с вами поговорить?

– На меня напала бешеная белка. Прошу прощения.

– Вы еще можете вернуться, – сказала Анабел. – Она очень настойчиво вас домогается. Догадываюсь, вы и есть та проблема, которая у нее возникла с мастером на все руки? Я увидела его с этими нелепыми рогами и подумала: они ему лучше подходят, чем ему кажется.

– Можем мы пойти куда-нибудь? – спросил я.

– Я еду домой.

– Понятно.

– Впрочем, если вы захотите сесть на тот же поезд, я не в силах буду вам помешать. А если вы проводите меня до двери и вежливо попросите, я, может быть, позволю вам посидеть у меня на кухне.

– Зачем вы пришли на эту вечеринку? Вы же знали, что вам там не понравится.

– Хотите, чтобы я сказала, что надеялась встретить вас?

– Причина была в этом?

Она улыбнулась, по-прежнему не глядя на меня.

– Я не собираюсь делать выводы за вас.

Ее квартира была на верхнем этаже ухоженного старого дома – не студенческое жилье, – и кухня выглядела идеалом чистоты. У двери она сняла обувь и попросила меня сделать то же. В простой белой керамической вазе на столе лежали три великолепных яблока, на подоконнике я увидел два тома “Вегетарианского Эпикура”, на плите – сияющую чистотой сковороду с медным покрытием. На самой широкой из стен висел плакат из мясного магазина с изображением коровы, разделенной на части с надписями. Я стал его разглядывать, узнавая, где находится чельшка, а где пашина; между тем Анабел вышла из кухни и вернулась с дорогой на вид бутылкой.

– “Шато Монтроз”, – сказала она. – Урожай года моего рождения. Отец прислал мне на день рождения целый ящик, что было с его стороны, мягко говоря, бестактно и нелепо-символично, если помнить о том, как умерла моя мама. Подозреваю, что за этим подарком кроются даже более зловещие мотивы. Но я по очевидным причинам одна не пью, а бывает здесь у меня только Нола, ей нельзя красное вино из-за лекарства, которое она принимает, поэтому у меня до сих пор десять бутылок. Вам повезло.

– А куда делись остальные две?

– Я принесла их Люси на День Бастилии. Она из самых старых моих подруг. Хотела сделать ей приятное. Но она переборщила с благодарностью – понимаете, что я хочу сказать? Раз, максимум два упомянуть о моей *поразительной щедрости* было бы достаточно. Потому что затем это превратилось в недобрый намек на мою привилегированность. И даже не только на привилегированность – на меня как на личность. Я знаю, что вы по-прежнему с ней дружите, но я дошла до того, что меня от нее буквально тошнит.

– Меня тоже чуть-чуть, – заметил я.

– Вы в курсе, что ваш воротник измазан белкой?

– Пришлось отражать кое-какие наскоки.

– Вы заметили, что я не спрашиваю, зачем *вы* пришли на вечеринку?

– Посмотрите, где я сейчас, – сказал я. – Я тут, а не там.

– Без сомнения.

Мы чокнулись, и я задним числом поздравил ее с днем рождения. Это повело нас к тому, чтобы сопоставить даты рождения. Она родилась восьмого апреля. Я – четвертого августа.

Симметрия четверок и восьмерок произвела на Анабел сильнейшее впечатление.

– О господи, – проговорила она, уставившись на меня, как на привидение. – Или вы это просто сочинили? Вы и правда родились четвертого числа восьмого месяца?

Совпадения значили для нее больше, чем для меня. Для нее это была причина думать, что у нас все не сводится к телесной химии, что в дело вовлечены звезды; для меня же они всего лишь подтверждали химию чувств, которые я к ней испытывал. Когда, согревшись вином, она сняла джинсовый жакет, я увидел свою судьбу не в календарном совпадении, а в том, какие тонкие у нее руки выше локтей, в том, как отреагировало на вид ее рук мое сердце.

Под воздействием вина и мистического знака она в тот вечер взялась за усовершенствование меня. Чтобы быть с ней, я должен пересмотреть свои устремления. Услышав, что я собираюсь специализироваться в журналистике, она спросила:

– А что потом? Пять лет ходить в Топике на заседания городского совета?

– Это благородная традиция.

– Но вы хотите туда ходить? Чего вы вообще *хотите*?

– Быть знаменитым и могущественным. Но вначале надо отдать долги.

– Что, если бы вы смогли издавать свой журнал? Каким бы вы его сделали?

Я ответил, что постарался бы служить правде во всей ее полноте и сложности. Рассказал про свою политически поляризованную семью: про слепой прогрессивизм отца, про веру матери в корпорации и про то, как эффективно и тот и другая умели находить уязвимые места в позициях друг друга.

– Я могла бы кое-что рассказать вашей матери о корпорациях, – сумрачно заметила Анабел.

– Но альтернатива тоже не работает. Вы получаете Советский Союз, вы получаете муниципальные жилые микрорайоны, вы получаете профсоюз водителей грузовиков. Правда – где-то в напряжении между двумя противоположностями, и в нем-то и должен жить журналист: внутри этого напряжения. Мне кажется, человек, выросший в такой семье, *не может* не пойти в журналистику.

– Я вас хорошо понимаю. По той же причине я не могла не заниматься искусством. Но именно поэтому вам нельзя напрасно тратить пять лет ни в Топике, ни где-либо еще. Если вы уже поняли, что должны служить

правде, – служите ей. Создайте журнал, какого ни у кого нет. Не либеральный и не консервативный. Журнал, который выявляет уязвимые места в позициях обеих сторон.

– “Неупрощенец”.

– Здорово! Вам надо это запомнить. Я серьезно.

Окрыленный ее одобрением, я почти считал это реальным: что создам журнал под названием “Неупрощенец”. И разве она принялась бы говорить о моем будущем, если бы не думала, что, возможно, станет его частью? Мысль об этом будущем, о любви, которую оно сулило, побудила меня подумать о том, чтобы потянуться через стол и дотронуться до ее руки. Я готов был уже это сделать, но тут она встала.

– А у меня есть свой проект. – Она подошла к схеме разделки коровьей туши. – Вот он.

– А я сижу и удивляюсь, зачем такое висит в кухне у вегетарианки.

– У меня это еще не полностью сложилось в голове. А на реализацию, наверно, уйдет лет пятнадцать. Но если я справлюсь, получится что-то подобное вашему журналу. Что-то невиданное.

– Можете мне рассказать?

– Вначале надо понять, будем ли мы с вами видеться еще.

Я встал и подошел к ней, стоявшей у схемы.

– Я должен буду перестать есть говядину?

Она удивленно повернулась ко мне.

– Ну, раз вы сами это сказали – да. Это мое требование.

– А будет что-нибудь, от чего вы, со своей стороны, откажетесь?

– *Масса всего*, – сказала она, отступая к столу. – Мне не так уж плохо сейчас одной. В этой кухне пахнет именно так, как я хочу. У меня проблема с запахами. Я обоняю то, чего никто не обоняет. Я чувствую прямо сейчас запах грима, который на вас. Очень хорошо, когда можешь контролировать свою обонятельную среду, и мне лучше думается, когда тихо. Непросто было стать человеком, которого не тяготит одиночество субботними вечерами, но я им стала, я проделала эту работу, и теперь нечто во мне жалеет, что я пошла на эту вечеринку. Нечто во мне хочет, чтобы вас тут не было. Но похоже, вам было суждено оказаться здесь. – Она набрала в легкие воздух и посмотрела мне прямо в глаза. – Том, я тебя на том углу ждала. Посмотрела на часы и сказала себе, что жду пять минут. Ты подошел через четыре. Четыре – восемь, восемь – четыре.

Мое сердце заколотилось. Я становился зна́ком, я терял свое “я”, и хотя меня, конечно же, возбуждала мысль, что Анабел меня ждала, прилив крови к моему паху, возможно, больше походил на ту эрекцию, что,

говорят, мужчина испытывает в момент казни. Такое у меня было чувство.

Я приблизился к ней и встал на колени. Не менее сильным, чем плотское желание, было мое желание, обещавшее вот-вот исполниться, – желание быть допущенным в ее личный мир, играть значимую роль в истории, которую она сама себе рассказывала. Когда она положила руки мне на плечи и опустилась, как я, на колени, я ощутил всю серьезность того, что эти движения для нее значили, и преисполнился скорее даже ее переживаний, чем своих. Я посмотрел ей в глаза. Она сказала:

– Это наша четвертая встреча.

– Если считать телефонный разговор.

– Поцелуешь меня?

– Мне страшно, – сказал я.

– Мне тоже. Я боюсь тебя. Боюсь нас.

Я придвинул лицо к ее лицу.

– Смотри, сломаешь – заплатишь, – прошептала она.

Я мог целовать ее всю ночь. И я целовал ее всю ночь. Вместе с молодостью я утратил сейчас понимание того, как можно проводить час за часом, довольствуясь одними поцелуями. Конечно, были у нас и паузы. Были промежутки, когда мы смотрели друг другу в глаза, были сладостные разговоры о том, когда именно мы стали неизбежны. Было щедрое изобилие ее волос, был чистый запах ее кожи, запах Анабел; была узкая щель между ее передними зубами. Телесная периферия, с которой я должен был освоиться, прежде чем идти глубже. Были новые извинения и маленькие признания. Был ее внезапный, сумасшедший, смешной наклон к линолеуму, чтобы я убедился, в какой чистоте Анабел Лэрд содержит кухонный пол: его без опаски можно лизать! Потом – перемещение в гостиную на диван. Закрытая дверь спальни, куда нет доступа никому, кроме Анабел. Но большую часть времени мы просто целовались, пока рассвет не дал нам увидеть воспаленные глаза друг друга.

Анабел села и оправилась, точно кошка после неуклюжего прыжка.

– Ты иди сейчас, – сказала она.

– Конечно.

– Не могу тебя сразу впустить. Ты-то в состоянии прямо от Люси ко мне, как ни в чем не бывало, но я такой навык утратила.

– Я бы не сказал, что у меня есть навык.

Она серьезно кивнула.

– Я хочу в чем-то признаться и о чем-то тебя спросить, – сказала она. – Тебе следует знать, что Люси мне кое-что о тебе сообщила. Мне хотелось заорать на нее, чтобы она заткнулась, но она сказала мне, что ты

девственник.

Как ненавистно мне было это слово! Устарелое, непристойное – и точное.

– Так вот, слушай мое признание: это имеет для меня значение. Потому-то я и ждала тебя на углу. В смысле я не просто потому ждала, что хотела тебя видеть. Была еще мысль, что ты, может быть, тот человек, с кем я смогу начать сначала. Ты сам-то понимаешь, до чего ты чист?

В трусах у меня было липко от того, что потихоньку сочилось час за часом, но Анабел была права: мы с моим членом едва разговаривали. Липкость, как и сам член, была мужским затруднением и, казалось, имела мало общего с нежностью, которую я ощущал.

– Но вопрос мой не в этом, – сказала она. – Он вот в чем: что Люси сообщила тебе про меня?

– Она сказала мне... – я тщательно выбирал слова, – ...что у тебя были неприятности в школе и что у тебя давно уже нет бойфренда.

Анабел негромко вскрикнула.

– *Боже мой*, как я ее ненавижу! Почему, ну почему я продолжала с ней дружить?

– Мне дела нет до того, что у тебя было в Чоут. А с ней я не буду больше про тебя говорить.

– Ненавижу! Она сточная канава без решетки. Ей надо все стащить вниз, на свой уровень. Я ее хорошо знаю. И я точно знаю, что она тебе сказала. – Анабел зажмурила глаза, выдавливая слезы, окрашенные тушью. – Иди теперь, ладно? Мне надо побыть у себя.

– Я пойду, но я не понимаю.

– Я хочу, чтобы у нас было иначе. Как ни у кого другого. – Она открыла глаза и кротко улыбнулась мне. – Не хочешь – ничего страшного. Ты просто очень хороший мальчик, уроженец Денвера. И я не обижусь, если ты поймешь, что тебе этого не надо.

Возможно, средства сообщения между мной и моим членом не были так уж безнадежно плохи, ибо я ответил тем, что прижал ее лицо к своему, прильнул воспаленными губами к ее распухшим губам. Я не могу отделаться от мысли, что, если бы мы поступили тогда как нормальные люди и прямо там, на полу, совокупились, наша совместная жизнь могла бы потом сложиться счастливо. Но в ту минуту все было против этого: моя неопытность, моя подозрительность в отношении своих собственных мотивов, странные понятия Анабел о чистоте и безгрешности, ее желание остаться одной, мое нежелание ей повредить. Мы разъединились, тяжело дыша, и пристально посмотрели друг на друга.

- Я хочу, мне надо, – сказал я.
- Не делай мне больно.
- Не сделаю.

Вернувшись в кампус, я проспал все утро и едва успел в столовую. Там увидел Освальда за столом, который мы предпочитали; он встретил меня заголовками:

- “Аберант – другу: потусуйся за нас двоих”.
- Извини, что бросил тебя.
- “Аберант виновато ссылается на секретное совещание у Лэрдов”.

Я засмеялся и сказал:

- “Хакетт признан виновным в злобных нападках на Лэрд”.

Освальд захлопал глазами.

- Ты на *меня* возлагаешь ответственность?
- Уже нет.
- Вчера мясницкая бумага в ход пускалась? Признайся.

С понедельничным номером газеты дел было немного: мы имели в распоряжении весь уикенд. Во второй половине дня, когда мы отдали номер в печать, я смог позвонить Анабел. Она спала до трех, и новостей у нее не накопилось, но любовное томление делает самые ничтожные мысли и дела достойными упоминания. Мы проговорили час, а затем стали обсуждать, не встретиться ли сегодня, потому что дальше у меня не будет свободного вечера до пятницы.

- Начинается, – сказала она.

– Что начинается?

– Твои важные дела, мое ожидание. Не хочу быть ожидающей стороной.

- Я точно так же буду ждать до вечера пятницы.

– Ты будешь занят, я буду ждать.

– А тебе разве нечем заняться?

- Есть чем, но сегодня мой единственный шанс заставить *тебя* ждать.

Я хочу, чтобы ты испытал малюсенькую чуточку того, что мне предстоит.

Если бы подобная логика исходила от кого-нибудь еще, я, скорее всего, почувствовал бы раздражение, но мне тоже хотелось, чтобы у нас было как ни у кого другого. Семантическое, в сущности, расхождение продлило наш разговор еще на полчаса, но это меня не смутило. Для меня это было движение в глубь ее неповторимости, которая вскоре станет нашей общей неповторимостью. И это был ее голос в трубке.

Когда мы наконец достигли компромисса, согласившись увидеться в деловом центре города – оттуда, думалось мне, я провожу ее домой и на сей

раз, может быть, буду допущен в ее спальню, получу позволение дотронуться до ее самых заряженных мест, а может быть даже, мне будет даровано все, чего я желаю, если она желает того же и так же сильно, – я быстро поужинал и пошел к себе в комнату, чтобы потратить час на чтение Гегеля. Едва я сел, как позвонила моя сестра Синтия.

– Клелия в больнице, – сказала она. – Ее положили вчера вечером около полуночи.

Я был так полон Анабел, что моя первая мысль была такая: около полуночи мы в первый раз поцеловались. Словно моя мать каким-то образом узнала. Синтия объяснила мне, что она четыре часа провела в уборной с растущей температурой, не в силах выйти. В итоге она все-таки смогла позвонить доктору ван Шиллингерхауту, своему гастроэнтерологу, врачу до того старой школы, что он посещал пациентов на дому, и до того равнодушному к моей матери, что сорвался с места в одиннадцать вечера в субботу. Он диагностировал не только острое воспаление кишечника, но и сильнейший нервный срыв: мать говорила без умолку, горячечно защищая Арне Хоулкома от какого-то обвинения, суть которого не разъясняла.

– Я только что говорила по телефону с руководителем избирательной кампании, – сказала Синтия. – Судя по всему, Арне непристойно обнажился перед сотрудницей.

– О господи, – сказал я.

– Они пытались скрыть это от Клелии, но кто-то ей сообщил. С ней случилось какое-то помешательство. Сутки спустя она сидит в уборной и не может выйти, чтобы позвать кого-нибудь.

Синтия надеялась, что я смогу прилететь в Денвер. В пятницу ей предстояло важное голосование о создании профсоюза, а Эллен по-прежнему была зла на мою мать из-за какого-то замечания, которое та сделала насчет музыкантов, играющих на банджо (позиция Эллен тогда и позже была неизменна: “Она относится ко мне погано, и она мне мачеха, а не мать”). Синтия никогда полностью не переставала пусть и по-дружески, но сомневаться в моих моральных качествах, и, видимо, она уже опасалась (небезосновательно), что ей в конце концов придется взять на себя неотложную эмоциональную помощь мачехе. Я согласился позвонить в больницу.

Вначале, однако, я позвонил Анабел и, к счастью, успел до того, как она вышла, чтобы встретиться со мной. Я объяснил ей ситуацию и спросил, не согласилась бы она вместо делового центра приехать ко мне в общежитие. Ответом была мертвая тишина.

– Извини, – сказал я.

– Теперь ты понимаешь, что я имела в виду, когда сказала: “Начинается”.

– Но это же экстренный случай.

– Представь себе меня в твоём общезнании. Взгляды парней. Запах в этих душевых. Ты способен вообразить мое там присутствие?

– Моя мама в больнице!

– Я тебе очень сочувствую, – сказала она более добрым тоном. – Просто мне тяжело из-за совпадения. Вокруг нас, похоже, сплошные знаки. Я знаю, что ты в этом не виноват, но я обескуражена.

Я утешал её почти час. Кажется, это был первый случай, когда я отзывался о своей матери по-настоящему плохо; до той поры мама была моим личным затруднением, о котором я молчал. Должно быть, я хотел показать Анабел, что предан ей безраздельно. А она, при всем её сочувствии своей собственной несчастной матери, не только не сказала ни слова в защиту моей, но и помогала мне заострить свои выпады в её адрес. Она издавала стон, слыша, к примеру, что моя мать выписывает “Таун энд кантри”, или что она считает бумажные салфетки дурным тоном и всякий раз кладет на стол матерчатые в кольцах, или что шикарный универсальный магазин в её представлении – это “Нейман Маркус”.

– Объясни ей, – сказала Анабел, – что люди, которыми она восхищается, летают в Нью-Йорк и покупаются в “Генри Бендел”.

Отвергая свою привилегированность, Анабел тем не менее защищала её от выскоков. Когда я вспоминаю сейчас её невинно-жестоким снобизмом, она представляется мне очень юной, а я, опьяненный этим снобизмом и готовый использовать его против своей матери, ещё более юным.

Голос из Денвера был хриплым, слова звучали не очень внятно из-за седативных средств.

– Твоя глупая старая мать угодила в больницу... – услышал я. – Доктор Шан... Виллингерхаут только взглянул... и сразу: “Я вас везу в бо...ницу”. Он по...сающий человек, Том. Бросил свой бридж, он в бридж играет по субботам вечером... Таких врачей скоро совсем не будет. Он мог бы не работать – ше...сят шесть лет. Настоящий а...стократ. Ка...тся, я тебе говорила: его семья... очень старая семья, Бельгия. В субботу вечером прямо от своего бриджа ко мне, к глупой старой... Суббота, вечер, а он на дом... Сказал, мне станет лучше, не сдаваться, пока лучше не станет. Честно говоря, я так расстроена из-за этой глупой старой болезни... Он де...сительно мой спаситель.

Меня обрадовало, что она, похоже, перешла с Арне Хоулкома на

доктора ван Шиллингерхаута. Я спросил, хочет ли она, чтобы я приехал.

– Нет, мой милый. Очень мило, что ты предложил, но тебе надо редактировать свой журнал. Я хотела сказать – газету. Я так горда, что ты главный редактор. Это произведет хорошее впечатление... на юридические факультеты.

– Мама, я не собираюсь идти на юридический.

– Меня так радует, когда думаю про тебя с твоими отличными, интересными, амбициозными друзьями... про твоё блестящее будущее. Не надо ко мне, к глупой старой, приезжать. Я сейчас не в таком виде, не в лучшем... вот поправлюсь немного, тогда повидаемся.

Я не горжусь тем, что ухватился за разрешение не приезжать, данное под воздействием седативных средств. Я думаю, она искренне хотела, чтобы я продолжал жить своей жизнью, но это не оправдывает мой страх перед пребыванием рядом с ней, перед вовлечённостью в её болезнь и выздоровление, и мне следовало знать – да я и знал, хоть и обманывал себя, отгоняя эту мысль, – что Синтия, которая унаследовала хорошие качества от нашего отца, компенсирует мою слабость и после профсоюзного голосования отправится в Денвер на своём мини-бусе “фольксваген”.

Сильно я обо всем этом не задумывался. Моя голова была подобна радиоприемнику, играющему Анабел на всех частотах. На свете не было глянцевого журнала, где, помести он её фотографию, я из всех красавиц не выбрал бы её. В языке не было слов, от которых так замирало бы моё сердце, как от слов “звонила Анабел” на доске объявлений в редакции (ни в коем случае не Аннабель; она ревниво относилась к своему имени и диктовала его по буквам тому, кто принимал сообщение). Каждый вечер мы говорили по телефону, и я начал досадовать на “Дейли пенсильваниан” за то, что забирает у меня столько времени. Я перестал есть говядину и вообще ел теперь мало; меня постоянно слегка подташнивало. Освальд квохтал надо мной, как наседка, но меня подташнивало от всего, даже от лучшего друга. Мне нужна была Анабел Анабел Анабел Анабел Анабел. Она была красива, и умна, и серьёзна, и забавна, и стильна, и творчески изобретательна, и непредсказуема, и я ей нравился. Освальд деликатно привлекал моё внимание к признакам того, что у неё, может быть, не все дома, но он также показал мне статью в деловом разделе “Таймс”: компания “Маккасвилл”, все ещё купающаяся в доходах от продажи зерна Советскому Союзу, располагает, по оценкам, капиталом в двадцать четыре миллиарда долларов, и её динамичный президент Дэвид М. Лэрд агрессивно расширяет её заграничный бизнес. Я решил арифметическую задачу – пять процентов, четверо наследников – и, получив в ответе

триста миллионов долларов для Анабел, ощутил новый прилив тошноты. Понадобилось еще три свидания, прежде чем она впустила меня к себе в спальню. Несомненно, она помнила о числе четыре, но было, кроме того, одно специфическое обстоятельство, о котором я узнал, когда мы в третий раз встретились как пара. Выйдя на каком-то часу встречи победителем из длительной битвы со страхом и феминистским самоанализом, я отважился запустить руку под ее бордовое бархатное платье. Когда мои пальцы наконец достигли ее трусов и прикоснулись к источнику жара между ног, она резко вздохнула:

– Не начинай.

Моя рука мгновенно ретировалась. Я не хотел ей повредить.

– Нет, нет, не бойся, – сказала она, целуя меня. – Я хочу, чтобы ты меня потрогал. Но только для тебя, не для меня. Не начинай с меня.

Я вынул руку из-под платья и погладил ее по голове, давая понять, что не спешу, что я не эгоистичен.

– Почему? – спросил я.

– Потому что ничего не получится. Сегодня не тот день.

Она села на диване, где мы с ней лежали, и соединила колени, зажав между ними сведенные ладони. После этого взяла с меня обещание, что я никому и ни при каких обстоятельствах не передам того, что она мне скажет. С тринадцати лет, сообщила мне она, ее менструации происходят абсолютно синхронно с фазами луны. Очень странно, но месячные всякий раз начинаются у нее ровно на девятый день после полнолуния. Ее можно, сказала она, замуровать в пещере на годы, и все равно она будет знать, какой сейчас день лунного месяца. Но это не все; еще страннее то, что после своей школьной несчастливой болезни (это было ее выражение: “моя несчастливая болезнь”) она может достичь удовлетворения только в те три дня, когда луна самая полная, как бы она ни старалась в другие дни.

– А я старалась, уж ты мне поверь, – сказала она. – То, что ты попытался начать, ничем хорошим не кончилось бы.

– Сейчас луна только до половины доросла.

Она кивнула и повернулась ко мне со страхом в глазах, который я истолковал как трогательное беспокойство о том, что она странная или нездорова, или же как еще более трогательное беспокойство о том, что я могу отшатнуться от нее. Но я не отшатнулся. Я был взволнован тем, что она со мной так откровенна и хочет меня так сильно, что боится меня оттолкнуть. Никогда, подумалось мне, я не слышал ни о чем столь же поразительном и необычном: абсолютно синхронно с фазами луны!

Она, должно быть, испытала облегчение от моих пламенных поцелуев

и заверений в любви, потому что главной причиной для ее беспокойства было довольно очевидное следствие из ее признания: если я желаю полной взаимности, если я не хочу делать с ней ничего, в чем она не могла бы участвовать со мной на равных, я в лучшем случае смогу спать с ней только три раза в месяц. Она предполагала, что я вижу это следствие. Я его не видел. Но даже если бы видел, три раза в месяц с той точки, где я сидел, выглядели бы замечательно; позднее, когда мы были женаты, они с какого-то момента действительно стали выглядеть замечательно – в зеркальце заднего вида.

Неделю спустя, заранее придя на вокзал на Тридцатой улице, я в ожидании поезда захотел что-то купить Анабел по случаю нашей четвертой встречи. Я зашел в привокзальный книжно-журнальный магазин, надеясь на экземпляр “Оги Марча”, который под влиянием Освальда стал считать лучшим американским романом, написанным современником, но книги там не оказалось. Зато мне попала на глаза мягкая игрушка: маленький черный плюшевый бычок с короткими фетровыми рожками и сонными глазами. Я купил его и положил в свой рюкзачок. Из поезда, с моста через Скулкилл, я видел полную луну, серебрившую высокие облака над Джермантауном. Я дошел до того, что луна казалась мне личным достоянием Анабел. Чем-то, к чему я могу притронуться и вот-вот это сделаю.

Анабел, на которой было потрясающее черное платье, откупорила на кухне новую бутылку “Шато Монтроз”.

– Последняя, – сказала она. – Остальные восемь я подарила забулдыгам за винным магазином.

Восьмерки и четверки, повсюду восьмерки и четверки.

– Они, наверно, приняли тебя за своего ангела, – сказал я.

– Нет, они даже обругали меня за то, что у меня не было штопора.

Я ожидал волшебного вечера и волшебной ночи, но началось все с того, что мы впервые поссорились. Я экспромтом шутливо намекнул на богатство ее отца, и она расстроилась, потому что всюду, куда бы она ни пошла, ее терпеть не могут как богатенькую, *и я не должен шутить на эту тему*, она не сможет быть со мной, если я о ней такого мнения, она достаточно сильно ненавидит деньги и без моих напоминаний, она и так по колено в крови, на которой они делаются. После своего десятого безрезультатного извинения я обрел некую твердость и рассердился. Если она не хочет быть богатенькой, может быть, надо перестать надевать на каждое свидание со мной другое платье из “Генри Бендела”? Мой гнев шокировал ее. Она изумленно уставила на меня свои оленьи глаза. Затем

выплеснула свое вино в раковину и туда же вылила всю бутылку. *К моему сведению*, она после учебы в Брауне^[77] не купила себе ни одного нового платья, но для меня это, ясное дело, ничего не значит, у меня, ясное дело, свое представление о ней, и я испортил своим ложным представлением вечер, обещавший быть идеальным. Все испоганено. *Все*. И так далее. В конце концов она пулей вылетела из кухни и заперлась в ванной.

Сидя в одиночестве, слушая плеск воды из душа, я имел возможность заново проиграть мысленно нашу перепалку, и все, что я произнес, показалось мне словами козла. Меня охватило давно знакомое чувство неизбежной мужской неправоты. Единственным, что давало надежду на очищение, было растворить свою личность в личности Анабел. Вот таким черно-белым все мне тогда виделось. Только она могла избавить меня от мужской скверны. Когда она вышла из ванной в прелестной белой фланелевой пижаме с голубой окантовкой, я дрожал и плакал.

– О господи, – сказала она и опустилась около меня на колени.

– Я люблю тебя. Люблю. Прости меня. Я просто люблю тебя.

Я был сокрушен и серьезен, но мой член под вельветовыми брюками был начеку, и он ожил. Анабел положила голову мне на колено, прильнув к нему щекой и влажными волосами.

– Я тебя обидела?

– Это я во всем виноват.

– Нет, ты был прав, – сказала она. – Я слабая. Я люблю свои наряды. Я собираюсь от всего отказаться, но от тряпок пока не могу. Пожалуйста, не думай обо мне плохо. Я не хотела тебя обидеть. Мы должны были сегодня поссориться, вот и все. Это испытание, через которое нам надо было пройти.

– Я тоже люблю твои наряды, – сказал я. – Я люблю, как ты в них выглядишь. Я так тебя люблю, что живот сводит.

– Я могу перестать их носить на людях. Стану надевать, только когда мы вдвоем, и это не будет иметь значения: ты будешь знать, что это всего лишь моя слабость, которую я потом преодолею.

– Я не хочу быть человеком, который указывает тебе, чего ты не должна делать.

Она благодарно поцеловала меня в колено. Потом увидела шишку у меня в брюках.

– Извини, – сказал я. – Конфуз.

– Не надо конфузиться. Парни ничего не могут с этим поделать. Жаль, я не в состоянии забыть ради тебя все, что про это знаю.

Затем она предложила мне принять душ, что выглядело совершенно

естественным, раз она приняла его сама. Я вытерся одним из ее роскошных полотенец и, не желая выглядеть слишком самоуверенным, надел всю одежду обратно. Выйдя из ванной, я увидел, что квартира освещена только луной. Дверь спальни, до той поры всегда закрытая, теперь была отворена на ширину пальца.

Я подошел к двери и остановился; уши были полны сердечного стука, в котором словно бы находила выражение невозможность происходящего. Никто еще не входил в спальню Анабел, но для меня она оставила дверь приоткрытой. Для меня. Голова была так переполнена значимостью минуты, что, казалось, могла взорваться, как может взорваться мир, столкнувшись с чем-то невозможным. Словно никого – ни сейчас, ни раньше – не существовало, кроме нас с Анабел. Я толкнул дверь и вошел.

Спальня, озаренная сильным монохромным лунным светом, была грезой о безгрешности. Кровать высокая, с балдахином, застланная ситцевым покрывалом, под которым лежала сейчас на боку Анабел. На мансардных окнах тюлевые занавески, на полу простой меннонитский коврик, из мебели – тонконогий стул, письменный стол (на нем лежали только наручные часы и серьги, которые она вынула из ушей) и высокий старинный комод, покрытый кружевной тканью. На комодe потрепанный плюшевый медвежонок и столь же потрепанный безглазый игрушечный ослик. На стене две картины без рам: лошадь в выводящем зрителя из равновесия близком ракурсе и корова с такого же расстояния; обе вещи выглядели неоконченными, на холстах оставались незакрашенные участки – такова была манера Анабел. Лаконизм этой комнаты, особенно при луне, ассоциировался с сельским Канзасом, с девятнадцатым веком. Животные напомнили мне о подарке, купленном для Анабел.

– Куда ты? – жалобно спросила она, когда я пошел к своему рюкзаку.

Я вернулся с плюшевым бычком и сел на край кровати, как отец к дочке.

– Забыл, что у меня есть для тебя презент.

Она села в пижаме и взяла бычка. В первый миг мне подумалось, что она его возненавидит, что сделается страшной Анабел. Но она не была такой Анабел у себя в спальне. Она улыбнулась бычку:

– Привет, малыш.

– Как он тебе?

– Замечательно. В последний раз мне подарили зверька, когда мне было десять. – Она бросила взгляд на комод. – Те уже со мной не разговаривают, слишком они старые и потертые. – Она погладила бычка. – Как его зовут?

– Не Фердинанд.

– Нет, не Фердинанд. Только Фердинанд – Фердинанд.

Не знаю, откуда взялось у меня в голове имя Леонард; я его произнес.

– Леонард? – Она пристально посмотрела бычку в сонные глаза. – Ты Леонард? – Она повернула его плюшевой мордой ко мне. – Он Леонард?

– Да, я Леонард, – проговорил я с бельгийским акцентом гастроэнтеролога моей матери.

– Ты не американский бык? – застенчиво поинтересовалась Анабел.

Леонард объяснил ей моим голосом, что происходит из очень старой бельгийской аристократической рогатой семьи и что череда несчастий забросила его на вокзал на Тридцатой улице в чрезвычайно стесненных обстоятельствах. Леонард оказался жутким снобом, безобразный вид Филадельфии и пошлость Америки ужасали его, и он был в восторге от перспективы служить Анабел: он чувствовал в ней родственную душу.

Анабел была заморожена, и я был заморожен ее замороженностью. А еще – еще я боялся отставить Леонарда в сторону, боялся последующего, но сейчас я вижу, что не мог бы придумать лучшего способа вселить в Анабел ощущение безопасности, чем затеять в ее девической, детской спальне игру с плюшевым животным. Нечаянно я обрел в ее глазах безупречность. Когда мы наконец отстранили Леонарда и она потянула меня к себе, побуждая лечь сверху, в них было нечто новое, нечто такое, чего не скроешь и не подделаешь. Не каждый день мужчине доводится смотреть в глаза женщине, влюбленной не на шутку.

Жаль, что я не могу вспомнить свое тогдашнее ощущение, – или, точнее, жаль, что не могу вернуться в ту минуту собой теперешним, не могу почувствовать ту благоговейную дрожь и в то же время иметь достаточно опыта, чтобы проникнуться происходящим – чтобы, попросту говоря, испытать наслаждение от первого в своей жизни обладания женщиной. Впрочем, не испытал я его в свое время и от первого стакана пива, от первой сигары... От красоты обнаженной Анабел моим глазам стало физически больно, и во мне не было ничего, кроме тысячи тревог. Если я вообще помню хоть что-нибудь от той минуты – это странное, похожее на сон чувство, будто я вошел в комнату, где две персоны пребывали всю мою жизнь, две персоны, хорошо одна другую знающие и толкующие между собой на реальные взрослые темы, в которых я ничего не смыслю, две персоны, безразличные к моему очень позднему появлению. Мой член и влагалище Анабел – вот что это были за персоны. Я же был юной и исключенной из общения третьей стороной, Анабел – отдаленной четвертой. Возможно, однако, это и правда мне приснилось в

какое-то другое время.

Что мне ясно помнится – это воздействие, которое полная луна оказала на Анабел: она кончала и кончала. Простыми толчками, как мне хотелось, я не мог дать ей всего – был слишком неуклюж, – но она показала мне разные способы. Казалось немыслимым, что эти безотказные механизмы удовольствия не работают в другие дни месяца, но позднейший опыт это подтвердил. Она кончала тихо, почти беззвучно. В более теплых лучах рассвета она призналась мне, что в долгий период без мужчин, который теперь кончился, она иногда дожидалась лучшего дня и весь его проводила в спальне, мастурбируя. Представив себе ее красивое, бесконечное, одинокое самоудовлетворение, я испытал желание быть Анабел. Поскольку я этого не мог, я совокупился с ней в четвертый и последний раз, уже муча себя. Потом мы спали до полудня, и я пробыл в ее квартире еще двое суток, не желая упускать полнолуние и поддерживая себя тостами с маслом. Когда наконец вернулся в кампус, я ушел из “Дейли пенсильваниан”, передав свою должность Освальду.

Мама предупредила меня, что от больших доз преднизона, который назначил ей доктор ван Шиллингерхаут, ее лицо распухло, и все же я был потрясен, когда встретил ее в аэропорту. Ее лицо было жуткой расплывшейся карикатурой на само себя, несчастной луной из плоти; щеки так раздулись, что глаза были полузакрыты. Ее извинения передо мной звучали жалко. Ей *неловко*, сказала она, из-за состояния, в котором она прилетела на выпускной акт в таком *престижном* университете, – а ведь она так ждала этого дня.

Я сказал ей, чтобы она не беспокоилась, но мне тоже было неловко. Сколько ни напоминай себе, что лицо – только лицо, что оно не имеет ничего общего с характером человека, привычка судить по лицу так сильна, что трудно быть справедливым к приобретенному уродству. Новое лицо моей матери губительно действовало на то сочувствие, что ему полагалось бы во мне возбуждать. Когда я вел ее через университетскую лужайку на церемонию приема новых членов в общество “Фи Бета Каппа”^[78], она была моим постыдным секретом, тыквоголовым вороньим пугалом в клетчатом брючном костюме. Я ни с кем не хотел встречаться глазами, и когда я посадил ее в актовом зале, мне пришлось сделать усилие, чтобы отойти от нее, а не отбежать.

После церемонии я, словно покупая у нее свободу, отдал ей почетный ключ общества (всю оставшуюся жизнь она носила его на тонкой золотой цепочке). Затем, оставив ее отдохнуть в отведенной ей комнате в высотном

общезитии (было убийственно жарко и влажно), я начал вместе с Освальдом готовить наше университетское обиталище к вечеринке с вином и сыром. Я рассчитывал на эту вечеринку как на возможность познакомить мать с Анабел в непринужденной обстановке. Анабел страшилась этого знакомства; что касается моей матери – у нее не было повода для страха. Она не одобрила Анабел, еще не видя ее, и я побоялся сказать ей, что Анабел будет на вечеринке.

Раньше, в ноябре, я воображал, что мать будет довольна, узнав, что моя девушка – наследница немалой доли состояния Маккаскиллов. Но моя сестра рассказала ей, как мы с Анабел познакомились. Синтию история с мясницкой бумагой позабавила, но все, что увидела в ней мать, – это дурость, радикальный феминизм и обнажение на людях. В своих занудных еженедельных наставлениях мне она стала проводить новое, неправомерное разграничение между *предпринимательским* и *унаследованным* богатством. Кроме того, она справедливо заподозрила, что я именно из-за Анабел отказался от должности главного редактора. Я сказал ей, что хочу сосредоточиться на совершенствовании своих репортерских навыков (с одобрения Анабел я писал большую статью про скрапл), но мать чуяла из далекого Денвера запах наших совокуплений. Когда я, приехав домой в рождественские каникулы, сообщил ей, что, во-первых, стал вегетарианцем и, во-вторых, вернусь в Филадельфию уже через неделю, ее толстый кишечник вновь сильно воспалился.

Не надо думать, что я не знал, во что ввязываюсь, или что не делал попыток этого избежать. Три дня на протяжении лунного месяца мы были парочкой наркоманов, ловящих наичистейший кайф на свете, но остальные двадцать пять дней мне надо было как-то справляться с ее настроениями, со сценами, которые она устраивала, с ее сверхчувствительностью, с ее суждениями, с ее ранимостью. Мы редко по-настоящему ссорились или спорили; чаще это был нескончаемый анализ того, как я или кто-либо другой нехорошо с ней обошелся. Вся моя личность стала перестраиваться ради защиты ее спокойствия и моей самозащиты от ее упреков. Кто-то может назвать это моей кастрацией, но скорее это было размывание границы между нашими “я”. Я учился чувствовать то, что чувствует она, Анабел училась предвосхищать мои мысли, а что может быть интенсивней, чем любовь без секретов?

– Одно замечание насчет уборной, – сказала она как-то раз на ранней стадии наших отношений.

– Я всегда поднимаю сиденье, – сказал я.

– В том-то и проблема.

– Я думал, проблема бывает с мужчинами, которые считают, что могут без промаха сквозь сиденье.

– Я рада, что ты не из их числа. Но брызги.

– Я вытираю обод.

– Не всегда.

– Хорошо, значит, есть куда развиваться.

– Но брызги не только на ободке. Бывают и под ободом, и на плитке.

Капельки.

– Буду и там вытирать.

– Ты не можешь каждый раз вытирать всюду и везде. И мне не нравится запах старой мочи.

– Я мужчина! Как мне тогда быть?

– Можно садиться... – застенчиво предложила она.

Я знал, что это неправильно, что это не может быть правильно. Но она была огорчена моим молчанием и сама умолкла со скорбным видом, в ее взгляде появилось что-то каменное, и ее огорчение значило для меня больше, чем моя правота. Я сказал ей, что либо буду более аккуратен, либо начну садиться, но она почувствовала, что я раздосадован и подчиняюсь нехотя, а разве может у нас быть мирный союз, если нет *настоящего согласия во всем*? Она заплакала, а я пустился в долгие поиски глубинной причины ее недовольства.

– *Мне же* приходится садиться, – сказала она наконец. – Так почему тебе не делать то же самое? Я не могу не видеть твоих брызг, и всякий раз, когда я вижу, приходит мысль: как это несправедливо – быть женщиной. Ты даже не чувствуешь, как это несправедливо, ты понятия не имеешь, никакого понятия.

Она заплакала в три ручья. Единственным способом это прекратить было сделаться – прямо там, в ту минуту – человеком, столь же остро, как она, переживающим несправедливость, заложенную в моей способности мочиться стоя. Я внес в свою личность эту поправку – как и сотню других, подобных ей, в наши первые месяцы – и всякий раз, когда ей могло быть слышно, мочился сидя. (Когда слышно не было, впрочем, я мочился в ее раковину. Часть меня, которая так поступала, в итоге погубила нас и спасла меня.)

В спальне она была более терпима к различиям. Это был, разумеется, несчастливый день, когда она поставила точки над *i* и объяснила мне, что у нас не может быть близости в те периоды, когда только один из нас способен получить удовлетворение. После очень долгого и трудного обсуждения, прерываемого молчаниями, она поддалась на мои уговоры и

согласилась попробовать, и, кончив внутри нее и услышав ее рыдания, я испытал чувство вины. Я спросил, получила ли она *хоть какое-то* удовольствие, и она прорыдала, что разочарование перевесило удовольствие. Весь разговор о несправедливости повторился у нас по новой, но на сей раз я имел возможность заметить, что она сама признаёт свою ненормальность в этом отношении и, значит, мы не имеем сейчас дела со структурным гендерным дисбалансом. В итоге она из любви ко мне и, возможно, из страха, что я найду себе более нормальную девушку, согласилась на некоторые уступки. Ритуал был странноватый, но отличался творческой выдумкой и какое-то время меня удовлетворял. Вначале я должен был принять душ, потом мы вели разговор с Леонардом, который давал свою забавную бычью трактовку новостям дня, потом мы раздевались, и она играла – по-другому не скажешь – с моим членом. Иногда он был кинокамерой, медленно панорамирующей над ее телом, а затем щелкающей стоп-кадры его излюбленных частей. Иногда она кутала его в свои прохладные шелковистые волосы и “доила”. Иногда тыкалась в него носом, пока он не окатывал ей лицо, точно головка душа. Иногда брала в рот и не сводила с него взгляда, не смотрела мне в глаза, пока не глотала. Нежность, которую она к нему питала, была сродни нежности, которую она испытывала к Леонарду. Она говорила мне, что он хорошенький, как сказала в свое время про меня. Она утверждала, что у моей спермы запах чище, чем у любой другой, которую она имела несчастье обонять. Но самым странным мне представляется сейчас то, что она всегда отделяла мой член от меня самого. Она не хотела, чтобы я целовал ее, пока она прикасается к нему; даже предпочитала, чтобы я не трогал ее руками, пока она с ним не закончит. И постоянно, как я обнаружил, вела счет. Когда наступало полнолуние, восстанавливая в ней нормальность, и она один за другим начинала испытывать оргазмы, она сообщала мне, который из них уравнивал нас с ней на текущий месяц. И в тот момент все у нас становилось в порядке. Мы опять были одним целым.

Достойны упоминания два других кризиса. Первый вызвало то, что университет Миссури готов был принять меня в свою великолепную школу журналистики, куда мать убедила меня подать заявление, потому что это было посылно по деньгам и не очень далеко от Денвера. Да, я был без ума от Анабел, и да, я ополчился на мужское в себе как на препятствие к единению наших душ, но мужская часть из меня все-таки не ушла и отлично понимала, что Анабел странная, что я молод и что вегетарианская диета плохо подходит моему желудку. Я вообразил себе, что проведу в Миссури “перегруппировку сил”, что налягу там на работу, что стану

репортерской косточкой, что уделю внимание другим девушкам, прежде чем решить, связывать ли судьбу с Анабел. Я совершил ошибку, сказав ей про Миссури вечером перед полнолунием. Я попытался ласково завлечь ее в спальню, но она сделалась молчалива. Лишь часы спустя – часы, когда она дулась, а я старался ее взбодрить, часы, которые мы могли бы провести в постели, – она выложила передо мной мои мысли во всей их мужской неприглядности. Она не упустила ничего.

– Ты будешь там вести замечательную журналистскую жизнь, ты будешь счастлив, что там нет меня, а я буду тут сидеть и ждать, – сказала она.

– Ты можешь поехать со мной.

– Ты хорошо себе представляешь меня в Колумбии, штат Миссури? Меня в качестве девушки, которая туда за тобой увязалась?

– Тогда живи здесь и работай над своим проектом. Это всего два года.

– А твой журнал?

– Как я смогу затеять журнал без денег и опыта?

Она выдвинула ящик и достала чековую книжку.

– Вот сколько у меня есть, – сказала она, показывая на сумму накоплений: примерно сорок шесть тысяч долларов. Я смотрел, как ее изящная рука художницы выписывает мне чек на двадцать три тысячи. – Хочешь быть со мной и быть амбициозным? – Она вырвала чек и протянула мне. – Или хочешь поехать в Миссури как заурядный журналиста?

Я не стал ей указывать, что широкие жесты с чековыми книжками теряют в значимости, если их делают дочери миллиардеров. Сомнение в ее намерении не брать больше денег у отца было таким же тяжким грехом, как сомнение в ее серьезности как художницы. Она уже научила меня никогда этих сомнений не выражать. Они бесили ее страшно.

– Я не возьму у тебя денег, – заявил я.

– Это *наши* деньги, – сказала она, – и новых поступлений не будет. Все, что у меня есть, твое. Употреби их с пользой, Том. Можешь взять этот чек с собой в Миссури. Если собираешься разбить мое сердце, сейчас самое время. Бей по нему отсюда, а не из Миссури год спустя. Бери деньги, поезжай домой, поступай в школу журналистики. Об одном прошу: не делай вид, что мы остаемся парой.

Она ушла и заперлась в спальне. Не знаю, сколько раз мне пришлось пообещать, что не покину ее, прежде чем она меня впустила. Когда впустила наконец, я разорвал чек (“Не дури, это хорошие деньги!” – крикнул с изголовья кровати Леонард) и схватил ее тело с новым

ощущением обладания, словно то, что я в большей мере стал принадлежать ей, сделало и ее более моей.

Маму мое решение привело в ярость. В ее глазах это был шаг по той же самой дорожке бедности, по которой уже пошли мои сестры, по глупой идеалистической дорожке моего отца, и я напрасно перечислял ей знаменитых журналистов, не учившихся ни в какой магистратуре. Еще сильнее она огорчилась через месяц, когда я сказал ей, что летом приеду в Денвер только на неделю. После ее госпитализации я провел с ней всего восемь дней и чувствовал, что мой долг перед ней (и Синтией) – это месяц дома, но Анабел рассчитывала, что наша совместная жизнь начнется с той минуты, когда я получу диплом. Когда я заикнулся о расставании на месяц, она восприняла это как катастрофическое предательство всего, что мы вместе задумали. Я предложил, чтобы она тоже поехала в Денвер, но она посмотрела на меня так, будто у меня, а не у нее нелады с психикой. Почему я не решил проблему, прекратив наши отношения, мне нелегко сейчас объяснить. Судя по всему, мой мозг уже был так основательно подключен к ее мозгу, что даже понимая, до чего она неразумна и бессердечна, я смотрел на это сквозь пальцы. Всякий наркотик – это избавление от собственного “я”, и, отказываясь от себя ради Анабел, поступая *явно неправильно*, чтобы ее не огорчать, а затем пожиная экстатические плоды ее обновленного чувства ко мне, я кайфовал от своего особого, личного наркотика. Когда я сообщил матери о своих планах на лето, она заплакала, но только слезы Анабел могли заставить меня изменить решение.

На выпускной вечеринке опухшее лицо матери ясно показывало, как она сердита на нас обоих. Безопасного способа объяснить моим друзьям и их нормального вида родителям, что она не всегда такая, в моем распоряжении не было. Все уже сильно потели, когда пришла Анабел – пришла в умопомрачительном небесно-голубом коротком платье, сопровождаемая Нолой. Они прямиком направились к вину, и мне не сразу удалось оторвать свою мать от родителей Освальда и привести ее в тот угол, где в облачке неудовлетворенности, создаваемом Нолой, сидела Анабел. Я представил ее и маму друг другу, и Анабел, скованная от застенчивости, встала и поздоровалась с Клелией за руку.

– Здравствуйте, миссис Аберант, – храбро сказала она. – Я очень рада наконец с вами познакомиться.

Моя бедная обезображенная мать в брючном костюме – и это неземное существо в небесно-голубом платье для коктейлей; Анабел так потом и не простила ее за то, как она себя повела, но я в конце концов простил. Нечто

похожее на снисходительную улыбку появилось на ее опухшем лице. Она выпустила руку Анабел и посмотрела вниз на Нолу, которая была в унылом черном.

– А вы, простите...

– Депрессивная подруга, – отозвалась Нола. – Не обращайтесь на меня внимания.

Анабел хотела произвести на мою мать хорошее впечатление, нужна была лишь малая толика доброжелательности, чтобы помочь ей преодолеть застенчивость. Но этой толики она не получила. Мать отвернулась и сказала мне, что хочет переодеться к ужину.

– Ты должна поговорить с Анабел, – сказал я.

– Когда-нибудь в другой раз.

– Мама. Пожалуйста.

Анабел вновь села, в ее расширенных глазах, которым она словно не верила, стояла обида.

– Извини, но я не в лучшей форме, – сказала мне мать.

– Ей неблизко было ехать, она тут специально ради тебя. Ты не можешь просто взять и уйти.

Я взывал к ее представлениям о приличиях, но она была слишком потная и несчастная, чтобы внять. Я жестом пригласил Анабел присоединиться к нам, но она не отреагировала. Я вышел следом за матерью в коридор.

– Просто объясни мне, как добраться до моей комнаты, – сказала она. – И возвращайся на свою милую вечеринку. Очень рада была познакомиться с мистером и миссис Хакетт. Замечательные, интересные, ответственные люди.

– Анабел чрезвычайно важна для меня, – проговорил я, дрожа.

– Да, я увидела, что она очень хорошенькая. Но она намного старше тебя.

– Она старше *на два года*.

– А выглядит намного старше, мой милый.

Полуослепший от ненависти и стыда, я вывел мать из здания и отвел в ее комнату. Когда вернулся на вечеринку, Анабел и Нола уже не было – к счастью, потому что защищать свою мать я совершенно не был настроен. За ужином с Хакеттами все делали вид, что в слоновьем лице моей матери нет ничего особенного; я категорически не хотел обращаться к ней напрямую. Потом, во влажной тени Лоукест-уока^[79], я сообщил ей, что не смогу провести с ней вечер, поскольку в школе Тайлер на девять тридцать назначен показ дипломного фильма Анабел. Я боялся сказать ей об этом

заранее, но теперь был только рад.

– Твоя мать ставит тебя в неловкое положение, – сказала она. – Мое глупое состояние портит все на свете.

– Мама, ты не ставишь меня в неловкое положение. Просто мне хотелось, чтобы вы с Анабел поговорили.

– Невыносимо, что ты на меня злишься. Это для меня самое плохое, что только может быть. Хочешь, чтобы я поехала с тобой смотреть ее фильм?

– Нет.

– Если она так много для тебя значит, что ты даже слова сказать мне не хотел за ужином, то, может быть, мне стоит поехать.

– Нет.

– Почему? Этот фильм, он что, аморальный? Ты знаешь, что я не выношу голые тела и похабный язык.

– Нет, – сказал я. – Просто ее фильм не будет иметь для тебя смысла. Тут все дело в визуальных свойствах кино как среды, где возможна выразительность в чистом виде.

– Я люблю хорошее кино.

Мы оба, я думаю, понимали, что работа Анабел вызовет у нее отвращение, но мне удалось уговорить себя дать ей еще один шанс.

– Ладно, только пообещай, что будешь с ней вежлива, – сказал я. – Она работала над этим целый год, а художники ранимы. Ты должна быть очень-очень вежлива.

Свой дипломный фильм Анабел по моему предложению назвала “Мясная река”. Вначале она хотела назвать его “Неоконченное № 8”, потому что считала фильм не вполне оконченным, она никогда ничего не оканчивала вполне – ей становилось скучно, и она ставила перед собой новую художественную задачу. Она одна, сказал я ей, будет знать, что фильм не окончен. Она раздобыла два коротких киносюжета на шестнадцатимиллиметровой пленке: один про то, как корову глушат пневмопистолетом на бойне, другой про коронацию в 1966 году мисс Канзас как мисс Америка; большая часть года ушла у нее на то, чтобы перевести кадры на другой носитель, поработать над ними вручную и смонтировать по-своему. Ее любимыми кинорежиссерами были Аньес Варда и Робер Брессон, но большее влияние на ее фильм оказали музыкальные гобелены Стива Райша^[80]. Она перемежала кадры с их негативами в соотношении один к одному, один к двум, два к одному, два к двум и так далее, она вносила другие ритмические вариации, поворачивая кадры на сто восемьдесят и девяносто градусов, пуская их обратным ходом

и раскрашивая их вручную красными чернилами. Смотреть получившийся в итоге двадцатичетырехминутный фильм было адски тяжело, он не на шутку терзал зрительную кору мозга, но можно было, если правильно настроиться, увидеть в нем и признаки большого таланта.

У моей матери любимым фильмом всех времен был “Доктор Живаго”. В последние минуты просмотра я слышал, как она сердито бормочет себе под нос. Когда зажегся свет, она устремилась к выходу.

– Я подожду снаружи, – заявила она мне, когда я ее догнал и остановил.

– Ты должна вначале сказать Анабел что-то приятное.

– Что я могу сказать? Ничего более жуткого и отвратительного я в жизни не видела.

– Скажи что-нибудь чуть более приятное, чем это, и будет достаточно.

– Если это искусство – значит, что-то не так с искусством.

Во мне поднялась волна злости.

– Знаешь что? Вот так прямо ей и скажи. Что, по-твоему, фильм ужасный.

– Он ужасный не только по-моему.

– Мама, ничего страшного. Скажи. Она не удивится.

– А по-твоему, это искусство?

– Несомненно. По-моему, фильм великолепный.

Анабел стояла с Нолой между экраном и зрительскими местами, на нас она не смотрела, и мне ясно было по ее виду, что между нами назревает тяжелая сцена. Тех немногих студентов и преподавателей, что смотрели фильм, уже след простыл – это походило на бегство. Мать говорила со мной, понизив голос.

– Том, я тебя просто не узнаю, ты очень сильно изменился за эти полгода. То, что с тобой происходит, меня очень сильно огорчает. Меня огорчает особа, которая делает подобные фильмы. Меня огорчает, что из-за нее ты внезапно ушел с прекрасной должности, которую так старался получить, и не хочешь учиться в магистратуре.

А меня, со своей стороны, огорчало стероидное безобразие материнской внешности. Моей жизнью была прелестная Анабел, и я мог только ненавидеть женщину с раздувшимся лицом и глазами-щелками, которая ставила эту жизнь под вопрос. Моя любовь и моя ненависть были неразделимы; ненависть, казалось, логически следовала из любви, и наоборот. Тем не менее я помнил о сыновнем долге и проводил бы мать обратно в кампус, если бы Анабел решительно не двинулась к нам по проходу.

– Это было замечательно, – сказал я ей. – Потрясающе смотрится на большом экране.

Она во все глаза смотрела на мою мать.

– А у вас какое впечатление?

– Не знаю, что вам ответить, – замялась мать.

Анабел, чья застенчивость была теперь вытеснена моральным негодованием, засмеялась ей в лицо и повернулась ко мне.

– Ты идешь с нами?

– Нет, мне, пожалуй, надо проводить маму до общежития.

Продолговатые ноздри Анабел расширились.

– Давай встретимся позже, – сказал я. – Не хочу, чтобы она одна ехала на поезде.

– А на такси ты ее не можешь посадить?

– У меня с собой долларов восемь, не больше.

– А она совсем без денег?

– Не взяла свой кошелек. У нее предубеждение насчет Филадельфии.

– Понятно. Кругом черномазые, так и норовят ограбить.

Нехорошо было говорить о моей матери как об отсутствующей, но она первая нехорошо обошлась с Анабел. Анабел прошествовала обратно по проходу, открыла свой рюкзачок и вернулась с двумя двадцатками. Как там говорят на собраниях “Анонимных наркоманов”? До чего ты обещаешь себе никогда не опуститься ради наркотиков – до того непременно опустишься в итоге. Я мог бы насчитать восемь разных причин, по которым мне не следовало брать деньги у Анабел и давать их матери, – и все-таки я это сделал. Потом вызвал такси и в молчании ждал с ней машину перед главным корпусом.

– У меня бывали скверные дни, – промолвила она наконец. – Но думаю, это был самый скверный день в моей жизни.

Бежевая луна, подернутая филадельфийской дымкой, таяла в ней, как леденец во рту. На ее полноту я отреагировал по Павлову – сердцебиением, чью причину мне трудно было в тот момент отграничить от всего остального, что я чувствовал: от страха перед болью, которую испытывала мать, и от нервного возбуждения из-за своей жестокости по отношению к ней. У меня так туго схватило грудь, что я не мог ничего вымолвить – даже попросить прощения.

Позднее тем летом я познакомился с отцом Анабел. Два месяца мы с ней играли в мужа и жену, тратя деньги из оставшихся у нее сорока тысяч: жили вместе, спали до полудня, завтракали тостами, прочесывали дешевые

магазины и секонд-хенды, чтобы пополнить мой гардероб, спасались от жары на сдвоенных киносеансах в “Рице” и совершенствовались в технике стир-фрая. В мой день рождения мы решили более серьезно заняться работой. Я начал писать манифест “Неупроценца”, она принялась за чтение для своего грандиозного кинопроекта, на которое отвела год. Каждый будний день после полудня отправлялась в Бесплатную библиотеку: мы решили, что будет здоровее, если мы на несколько часов в день станем расставаться, а она не хотела ждать меня дома, как домохозяйка.

В один из таких дней позвонил Дэвид Лэрд. Мне пришлось объяснить ему, что у Анабел появился в моем лице бойфренд.

– *Интересно*, – сказал Дэвид. – Я вам открою маленький секрет: я рад слышать мужской голос. Я боялся, что она одарит благосклонностью эту свою душевнобольную подружку-лесбиянку, назло мне просто-напросто.

– Не думаю, что такой поворот был возможен, – возразил я.

– Вы черный? – поинтересовался он. – Инвалид? Судимый? Наркоман?

– Нет-нет.

– *Интересно*. Я вам еще один секрет открою: вы уже мне нравитесь. Я так понимаю, вы любите мою дочь?

Я замялся.

– Разумеется, любите. Она нечто, не правда ли? Назвать ее неуправляемой – значит дико преуменьшить. Нечто единственное в своем роде.

До меня уже доходило, почему Анабел его ненавидит.

– Но слушайте, – продолжал он, – если вы нравитесь *ей*, то вы нравитесь *мне*. Черт, я даже был готов поискать хорошее в этой душевнобольной, но, слава богу, до этого не дошло. Анабел на многое способна, чтобы мне досадить, но все-таки “назло папе отморожу уши” – не ее случай. Я ее знаю, я знаю эти нежные ушки. И мне хочется узнать, что за молодой человек с ней живет. Как насчет того, чтобы в ближайший четверг поужинать в “Ле бек-фен”?^[81] Втроем. Я позвонил потому, что у меня будут кое-какие дела в Уилмингтоне^[82].

Я сказал, что мне надо спросить Анабел.

– Черт возьми, Том, – вас Том зовут, я верно запомнил? Чтобы жить с моей девочкой, вам кое-какие мужественные железки надо в себе вырастить, иначе она слопает вас живьем. Просто скажите ей, что согласились со мной поужинать. Можете произнести сейчас эти слова? “Да, Дэвид, я поужинаю с вами”.

– Да, конечно, я не против, – сказал я. – Если только она не против.

– Нет-нет-нет. Это не те слова. Мы с вами ужинаем, точка. Она, если захочет, может присоединиться. Поверьте мне, она ни за что не допустит, чтобы мы с вами встретились без нее. Вот почему так важно, чтобы вы сказали мне эти слова. Если вы уже сейчас так ее боитесь, что будет потом?

– Я не боюсь ее, – возразил я. – Но если она не хочет вас видеть...

– Ладно. Хорошо. Вот вам другой аргумент. Открываю очередной секрет: она хочет меня видеть. Уже больше года прошло с тех пор, как она в последний раз кинула мне в лицо собачьим дерьмом. Так она поступает. И хотя она не любит в этом признаваться, ей нравится так поступать. Запас собачьего дерьма у нее большой, и есть только одно лицо, в которое она хочет им кидаться. Поэтому когда она скажет, что не хочет меня видеть, скажите ей на это, что все равно намерены со мной встретиться. То, что мы фактически делаем это ради нее, будет нашим маленьким секретом.

– Ничего себе, – отозвался я. – Но я не уверен, что это веский аргумент.

Дэвид громко рассмеялся.

– Ну ладно, ладно. Я просто дурью маюсь. Давайте встретимся и поужинаем на славу в лучшем ресторане Филадельфии. Я скучаю по моей Анабел.

Узнав, что я с ним разговаривал, она, конечно же, закатила сцену. Он *соблазнитель*, сказала она, а если не удастся соблазнить, он *запугивает*, а если не удастся запугать, он *покупает*, и хотя она раскусила его и умеет ему противостоять, во мне она не уверена; не исключено, что меня он соблазнит, запугает или купит. И так далее. Многое из того, что он сказал, звучало оскорбительно, но я не мог выбросить это из головы; с кем еще, в конце концов, я мог поговорить про Анабел? Ради эксперимента я вырастил в себе кое-какие железы и заявил, что она причиняет мне боль и обиду, подозревая, что я способен полюбить его, а не ее. Продолжая эксперимент, я сказал, что дал ему слово поужинать с ним. И, в точности как он и предсказывал, она согласилась пойти со мной.

В “Ле бек-фен” я первый и последний раз в жизни попробовал вино за три тысячи долларов. Дэвид протянул Анабел карту вин, и она читала ее, когда подошел винный официант.

– Дайте ей еще минуту, чтобы она смогла найти вашу самую дешевую бутылку, – сказал ему Дэвид. – А для нас с Томом я между тем попрошу “Марго” сорок пятого года.

Когда я спросил Анабел, одобряет ли она это, она посмотрела на меня неприятно расширенными глазами.

– Как знаешь, – сказала она. – Мне все равно.

– Это наша с ней маленькая игра, – объяснил мне Дэвид – высокий, подтянутый, энергичный человек с почти седой шевелюрой. Его внешность была внешностью Анабел в благородном мужском варианте, он выглядел намного лучше, чем средний миллиардер. – Но интересный факт вам на заметку. В таком месте самая дешевая бутылка зачастую сенсационно хороша. Почему – сам толком не знаю. Я вижу в этом, однако, черту выдающегося ресторана.

– Я не выискиваю ничего сенсационного, – возразила Анабел. – Я ищу такое, чтобы от цены не подавиться.

– Рад предположить, что ты, возможно, получишь и то и другое, – сказал Дэвид. Он повернулся ко мне. – Обычно я сам беру такую бутылку. Но в этом случае у нас игры бы не получилось. Видите, на какие поступки она меня толкает.

– Забавно: мужчины всегда винят в том, как они поступают с женщинами, самих женщин, – заметила Анабел.

– Рассказала она вам, как сломала зубы?

– Рассказала.

– Но не опустила ли лучшую часть? Она опять села на эту лошадь. Все лицо в крови, рот полон обломков, и она опять на нее вскакивает. И так дергает за узду, будто голову хочет ей оторвать. Чуть шею не сломала животному. Вот она какая, моя Анабел.

– Папа, умолкни, пожалуйста.

– Радость моя, я выставляю тебя перед твоим другом в хорошем свете.

– Тогда упомяни и о том, что я никогда больше не садилась ни на одну лошадь. Мне до сих пор скверно из-за того, как я с ней, бедной, обошлась.

Зная о ненависти Анабел к Дэвиду, я был удивлен тем, как непринужденно они общаются. Все равно что наблюдать за парой поносящих друг друга голливудских шишек: надо быть могущественным, чтобы принимать поношения с улыбкой. Когда Дэвид мимоходом сообщил, что женился, Анабел отреагировала вопросом:

– На одной или на нескольких?

– Больше одной мне не потянуть, – засмеялся Дэвид.

– Тебе нужно минимум три: парочку убьешь, одна останется.

– Моя первая жена была алкоголичка, – объяснил мне Дэвид.

– Ты сделал из нее алкоголичку, – сказала Анабел.

– Почему-то женщины всегда винят в том, как они поступают с мужчинами, самих мужчин.

– И почему-то всегда оказываются правы. Кто эта счастливица?

– Ее зовут Фиона. Тебе будет приятно с ней познакомиться.

– Мне не будет приятно с ней познакомиться. Мне приятно будет одно: уступить ей свои наследственные права. Просто покажи мне, где расписаться.

– Этому не бывать, – сказал Дэвид. – Фиона подписала так называемое добрачное соглашение. Тебе не удастся так легко отказаться от наследственных прав.

– Посмотрим, – сказала Анабел.

– Том, вам надо отговорить ее от этого безумия.

Мне непросто было включиться в эту полусушутливую беседу. Я не хотел создавать у Дэвида впечатление, что слишком трепетно отношусь к Анабел или нахожусь у нее в подчинении, но не мог я и быть с ним чересчур накоротке: это выглядело бы как предательство по отношению к ней.

– Это не входит в мои должностные обязанности, – аккуратно заметил я.

– Но вы же согласны, что это безумие?

Я встретился глазами с Анабел.

– Нет, не согласен, – сказал я.

– Всему свой срок. Еще согласитесь.

– Нет, он не согласится, – возразила Анабел, глядя мне в глаза. – Том не такой, как ты. Том – чистая душа.

– Ах да, ведь мои руки в крови. – Дэвид поднял ладони, посмотрел на них. – Странно, но сегодня я что-то ее не вижу.

– Вглядиись получше, – сказала Анабел. – Я чувствую ее запах.

Я, похоже, разочаровал Дэвида, когда он узнал, что я не ем мяса, и он не скрыл своего раздражения, когда Анабел заказала только овощи, но, получив свое фуа-гра и свою телячью отбивную, он воспрял духом. Возможно, это была всего лишь разновидность миллиардерского нарциссизма, но он проявил детальное знакомство с журналом “Нью-Йоркер”, со знанием предмета говорил про фильмы Олтмена и Трюффо, предложил купить нам билеты на спектакль “Человек-слон” в Нью-Йорке и выказал непритворный интерес к моим суждениям о Соле Беллоу. Мне вдруг подумалось, что в семье Лэрдов произошло что-то трагическое – что Анабел полагалось бы с отцом быть лучшими друзьями. Может быть, она не потому стала с ним так враждовать и у троих ее братьев не потому все так плохо, что он чудовище, а потому, что он слишком блестящ? Анабел никогда не утверждала, что он несимпатичен, говорила только, что он соблазняет людей, пользуясь своей притягательностью. Он развлекал меня

рассказами о своих неверных деловых решениях (о продаже сахарного завода в Бразилии за год до того, как он начал приносить бешеную прибыль, о том, как он торпедировал партнерство с “Монсанто”^[83], возомнив, что больше знает о генетике растений, чем директор “Монсанто” по науке) и смеялся над своей самонадеянностью. Когда разговор повернулся в сторону моих профессиональных планов и он с ходу предложил устроить меня в “Вашингтон пост” (“Бен Брэдли^[84] – мой старинный друг”), а после моего отказа заявил, что готов финансировать первые шаги моего еретического журнала, у меня возникло чувство, что он подначивает меня стать таким же блестящим, как он сам.

Анабел думала иначе.

– Он просто-напросто хочет тебя купить, – сказала она в поезде по пути домой. – Всегда одна и та же история. Я чуть-чуть ослабляю защиту и клянусь себя потом. Он хочет лезть во все, чем я живу, точно так же как “Маккаскилл” лезет во все, чем человечество питается. Он не успокоится, пока не захапает все без остатка. Ему мало быть ведущим в мире поставщиком мяса индейки, ему нужны еще Трюффо и Беллоу. Ты льстишь его интеллектуальному самомнению. Он думает, что если будет обладать тобой, то будет обладать и мной, и тогда все окажется в его руках.

– Ты слышала, чтобы я хоть раз сказал ему “да”?

– Нет, но он тебе понравился. И если ты думаешь, что он оставит тебя в покое, ты ошибаешься.

Она была права. Вскоре после нашего ужина я получил экспресс-почтой четыре первых издания в твердом переплете (“Оги Марч”, Г. Л. Менкен, Джон Херси, Джозеф Митчелл^[85]), два билета на “Человека-слона” и письмо от Дэвида, где он делился мыслями, возникшими у него, когда он перечитывал “Оги Марча”. Он также упомянул о том, что говорил обо мне по телефону с Беном Брэдли, и пригласил нас с Анабел приехать в следующем месяце в Нью-Йорк на театральный уикенд. Кончив рвать билеты, Анабел показала мне на подпись в нижнем углу второй страницы письма.

– Не льсти себе слишком уж, – сказала она. – Он его надиктовал.

– И что из этого? Я поверить не могу, что он ради меня взялся перечитывать “Оги Марча”.

– А я очень даже могу.

– А книжки ты не рвешь, однако.

– Нет, можешь поставить их на полку, если только сумеешь соскоблить с них кровь. Но если ты когда-нибудь примешь от него что-то большее, что-

то помимо подарков на память, ты уничтожишь меня. В прямом смысле уничтожишь.

Время от времени он мне позванивал, и вначале я задался вопросом, говорить Анабел или нет; но я и так уже мочился в раковину и потому решил, что других секретов иметь от нее не хочу. Так что я передавал ей его рассказы о своих блестящих деяниях, а потом поддакивал ее осуждающим замечаниям о них. Но втайне я ему симпатизировал, то, с какой любовью он говорил об Анабел, мне втайне очень нравилось, а она – он был прав на этот счет – втайне получала удовольствие, узнавая о новых деяниях, которые можно было осудить.

С манифестом “Неупрошенца” дело у меня шло туго. По части еретической риторики проблем не было, а вот насчет фактов... Если я действительно намеревался издавать новый журнал, мне следовало поддерживать связи с друзьями по “Дейли пенсильваниан” и завязывать отношения с местными фрилансерами. “Неупрошенец” был явно обречен на неудачу еще до старта, если только Анабел не смягчится и не позволит Дэвиду финансировать этот старт, так что я проводил дни в смутной надежде на ее смягчение. Освальд, поехавший домой в Линкольн платить учебный долг, писал мне смешные письма, на которые у меня не было сил отвечать. Я делал своей *единственной* задачей на день написать ему письмо – и не мог сочинить ни одной фразы, пока до возвращения Анабел из библиотеки не оставалось пять минут. Мне нечего было сказать кому-либо, помимо того, что я от нее без ума.

Потратив десять месяцев на то, чтобы приспособить свою индивидуальность к ее, чтобы сошкурить все, что порождало наибольшее трение, в ее присутствии я той осенью испытывал почти постоянное блаженство. Мы совершенствовали наши ритуалы, оттачивали общие для двоих суждения, наращивали наш приватный словарь, пополняли запас фраз, смешных при первом произнесении и почти настолько же смешных при сотом, и каждое ее слово, каждую ее вещь окрашивал секс, которого у меня ни с кем, кроме нее, никогда не было. Оставаясь в квартире один, я, однако, тосковал. Анабел имела неограниченный доступ к деньгам, но брать не желала ни доллара, я жаждал ее тела, но мог наслаждаться им только три дня в месяц, мне нравился ее отец, но приходилось изображать противоположное, у него были блестящие связи, но мне нельзя было ими воспользоваться, я вынашивал амбициозный проект, но не имел шансов претворить его в жизнь, и всякий раз, когда мать отваживалась меня спросить, чем я занимаюсь (я по-прежнему звонил ей каждое воскресенье вечером), я истолковывал это как выпад в адрес Анабел и сердито менял

тему.

Наш совместный план состоял в том, чтобы жить бедно, безгрешно и незаметно, а потом, когда придет срок, удивить мир. Во всем, что делала и говорила Анабел, было столько убедительности, что я в этот план поверил. Я боялся одного: что она бросит меня, увидев, что я не такая интересная личность, как она. Она была чудом, случившимся со мной, и я намеревался поддерживать ее и защищать от людского непонимания, и вот в годовщину судьбоносного Хэллоуина у Люси я снял со своего старого счета последние триста пятьдесят долларов и купил кольцо с жалким маленьким бриллианчиком. Перед тем как Анабел пришла из библиотеки, я продел в кольцо белую ленточку, повязал ее на шею Леонарду и поставил его посреди нашей кровати.

– У нас с Леонардом есть для тебя кое-что, – сказал я.

– Ага, ты выходил, – отозвалась она. – То-то я чувствую, что от тебя пахнет городом.

Я повел ее в спальню.

– Леонард, что у тебя такое есть для меня? – Она взяла его и увидела кольцо. – О, Том...

– Я, конечно, не выючное животное, – проговорил Леонард. – Я украшение общества, а не простой работяга. Но когда он попросил меня стать твоим кольценосцем, я не мог ответить отказом.

– О, Том... – Она поставила Леонарда на тумбочку, обняла меня за шею и посмотрела мне в глаза. Ее глаза блестели от слез и любовного пыла.

– Сегодня наша первая годовщина, – сказал я.

– Мой дорогой. Я и знала, что ты помнишь, и не была в этом уверена.

– Выйдешь за меня замуж?

– Тысячу раз да!

Мы бросились на кровать. Был не тот день месяца, но она сказала, что это неважно. Я подумал, что, может быть, теперь, когда мы собираемся пожениться, ее проблема уйдет в прошлое, и она, мне кажется, тоже на это надеялась, но напрасно. И все равно, сказала Анабел, она счастлива. Она лежала на спине, поставив нашего бычка между грудей, и стала развязывать ленточку.

– Жалко, что бриллиант такой маленький, – сказал я.

– Он идеальный, – возразила она, надевая кольцо. – Ведь его ты для меня выбрал.

– Не могу поверить, что ты за меня такого выйдешь.

– Нет, это мне повезло. Я знаю, что я трудный человек.

– Я и это в тебе люблю.

– Ты идеальный, идеальный, идеальный!

Она покрыла мое лицо поцелуями, и мы опять предались любви. Кольцо на ее пальце обладало волшебными свойствами. Я совокуплялся со своей суженой, мой восторг получил новое измерение, бездна, куда я мог низринуть свое “я”, стала во много раз глубже, и падению не было конца. Даже испытав оргазм, я продолжал падать. Анабел тихо плакала – от чистого счастья, сказала она. Что я сейчас вижу – это юную парочку, которая год нюхала порошок, утрачивая связи с реальностью одну за другой и (по крайней мере, в моем случае) тоскуя из-за этого. Разве могла логика пристрастия привести нас к чему-нибудь иному, чем игла в вене? Но в ту минуту все, что я ощущал, был кайф, сотворенный кольцом. На его волне я осмелел и попросил Анабел поехать на Рождество со мной в Денвер, объявить о нашей помолвке и дать моей матери еще один шанс. К моей радости, Анабел не только не возражала, но чуть не задушила меня поцелуями, говоря, что все для меня теперь сделает, все, все.

На свой лад она старалась. Она настраивала себя на то, чтобы испытывать приязнь к моей матери, если та отнесется к ней с уважением. Она даже купила ей рождественские подарки от себя лично – томик Симоны де Бовуар, фруктовое мыло, симпатичную старую латунную мельницу для перца – и, когда мы приехали в Денвер, предложила моей матери помощь на кухне. Но мать, все еще травмированная “Мясной рекой”, отклонила предложение. Считая Анабел богатой бездельницей, она, вернувшись после того, как Дик Аткинсон женился на ком-то еще, на работу в аптеку, настроила себя на роль измученной работающей мамы. Кроме того, она, хотя я твердил ей об этом месяцами, упорно не желала взять в толк, что Анабел – веганка, а я теперь вегетарианец. В первый день я поймал ее на том, что она готовит для меня запеченную рыбу, а для Анабел макароны с сыром.

– Я не употребляю в пищу животных, Анабел не ест никаких животных продуктов, – напомнил я ей.

У нее и сейчас лицо было довольно-таки опухшее, круглое, но мы уже к этому привыкали.

– Это хорошая рыба, – сказала она, – это же не мясо.

– Это плоть убитого животного. А сыр – животный продукт.

– Что тогда веганы вообще едят? Хлеб она ест?

– С макаронами проблем нет, только с сыром.

– Что ж, пусть ест макароны. Сырную корку я срежу.

К счастью, приехала и моя сестра Синтия. Когда я познакомил ее с Анабел, она отвела меня в сторону и прошептала: “Том, она красавица,

она чудесная”. Синтия взяла под защиту наши пищевые ограничения, а когда я за ужином объявил о нашей помолвке, она побежала на кухню за бутылкой розового шампанского, которое мать купила, предвкушая победу Арне Хоулкома. Мать же, опустив глаза в тарелку, проговорила:

– Вы еще очень молоды, рано вы решились.

Анабел ровным тоном спросила ее, сколько ей самой было лет, когда она вышла замуж.

– Я была очень юная, и поэтому я знаю, – ответила мать. – Знаю, что может потом быть.

– Мы – не вы, – сказала Анабел.

– Все так думают, – возразила моя мать. – Думают, что не похожи на других. Но жизнь кое-чему учит.

– Мама, будь счастлива, – крикнула ей с кухни Синтия. – Анабел замечательная, новость потрясающая!

– Вы не нуждаетесь в моем благословении, – промолвила моя мать. – Все, что я могу, это высказать свое мнение.

– Принято к сведению, – отозвалась Анабел.

Худо-бедно мы прошли через рождественские дни без скандала. Я спал в подвале, так что Анабел располагала собственной спальней. Мы согласились отдать благопристойности эту дань ради мира в доме, но каждый вечер в подвале Анабел, словно желая заочно показать моей матери, кто главный, делала мне минет. Это, вероятно, была вершина ее плотской раскрепощенности со мной, единственное, мне кажется, время, когда я видел ее на коленях. Моя мать была от нас по прямой всего в каких-нибудь пятнадцати футах, если не меньше; мы слышали ее шаги, слышали, как она спускает воду в уборной, даже слышали звуки, издаваемые ее кишечником. После отъезда Синтии приехал на два дня из Небраски Освальд, и мать была с ним так подчеркнута ласкова, что Анабел заметила мне: “Она бы предпочла, чтобы ты женился на Освальде”.

В последний день, когда Освальд уже уехал, мы с Анабел приготовили на ужин наш любимый стир-фрай, и тут мать принялась занудничать насчет денег. Она, мол, могла бы понять, если бы мы жили на средства Анабел и делали что-нибудь полезное для общества, и она могла бы понять, если бы мы нашли себе ответственную работу и сами себя содержали, но она не понимает желание жить в добровольной бедности и погоню за несбыточными мечтами.

– У нас еще есть кое-какие сбережения, – сказал я. – Когда деньги кончатся, мы найдем себе работу.

– Вы когда-нибудь работали за деньги? – спросила моя мать у Анабел.

– Нет, я же выросла в неприлично богатой семье, – сказала Анабел. – Устроиться на работу – это было бы смешно.

– Честный труд не может быть смешон.

– Она невероятно много трудится в области искусства, – сказал я.

– Искусство – не труд, – возразила моя мать. – Искусством занимаются для себя. Я допускаю, что вы не обязаны работать, если вам повезло и вы обеспечены. Но где деньги, там и ответственность. *Что-то* вы делать должны.

– Искусство – вполне себе *что-то*.

– Моя художественная позиция, – сказала Анабел, – помимо прочего, в том, чтобы не касаться денег, на которых есть кровь. Чтобы быть личностью, отвергающей их.

– Я этого не понимаю, – сказала моя мать.

– Есть такая штука, как коллективная вина, – сказала Анабел. – Сама я не держу скот и птицу в адских условиях, но как только я поняла, что это за условия, я взяла на себя долю вины и решила не иметь с этим ничего общего.

– Не верю, что “Маккасвилл” хуже других компаний, – не согласилась моя мать. – Она обеспечивает пищей миллионы и миллионы людей. А пшеница? А соя? Хорошо, пусть вам не нравится производство мяса, но не все же ваши деньги плохие. Вы могли бы взять для себя какую-то часть, а на остальное затеять что-нибудь благотворительное. Не вижу, чего вы добились, отказываясь от них.

– Нацисты подняли немецкую экономику и создали замечательную дорожную сеть, – сказала Анабел. – Они что, тоже плохи только наполовину?

Моя мать ощетибилась.

– Нацизм был страшным злом. Не надо рассказывать мне про нацистов. Я отца потеряла на той войне.

– Но сами никакой вины не ощущаете.

– Я была ребенком.

– А, понятно. То есть коллективной вины не существует.

– Не говорите мне про вину, – сердито потребовала моя мать. – Я оставила сестру, брата и больную мать, которой я была нужна. Я письмо за письмом писала с извинениями, но они ни разу не ответили.

– Как и шесть миллионов евреев.

– Я была ребенком.

– Я тоже. И теперь что-то делаю в связи со всем этим.

Мой вариант коллективной вины имел отношение к принадлежности к

мужскому полу, но в словах матери о труде я некую правду находил. Когда мы с Анабел вернулись в Филадельфию и я снова уперся в невозможность сдвинуть “Неупроценца” с мертвой точки, мне пришел в голову новый план: *написать повесть*. Поначалу ничего Анабел не говорить и в день свадьбы сделать ей сюрприз. Это даст мне новое дело, занятие, решит проблему свадебного подарка для Анабел, докажет ей, что я достаточно интересен и амбициозен, чтобы выйти за меня замуж, и, может быть, даже помирит ее с моей матерью – потому что в повести я намеревался в манере Беллоу рассказать единственную хорошую историю, какую знал: о виноватом материнском побеге из Германии. У меня уже была готова первая фраза: “Судьба семьи, жившей на Адальбертштрассе, была в руках у бешеного желудка”.

Для свадебной вечеринки мы выбрали трехдневный уикенд по случаю Президентского дня, чтобы дать больше времени иногородним гостям. Кроме Нолы, у Анабел еще оставались три относительно близкие подруги: одна из Уичито и две из Брауна (с двумя из трех она прекратит отношения спустя считанные месяцы после нашей женитьбы; третья будет пребывать в подвешенном состоянии, пока дружбе не положит конец ребенок). Поскольку из своей семьи она никого на свадьбу не пригласила и поскольку моя мать питала к ней антипатию, Анабел считала, что будет справедливо, если я своих родных тоже не приглашу. Я, однако, выдвинул свои аргументы: Синтия ей симпатизирует, а у матери я единственный ребенок.

Однажды вечером Анабел дала мне письмо, которое вынула из почтового ящика.

– Занятно, – сказала она. – Твоя мать даже теперь пишет тебе одному, а не нам обоим.

Я разорвал конверт и бегло проглядел письмо. *Дорогой Том... дом такой пустой без тебя... доктор ван Шиллингерхаут... более высокую дозу... я сдерживалась как могла, но каждый мой нерв... сравнить свое привилегированное детство богатой наследницы, купающейся в роскоши, с моим детством в Йене... немыслимые зверства войны с современными сельскохозяйственными методами... глубоко оскорблена... не могу не высказать тебе все, что лежит на сердце... Ты совершаешь УЖАСНУЮ ОШИБКУ... чрезвычайно привлекательна и прельстительна для неопытного молодого человека... ты еще СОВСЕМ неопытен... не вижу в твоём будущем с избалованной, требовательной любительницей КРАЙНОСТЕЙ, выросшей в условиях крайнего богатства и привилегий, ничего, кроме несчастья... уже страшно худой и бледный из-за безумного питания, которое она тебе... когда человек не имеет опыта, половой*

инстинкт порой застигает разум... умоляю тебя крепко, реалистично подумать о собственном будущем... ничего сильнее не хочется, чем знать, что ты нашел себе любящую, разумную, зрелую, РЕАЛИСТИЧНУЮ женщину, с которой можно строить счастливую жизнь...

Внезапно похолодевшими пальцами я сложил письмо и засунул обратно в конверт.

– Что она пишет? – спросила Анабел.

– Ничего. Кишечник опять воспалился, вот что плохо.

– Можно я прочту?

– Она тут в своем репертуаре, ничего нового.

– То есть мы через полтора месяца женимся, а я не могу прочесть письмо от твоей матери?

– По-моему, от стероидов у нее с головой что-то делается. Не надо тебе это читать.

Анабел бросила на меня один из своих пугающих взглядов.

– Так дело не пойдет, – сказала она. – Либо мы близкие люди в полном смысле слова, либо мы никто друг другу. Кто бы мне ни написал, нет такого письма, которого я бы тебе не захотела показать. Нет. Абсолютно.

Она готова была разъяриться или заплакать, а для меня и то и другое было невыносимо, так что я протянул ей письмо и ушел в спальню. Моя жизнь стала кошмаром именно тех женских упреков, которых я всеми силами старался избегать. Избегать их со стороны матери значило навлекать их на себя от Анабел, и наоборот: замкнутый круг. Я сидел на кровати и нервно выкручивал себе ладони; наконец в дверях появилась Анабел. Обиды в ее облике не чувствовалось, только холодная злость.

– Я сейчас первый и последний раз произнесу одно слово, – проговорила она. – Первый и последний.

– Какое слово?

– *П. да.* – Она прижала руки к губам. – Нет, это жуткое слово даже для нее. Зря я его сказала.

– Мне очень стыдно из-за этого письма, – сказал я. – Она всерьез больна.

– Надеюсь, ты понимаешь, что я не хочу ее больше видеть. Я не намерена покупать ей рождественские подарочки. Она не придет к нам на свадьбу. Если у нас будут дети, она их не увидит. Ты понимаешь это, надеюсь?

– Да, да, – ответил я с облегчением, что Анабел не обратила свой гнев на меня.

Она опустилась на колени и взяла меня за руки.

– Люди остро на меня реагируют, – сказала она, смягчившись. – Мне больно от этого, но я привыкла. Чего я не могу в ее письме вынести – это того, что она говорит о тебе. Она не уважает твой вкус, твои суждения, чувства. Ей кажется, она до сих пор тобой владеет и может тебе указывать. Вот это меня злит очень сильно. Она не желает понимать, кто ты есть.

– Я правда думаю, что она в мрачном настроении из-за болезни.

– Ее настроения – причина болезни. Ты сам это сказал.

– В Денвере она была с тобой вежлива. Я думаю, это стероиды...

– Я не говорю, что тебе нельзя с ней видаться. Ты любящий сын. Но я – больше не могу. Никогда вообще. Ты понимаешь это, надеюсь?

Я кивнул.

– Мы наполовину осиротели в один день, – сказала она. – А теперь вместе будем круглыми сиротами. Составишь мне компанию?

На следующий день я в официальных выражениях письменно уведомил мать, что приглашение на свадьбу, которое я ей послал, отменяется.

Мы поженились в День святого Валентина, взяв в свидетельницы двух сотрудниц мэрии. Поужинали дома: спагетти со шпинатом, чесноком и оливковым маслом, что символизировало скромность избранной нами жизни, но Анабел однажды заметила, что ей понравилось мамино шампанское, и я купил бутылку, чтобы чуточку пороскошествовать по особому случаю. После ужина она преподнесла мне подарок: новую портативную пишущую машинку “Оливетти”. Я мигом увидел символику более тревожного свойства: оба наших подарка связаны с моей работой, а не с ее. Впрочем, я сделал в повести неожиданный ход: девушка из Йены происходила из самой богатой семьи города, а ее отец был негодяй – и я верил, что Анабел сумеет увидеть здесь любовное приношение с моей стороны. Так что я отважно протянул ей пакет из плотной бумаги с приклеенным белым бантиком.

Озадаченно нахмутив лоб, она развернула его.

– Что это?

– Первая половина повести. Я хотел сделать тебе сюрприз.

Она вынула рукопись, прочла часть первой страницы, а потом просто смотрела на нее, не читая; и я понял, что совершил ужасную ошибку.

– Ты пишешь повесть, – сказала она глухим голосом.

– Я хочу быть с тобой во всем, – объяснил я. – Я раздумал быть журналистом. Я хочу быть с тобой. Партнерство...

Я потянулся к ее руке, но она отдернула руку.

– Мне надо сейчас побыть одной, – сказала она.

– Эта вещь будет моим даром тебе. Нам двоим.

Она встала и двинулась в спальню.

– Мне – надо – побыть одной. Ты понял меня?

Я услышал, как за ней закрылась дверь спальни. Наш брак, которому было четыре часа, не мог начаться хуже, и я чувствовал себя кругом виноватым. Я ненавидел злосчастную повесть за то, что она так на нее подействовала. Однако в те полтора месяца, что я над ней работал, отказавшись от ее плана для меня, от “Неупрощенца”, мне было хорошо, я уже не был так подавлен. Я час просидел за кухонным столом в холодном, сгущающемся тумане тоски, надеясь, что Анабел все-таки выйдет. Она не вышла. Вместо этого до меня стали доноситься резкие вздохи – звуки безуспешно подавляемого плача. Полный жалости к ней, я открыл дверь спальни и увидел, что там темно. Она лежала съежившись на голом полу у окна.

– Что я такого сделал?! – крикнул я.

Ответ приходил медленно, частями, которые перемежались с моими извинениями и ее слезами. Я ей лгал. Скрывал, чем занимаюсь. Оба наши свадебных подарка связаны со мной. Я нарушил свои обещания. Я обещал, что она будет художником, а я критиком. Я обещал не красть ее историю, но по одному абзацу она уже поняла, что я это сделал. Я обещал, что между нами не будет соперничества, и принялся соперничать. Я обманул ее и погубил день нашего бракосочетания...

Каждый упрек обжигал мне мозг точно кислотой. Мне приходилось слышать, что нет пытки хуже душевной, и теперь я в этом убедился. Худшие из наших добрых сцен не шли с этой ни в какое сравнение: они происходили между нормальным в основе мной и неуравновешенной Анабел. А сейчас я переживал ее внутреннюю боль как свою. Рай слияния двух душ оказался адом. Стиснув голову, я выбежал из спальни, бросился на кухонный пол и пролежал там под столом не один час, испытывая единую муку с Анабел, лежавшей в спальне. И стучала в голову мысль: это наша брачная ночь, это наша брачная ночь.

Было, должно быть, около двух ночи, когда я преисполнился такой ненависти к своей повести, что встал и начал жечь ее, страницу за страницей, на кухонной плите. В какой-то момент Анабел, почуяв дым, нетвердой походкой пришла и, очень бледная, молча смотрела на меня, пока не сгорела последняя страница и я не расплакался.

Мгновенно она обняла меня, окутала собой, полная отчаянной любви. Как я жаждал этой любви! Как мы оба ее жаждали! Она была лучше любого наркотика после мучительной ломки: запах мокрого от слез лица,

мягкая алчность губ, теплая плотность обнаженного тела. Можно подумать, мы нарочно подвергли себя невыносимой боли, чтобы достичь до этих высот супружеского блаженства.

Сам того не зная, однако, я допустил другую ужасную ошибку, которая проявилась через два дня на нашей вечеринке. С самого начала вечеринка дала нежелательный крен в мужскую сторону, потому что Нола не появилась (она переехала в Нью-Йорк – отчасти для того, чтобы преодолеть свое чувство к Анабел) и в последнюю минуту отказалась одна из подруг Анабел по Брауну, тогда как с моей стороны, кроме Синтии, из ближних и дальних краев прибыли три денверских друга и пять друзей по Пенсильванскому. Но Освальд принес хорошую музыку для танцев и, кажется, решил приударить за Синтией, как и положено лучшему другу брата; смотреть на это было весело, Анабел выпила достаточно, чтобы от баек других моих приятелей про меня получать удовольствие, а не испытывать ощущение угрозы, и я был горд тем, как она выглядит в вечернем платье без бретелек.

Я расчищал место для танцев, когда зазвучал сигнал домофона. Анабел, надеясь, что это Нола, бросилась на кухню взять трубку. Из-за шума вечеринки я не слышал, что она говорила, но вышла она из кухни бледная от ярости. Резким движением головы позвала меня в спальню; там закрыла за нами дверь.

– Как ты мог? – спросила она.

– Что?

– Это мой отец.

– О боже.

– Узнать он мог только от тебя. От тебя! – Ее лицо исказилось. – Просто не верится.

Она не ошиблась: во время недавнего телефонного разговора Дэвид выудил из меня дату вечеринки, чтобы, сказал он, прислать нам очень скромный свадебный подарок. Я подчеркнул, что вечеринка для друзей, но не для родственников.

– Я очень четко дал ему знать, что он не приглашен, – сказал я.

– О господи, Том, как можно быть таким идиотом? Ты что, *ничего* про него не понял?

– Прости меня. Прости. Давай подумаем, как выйти из положения.

– Никак! Вечеринка окончена. Я даю отбой. Это мой самый жуткий кошмар.

– Ты впустила его?

– Пришлось! Но я не выйду отсюда, пока он в квартире.

– Давай я с этим разберусь.

– Разбирайся. Удачи.

В гостиной Дэвид выгрузил небольшие подарки и огромную бутылку шампанского “Мумм” и теперь жизнерадостно представлялся нашим гостям. При виде меня он засиял еще ярче.

– Вот он! Молодожен! Мои поздравления! Классно выглядите, Том, как вам и положено. – Он атлетически стиснул мне руку. – Я думал быть здесь два часа назад, но проблема с самолетом. Ну, где моя девочка?

Я постарался ответить холодно, но тон получился чисто информативный.

– Она не хочет вас здесь видеть.

– Не хочет видеть единственного родителя на своей свадебной вечеринке? – Дэвид оглядел комнату, апеллируя к притихшим гостям. Стереомаягнитофон играл песню из альбома *Remote Control*. – Она для меня самое дорогое существо на свете. Разве я мог не явиться на ее свадьбу?

– Я думаю, вам лучше уйти.

Дэвид обошел меня и постучал в дверь спальни.

– Анабел, золотко! Выйди к нам, пока вино не согрелось.

К моему изумлению, дверь открылась мгновенно. Анабел отвела голову назад и с размаху плюнула Дэвиду в глаза. Дверь снова захлопнулась.

Это видели все, никто не произнес ни слова. Под песню из *Remote Control* Дэвид стер слюну с лица. Когда опустил руку, он выглядел на десять лет старше.

– Радуйтесь жизни, – сказал он мне со слабой улыбкой, – пока она не поступит с вами так же.

Долгие месяцы предварительного чтения прошли, и Анабел приступила к своему амбициозному проекту. Это был фильм о человеческом теле. Она считала странным и не могла смириться с тем, что человек живет пятьдесят, семьдесят, а то и девяносто лет и умирает, не сведя даже элементарного знакомства с телом, где сосредоточено его бытие; что на теле есть много мест – не только тех мест на голове, на спине, что ему самому не видны непосредственно, но даже и на руках, ногах и туловище, – на которые за все эти годы он обращает еще меньше внимания, чем мясник на куски говяжьей туши.

Площадь поверхности ее собственного тела равнялась примерно шестнадцати тысячам квадратных сантиметров, и ее план состоял в том, чтобы тонким черным маркером разделить эту поверхность, как тушу, на

части по тридцать два квадратных сантиметра каждая. За исключением ступней, лица и пальцев эти части будут простыми квадратами пятьдесят семь на пятьдесят семь миллиметров. Каждой из пятисот частей будет уделено внимание в фильме. На детальное знакомство с любой из них она отводила себе целую неделю – всем им надо было оказать равное уважение, чтобы перед смертью быть уверенной, что по-настоящему познала о них все, что может быть познано, – и она дала себе ошеломляющее задание: каждому куску посвятить нечто свежее и убедительное. Различия могут быть чисто кинематографическими, но в большинстве случаев в фильм предполагалось включить образы, связанные с мыслями и воспоминаниями, на которые наводит данный кусок. В этом смысле проект был ближе к перформансу, чем к кинематографу. Если она сможет придерживаться расписания, перформанс продлится десять лет, на протяжении которых творческие задачи будут неуклонно усложняться. Она не знала, сколько будет идти фильм в конечном виде, но нацеливалась на двадцать девять с половиной часов – по часу на каждый день лунного месяца. Ее сверхзадачей было вернуть себе собственное тело, кусок за куском, из мира мужчин и мяса. Через десять лет она будет полноправной хозяйкой самой себя.

Я полюбил идею Анабел, и она вознаградила меня любовью за эту любовь. Однажды жарким июльским днем она позволила мне, нанеся на кожу первые линии, выделить два пальца на ее левой ноге. Чтобы точно определить, где должны проходить эти линии, ей понадобилось полдня; чернилами она поставила точки, которые я затем соединил.

– Теперь оставь меня с этим наедине, – сказала она.

– Я тоже хочу тебя знать – всю, до последнего дюйма.

– Я в любом случае к тебе вернусь, – сказала она очень серьезно. – Через десять лет вся буду твоя.

Я поцеловал ее в пальцы ноги и оставил с ними наедине. Что такое десять лет?

Если бы она могла работать быстрее, если бы к тому времени не приобрели известность такие художницы, как Синди Шерман и Нэн Голдин [86], если бы видеоарт внезапно почти не отправил в небытие экспериментальное кино и если бы она не испытывала парализующую зависть к моим не столь масштабным, но зато осуществимым журналистским проектам, не исключено, что ее затея с фильмом во что-нибудь бы вылилась. Но прошел год, а она не продвинулась дальше левой щиколотки. Теперь я вижу, что, скорее всего, поверхность собственного тела ей довольно быстро наскучила – ведь мы не без причины проживаем

жизнь, не обращая на нее особенного внимания, – но Анабел восприняла это так, словно на нее ополчился весь мир.

Естественно, тяжесть ситуации во многом легла на меня. Неосторожное слово за завтраком, отвлекающий запах какой-нибудь моей стряпни (“Запах – ад”, – часто говорила она) – это могло погубить рабочий день. Даже коротенькая газетная рецензия на работу “конкурента” могла остановить Анабел на неделю. С ее молчаливого согласия я принялся просматривать “Нью-Йоркер” и раздел “Таймс”, посвященный искусству, и выдирать потенциально расстраивающие публикации до того, как она могла их прочесть. Я, кроме того, отвечал на телефонные звонки, платил по счетам, составлял наши налоговые декларации. Когда мы переехали в более просторную квартиру, я сделал окна ее рабочей комнаты звуконепроходимыми, а когда полгода спустя она решила, что Филадельфия ее угнетает и тормозит мою карьеру, я поехал в Нью-Йорк и нашел квартиру в Восточном Гарлеме. Там я тоже сделал ее комнату звуконепроходимой. И все это без досады, все от чистого сердца, потому что она была ежом, а я – лисой^[87]. И даже более того: как и с сиденьем в уборной, я возмещал структурную несправедливость. Ее *травмировало*, что у меня есть практические навыки, и поскольку это травмировало ее, это травмировало и меня.

Главная моя способность была к зарабатыванию денег. Мне так хотелось успеха, продвижения и у меня было так много времени (Анабел семь дней в неделю проводила, закрывшись со своей 16-миллиметровой камерой “Больё”), что я довольно легко освоился в журнале “Филадельфия”. Я мог стать редактором отдела новостей либо там, либо, позднее, в “Войс”, но я не хотел работы в редакции, потому что иногда по утрам, прежде чем закрыться у себя, Анабел нуждалась в двух-трех часах разговора о том, что я не так на нее посмотрел, или о неприятной новости в прессе, просочившейся сквозь мою цензуру, и мне надо было находиться под рукой. Поэтому я выбрал свободный режим и стал квалифицированным репортером-фрилансером. Поскольку я не занимался творчеством и в этом плане с Анабел не соперничал, она поощряла меня к амбициозности и хорошо отзывалась обо всем, что я писал. Взамен я из своих доходов оплачивал квартиру, коммунальные услуги, питание. На пленку и ее обработку она тратила остававшиеся у нее сбережения, а когда они кончились, начала продавать драгоценности, подаренные отцом и унаследованные от матери. Их цена меня шокировала, и я почувствовал легкий укол обиды, но ведь я, вступая в брак, никаких драгоценностей в общую копилку не положил.

Надо ли говорить, что наша половая жизнь неуклонно катилась под гору? Проблема заключалась не в обычной супружеской скуке. Отчасти дело было в том, что Анабел проводила весь день в пристальном созерцании собственного тела и в свободное время просто хотела почитать книгу или посмотреть телевизор; но главным образом – в том, что наши души слились. Трудно *хотеть* кого-то, если ты этим кем-то *являешься*. К середине восьмидесятых наш потускневший секс стал привязан к моим возвращениям домой: после очередной моей репортерской поездки или после моего ежегодного летнего визита в Денвер мы были достаточно отделены друг от друга, чтобы совокупиться. В дальнейшем, когда она принялась морить себя голодом и тратить три часа в день на физические упражнения, у нее попросту прекратились месячные. И тогда не осталось ни одного подходящего для нее дня лунного месяца, и тогда мы убрали Леонарда в обувную коробку и не вынимали, и тогда все, чем мы с ней занимались, были разговоры, разговоры... этаким супружеским бюрократизмом. Ничтожнейший из вопросов (“Почему ты ждал десять минут, чтобы сообщить мне хорошую новость, почему не сказал сразу?”) порождал полноценное расследование по всей форме; каждый ответ подшивался к делу в трех экземплярах, прошедший период, за который поднимались архивы, увеличивался и увеличивался.

Кроме того, мы были изолированы. Если бы она чаще надевала выходную одежду и общалась с другими носителями половых признаков, это, возможно, помогло бы нам, разделяя нас. Но Анабел делалась все более застенчивой, все менее уверенной в себе, все сильнее стыдилась говорить с людьми о проекте, который мы с ней считали гениальным, но которого никто, кроме нас, не видел; и неизбежно, поскольку все наши друзья были *моими* друзьями, она стала чувствовать себя униженной из-за их большего интереса ко мне. Я начал встречаться с ними один за ланчем или ранней выпивкой. О своей домашней жизни я не рассказывал ни единой душе. Это было бы предательством в отношении Анабел, и я стыдился странности своего супружества, но главное – того, как звучали мои ответы на доброжелательные дружеские вопросы о ней и ее работе. Они звучали как слова человека, подыскивающего ей оправдания, человека, не способного увидеть, что его жена на самом деле не так гениальна, как ему чудилось. Я по-прежнему был убежден в ее великом даре, но убедительно говорить о нем, как ни странно, не мог.

Даже Дэвид, не переставший мне звонить, казалось, потерял к Анабел интерес. Его три сына продолжали воплощать в себе все известные стереотипы дурного поведения золотой молодежи, его дочь плюнула ему в

лицо. Из всего, что у него осталось, я был самым подходящим объектом отцовской гордости. Он раз за разом предлагал мне деньги, протекцию, хорошее место в компании “Маккасвилл”, иногда сразу и одно, и другое, и третье. Под его руководством компания расширяла деятельность в Азии, поставляла на рынок перуанскую рыбную муку и немецкое льняное масло, диверсифицировалась в сферы финансовых услуг и удобрений, расширяла мясную реку, гнала поток говядины и яиц в жерло “Макдоналдса”, индюшатины – в утробу “Денниса”. По моим подсчетам, доля Дэвида в компании приближалась к трем миллиардам долларов.

А потом, внезапно, мне стало за тридцать. Приятелей, связанных со мной по работе, у меня были десятки, но об Анабел поговорить было не с кем, за исключением Рубена, управляющего нашим домом и по совместительству менеджера подпольной лотереи, которую проводил владелец дома и которая была связана с доминиканской *Lotería Nacional*. Помимо Рубена, своим присутствием мир и покой в здании обеспечивали его подручные: беззубый алкоголик по прозвищу Малыш, пара бывших проституток. Рубен был почтителен к Анабел и с уважением относился к тому, кого она выбрала в мужья; он называл меня Счастливым. Другой поклонницей Анабел стала Сюзан, ее новая подруга, с которой она познакомилась на курсах импровизации, куда я уговорил ее ходить после того, как ее работа над проектом застопорилась на целую осень. Она наконец прошла со своим фильмом левую ногу снизу доверху и теперь не могла заставить себя “вырезать кусок” около гениталий. Свое питание она свела к утреннему кофе с соевым молоком и небольшому ужину. Днем у нее часто сводило и пучило живот, из-за чего она не могла работать, но она приходила в бешенство, если что-то (например, бесконечные разговоры и словопрения со мной) мешало ей с пяти до восьми вечера упражняться физически, в том числе заниматься аэробикой по видеокассетам с Джейн Фондой, бегать в Центральном парке и грести на подержанном тренажере, занимавшем сейчас немалую часть ее рабочей комнаты.

Подкожного жира у нее было не больше, чем у шейкерского стула^[88], от менструаций осталось одно воспоминание, и проходил месяц за месяцем, в течение которых я был с ней телесно близок только в воображении Рубена, но это не мешало нам обсуждать возможность завести ребенка. Она хотела, чтобы у нас была полноценная семья, но вначале – довести до конца свой проект, стать хозяйкой собственного тела и добиться успеха, сравнимого с моим или большего; иначе получится, что я делаю блестящую мужскую карьеру, а она сидит дома с подгузниками. Я не понимал, как мы дождемся завершения ее работы, если она немалую часть

из сотен часов отснятого материала даже не посмотрела, не говоря уже об отборе и монтаже, и при той скорости, с которой она двигалась, она продолжала бы снимать и в семьдесят, – но сказать ей об этом значило бы дать новую пищу ее панике. Все, что я мог, – это стараться ее успокоить, чтобы она могла двигаться дальше, чтобы она могла созерцать и снимать свои гениталии.

Когда приближалась восьмая годовщина нашей свадьбы, я, у которого недавно была первая публикация в “Эсквайре”, уговорил Анабел поехать со мной в Италию. У нас ведь не было медового месяца, и я подумал, что Европа может нас оживить. В туристическом плане поездка была успешной: мы посмотрели готическую скульптуру Тосканы и древние руины Сицилии, – но у Анабел после полудня неизменно болела голова от голода, а вечером, когда у нас обоих сводило животы, меня ждали три часа быстрой ходьбы с ней в темноте в поисках ресторана, излюбленного местными, потому что у нас сейчас медовый месяц и единственная наша трапеза за день должна быть превосходной.

Мы вернулись в Нью-Йорк, полные решимости самостоятельно готовить спагетти по-сицилийски с жареными баклажанами и помидорами – блюдо до того вкусное, что мы хотели есть его два раза в неделю. Что и делали несколько месяцев. И вот ведь какая штука: отвращение не возникло у меня постепенно. Оно возникло внезапно, остро и очень надолго, возникло, когда передо мной стояла тарелка этой еды, причем приступил я к ней с таким же удовольствием, как всегда. Я положил вилку и сказал, что мне нужен отдых от жареных баклажанов с помидорами. Само по себе блюдо шикарное, его вины тут нет никакой, просто я его переел и превратил в яд для себя. Мы сделали перерыв, он длился месяц, но Анабел по-прежнему хотелось спагетти по-сицилийски, и однажды очень теплым июньским вечером я, вернувшись домой, почувствовал носом, что она опять их готовит.

Я ощутил рвотный позыв.

– Мы переусердствовали с этим, – сказал я из кухонной двери. – Не могу их больше терпеть.

Анабел всегда была готова истолковать мои слова символически.

– Я не спагетти с баклажанами, Том.

– Меня в буквальном смысле вырвет, если я тут останусь.

Ее лицо стало испуганным.

– Ладно, – сказала она. – Но ты вернешься позже?

– Вернусь, но что-то должно измениться.

– Согласна. Я и сама об этом думала.

– Хорошо, я вернусь позже.

Я сбежал по пяти лестничным маршам и ринулся к станции метро на Сто двадцать пятой без всякого плана в голове; у меня не было настолько близкого друга, чтобы я мог поехать к нему и поделиться, мне просто надо было куда-то уйти. В те годы на платформе в сторону центра время от времени стояла неряшливая группа чернокожих музыкантов, игравшая в стиле фанк. Неизменно басист и гитарист, часто ударник с установкой, найденной, казалось, на помойке, иногда певица с золотыми коронками и в грязном платье, расшитом блестками. Со слушателями общалась только она, остальные выглядели так, словно каждого обволакивала какая-то несчастливая личная история, от которой музыка давала краткое избавление. Гитарист умел придать песне движение, ритм, перекрывавший грохот поездов, и держал этот ритм, как бы обильно он ни потел.

В тот вечер их было трое. Долларовые бумажки им бросали в футляр для гитары, и я, бросив свою, почтительно, как положено белому в Гарлеме, встал на некотором расстоянии. Я потом искал песню, которую они исполняли, но не нашел. Может быть, это была их собственная песня, незаписанная. В ней использовался простой музыкальный ход с минорной септимой, говоривший о красоте и неизбывной печали, и, помнится, играли они эту песню минут двадцать, полчаса, поездов, местных и экспрессов, за это время проехало много. В конце концов из-за ветров, поднятых встречными поездами, началась настоящая буря, над платформой туда, потом обратно, потом опять туда мощно пронесся влажный воздух, пахнувший мочой, он выхватил долларовые бумажки из гитарного футляра, и они, поворачиваясь так и сяк, заскользили по платформе, точно осенние листья, – а группа играла дальше. Это было бесконечно красиво и бесконечно печально, и все на платформе это понимали, и никто не наклонился, не притронулся к деньгам.

Я подумал о своей страдающей Анабел, которую оставил одну в квартире. Увидел свою жизнь и поднялся из метро обратно.

Она стояла у самой входной двери, как будто ждала меня.

– Поможешь мне? – сразу спросила она. – Я знаю, что-то должно измениться, но я не могу справиться без тебя. Посмотри и скажи, что я делаю не так, чего не вижу.

– Просто не готовь мне больше жареных баклажанов, – сказал я.

– Я серьезно, Том. Мне нужна твоя помощь.

Я согласился. Мы пошли в ее рабочую комнату, куда мне давно не было доступа, и она, робея, показала мне несколько впечатляющих кинофрагментов. Недоэкспонированный черно-белый крупный план куска

ее левого бедра, вручную обработанный так, что создавалось впечатление темных океанских волн. Неидеально синхронизированный, но очень смешной монолог о коленных чашечках. Тревожащий душу монтаж: кадры, снятые на платформе метро, перемежаются с трупно-белым большим пальцем ноги, к которому прикреплена бирка с ее именем, – монтаж, наводящий на мысль, что она думала прыгнуть под поезд. Я с таким жаром все это похвалил, что она открыла передо мной свои записные книжки.

Раньше она строжайшим образом оберегала их от моих глаз, и то, что она теперь позволила мне их увидеть, говорило о ее отчаянии. Это не были страницы, которые я воображал, со сценариями, написанными элегантно почерком. Это были дневники мучений. Одна запись за другой начиналась с перечня дел на день и переходила в самодиагностику, к концу становившуюся почти нечитаемой. Далее – новая страница с аккуратной таблицей для последовательности кадров, но в ней что-то написано только в нескольких первых квадратах, затем в эти соображения внесены поправки, затем она вычеркивала эти поправки и писала на полях новые, соединяя линиями разные места и выделяя главное тройным подчеркиванием, а затем ставила на всем этом большой злобный крест.

– Выглядит, я знаю, довольно удручающе, – сказала она, – но поверь, тут есть хорошие идеи. Зачеркнуто, но на самом деле не зачеркнуто, я продолжаю об этом думать. Мне надо, чтобы оставалось зачеркнутым, иначе слишком сильно на меня давит. Что мне по-настоящему нужно – это пройтись по всем записным книжкам (их было у нее не меньше сорока), а потом постараться удержать все это в голове и составить четкий план. Проблема в том, что всего *так много*. Я не сошла с ума. Мне просто нужно как-то так упорядочить материал, чтобы не давил на меня слишком сильно.

Я верил ей. Верил в ее ум, и у нее действительно были хорошие идеи. Но, листая эти записные книжки, я видел, что у нее нет шансов довести свой проект до конца. Она, которая так долго казалась мне всемогущей, была для этого недостаточно сильна. Я ощутил груз ответственности, я должен был вмешаться раньше, и сейчас, хоть я и был сыт нашим браком по горло, сыт до тошноты, я не мог уйти, пока не помогу ей выбраться из трясины, в которой позволил увязнуть. Я надеялся, что брак избавит меня от чувства вины, однако он его только усилил.

Но чувство вины – пожалуй, самое коварное из того, что может испытывать человек: чтобы уменьшить свою вину, я остался тогда в браке, и именно это потом, после развода, сильнее всего заставляло меня чувствовать себя виноватым. После того вечера она, точно впервые увидев,

что я могу ее оставить, начала заводить разговоры о полутора годах, спустя которые мы с ней могли бы зачать ребенка – девочку (о мальчике она даже и не помышляла). Смысл был отчасти – поставить себе цель и определить крайний срок для того, чтобы довести свой проект до областей выше живота, но, кроме того, она ради меня старалась быть более реалистичной: беременность нельзя откладывать бесконечно. Я видел, что ребенок, возможно, то самое, в чем мы нуждаемся, что он может спасти нас, но я видел и то, что, пока она работает над своим проектом, главное бремя заботы о ребенке, скорее всего, придется нести мне. Так что я, когда она начинала такой разговор, всякий раз переводил его на ее проект. Хотел ли я, чтобы она поторопилась с ним и мы растили ребенка вместе, или я просто хотел, чтобы она более-менее пришла в норму и я имел моральное право с ней развестись, я – честно скажу – не могу вспомнить. Но я точно помню, что мне достаточно было подумать о тошнотворном запахе жареных баклажанов, чтобы этот запах ударил мне в нос. Если бы я послушался своего желудка и расстался с ней тогда, она, может быть, успела бы родить от кого-нибудь другого.

– Радикальное предложение, – сказал я ей в ее рабочей комнате наутро после того вечера со спагетти. – Увеличь свои куски в десять раз. Я могу помочь тебе разработать план, составить общий сценарий, чтобы ты не держала все в голове. А потом сделаешь фильм за два года.

Она отрицательно мотнула головой.

– Я не могу на полдороге менять размер кусков.

– Сделай их в десять раз больше и пересними всю ногу за два месяца. Ты можешь использовать лучшее из уже снятого, где нет твоего тела.

– Я что, должна выбросить на помойку восемь лет работы?

– Но это даже не оконченная работа. – Я показал на башни из неоткрывавшихся коробок с обработанной пленкой. – Ты должна взять себя в руки и довести дело до конца.

– Ты же знаешь, я никогда ничего не довожу до конца.

– Самое время начать доводить, тебе не кажется?

– *Я знаю, что делаю*, – сказала она. – Твоя помощь мне нужна не для того, чтобы выбросить восемь лет работы. Я просила помочь мне упорядочить массив идей, которые у меня *уже есть*. И теперь мне ясно, что напрасно просила. Ох, ну какая же я дура!

Она принялась бить кулаками свою дурную голову. Мне понадобилось два часа, чтобы ее утихомирить, и еще час, чтобы самому выйти из уныния, в которое она меня ввергла, заявив, что мои эстетические представления вульгарны. Потом я три часа помогал ей набрасывать примерный график

завершения проекта и еще час потратил на то, чтобы начать переносить важные соображения, содержащиеся в первой из ее сорока с чем-то записных книжек, в новую тетрадь, свою. Потом настало время для ее трехчасовых упражнений.

В следующем году у нас было много подобных дней. Десять часов я, бывало, трудился над последовательностями кадров для нее, которые казались мне вполне приемлемыми, чтобы услышать, когда приходила пора для ее упражнений, что у нас, по ее мнению, получается *мой* журналистски организованный фильм, а не *ее* фильм, и на завтра она весь день старалась мне втолковать, какие последовательности *ей* нужны, а я не мог схватить ее общую логику, и она принималась объяснять сначала, а я все не мог схватить эту логику, и наступало время для ее упражнений. Страдала моя собственная работа, я упустил возможность освещать избирательную кампанию Дукакиса для журнала “Роллинг стоун”, я терял друзей, как теряют их наркоманы, отменяя встречи в последнюю минуту. Наша наркомания вошла в гадкую “фазу поддержания”: ни грана радости утром, только тяжесть вчерашних неразрешенных проблем. Так у нас шло, и шло, и шло бы дальше, если бы моя мать не получила смертный приговор.

Она позвонила, вопреки обыкновению, в будний день.

– Ох уж это мое тело ужасное, – сказала она. – От него все время одни неприятности, а теперь оно решило меня убить. Том, мне очень жаль. Я тебя подвожу, я Синтию подвожу, я всех подвожу. Доктор ван Шиллингерхаут так терпелив со мной, он столько сил на меня потратил, он говорит, я одна из причин, почему он не уходит на пенсию. Ему уже под восемьдесят, Том, а он еще смотрит пациентов. Я такая для вас для всех головная боль... В общем, у твоей глупой старой матери *рак*.

Еще большую жалость, чем рак, вызывало ее побуждение извиняться за него. Я искал какой-нибудь лучик надежды, но напрасно. Ей просто-напросто не повезло. Поскольку стероиды увеличивали риск рака, доктор ван Шиллингерхаут раз в два года делал ей колоноскопию, но рак, судя по всему, возник сразу после предыдущего обследования. За два года опухоль вышла за пределы кишки и была, похоже, неоперабельна. Мою мать собирались положить на операционный стол, что-то сделать с кишкой, чтобы предотвратить непроходимость, потом лучевая терапия, потом новая операция, чтобы спасти то, что можно спасти, но прогноз был скверный.

– Я буду у тебя завтра, – сказал я.

– Том, мне так жаль. Так не хочется тебя этим обременять. Так бы хотелось жить, чтобы видеть твое счастье, твои успехи. Но это глупое старое тело, вечно с ним одна и та же глупая история...

Я вошел к Анабел в рабочую комнату, сел и заплакал. Она потом сказала мне, что мои слезы привели ее в ужас: она испугалась, что я пришел сообщить, что больше не могу с ней жить, – но когда я поделился с ней новостью, она обняла меня и заплакала вместе со мной. Она даже предложила поехать со мной в Денвер.

– Нет, – ответил я, вытирая лицо. – Оставайся здесь. Так для нас обоих будет лучше.

– Это-то меня и тревожит, – сказала она. – Что у меня без тебя работа пойдет быстрее. Что ты без меня будешь счастливее. И это будет концом нас. Ты подумаешь: что я делаю с этой сумасшедшей, которая не может справиться со своей работой? А я вспомню, насколько лучше мне работалось, когда я все время была одна. – Она опять заплакала. – Я не хочу тебя терять.

– Ты меня не потеряешь, – заверил я ее. – Мы расстанемся только на время.

Довод, который я привел и ей, и себе, состоял в том, что нам надо, чтобы по-прежнему быть вместе, восстановить наши индивидуальности. Я искренне этому верил, но подоплека моей веры была нехорошей. Я как мог откладывал момент, когда придется уйти от нее и испытать чувство вины. И я питал несбыточную надежду, что она избавит меня от вины тем, что уйдет сама.

В Денвере в больничном коридоре, пока моя мать была в послеоперационной, я поговорил с доктором ван Шиллингерхаутом – лысым человеком с сердобольными глазами и орлиным носом. При всей своей доброте к моей матери он был явно зол на ее рак.

– Хирург недоволен, – сказал он с акцентом, менее похожим на леонардовский, чем мне помнилось. – Он хотел убрать больше, но ваша мама категорически отвергла колостомию. Это решение, связанное с качеством жизни, мы обязаны с ним считаться. Она не хочет калоприемника. Но связывать хирургу руки – хорошего мало. Ее шансы хуже теперь.

– Насколько плохие?

Он зло, досадливо покачал головой.

– Плохие.

– Спасибо вам за то, что посчитались с ее желанием.

– Ваша мама – боец. У меня многие менее тяжелые пациенты сдавались и соглашались на колостомию. Но вы, конечно, знаете историю ее отъезда из Германии. Она была унижена и не захотела с этим мириться. С ее силой воли ей бы жить еще тридцать лет.

Тогда-то я и начал восхищаться своей матерью. Странно – ведь она была очень больна – в этом признаваться, но она подарила мне надежду, что я смогу поправить свою собственную жизнь. Кишечник, разумеется, мучил ее сильнее, чем меня мучили отношения с женой, и ей наверняка не легче было оставить мать, брата и сестру, чем мне – Анабел. Раз ей по силам было выиграть эту борьбу, то по силам и мне.

Нож хирурга, похоже, поработал и над ее лексиконом, удалив из него фразу “твоя глупая старая мать” и другие подобные. Из больницы она вернулась домой без былого самоуничижения. Под влиянием Синтии, которая была теперь одинокой матерью и перебралась с дочкой в Денвер, смягчились и ее политические взгляды.

– Я начинаю думать, что деньги действительно корень всякого зла, – сказала она мне однажды вечером. – Где деньги, там и зависть. В этом вся беда с коммунистами: они завидуют богатым, у них навязчивая идея – перераспределить доходы. И ты уж меня прости, но я смотрю на семью Анабел и вижу одно: вред, который принесли деньги.

– Потому-то она их и отвергла, – заметил я.

– Но отвергнуть деньги – просто другой вариант одержимости ими. Это как у коммунистов. Лентяи эксплуатируют хороших работников. Мне неприятно тебе это говорить, но плохо, что Анабел не зарабатывает – что тебе приходится компенсировать ее одержимость. Лучше бы у нее с самого начала ничего не было.

– Да, в семье у нее черт знает что, я не спорю. Но она не лентяйка.

– Когда меня не станет, этот дом тебе принесет кое-какие деньги. И я не хочу, чтобы эти деньги шли на Анабел. Они для тебя. Их будет не так уж много, но твой отец трудился на совесть, я трудилась на совесть. Пообещай мне, пожалуйста, что они не пойдут дочери миллиардера.

Я не мог не проявить уважения к труженикам родителям.

– Хорошо, – сказал я.

– Обещаешь?

Я дал обещание, но не был уверен, что сдержу его.

Тем летом я опять начал есть мясо. Я съездил в Неваду и написал статью для “Эсквайра” о проектируемом хранилище радиоактивных отходов в толще горы Юкка-Маунтин. Ухаживал за матерью, страдавшей от последствий лучевой терапии, много общался с Синтией и ее маленькой дочкой. Теперь я не матери, а Анабел звонил воскресными вечерами. Она говорила, что ей приходят в голову плодотворные идеи, и я был рад слышать ее голос – за исключением фраз типа “Не забывай меня, Том”. У нее не было повода заподозрить, что я начал есть мясо, и я ей об этом не

сообщал.

Мать продолжала меня удивлять. В октябре, оправившись после второй операции, которая поставила неутешительную точку, она попросила меня отвезти ее перед смертью в Германию. Она следила за тем, как там развиваются события, за все более массовым исходом восточных немцев на Запад через Чехословакию и впервые за много лет попробовала снова написать родным на старый адрес. Три недели спустя получила от брата длинное письмо. Их мать умерла в 1961 году, он с женой живет на старом месте, его младшая сестра дважды разведена, его старший сын поступил в университет. Мать перевела мне письмо, и, по крайней мере в ее передаче, оно было лишено обиды и неприязни, как будто ее исчезновение было всего-навсего одним из обстоятельств трудного детства, которое ее брат давно оставил позади. Он не упомянул о многих ее прежних безответных письмах. Я предположил, что он никогда не испытывал неприязни, просто боялся, что из-за переписки с беглянкой его возьмет на заметку Штази. А теперь люди перестали бояться Штази.

Козырнув своими тремя семестрами немецкого в колледже и материнской историей, я заключил договор с журналом “Харперс” на публикацию о крахе коммунистического режима, основанную на впечатлениях, которые получу на месте. Моя мать страшно исхудала и поистине выглядела как воронье пугало, но кишечник еще кое-как работал, и она обходилась без калоприемника. Однажды вечером, когда я помогал ей привести в порядок свои незамысловатые дела, она положила ручку и сказала:

– Я думаю, я умру в Германии.

– Ты не можешь этого знать, – возразил я.

– Тут мне уже делать нечего, – сказала она. – Синтия – хорошая мать, замечательный человек, у тебя впереди прекрасная карьера. Мы с Денвером друг другу, пожалуй, уже надоели. Жизнь – забавная штука, Том. Вот говорят: пустить корни. Но люди не деревья. Если у меня есть какие-нибудь корни, то они не здесь.

Она беспокоилась, не забыла ли немецкий, но у нее были отличные способности к языкам, английский она освоила превосходно, поэтому я считал, что она зря переживает. В наш последний вечер в Денвере Синтия пришла к нам без дочки. Когда мачехе и падчерице пришло время прощаться навсегда, я попытался оставить их наедине.

– Нет, побудь с нами, – сказала моя мать. – Я хочу, чтобы ты услышал. – Она повернулась к Синтии. – Прости меня за то, что я была для тебя неважной матерью. Я находила этому оправдания, но они и есть

оправдания, больше ничего, и я не заслужила того, что ты для меня делала, когда выросла. Ты была мне самой лучшей дочерью, какой только можно пожелать. Ты была огромным подарком мне от твоего отца. Если мне ни с чем другим не повезло, то с тобой и Томом повезло очень сильно. Я хочу, чтобы ты знала, как я ценю все, что ты делала, и как мне жаль, что я бывала к тебе холодна. Ты чудесный человек, ты лучше, чем я заслужила.

Лицо Синтии исказилось, но моя мать сохраняла достоинство, глаза сухие. Немка. Под сенью смерти она уже не была той, кого я знал. Она стала той, кого я не знал, немецкой женщиной. Десятилетия ее несчастливой жизни, годы многословного занудства – все это казалось теперь протяженной неудачей иммигрантки, пытающейся стать американкой.

К тому времени, как мы отправились в Берлин, в Стене уже пробили бреши. (Я мысленно перестроил, как делают журналисты, свою еще не написанную статью, чтобы уделить в ней больше внимания молодой Клелии.) Дав себе день отдыха в Берлине, мы поехали в Йену на поезде. Глядя в окно на город, окутанный угольным дымом, моя мать заметила:

– Тридцать пять лет трудились над тем, чтобы сделать его еще уродливей. Тридцать пять лет, боже мой, вырабатывают уродство. Люди забудут, но я не хочу, чтобы ты забывал: эта часть Германии заплатила за ее преступления.

Я записал это в блокнот. Восточная Германия была огромным местом лишения свободы, управляемым русскими, Штази воплощала в себе наихудшие крайности немецкой авторитарности и бюрократического педантизма, все, у кого есть мозги, и все, у кого есть характер, бежали на Запад до возведения Стены, но узники, оставшиеся искупать коллективную вину страны, были парадоксальным образом освобождены от немецкого начала в себе. Те, с кем я познакомился в Йене, были скромны, непунктуальны, импульсивны и щедро делились тем немногим, чем обладали. Экономика страны с самого начала была профанацией, и хотя узники подчинялись правилам, посещали мероприятия по политическому просвещению, лизали марки, подтверждавшие присутствие, и клеивали в книжечки, как мы в годы моей юности поступали с зелеными магазинными наклейками, – подлинные узы верности связывали их друг с другом, а не с государством. Мой дядя Клаус и его жена освободили спальню, которая раньше принадлежала Аннели, и предоставили ее моей матери. У них был телефон, но они редко им пользовались. На праздник по случаю приезда моей матери, длившийся неделю, друзья приходили без звонка. Гостей обильно поили пивом и плохим белым вином, угощали тортами с кремом.

Я чувствовал себя не слишком ловко, потому что из разговоров мало что улавливал, и испытал облегчение, когда под конец недели мать предложила, чтобы я оставил ее у брата одну, а сам приезжал только на субботние вечера и на воскресенья.

– Тебе надо писать твою статью, – сказала она. – Они говорят, что готовы обо мне заботиться, но раз в неделю ты будешь давать им отдых.

– Ты уверена, что так будет лучше?

– Да, здесь так принято, – ответила она. – Люди заботятся друг о друге.

– Ты говоришь, как старая коммунистка.

– Это были сорок лет псу под хвост, – сказала она, – целая страна жизней, потраченных зря. Это страна взрослых детей, они балуются за учительской спиной, ябедничают друг на друга, получают свои дурацкие удостоверения благонадежных маленьких коммунистиков. Все это сплошная глупость и ложь. Но они не превозносятся и не всезнайки. Делятся тем, что имеют, и принимают меня такой, какая я есть.

Чем ближе подступала смерть, тем уверенней в себе становилась моя мать. Она пришла к убеждению, что смысл жизни в ее форме. На вопрос, зачем она родилась, ответа не было, поэтому она могла только принять то, что ей было дано, и постараться завершить все пристойно. Она намеревалась умереть в спальне своей матери, в обществе брата и единственного сына, не унижая себя калоприемником.

Я вернулся в Берлин, сколотил команду с двумя молодыми французскими журналистами, с которыми познакомился раньше, и в конце концов заселился с ними в квартиру во Фридрихсхайне, откуда жильцы просто-напросто съехали, судя по всему без намерения возвращаться. Так я прожил месяц, раз в неделю наезжая в Йену, а на Рождество съездил особо; мать между тем все худела, все серела лицом. К счастью, боли чаще всего были терпимыми. Когда они донимали сильно, она натирала десны морфином, который был получен от доктора ван Шиллингерхаута и тайно провезен через границу.

Моей последней трапезой с ней был завтрак во второе воскресенье января. Она несколько раз вставала ночью, делая то, что чувство собственного достоинства требовало мне не показывать, глаза ее были впалые, контуры черепа резко выступали под тонкой кожей, но она все еще была ясно мыслящей Клелией, ее сердце еще билось, мозг снабжался кислородом и был наполнен ее жизнью. Я с удовольствием увидел, что она съела целую большую булочку с маслом.

– Я хочу знать, как вы с Анабел намерены быть, – сказала она.

– Я не думаю об этом сейчас.

– Да, но скоро придется подумать.

– Ей надо довести до конца свой проект, а потом у нас, может быть, будет нормальная семья – мы все еще надеемся.

– Ты действительно этого хочешь?

Я поразмыслил и ответил:

– Я хочу видеть ее опять счастливой. Она была потрясающая, а теперь подавлена. Если бы она добилась успеха и была довольна, я думаю, мне было бы с ней хорошо.

– Твое счастье не должно зависеть от ее счастья, – сказала моя мать. – Ты был солнечный малыш – да, тебе, я понимаю, достались не самые легкие родители, но мне не кажется, что мы с твоим отцом тебя травмировали. Ты имеешь право на собственное счастье. Если ты с кем-то, кто не может быть счастлив, тебе надо подумать, как быть.

Я пообещал подумать, и моя мать пошла полежать в комнату своей матери, а я начал сражаться с немецкой газетой. Через полчаса я услышал, как она прошла в уборную. Еще через некоторое время раздался ее крик. Этот крик остался со мной, я до сих пор могу повторить его у себя в голове один к одному.

Она сидела на унитазе, сильно согнувшись и раскачиваясь от боли. В своей жизни она бесчисленное число раз мучилась, сидя на унитазе, но сейчас я впервые воочию увидел ее в таком положении. Она бы предпочла, чтобы я этого не видел, и мне было и остается жаль, что так получилось. Она посмотрела на меня дикими глазами и выдохнула:

– Том, боже мой, я умираю.

Подхватив под мышки, я помог ей встать и полупривел, полупринес ее в спальню, оставив за спиной унитаз с кровавым, скверным содержимым. Она дышала часто, мелко. Ее кое-как подштопанная кишка в каком-то месте порвалась, и она умирала от сепсиса. Я втер ей в десны морфин и стал гладить ее хрупкую голову. Голова была все такая же теплая, я задавался вопросом, что в ней сейчас происходит, но мама больше ничего мне не говорила. Я сказал ей, что все хорошо, сказал, что люблю ее, сказал, что ей нет нужды обо мне беспокоиться. Ее дыхание замедлялось, делалось более трудным и вскоре после полудня прекратилось совсем. Я лег щекой ей на грудь, обнял ее и долго так пролежал, ни о чем не думая, я был просто-напросто животным, потерявшим мать. Потом наконец встал и набрал номер, который дал мне дядя на случай, если понадобится вызвать его из дачного домика, где он проводил выходной.

Мы с Клаусом решили, что лучше никакого погребения, чем крохотное. После кремации мы с ним прошли вдоль реки, по лужайкам,

где моя мать, бывало, загорала в детстве, и рассыпали половину праха по берегу. Другую половину я сохранил, чтобы развеять в Денвере с Синтией. Утром, уезжая из Йены, я поблагодарил Клауса на ломаном немецком за все, что он сделал. Он пожал плечами и сказал, что моя мать сделала бы для него то же самое. Мне пришло в голову спросить, какая она была в детские годы.

– *Herrisch!* – Он засмеялся. – Теперь ты понимаешь, почему я не мог ей не помочь.

Я не знал этого слова и посмотрел его в словаре потом. Властная.

В поезде я всю дорогу до Берлина простоял в конце хвостового вагона, глядя, как огни светофоров, удаляясь, переключаются с красного на зеленый. В сиротстве было что-то по-своему даже и приятное. Оно ощущалось как первый день долгих каникул; день такой же пустой, как ясное и солнечное январское небо. Единственное облако, которое звали Анабел, осталось в другом полушарии. Мое чувство освобождения отчасти носило денежный характер: Синтии, Эллен и мне предстояло разделить между собой четыреста с лишним тысяч долларов, которые будут выручены за дом, – но дело было не только в этом. Мои родители теперь оба, как говорится, откланялись, оставив мне всю площадку, и я видел, что стреноживал себя ради Анабел, боясь уйти от нее слишком далеко вперед.

Я обещал позвонить ей в тот день, но после того, как я развеял материнский пепел, в ее кинопроекте, посвященном телу, мне виделось что-то детское и фундаментально несообразное, и я боялся проявить это в разговоре. Свое собственное тело я ощущал таким живым, свою собственную смерть такой далекой, что вместо звонка отправился на прогулку, идя по стопам матери, которая гуляла здесь давным-давно; в Моабите я присоединился к зевакам-иностранцам, бродившим вдоль Стены, а затем я вышел на Курфюрстендамм.

У западного конца бульвара зашел в бар съесть сосиску и записать в блокнот свои журналистские впечатления. В какой-то момент я обратил внимание на одинокого мужчину за соседним столиком – на молодого курчавого немца с высоким лбом. Положив раскинутые руки на спинки стульев по обе стороны, он смотрел телевизор. Открытость и широта его позы, в которой чувствовалось что-то хозяйское, раз за разом привлекала к нему мой взгляд. Наконец он обратил на это внимание и улыбнулся мне. Словно посвящая меня в тайную шутку, показал на телеэкран.

На экране тоже был он. У него брали интервью на городской улице, в нижней части экрана значилось: *ANDREAS WOLF, DDR SYSTEMKRITIKER*^[89]. Из того, что он говорил, я мало что мог разобрать, но

уловил слова “солнечный свет”. Когда картинка в теленовостях переключилась на широкий план здания, в котором я узнал главное здание Штази, я взглянул на него и увидел, что он раскинул руки еще шире. Я встал со своим блокнотом и подошел к его столу.

– Darf ich?^[90]

– Конечно, – ответил он по-английски. – Вы же американец.

– Да.

– Американцы имеют право сидеть всюду, где им вздумается.

– Насчет этого не знаю. Но мне любопытно, что вы там говорите. В немецком я слабоват.

– Вы с блокнотом, – сказал он. – Журналист?

– Угадали.

– Замечательно. – Он протянул мне руку. – Андреас Вольф.

Я пожал ему руку и сел напротив.

– Том Аберант.

– Позвольте угостить вас пивом.

– Давайте лучше я вас угощу.

– У меня сегодня праздник. Первый раз на экране, первый раз на Западе, первый раз говорю с американцем. У меня счастливый вечер.

Я взял нам пива и разговорил его. Он рассказал мне, как участвовал в штурме Штази, как стал фактическим пресс-секретарем Гражданского комитета, как потребовал общественного контроля над архивами Штази и как вознаградил себя первым выходом за пределы Восточной Германии. Последние шестьдесят часов он почти не спал, но уставшим не выглядел. Я испытывал сходный подъем. Встретить восточногерманского диссидента в его первые часы на Западе, причем встретить до всех остальных западных журналистов, – эта удача наделяла мое настроение в поезде из Йены неким пророческим качеством.

Мы допили пиво и вышли на улицу. Андреас в джинсах в обтяжку и армейской куртке не столько шел, сколько *выступал*, откинув плечи назад. В городской атмосфере по-прежнему чувствовалось что-то праздничное, и на Кудамм он раз за разом гордо вскидывал голову перед иностранцами и восточноберлинцами, точно бросая им вызов: да, я тот, кого вы видели на экране! Когда встречалась симпатичная женщина, он, пройдя мимо, резко оборачивался и смотрел ей вслед. Я чувствовал, что Анабел он бы не понравился категорически и что сама эта прогулка с ним дает толчок моему освобождению.

В более тихом квартале он остановился перед автосалоном БМВ.

– Как по-вашему, Том, стоит мне научиться хотеть такую машину?

Теперь, когда Востока нет, один Запад?

– А как же. Это ваш потребительский долг.

Он стоял и смотрел на суперавтомобили.

– В жизни не видел ничего более ужасающего, – сказал он. – Все сюда валом повалили, когда стало можно. У всех слишком мало ума, чтобы ужаснуться.

– Как вы посмотрите, если я буду за вами кое-что записывать?

– Вам хочется?

– Вы производите впечатление человека, которому есть что рассказать.

Он засмеялся.

– “И я скажу незнающему свету, как все произошло; то будет повесть бесчеловечных и кровавых дел...”^[91] Кого я цитирую?

– По-моему, это Горацио в финале “Гамлета”.

– Молодец! – Он хлопнул меня по плечу. – Вы один такой или мне будут нравиться все американцы?

– Думаю, истина где-то посередине.

– Вот бы вы посмеялись, если б знали, как я представлял себе Америку. Небоскребы и бесправные низы. Эксплуатация – как у Брехта. Дно общества – как у Горького. Мик Джаггер – дьявол^[92]. *Puerto Rican girls just dyin' to meetchoo*^[93].

– Советовал бы уменьшить масштаб ожиданий.

– Стоит мне туда съездить?

– В Нью-Йорк? Конечно. Я вам все покажу.

Сам факт, что я американец, я знал, работал на меня в его сознании; и я знал также, что мне было бы стыдно, если бы он приехал в Нью-Йорк и увидел, как мы живем с Анабел. Он выставил в сторону сверкающих БМВ средний палец и держал некоторое время этот палец над плечом, когда мы двинулись дальше.

То, что он уже мне рассказал о том, как провел первую молодость с клеймом асоциального гражданина, живя вне социалистической матрицы, в подвале церкви, напрямую должно было войти в мою статью для “Харперса”. И все-таки журналистика была наименее значимой из причин, по которым я, расставаясь с ним на Фридрихштрассе, предложил ему встретиться завтра на этом же месте. Внешне Андреас ничем, кроме худобы, не походил на Анабел, но его манера с вызовом вскидывать подбородок и общее впечатление, что под слоем самоуверенности в нем таится какая-то травма, чем-то напоминали мне о магнетизме травмированной девушки, в которую я влюбился.

Хотел я этого или нет, мне на следующий день, кровь из носу, надо было позвонить Анабел. Это можно было сделать только из будки на почте, и пока Андреас водил меня по центру Восточного Берлина, показывал мне церковь, где он вел работу с трудными подростками, привилегированную школу, куда он ходил, молодежный клуб, где выступали полузапрещенные группы, бары, где собирались *Asoziale*^[94], я все сильнее нервничал, что не найду подходящее почтовое отделение до закрытия. Наконец я поделился с ним своей заботой.

– А что будет, если вы ей не позвоните?

– Будут неприятности, которые не окупятся тем, что я приобрету, не позвонив.

– Понятно. Серьезный вопрос: супружеская жизнь – это вот она такая и есть?

– А что? Вы сами думаете жениться?

Его лицо стало серьезным. Мы шли по улице в Пренцлауэр-Берге, на которой валялась паршивая мебель, выброшенная жителями из окон после падения Стены.

– Не жениться, – сказал он. – Но есть девушка. Она очень юная, надеюсь, я смогу вас с ней познакомить. Если увидите ее, поймете, почему я спрашиваю.

Как сильно он мне понравился, показывают мои чувства при упоминании о девушке. Я не сомневался, что она невероятно красива и, в отличие от Анабел, страстно желает секса. Я завидовал ему. Но более странно было и говорило о том, насколько меня выбила из привычной колеи смерть матери, что я завидовал и девушке из-за доступа в его личную жизнь, который ей давала принадлежность к женскому полу.

– Позвоните жене, – сказал он. – Я вас подожду.

– Да ну, хер с ним. Позвоню завтра.

– У вас есть ее фото?

В бумажнике у меня лежала фотография, сделанная в Италии, – выигрышный снимок. Андреас изучил его и одобрительно кивнул, но я увидел или вообразил себе некое облегчение, которое он испытал; казалось, он убедился, что его девушка лучше, что это соревнование он выиграл. Я почувствовал жалость к Анабел, но и к себе тоже из-за необходимости быть ее защитником.

Он отдал мне снимок.

– Вы ей верны.

– Пока да.

– Одиннадцать лет – фантастика.

- Брак есть брак.
- Мне нелегко будет соответствовать вашим стандартам.

Похоже, и он уже думал о том, что наша дружба может иметь будущее. Мы шли дальше по плохо освещенным улицам, и он, сказав мне, что его страна сильно загрязнена как физически, так и духовно, признался, что и сам чувствует себя загрязненным.

- Вы даже не подозреваете, до чего вы чистый.
- Вы что, я три дня не мылся.

– Вы беспокоитесь из-за звонка жене. Вы ухаживаете за умирающей матерью. Вам кажется, что это само собой разумеется, но не всем так кажется.

- Скорее, это гипертрофированное чувство долга.
- Ваша мать – сколько ей было лет?

– Пятьдесят пять.

– Невезуха. Хорошая мать?

– Не знаю. Я всегда считал ее трудным человеком, но сейчас не могу вспомнить ничего плохого, что она бы мне сделала.

– В каком смысле она была трудная?

– Она не любила мою жену.

– А вы хранили жене верность.

– Вы меня не так поняли, – сказал я. – Меня тошнит от этой чистоты.

Меня тошнит от моего брака. Я тратил жизнь впустую.

– Мне знакомо это чувство.

– Меня блядски тошнит от того, какой я есть.

– И это мне знакомо.

– Хотите, зайдём куда-нибудь, выпьем пива?

Он остановился и посмотрел на часы. У меня было ощущение, что я перед ним заискиваю, моя гордость от этого страдала, но я упорно хотел с ним подружиться. Он излучал неотразимый магнетизм, и в нем угадывалась какая-то тайная тоска, тайное знание. Годы спустя, когда он прославился на весь мир, это меня не удивило. То, что чувствовал к нему я, похоже, чувствовали все, и его успеху я никогда не завидовал, потому что знал: внутри него, в глубине, нечто сломано.

– Да, хорошо, давайте пива, – сказал он.

Мы зашли в бар, метко названный “Норбй”, и там я продолжил сеанс самораздиранья. Я рассказал Андреасу, как проигнорировал предостережения матери насчет Анабел и затем фактически бросил мать на одиннадцать лет. Как проигнорировал предостережения отца Анабел, как проигнорировал свою инстинктивную симпатию к нему и присягнул на

верность чокнутой женщине. Я предавал Анабел каждым произносимым словом, и ужасно было то, какое удовольствие доставляло мне предательство. Видимо, все, что мне было нужно, это некая приемлемая альтернатива ей, потенциальный друг мужского пола, возбуждавший во мне чувство, похожее на влюбленность; этого мне было довольно, чтобы признаться себе, до чего я зол на нее. До чего я, может быть, всегда был на нее зол.

Моя исповедь, при всей ее искренности, имела и прагматическую сторону. В своей журналистской практике я никогда раньше не откровенничал с источником насчет своего брака, но открытость была моим профессиональным качеством, моим способом побудить источник открыться мне в ответ. Это не характеризует меня как манипулятора; это говорит о том, что я по типу личности подхожу для журналистской работы. И по тому, с каким вниманием слушал меня Андреас, я видел, что мой американский стиль эффективен при общении с немцем. Это был, помимо прочего, стиль моего отца, против которого моя двадцатилетняя будущая мать оказалась беззащитна.

– И что же вы собираетесь делать? – спросил Андреас, когда я кончил.

– Кажется, мне любой вариант подходит, кроме возвращения в Гарлем.

– Вам стоило бы позвонить ей завтра. Если вы и правда не собираетесь возвращаться.

– Да, верно. Пожалуй.

Он смотрел на меня пристально, как будто испытывал побуждение довериться мне, но боялся этого побуждения.

– Вы мне нравитесь, – сказал он. – Мне хочется помочь вам написать правду про мою страну. Но если бы вы знали мою собственную историю, боюсь, я бы вам не понравился.

– Расскажите, а уж судить я буду сам.

– Если бы вы могли познакомиться с Аннагрет, вы, может быть, поняли бы. Но мне пока нельзя с ней видеться.

– Вот как.

– Да, вот так.

Бар был полон сигаретного дыма, мужчин, похожих на раковых больных, и девиц с прическами, которые еще вчера я счел бы жуткими. Но сейчас, когда я позволил себе вообразить, что сплю с какой-нибудь из этих причесок, мне представлялось, что так оно вскоре и будет, если я не уеду из Берлина.

– Выговориться – дело хорошее. Помогает, – сказал я.

Он покачал головой.

– Нет, не могу вам рассказать.

Мы были на территории, знакомой мне как журналисту. Если источник намекал на историю, которую не может рассказать, кончалось почти всегда тем, что он ее рассказывал. Тактика журналиста – вести разговор о другом, о чем угодно, отличном от нерассказанной истории. Я взял нам еще по пиву и рассмешил его и шокировал атакой на британскую литературу двадцатого века, которую он, судя по всему, знал вдоль и поперек. Потом я взял под защиту “Битлз”, а он превознес “Стоунз”, и мы согласились, что поклонники Дилана, как американские, так и немецкие, нелепы. Мы проговорили три часа, а “Нора” тем временем пустела, и нерассказанная история маячила где-то поблизости. В какой-то момент Андреас поднес к лицу ладони и сильно надавил кончиками пальцев на закрытые глаза.

– Ладно, – сказал он. – Пойдемте-ка отсюда.

Мне странно теперь, как мало я идентифицировал себя со своим отцом, как решительно держал сторону матери. Но в тот вечер, когда мы шли с Андреасом через темный Тиргартен, она была мертва, и я вдруг сделался собственным отцом, каким он был, знакомясь с ней в Берлине. Случайная встреча, высокая девушка из Восточной Германии, город, переполненный возможностями. Можно представить себе, как он был поражен, что она идет с ним рядом.

Мы сели на скамейку.

– Это не для публикации, – сказал Андреас. – Просто чтобы помочь вам понять.

– Я ваш друг.

– Друг. Интересно. У меня никогда не было друга.

– Никогда?

– В школе меня любили. Но я их всех презирал. За трусость, за скуку. А потом я стал отщепенцем, *диссидентом*. Никто мне не доверял, а я им доверял еще меньше. Они тоже были трусы и скучные люди. Человек вроде вас не мог бы существовать в такой стране.

– Но теперь диссиденты победили.

– Могу я вам доверять?

– Убедиться в этом у вас способа нет, но отвечаю: да, безусловно.

– Посмотрим, захотите ли вы оставаться моим другом, когда услышите.

В темноте, в центре города, слишком разбросанного и редконаселенного, чтобы своим шумом наполнить небо, он рассказал мне, какими влиятельными были его родители. Каким привилегированным был он сам, пока актом политического вызова не выбросил свою прежнюю

жизнь на помойку. Как после исключения из университета он переселился в мир Милана Кундеры, преисполненный девичьих гениталий; как затем встретил девушку, изменившую его жизнь, девушку, в которой полюбил душу, и как пытался оградить ее от домогательств отчима. Как отчим преследовал их до дачи его родителей. Как он убил отчима в порядке самозащиты, убил лопатой, подвернувшейся под руку, и закопал позади дачи. Он рассказал мне про манию преследования, мучившую его потом, и как ему повезло, когда он сумел забрать оба дела – об исчезновении человека и свое личное – из архива Штази.

– Я ради нее это сделал, чтобы ее защитить, – сказал он. – Моя жизнь – чего она стоит, но ее – надо было.

– Но ведь это же была самозащита. Почему вы не пошли и не сообщили куда надо?

– Потому же, почему она не пошла сообщить о домогательствах. Штази покрывает своих. Правдой будет то, что им выгодно. Мы оба оказались бы за решеткой.

Мне доводилось интервьюировать убийц, получивших приговор. И я всегда был рад, что нахожусь по невинную сторону черты, которая делит человечество на тех, кто убивал, и тех, кто нет. Но в своем нынешнем нетрезвом состоянии, испытывая тягу к Андреасу, я вдруг обнаружил, что завидую ему. Я пожалел, что моя жизнь лишена таких масштабов, таких крайностей.

Он беззвучно заплакал.

– Плохо мне, Том, – признался он. – Это не уходит. Я не хотел его убивать. Но так вышло. Так вышло...

Я обнял его одной рукой за плечи, он повернулся ко мне лицом и припал ко мне.

– Все нормально, – сказал я.

– Ненормально. Ненормально.

– Нет, нет. Все нормально.

Он долго еще плакал. Я гладил его по макушке и прижимал к себе. Будь он женщиной, я поцеловал бы его в голову. Но строгие пределы мужской близости – бремя гетеросексуала. Он немного успокоился и отстранился от меня.

– Вот тебе моя история, – сказал он.

– Тебе все сошло с рук.

– Не факт. Она не хочет со мной встречаться, пока я не буду знать, что мы в безопасности. Мы почти в безопасности, но труп по-прежнему зарыт у дачи моих родителей.

– Черт.

– Хуже того. Они, может быть, продадут дом перекупщикам. Был разговор, что там начнутся земляные работы. Мне надо перезахоронить тело, тогда я смогу с ней видаться.

– Жаль, что я не в состоянии помочь тебе с этим.

– Нет-нет, ты чистый. Впутывать тебя – последнее дело.

В его голосе была нотка нежности. Я спросил, что он собирается делать с трупом.

– Не знаю, – ответил он. – Можно научиться водить машину, но на это нужно время. Я боюсь потерять Аннагрет. Не исключаю, что обойдусь двумя чемоданами. Поездка на поезде.

– Нервная будет поездочка.

– Мне необходимо ее видеть. Чего бы это ни стоило. Вот и весь мой план. Видеть ее.

Я опять почувствовал укол ревности. Почувствовал себя третьим лишним, неудачливым соперником девушки. Как иначе объяснить то, что я предложил?

– Давай я тебе помогу.

– Нет.

– Я только что кремировал свою мать. Я морально готов.

– Нет.

– Я американец. У меня есть водительские права.

– Нет. Это грязное дело.

– Если ты мне правду рассказал, это стоит сделать.

– Я должен это сделать один. Мне нечем тебе отплатить.

– Не надо отплачивать. Я по дружбе предлагаю.

Где-то позади нас, среди темных кустов и деревьев парка, негромко мяукнула кошка. Затем – другой звук, погромче, уже не кошачий. Стон женщины, получающей удовольствие.

– А как насчет архива? – спросил Андреас.

– Ты о чем?

– В пятницу комитет опять идет на Норманненштрассе. Я могу тебя провести.

– Не думаю, что американца впустят.

– Твоя мать была немка. Ты представляешь тех, кто покинул страну. На них тоже заводились дела.

– Это не должно быть услугой за услугу.

– Не услуга за услугу. Дружба.

– Это, конечно, будет колоссальная журналистская удача.

Андреас вскочил со скамейки.

– Давай сделаем! И то и другое. – Он наклонился ко мне и хлопнул меня по плечам. – Сделаем?

В отдалении раздался еще один женский стон. Мне подумалось, что если я останусь с Андреасом, если задержусь в Берлине, то мне запросто может достаться если не эта самая женщина, то другая подобная ей.

– Да, – сказал я.

У себя во Фридрихсхайне я проснулся на следующее утро очень рано, проснулся в покаянном настроении. Постельное белье здесь было не очень чистое с самого начала, и я ни разу не озаботился стиркой – просто приноровился к нечистоте. Если бы предметом моего увлечения была женщина и она лежала голая рядом со мной, я, возможно, сумел бы отогнать мысли об Анабел. Но в сложившейся ситуации единственным, чем я мог снова себя усыпить, было решение позвонить Анабел днем и постараться возместить то, что я наговорил про нее Андреасу.

Однако, встав около полудня, я почувствовал, что мне категорически не хочется слышать ее голос, дрожащий от обиды. Человеком, чей голос я хотел слышать, чье лицо я хотел видеть, был Андреас. Я отправился в Западный Берлин и взял напрокат машину, удостоверившись, что мне можно выезжать на ней за городскую черту. Вернувшись домой, увидел на полу прихожей адресованную мне телеграмму:

ПОЗВОНИ МНЕ.

Я лег на свою нечистую кровать, положив рядом телеграмму, и стал ждать, пока берлинская угольная дымка не перейдет в вечернюю мглу и почтовые отделения не закроются.

Поехав за город под покровом темноты, я стал объезжать остановившийся трамвай и едва не скосил пассажиров, которые повалили из дверей. Послышались их сердитые крики, и я помахал им, извиняясь по-американски. Руководствуясь старой отцовской картой Берлина с патентованной системой складывания, я повел машину через бесконечные кварталы, полные немецкой вины и немецкого покаяния. Улицы поблизости от Мюнгельзее были гуще застроены и на них было больше транспорта, чем я предполагал; я испытал облегчение, увидев, что дача Вольфов заслонена ветвистыми хвойными деревьями.

Следуя указаниям Андреаса, я выключил фары, выехал на замерзшую лужайку и обогнул дом. Оттуда я увидел покрытое льдом озеро, белое в темную крапинку под дымно-облачным куполом, и сарай для инструментов

на задах участка. Андреас стоял около сарая с лопатой и куском брезента.

- Без проблем? – спросил он бодрым тоном.
- Едва не въехал в толпу людей, а так – без проблем.
- Я очень тебе благодарен.
- Потом будешь благодарить.

Он повел меня за сарай, под деревья. Там была куча земли, рядом – продолговатая яма.

– Бедные мои руки, – сказал он. – Верхний слой земли промерз. Но сейчас мы, думаю, просто вытащим его за одежду. Я уже приподнимал оба конца.

Я заглянул в яму. Полной темноты не было, и я увидел, что комбинезон на трупе, пропитанный песчаной грязью, некогда был синим. Он придавал костяку форму и некоторый телесный объем. На кистях рук, кажется, еще оставались лоскутья кожи. Запах был терпимым и несильным, как от плесневелого сыра. Но кое-чего недоставало.

– А где голова?

– Там, в пакете. – Андреас показал, мотнув головой. – Я не хотел, чтоб ты на это смотрел.

Я оценил его заботу. Да, я совсем недавно сидел у остывающего тела матери, и привычка к смерти сумрачно окрашивала мое сознание. Но череп, скорее всего с вихрами волос, был бы наилучшим зрелищем. Без него останки имели сравнительно отвлеченный вид. Я чувствовал, что, заставляя себя смотреть на них, я добиваюсь того, что не смогу уже вернуться к Анабел.

Так или иначе, зубы у меня стучали, и не только от холода. Андреас расстелил брезент, мы встали над концами ямы, широко расставив ноги, и, наклонившись, потянули за комбинезон. Внизу ткань, похоже, сильно прогнила и теперь разошлась посередине; вывалились кости и какие-то бесформенные ошметки. Я выругался.

– Ничего, – сказал он. – Я подберу.

Я стоял на берегу озера, пока Андреас орудовал лопатой. Обрато я пришел не раньше, чем он свернул брезент и начал заваливать яму. Я помог ему с этим, чтобы ускорить дело.

– У меня есть сэндвичи, – сказал он, когда мы погрузили брезент с содержимым в багажник.

– Не скажу, что у меня зверский аппетит.

– Ешь, ешь все равно. Нам долго ехать.

Мы вымыли руки минеральной водой из бутылки и съели сэндвичи. Мне опять стало холодно, и в холоде пришла мысль, почему-то не

приходившая раньше с такой определенностью, что я совершаю серьезное преступление. Я ощутил прилив – не очень сильный, но отчетливый – тоски по дому, по Анабел. Да, наша жизнь стала плохой, тяжелой, но это была домашняя, предсказуемая, моногамная, законопослушная жизнь. В углу мозга крысой шмыгнуло подозрение: я познакомился с Андреасом всего двое суток назад, я не знаю его толком, он, может быть, сказал мне не всю правду; он с самого начала, может быть, решил использовать меня, чтобы обеспечить себе возвращение к Аннагрет.

– Разубеди меня насчет полиции, – сказал я. – Приходит на ум рутинная проверка на дороге. *Откройте, пожалуйста, багажник.*

– У полиции сейчас других забот хватает.

– Я по дороге сюда чуть не угробил шесть человек.

– Тебе легче будет, если я скажу, что боюсь до смерти?

– А это так?

– Отчасти. – Он ободряюще ударил меня по плечу кулаком. – А ты?

– Бывали вечера поприятней.

– Том, я никогда этого не забуду. Никогда.

В машине, включив обогрев, я почувствовал себя лучше. Андреас рассказал мне больше про свою жизнь, про свои странные литературные представления о ней; он тоскует, сказал он, по лучшей, более чистой жизни с Аннагрет:

– Найдем себе квартиру, устроимся. А ты живи у нас сколько захочешь. Хоть такой малостью тебе поможем.

– Чем собираешься зарабатывать?

– Еще не думал, не загадывал так далеко.

– Журналистикой?

– Может быть. На что это вообще похоже?

Я рассказал ему, на что это похоже, и он как будто заинтересовался, но я уловил еле заметное подспудное отторжение, словно он хотел для себя чего-то более масштабного и тактично об этом умалчивал. Такое же ощущение у меня было, когда я показал ему фото Анабел: он был рад отдать должное тому, что у меня есть, поскольку то, что есть у него, еще лучше. Это, пожалуй, не предвещало полноценной дружбы на равных, но в тот начальный момент, в очень теплой машине, это было созвучно моему опыту любовных увлечений: готовность отдать другому пальму первенства, надежда, что тебя тем не менее оценят.

– Гражданский комитет собирается завтра утром, – сказал он. – Тебе стоит прийти со мной, чтобы в пятницу уже знали, кто ты такой. Как у тебя с немецким?

- Эх...
- Sprich. Sprich.
- Ich bin Amerikaner. Ich bin in Denver geboren...^[95]
- Эр неправильное. Нужно картавить. Amerikaner. Geboren.
- Эр – не самая большая из моих проблем.
- Noch mal, bitte^[96]: Amerikaner.
- Amerikaner.
- Geboren.
- Geboren.

Добрый час мы трудились над моим произношением. Мне тяжело вспоминать этот час. На улице Андреас держался с таким апломбом, что я и представить себе не мог, до чего он терпелив в роли педагога. Впечатление было такое, что ему нравлюсь я, нравится родной язык и он хочет, чтобы мы сошлись покороче.

– Ну, теперь давай поработаем над твоим английским произношением, – сказал я.

– Мой английский безупречен! Моя мать – профессор на кафедре английского.

– Ты говоришь, как королева Елизавета. Тебе надо сделать звук “а” более плоским. Ты, считай, не живешь по-настоящему, пока не научился произносить гласные по-американски. Скажи: can’t.

- Ка-ант.
- Нет. Ке-э-э-энт. Будто козел заблеял.
- Ке-э-э-э-энт.
- Понял теперь? Британцы понятия не имеют, чего они лишены.

На окраине какого-то городишки мы остановились у закрытой в этот час автозаправки, чтобы Андреас мог раздобыть мусорный бачок и положить в него череп, перед тем как закопать. Дожидаясь его в машине, я испытывал уверенность, что делаю хорошее дело. Не эмигрируй моя мать, родись я в стране, на которой лежала тень тайной полиции, мне, может быть, самому пришлось бы, защищаясь, убить подонка из Штази. Помогая Андреасу, я словно бы платил ему за преимущества, которые имел, будучи американцем.

- Зачем ты вырубил мотор? – спросил он, вернувшись в машину.
- Чтобы привлечь меньше внимания.
- Это вопрос эффективности. Теперь тебе опять придется греть салон. Я включил сцепление и знающе улыбнулся.
- Во-первых, – сказал я, – машина греется за счет избыточного тепла

от двигателя. Добавочный расход топлива равен нулю. Ты этого не знаешь, потому что не водишь. Что еще важнее, поддерживать высокую температуру внутри, когда снаружи холодно, – всегда неэффективно.

– Это абсолютно неверно.

– Это установленный факт.

– Абсолютно неверно. – Похоже, ему хотелось препираться. – Если ты обогреваешь дом, поддерживать в нем ночью температуру шестнадцать градусов гораздо эффективнее, чем поднимать ее утром с пяти градусов. Мой отец всегда так делал на даче.

– Твой отец был не прав.

– Он был главным экономистом крупной индустриальной страны!

– Теперь я лучше понимаю, почему страна потерпела крах.

– Поверь мне, Том, здесь ты ошибаешься.

Мой отец – так уж вышло – объяснил мне в свое время термодинамику обогрева жилищ. Не упоминая о нем, я заметил Андреасу, что скорость теплопередачи пропорциональна разности температур: чем сильнее нагрет дом, тем больше калорий он отдает за холодную ночь. Андреас попытался привлечь интегральное исчисление, но основы его я тоже помнил. Под этот спор я вел машину. Он стал выдвигать более причудливые доводы, отказываясь признавать, что его отец ошибался. Когда я наконец его убедил, что-то, я почувствовал, между нами изменилось, что-то стало завязываться, напоминаящее полноценную дружбу. Он, казалось, испытывал и замешательство, и восхищение. До того момента он, похоже, не видел во мне достойного интеллектуального соперника.

Одерской лагуны мы достигли уже после полуночи. По старому деревянному мосту переехали на остров, безлюдный весь год, кроме лета, когда сельские жители заготавливают там сено. Насыпи между замерзшими болотами были покрыты нетронутой снежной корочкой. Мне не нравились колеи, которые мы оставляли на снегу, но Андреас сказал, что обещали оттепель и дождь. Поросшие густым лесом низины на дальней стороне острова он помнил по походу, в который ходил из летнего лагеря для детей элиты.

– Лагерь был высшей категории, – сказал он. – Нас в походе охраняли пограничники.

Чем бы восточногерманская армия ни была занята сейчас, она была занята этим где-то еще. С трупом в брезенте и двумя лопатами мы торопливо спустились в овраг, где следы не так заметны. Оттуда, продираясь сквозь безлиственные кусты, вошли в лес.

– Здесь, – сказал он.

Копать было нелегко, зато согревало. Я был готов остановиться, когда углубились на фут, но Андреас велел продолжать. Где-то невдалеке ухала сова, но других звуков слышно не было – только шорох наших лопат и треск корней, когда они попадались.

– Теперь оставь меня одного, – сказал он.

– Я не против помочь. Я так и так соучастник.

– Я хороню то, чем я был до знакомства с Аннагрет. Это личный момент.

Я отошел от могилы и ждал, пока он засыплет останки землей. Потом помог ему довершить похороны и покрыть место листьями и грязным снегом. К тому времени, как мы вернулись на дорогу, опустился туман, чуть менее мрачный на востоке, где близился рассвет. Мы положили лопаты в багажник. Захлопнув над ними крышку, Андреас издал торжествующий клич фальцетом. Сделав несколько прыжков, испустил еще один вопль.

– Боже мой, тише, – сказал я.

Он схватил меня за локти и заглянул мне в глаза.

– Спасибо тебе, Том. Спасибо, спасибо, спасибо.

– Поехали отсюда.

– Ты должен понять, как много это для меня значит. Иметь друга, которому могу доверять.

– Если я скажу тебе, что понимаю, поедем мы наконец?

Его глаза светились странным светом. Он наклонился ко мне, и на секунду мне показалось, что он собирается меня поцеловать. Но он всего лишь обнял меня. Я обнял его в ответ, и мы постояли некоторое время, неуклюже сжимая друг друга. Я ощущал его дыхание, чувствовал, как испаряется пот из-под его армейской куртки. Он положил ладонь мне на затылок, как могла бы положить Анабел. Потом внезапно отстранился от меня.

– Подожди здесь.

– Куда ты?

– Одну минуту, – сказал он.

Я смотрел, как он вприпрыжку сбегает обратно в овраг, как раздвигает кусты. Мне не понравились его вопли, а эта новая задержка понравилась еще меньше. Он пропал из виду среди деревьев, но слышно было, как хрустят под его ногами сучки, как трется о ветки куртка. Затем – глухая тишина безлюдной местности. Затем – слабый, но различимый звук от пряжки ремня. Затем – брючная молния.

Чтобы не слышать дальнейшего, я немного отошел по дороге вдоль

следов наших шин. На востоке светлело, и свет этот казался мне оскверненным. Я старался поставить себя на место Андреаса, старался вообразить себе радостное облегчение, которое он испытывал; но заявлять о своем сожалении, о раскаянии и дробить на могилу жертвы – одно с другим попросту не вязалось.

Он управился за несколько минут. Вернулся вприпрыжку. Когда приблизился ко мне, сделал пируэт, подняв в воздух обе руки с выставленными средними пальцами. И вновь испустил вопль.

– Можем мы ехать? – спросил я холодно.

– Безусловно! Можешь теперь ехать вдвое быстрее.

Он, похоже, не заметил перемены в моем настроении. В машине он был маниакально словоохотлив, перескакивал с темы на тему – как у меня получится жить с ним и Аннагрет, как именно он собирается провести меня в архив, как мы с ним могли бы сотрудничать: он будет отпирать запретные двери, я – писать о том, что за ними скрывается. Он побуждал меня ехать скорее, обгонять грузовики на слепых поворотах. Читал свои старые стихи и объяснял их. Декламировал по-английски длинные пассажи из Шекспира, отбивая ритм белого стиха по приборному щитку. Время от времени прерывался, чтобы издать очередной победный клич или захватить мне по плечу обоими кулаками.

Когда мы наконец подъехали к его берлинской церкви на Зигфельдштрассе, я был еле жив от усталости. Он предложил быстро позавтракать и напрямик отправиться на заседание Гражданского комитета, но я сказал – и не солгал, – что мне надо лечь.

– Ладно, тогда предоставь все мне, – сказал он.

– Хорошо.

– Я никогда этого не забуду, Том. Никогда, никогда, никогда.

– Хватит об этом.

Я отпер из машины багажник и вышел наружу. Глядя, как Андреас среди бела дня вынимает из него лопаты, я запоздало задался вопросом, которая из них – орудие убийства. То, что я, возможно, пользовался именно этой лопатой, казалось после бессонной ночи очень скверным обстоятельством.

Он хлопнул меня по плечу.

– Как ты вообще?

– Нормально.

– Поспи. Встретимся здесь в семь. Поужинаем.

– Хорошо.

Больше я его не видел. Когда проснулся на своей нестираной

простыне, до закрытия пункта проката оставался час. Я вернул им машину и в темноте пришел обратно к себе пешком. Мне по-прежнему очень хотелось видеть Андреаса и слышать его голос – да и сейчас хочется, когда я это пишу, – но печаль, от которой я спасался бегством, нахлынула так, что я едва держался на ногах. Я рухнул на кровать и заплакал – о себе, об Анабел, об Андреасе, но больше всего о своей матери.

Когда Анабел вывела меня из леса и мы пошли через пастбище к дому родителей Сюзан, небо над Нью-Джерси из-за приближения грозы сделалось трехмерным. Это был многоярусный облачный свод, богатый оттенками серого, белого и коричневато-зеленого. Она сказала, что хочет мне кое-что быстро показать, а потом проводит меня к автобусу, но я знал, что уехать автобусом восемь одиннадцать – фантазия такая же несбыточная, как наша надежда найти способ снова жить вместе, несбыточная хотя бы потому, что уйти, реализовать свое право на освобождение было делом крайне болезненным и я шарахался от этой боли, как измученное в неволе животное. Что угодно, только не это, и к тому же была перспектива новой близости, секса, обещавшего минуты желанной бессознательности.

И все же в дверях я приостановился. Это был летний домик в модернистском стиле шестидесятых с видом на горы и яблонями на задах. Анабел сразу вошла, а я задержался у входа: в животе, как в небе надо мной, вдруг стало беспокойно, сердце заколотилось – я теперь думаю, что переживал тогда самый настоящий посттравматический стресс.

– Входи же, входи, – сказала она тоном, сама сладость которого была безумной.

– Я теперь думаю, лучше не стоит.

– Ты помнишь, что оставил здесь в прошлый раз зубную щетку?

– Мой зубной врач меня в избытке ими обеспечивает.

– Мужчина, “забывающий” у женщины зубную щетку, это мужчина, который хочет прийти к ней еще.

Моя паника усилилась. Я оглянулся через плечо и увидел над дальним гребнем обрывок молнии; дождался грома. Когда опять заглянул в дом, Анабел видно не было. Пришла мысль – и я отнесся к ней совершенно серьезно: задушить ее во время секса, а самому потом броситься под автобус восемь одиннадцать. Идея не была лишена логики и привлекательности. Но слишком жестоко по отношению к водителю...

Я вошел и закрыл за собой сетчатую дверь. С моей помощью в один из прошлых приездов она освободила гостиную от мебели, оставила только

коврик для йоги и медитации. От своего кинопроекта она еще не отказалась по всей форме, только “приостановила” его на время, чтобы успокоиться и сосредоточиться. Жила она на половину моего наследства, которую получила от меня при разводе. После возвращения из Берлина мне одного дня с ней хватило, чтобы понять: моя тоска по дому проистекала из фантазии. Она сказала мне в свое время, что она не спагетти с баклажанами, но для меня именно этим-то она и была. И я выстроил для нас новую фантазию – о разводе как единственном шансе на воссоединение.

Анабел была уверена, что в Берлине я ей изменил: вот почему я не позвонил ей вовремя. Чтобы защититься от этого беспочвенного обвинения, я рассказал ей об Андреасе больше, чем следовало. Не об убийстве, не о моем сообщничестве, но достаточно рассказал о том, кто он и какова его история, чтобы объяснить и мою тягу к нему, и мое от него бегство. Она вывела заключение, что он козел и пробудил во мне козла – козла, вернувшегося из Берлина с мыслью о разводе. На самом же деле человеком, с которым я повел себя как козел, был Андреас. Я продинамил его с ужином, а потом только через два месяца послал ему принужденно-высокопарное письмо с извинениями, заверениями и “теплыми пожеланиями”.

Слышно было, как Анабел принимает душ. В гостиной сесть было некуда, поэтому я пошел в спальню и сел на кровать. Небо за окном почернело и казалось твердым, как склон, по которому можно подняться. На тумбочке все книги были о самопомощи и духовном самосовершенствовании; несколько лет назад Анабел высмеяла бы сами эти названия. Мне было ее страшно жаль.

Из ванной она вышла голая, обмотав волосы полотенцем.

– Душ тут отличный, – сказала она. – Советую тебе тоже.

– Приму вечером дома.

– Ты что, боишься меня? Я не собираюсь запираить тебя в ванной. – Она подошла ко мне близко, волосы на ее лобке доминировали в моем поле зрения. – Если я тебе нравлюсь, иди прими душ.

Она не нравилась мне, больше не нравилась, но я еще не придумал способа сказать ей об этом.

– У нас есть что-нибудь для контрацепции после того, как ты порезала презервативы?

– Прими душ, тогда скажу.

Гром ударил, казалось, прямо над домом.

– Ты сказала, хочешь что-то мне показать. Я вошел только за этим.

- Ты же видишь: дождь, гроза.
- Погибнуть от молнии кажется мне сейчас не худшим вариантом.
- Что ж, выбор за тобой, – сказала она. – Душ – или смерть от молнии.

Середина была исключена – середина, представлявшая собой реальность. Я принял душ под раскаты грома и вышел из ванной одетый. Анабел сидела на кровати, скрестив ноги, в своем старом японском шелковом халате, который она намеренно, с душераздирающе явной целью соблазнения, привела в беспорядок; одна грудь была почти оголена. Рядом лежала обувная коробка.

- Гляди, кого я нашла, – сказала она.

Она открыла коробку и вынула Леонарда. Последний раз я видел его пять или шесть лет назад. На яблони за окном свергались потоки ливня.

- Поздоровайся же с ним, – сказала Анабел, любовно улыбаясь мне.
- Привет.

Она взяла бычка и посмотрела ему в глаза.

- Хочешь поздороваться с Томом?

Я не то что говорить – дышать не мог.

Анабел нахмурилась, мягко упрекая Леонарда.

– Почему ты не здороваешься? – Она взглянула на меня. – Почему он молчит?

- Не знаю.

– Леонард, скажи что-нибудь.

– Он больше не разговаривает.

– Он, должно быть, сердится, что ты теперь не с нами. Мне кажется, он хочет, чтобы ты вернулся. – Она погладила бычка. – Прошу, скажи мне что-нибудь.

Не говорите мне о ненависти, если вы не состояли в браке. Только любовь, только годы сопереживания, отождествления, сочувствия могут так глубоко укоренить в твоём сердце другое существо, что от ненависти к нему избавиться совершенно невозможно; особенно если больше всего ненавидишь в этом существе его уязвимость перед тем, что ты делаешь. Любовь упорствует, и вместе с ней упорствует ненависть. Даже ненавидеть свое собственное сердце – не помогает. Не думаю, что когда-нибудь ненавидел ее сильнее, чем сейчас – чем за то, что подвергла себя позору моего отказа говорить голосом Леонарда.

- Завтра встречаюсь с твоим отцом, – сказал я.

– Это не голос Леонарда, – промолвила она испуганно.

– Нет. Это мой голос. Убери эту игрушку.

Она отставила бычка в сторону. Потом опять взяла. Потом опять

поставила. Ужасно было видеть ее страх и нерешительность. Или, может быть, ужасна была моя власть над ней.

– Я не хочу ничего об этом знать, – сказала она. – Избавь меня, пожалуйста.

Я хотел вообще-то ее избавить, но слишком сейчас ее ненавижу.

– Он принесет мне чек, – сказал я.

Она со стоном упала на кровать, как будто я ее ударил.

– Почему ты так поступаешь со мной?

– На крупную сумму, – сказал я.

– Замолчи! Замолчи ради бога! Я стараюсь тебе угодить, а ты плюешь мне в лицо!

– Он дает мне деньги, чтобы я начал издавать журнал.

Она опять села – теперь глаза у нее сверкали.

– Ты козел, – проговорила она. – Вот ты кто. Козел! Всегда был и всегда будешь!

Я думал, нет ничего хуже, чем видеть, как она уязвлена и посрамлена мной. Но за эту вспышку ненависти я возненавидел ее еще сильнее. Я сказал:

– У человека, которому двенадцать лет дают это понять, терпение может и кончиться.

– Тебе не только “дают понять”, ты *и есть* козел. Да, Том. Гребаный сраный козел-журналиста. Сломал мне жизнь, а теперь плюешь мне в лицо, плюешь.

– Мне казалось, плевки в лицо – это по твоей части.

К ее чести, чувство справедливости в ней еще оставалось. Она умерила тон:

– Да, ты прав. Я была молодая, а он испортил нашу свадьбу, но ты прав: был плевков. – Она покачала головой. – А теперь ты заставляешь меня за него расплачиваться. Вы оба. Теперь вы, мужчины, в меня плюете, потому что я оказалась слабая. Всегда была. И сейчас слабая. Неудачница. Но человек, в которого я плюнула, *имеет все*, а ты плюешь в человека, у которого не осталось ничего. Разница.

– Разница прежде всего в том, что я ни в кого не плюю на самом деле, – заметил я холодно.

– Мне очень плохо, Том. Как ты можешь так со мной?

– Я стараюсь добиться, чтобы ты больше мне не звонила. Вот, кажется, все, перестала – но нет, телефон звонит, сволочь такая.

– Что ж, наконец ты, кажется, добился. Взять у него деньги – верный способ. Я думаю, ты больше никогда ничего от меня не услышишь. Было

одно в моей жизни, чего ты не извратил, не украл, не разрушил. Теперь у меня ноль. Я совершенно одна с пустыми руками. Bravo, отлично сработано.

– Я тебя ненавижу, – сказал я. – Ненавижу еще сильнее, чем люблю. А это, знаешь ли, немало.

Ее лицо покраснело, она жалобно заплакала, как маленькая девочка, и моя ненависть уже ничего не значила, я не мог вынести, что она так несчастна. Я сел на кровать и обнял ее. Дождь прекратился, осталась синесерая завеса туч, почти зимняя на вид. Держа ее в объятиях, чувствуя подступающую скуку, я думал о зиме. О зиме моей жизни без Анабел.

Словно уловив это, она начала меня целовать. Мы всегда полагались на боль как на усилитель последующего наслаждения, и сейчас мы, казалось, достигли предела душевной боли, какую могли причинить. Когда она легла на спину и распахнула халат, я посмотрел на ее груди и моя ненависть к их красоте была такова, что стиснул сосок и резко крутанул.

Она вскрикнула и ударила меня по лицу. Я был садистически возбужден и почти не отдавал себе в этом отчета. Она ударила меня еще раз, по уху, и негодуя посмотрела на меня.

– Ну дай же, дай сдачи, чего ты?

– Нет, – сказал я. – Я тебя трахну в задницу.

– Ну, этого не будет.

Я никогда не говорил с ней так яростно. Путь феминистского брака мы прошли до конца.

– Ты испортила презервативы, – сказал я. – Что мне остается?

– Сделай мне ребенка. Чтобы у меня было нечто.

– Нетушки.

– Мне кажется, сегодня это возможно. У меня есть чутье на такие вещи.

– Я скорее убью себя, чем на это пойду.

– Ты ненавидишь меня.

– Ненавижу.

Она все еще любила меня. Я видел это по глазам – любовь и абсолютную безутешность несбывшейся надежды на ребенка. У меня была вся власть, и Анабел сделала единственное, чем еще могла ранить мое сердце: покорно повернулась на живот и задрала халат.

– Тогда давай. Трахай.

Я совершил это – и не один раз, а три за то время, пока не покинул дом наутро. После каждого надругательства она шла напрямиком в ванную. Мое состояние было состоянием наркомана, ползающего по полу,

выискивающего крохи вещества. Я не насиловал Анабел, но вполне был на это способен. Удовольствие очень мало значило для нас обоих в эти минуты. Я добивался того же, чего она добивалась своим фильмом: полного и окончательного истощения темы тела. А она сейчас – так мне казалось – добивалась того, чтобы узаконить свой статус моральной жертвы.

На рассвете, под птичий хор, я встал и, не приняв душа, оделся. Анабел лежала на пропитанной потом постели лицом вниз, неподвижная, как труп, но я знал, что она не спит. Я любил ее страшно, еще больше любил после того, что с ней сделал. Моя любовь была как мотор подержанной машины за сто долларов: его никто не просит заводиться, а он заводится и заводится. Убийство и самоубийство, которые я рисовал себе, не были игрой ума. Я же буду к ней возвращаться, и с каждым разом будет хуже и хуже, пока наконец не дойдет до смертоубийства, которое выпустит нашу любовь в родную ей вечность. Стоя у кровати, глядя на тело бывшей жены, я думал, что это может случиться прямо в следующую нашу встречу. Это даже сейчас может произойти, если я заговорю с ней. Так что я взял свой рюкзак и вышел.

На западе опускалась к горизонту полная луна, бледный диск, потерявший под натиском утра световое верховенство. На середине подъездной дорожки я вступил в золотую полосу солнца и увидел на мертвой засохшей ветке ярко-красного самца пиранги, спаривающегося с желтой самкой. Птицы были слишком заняты друг другом, чтобы отреагировать на мое приближение. Головные перья самца, стоявшие торчком, точно алый ирокез, казалось, источали чистый тестостерон. Кончив, он полетел прямо на меня, словно камикадзе, и едва разминулся с моей головой. Сел на другую ветку и яростно, агрессивно уставился на меня.

Было еще жарче, чем накануне, и кондиционер в автобусе не работал. Когда я наконец добрался до Сто двадцать пятой, из уличных церквей выходили, запруживая тротуар, женщины и дети с блестящими от пота лицами. В воздухе, тошнотворный и приторный, стоял запах гниющих дынь, смешанный с запахом жарки из закуской *KFC*. Тротуар блестел черным вулканизированным блеском куриного жира, мокроты, пролитой кока-колы и того, что вытекало из мусорных мешков.

– Счастливчик вы мой, – сказал мне Рубен в вестибюле дома, где пол по случаю воскресного утра был усыпан лотерейными билетами. – Вид у вас как у утопленника.

На автоответчике было одно новое сообщение. Я испугался, что от

Анабел, но нет: женщина, явно афроамериканка, просила меня передать Энтони, что вчера вечером у нее умер муж и заупокойная служба будет во вторник днем в такой-то церкви в Западном Гарлеме. Она еще раз повторила просьбу: передать Энтони, что у нее умер муж. И все, единственное сообщение, спокойный и очень усталый голос чернокожей женщины, потерявшей супруга.

Я включил кондиционер и позвонил в отель “Карлайл”, где оставил сообщение для Дэвида Лэрда. Потом лег, и мне приснилась вечеринка в доме, где было много комнат. Я углубился в многообещающую беседу с молодой темноволосой женщиной, которой я, кажется, нравился, которая выглядела готовой покинуть вечеринку вместе со мной. Единственным, что мешало нашему безоблачному счастью, было нечто то ли сказанное, то ли не сказанное мной, нечто, наводившее ее на мысль, что я, возможно, козел. К своей радости, я мог ей сообщить, что это сказал другой мужчина – Андреас Вольф. Я знал это доподлинно, и она мне поверила. Она начала проникаться ко мне любовью. И едва мне стало казаться, что это, должно быть, Аннагрет, юная девушка Андреаса, как до меня дошло: нет, это Анабел, но более молодая, более мягкая Анабел, уступчивая и шаловливая одновременно, носительница наилучшего знания обо мне, знания любовного и прощающего... но только это не могла быть Анабел, ведь настоящая Анабел стояла в дверях и наблюдала за моим флиртом. Страх перед ее судом и перед карающим столкновением с ее ненормальной психикой шел напрямик из яви. Она выглядела уязвленной и потрясенной моим предательством. Что еще хуже, девушка увидела ее и исчезла.

Ближе к вечеру мне перезвонил Дэвид.

– Я не могу, – сказал я.

– Смеетесь? “Готем”, столик заказан на восемь. Еще как можете.

– Я не могу взять деньги.

– Что? Ну, это даже не смешно. Это преступно глупо. Да посвящайте хоть каждый номер тому, чтобы чернить доброе имя Маккаскиллов, – я все равно хочу дать вам эти деньги. Беспокойтесь из-за Анабел? Да не говорите ей просто.

– Я уже ей сказал.

– Том, Том. Нечего вам к ней прислушиваться.

– Я не прислушиваюсь. Она будет думать, что я взял деньги, – и пусть себе думает. Я сам не хочу их брать.

– В жизни не слышал ничего глупее. Приходите в “Готем”, и я попотчую вас мартини. Чек вот-вот прожжет дырку в моем портфеле.

– Нет, не приду.

– Почему передумали?

– Решил не иметь с ней ничего общего, – ответил я. – Я ценю ваше...

– Буду с вами откровенен, – сказал Дэвид. – Вы меня очень сильно разочаровали. Я думал, теперь, после развода, вы уже не будете стараться стать большей Анабел, чем она сама. Но все, что вы мне говорите, – чушь собачья.

– Послушайте, я...

– Чушь собачья, – повторил он и повесил трубку.

В следующий раз Дэвид дал мне о себе знать четыре месяца спустя через посредника – отставного нью-йоркского полицейского, а ныне частного детектива. Его фамилия была Демарс, и он в один прекрасный день позвонил мне в дверь без предупреждения, прорвавшись через Рубена. У него были моржовые усы, и выглядел он грозно. Самое простое для меня будет, сказал он, это показать ему мой ежедневник и квитанции за четыре месяца.

– Абсолютно рутинная проверка, – добавил он.

– Не вижу ничего рутинного, – возразил я.

– Вы посещали Техас в последнее время?

– Кто вы такой, простите?

– Я работаю на Дэвида Лэрда. Меня особенно интересуют две последние недели августа. Самое лучшее для вас, если вы сможете мне доказать, что не появлялись в Техасе в этот период.

– Если вы не возражаете, я позвоню прямо сейчас Дэвиду.

– Ваша бывшая жена исчезла, – сказал Демарс. – Ее отец получил от нее письмо, которое выглядит подлинным. Но мы не знаем, при каких обстоятельствах оно было отправлено, и ничего личного, но вы ее бывший. Естественно, к вам есть вопросы.

– Я ее не видел с конца мая.

– Нам легче будет обоим, если вы подкрепите это документально.

– Довольно трудно доказывать, что ты чего-то не делал.

– Постарайтесь.

Мне нечего было скрывать, и я дал ему все квитанции и выписку об операциях с кредитной картой. Увидев, что август у меня богато документирован – я был, как и половина остальных журналистов Америки, в Милуоки, освещал для “Эсквайра” дело Джеффри Дамера^[97], – он умерил свой нахрап и показал мне копии конверта с маркой и рукописного послания, которое в нем лежало:

Дэвиду Лэрду. Я тебе уже не дочь. Вестей от меня

ты больше не получишь. Я для тебя мертва. Не ищи меня. Все равно не найдешь. Анабел.

– Штемпель хьюстонский, – сказал Демарс. – Настоятельно прошу вас сообщить, кого она знает в Хьюстоне.

– Никого.

– Вы уверены?

– Да.

– Я вам объясню, почему я задействован. Дэвид говорит, что не видел ее более десяти лет. Он уже для нее мертв – ну так зачем это письмо? Зачем сейчас? И что она делает в Хьюстоне? Я рассчитывал, что вы прольете некий свет.

– У нас недавно был тяжелый развод.

– Насколько тяжелый? С рукоприкладством? С запретительным судебным приказом?

– Нет-нет. Просто эмоционально болезненный.

Демарс кивнул.

– Итак, просто обычный развод. Она хочет начать новую жизнь, начать с чистого листа и все такое прочее. Но письмо я трактую так: она боится, что подумают, будто кто-то ее убил. Другой причины его написать я не вижу. Мол, не лезьте на стенку, на самом деле я жива. Но почему могли такое подумать? Понимаете меня?

Анабел была так непрактична и такая отшельница, что я с трудом представлял себе ее в Хьюстоне. Но что-то в ней явно переменялось: она не звонила четыре месяца.

– Мы знаем, что двадцать второго июля она была в Нью-Йорке, – продолжил Демарс. – Сняла со своего банковского счета пять тысяч долларов наличными. В тот же день оставила в здании, где живет ее подруга Сюзан, ключи от дома – никакой записки, только ключи. Вы в тот день с ней в Нью-Йорке не виделись?

– У нас не было никаких контактов с мая.

– Вот что выходит: не отправь она это письмо, никто бы ее не искал. У меня не складывается впечатления, что она – сама общительность. Пока ее хватились бы, могли пройти годы.

– Мне кажется – не сочтите, что я много о себе воображаю, – что на самом деле это письмо адресовано мне.

– Как это понимать? Почему она просто вам не написала? Или она вам написала?

– Нет. Она пытается доказать, что способна разорвать со мной

отношения полностью.

– Довольно экстравагантный способ это доказать.

– Она вообще склонна к крайностям. И возможно, она постаралась защитить меня на случай, если ее примутся искать с помощью таких людей, как вы.

– Вот-вот! – Демарс щелкнул пальцами. – Я надеялся, что вы это скажете, сам не хотел. Потому что с письмом у меня неясность. Болезненный развод, непримиримые противоречия – и вдруг она прилагает особые усилия к тому, чтобы вас защитить? Что-то не складывается. Для типичной разгневанной бывшей не было бы ничего слаще, чем заставить людей думать, что вы отправили ее на тот свет.

– Но не для Анабел. Для нее страшно важно быть морально безупречной.

– Ладно, давайте теперь о вас. Есть друзья в Техасе?

– Можно сказать, нет.

– Покажите мне адресную книжку и счета за телефон.

– Хорошо. Но вы сделаете для нее доброе дело, если перестанете ее искать.

– Не она мне платит.

Демарс хотел от меня большего – хотел контактной информации обо всех, кого Анабел когда-либо знала, – и я тревожился, не навлек ли на себя подозрения, отказавшись ее дать. Впрочем, в том, как он меня расспрашивал, был элемент осторожной разведки – разведки с зажатым носом. Судя по всему, он уже сделал вывод, что Анабел – трудная особа, у которой не все дома, и что вся эта история – семейная чепуховина, не более того. Он звонил мне потом пару раз для проформы – и все; я так и не знал, попал ли он на ее след. Я надеялся, желая ей лучшего, что не попал: я и вправду думаю, что ее письмо Дэвиду – это послание мне. Да, я покинул наш брак первым, но ей во что бы то ни стало надо было превзойти меня в радикальности ухода. Я ненавидел ее за ненависть, которая тут брезжила, но по-прежнему чувствовал себя виноватым, что бросил ее, и мысль о ее успехе в чем бы то ни было, пусть даже только в исчезновении, мою вину хоть ненамного, но облегчала. Я вырвался из нашего супружества на свободу, но моральная победа была за ней.

Дэвид после этого не давал мне о себе знать до 2002 года. Посредником на сей раз – за год до его смерти – стал юрист, написавший мне, что мне предлагается стать единственным управляющим доверительного фонда, который Дэвид учредил на имя Анабел. Я набрал номер, приведенный в письме, и выяснил, что за двенадцать лет ее так и не

нашли, но Дэвид, несмотря на это, выделил ей четверть своего состояния, надеясь, что когда-нибудь она объявится и возьмет то, что ей причитается.

– Я не хочу быть управляющим, – сказал я.

– Не спешите, – возразил с приятным канзасским выговором юрист. – Послушайте сначала, какие вам предлагаются условия.

– Не трудитесь.

– Вы усложните мне жизнь, если не станете слушать, поэтому прошу вас. Фонд состоит исключительно из акций компании “Маккасвилл”. Семьдесят процентов неликвидны, остальные тридцать можно продавать – но можно и не продавать – по программе участия служащих в прибылях компании. Даже по балансовой стоимости у вас получается почти миллиард долларов. Средние дивиденды за пять лет – четыре и две десятых процента годовых, и компания заявляет о своем стремлении их повышать. Но даже если руководствоваться этой цифрой, у вас выходит в год примерно сорок два миллиона наличными в виде дивидендов. Доля управляющего – полтора процента. Так что мы имеем... секундочку... три четверти миллиона в год управляющему, а вскоре, весьма вероятно, дойдет и до миллиона. Поскольку часть акций нельзя реализовывать, а другую часть хоть и можно, но не обязательно, управляющему делать практически нечего. Не больше, чем обычному акционеру. Попросту говоря, мистер Аберант, вам предлагают миллион в год за красивые глаза.

Как шеф-редактор “Ньюсдей” я получал тогда менее четверти этой суммы. У меня еще продолжались ипотечные платежи за двухкомнатную квартиру в Грамерси-Парке, которую я купил после того, как получил первую свою редакторскую должность в “Эсквайре”, и в которой жил, пока работал в “Нью-Йорк таймс” – сначала в еженедельнике, а потом в газете. Если бы я по-прежнему верил, что “журнал мнений” под названием “Неупрощенец” может изменить мир, если бы я не пришел к убеждению, что ответственно сообщать людям новости день ото дня – и более достойное, и более боевое занятие, то на миллион в год я мог бы отлично финансировать журнал, выходящий раз в три месяца. Но Дэвид был прав: я старался стать большей Анабел, чем она сама. Старался остаться чистым на случай, если она когда-нибудь поинтересуется, что я делаю после нашего расставания. Старался доказать ей, что она во мне ошибалась. Я повторил юристу из Уичито, что не хочу иметь с фондом ничего общего.

Я так и не разгадал Дэвида до конца. Он был невероятно хорош в бизнесе, и он любил Анабел по-настоящему, любил во многом потому же, почему любил ее я, но дать ей нежеланный миллиард долларов и предложить в управляющие самого ненавистного ей человека – жестокость

и мстительность читались здесь безошибочно. Я не мог решить: то ли он хочет продолжать наказывать ее и после смерти – то ли питает сентиментальную надежду, что в один прекрасный день она вернется и вступит в свои наследственные права. Может быть, и то и другое. Что я точно знаю – это что языком, на котором он говорил и думал, были деньги. Год спустя его юрист сообщил мне, что он умер и оставил мне двадцать миллионов долларов без всяких обременений “на создание качественного общественно-политического журнала на национальном уровне”. Завещательное распоряжение выглядело скорее даром мне, чем наказанием Анабел, – так, по крайней мере, я решил его истолковать, – и на сей раз я не отказался.

Об Анабел в некрологах по Дэвиду говорилось только, что о ее местожительстве и роде занятий ничего не известно; что касается других Лэрдов, о них, если поискать, в прессе по-прежнему можно было кое-что найти. Три брата Анабел выросли в неудачников изрядного масштаба. Старший, Бакки, ненадолго возник в новостях благодаря своей тщетной попытке купить баскетбольную команду “Миннесота тимбервулвз” и перебазировать ее в Уичито. Средний, Деннис, просадил пятнадцать миллионов на попытку стать кандидатом в Сенат от республиканцев, но проиграл первичные выборы с треском. Младший, Дэнни, бывший наркоман, стал подвизаться на Уолл-стрит и продемонстрировал, затеяв сотрудничество с фирмами, подлинное чутье на те из них, что находятся на грани краха. Через три года после смерти Дэвида, используя, видимо, унаследованные от него деньги, он вступил партнером в хедж-фонд, который вскоре лопнул. Примерно в это время мне случилось встретиться с Бакки Лэрдом на пустопорожней “конференции лидеров” в Калифорнии. Мы немного поболтали, а потом он, как ни в чем не бывало, сообщил мне, что они с братьями считали и считают меня убийцей Анабел, сумевшим это проделать без последствий для себя. Когда я заявил, что не убивал ее, он, кажется, не поверил, но ему, похоже, было, по сути, безразлично.

Я никогда не переставал думать, где Анабел и жива ли она. Если жива, то, конечно, ей доставляет удовлетворение то, что я об этом не знаю, – удовлетворение, подозреваю, достаточное, чтобы давать ей силы жить, если даже у нее нет для этого других причин. Я, как был, убежден, что когда-нибудь ее увижу – даже если никогда не увижу. Она во мне вечна. Только раз и только потому, что был очень молод, я смог слить свое “я” с “я” другого человека, а в таких-то исключительных событиях вечность и открывается. Я лишил ее материнства – и потому не считаю себя вправе завести ребенка с другой женщиной. Я не могу сойтись ни с кем namного

моложе себя, не показав тем самым, что ради этого-то ее и бросил. Она, кроме того, наделила меня пожизненной аллергией на нереалистичных женщин – аллергией, которая со временем лишь усугублялась: едва я улавливал в женщине намек на склонность к фантазиям, реакция не заставляла себя ждать, и я тут же давал ей понять, что любые ее виды на меня нереалистичны. Я не хотел иметь дела ни с кем, кто напоминает Анабел, и даже когда я встретил женщину, по-настоящему на нее не похожую, женщину, разделить с которой жизнь – невыразимое счастье, печаль, окутывающая Анабел, и ее моральный максимализм продолжали окрашивать мои сны. С каждым годом, который проходит без признаков ее существования, ее поступок – ее акт исчезновения и отрицания – делается все значительней и ранит все больней. Она, возможно, была слабей меня, но ей удалось меня переиграть. Она двинулась дальше – а я остался на месте. Надо отдать ей должное: она поставила мне мат.

Убийца

Когда из двусторонней рации послышался сначала треск, а потом голос Педро с раскатистыми “р”, эти звуки, казалось, пробудили Андреаса от сновидения, которое хотело и не могло закончиться, понимая, что слишком затянулось.

– Hay un señor en la puerta que dice que es su amigo. Se llama Tom Aberant^[98].

На тумбочке у кровати лежал надкушенный сэндвич. Андреас не мог сообразить, какой сегодня день недели. Система, поместившая его под домашний арест, базировалась у него в голове. Имя “Том Аберант” не вызвало у него бурных эмоций. Он помнил, что месяцы, а то и годы вкладывал, как маньяк, в носителя этого имени колоссальную энергию, но воспоминание было слабым и пресным. Сейчас Том внушал ему не большую ненависть и не большой страх, чем что бы то ни было на свете. Была только невыносимая, тяжело сминающая грудь тревога. Плюс тусклое сознание бесчеловечности, которая заключалась в том, что приехал – неважно, по какому делу, – журналист. Андреас уже не отвечал фундаментальному требованию к интервьюируемому: он не нравился самому себе.

– Haseo pasar^[99], – сказал он Педро.

В своих интервью, пока он не перестал прошлой осенью их давать, он с некоторых пор употреблял слово “тоталитаризм”. Журналисты помоложе, для которых это слово означало тотальный надзор, тотальный контроль за умами, парады серых войск с ракетами средней дальности, считали, что он несправедлив к интернету. На самом деле он просто имел в виду систему, из которой невозможно выйти. Былая Республика, безусловно, преуспела в надзоре и парадах, но суть ее тоталитаризма ощущалась на более повседневном и тонком уровне. Ты мог сотрудничать с системой или ей противостоять, но чего ты не мог никогда, какую бы жизнь ни вел – жизнь приятную, безопасную или жизнь заключенного, – это быть от нее независимым. Ответом на все вопросы, крупные и мелкие, был социализм. Замени теперь “социализм” на “сети” – и получишь интернет. Его соперничающие друг с другом платформы едины в своем стремлении задать все параметры твоего существования. Если говорить о случае Андреаса, он, начав обретать подлинную известность, понял, что

известность как явление перекочевала в интернет и архитектура интернета позволит его врагам без труда придать “вольфовской истории” выгодные им очертания. Как и в старой Республике, он мог либо игнорировать недругов и терпеть последствия, либо принять постулаты системы, сколь бы сомнительными он их ни находил, и увеличить ее могущество и расширить ее охват своим в ней участием. Он выбрал второе, но выбор не имел принципиального значения. В любом случае он, Андреас, зависел от этой революции.

Две революции, с которыми ему довелось иметь дело, были схожи, как мало что. Причем обе громко называли себя революциями. Признак легитимной революции – научной, к примеру, – то, что она не хвастается своей революционностью, она просто происходит. Хвастаются слабые и боязливые, хвастаются нелегитимные. Лейтмотивом его детства, прошедшего при режиме настолько слабым и боязливым, что он окружил население, которое якобы освободил, тюремной стеной, было то, что Республике выпала великая роль авангарда истории. Если твой начальник – дубина, если твой муж за тобой шпионит, режим в этом не виноват, ибо режим служит Революции, исторически неизбежной и в то же самое время чрезвычайно хрупкой, окруженной врагами. Это смешное противоречие – примета хвастливых революций. Нет такого преступления, нет такого непредвиденного побочного эффекта, каких не оправдывала бы система, которая *не может не быть*, но вместе с тем *крайне уязвима*.

Вечен оказался и функционер – деятель системы – как человеческий тип. Тон, которым на конференциях, проводимых фондом *TED*, в *PowerPoint*-презентациях, посвященных запуску нового продукта, в заявлениях, обращенных к парламентам и конгрессам, в книгах с утопическими заглавиями рассуждали новые, был таким же сладким сиропом, состоящим из удобной убежденности и личной капитуляции, как тот, что он хорошо помнил по временам Республики. Слушая их, он всякий раз вспоминал слова из песни группы “Стили Дэн”: *So you grab a piece of something that you think is gonna last*^[100] (по радио в американском секторе эту песню непрерывно транслировали с прицелом на юных слушателей в советском). Привилегии, доступные в Республике, были не ахти какими: телефон, квартира, где есть хоть сколько-нибудь воздуха и света, возделенная возможность ездить за границу; но энное число подписчиков в Твиттере, популярный профиль в Фейсбуке, четырехминутный ролик на канале *CNBC* – это что, намного больше? Главное, чем манит система, – чувство безопасности, рождаемое принадлежностью. Снаружи воздух воняет серой, еда дрянная, экономика в удручающем состоянии, цинизм не

знает границ – но внутри *классовый враг разгромлен*. Внутри *профессор и инженер учатся у немецкого рабочего*. Снаружи средний класс таеет быстрее, чем полярные льды, ксенофобы выигрывают выборы и запасаются штурмовыми винтовками, племена, враждующие на религиозной почве, истребляют друг друга – но внутри *прорывные технологии делают традиционную политику неактуальной*. Внутри децентрализованные узкоспециализированные сообщества *меняют наши представления о креативности*; революция *вознаграждает тех, кто, поняв могущество сетей, готов идти на риск*. Новый Режим даже взял на вооружение словечки из жаргона былой Республики: *коллектив, чувство локтя*. Как и тогда, принимается за аксиому, что возникает *человек нового типа*. В этом единодушны функционеры всех мастей. Их, похоже, никогда не смущало, что правящая элита у них состоит из человеческих особей старого типа – алчных, грубых, жестоких.

Ленин шел на риск. Шел на него и Троцкий, которого Сталин в итоге сделал советским Биллом Гейтсом и разгромил как скрытого реакционера. Самому же Сталину не нужно было так рисковать: террор действовал лучше. Хотя новые революционеры все как один заявляют о своей приверженности риску – в любом случае относительно, риску потерять чей-то венчурный капитал, самое худшее – риску, живя за родительский счет, зря потратить несколько лет, отнюдь не риску быть расстрелянным или повешенным, – наиболее удачливые из них следуют примеру Сталина. Подобно тем, старым политбюро, новое политбюро изображает себя врагом элиты и другом широких масс, оно якобы думает прежде всего о том, как *исполнить желания потребителя*, но у Андреаса (который, кстати, так и не научился хотеть себе то или это) создалось впечатление, что потребителями в большей мере движет боязнь: боязнь оказаться недостаточно популярными, крутыми, стильными, выпасть из обоймы, отстать от жизни. В Республике ужас на людей наводила государственная власть, при Новом Режиме – власть первобытного естества: убивай, или тебя убьют; ешь, или тебя съедят. В обоих случаях боязнь вполне резонна, логична; поистине она *продукт* логической мысли. Идеология Республики называлась “научный социализм”, и это название отсылает как назад, к террору якобинцев с их на диво эффективной гильотиной, подававших себя проводниками рационализма и Просвещения (другой вопрос, что рационализировали они прежде всего палачество), так и вперед, к террору технократии, вознамерившейся избавить человечество от человечности эффективностью рынков и рациональностью машин. Это неприятие всего иррационального, желание очиститься от него раз и навсегда – подлинно

вечный признак нелегитимной революции.

У Андреаса был талант – может быть, самый большой из всех – находить в тоталитарных режимах особые ниши. Штази была его лучшим другом – пока им не стал интернет. Ему удавалось использовать сначала одно, а потом другое, находясь в стороне. Замечание Пип Тайлер о ферме “Лунное сияние” задело его, напомнив о сходстве с матерью, но она не ошиблась: несмотря на все полезное, что было сделано в рамках проекта, “Солнечный свет” сейчас работал главным образом на его “я”. Фабрика известности, маскирующаяся под фабрику разоблачений. Он позволял Новому Режиму демонстрировать Андреаса Вольфа как вдохновляющий пример *открытости*, а взамен, когда от этого нельзя было уклониться, защищал Режим от неприятной огласки.

Внутри Нового Режима было немало потенциальных Сноуденов – сотрудников, имеющих доступ к алгоритмам, с помощью которых Фейсбук наживается на личной информации о пользователях, или к алгоритмам, позволяющим Твиттеру манипулировать мемами, якобы возникающими спонтанно. Но страх умных людей перед Новым Режимом оказался еще сильнее, чем страх, внушенный Режимом людям менее умным, перед Агентством национальной безопасности и ЦРУ, – ведь это азбука тоталитаризма: свои собственные методы террора приписывать врагу и представлять себя единственной защитой от его козней. Так что потенциальные Сноудены большей частью помалкивали. Дважды, впрочем, инсайдеры выходили на Андреаса (оба, что интересно, из *Google*) и предлагали ему внутреннюю электронную переписку и программы, откуда отчетливо видно, как компания накапливает личные сведения о пользователях и активно фильтрует информацию, хотя утверждает, будто лишь пассивно ее отображает. В обоих случаях Андреас, боясь ущерба, который мог нанести ему *Google*, отказался обнародовать документы. Чтобы сохранить чувство собственного достоинства, он был с предлагавшими откровенен: “Не могу. *Google* мне нужен на моей стороне”.

Но лишь в этом отношении он считал себя функционером новой системы. Во всех интервью он с презрением отзывался о революционной риторике, и его внутренне передергивало, когда его сотрудники рассуждали об изменении мира к лучшему. На примере Ассанжа он понял, как глупо делать мессианские заявления о своей исторической роли, и хотя слава, которая шла о нем как о человеке безгрешно чистом, доставляла ему ироническое удовлетворение, он не испытывал иллюзий насчет своей реальной способности оправдывать эту славу. Жизнь с Аннагрет излечила его от таких иллюзий.

Через три дня после того, как Том Аберант помог ему похоронить на острове в устье Одера останки и сильно истлевшую одежду ее отчима, он поехал в Лейпциг ее искать. Он хотел отправиться даже раньше, но он уже пользовался большим спросом у западных корреспондентов, желавших взять интервью. То, что он в свое время опубликовал в “Ваймарер байтреге” хулиганские стихи, жил в церковном подвале и вышел из здания Штази в правильный момент, уже позволяло зачислить его в Видные Восточногерманские Диссиденты. Уже, с другой стороны, старые пасынки Республики с Зигфельдштрассе начинали ворчать, что он, пока остальные подвергались гонениям, в основном спал со школьницами. Но ни у кого из них не было ни отца в ЦК, ни такой смачной истории в активе, как история с акростихом, и, дав, с самого начала в качестве Видного Диссидента, одно за другим с десятков интервью (где он неизменно отдавал должное храбрости своих товарищей по Зигфельдштрассе), он стал настолько более реальным, чем они, что волей-неволей им пришлось принять версию СМИ. Его слава вскоре изменила даже их воспоминания о нем.

В Лейпциге Аннагрет не жила у сестры, но сестра дала ему адрес чайной, где собирались феминистки, которые до недавнего времени были еще более деморализованы, чем энвиронменталисты: даже серое от дыма лейпцигское небо уступало в серости чисто мужскому составу руководства Республики. В два часа дня он открыл скрипучую дверь чайной. Из кухни, вытирая руки полотенцем, вышла Аннагрет.

Улыбнись, подумал Андреас.

Она не улыбнулась. Оглядела зал, который был пуст. На стенах висели портрет Розы Люксембург, плакат, призывающий женщин идти в тяжелую промышленность, и, предел здешней отваги, фотографии западных певиц и активисток. Все тусклое, подернутое пленкой унылости, которая теперь уже не казалась ему смехотворной. Негромко звучала запись Джоан Баэз.

– Если сейчас некогда, можно потом поговорить, – сказал он. – Я только хотел дать тебе знать, что я здесь.

– Можно и сейчас, – ответила она, не глядя на него. – Говорить особенно не о чем.

– У меня есть что сказать.

Она слабо усмехнулась.

– “Хорошая новость”.

– Да, хорошая новость. Давай я приду позже.

– Не надо. – Она села за столик. – Просто сообщи мне свою “хорошую новость”. Хотя я, кажется, уже ее более-менее знаю. Видела тебя по телевизору.

– Понятно, – сказал он, садясь. – Я вдруг взял и стал сенсацией. А помнишь, ты мне не поверила, когда я назвал себя самым важным лицом в стране. Помнишь?

– Помню. – Она упорно не хотела на него смотреть. – Я все помню. А ты?

– Да.

– Тогда зачем ты приехал?

– Затем, что мы теперь в безопасности. Мы в безопасности, и я люблю тебя.

Некоторое время она смотрела в стол. Потом кивнула.

– Хочешь узнать, почему мы в безопасности?

– Не хочу.

– Я забрал оттуда оба дела и переместил то, что надо было переместить.

Она опять кивнула.

– Тебя не радует то, что я сказал?

– Нет.

– Почему?

– Из-за нашего поступка.

– Аннагрет. Пожалуйста, посмотри на меня.

Она покачала головой; и он понял, что проблема с самого начала была не в безопасности. Он напоминал ей, через что она прошла под его водительством, – вот в чем была проблема.

– Ты лучше уходи, – сказала она.

– Не могу, – возразил он. – Не представляю себе жизни без тебя.

Прежде чем она могла ответить, входная дверь со скрипом отворилась и вошли две женщины, разговаривая о Новом Форуме^[101]. Аннагрет вскочила с места и скрылась в кухне. Вскоре появились другие завсегдатаи, все женского пола. Хотя они не выказывали явного недоброжелательства, Андреас почувствовал себя инородным телом в организме, тихо старающемся от него избавиться. Мошкой в слезящемся глазу.

Пришла подруга Аннагрет, которую он видел с ней в Берлине два месяца назад, и подключилась к обслуживанию посетительниц. Подойдя к нему, подруга спросила, что ему подать.

– Ничего, спасибо.

– Не хочу быть грубой, – сказала она, – но мне кажется, вам надо уйти.

– Хорошо, я уйду.

– Ничего личного. Просто у нас такое заведение.

Мошка рассталась с глазом с таким же облегчением, с каким глаз

избавился от мошки. Снаружи, под холодным морозящим дождиком, он стал размышлять, не вернуться ли в Берлин к своей роли Видного Восточногерманского Диссидента, не дать ли Аннагрет время подумать. И если бы Том Аберант встретился с ним, как обещал, он, может быть, так бы и поступил. Имея пусть даже одного настоящего друга – друга, который знает его тайну и вызвался помочь похоронить ее навсегда, – он, может быть, не так нуждался бы в Аннагрет. Но Том не пришел тем вечером ужинать. Андреас ждал его не один час. На следующий день, вернувшись после нескольких интервью, он спросил в церкви всех и каждого, не справлялся ли о нем американец. Ощущения, что Том завязал с ним дружбу чисто из журналистских надобностей, у него не было ни малейшего. Но даже в этом случае Тому не было резона исчезать до того, как он провел бы его в архив Штази. Объяснение, предполагал он, в том, что американец решил отправиться домой, к жене: он, Андреас, выходит, нравится Тому еще меньше, чем женщина, от которой его, по его собственным словам, смертельно тошнит. Боль, которую, будучи отвергнутым, испытал Андреас, показывала, как быстро и как глубоко он проникся к Тому симпатией. Быть отвергнутым еще и Аннагрет – об этом просто не могло быть и речи.

От лейпцигской чайной он пошел на вокзал, там выудил из урн несколько газет и стал читать, испытывая прилив сил при виде собственного имени. Кто может устоять против соблазна поверить тому, что о нем пишут в прессе? Вечером вернулся в чайную и ждал снаружи, пока не стемнело и Аннагрет с подругой не вышли опустить жалюзи.

– Уходите, – сказала ему подруга. – Она не хочет вас видеть.

– Вы же говорили: ничего личного.

– Теперь уже есть личное.

– Мне надо возвращаться в Берлин. Там очень много всего происходит, и я должен участвовать. Меня, кстати, зовут Андреас.

– Я знаю, кто вы. Мы видели вас по телевизору.

– Аннагрет, – сказал он, – мне надо уезжать. Пройдись со мной чуть-чуть хотя бы.

– Она не хочет, – сказала подруга.

– Совсем чуть-чуть, – настаивал он. – Кое-какие частные дела обсудить, семейные. Потом когда-нибудь мы можем и втроем посидеть.

– Хорошо, – вдруг сказала Аннагрет, отходя от подруги.

– Аннагрет...

– Он не такой, как другие. И он правду говорит: есть одно семейное дело.

Андреас отметил – не в первый раз, – что она в определенной мере

владеет искусством лжи. Когда они вдвоем пошли под зонтами, она извинилась за подругу.

– Биргит, чуть что, встает на защиту.

– Послать мужчину подальше она умеет, спору нет.

– Я и сама умею. Но постоянное внимание утомляет. Хорошо иметь поддержку со стороны.

– Оно в прямом смысле постоянное?

– До отвращения. В Лейпциге хуже, чем в Берлине. Вчера какой-то тип подъехал на велике и с ходу предложил пожениться.

Хотя Андреас с удовольствием расквасил бы ему нос, он невольно почувствовал гордость, лишний раз получив доказательство красоты Аннагрет.

– Тяжело, – сказал он. – Тяжело быть тобой.

– Мы с ним даже не знакомы.

Некоторое время шли молча.

– То, что мы сделали, – промолвила она. – Я сделала это ради тебя.

Услышав это, он испытал сожаление – и в то же время нечто противоположное.

– Я была сама не своя, – сказала она. – Я с ума по тебе сходила. И сделала то, что разрушило мою жизнь, и теперь ни о чем больше не могу думать, когда тебя вижу. Только о том, что ради тебя сделала.

– Но я тоже ради тебя сделал то, что сделал. И хоть сейчас готов повторить. Я на все готов, чтобы тебя защитить.

– Гм.

– Поехали со мной в Берлин. Лейпциг – чертова дыра.

– Ты никак меня в покое не хочешь оставить.

– Другого пути нет. Мы предназначены друг для друга.

Она остановилась. На тротуаре больше никого не было видно, и он уже не знал, где они находятся.

– Знаешь, что самое ужасное? – спросила она. – Мне нравится, что ты убийца.

– Все же я не только это.

– Но именно поэтому я поеду с тобой, если поеду. Разве это не ужасно?

Это и правда было довольно-таки ужасно, потому что только сейчас, когда она назвала его убийцей, им овладело вожделение к ней. Он подавил желание ее обнять.

– Мы должны постараться это искупить, – сказала она. – Делать добрые дела.

– Да.
– Множество добрых дел. Оба.
– Этого-то я и хочу. Быть хорошим и добрым – с тобой.
– О господи. – У нее вырвался всхлип. – Прошу тебя, поезжай без меня. Прошу тебя, Ан...

Она была готова произнести его имя. Он вдруг понял, что никогда его не слышал из ее уст.

– Можешь назвать меня по имени? – спросил он, повинувшись инстинкту. Она покачала головой.

– Просто посмотри на меня и назови по имени. И тогда я уеду в Берлин. Буду ждать там столько, сколько понадобится.

Она побежала от него. Внезапно, со всех ног, повернув зонтик боком. Он потерял несколько секунд, решая, бежать за ней или нет, и она была такая юная и проворная, его девочка-дзюдоистка, что он ни за что бы ее не догнал, если бы не красный свет на перекрестке, который заставил ее резко повернуть. От дождя там, похоже, намерзло. Она поскользнулась, и у него екнуло сердце при виде ее падения.

Когда добежал до нее, она еще сидела на тротуаре, держась за бедро.

– Ушиблась?

– Да. Вернее – нет. Все в порядке. – И вот она – улыбка, которую он мечтал увидеть. – Ты не велел мне разыгрывать драмы. Помнишь?

– Да.

– Я все помню. Каждое слово.

Он присел на корточки, взял ее холодные руки в свои, позволил ей заглянуть ему в глаза. И увидел, что получил ее. Но вместо симфонии радости и благодарности он услышал противный голосок сомнения. *Ты уверен, что по-настоящему ее любишь? Она ругает себя, что разыгрывает драмы, и тут же хвастается тем, что помнит каждое слово! У нее нет чувства юмора – ты не боишься, что тебе станет с ней тягостно?* Он постарался заглушить этот голосок. Она, что ни говори, необычайно красива. Два года назад, когда он предложил ей убийство как один из вариантов, она выбрала убийство. Она порядочная девушка – и вместе с тем в ней есть грязь и лживость. Внимание других мужчин вызывает у нее отвращение, но его внимание почему-то нет. Она знает, как скверно он поступил, и все-таки не отвергает его; предлагает ему лучшую жизнь.

– Пошли к тебе, и соберешь вещи, – сказал он.

– Биргит меня возненавидит.

– Не так сильно, как ненавидит меня.

Два или три года он был с ней счастлив. Она была очень юна, ничего ни о чем не знала и, конечно же, не знала, как жить с женщиной, и хотя он сам никогда не делил жизнь с женщиной, он был старше, и она предполагала, что он знает все. У нее было обыкновение серьезно смотреть ему в глаза, когда он лежал на ней, был в ней, обладал ею полностью, и само воспоминание об этом взгляде возбуждало его по непонятным ему причинам. Пока в ней сохранялся идеалистический пыл, он позволял ей покупать всякие мелочи – покрывала, глиняные кружки, абажуры, – хотя знал, что они уродливы. Хвалил невкусные индийские блюда, которые она научилась готовить. Ему нравилось видеть, как она прокладывает себе путь в Берлине, завязывает новые дружбы, возобновляет старые, присоединяется к коллективам, начинает работать в группе помощи женщинам, пострадавшим от насилия. Когда они шли куда-нибудь вместе, ему нисколько не было тягостно, что она держит его под руку и не смотрит, кроме него, ни на одного мужчину, – он был этим горд. Дома она до ужаса трогательно старалась, чтобы ему было хорошо. Видимо, у нее была идея, что чем больше они занимаются любовью, тем неоспоримее, что они созданы друг для друга и она не сделала ничего плохого, связав жизнь с убийцей собственного отчима. Два или три года он ночь за ночью пользовался сладкими плодами этой идеи.

Но секс как идея проблематичен тем, что одни идеи сменяются другими. Мало-помалу у Аннагрет развилась новая и куда более тоскливая идея абсолютной честности в постели с упором на обсуждение. Поначалу он шел ей навстречу, стараясь быть хорошим мужчиной, стараясь воплощать идеальный образ самого себя, который и у него тогда еще был. Но наконец обманывать себя стало невозможно: бесконечные обсуждения с лишенной чувства юмора двадцатитрехлетней томили его скукой. Днем, когда они были в разных местах, он старался чаще вспоминать ее серьезный взгляд, но, придя домой, он видел женщину, не имеющую ничего общего с предметом его вождлений. Она уставала, у нее случались спазмы, могли быть свои планы на вечер – оказать поддержку какой-нибудь несчастной, поучаствовать в организации очередного безнадежного протеста. Или, еще хуже, она хотела обсудить с ним свои чувства. Или – хуже всего – обсудить *его* чувства.

Спасаясь от домашней скуки, он стал ездить на заокеанские конференции: в Сидней, в Сан-Паулу, в Саннивейл. Помимо работы в комиссии Гаука, занимавшейся архивами Штази, он консультировал по вопросам исторической правды и национального примирения: ездил по всему бывшему Восточному блоку, сидел в избыточно освещенных

конференц-залах, одинаковых во всем, кроме языка наклеек на бутылках, откуда наливали себе минеральную воду не примиренные пока что антагонисты. Поскольку его очень любили репортеры и телевизионщики, он начал получать информацию напрямую от разного рода разоблачителей в корпорациях и госучреждениях объединенной Германии, и поскольку работа в комиссиях не вполне ему подходила (он был склонен действовать самостоятельно, а не коллегиально), он стал подумывать, не затеять ли что-нибудь самому, без комиссий, не создать ли своего рода информационную службу по раскрытию секретов, имеющую дело непосредственно со СМИ. Но домашняя проблема – несоответствие между ночным предметом его вожделений и дневной, реальной Аннагрет – преследовала его повсюду. Даже когда он, находясь один в номере отеля в Сиднее, был разогрет воспоминанием о ее серьезном взгляде, стоило ему позвонить домой и послушать ее две минуты, как накатывала скука. Она мгновенно накрывала его с головой. Все, о чем они говорили, совершенно не соответствовало – дико, невыносимо не соответствовало – тому, чего он хотел.

Он увидел, что попал в ловушку. Стал жить не столько с женщиной, сколько с идеализированным представлением о самом себе как о мужчине, способном счастливо и навсегда соединить с женщиной свою судьбу. А теперь это представление ему наскучило. Хотя он никогда не поднимал на Аннагрет голоса, он начал дуться и обижаться на неизбежные вещи. Принялся тонко подшучивать над ее работой и несправедливо высказываться о ее подругах, которых считал неудачницами, ухватившимися за Аннагрет как за слабое звено и паразитирующими через ее посредство на его славе. Под неубедительными предложениями он избегал встреч с ними, а когда светское мероприятие все же требовало его присутствия, он попеременно был холоден, молчалив и агрессивен. Он вел себя как козел и расплачивался за это самоуважением, но он упорствовал, надеясь, что она распознает истину, увидит, что налицо общеизвестные признаки неладного, кризиса в отношениях; может быть, в конце концов он сумеет высвободиться из ловушки.

Но она была неуклонно добра к нему. Когда сердилась, это редко продолжалось долго. Убежденная феминистка, которую окружали женщины, не доверяющие мужчинам, она по-прежнему делала для него исключение. Относилась к его работе серьезно, давала полезные советы. Стирала его одежду, мыла посуду, которую он взял моду оставлять после еды где попало. И чем больше она ему угождала, тем крепче его держала ловушка. Этому способствовала его благодарность ей за уважение, боязнь лишиться этого уважения, способствовали его обещания, громкие

заявления, которые он сделал вначале, – топливо, питавшее ее идеализм и, до поры, его идеализм. И поскольку в ней, как мало в ком из женщин, соединялись красота и молодость, и поскольку от любой другой ему пришлось бы скрывать, что он убийца, и поскольку он, так или иначе, был уже настолько знаменит, что слух о романе почти наверняка дошел бы до Аннагрет и нарушил ее идеальное представление о нем, другие женщины для него исключались.

Венцом всего, что удерживало его в ловушке, была дружба Аннагрет с его матерью. В 1990 году, когда они только поселились в Берлине и начали появляться на публике вдвоем, отучаясь от боязни навлечь на себя тем самым подозрения в убийстве, он взял ее с собой к родителям. Ради отца, которому он был благодарен и чьим мнением дорожил, он пошел на риск возбудить в матери ревность к Аннагрет и спровоцировать ее на что-нибудь жестокое в ее отношении. Но Катя была очаровательна. Она, похоже, оценила красоту Аннагрет, вполне достойную отпрыска семьи Вольфов, и ее юную покладистость, рядом с которой резкость Андреаса выглядела извращенной. Она хотела, чтобы Аннагрет окончила школу, а когда та сказала в ответ, что предпочитает закатать рукава и помогать другим, Катя подмигнула ей:

– Возражений нет. Но тогда пообещайте, что пойдете вместо школы в мой университет. Будете учиться у меня в свободное время, мы поработаем над вашим английским, и, поверьте мне, скучно вам не будет. Уж я-то знаю, что скучно, а что нет.

Она подмигнула еще раз. Инстинктивно встревоженный этим предложением, Андреас, когда они вернулись домой, рассказал Аннагрет худшее, что знал о Кате, то, о чем доселе молчал из страха навести ее на мысль о наследственном нездоровье, которое может быть присуще и ему. Выслушав его с серьезным видом, Аннагрет сказала, что Катя все равно ей нравится. Нравится уже потому, что родила его, Андреаса. Нравится – что бы он ни говорил – потому, что явно очень его любит. И чудо обладания телом Аннагрет было для него тогда еще так ново, что он не стал возражать против предложения Кати. Он убедил себя, что, может быть, решит проблему Кати, перепоручив ее Аннагрет.

А вот с матерью Аннагрет дело обстояло плохо. Она по-прежнему давила на полицию, чтобы та расследовала исчезновение ее мужа, но ее знали как воровку и наркоманку, она недавно вышла из тюрьмы и впечатление производила соответствующее. Полиция честно призналась ей, что уголовное дело потеряно и она мало что может сделать, помимо распространения фотографии ее супруга. Мать попыталась заручиться

помощью овдовевшей матери Хорста, и свекровь передала ей то, что два года назад ей сказали в Штази: что он сбежал на Запад. Его мать по-прежнему ждала от него известия. Вскоре мать Аннагрет вновь начала употреблять. Она приходила к Аннагрет и Андреасу кланяться денег. Аннагрет холодно предложила ей бросить наркотики и поискать работу где-нибудь за границей, где нужны няни. Неприязнь Аннагрет к ней была искренней и вместе с тем удобной: она защищала ее от чувства вины перед матерью, вины в гибели ее мужа. Мать продолжала к ним приставать – появлялась у двери и начинала распространяться о неблагодарности Аннагрет, – пока наконец ей не удалось обменять свою внешность на наркотики и сойтись с плотником из Польши, который тоже употреблял.

Катя, напротив, была к Аннагрет добра как ангел. После того как в 1993 году умер отец Андреаса, она сохранила старую квартиру на Карл-Маркс-аллее. Она ушла из университета и, выдержав приличную двухлетнюю реабилитационную паузу, возобновила работу в качестве приват-доцента и опубликовала книгу об Айрис Мердок, встреченную восторженными рецензиями. Каждое утро проходила в быстром темпе восемь километров и часто наезжала в Лондон со своей собачкой породы лхаса апсо по кличке Лессинг. Когда Катя была в Берлине, Аннагрет виделась с ней по меньшей мере раз в неделю. Аннагрет взяла на себя неблагодарную работу по поддержанию внешней семейной благопристойности, и эта система действовала во многом так, как надеялся и рассчитывал Андреас, – но только вот близость двух женщин породила в нем сумасшедшую ревность.

Он не предвидел этого. Серьезность Аннагрет никогда не была ему так невыносима, их несоответствие друг другу так очевидно, как в те вечера, что она проводила у его матери. Он винил Аннагрет и в ее симпатии к Кате, и в том, что она сама Кате нравилась. И его ревнивая злость не находила приемлемого выхода. Даже когда они с Аннагрет ругались, его голос делался всего-навсего сухим, рациональным. Она терпеть не могла этот сухой, как мел, голос, но он был эффективен против того, что она, раскрасневшись, выпаливала. Он – хороший человек, он вполне владеет собой и вообще все держит под контролем. Но когда ей случалось пробыть у Кати даже на полчаса больше, чем предполагалось, это повергало его в такую ярость, что он с расширенными глазами, с колотящимся сердцем мог только сидеть, прижав руки к бокам, и всеми силами стараться предотвратить взрыв. Это было до того необычно, что он стал подозревать в себе какое-то иное “я”, которого в других людях нет, а в нем жило всегда. Очень странное, болезненное, особенное “я”.

Этого другого человека в себе он начал называть Убийцей, и, подобно нейтрину или эзотерическому бозону Хиггса, Убийцу можно было обнаружить, засечь только косвенно. Подвергая свою внутриатомную структуру строгому, объективному изучению, исследуя глубинное строение своего несчастья, беря на заметку некоторые странные, ускользающие фантазии, он мало-помалу выработал теорию Убийцы, установил парадоксальные эквивалентности и искривления времени, которые тот порождал. К примеру, скука и ревнивая злость были эквивалентны. И то и другое имело отношение к недовольству Убийцы тем, что он не получал предмет своих вождлений. Убийца злился на Катю, лишавшую его этого предмета, и не меньше злился на саму Аннагрет. И что же это был за предмет? Согласно его теории, это была пятнадцатилетняя девушка, ради которой он пошел на убийство. Он считал, начиная с ней жить, что его привлекают ее хорошие качества, способные спасти его, возродить, но в глазах Убийцы она была такой же убийцей, лгуньей, соблазнительницей. Ее серьезный взгляд в постели потому его возбуждал, что возвращал к ночным делам за родительской дачей, к трупу мужчины, которого она соблазнила, которому лгала, которого помогла убить. Чем больше она становилась хозяйкой самой себе, подругой его матери и многих других женщин, тем труднее ему было разглядеть в ней ту, пятнадцатилетнюю.

Лишенный удовлетворения этого конкретного сорта, он стал склонен к фантазиям, насылаемым Убийцей, иные из которых так роняли его в собственных глазах (например, побуждение осквернить Аннагрет, пока она спит), что требовалась вся его воля и вся его честность, чтобы определить, прежде чем прогнать наваждение, к какому времени оно относится. В состав всех этих фантазий без исключения входила ночная темнота – темнота родительской дачи, темнота коридора, по которому он раз за разом пробирался в некую спальню. В его внутриатомном “я” не было устойчивой хронологии. Предмет его вождлений еще не обзавелся пирсингом и шипастой прической, еще не начал носить тонкие блузки в индийском стиле, и не в том дело, что Андреас “тайно” предпочитал пятнадцатилетних (если такое и было, он это перерос), а в том, кто помог ему совершить убийство: та, социалистическая Аннагрет, девочка-дзюдоистка. И не просто помогла, а *принудила* его убить; была *равнозначна* убийству. Старшая Аннагрет, в стремлении загладить убийство доводившая свой альтруизм до абсурда, не удовлетворяла Убийцу ни на йоту, и поэтому Убийца в насылаемых им наваждениях обращал время вспять и делал ее снова пятнадцатилетней. Мало того: когда Андреас пристально исследовал иные из фантазий, порой оказывалось, что по темному коридору в спальню,

где она спит, пробирается не он, а ее отчим. Андреас одновременно был и убитым, и убийцей, и поскольку в его памяти существовал еще один темный коридор – коридор между его детской спальней и спальней матери, – хронология искажалась еще сильнее: его мать, оказывается, родила чудовище – отчима Аннагрет, и этим чудовищем был теперь он сам, убивший чудовище, чтобы стать им. В сумрачном мире Убийцы никто не умирал окончательно.

Он был бы рад не верить своей теории, был бы рад отмахнуться от нее, как и от всей современной физики с ее заумью, но качеством, которое он больше всего в себе ценил, было нежелание лгать самому себе, и как бы он ни был занят и сколько бы ни ездил по свету, раз за разом наступал вечер, когда он сидел дома один и испытывал смертоубийственную ярость, которую он мог объяснить только одним способом.

В один из таких вечеров Аннагрет вернулась от его матери с особенно серьезным лицом. Он сидел на диване, даже не делая вид, что читает. Он едва удерживался от того, чтобы бить кулаком по стене, – до того все было плохо.

– Ты собиралась вернуться к девяти, – выдавил он из себя.

– Засиделась, мы много о чем разговаривали, – сказала Аннагрет. – Я спросила ее про пятидесятые, как тогда было в стране. Услышала много интересного. Но потом – очень странно. Кое-что важное. Можно сейчас с тобой поговорить?

Он чувствовал на себе ее взгляд и заставил губы изогнуться кверху, изображая улыбку.

– Ну конечно.

– Ты ел?

– Я не голодный.

– Я попозже сварю лапшу. – Она села рядом с ним на диван. – Твоя мама рассказывала про карьеру твоего отца, какой он был блестящий человек, как он много работал. А потом вдруг сделала паузу и сказала: “У меня был любовник”.

Ярость, которую он ощущал внутри, стала титанической. Как не взорваться? Каким это было бы облегчением – взорваться! Как это, должно быть, чудесно было – разможжить череп лопатой. Вот бы вспомнить – пережить сызнова – облегчение, которое он тогда испытал! Вспомнить не получалось. Но мысль немного его успокоила; дала что-то, за что можно ухватиться.

– Интересно, – пробормотал он.

– Да. Я ушам своим не поверила. Ты говорил, она всегда это отрицала.

Я боялась попросить ее что-то рассказать, а сама она не стала. “У меня был любовник” – и все. Переменила тему. Но как-то по-особенному на меня смотрела – не знаю, как будто хотела убедиться, что я обратила внимание на эти слова.

– Гм.

– Но послушай, Андреас. Я знаю, мы никому не можем открыть наш секрет. Я это знаю. Но я так часто с ней вижусь, ей уже за семьдесят, она твоя мать. У меня возникло побуждение ей признаться, и было чувство, что побуждение верное. Я уверена, что она никому бы не сказала. Может быть, сказать ей – как ты думаешь?

Он и мысли подобной не допускал. Сказать Кате – как Аннагрет могла вообразить такое? Его внутреннему взору открылись невообразимые доселе панорамы женской близости. Покладистая Аннагрет – мостик, по которому Катя хочет добраться до него. Доверчивая, серьезная Аннагрет; Аннагрет, готовая предать его. Возвращается домой в десять тридцать, хотя обещала в девять: так долго пробыла у Кати. Говорили, говорили, говорили. Бабы, бабы, бабы. Он был вне себя.

– Ты в своем уме? – спросил он.

– В своем, – ответила она, мигом готовая обороняться. – И она тоже. Я думаю, она теперь в лучшем состоянии. Я знаю, с ней было трудно, когда ты был мальчиком, но те времена давно прошли.

Знает? *Трудно?* Ничего она не знает. Никто не знает и не может знать, каково это – быть сыном Кати. Каково это, когда день за днем мать трахается с тобой на психическом уровне, а ты не только слишком мал и слаб, чтобы с этим бороться, но даже сердиться не можешь, потому что, соблазненный ею, сам этого хочешь. Аннагрет хотела этого от отчима неделю или две, месяц самое большее. Андреас хотел этого все детство. И тут еще одна ловушка, потому что, в отличие от Аннагрет, он не был физически поруган, не мог так легко, как она, женщина, претендовать на статус жертвы. Ему надо было жить, допуская возможность, что в Кате нет и никогда не было ничего чудовищного. Ее версия действительности была безупречна, особенно в теперешнем возрасте: грехи молодости либо позабыты, либо сведены на нет каким-нибудь изящным словом, отдающим французским языком, – например, “любовник”. Она всегда настаивала, что проблема в нем, что она была ему хорошей, любящей матерью, а думать иначе – болезненное заблуждение с его стороны. И ведь не кто иной, как он, сидел тут часами, охваченный ревнивой злостью, пока дамы предавались уютной беседе.

– От признания может стать легче, – сказала она. – Иногда мне

кажется, ты забыл, что признался отцу. Я не собираюсь признаваться кому попало.

ГОТОВ УБИТЬ ЕЕ ГОЛЫМИ РУКАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС.

– Начнешь признаваться... – произнес он сухим, как мел, голосом.

– И что?

– И где кончишь?

– Я предлагаю сказать *одному человеку*. Твоей матери. Не хочешь? Твой отец проявил сочувствие, и тебе лучше стало. Твоя мать, я уверена, еще больше сочувствия проявит, она ведь сама совершала ошибки, она знает, каково это.

Вдруг температура его ума изменилась скачком, как бывает. В более прохладном состоянии он представил себе, что мать знает об их поступке. Перед Катей у него поистине было меньше причин стыдиться, чем перед кем бы то ни было на свете, Катя была для него воплощением испорченности – и все же он почувствовал, что ему было бы стыдно. Стыдно, что он убийца. Стыдно за все в себе до последней частички, за все вплоть до этой минуты. Задушить, чтобы молчала, свою милую, сладкую дзюдоистку? Да что с ним такое?

Не глядя ей в глаза, он повернулся к ней и зарылся лицом в ее грудь. Перекинул ноги ей на колени, обнял за шею. Похоже было на это дурацкое фото Джона Леннона, обнявшего Йоко, но какая разница. Ему нужны были эти объятия. Она не просто хорошая, а больше, потому что не всегда была хорошая. Знала, каково быть плохой, и выбрала – быть хорошей.

– Прости меня, – прошептала она, глядя его по голове, баюкая. – Я не хотела тебя огорчать.

– Тс-с.

– Тебе нехорошо?

– Тс-с, тише.

– Что с тобой?

– Нельзя ей говорить.

– Можно, я считаю. Нужно.

– Пожалуйста, не надо. Нельзя.

Он заплакал. И в нем снова, почуяв в его слезах, в возврате к детскому состоянию, возможность для себя, зашевелился Убийца. Убийце нравился возврат. Ему нравилось, когда Андреасу четыре, а Аннагрет пятнадцать. Вслепую, с зажмуренными глазами, он стал искать губами ее губ. В первые мгновения ее губы были раздвинуты и доступны, но потом, словно она была потенциальной добычей, не видящей, но чующей Убийцу, она отвернула лицо.

– Надо договорить, – сказала она.

Говорить, говорить, говорить. Слова, слова, слова. Он ненавидел ее. Нуждался в ней, ненавидел ее, нуждался, ненавидел. Не открывая глаз, он опять попытался поцеловать ее.

– Я серьезно, – сказала она, силясь встать. – Убери, пожалуйста, ноги.

Он убрал ноги с ее колен и открыл глаза.

– Сходи к священнику, – предложил он.

– Что?

– Если уж ты хочешь исповедаться. Найди католическую церковь, зайди в будку, скажи, что тебе нужно сказать. И легче станет.

– Я не католичка.

– Я не могу тебе запретить с ней видеться, но мне это не нравится.

– Она боготворит тебя! Ты для нее чуть ли не Иисус.

– Она боготворит то, что видит в зеркале. Мы для нее просто полезные объекты. Чем больше ты ей расскажешь, тем легче ей будет нас использовать.

– Прости, но я думаю, ты совершенно неправ.

– Отлично. Пусть я неправ. Но если ты ей расскажешь, я не смогу с тобой дальше жить.

Кровь бросилась ей в лицо.

– Тогда, может быть, нам не надо жить вместе?

– Может, и не надо. Может, тебе с ней лучше жить.

– Я пытаюсь поддерживать близкие отношения с твоей матерью, потому что ты этого не можешь. Я тебе оказываю большую услугу, а ты ревнуешь!

– Я не ревную.

– По-моему, ревнуешь.

– Ничего подобного.

Все, что говорила она, было справедливо, все, что он, – лживо до единого слова. И при этом он был хорошо оплачиваемым консультантом по вопросам исторической правды и национального примирения, и куда бы он ни поехал, люди были чрезвычайно ему рады. Его расхваливали за честность и открытость, над его непочтительными шутками дружно смеялись, на фотоснимках он всегда смотрелся выигранно. И тут тоже ловушка. Всюду ловушка.

Тем временем утечки продолжали поступать – в простых коричневых конвертах, в бандеролях без обратного адреса. Немец, да еще восточный, он был консерватором в отношении технологий и по-прежнему мыслил в терминах бумажных документов и дискет. Даже летом 2000 года у них с

Аннагрет был всего лишь один на двоих домашний компьютер и электронный адрес. Занимаясь организацией неформальных групп, она опережала его по части технологий. Все чаще и чаще, приходя домой, он заставлял ее в кресле за клавиатурой, с мышкой под рукой и с кружкой чая, придавшую своему гибкому телу странное положение: колени подтянуты к подбородку, руки их огибают, – и ему думалось: *господи, и так до конца моих дней?* Убийца внутри него истолковывал увиденное так, что она защищается интернетом от его, Андреаса, подлинного “я”. Оторвать ее от компьютера не было никакой возможности.

Но потом она оказала ему услугу – спасительную, так казалось. Побудила его купить собственный мощный компьютер и активно им пользоваться. Что он и делал. Ночью ткал сеть недовольных и хакеров, из которой вырос проект “Солнечный свет”; днем, когда Аннагрет уходила в свой общественный центр оказывать поддержку тем, кто в ней нуждался, он смотрел порнуху. Второе даже в большей мере, чем первое, подсадило его на интернет и убедило в способности интернета делать мир иным. Внезапная доступность порнографии, анонимность использования, ликвидация авторского права, мгновенность удовлетворения, масштаб виртуального мира внутри реального, глобальность файлообменных сетей, чувство господства, которое дает компьютерная мышь, – да, потенциал интернета огромен, особенно для тех, кто несет солнечный свет.

Лишь много позже, когда интернет стал означать для него *смерть*, он понял, что *смерть* проглядывала уже тогда, в онлайн-порнографии. Как и всякая навязчивость, его навязчивая потребность видеть секс на экране, быстро начавшая пожирать многие часы, отдавала смертью, ибо устраивала в мозгу короткое замыкание, сводила личность к замкнутой цепи “воздействие – отклик”. Но было, кроме того, уже в те ранние дни протоколов доступа и групп новостей категории *alt* ощущение безмерной громадности, которое будут рождать зрелый интернет и его социальные сети; в загруженных изображениях чьих-то голых жен, сидящих на унитазах, – характерное стирание границы между частным и публичным; в умопомрачительном *количестве* голых жен, сидящих на унитазах – в Мангейме, в Любеке, в Роттердаме, в Тампе, – предвестие растворения индивидуальности в массе. Мозг, низведенный машиной к цепям обратной связи, частно-личное – к публично-общему: личность, по существу, здесь уже убита.

И смерть, конечно, была сущей приманкой для Убийцы. Образы на экране компьютера отвлекали Андреаса от мыслей о темных коридорах и тайных осквернениях, и какое-то время ему казалось, что он нашел способ

сделать жизнь с Аннагрет сносной и сейчас, и в дальней перспективе. Он помнил – и это позволяло ему не ронять себя в собственных глазах – об эксплуатации женщин, которых видел на экране, мужчинами, он, возбуждаясь от нее, осуждал ее, а затем, удовлетворив свою потребность, мог оставаться на высоте и в глазах Аннагрет. Перефразируя песню *Muffin Man* Фрэнка Заппы, ей, думала она, нужен мужчина, но оказалось, что ей нужен кексик. Может быть, она наказывала его за то, что он не разрешил ей признаться Кате, может быть, это была гендерная политика, может быть – просто нормальный ход вещей; так или иначе, ей, видимо, не важно было, будет у них когда-нибудь снова секс или нет. А хотела она – о чем в своем стиле, налегая на общие понятия, недвусмысленно просила – *близости и единения*. Они обеспечивались невинными ласками, которых Андреасу, удовлетворявшему свою потребность иначе, было вполне достаточно. Интернет им обоим облегчил возможность быть как дети.

Прошло полгода, прежде чем он понял, что не только не выбрался из ловушки, но еще хуже в ней застрял. Он был убежден, что, если не удастся наладить жизнь с красавицей Аннагрет, к которой его привязывает общая тайна и его старая надежда на искупление, у него никогда потом не наберется столько надежды, чтобы наладить жизнь с кем бы то ни было. Уйти от нее значило бы признать, что с ним что-то всегда было не так. Но с ним *действительно* что-то было не так. Тяга к мастурбации была у него теперь еще более навязчивой, чем в подростковые годы. Повторение объективно вызывало скуку, но прекратить он не мог. Благие заклинания, добросовестные усилия, направленные на то, чтобы вообразить обстоятельства, при которых юная девушка позволяет троим русским бандитского вида эякулировать себе в лицо перед камерой, и на то, чтобы испытать к этой девушке сочувствие, уже не давали результата. Происходящее в виртуальном мире, где красота существует для того, чтобы быть ненавидимой и поруганной, было убедительней, чем происходящее в мире реальном, где красота, похоже, вообще ни для чего не предназначена. Он стал бояться прикосновений Аннагрет. Когда он видел, что прикосновение вот-вот произойдет, он делал глубокий вдох, чтобы не отпрянуть. Близость и единение были в точности тем, чего он не мог сейчас вынести, и ему позарез нужно было контролировать себя, чтобы она, не дай бог, не заметила и не бросила его с отвращением. Без идеализации с ее стороны он не видел для себя никакой надежды. Ему стало приходиться в голову, не самоубийства ли, не его ли собственной смерти хочет от него Убийца на самом деле.

Хотя он знал, что Убийца его враг, он никогда не мог заставить себя

возненавидеть его по-настоящему. Всякий раз, как он пытался сказать себе, что ненавидит его, ум делал шаг вспять и становилось ясно, что он лжет самому себе: он не хотел, если по-честному, быть чем-либо иным, нежели был. С наибольшей очевидностью это проявлялось в отсутствии чувства вины из-за убийства Хорста Кляйнхольца. Он никогда не был в состоянии пожалеть о своем поступке. Более того, в минуты полной откровенности с собой он был бесконечно рад, что его совершил. То же самое – по поводу самоудовлетворения перед мощным компьютером. Он осуждал свое поведение исходя из принципов, в которые хотел верить, но возненавидеть его здесь и сейчас не мог никогда. Вместо этого он негодовал на Аннагрет, на свое морализирование, на свои обязанности, мешающие сполна предаться навязчивой страсти. Дело, однако, обстояло сложнее: когда его зоркое “я” отступало от компьютера, за которым он сидел сгорбленный, позволив брюкам упасть до щиколоток, зрелище было ему ненавистно. Он не так был устроен, чтобы ненавидеть себя субъективно, но он ненавидел себя как объект в окружающем мире. Как позорный, отвратительный объект, с которым что-то было не так, совсем не так. И ему начало приходить в голову, что Аннагрет и его матери, возможно, было бы лучше без этого объекта; что ему в юном возрасте следовало прыгнуть с моста повыше.

В состоянии, близком к отчаянию, он написал Тому Аберанту. В прошедшие годы они с Томом обменивались только открытками. В открытках Тома чувствовалась та легкая американская ирония, что нравилась в нем Андреасу, но не было исповедальной теплоты, побудившей в свое время Андреаса открыться ему в ответ. В письме он попытался оживить эту теплоту. Он написал, что понимает теперь, каково было Тому в браке; упомянул с рассчитанной ноткой самоуничижительного юмора, что чересчур увлекся интернет-порнографией; солгал, что, возможно, ему вскоре надо будет в Нью-Йорк по делам. Тому не должно было составить труда увидеть завуалированную мольбу о помощи. Но в открытке, которой он ответил, была все та же легкая ирония, все та же дистанция и не содержалось предложения увидеться в Нью-Йорке.

Спасение, как это ни удивительно, Андреас получил из рук матери. В дождливую сентябрьскую пятницу, за четыре дня до сокрушительной атаки “Аль-Каиды”, он по ее приглашению пришел к ней пообедать. Он припоздал, потому что счел необходимым испытать перед уходом еще один оргазм, привести себя на время визита в состояние возможно большего упадка. Подавленность тоже своего рода наркотик, она должна была притупить побуждения спорить с Катей и противоречить ей. Чем меньше

открывать перед ней рот, тем лучше. Самое лучшее было бы вообще к ней не ходить, но она сказала, что хочет обсудить с ним будущее Аннагрет. И намекнула на некую связь со своим новым завещанием.

Последнее, разумеется, оказалось ложью. Когда она еще расхаживала по квартире, с важным видом ставя на стол готовые блюда, купленные в торговом центре, Андреас отрешенным тоном спросил ее о завещании.

– Я тебя не о завещании разговаривать пригласила, – ответила она. – Это мое личное дело.

Он вздохнул.

– Я спросил только потому, что ты упомянула о нем, когда позвонила.

– Одно к другому не имеет отношения. Сожалею, если ты подумал иначе.

Наркотик действовал. Он не стал спорить.

– У тебя усталый вид, – сказала она.

– Компьютерный век, что ты хочешь.

Когда сели за стол, к ней подошел ее песик. Она улыбнулась Андреасу.

– За каждой едой одна и та же маленькая пантомима.

– Что за пантомима?

– Пантомима сдержанности и дисциплины.

– Помню очень хорошо.

– Лессинг, – обратилась она к животному, – попрошайничество тебе не к лицу.

Песик тявкнул и положил лапы на ее худощавое бедро, прикрытое льняной тканью.

– Ужас, – сказала она. – Словно это я его собачка. – Она дала Лессингу кусочек жареной картошки. – Вот тебе, и будь доволен. Больше ничего не получишь.

– Ну так что же, – сказал Андреас. – Я не очень голоден, и у меня много работы.

– Понимаю, понимаю. Глупо было с моей стороны рассчитывать, что ты будешь рад провести пару часов с твоей овдовевшей родительницей.

– Ты прекрасно отдаешь себе отчет, что тебе приятней читать про меня, чем общаться со мной лично. Так зачем притворяться?

Песик опять положил лапы ей на бедро. Она дала ему еще картошки.

– Суть вот в чем, – сказала она. – Меня беспокоит Аннагрет.

При всем отупении, при всей истраченности, какую он ощущал, ему пришло в голову, что, если обед не очень затянется, у него, возможно, будет еще время за компьютером до возвращения Аннагрет. В реальном мире, где он обитал, он не находил для себя ровно ничего привлекательного.

– Андреас, – сказала Катя, – я думаю, ей, может быть, придется уйти от тебя.

– Что-что, прости?

– Ты знаешь, как я ее всегда любила и люблю – почти как родную дочь. В каком-то смысле она *и есть* моя дочь. Другой матери у нее, по существу, и нет.

– Интересно. Выходит, я сплю со своей сестрой?

– Оставляю на твоей совести эту мысль и то, что ты ее высказал. Ты знаешь, что я не это имела в виду. Я имела в виду, что мы стали очень близки.

– Я заметил.

– И я знаю *тебя* лучше, чем кто-либо другой на свете.

– Ты любишь так говорить.

– Твоя будущность меня не тревожит и никогда не тревожила. Ты доминирующая личность, ты рожден доминировать, и все это чувствуют. Что бы ты ни делал, мир найдет способ любить тебя за это. Ты необыкновенный с первого же дня жизни.

Перед его мысленным взором возник этот необыкновенный человек, доминирующая личность, сорок пять минут назад: брюки спущены, рука трудится вовсю.

– Ты любишь так говорить, – повторил он.

– Аннагрет не такая, как ты. Она умная, способная, но не выдающаяся. Она восхищена тобой, но не такая, как ты. И я боюсь – я могу только предполагать, – что она решила, что ей не место рядом с таким выдающимся, доминирующим человеком. Другого объяснения я не вижу. И... – Лицо Кати отвердело. – Мне очень неприятно это говорить. Но я думаю, что она права.

– Продолжай, – сказал Андреас.

– Это должно остаться между нами.

– Конечно.

– Лессинг! – Она дала ему целую отбивную котлету, и пес, семеня, удалился с ней. – Ну, счастлив теперь? – насмешливо крикнула она вслед.

– Рассеивается тайна вокруг того, как тебе удастся оставаться такой стройной, – заметил Андреас.

– Аннагрет мне кое в чем призналась.

Он почувствовал головокружение.

– Я ей обещала, что не скажу тебе. Нарушаю обещание, но виноватой себя чувствовать не буду. “Считать не должно это за обман”^[102], – процитировала Катя кого-то по-английски. – Помимо прочего, думаю, она

понимала, что я с тобой поделюсь. Сказала, ей надо облегчить свою совесть, – но почему именно *мне*? Она прекрасно знает, кем я тебе прихожусь.

Он нахмурился.

– Андреас, она тебе не подходит. Я думала, что буду последней, кто это скажет. Но она действительно тебе не подходит, и я очень сердита на нее сейчас. В каком-то смысле она и меня предала.

– О чем именно идет речь?

– Разумеется, в твоей жизни с ней не все гладко. Никакая пара не может прожить десять лет так, чтобы все было абсолютно гладко. Но посмотри на себя! – Она окинула его фанатически вспыхнувшим взглядом. – Она не должна любить никого, кроме тебя!

Способам, какими мать могла выводить его из равновесия, похоже, не было конца. Не раз ему казалось, что он всё уже испытал, что она истощила свой запас. Но она находила, что предъявить.

– Аннагрет думает обо мне лучше, чем я заслуживаю, – негромко промолвил он. – Я не совсем здоровый человек.

– Я могу только гадать, что она о тебе думала, но сейчас у нее, как выясняется, возникли некие отношения с женщиной из ее общественного центра. Не знаю, насколько далеко это зашло, но, как бы то ни было, достаточно далеко, чтобы она ощутила потребность поделиться – и с кем? – *со мной*. Ну, я не знала, что ей на это сказать. Я спросила, не думает ли она, что может быть лесбиянкой. Она сказала – нет, не думает. Толком уразуметь то, что она говорила, было трудно, но эта женщина, как я поняла, старше нее, и у них такая “дружба, которая больше чем дружба”. Она раз за разом повторяла выражение “близость особого рода”, что бы оно ни значило. И хотела, чтобы я – я! – разъяснила ей смысл.

Он знал, кто эта женщина.

– Ее Гизела зовут?

– Андреас, я всю жизнь изучаю литературу. И в человеческой психологии немножко разбираюсь. Что я вижу – это что Аннагрет тебе не подходит и знает это. Но я не тот человек, который ей это скажет. Честно говоря, я не уверена, что мне хочется ее когда-либо еще раз увидеть.

Если верить Кате (а это, конечно, серьезное “если”), Аннагрет преподнесла ему потрясающий подарок: *deus ex machina*, выход из ловушки. Но он не спешил радоваться. Выглядело так, что Аннагрет знает о нем больше, чем он думал, испытывает к нему отвращение и сознательно сблизилась с другим человеком ради того, чего от него не получала. Будет ли она чувствовать себя настолько виноватой, чтобы держать язык за

зубами после того, как освободится от него?

– У людей часто бывают связи на стороне, – сказал он. – У тебя были романы, и ты оставалась замужем. Это не всегда значит что-то серьезное.

– Если бы это у тебя был роман, – возразила Катя, – он мог бы и не значить ничего серьезного. У тебя артистическая душа, она по ту сторону добра и зла. Но Аннагрет слишком мелка для тебя. И знает это. Она сама мне сказала, что ей очень трудно жить в твоей тени.

– Я не видел никаких признаков этого.

– Она не хотела тебе говорить. Она мне сказала. И обратилась за утешением к этой своей особой подруге, о чем тоже мне сказала. У тебя же хорошо с математикой – сколько будет дважды два?

– Тошнотворный разговор у нас сейчас.

– Прости меня. Я знаю, как нежно ты к ней относишься. Но я действительно больше не хотела бы ее видеть. Я на твоей стороне, а не на стороне той, кто считает возможным тебя предать.

Он встал и вышел из-за стола. Если верить Кате, Аннагрет винит себя и по-прежнему идеализирует его. Выход для него открыт. Но в тот же миг он почувствовал, что ему страшно ее жалко. Она по-прежнему его боготворит, считает себя ниже него, и ей стало так одиноко, что она прибилась к Гизеле; вдруг в нем ожило то сладкое сочувствие, что он испытал в церкви на Зигфельдштрассе, а вместе с ним – вся надежда, которую он в прошлом связывал с Аннагрет, невинное стремление стать лучше, которое у него было, пока он не погрузился в грязь и сомнение. Его милая утраченная юная дзюдоистка...

– Андреас, – мягко обратилась к нему мать. Он повернулся к ней, силясь не расплакаться.

– Зря ты сказала мне!

– То, что из любви, не может быть зря.

– Зря! Зря!

Он ринулся за дверь, мимо лифта, вниз по лестнице – туда, где можно было рыдать, не опасаясь, что мать услышит. Годы прошли с тех пор, как он испытал хоть какой-то намек на счастливую жизнь с Аннагрет. Все в его унылом существовании, вплоть до раздраженного, истертого члена в трусах, говорило, что продолжать с ней бессмысленно. Хуже, чем сейчас, ему после расставания уже не будет, а ей без него станет только лучше. Но утешения эти доводы не приносили. Никогда ему не было так горько. Похоже, он все-таки любит ее по-настоящему.

Горечь, однако, миновала. Еще по дороге домой он увидел свое будущее. Он никогда больше не попытается соединить жизнь с женщиной,

никогда не повторит эту ошибку. Почему-то (может быть, виновато детство) он к этому не пригоден, и надо быть сильным и принять это. Компьютер его расслабил. Вдобавок пришло постыдное смутное воспоминание, как он положил ноги ей на колени, захотел стать ее ребенком. Слабак! Слабак! Но сейчас мать своим вмешательством дала ему повод избавиться и от нее, и от Аннагрет. Двойное *deus ex machina* – удача для человека, рожденного доминировать. В том, что именно Катя заставила его увидеть собственную слабость и пробудила в нем более сильную личность, была, конечно, своя ирония. Лгунья, она, надо признать, сказала о нем правду. Да, ирония: новообретенной свободой он будет обязан ей. Но прощать ей отвратительное вмешательство он не собирался. Она исключила себя из любого его будущего.

Дома он очистил жесткий диск от загруженной похабщины. Навязчивое состояние, запой, который он пережил, было ценой, заплаченной за новое ощущение трезвости и цели, и цена не казалась чрезмерной. Он вымыл и вытер посуду. Он предвидел, что скоро начнет приводить туда, где будет жить, других женщин, одну за другой, как пристало сильному мужчине, и квартира должна иметь чистый и опрятный вид, быть жильем собранного человека.

Он сидел с прямой спиной за компьютером, отвечая, как пристало собранному человеку, на скопившиеся электронные письма, когда пришла Аннагрет с какими-то удручающего вида органическими овощами в сетчатой сумке.

– Я только переодеться, – сказала она. – У нас акция в поддержку забастовки квартиросъемщиков.

– Отлично, – отозвался он. – Но сядь на минутку.

Она робко, боком вошла в комнату и села на краешек стула, глядя в пол. Казалось, от нее, как излучение, исходит чувство вины. Странно, что он раньше не замечал. Он заранее тщательно составил в уме фразы, которые ей скажет, но теперь, когда пора было их произнести, он колебался. Горечь все-таки еще чувствовалась, и новообретенная уверенность в себе наводила на мысль, не сказать ли ей нечто совсем иное: *Хватит дурью маяться, хватит ласкаться по-телячьи. Разденься догола. У нас теперь все будет по-другому.* Не исключено, что она обрадуется; не исключено, что это будет спасением. Но более вероятно, что она откажется и ему от этого станет больно и стыдно, и на свете есть, как бы то ни было, множество других женщин, с которыми можно говорить на таком языке. Их соблазнительность он тоже ощущал сейчас по-новому.

– Нам не очень хорошо вместе, – сказал он.

Она наклонила голову и переместилась на стуле – ей явно стало не по себе.

– Я сама вижу, у нас сейчас трудный период. Мы не очень близки последнее время. Я знаю. Но...

– Я знаю про вас с Гизелой.

Она густо покраснела, и он опять ощутил сочувствие к ней, но, кроме того, в первый раз гнев. Да, она предала его, Катя верно сказала. До этого момента он совсем не чувствовал злости.

– Иди к ней, – сказал он холодно. – Живи с ней. А я себе найду другую квартиру.

Она наклонила голову еще ниже.

– Это не то, что ты думаешь...

– Мне все равно, что это. В любом случае это только повод. Нам не надо быть вместе.

– От кого ты узнал?

– Люди мне несут всякую грязь. Это моя работа – узнавать.

– От Кати?

– От Кати? Нет. Но это неважно. Скажи честно: тебе нравится быть со мной?

Она ответила не сразу.

– Раньше было лучше, – сказала она, – когда было больше близости... Ты хороший человек... Замечательный человек. Просто...

– Что?

– Иногда я не могу понять, почему ты вообще захотел со мной жить.

Убийца в нем наострил уши.

– Ты сказал, что мы предназначены друг для друга, – продолжила она. – Но я знала в душе, что это не так. Я думала, лучше нам быть врозь, чтобы не было такого чувства вины, но как только мы стали жить вместе, получилось, что мы были виновны с самого начала.

– Я любил тебя. Я совершил ошибку.

– Я тоже тебя любила. Но нельзя было этого делать.

– Нельзя было.

Она заплакала.

– А теперь мы никогда этого не преодолеем.

– Преодолеем, если расстанемся.

– Я так устала жить с этим. Я плохо сейчас себя повела, я знаю, прости меня, хоть это и не то, что ты думаешь. Мне кажется, у меня была мысль: “Все равно я виновата – какая разница, как я поступаю?”

– Я рад, что ты так поступаешь. У меня бы духу не хватило.

Он задался вопросом, не рассказать ли ей про компьютер – не признаться ли в своих собственных прегрешениях, не облегчить ли ее переживания, деля вину на двоих. Но Убийца сказал: нет. У Убийцы была сейчас одна цель: сделать так, чтобы она никогда не почувствовала, что имеет моральное право предать его, рассказав кому-нибудь об убийстве. Хотя ему больно было видеть, как она плачет и просит прощения, вместе с тем это его успокаивало. Она до сих пор страдает, до сих пор чувствует себя дрянью из-за своего влечения к Хорсту, из-за того, что позволяла ему то, что позволяла, и, жалея ее, Андреас в то же время радовался грядущей свободе. Сладкой свободе безнаказанности, свободе от общества ее серьезных и безвкусно одетых подруг, свободе от всех и всяческих обсуждений.

– Мы могли сесть на десять лет, – сказал он. – А вместо этого десять лет прожили вместе. Может быть, это и была наша тюрьма. Может быть, мы отбыли срок. Тебе только двадцать восемь – можешь делать теперь что хочешь.

– Ты прав. Это начинало ощущаться как тюрьма. Это... Боже мой! Прости меня.

– Выйдешь из тюрьмы, и все наладится.

– Прости меня!

– Не надо просить прощения. Иди, и все. Иди на свою акцию.

Когда она ушла, горечь вернулась. Он приветствовал ее, чуть ли не наслаждался ею, потому что это было реальное чувство, не запятнанное сомнениями относительно его, Андреаса, скрытых побуждений. Как и сочувствие, из которого она выросла, она внушала надежду, что с ним, может быть, все не так плохо в конце концов. Может быть, если он остережется жить с другой женщиной, он сумеет соответствовать своему образу в умах других людей. Может быть, Убийца – только фикция, сотворенный воображением плод его потрепанного, но здорового в основе своей нравственного чувства, продукт того несчастливого обстоятельства, что любовь его жизни – соучастница совершенного им убийства. Да, всего лишь несчастливого обстоятельства. Может быть, этим, только этим объясняются его недобрые чувства, злость, ревность, всеохватные сомнения, навязчивая похоть. Может быть, теперь, собравшись, он сумеет оставить все это позади.

Когда самолеты атаковали Нью-Йорк и Вашингтон, Аннагрет побежала домой удостовериться, что с ним все в порядке. Это был иррациональный, но довольно-таки обычный в тот день поступок: возникло ощущение, что если в Америке творится такая жуть, то похожее

может произойти где угодно и с кем угодно. Но они с Аннагрет отдалялись друг от друга так долго, что, когда связующая нить была порвана, они по инерции стали отдаляться еще и еще; оказалось, что у них нет ни общих друзей, ни даже общих интересов. Все, что ему осталось, – это сентиментальная и временами горькая мысль, что она была любовью его жизни.

С Катей порвать было несколько трудней. Он удалял, не слушая, ее телефонные сообщения, а когда она приходила сама, захлопывал перед ней дверь и громко щелкал задвижкой; неделю спустя он переехал в другую, не столь легкодоступную квартиру в Кройцберге. Но узнать номер его телефона было не так уж трудно, и позднее той осенью, когда он фигурировал в новостях благодаря одной из своих первых крупных утечек в интернете – разоблачению продаж немецких компьютеров Саддаму Хусейну, – ему позвонил мужчина и сказал, что располагает документом, который может его заинтересовать.

– Если это в бумажном виде, пришлите по почте, – ответил ему Андреас. – Если в цифровом – по электронной.

У позвонившего был голос пожилого человека, выговор – берлинский.

– Я бы предпочел передать это вам из рук в руки.

– Нет. Вам должно быть ясно, что я в эти дни могу опасаться за свою безопасность.

– Это не бомба. Просто документ. Он касается вас лично.

– Почта к вашим услугам.

– Боюсь, вы не поняли. Документ сообщает факты, имеющие отношение к вам персонально.

Андреас не знал, кто, помимо Тома Аберанта, способен сейчас разоблачить его как убийцу. Капитан Вахтлер, который принес ему папки в архиве Штази, давно умер (Андреас, используя свое членство в комиссии Гаука, следил за ухудшением его здоровья), но кое-кто из бывших вышестоящих или нижестоящих сотрудников теоретически может быть в курсе. В большинстве своем это немолодые люди с берлинским выговором. Не исключено, что один из них ему и позвонил.

– Чего именно вы хотите? – спросил он, выдерживая ровный тон.

– Хочу, чтобы вы помогли мне опубликовать документ.

– Хотя он затрагивает меня лично.

– Да.

Андреас согласился встретиться в библиотеке Американского Дома, где была солидная охрана. У того, кто на следующий день его там ждал, было чисто выбритое, морщинистое, в прошлом красивое лицо пьющего

человека. На вид сильно за шестьдесят, одет в нечто поношенное в стиле битников: красная водолазка, вельветовый пиджак с кожаными локтями. На бывшего сотрудника Штази не похож совершенно. На библиотечном столе перед ним лежал портфель.

– Вот мы и снова встретились, – произнес он с улыбкой, когда Андреас сел напротив.

– Мы встречались?

– Я был моложе. И с бородой. Неделю до этого ночевал под мостом.

Андреас ни за что бы сам его не узнал.

– Как поживаешь, сынок? – спросил его отец.

– Неплохо – до этого момента.

– Я слежу за твоими достижениями. Надеюсь, тебя не рассердит, что я позволяю себе чуточку тобой гордиться. Гордиться и испытывать некое личное удовлетворение, ибо, когда мы виделись в прошлый раз, ты не проявил никакого интереса к тому, чтобы узнавать секреты. Но все течет, все меняется. Теперь секреты – твоя профессия.

– Да, забавно сложилось. Так чего вы хотите?

– Было бы неплохо время от времени с тобой пересекаться.

Как объяснить тот факт, что перспектива совершенно его не радовала? Дело было не только в красной водолазке и кожаных заплатках на локтях. Дело было в том, что он хотел быть верен памяти о другом своем отце.

– Нет желания, – сказал он.

Улыбка отца стала более болезненной.

– Да, ты, конечно, заносчивый сукин сын. Рос в привилегированной семье, привык получать все, что пожелаешь. Странно было ждать от тебя чего-то другого.

– Вы неплохо все обрисовали.

– С матерью ты, полагаю, и сейчас в хороших отношениях?

– Не могу этого сказать.

– Поразительно, как мало она изменилась.

– Вы ее видели?

– Через дверь ее квартиры, очень коротко.

– Так чего вы хотите?

Его отец открыл портфель и вынул рукопись в три пальца толщиной.

– Ты нелюбопытен, – сказал он. – Но могу сообщить, что далеко не всегда получал именно то, чего желал. Меня тогда опять посадили. Когда вышел, работал таксистом, пока Штази не ликвидировали. Женился на женщине с добрым сердцем, но пьющей. Сам начал сильно закладывать за компанию. Теперь завязал – это на вопрос, который читаю в твоих глазах. У

меня есть сын – другой сын – с серьезным врожденным заболеванием. Жена заботилась о нем, пока не умерла два года назад. Наш мальчик сейчас в учреждении, не сказать что прекрасном, но лучшем из всего, что я могу себе позволить. После всех событий в стране меня взяли работать в школу, я преподавал английский в восьмом и девятом. Сейчас это мне дает маленькую пенсию, но в основном живу на федеральное пособие.

– Тяжелая история, – промолвил Андреас не без теплоты в голосе. – Сочувствую.

– Ты тут ни при чем. Я не для того сюда пришел, чтобы тебя обвинять. Быть сыном Кати – тоже нелегкая доля, я уверен. У нас с ней длилось всего шесть лет, и они меня разрушили. Хотя нет, я несправедлив. Я все время был без ума от нее. Та ее сторона, что она вряд ли показывала ребенку, – это, я тебе скажу, было нечто.

– В какой-то мере она ее и ребенку показывала.

– По-своему она грандиозна. Но, конечно, разрушила меня.

– Итак...

Дрожащей рукой отец подвинул к нему рукопись.

– В свои пенсионные годы я взялся за мемуары. Вот они. Взгляни.

“Преступная любовь”. Петер Кронбург. Андреас не был рад узнать, как зовут отца. Теперь его существование стало не таким удобным, не таким призрачным.

– Хочу, чтобы ты прочитал, – сказал Петер Кронбург. – Мучением это не будет – у меня хороший, ясный слог. Твоя мать всегда это говорила.

– Не сомневаюсь. И, видимо, здесь подробно описан ваш секс. Название настраивает на такие ожидания.

Петер Кронбург слегка зарделся.

– Только в той мере, в какой это связано с более общей картиной личной жизни членов ЦК.

– Моя мать никогда не была членом ЦК.

– Но ее муж был. Постельные сцены не выходят за рамки хорошего вкуса, и в любом случае наши отношения – это только половина книги. Другая половина – тюрьма и “социалистическая законность”.

– И я. Вы сказали, тут что-то есть обо мне.

Петер Кронбург покраснел еще больше.

– В конце я рассказываю о нашей первой встрече и не буду скрывать, что упоминал об этом, когда обращался в издательства. Мне говорили, что в заявке важно наметить план маркетинга.

– “Нерассказанная история темного происхождения Вольфа”. И вы у меня просите помощи?

– План маркетинга, включающий твое имя, может, я полагаю, сделать книгу бестселлером. Я должен думать о том, что будет с моим сыном-инвалидом, когда меня не станет. В книге имеется и грусть по социалистическому прошлому, и резкая его критика. Исторический момент для публикации самый подходящий.

– Поразительно, что издательства не рвут книгу у вас из рук.

Петер Кронбург покачал головой.

– Раз за разом один и тот же ответ. Создается впечатление, что во всех издательствах перебор по части восточных мемуаров. Только в одном у меня попросили саму рукопись, и некая очень молодая, судя по голосу, женщина прислала ее обратно с комментарием, что в ней слишком мало про *тебя*.

Андреасу стало печально из-за отца. Из-за того, что он так мелко плавает по сравнению с сыном. Из-за того, как, находясь в маргинальном положении, надеется сорвать куш, заводит речь о *плане маркетинга*. Сжимается сердце, когда видишь старых “осси”, пытающихся подражать мышлению “весси”, овладеть жаргоном капиталистической саморекламы.

– “Второй раз мы увиделись с сыном в библиотеке Американского Дома”, – сказал Андреас. – Можете добавить эпилог про нашу сегодняшнюю встречу.

Петер Кронбург опять покачал головой.

– Цель книги – не пристыдить тебя. На тебя у меня зла нет. На твою мать, на твоего отца, на Штази – есть. Но не на тебя. Если ты не озабочен защитой Кати, книга не повредит тебе ничуть. Совсем наоборот, я думаю.

– Почему наоборот?

– Твой план маркетинга, как я понимаю, – солнечный свет. Если ты одобришь книгу, если сможешь мне с издательством – с издательством высокого уровня, не с пугливой девчонкой двадцати трех лет, – ты покажешь, что нет на свете такого священного секрета, какой ты не был бы готов раскрыть. Ты станешь еще более знаменитым. Твоя слава, твоя легенда только вырастет.

И твоя тоже, подумал Андреас. Может быть, отец не так прост и беспомощен, как показалось. Может быть, не такие уж они разные. Может быть, даже совсем одинаковые – просто отцу повезло меньше.

– А если я не стану вам помогать? – спросил он. – Пойдете в “Штерн” и расскажете, какой я лицемер?

– Я делаю это ради сына – другого сына – и ради справедливости. Хотя я не уверен, что справедливость так уж важна в данный момент. Ни для кого не новость, что Штази – это нехорошо и что люди вроде твоих

родителей – нехорошие люди. А вот деньги в мире, который пришел после них, – вещь важная.

– У меня нет для вас денег.

– Может быть, со временем и появятся.

Андреас полистал рукопись, напечатанную на матричном принтере. На глаза попала фраза: “На четвереньках она была точь-в-точь дикая кошка”. С него хватило. Но человек в красной водолажке, сидевший напротив, вызывал некоторое любопытство. Он что, всегда был такой предприимчивый? Рассчитывал, что связь с Катей принесет ему положение и престиж в социалистической системе? Тюремный срок за подрывную деятельность нельзя назвать несправедливостью, если ты и правда стремишься подорвать систему. Несправедливость – быть звеном в этой системе и не получить того, что тебе причитается.

– Денег я вам не дам, – сказал он, – и видеть вас больше не хочу. Отца я похоронил, и другого отца мне не надо. Но книгу я прочту и сделаю что могу.

С видимым чувством Петер Кронбург протянул ему через стол дрожащую руку. Андреас пожал ее – своего рода прощальный подарок отцу. Потом взял рукопись и вышел, не говоря больше ни слова.

Десять лет назад он внимательно прочел свое дело из архива Штази. Большею частью скука и рутина, потому что он никогда не был объектом первостепенной важности, но кое-что стало сюрпризом. Как минимум две из пятидесяти трех “проблемных” девиц, с которыми он спал, оказались стукачками, что опровергало его теорию, будто Штази очень редко использует женщин и никогда – столь юных девушек. Одна из осведомительниц сообщила, что он отпускает неподобающие шутки в адрес государства, сеет среди тех, кого консультирует, неуважение к научному социализму и, пользуясь своим положением в церкви, склоняет их к половой близости; что после того, как она *с целью войти к нему в более полное доверие согласилась на сношения* и обнаружила у него *ненормальные половые тенденции* (это, по всей видимости, означало, что его подрывные губы предпочитали ее киску законопослушным губам), она изобразила горячий интерес к *энвайронментализму*, а он, выслушав ее, засмеялся и сказал, что *из зеленого его интересуют только маринованные огурцы*. Этой осведомительнице, оказывается, было тогда двадцать два; имя ее он помнил, лицо – нет. Другой, которую он помнил лучше, было, как она и говорила, семнадцать. Она доложила, что он *не сближается с другими асоциальными элементами в церкви, не поощряет сомнений в руководящих принципах марксизма-ленинизма* и что он *преподносит себя как*

предостерегающий пример того, к чему приводит безответственное контрреволюционное поведение. Жалоб по сексуальной части у нее, что неудивительно, тоже не было.

Другим небольшим сюрпризом в его деле было то, что до сентября 1989 года его мать в первую пятницу каждого месяца посещал сотрудник Штази – только чтобы удостовериться, что у нее не было контактов с сыном. Рапорты об этих посещениях, которых набралось более сотни, были краткими и, по существу, одинаковыми, если не считать того, что в первые три года к ним добавлялось примечание, напечатанное на другой машинке, о том, что прослушка ее рабочего телефона контактов с А. В. не зафиксировала. На первом из рапортов без такого примечания от руки было приписано: *Телефонное прослушивание К. В. приостановлено по просьбе секретаря ЦК тов. В.*

На Андреаса вопреки всему, что он чувствовал к Кате, подействовало то, до какой степени она сама подвергалась давлению Штази. Он никогда не мог совсем закрыть глаза на то, что во многом она – жертва. Жертва своей психической неуравновешенности, жертва родителей, которые привезли ее в Республику, хотя могли оставить в Англии, жертва органов безопасности, отправивших ее родителей в ссылку и, возможно, убивших их, жертва мужа, которого она не любила, но должна была слушаться, жертва системы, пригасившей ее природный блеск, жертва любовника, приехавшего в Берлин, чтобы настроить против нее сына, и, наконец, жертва самого этого сына. Большею частью он испытывал к ней ненависть, но возможность сочувствия в нем по-прежнему теплилась. Сочувствия к хлебнувшей горя, потерянной девушке, которой она когда-то была. Порой ему даже приходило в голову, что, может быть, в пятнадцатилетней Аннагрет он увидел юную Катю, что в этом, может быть, и была подлинная идея, стоявшая за идеей Аннагрет.

По дороге домой с рукописью Петера Кронбурга сочувствие в нем не дремало. Хотя он видел, что Кронбург прав и публикация “Преступной любви” может быть полезна для его карьеры, читать мемуары он не был настроен. Отчасти причиной была брезгливость, но главным образом – желание защитить мать. Те немногие, с кем Катя сейчас поддерживала дружеские отношения, были британцы и пожилые немцы с Запада – она не хотела иметь ничего общего с тоской по социализму, – и если они прочтут книгу, она, по всей вероятности, этих друзей потеряет. Приложить руку, как, похоже, поступила она, к тому, чтобы на десять лет упечь невинного человека за решетку, – такое, когда вскрывается, не так-то легко простить даже в эпоху прощения и забвения. Гордая мать Несущего Солнечный Свет

в один миг получит позорное клеймо.

И вот, хотя он поклялся себе никогда этого не делать, он отправился к ней домой. Открывая ему дверь, она уже дулась из-за того, что он три месяца уклонялся от общения, а когда он ее усадил и изложил суть дела, она разозлилась не на шутку.

– Это оттого, что я не захотела его видеть, – сказала она. – И тогда он вернулся к себе и решил отомстить единственным доступным способом.

– Насколько я понял, мотив у него денежный.

– Он пил из меня соки, и теперь опять за свое.

– *Для танго нужны двое*, – сказал Андреас по-английски.

– Обсуждать это с тобой я не намерена. Меня просто-напросто бросает в дрожь при мысли, что ты будешь читать его версию.

– У каждого своя правда – не так ли?

– Его контакты с Западом носили подрывной характер. Он был без ума от Америки, особенно от их музыки. Он лжет, если говорит, что получил жестокий приговор по какой-то другой причине.

– Ох, мама...

– Что?

– Получше ничего не могла придумать? Ему по заслугам дали десять лет за любовь к Элвису Пресли?

Катя вскинула голову.

– Это было очень опасное время, и он был нелоялен. Хотел бежать со мной на Запад, а потом, когда построили Стену, потерял голову. Он пытался меня погубить. *Нас* погубить – твоего отца и меня. Об этом ты уж точно не прочтешь в его версии.

В очередной раз его сочувствие, как в кислоте, бесследно растворилось в ее нечестности. Он пришел к ней с желанием уберечь ее доброе имя. Прояви она хоть чуточку искренности, признай, что совершила ошибку, что сожалеет о том, как поступила с Петером Кронбургом, он защитил бы ее.

– Ты любила его достаточно сильно, чтобы сохранить его ребенка, – заметил он.

– Не говори: его. Ты не его ребенок, а мой.

– Ха. Если бы я мог подать в отставку с этого поста, я сделал бы это не задумываясь.

– Ты преуспеваешь. Ты великолепен. Разве у такого человека могло быть плохое детство?

– Что ж, это мысль. Я знаменит благодаря твоим материнским качествам. Но если я не помогу ему напечатать мемуары, он может

выставить меня в очень плохом свете. Как бы тебе это понравилось?

Она покачала головой.

– Пустая угроза. Он этого не сделает. Просто сожги рукопись и выбрось его из головы. Наше грязное белье людей уже не интересует. Эта туча пройдет стороной.

– Возможно. Но давай поставим мысленный эксперимент. Что бы ты предпочла: чтобы я был выставлен в дурном свете или чтобы ты? Не спеши отвечать, подумай хорошенько.

С застывшим лицом она смотрела прямо перед собой.

– Заковыристая задачка, да?

Она, ссутулившись, прислонилась к спинке дивана, взгляд по-прежнему отрешенный. Ее расстроенный мозг, казалось ему, закоротило от его вопроса, он словно бы видел, как ток бежит по круговой цепи. Он услышал в воображении фугу ее мыслей: *любящая мать всегда в первую очередь заботится о благополучии сына, материнская любовь выставляет женщину в хорошем свете, но в данном случае, позаботившись о благополучии сына, я выставлю себя в дурном свете, а ведь самое главное – хорошо выглядеть, но позаботиться о том, чтобы хорошо выглядеть, значит не поставить благополучие сына на первое место, а любящая мать всегда в первую очередь заботится о благополучии сына...* И так по кругу, по кругу.

– Отсутствие ответа – тоже ответ, – проговорил он, вставая. – Я уйду.

Она не стала его останавливать; не сказала ничего вообще. Взглянув на нее напоследок, он увидел на ее лице такую тоску, что не удивился бы, узнав, что она выбросилась из окна. Но разница между ними заключалась в ее способности к самообману. Она не покончила с собой. После того как он пустил в ход свои журнальные связи и нашел на “Преступную любовь” издателя, после того как книга двенадцать недель продержалась в списке бестселлеров “Шпигеля” и он удостоился за содействие публикации всеобщих похвал, она переехала в Лондон и сняла квартиру недалеко от дома, где жила ее овдовевшая сестра. Она напечатала – в “Лондон ревью оф букс”, ни больше ни меньше – длинное, самооправдательное и убийственно лживое эссе о ненадежности восточногерманской памяти. Продолжала жить, жить.

Он тоже. Женщин, которым по-настоящему нравился секс и хотелось секса с ним, хватало с избытком, и впереди маячила мировая слава. Обе тяги были навязчивыми, но не патологическими. В проект “Солнечный свет” стекались молодые таланты, он, используя свои математические и логические способности, стал докой по части компьютерных технологий и

неплохим программистом, утечки по мере распространения интернета волновали общественность все сильнее, он обзавелся телохранителем для обороны от психов и командой бесплатных адвокатов для защиты от правительств и корпораций, которым он беспрестанно досаждал, и довольно долго, пока все это происходило, десять лет тюрьмы в обществе Аннагрет и Убийцы казались ему продолжительным нехорошим сном, от которого он пробудился. С матерью он не виделся, но в течение славного десятилетия, последовавшего за девяностыми, он, пользуясь преимуществами серийной моногамии и добиваясь постоянных успехов в погоне за славой, порой вспоминал ее риторический вопрос: разве у такого человека могло быть плохое детство? Даже после того, как он уехал из Германии, где ему грозил арест, а затем из Дании, где ему грозила экстрадиция, и нашел ненадежное убежище в Белизе, удача была на его стороне.

Но потом в Белизе настал день, когда Убийца вернулся. Вероятно, он никуда и не уходил, просто не давал о себе знать до тех пор, пока Андреас после восхитительного ланча у Тэда Милликена не подошел к выходу с участка вокруг его прибрежной виллы. Тэд Милликен, венчурный капиталист из Кремниевой долины, перебрался в Белиз, потому что в Калифорнии его собирались судить за растление несовершеннолетней. Он был доказуемо нездоров психически, мнил себя, будучи поклонником Айн Рэнд, сверхчеловеком и “избранной аватарой Сингулярности”, но в общении был на удивление хорош, если не выпускать его за рамки таких тем, как теннис и рыбалка. Андреаса он считал второй по значению всемирно-исторической личностью из обитающих в Белизе, тоже сверхчеловеком, и хотел с ним дружить, но тут не все было просто. Андреасу очень нужны были деньги, он надеялся на Тэда в этом плане, и у Тэда все еще имелись в интернете апологеты, нежно помнившие его как одного из отцов Революции и настаивавшие, что защита со ссылкой на невменяемость дала бы ему железную гарантию от приговора по сексуальному делу, но Тэд недавно опять фигурировал в новостях (он застрелил из своего посеребренного кольца калибра 0,45, с которым не расставался, соседского попугая ара), и Андреас не мог себе позволить появиться с ним на публике. Неприглядная сексуальная история уже испортила репутацию Ассанжа. Андреас представлял себе, как люди, набрав в поисковой системе “Тэд Милликен”, будут читать на первой странице результатов слова “Андреас Вольф” и “растление”, а тут еще досадная орфографическая близость слов “Андреас” и “Ассанж”, плюс светлые волосы, плюс род занятий – и у пользователя возникает

подспудное ощущение, что его, Андреаса, тянет на пятнадцатилетних. Хотя его давно уже на них не тянет. Так что ему приходилось изворачиваться, скрывая от Тэда, что ему хочется с ним видеться только на его, Тэда, огороженном участке или на его рыболовном катере. К счастью, перед каждой встречей Тэд посылал за ним внедорожник “эскалейд” с тонированными стеклами.

У Тэда была страсть к самоувечению. В бейсболку с эмблемой “Янкиз”, которую он не снимал, была вставлена камера, включающаяся автоматически, и еще одно миниатюрное видеоустройство он носил на шее на шнурке. За ланчем, который подавала им у бассейна, приходя и уходя босиком, красавица Каролина лет шестнадцати на вид, Андреас спросил Тэда, не мог ли бы он на этот раз выключить камеры. Тэд – он сидел в расстегнутой гавайской рубашке, демонстрируя свой загорелый и плоский, как брюхо морской черепахи, живот, свой накачанный брюшной пресс, – засмеялся:

– Вам сегодня есть что скрывать?

– Просто я не знаю, куда идут все эти данные.

– Пусть ярче светит солнце, мой друг, вас снимает скрытая камера, – снова засмеялся Тэд.

– Не подумайте, что я вам не доверяю. Но допустим, с вами что-нибудь случится...

– В смысле я умру? Но я же никогда не умру. В этом и состоит идея лайфлоггинга.

– Понимаю.

– Данные поступают в облако, а облако не умирает, оно вечно воспроизводит себя. Вероятность сбоя сравнительно с репликацией ДНК? На пять порядков ниже. Там все будет храниться в первозданном виде вплоть до моей перезагрузки. Я хочу помнить этот ланч. Я хочу помнить пальчики Каролининых ножек.

– Да, я могу вас понять. Но с моей точки зрения...

– Вы не питаете к облаку нежных чувств.

– Пожалуй, нет.

– Оно переживает младенческую пору. Погодите, вот перезагрузят вас – тогда вы его полюбите.

– Я и сейчас уже, что ни день, выживаю оттуда неаппетитные вещи.

– А вот, кстати, кое-что выуженное и аппетитное...

Каролина принесла блюдо с запеченной на гриле рыбой на банановых листьях. Сдвинув посеребренный кольт Тэда на край стола, она поставила блюдо, а он притянул ее к себе, посадил на колени и поцеловал в шею. В ее

улыбке было что-то принужденное, обиженное. Оттянув край низкого выреза ее платья, Тэд направил видеоустройство ей на грудь.

– Эти две я тоже хочу помнить, – сказал он. – Их особенно.

Каролина отвела камеру рукой и молча высвободилась.

– Все еще злится на меня из-за птицы, – объяснил Тэд, глядя ей вслед.

– Комментаторы вас тоже за это не хвалят.

– И не то чтобы он ей очень нравился, этот попугай. Он так орал – хуже, чем завод листового металла. Просто она не ожидала, что я обойдусь без дробовика. Что-то почти религиозное, суеверие какое-то. “Не наведи револьвера на птицу”. Заповедь. Была глуха к моему доводу, что револьвер – это более спортивно.

Андреас взял себе рыбы.

– Давайте поговорим про Боливию.

– У страны нет выхода к морю, – сказал Тэд. Пожалуй, самым отталкивающим в нем было то, как привередливо он брал еду на вилку и клал в рот, словно контакт с ней был неизбежным злом. – Был выход, но чилийцы его забрали. Так или иначе, я там жить не могу. Мне нужно море. Но есть там одно место в горах – Лос-Вольканес. Принадлежало немцу, который занимается экологическими исследованиями. Я его нанял, когда думал, что сумею монополизировать мировой рынок лития. Он сказал мне, что летел на легкомоторном самолете и вдруг видит эту маленькую долину, эту Шангри-Ла и говорит себе: какого хрена еще раздумывать? Купил ее за тридцать пять тысяч американских – невероятно. Я потратил день, чтобы съездить посмотреть, и он был прав. Неземной уголок. Я предложил ему миллион, он согласился на полтора. Есть такие вещи – увидел и знаешь, что это должно быть твое.

– Есть там электричество? Кабель?

– Ничего. Но с президентом страны можно иметь дело. Когда его избрали, он был лидером ассоциации производителей коки. И думаете, он перестал быть лидером ассоциации? Фигушки! Вот это я понимаю – стиль. Президент Боливии и лидер производителей коки. На литии он меня кинул, но я на его месте поступил бы так же. И теперь он передо мной в долгу. Я могу вас ему представить. Могу сдать вам Лос-Вольканес в аренду за доллар в год. Десять миллионов дам на инфраструктуру и на эксплуатационные расходы – вам понадобится оптоволоконная линия.

– А что с этого получите вы сами?

– Вам нужна надежная база. Мне – страховка на случай глобальной катастрофы. Сейчас мне вполне подходит Белиз, полиция здесь – милейшие люди, но мы живем в эпоху, предшествующую Сингулярности. Если вы, я и

подобные нам люди намерены пересоздать мир, нам может понадобиться место, чтобы пережить катаклизмы переходного периода. Кроме того, я не предвижу, что льды Гренландии растают до Сингулярности, но если это случится, может быть применено ядерное оружие. От концепции ядерной зимы мы отошли, но возможна ядерная осень – ядерный ноябрь, когда лучше быть поближе к экватору. Изолированная долина посреди континента, на котором ничего не взрывалось. Позаботьтесь, чтобы там были симпатичные молодые женщины, запчасты, козы и куры. Вам по силам сделать местечко уютным. Мне бы очень не хотелось присоединиться к вам там, но нельзя этого исключать.

Тэд умолк, чтобы всадить вилку в кусок рыбы и прожевать его недоверчивыми, резкими движениями челюстей. И отодвинул от себя тарелку, точно отказываясь иметь дело с чем-то постыдным.

– Не знаю, как сказать это более обтекаемо, – проговорил Андреас, – и не знаю, почему я это говорю на ваши камеры, посылающие нашу беседу в облако. Но мне важно, чтобы никто не знал, откуда взялись деньги.

Тэд нахмурился.

– Я вас компрометирую?

– Нет, разумеется. Я думаю, мы друг друга понимаем. Но у меня есть свое собственное лицо в окружающем мире, и... не знаю, как лучше сформулировать... ваши проблемы с законом не очень хорошо с этим лицом гармонируют.

– Мои проблемы с законом ничто по сравнению с вашими, мой друг.

– Я нарушил немецкий закон о гостайне и американский антихакерский закон. Это даже мейнстримные СМИ подадут сочувственно. Не сравнить с обвинением в сексуальном преступлении.

– Для традиционных СМИ чернить меня – задача номер один. Я Главный Возмутитель Спокойствия, и они это знают.

– Мне тоже порой достается. Именно поэтому...

– Из всех дооблачных систем юридическая для меня самая интеллектуально оскорбительная. “Один размер годится всем” – мать честная. Даже хуже, чем торговля в старом понимании. Ну почему, когда все остальное мы индивидуально подгоняем с помощью компьютеров, люди до сих пор думают, что закон должен ко всем применяться одинаково? Пятнадцатилетняя пятнадцатилетней рознь, поверьте мне. А я – разве я ничем не отличаюсь от других мужчин шестидесяти четырех лет?

– Интересное соображение.

– А правила работы с доказательствами? Это же не поиск истины, это оскорбление для истины. У меня *есть* истина, я ее записал. А адвокаты

затыкают уши, в буквальном смысле затыкают, говорят, что не хотят ничего о ней слышать. Ну что за система! Полный бред. Хренотень. Я дни считаю до тех времен, когда “суд” будет означать только то, что люди садятся и просматривают цифровую истину.

– Но сейчас, когда они еще не настали...

– Ладно, – не без раздражения сказал Тэд. – Можно сделать так, чтобы мое имя не звучало. Это место, Вольканес, зарегистрировано на боливийскую корпорацию, я ее создал, чтобы обойти всю эту местную чушь насчет зарубежных владельцев. Там три слоя брони. Она, эта боливийская, вам деньги и выделит.

– Вы действительно не против?

– Мы оба с вами люди, говорящие правду, но я говорю ее радикальней. Не побоюсь открыто заявить, глядя вам в глаза, что я правдивее вас. Но для публики вы симпатичней. Вы можете быть дружественным, общественно ориентированным лицом правды.

– Мне это нравится, – сказал Андреас.

Неприятный инцидент случился, когда они с Тэдом подошли к главным воротам участка. Не увидев там “эскалейд”, Тэд позвонил шоферу, и тот сказал, что возвращается с бензозаправки. Через несколько минут ворота открылись внутрь, внедорожник стал въезжать на участок, и тут из-за пальмы через дорогу выскочил с камерой кто-то бритый – гринго в жилете защитного цвета с множеством карманов. Пока Андреас не спрятался за внедорожником, он успел как минимум десять раз щелкнуть на автомате Андреаса с Тэдом на фоне дома Тэда.

Как можно было так сглупить? Выставил себя на обозрение – уже плохо, а дальше еще хуже. Тэд принял стрелковую стойку и направил револьвер на фотографа, чей аппарат продолжал щелкать – Андреасу было слышно.

– Брось камеру, мудака! – заорал Тэд. – Думаешь, у меня духу не хватит? Зря думаешь!

Руку с кольцом на удивление сильно водило. Шофер Тэда выскочил из машины, вид у него был ошарашенный. С дороги донесся топот бегства. Тэд опустил револьвер, побежал к клеткам у забора около ворот и выпустил двоих ротвейлеров.

Вот и кончилась моя полоса удач, подумал Андреас.

Выйдя вместе с шофером из ворот вслед за Тэдом, он увидел, как собаки преследуют фотографа. Тут-то Убийца и дал о себе знать. Фотограф добежал до припаркованного мини-вэна, споткнулся, собаки догнали его и набросились без колебаний, одна вцепилась в руку, другая в ногу. Андреас

почувствовал: ему хочется, чтобы собаки загрызли фотографа до смерти.

Тэд торопился к мини-вэну с кольцом.

Андреас сел в “эскалейд” и велел шоферу сделать то же самое. К тому времени, как они оставили ворота позади, собаки уже скулили и ковыляли прочь – фотограф, видимо, применил перцовый газ, – и мини-вэн ехал прямо на Тэда, который, похоже, утратил боевой азарт. Он сошел с дороги, рука с револьвером повисла. Шоферу “эскалейда” пришлось резко крутануть руль, чтобы избежать столкновения с мини-вэном.

– Развернитесь и поезжайте за ним, – сказал Андреас.

Шофер кивнул, но без энтузиазма, и спешить не стал. Пока он разворачивался, дорога опустела.

– Уехал, – сказал шофер, как будто это решало вопрос.

Явно все было по-прежнему. Убийца никуда не девался. Андреас чувствовал себя так, словно пробудился к яви, которая за те десять лет, что он блаженно проспал, стала еще более удручающей. Вместо любви он получил известность. Вместо жены, детей, настоящих друзей – таких, каким мог стать Том Аберант, – он получил Тэда Милликена. Он был один на один с Убийцей.

Он сказал шоферу, чтобы ехал к ближайшей клинике. Рядом с ней он увидел мини-вэн фотографа. Капли свежей крови на асфальте вели к красному пятну на линолеуме вестибюля. В комнате ожидания сидели две местные женщины и четыре больных ребенка.

– Мне нужно увидеться с другом, – сказал Андреас сестре. – Которого покусили.

Дело происходило в Белизе, и его без лишних расспросов провели прямо в кабинет, где молодой врач обрабатывал неровную рану, одну из нескольких, на руке фотографа.

– Подождите снаружи, – бросил ему врач, не поднимая глаз.

Фотограф, лежа на спине, повернул к Андреасу голову. Его глаза расширились.

– Не бойтесь, я ваш друг, – промолвил Андреас. – Я хочу это уладить.

– Ваш друг пытался меня убить.

– Мне очень жаль. У него нелады с психикой.

– Вы так думаете?

– Пожалуйста, подождите снаружи, – повторил врач.

Камера лежала на стуле. Взять ее и уйти было проще простого, но снимки были только частью проблемы. Решить остальное могли бы помочь деньги, но о нем шла слава человека, их не имеющего. Слава человека, живущего по-гандийски просто, человека, чье земное достояние умещается

в один чемодан и один портфель. Большой частью эта слава шла ему на пользу, но сейчас был другой случай.

С парковочной площадки, где нестерпимо палило солнце, он позвонил своей бывшей подруге Клаудии; в летнем приморском доме ее родителей сейчас функционировал проект “Солнечный свет”. Терпение родителей, которые не только лишились привычного места отдыха, но еще и должны были покрывать расходы Проекта, было на исходе, но Клаудия оставалась ему предана и не стоила ничего – ну, разве что приходилось выслушивать ее беззлые колкости. В Берлине была всего-навсего полночь. Он дал ей, проводившей время в клубе на берегу Шпрее, указание оплатить счет за неотложную помощь фотографу.

– Номер сейчас пришлю, – сказал он.

Клаудия засмеялась.

– Может, мне вдобавок еще слетать в Белиз и принести тебе латте?

– С молоком малой жирности и пониженным содержанием кофеина.

– А ничего, что я как раз садилась с друзьями ужинать?

Андреас прекрасно понимал: единственное, из-за чего она сможет засиять в глазах друзей еще ярче, чем благодаря его полуночному звонку как таковому, – это срочно покинуть клуб по его важному поручению. Они знали, что она полгода была его девушкой, полгода посреди минувшего безоблачного десятилетия, когда о нем шла только хорошая слава и никакой дурной. Он получал от нее не только интересный секс, но и кое-какую помощь на общую сумму не менее двухсот тысяч евро, и тем не менее из них двоих более благодарной чувствовала себя она, ибо он был славный герой, объявленный вне закона. Блаженная была пора.

Фотограф, которого звали Дэн Тирни, вышел из клиники час спустя. Из-за бритой головы он выглядел старше своих лет. Повязки на руке и ноге не казались такими уж серьезными.

– Кто-то из Берлина оплатил медикам счет, – сказал он.

– Моя знакомая, – отозвался Андреас. – Как вы?

– Мой максимум – это когда меня скорпион ужалил в веко. На этом фоне сейчас, пожалуй, четыре из десяти.

– Могу я угостить вас выпивкой?

– Не надо. Поеду к себе в отель и приму перкосет.

– Ром неплохо с ним сочетается.

– Так вы теперь что, мой друг? А где вы, интересно, были, когда этот, у которого с психикой нелады, навел на меня оружие?

– Прятался за внедорожником.

– Насчет рома я все-таки пас. Прошу прощения.

– Можно вас спросить, на кого вы работаете?

Тирни заковылял к мини-вэну.

– По-разному. Сейчас “Таймс” готовит про Милликена новую публикацию. История с попугаем, местная полиция. Самый стремный персонаж в мире высоких технологий и тому подобное. Не думаю, что фото, где он в меня целится, изменит чье-нибудь мнение о нем.

– Не льщу себя надеждой, что смогу убедить вас стереть снимки со мной и никому не говорить, что видели меня у него.

– С какой стати я бы стал это делать?

– Чтобы помочь проекту “Солнечный свет”.

Тирни рассмеялся.

– Вы хотите, чтобы я не проливал солнечного света на вашу дружбу с этим психическим? Это что – ирония, лицемерие или внутреннее противоречие? Как всегда, у меня сомнение, какой термин лучше выбрать.

– Можете все три, если хотите, – сказал Андреас.

– Есть еще четвертый термин. Борзость.

– Дело в том, что я не дружу с Тэдом. Вы прольете фальшивый свет.

– Надо же. Я и не знал, что такой бывает.

– Весь интернет им лучится.

– Удивительно слышать это от вас. – Тирни отпер свою машину и сел за руль. – А может, не так уж удивительно. Не то чтобы мне не нравилась ваша деятельность. У вас неплохой послужной список – в смысле список тех, кому вы досадили. Но должен сознаться, что всегда считал вас в некотором роде говнюком.

При этом слове в Андреасе опять шевельнулся Убийца. Если для Тирни он говнюк, вполне вероятно, что для многих других тоже. Его вдруг остро потянуло к компьютеру – сесть и посмотреть, кто эти люди и что именно о нем пишут.

– Мне нечего вам предложить, – сказал он Тирни, – кроме правды. Можно я вас угощу выпивкой и расскажу вам правду?

Это была самая лучшая его фраза – коронная фраза, которую он часто пускал в ход в минувшее десятилетие. Он пускал ее в ход даже и без особой нужды, потому что, даже когда женщина уже дала понять, что доступна, ему нравилось видеть действие на нее этих слов. Услышать от него правду хотелось всем. Он видел: Тирни обдумывает предложение.

– Должен признать, я никак не мог ожидать, что когда-нибудь встречу вас лично, – сказал Тирни. – У меня в отеле есть бар.

В баре Андреас начал со стандартной речи, пропагандирующей Проект, с перечня правительств, которым он причинил неприятности, и с

более длинного перечня задетых им корпораций и отдельных лиц, злоупотребляющих властью. Ближе к концу, однако, речь пришлось немного ужать: он увидел, что Тирни заскучал.

– Правда, которой я хотел поделиться, состоит из двух частей, – сказал затем Андреас. – Первая – что судьба Проекта напрямую зависит от восприятия публикой моей персоны. Почему “Викиликс” пускает пузыри, а мы по-прежнему на плаву и процветаем? Потому что Ассанж прослыл аутистом, мегаломаном и сексуально опасным типом. Его компьютерные способности не изменились. Изменилось вот что: если ты сам не очень чист, к тебе не пойдут желающие наводить чистоту. Те, кто выставляет грязь напоказ, делают это из тяги к чистому. Если вы сейчас мне не поможете, мы рискуем разделить судьбу “Викиликс”.

– Да ладно, – сказал Тирни. – Одна фотография парочки титанов интернета за воротами огороженного участка. Или вы хотите сказать, что это только верхушка айсберга?

– Слушайте вторую половину правды. Тут действительно прошу поверить мне на слово. Нет никакого айсберга. Я веду чистую жизнь. Да, в восьмидесятые я не был паинькой, но я жил в больной стране и был молод. А после этого на меня так пристально смотрели и смотрят, что если бы у кого-нибудь на меня что-нибудь было, неужели вы думаете, что это не разошлось бы по всему интернету?

– Я думаю, что в таком случае ваши хакеры хорошенько постарались бы это похоронить.

– Вы серьезно?

– Хорошо, пусть вы чистый. Без разницы. Это лишь подтверждает то, о чем я толкую. От одной фотографии ничего с вами не случится.

– Мое фото с Милликеном будет бедствием для Проекта. Если в кучу белого белья затесался один красный носок, оно после стирки никогда уже не будет белым.

Тирни изменил свое положение на стуле и поморщился.

– Я, конечно, мог бы вам этого и не говорить. Но странный вы малый. Предположим, ваши простыни чуточку розовые – кого это волнует? Они у всех чуточку розовые. Фильмы Хью Гранта как смотрели, так и смотрят. Популярность Билла Клинтона только выросла.

– Чистота не лежит в основе их деятельности. У меня другой случай.

– Что вы все-таки делали у Милликена?

– Слезно просил денег.

– Тогда я при всем желании не понимаю, кого вы можете винить, кроме себя.

– Вы правы, некого. Я был в отчаянии, и мне не повезло. Я в полной вашей власти.

– Похоже, близится момент, когда вы предложите мне денег.

– Будь у меня деньги, мне нечего было бы делать у Милликена. И я все же не такой лицемер, каким вы меня считаете. Я не предложил бы вам денег, даже если бы они у меня были. Этим я грубо нарушил бы принципы Проекта.

Тирни покачал головой в видимом замешательстве от странности Андреаса.

– За вашу фотографию вдвоем я, вероятно, могу выручить пару тысяч. И меня покусали ротвейлеры.

– Если речь идет о простой компенсации – ни в коем случае не о плате за молчание, – то моя знакомая в Берлине может заплатить вам справедливую рыночную цену.

– Милая знакомая.

– Она верит в Проект.

– Что бы вы ни говорили, вы хотите, чтобы я не делал вам того, что вы делаете другим.

– Это правда.

– Следовательно, вы говнюк.

– Разумеется. Но я не Тэд Милликен. Я ничем не владею. Я езжу с одним чемоданом. Репрессивные власти меня ненавидят. В мире осталось примерно десять стран, где я могу бывать без опаски.

Прозвучало неплохо, свое действие оказало, и Тирни вздохнул.

– С вас пять тысяч долларов, – сказал он. – Я подал бы на вашего дружка Тэда в суд, если бы думал, что смогу в Белизе у него выиграть. Но в полицию все-таки пожалуюсь. Они спросят, кто еще там был. Хотите, чтобы я солгал?

– Да, прошу вас.

– Еще бы вы не хотели.

Тирни включил камеру и на глазах у Андреаса удалил один за другим все снимки, на которых было видно его лицо. Андреасу это напомнило день в другом десятилетии, в другой жизни, когда он убирал из своего компьютера порнографию, и еще это напомнило ему любимую цитату из “Фауста” – слова Мефистофеля: *Конец! Нелепый звук. Сказать смешно. Конец и чистое ничто – одно... “Всему конец!” что б это означало! Да то, что этого и не бывало*^[103].

Но не то чтобы совсем не бывало. Ведь стоит Дэну Тирни упомянуть об инциденте где-нибудь в сети, и он останется в облаке навечно. В первые

недели после инцидента, пока Андреас заканчивал с приморским домом родителей Клаудии и обменивался с Тэдом Миллиkenом надежно зашифрованными электронными письмами, его паранойя пустила корни вглубь и вширь и пышно расцвела. Вводя свое имя с новыми и новыми ключевыми словами в разные поисковые системы, он уже не довольствовался первой страницей результатов или парой страниц. Ему надо было знать, что находится на следующей странице, потом на следующей. Опять и опять. Нужного успокоения, казалось, не могло принести ничто. Он был до такой степени погружен и втянут в интернет, так вплетен в его тоталитарное бытие, что его, Андреаса, сетевое существование начинало ощущаться им как более реальное, чем физическое. Глаза всех людей на свете, даже его последователей сами по себе, в физическом мире ничего не значили. Какая разница, что тот или иной человек думает о нем про себя? Мысли как таковые не существуют так, как существуют данные, которые можно искать, распространять и читать. И поскольку человек не может пребывать в двух местах одновременно, чем больше он существовал как интернет-образ, тем меньше чувствовал себя живущим во плоти. Интернет означал *смерть*, и, в отличие от Тэда Миллиkenа, Андреас не мог уповать на облако как на источник посмертного бытия.

Целью интернета и сопутствующих ему технологий было “освободить” человечество от необходимости что-то изготавливать, что-то изучать, что-то запоминать – от задач, которые раньше придавали жизни смысл и составляли ее содержание. Теперь, судя по всему, единственной значимой задачей была поисковая оптимизация. Едва он обосновался и наладил деятельность в Боливии, он создал маленькую группу из самых верных ему хакеров и практиканток – группу, которая всеми способами, честными и нечестными, улучшала положение Проекта в результатах выдачи поисковых систем. Мечта Тэда об элитарной реинкарнации при всей своей технической неосуществимости была метафорой кое-чего реального: если – и только если – у тебя хватает денег и/или технических возможностей, ты можешь контролировать свой образ в интернете и, следовательно, свою судьбу и виртуальную жизнь после жизни. Оптимизируй – или умри. Убивай – или тебя убьют.

Целый год он дважды или трижды в день вводил поисковый запрос “тирни андреас милликен”. Не менее навязчивой была потребность следить за Тирни в Фейсбуке и Твиттере. Его паранойя была, похоже, величиной постоянной. Подавишь ее в одном месте – выскочит в другом. Когда Тирни наконец перестал его так беспокоить (будь у парня желание болтать, он бы

уже дал этому желанию волю и Андреас бы знал), тревога его отнюдь не уменьшилась. Сменяя друг друга, его тревожили прежние подруги, бывшие сотрудники Проекта, ветераны Штази – пока в конце концов он не добрался до главного источника тревог. До Тома Аберанта.

Двадцать лет Андреас полагал, что Том ни в коем случае не выдаст тайну убийства. Своим участием в перемещении трупа Том сам серьезно нарушил закон, и в письме, которое он прислал Андреасу из Нью-Йорка через несколько месяцев, он извинился за то, что “продинамил” его, заверил Андреаса, что все сказанное в Берлине останется между ними, что ни единого слова не будет обнародовано ни в “Харперсе”, ни где-либо еще, и выразил надежду, что их “маленькое приключение” позволит Андреасу соединиться со своей девушкой и вести такую жизнь, какую он хочет. Хотя Андреас был уязвлен прохладным тоном последующих открыток Тома, особенно той, которой Том ответил на его откровенное письмо, *встревожен* он не был. Даже когда в 2005 году он сделал последнюю попытку оживить дружбу – позвонил Тому в Денвер с предложением крупной утечки для обнародования в “Денвер индипендент” – и получил отказ, он не встревожился. В худшем случае, думалось ему, Том настроен на профессиональное соперничество с ним. Неудавшаяся дружба иногда в такое соперничество переходит.

Но однажды утром, сидя в амбаре в Лос-Вольканес и читая дневную сводку новостей о себе, он натолкнулся на интервью, которое дала изданию “Коламбиа джорнализм ревью” журналистка из “Денвер индипендент” Лейла Элу.

От организатора утечек мы получаем сырой материал. Сопоставление, сжатие, введение в контекст – дело журналиста. Мотивы, которыми мы руководствуемся, возможно, не всегда самые благородные, но, по крайней мере, мы вносим некий вклад в цивилизацию. Мы взрослые люди, пытающиеся вести диалог с другими взрослыми. Организаторы утечек скорее смахивают на дикарей. Я не имею в виду первичных организаторов, таких как Сноуден или Мэннинг, они, по сути, всего-навсего источники информации, прославленные и раскрученные. Я имею в виду такие ресурсы, как “Викиликс” и **проект “Солнечный свет”**. У них есть эта дикарская наивность, наивность ребенка, который считает лицемерным

обыкновение взрослых фильтровать то, что слетает с языка. Фильтрация – это не лицемерие, не вранье. Это цивилизация. Джулиан Ассанж до того слеп и глух к основам существования в обществе, что ест руками. **Андреас Вольф** так полон своих собственных грязных секретов, что для него весь мир только из грязных секретов и состоит. Знай мечи все в стенку, как иной четырехлетний мечет какашки, и смотри, что прилипнет, а что нет.

Грязных секретов? Андреас перечитал оскорбительный абзац с холодным ужасом. Кто такая, на хер, эта Лейла Элу? Быстрый поиск принес фотографии, где они с Томом Аберантом вместе на профессиональных светских мероприятиях, и ехидные замечания в блогах низкого пошиба на тот предмет, что связь с издателем журнала “Денвер индипендент” чудесным образом увеличила ее журналистские дарования. И так, Лейла Элу – возлюбленная Тома.

Грязных секретов? Мечет какашки? И где тут фильтрация?

Ему вспомнился звонок в Денвер в 2005 году. Документы компании “Халлибертон” были на тот момент самой значительной международной утечкой Проекта. Он мог отправить их прямым в “Нью-Йорк таймс”, но он знал, что Том создал новостную онлайн-службу, и полагал, что Том не упустит случай мгновенно получить мировую известность с примесью скандала. Хотя побуждение к звонку не было абсолютно безгрешным – его радовала мысль, что Том теперь будет в долгу перед человеком, которым он пренебрег, ныне более знаменитым и влиятельным, чем он сам, – свою роль сыграла и старинная тяга к Тому, желание возобновить дружбу. Ему представлялось, что “Денвер индипендент” может стать американским рупором Проекта, что они с Томом смогут наконец работать сообща, пусть и на разных континентах. И голос Тома в трубке звучал заинтересованно. Звучал так, будто он почти расчувствовался – ведь они пятнадцать лет не слышали голосов друг друга. Он попросил Андреаса дать ему один час на обсуждение с “доверенным лицом”.

Казалось, это всего-навсего формальность. Но когда Том через час с четвертью перезвонил, тон его был другой. “Андреас, – сказал он, – огромное тебе спасибо за предложение. Оно очень много для меня значит, и решение отказаться далось мне с трудом. Но думаю, мне не стоит отвлекаться от главного – от журналистики расследований. От журналистики, которая требует работы на месте. Я не утверждаю, что то,

чем ты занимаешься, не имеет права на существование. Просто боюсь, у меня для этого не лучшая площадка”.

Кладя трубку, Андреас поклялся никогда больше не ставить себя перед Томом в уязвимое положение. Но только теперь, восемь лет спустя, прочтя интервью Элу, он понял, что Том не просто к нему безразличен. Том – угроза самому его существованию.

Том приметил Убийцу – вот что сразу же стало ясно Андреасу. Присмотрелся в тот рассветный час в устье Одера. Та чудовищная эрекция, что возникла у него, когда он обнял Тома, не была, как он думал, естественным высвобождением либидо, которое он подавлял с ночи убийства. И не имела она никакой значимой гомосексуальной подоплеки. И тем не менее это была эрекция *на Тома*. Он испытал ее по той же причине, по какой его влекло к пятнадцатилетней Аннагрет: потому что Том сделал себя частью убийства. Мужчина, девушка – Убийца такими различиями не замораживаются. И что он, Андреас, совершил потом? Он не мог сейчас сказать с уверенностью, это, возможно, был сон. Но если сон, то очень явственный. Он стоит над могилой, расставив ноги, с эрегированным членом в руке; это на самом деле было? Видимо, было: как иначе объяснить, что Том после этого не захотел иметь с ним ничего общего? От Тома не укрылось то, как его, Андреаса, заставил вести себя Убийца. Том обещал с ним поужинать, но вместо этого убежал к себе в Нью-Йорк, под крылышко к своей женщине. А Андреас продолжал домогаться его расположения, совершенно нехарактерным для себя образом забыв о гордости: посылал ему открытки, написал саморазоблачительное письмо, и наконец телефонный звонок – не потому, что им предназначено быть друзьями, а потому, что Убийца, если уж захотел чего, не отступает. Любви не существует на свете.

“Доверенное лицо”, о котором Том упомянул по телефону, – кто это мог быть, как не Лейла Элу? Том спросил свою новую женщину, что она думает про материалы компании “Халлибертон”, та сказала: нет, и сейчас, через восемь лет, было совершенно ясно почему: потому что Том рассказал ей об убийстве Хорста Кляйнхольца. Что еще могло значить упоминание о *грязных секретах*? Она практически обвинила Андреаса в хладнокровном убийстве.

Когда он еще раз перечитал ее интервью, Убийца, не скрываясь, вышел из тени в форме желания разmozжить Тому череп чем-нибудь тупым и тяжелым. Имейся у Андреаса способ обойти американский паспортный контроль, он отправился бы в Денвер и убил бы Тома. За то, что увидел Убийцу. За то, что отверг самые искренние предложения дружбы, что

Андреас когда-либо делал. За то, что снова и снова презрительно его отталкивал ради того, чтобы унижить. За то, что подчинился жене и поступил по желанию подруги. За то, что соблазнил Андреаса, а потом бросил ради подруги; за то, что не держал свой болтливый язычок за зубами. Но самое главное – за это его американское чистоплюйство: “Я не утверждаю, что нигде нет места твоим отвратительным и преступным делишкам, твоей погоне за известностью, твоему дерьмометательству, осквернению могил. Просто, боюсь, мой чистенький дом для этого не лучшее место”. Вот что он, по сути, сказал тогда по телефону.

– Поверить не могу, что ты со мной так... – бормотал Андреас. – Поверить не могу, что ты со мной так...

Ему хватало ума сознавать, что Том вряд ли подставит себя, разоблачив его преступление. Мысль, что Том увидел в нем Убийцу, – вот что воспламеняло его паранойю. Эта мысль была точно электрод в мозгу. Не в состоянии удержаться, он нажимал и нажимал кнопку и всякий раз получал один и тот же разряд страха и ненависти.

Сказав сотрудникам, что заболел, он засел у себя в спальне и принялся искать грязь на Тома и Элу. Блогосфера и социальные сети уже искрились от гнева на ее интервью. В мире “взрослых” Элу была уважаемой журналисткой, но в сетевом мире ее поносили так же яростно, как защищали Андреаса. Парадоксальным образом это его не успокаивало, а заставляло еще сильнее ненавидеть эту парочку. Они нарочно спровоцировали тех самых блогеров и пользователей Твиттера, ублажению которых он посвящал себя все больше и больше. Опять точно нацеленное чистоплюйство, опять они говорят: *Мы – то, чем ты быть не в состоянии. Мы с презрением смотрим не только на тебя, но и на весь виртуальный мир, куда ты все больше погружаешься. Мы способны любить друг друга, а ты не смог любить Аннагрет...*

Как сообщил ему *Google*, Элу – жена писателя-инвалида, которому, судя по всему, изменяет. Но раз она появляется с Томом на публике, им, выходит, неважно, что люди думают об их отношениях. Более интересный вопрос – что произошло с женой Тома. После 1991 года не было ни одного сообщения о ком-либо, кто в то время носил бы такое имя и имел бы такую дату рождения. Андреасом овладела надежда: вдруг Том убил ее и сумел спрятать концы в воду? Это казалось фантастическим, невероятным – и вместе с тем, как ни странно, возможным. Ведь Том говорил, что не может жить с этой Лэрд и не может жить без нее. И он ведь помог Андреасу перезахоронить убитого.

Повинуясь инстинкту, Андреас перенес внимание на Лэрд и

обнаружил, что ее отец-миллиардер учредил на ее имя доверительный фонд; газета “Уичито игл” сообщала о налоговых декларациях. Выяснилось, кроме того, что Том создал “Денвер индипендент” на деньги ее отца. Но деньги были умеренные. Они не шли ни в какое сравнение с тем, чем обладает Анабел, если она жива. Жива ли? Если труп – еще лучше. Инстинкт подсказывал Андреасу, что, живая или мертвая, она может дать ему способ издалика причинить Тому боль и ввергнуть его в хаос.

Он пошел к Чэню, своему главному хакеру, и спросил, трудно ли будет украсть большой объем компьютерного времени.

– Насколько большой? – спросил Чэнь.

– У меня есть две качественные фотографии двадцатичетырехлетней женщины, которой сейчас под шестьдесят. Я хочу запустить поиск со сравнением лиц по всем возможным фотобазам.

– По всему миру?

– Начни со Штатов.

– Это колоссальный объем. Если стараться делать быстро, нас поймут за руку. На серверных фермах можно урвать только несколько минут за раз. У нас есть кое-какие отличные фермы, но мы же не хотим их терять.

– А если помедленнее, сколько может уйти времени?

– Недели, а то и больше. И это только по Штатам.

– Постарайся сделать что можешь. Но будь максимально осторожен.

Программа поиска со сравнением лиц была у них почти на уровне Агентства национальной безопасности, но все же работала не очень хорошо (программа Агентства, впрочем, тоже). Каждый день в течение нескольких недель Чэнь пересылал Андреасу фотографии немолодых женщин, которые мало походили на Анабел Лэрд. Но просмотр этих снимков давал ему занятие, рождал чувство, что план осуществляется, немного притуплял паранойю. А потом – не первый и не последний раз в жизни – ему повезло.

Он всегда считал, что от рождения имеет право на удачу – мать ему так и сказала: ты можешь делать что захочешь, и мир к тебе подстроится, – но история с Дэном Тирни поколебала его веру в собственную удачливость. Разрешение фотоснимка седой кассирши супермаркета в Фелтоне, Калифорния, было слишком низким, чтобы увидеть шрам на лбу, различимый на старых фотографиях Лэрд, и поскольку работница не улыбалась, невозможно было понять, имеется ли промежуток между передними зубами. Но когда он прочел имя служащей – Пенелопа Тайлер –

и вспомнил, что она училась в школе искусств Тайлер, он почувствовал, что ему опять стало везти. Он вышел из здания, где работали программисты, поднял лицо к боливийскому солнцу, широко развел руки и вобрал в себя его жаркий свет.

Пенелопа Тайлер явно стремилась исчезнуть. Фото в качестве кассирши было единственным ее изображением, какое удалось найти, и официальных признаков ее существования имелось крайне мало. Андреас потратил почти час, прежде чем выяснилось, что у нее есть дочь Пьюрити. О ней как раз можно было узнать довольно много: свои странички в сетях Фейсбук и *LinkedIn*, кредитная история (весьма шаткая). Он изучил ее фотографии и недавние фотографии Тома, сравнил ее брови и губы с его и пришел к выводу, что, скорее всего, она его дочь. Но никаких признаков контактов между ними не было ни в социальных сетях, ни в данных о ее учебе и здоровье. Нигде ничего. И поскольку Лэрд исчезла незадолго до ее рождения, в голову приходило только одно: Том не знает о ее существовании. Лэрд не хотела, чтобы он знал, потому-то и скрылась под вымышленным именем.

Потенциально девушка была дико богата, под миллиард долларов, и почти наверняка не знала об этом. Она выплачивала учебный долг, жила в доме, который на *Google Street View* выглядел довольно запущенным, работала “специалисткой по привлечению клиентов” в новосозданной компании, занимающейся альтернативными источниками энергии. Деньги заинтересовали Андреаса лишь в той мере, в какой они могли облегчить его жизнь, если удастся заполучить какую-то часть. Как бы то ни было, не из-за них он щелкал и щелкал мышкой, просматривая фотографии Пьюрити Тайлер. И не внешностью своей, хоть и вполне приятной, она возбудила в нем такое убийственное желание. Важно было одно: то, что она дочь Тома.

Он установил защищенное соединение и позвонил Аннагрет. Все прошедшие годы он не забывал поддерживать с ней пусть формальную и слабую, но связь. Поздравлял с днем рождения, время от времени посылал ей ссылки, которые могли принести пользу кампаниям с ее участием. Удивительно, какой неблизкой он ее теперь ощущал – ее, вложившую столько сил в *близость* как в некий проект. Каким случайным выглядело – если отвлечься от ее красоты – то, что они когда-то были вместе. Она не только была скромна в своих устремлениях, их скромный масштаб ее, похоже, вполне удовлетворял. Из Берлина она переехала в Дюссельдорф. Так или иначе, ее электронные письма всегда были сердечны, полны восхищения и изобиловали восклицательными знаками.

Он спросил, одна ли она дома сейчас, и, получив утвердительный

ответ, объяснил, чего от нее хочет.

– Смотри на это как на бесплатный отпуск в Америке, – добавил он.

– Я терпеть не могу Америку, – сказала она. – Я думала, при Обаме что-то изменится, но все по-прежнему: оружие, беспилотники, Гуантанамо.

– Согласен, Гуантанамо – это плохо. Но я не прошу тебя полюбить эту страну. Прошу только туда съездить. Я бы съездил сам, но мне в Америку пути нет.

– Я не уверена, что справлюсь. Я знаю, ты всегда считал, что я хорошо умею врать, но мне больше не нравится этим заниматься.

– Это не значит, что ты разучилась.

– И, может быть... Послушай. Так ли будет ужасно, если этот человек всем расскажет о нашем поступке? Я до сих пор почти каждый день о нем думаю. Не могу смотреть фильмы, где есть хоть какое-то насилие. Двадцать пять лет, а у меня все еще приступы паники.

– Да, сочувствую. Но пойми: Аберант может дискредитировать все, что я сделал.

– Я понимаю. Твой Проект очень важен. И я всегда хотела хоть как-то возместить тебе то, что ты из-за меня претерпел. Но – допустим, его дочь придет к тебе в Боливию. Как это тебе поможет?

– Предоставь это мне.

Молчание. Тревожное.

– Андреас, – сказала она наконец, – ты сожалеешь, тебе горько из-за того, что мы сделали?

– Конечно.

– Хорошо. Сама не знаю, о чем сейчас думаю. Наверно, о нашей совместной жизни. Иногда очень нехорошее чувство накатывает. Я знаю, я разочаровала тебя. Но не из-за этого нехорошее чувство. Есть что-то другое – не могу объяснить.

Он не выдал голосом своего беспокойства.

– О чем ты сейчас?

– Не знаю. Я вижу твою теперешнюю жизнь, всех твоих женщин, и... Иногда мне странно, что ты не заводил романов на стороне, когда жил со мной. Или заводил? Если было – ничего страшного. Ты спокойно можешь мне сейчас сказать.

– Ничего не было. Я старался быть с тобой хорошим.

– Ты *и есть* хороший. Я же знаю, сколько ты сделал фантастически хороших дел. Иногда мне не верится, что я жила с тобой. И все-таки... Тебе по-настоящему горько из-за того, как мы поступили?

– Да!

– Хорошо. Сама не знаю, о чем сейчас думаю.

Он вздохнул. Столько лет прошло, а *обсуждения* до сих пор не прекратились.

– У меня тяжелое чувство по поводу секса, – вдруг сказала она. – Прости меня, но так оно и есть.

– А что такое? – заставил он себя выговорить.

– Не знаю. Просто у меня больше опыта теперь, больше есть с чем сравнивать. И вот слышу сейчас твой голос – не знаю. От него что-то ко мне возвращается, о чем не хочется вспоминать. Какое-то очень нехорошее чувство, не могу его описать. Легкая паника. Прямо сейчас. Да, я чувствую панику.

– Это сплелось, соединилось с тем, что мы сделали. Может быть, мы именно поэтому не смогли оставаться вместе.

Она глубоко вздохнула – ему было слышно.

– Андреас, эта девушка... зачем тебе нужно, чтобы я ее к тебе отправила?

– Чтобы она поверила в мой Проект. Для нас с тобой это будет лучшая защита. Если она будет на нашей стороне, ее отец не сможет ничего сделать.

– Ясно.

– Аннагрет, это все, поверь мне.

– Хорошо. Хорошо. Но могу я хотя бы взять с собой Мартина?

– Кто такой Мартин?

– Близкий мне человек. С ним я чувствую себя защищенной.

– Разумеется. Тем лучше. Но ты, конечно, – он издал скрипучий смешок, – ничего ему не говори.

Защищенной: вот слово, которое нажало кнопку, соединенную с электродом. Столько лет – а все еще приходит мысль убить ее. Ведь сколько из своей внутриатомной жизни он наверняка, сам не замечая того, выдал ей за десять лет, проведенные вместе! Ему повезло, что она была слишком молода и не поняла тогда, что к чему. Но потом жила с этим и что-то стала осознавать задним числом. О том, что она теперь понимает больше, о своей омерзительной открытости ее стороннему взгляду было почти так же нестерпимо думать, как о том, что увидел Том Аберант.

Ожидая сообщений от нее из Окленда, он трезво, критически посмотрел на себя и увидел, как много позиций сдал в битве с Убийцей. До чего пустяковым, смехотворным выглядело теперь его бывшее увлечение онлайн-порнографией; сколько трогательной тяги к хорошему было примешано к его плану убить Хорста! Его внутренняя жизнь ныне почти

целиком состояла из навязчивого беспокойства за свой облик в интернете – в интернете, от которого веяло смертью, – и из ненависти к Тому, из помышлений о мести ему. Если так пойдет, скоро в нем, кроме Убийцы, ничего не останется. И опять он почувствовал: если Убийца возьмет всю власть в свои руки, он, Андреас, станет мертвецом в прямом смысле. Его-то смерть Убийце и нужна на самом деле.

Поэтому некое облегчение принесла весть от Аннагрет, что Пип Тайлер не повелась на ее рекламу. С ощущением отрадной передышки он занялся менее безумным делом: принял участие в работе над фильмом, который снимал о его жизни, частично основываясь на “Преступной любви”, американский режиссер Джей Коттер, представитель авторского кино. Он на две недели засел в отеле “Кортес” с Коттером и художником-постановщиком; он подолгу разговаривал по телефону с Тони Филд, объясняя ей, как надо играть Катю. Когда вернулся в Лос-Вольканес, был почти готов к осуществлению другой проект, не менее дорогой его сердцу: великолепная куча электронных писем и подковерных соглашений между “Газпромом” и администрацией Путина. Хотя “Солнечный свет” теперь во многом действовал на автопилоте, Андреас лично провел переговоры об утечке и продиктовал условия публикации газетам “Гардиан” и “Таймс”. Для защиты источника потребовалась изоциренная отвлекающая работа, был создан непроходимый электронный лабиринт. К Владимиру Путину Андреас питал особую неприязнь, потому что в молодости он работал со Штази, и усиливало эту неприязнь, рождая твердое намерение нанести администрации Путина максимальный ущерб, то, что он предоставил убежище Эдварду Сноудену, о безгрешной чистоте мотивов которого чересчур много говорилось в Сети. В двенадцатиминутном видео, которое Андреас записал для обнародования накануне выхода в свет “Гардиан” и “Таймс” с этим материалом, он был на высоте: искусно язвил Путина и дал тонкую отповедь интернет-деятелям, отвлекшимся на Сноудена – на “певца одной песни” – от его, Андреаса, достижений за двадцать пять лет. Он в очередной раз подтвердил свою способность сполна использовать грандиозные шансы, и это, наряду с перспективой стать героем среднебюджетного фильма с мировым прокатом, очень удачно отвлекло его от проблемы Тома Аберанта.

Электронное письмо, которое Пип Тайлер затем совершенно неожиданно ему прислала, еще больше усилило это ощущение передышки. Оказалось, что в действительности она не имеет ничего общего с фигурой из его мстительных фантазий. В ее письмах звучали молодость, ум, забавная безоглядность. Их юмор и дерзость были бальзамом для его

нервов. Как он устал от подхалимства с тех пор, как поддался своей паранойе! До чего это освежает, когда тебе указывают на твою неискренность! Поймав себя на том, что читает письма Пип со все большей теплотой, он вообразил себе путь к спасению, который Убийца проглядел, судьбоносную лазейку: что, если он сможет постепенно открыться перед женщиной, показать ей всю картину своей моральной несостоятельности? И что, если она, несмотря на это, проникнется к нему симпатией?

Тем временем весьма некстати в Буэнос-Айресе начались съемки, и Тони Филд не на шутку в него втрескалась. Впервые он оценил тяготы жизни мужчин-порнозвезд и эффективность виагры. Словно мало было того, что Тони почти не уступала ему в возрасте и играла его мать, он к тому же не мог внутренне не сравнивать ее с Пип Тайлер. И все-таки по ряду стратегических причин, не в последнюю очередь для того, чтобы не делать ведущую актрису несчастной, важно было показать, что он тоже увлечен. И в Аргентине, и даже больше после возвращения в Боливию и знакомства с Пип изнурительное управление кинозвездой требовало его участия. Не будь все это так неудобно, было бы забавно, до чего похожей на его мать успела стать Тони до того, как он от нее отделался.

Он влюбился в Пип. По-другому это нельзя было назвать. В мотивах, которые двигали им первоначально, не было абсолютно ничего доброго, и темная сторона его мозга неумолчно стрекотала, рассчитывая и высчитывая, но подлинная любовь возникает самопроизвольно. Да, он применил все свои способности манипулятора, чтобы соединить ее с собой узами доверия, он признался ей в убийстве, уговорил ее шпионить для него. Но когда в отеле “Кортес” она, к его изумлению и восторгу, позволила ему раздеть себя, он не думал о ее отце; он просто был ей благодарен за то, какая она милая, хорошая девушка. За то, что заманила его к себе в номер, хотя он признался ей в убийстве; за то, что не отпрянула, когда он сказал ей, чего от нее хочет. Когда она затем целомудренно отказалась от дальнейшего, был, нельзя отрицать, момент, когда ему хотелось ее задушить. Но всего лишь момент.

Он начал думать, что вот она – та, кого он ждал всю жизнь. Надежда, которую она ему подарила, была слаще надежды, которую ему в прошлом подарила Аннагрет, потому что он уже показал Пип больше из своего подлинного “я”, чем когда-либо показывал Аннагрет, и потому что двадцать пять лет назад, когда он надеялся, что Аннагрет его спасет, он даже не догадывался о существовании Убийцы, в спасении от которого нуждался. Теперь он знал, что стоит на кону. К Тому Аберанту это не имело отношения. На кону была возможность не остаться наедине с Убийцей.

Получить наконец то, что он, без шансов на успех, пытался найти в Аннагрет. Соединить жизнь с молодой, умной, сердечной женщиной, у которой есть чувство юмора, которая принимает его таким, каков он есть, и не имеет ничего общего с его матерью. Неужели сейчас, когда ему уже за пятьдесят, появился шанс на постоянное общество той, с кем ему не будет скучно? Все его бывшие удачи ничто в сравнении с этой: с тем, что он нежданно-негаданно полюбил женщину, которой хотел скверно воспользоваться по нездоровым причинам. Ему мечталось о свадьбе солнечным утром на козьем пастбище.

Но потом судьбоносная лазейка закрылась. Только-только она, показалось ему, начала испытывать ответное чувство, всего через неделю после того, как он увидел ее *пламенный взгляд*, они оказались в номере отеля “Кортес”, где с самого начала все пошло не так. Он не мог понять, почему ей не хочется тут быть; но ей явно не хотелось. Он пробовал то, пробовал это. Неуклюже, ощупью. Ничего не помогало. Он ей не нравился. Ей не хотелось быть в этом номере. Но чувство у него было такое, что это *она* не нравится Убийце, что *ему* не хочется, чтобы она была в этом номере; что Убийца, боясь ее, заставил его совершить ошибку – привезти ее в отель слишком рано, до того, как она успела полюбить его по-настоящему.

Оставшись один, стоя на коленях на полу, он не плакал от безответной любви. Он не плакал вообще. Три месяца любви испарились в один миг. Он пытался выбраться из пропасти, поднимаясь по канату, который она держала, и едва он поднялся так высоко, что видно стало ее лицо, как она с отвращением отпрянула и отпустила канат. Чувство, которое испытываешь к женщине, поступившей так с тобой, любовью назвать трудно.

Он разгромил номер. Минуту за минутой, много минут был и Убийцей, и человеком, разъяренным на Убийцу, лишившего его любви. Он швырял в стену еду, бил посуду, сорвал с кровати одеяло и постельное белье, перевернул матрас, колотил по полу деревянным стулом, пока не сломал ножки. До последней секунды, когда за ней закрылась дверь, он цеплялся за надежду. И только тогда понял, что она не лучше своего отца – слишком *безгрешная* для таких, как Андреас Вольф. Жалкая сидушка, лицемерная тварь, ханжа, ничтожество. Он громил номер, давая выход ярости, которая пришла на смену обманутой надежде. Надежда, чтоб ее, помешала ему приказать ей отдаться (она бы послушалась! сама так сказала!), а потом было уже поздно. Он рискнул всем и не получил ничего.

Тем, что он, если не считать расквашенных о стену костяшек пальцев, не причинил себе в тот день или ночью физического вреда, он был обязан идее, явившейся, когда утихла ярость. Ему пришло в голову, что он по-

прежнему владеет информацией, которой нет больше ни у кого, и что он может, используя свою осведомленность, отомстить Пип и Тому разом. Да, он не отодрал девчонку самолично, но можно перепоручить это Тому. Возможность, конечно, отдаленная, но это не делало ее менее восхитительной. И пусть после этого Том строит перед ним из себя чистенького. И пусть Пип попробует сказать, что не жалеет, что отвергла его.

Облегчением было перестать бороться с Убийцей и поддаться злу его замысла; это возбудило его так, что он отправился на то место в комнате, где стояла голая Пип, и выплеснул в трусы, которые она оставила, то, чего не излил в нее. Потом повторил это еще дважды; это помогло ему скоротать долгую ночь. Рано утром обошел несколько банкоматов и снял со счета Проекта достаточную сумму, чтобы возместить отелю ущерб. Принял душ, побрился и дождался в вестибюле Педро, который повез его в аэропорт. Самолет Кати сел на пятнадцать минут раньше. Она вышла из таможенной зоны в костюме от Шанель или очень похожем, с чемоданом на колесиках из ткани, напоминающей парчу, со старомодной сумкой-портфелем на плече, двигаясь более скованно, чем раньше, и, несомненно, постаревшая, в парике не столь великолепно рыжем, как ее бывшая шевелюра, но по-прежнему очаровательная, если смотреть издали. Андреас протиснулся к ней через толпу. Обнял ее, а она положила голову ему на грудь. Первым, что он произнес, было:

– Я люблю тебя.

– И всегда любил, – сказала она.

Ему испытывать бы удовольствие от ходьбы по дороге навстречу Тому Аберанту, от возможности размять мышцы после недели бездействия. Пониже, на лугу у речного переката, где вода обтекала валуны, большой дятел долбил полое дерево. Мимо красной скалы, обрывававшейся отвесной стеной, паря, пролетел орлиный канюк. Теплые воздушные потоки позднего утра тревожили листву придорожного леса, творя такой тонкий, такой непредсказуемо-подвижный узор света и тени, что никакой компьютер на свете не смог бы его смоделировать. Даже локально, даже в самом малом природа превращает информационные технологии в посмешище. Пусть и вооруженный ими, человеческий мозг все равно ничтожен по сравнению со Вселенной. И все же Андреасу испытывать бы удовольствие от того, что солнечным утром в Боливии он идет по дороге, обладая мозгом. Лес неизмеримо сложен, но не знает этого. Материя есть информация, информационный материал, и только в мозгу материя

организует себя так, что обретает способность к самопознанию; только в мозгу информация, из которой состоит мир, может оперировать сама с собой. Человеческий мозг – очень-очень особый случай. Андреасу испытывать бы благодарность за то, что он ему дарован, за возможность играть свою маленькую роль в самопознании мира. Но что-то было совсем не так с его отдельно взятым мозгом. Он мог сейчас, казалось, сознавать только одно: пустоту бытия и бессмысленность мироздания.

Неделя прошла с тех пор, как шпионская программа в Денвере перестала функционировать. После того как Пип попросила его деинсталлировать ее, он мог бы поручить Чэню это сделать, и если бы он действовал быстро, он, возможно, избежал бы разоблачения, но последнее сообщение, которое послала ему Пип, вселило в него такую тревогу, что он едва мог дышать, какие уж там разговоры с Чэнем. *Я хочу все это вычеркнуть, хочу, чтобы моя жизнь была здесь.* Пока он не прочел эти слова, где-то внутри него обрывки любви к ней и надежды еще существовали; но теперь он не испытывал ничего, кроме боли и страха. Увидит ли он ее когда-нибудь снова, что она или кто-либо другой будет о нем думать – все это больше не имело значения. Ничто не имело для него больше значения, ничто и нигде.

Или почти ничто. В Лондоне его мать неплохо перенесла противораковую терапию и довольно быстро поправлялась. Если бы в те дни, что он пролежал в своей комнате, он был способен хоть на что-нибудь, он попросил бы ее опять к нему приехать. Ей всегда все в нем нравилось. Самая дрянная мать на свете, для него она была лучшей матерью на свете. Лежа в постели, он принял бы от нее любовь и заботу на любых условиях. Поистине это выглядело едва ли не сутью его состояния.

Он приближался к бетонному мосту через реку, держась в проложенной Педро автомобильной колее, чтобы не ступить в грязь от ночного дождя, и тут услышал впереди, за поворотом, шум переходящего на пониженную передачу “ленд-круизера”. Хорошего в его состоянии было только то, что приближение машины его тревогу не увеличило. Потому что увеличивать ее было некуда. Максимум, что Том мог сделать, – это убить его.

Мысль, что Том может его убить, была, впрочем, сродни ожиданию дождя в пустыне. Не то чтобы облегчение, но причина для того, чтобы продолжать двигаться вперед. Смерть, как бы она ни наступила, положит конец страху перед ней, не дающему дышать; конкретный способ не так уж важен. Но близость между убийцей и жертвой – разве бывает человеческая близость теснее? В определенном смысле Хорст Кляйнхольц был ему

ближе, чем кто бы то ни было с тех пор, как он покинул материнскую утробу. И умереть, зная, что Том тоже способен на убийство, – уйти из мира с ощущением, что все-таки не был в нем так одинок, – это тоже казалось неким проявлением близости.

Пицца для размышления. Он пошел чуть быстрее; поднял голову, расправил плечи. Каждый шаг перемещал его и во времени немного вперед. Знание, что оставшиеся шаги сочтены, делало боль этой ходьбы не такой нестерпимой. Когда из-за поворота показался “ленд-круизер”, он улыбнулся старому другу.

– Том, – с теплотой в голосе промолвил он, протягивая руку сквозь пассажирское окно.

При виде руки Том нахмурился – казалось, скорее удивленно, чем сердито. На нем была рубашка защитного цвета – типичный журналист-гринго. Андреас видел его недавние фотографии, но сейчас, при личной встрече, то, как он изменился, пополнел, полысел, говорило о количестве прошедших лет.

– Да ладно тебе. Пожми.

Том пожал, не глядя на него.

– Может быть, выйдешь, пройдемся? А Педро поедет вперед с твоими вещами.

Том вышел из машины и надел солнечные очки.

– Очень рад тебя видеть, – сказал Андреас. – Спасибо, что приехал.

– Я приехал не для того, чтобы сделать тебе приятное.

– Я знаю. Но пройдемся все-таки.

Они пошли, и он решил не тянуть. Облегчение душевной боли было таким освобождающим, что возникло ощущение добавочного времени в футболе: все вперед, в атаку, спасти игру, пан или пропал.

– Мои запоздалые поздравления, – сказал он, – с тем, что у тебя есть дочь.

Том по-прежнему не смотрел на него.

– Я узнал про нее больше года назад, – продолжил Андреас. – Благороднее, конечно, было бы известить тебя сразу.

– “А Брут ведь благородный человек”, – процитировал Том Шекспира^[104].

– Виноват, виноват. Она впечатляющая во многих отношениях.

– Как ты ее нашел?

– Поиск по фотографиям. Программа примитивная, странно, что она сработала. Но мне, как ты знаешь, задуманное почему-то удается.

– Тебе даже убийство сошло с рук.

– Именно! – Он не чувствовал собственного тела: диковинная легкость. Рядом с ним шел единственный человек на свете, от которого у него не было тайн. – Но ты и сам кое-чего добился. Грандиозная история с пропавшей боеголовкой. Уже опубликовал?

– Неделю назад.

– Это я тебе ее подарил. Нам давно надо было наладить сотрудничество.

В каком-то пьяном порыве он хлопнул Тома по плечу. И продолжал болтать, гордо расхваливая Лос-Вольканес; между тем они прошли через пастбище, обогнули главное здание и поднялись на веранду. Его отец, муж Кати, подаривший ему свободу, не дожидаясь до того, чтобы увидеть, как он распорядился этим подарком, что создал, но если бы он был жив и приехал в Лос-Вольканес, Андреаса, может быть, так же опьянило бы его присутствие, он так же принялся бы разыгрывать спектакль, перечислять свои достижения, зная при этом, что моральный приговор отца не смягчить ничем.

На веранде Тереса принесла им пиво. Летало несколько безжалых пчел. Том некоторое время хранил отеческое молчание.

– Итак, что же тебя привело в Боливию? – спросил Андреас.

– Ты спрашиваешь, что привело? Помимо того, что твои хакеры взломали мои компьютеры? – Голос Тома звучал глухо, ему явно стоило усилий сдерживать себя. – Помимо того, что ты манипулировал сознанием молодой женщины, которая оказалась моей дочерью?

– Мрачная картина, не спорю, – признал Андреас. – Но позволено ли мне будет указать, что вреда ни то ни другое не принесло и что ты начал, а не я?

Том, не веря своим ушам, уставился на него.

– Я начал?

– Мы договорились вместе поужинать. Помнишь? В Берлине. И ты не пришел.

– И ты поэтому теперь все это проделал?

– Мне казалось, мы друзья.

– Сообщив мне то, что ты сообщил, вправе ли ты винить меня в нежелании дружить?

– Как бы то ни было, счет теперь равный. Я хочу начать с чистого листа. Разумеется, у нас есть кое-какие новые утечки, которые могли бы тебя заинтересовать.

– Я не за этим сюда приехал.

– Догадываюсь.

– Я приехал сюда, – проговорил Том, не глядя на него, – с угрозой. Я опубликую о тебе материал. Сам его напишу. И приведу полицию на место захоронения.

Его жесткий тон был объясним, и все же Андреас, услышав, испытал боль. Будь Том наделен более тонким воображением, на него, может быть, подействовали бы его неявные признания – в том, что он симпатизирует Тому больше, чем Том ему, и в том, что его душевное здоровье оставляет желать лучшего.

– Так, хорошо, – сказал он. – Ты приехал с угрозой. Но угроза предполагает альтернативу.

– Тут все просто, – отозвался Том. – Две простые вещи. Первое: ты никогда больше, ни при каких обстоятельствах не контактируешь с моей дочерью. Второе: ты стираешь напрочь всю электронную информацию, какую извлек из моих компьютеров. Не оставляешь у себя никаких копий и никогда никому не говоришь ни о чем, что там увидел. Если все это будет выполнено, обещаю молчать.

Андреас кивнул. Том, которого он помнил по Берлину, был мягче, в нем было больше прощающего, материнского. Его теперешняя суровость заставила Андреаса почувствовать себя дрянным мальчишкой.

– Я исполню то, что ты сказал, – пообещал он.

– Хорошо. Тогда, собственно, все.

– Если тебе больше ничего не надо, ты мог бы просто позвонить.

– Ради такого дела стоило встретиться лицом к лицу.

Он задался вопросом, что это может быть за информация, которую Том так настойчиво требует стереть. На многое из того, что он выкрал, он даже не взглянул. Убедившись, что Лейла Элу не ведет против него войну, он потерял интерес к шпионской программе, а последнее время он был слишком парализован страхом и болью, чтобы думать о грязи, какая могла найтись в домашнем компьютере Тома.

– Мне безразлично, что ты знаешь обо мне и чего не знаешь, – сказал Том, словно прочитав его мысли. – Но мне небезразлично, что знает Пип. Если ты ей сообщишь хоть что-нибудь, я тебя уничтожу.

– Ты, стало быть, не говорил ей, что она твоя дочь.

– Я не хочу, чтобы она знала. И не хочу, чтобы она знала про деньги.

– Не хочешь, чтобы твоя родная дочь знала, что в перспективе ей светит миллиард долларов?

– Тебе не понять.

– Она разумное существо. Не думаю, что деньги ее погубят.

– Я не намерен лезть в дела Анабел. И от тебя требую, чтобы ты в них

не лез.

– То есть бывшая жена тебя заботит больше, чем собственная дочь. Пожалуй, я не удивлен. В Берлине ты был такой же.

– Что есть, то есть.

– И как тогда выглядят твои отношения с подругой? Извини за любопытство.

– Лейла тут совершенно ни при чем.

– Предполагаю, ты ей сказал, кто такая Пип.

– Да.

– Изрядный шок для нее, видимо.

Том повернулся к нему и улыбнулся. Лишь спустя пару секунд Андреас увидел в этой улыбке жестокость.

– Если уж ты хочешь знать, – сказал Том, – нам с Лейлой это пошло на пользу. Твой знаменитый солнечный свет. Нам это на пользу пошло.

Андреас закрыл глаза. Чтобы создать тьму, ничего больше не требовалось. Он внутренне погрузился в нее, желая, чтобы тьма была как можно более глубокой.

– Разъясни, – пробормотал он.

– Ты послал к нам Пип.

– Да.

– Лейлу ее присутствие напрягало. В конце концов мне пришлось ей все рассказать, в том числе про то, что мы с тобой сделали в Германии.

– Но ведь про это ты ей давно рассказал.

– Нет. Только после того как узнал, как ты со мной поступил.

– Ты ей рассказал.

– Не волнуйся. Если ты навсегда оставишь Пип в покое, твоя тайна так и останется тайной. Лейла – могила. Я тоже. Но, просто чтоб ты знал, ты оказал нам услугу.

– Услугу...

– Мы с ней в чем-то увязли. Ничего особенно страшного. Но толчок извне пришелся кстати.

– Оказал вам услугу...

– Не пойми меня превратно. То, как ты обошелся с Пип, непростительно. Я не благодарить тебя приехал. Но где надо отдать должное, я отдаю должное.

Тьма, куда Андреас падал, была настолько аморфной, что его закружило тошнотворным кружением. Мало того, что не смог разрушить жизнь Тома. Еще и ненароком сделал его счастливее...

Он открыл глаза и встал.

– У меня тут кое-какая срочная работа, – сказал он. – Может, перекусишь, отдохнешь часок? Давай прогуляемся, когда станет чуть попрохладней. Скажем, часа в четыре.

– Спасибо, но – нет, – ответил Том. – Все, что я хотел сказать, я сказал.

– Останься хоть на одну ночь. Твоей дочери нравилось бродить по здешним тропам.

Том посмотрел на часы. Он явно высчитывал, как скоро сможет расстаться с Андреасом и вернуться к своей женщине. За двадцать пять лет ничего не изменилось.

– На дневные рейсы ты так и так не успеешь, – сказал Андреас. – Тут много такого, на что стоит взглянуть. А в городе смотреть не на что.

– Мне понадобится машина очень рано утром.

– Конечно. Мы все организуем.

Наверху, один у себя в комнате, он открыл свою копию домашнего жесткого диска Тома. Набрал в строке поиска “Андреас”, и кое-что нашлось, но ничего интересного; то же самое с “Анабел”. Защита у Тома была паршивая – пароль для общего доступа, легко извлекаемый из файла введенных символов, был leonard1980, без заглавных, без специальных символов, – а строгая аккуратность, с которой он организовал свой рабочий стол, выдавала в нем человека, нетерпимого к собственным ошибкам: папка за папкой с полученными от кого-то PDF-документами, скучными фотографиями, деловыми письмами, которые он не утруждал себя защищать паролями. Имелась, однако, папка, вложенная в главную папку документов и озаглавленная X. В ней содержался один-единственный файл мясная_река.doc, защищенный паролем. Андреас ввел наудачу leonard1980, но ничего не вышло.

Файл был немаленький – почти полмегабайта. Он безуспешно пробовал наборы символов, очевидными способами видоизменяя leonard1980, потом сдался и обратился к файлу введенных символов, малый размер которого был и плюсом (меньше просматривать), и серьезным минусом: Том, возможно, не все свои пароли успел использовать за время работы шпионской программы. Там нашлись leonarD1980 и leonard198019801980. Ни то ни другое, однако, открыть мясная_река.doc не помогло. Он снова принялся просматривать набранные на компьютере Тома символы, теперь слегка расфокусировав взгляд, чтобы лучше видеть последовательности, и на сей раз заметил le1o9n8a0rd; дальше шли цифры, похожие на то, что вводят при банковских операциях онлайн. Этот чуть менее уязвимый пароль открыл документ.

Это оказались некие романизированные мемуары. Он запустил поиск

по своему имени и нашел его ближе к концу. Все в документе говорило за то, что это мемуары, попытка автора точно и честно изложить свои воспоминания, но когда Андреас дошел до места, где Том писал о своей нежности к нему, он не поверил ни единому слову. Повествование вновь сделалось правдивым лишь в тот момент, когда чувства рассказчика обратились против него. Тут все опять встало на свои места. Подтверждалось то, что ему всегда было известно: его невозможно любить, зная его. И этому есть объективная причина. С ним что-то не так, совсем не так.

Он сидел, вдавив пальцы себе в лицо. Время шло. Он перевел взгляд на экран, казалось, на миллисекунду, но миновало, должно быть, с полчаса, потому что документ теперь был закрыт и он знал, чем все кончилось. Он печатал le1o9n8a0rd как тему электронного письма. Выбрал из списка адресов andtylertoocruzio.com и прикрепил файл мясная_река.doc. Он потому не чувствовал хода времени, что его мысль двигалась быстрее, чем когда-либо, двигалась без него, оставив его позади. Он нажал “Отправить”.

Том ждал его на веранде. Взглянуть на него Андреас не мог, но с губ слетали слова в дружелюбном тоне: сколько гектаров составляет площадь Лос-Вольканес, каков защитный статус национального парка к северу... Они спустились к реке, перешли ее по дощатому мосту и двинулись вверх по первой тропе – она вела на скалу из не самых высоких. Когда тропа сделалась круче, Том начал пыхтеть.

Ему следовало бы ради Тома идти потише, но казалось важным добраться до вершины как можно раньше. Казалось, у него там назначено свидание с женщиной, которая может не дожидаться и уйти. У него было для нее кое-что – кое-что чрезвычайно славное, что он хотел ей посвятить. Было очень важно, чтобы она не ушла. Не умерла – вот это было вернее. Она могла умереть раньше, чем он достигнет вершины. Ее там даже и не было, но она могла умереть прежде, чем он туда поднимется. Он не звал ее, не просил приехать и все-таки ненавидел за то, что не приехала. Ненавидел ее, нуждался в ней, ненавидел, нуждался. Все теперь было следствием, ничто – причиной. Ему смутно помнилось, что он был человеком удачливым. Безусловно, это удача, что она пережила онкотерапию. Она может еще получить то, что он хочет ей посвятить, надо только побыстрее добраться до вершины.

На ней была устроена смотровая площадка с грубой скамейкой. Утесы на той стороне долины горели от лучей опускающегося солнца, но ближнюю ее часть уже окутывала тень. Округлый край скалы был усыпан ненадежным ползучим гравием. А дальше она обрывалась вниз на

несколько сот метров, отвесная и голая – лишь кое-где к ней жались неприхотливые эпифиты.

Том, пыхтя и раскрасневшись, с пятнами пота на рубашке, поднялся следом.

– Ты куда спортивней меня, – проговорил он и рухнул на скамейку.

– Панорама стоит того – ведь правда же?

Том послушно поднял голову, чтобы увидеть панораму. Из долины доносились крики длиннохвостых попугаев, летавших стайками. Но красота зеленой листвы, красного камня и синего неба была лишь идеей. Мир в своем бытии, вплоть до последнего атома, был ужасен.

Когда Том отдышался, Андреас повернулся к нему и открыл рот. Ему хотелось сказать: *Вокруг меня сплошной ужас. Будь мне другом опять, прошу тебя.* Но вместо этого некий голос произнес:

– Между прочим, знаешь что? Я видел твою дочь голой.

Глаза Тома сузились.

Ему хотелось сказать: *Ты не согласишься, но я любил ее.*

– Я велел ей раздеться, и она разделась для меня. У нее чудесное тело.

– Закрой рот, – сказал Том.

Я едва ее знал, но полюбил. И тебя полюбил.

– Я засунул язык ей сам знаешь куда. Было очень приятно. Очень *lecker*^[105] – есть у нас, у немцев, такое словцо. Ей тоже понравилось.

Том с усилием встал.

– Заткни свой гребаный рот! Да что с тобой такое?

Помоги мне, прошу тебя.

– Все, что она делала, ты хотел делать сам. Разница в том, что она это делала.

– Да что с тобой, на хер, такое?

Кто-нибудь, пожалуйста, помогите. Мама, помоги, прошу тебя.

– Не обо мне ли ты думал, когда трахал в задницу свою Анабел?

Том схватил его за воротник. Казалось – вот-вот ударит.

– Я решил – Пип может получить удовольствие от этой сцены. И поэтому послал ей твой документ. Прямо сейчас, пока ты отдыхал. Пароль тоже послал.

Том крепче сжал руки, державшие воротник. Кто-то взял его за запястья.

– Не надо меня душить. Есть получше способы. Такие, что тебе потом ничего не будет.

Том отпустил воротник.

– Что ты делаешь? – раздался его голос.

Кто-то подошел ближе к краю скалы.

– Ты можешь толкнуть меня – вот я о чем.

Том смотрел на него.

Мне невыносимо печально из-за этого.

– Я осквернил твою дочь. Просто потому, что она твоя дочь, просто удовольствия ради. Она сказала, что никогда еще так не кончала. Я не вру. Это истинная правда – спросишь, она подтвердит. А теперь я отправил ей твой документ, чтобы она знала, из какой грязи возникла. Ну что, ты же обещал уничтожить меня, если я это сделаю. На твоём месте я бы убил такого человека.

На лице Тома уже был страх, а не гнев.

Пожалуйста, помоги мне. Мне никто никогда не помогал.

– Сядь на землю вот здесь, чтобы не упасть. А потом толкни меня ногами хорошенько. Разве тебе этого не хочется? Особенно если я... постой. – Кто-то вынул из его кармана ручку. – Я напишу записку, снимающую с тебя всякую ответственность. На руке своей напишу. Вот, смотри, я пишу на руке.

Кожа была влажная от пота и мешали волоски, поэтому писал он медленно, но рука была тверда. Текст сложился в голове сразу, без размышлений.

Вы знаете меня как правдивого человека. никакая угроза не могла бы принудить меня написать ложь. я признаюсь в убийстве хорста вернера кляйнхольца в ноябре 1987 года. за совершенный сегодня акт несу ответственность единолично. андреас вольф

Кто-то показал написанное Тому, который сидел сейчас на скамейке, обхватив голову руками.

– Ведь этого будет довольно, ты согласен? Мотив виден из признания. Если надо, подкрепишь своими показаниями. Но не думаю, что у кого-нибудь возникнут вопросы. – Кто-то протянул Тому руку. – Сделаешь?

– Нет.

– Я как друга тебя прошу. Мне что, умолять?

Том покачал головой.

– Мне что, тащить тебя к обрыву?

– Нет.

– Не лги мне, Том. Тебе знакомо желание убить человека.

– Разница в том, что я не убивал.

– Но теперь можешь. И хочешь. Признайся, по крайней мере: хочешь.

– Нет. Ты психически болен и сам того не сознаешь, потому что болен. Тебе надо...

Голос Тома перестал звучать. Вдруг странно, резко вырубился. Губы еще шевелились, и по-прежнему издали доносилось журчание воды, кричали попугаи. Неслышимой стала только человеческая речь. Это очень сильно сбивало с толку и, видимо, было делом рук Убийцы. Но кто-то и Убийца были одно. Убийца что, всегда был глух к людским голосам?

В таинственной избирательной тишине он двинулся от Тома к обрыву. Услыхав шорох гравия под подошвами, обернулся и увидел: Том встал, машет ему руками и, судя по губам, что-то кричит. Он снова обратил взгляд к обрыву и посмотрел вниз, на кроны тропических деревьев, на большие каменные обломки, упавшие с высоты, на зеленые волны растительности, словно разбивающиеся о них. Когда все это стало медленно приближаться, а потом быстрее, а потом совсем быстро, он держал глаза широко открытыми, потому что был правдив с самим собой. За мгновение до того, как все было кончено и сделалось ничем, он услышал все человеческие голоса на свете.

Стук дождя

Туман стекал с сан-францисских холмов подобно жидкости, которой почти что и был. В лучшие дни он распространялся через залив и брал Окленд улицу за улицей – ты видел это воочию, эта перемена происходила у тебя на глазах и с тобой, погода на марше. Где ему встречалась на пути секвойевая роща, выпадал дождь – самый локальный, какой только бывает. На открытых местах он невесомо и нежно задерживался, его пребывание казалось и бесконечным, и концом всего сущего. Это была преходящая печаль – нечто такое, чему печальное настроение добавляло красоты, чему недолговечность добавляла ценности. Это была медленная песня в миноре, которую затем прогонял рок-н-ролл солнца.

Та печаль, что, поднимаясь по склону холма на работу, чувствовала Пип, не казалась ей такой уж преходящей. Улицы ранним воскресным утром были пусты. Машины, которые в солнечную погоду выглядели бы просто припаркованными, в тумане казались брошенными. Где-то, не близко и не далеко, каркал ворон. Другие птицы в тумане умолкали, а вороны, наоборот, делались разговорчивы.

В “Кофейне Пита” Нави, помощник менеджера, клал выпечку внутрь прилавка-витрины. У Нави в растянутые мочки ушей были вставлены деревянные диски размером с покерные фишки, и он если и был старше Пип, то совсем ненамного, но мир корпораций, торговли и денег никаких проблем у него, похоже, не вызывал. Это был ее первый рабочий день после краткого периода обучения, и он, пока она загружала кассу и наполняла емкости жидкостями, держался с ней по-деловому, ничего личного, никаких поблажек. Она чуть ли не до слез была рада, что ее начальник – всего лишь начальник, что по большому счету ему нет до нее дела.

Когда она отпирала входную дверь, снаружи в тумане уже дожидались три посетителя. После того как она их обслужила, наступило затишье, а затем вошел человек, которого она узнала. Это был Джейсон – тот самый, с кем у нее не получилось переспать полтора года назад, парень, чью переписку она прочла. Джейсон Уитакер со своей воскресной “Таймс”. Предлагая себя на вакантное место в “Кофейне Пита”, она, честно говоря, думала о нем, об их воскресных утрах. Но предполагала, что за это время ему успела понравиться какая-нибудь другая кофейня.

Она ждала, молча давая о себе знать с профессиональным видом

баристы; он между тем положил газету на свой привычный столик и направился к выпечке. Для себя самой она уже не была той особой, что заставила его прождать в спальне целую вечность, а потом выплеснула на него свое раздражение; но ему узнать это было неоткуда, ибо вместе с тем она, конечно, все еще ею была. Подойдя к кассе, он увидел эту особу и покраснел.

– Привет, – сказала она с легким ироническим взмахом руки.

– Ух ты... Работаешь здесь?

– Сегодня у меня первый полноценный день.

– Не узнал тебя в первую секунду. Я вижу, постриглась.

– Ага.

– Тебе идет. Отлично выглядишь.

– Спасибо.

– Надо же, какая встреча.

Он оглянулся через плечо. За ним никого не было. Он тоже был теперь подстрижен покороче, по-прежнему худощавый, но не такой худощавый, как тогда. Она вспомнила, почему ее к нему потянуло.

– Что закажешь?

– То же самое. Не помнишь? “Медвежьи когти” и тройной капучино, высокий стакан.

Она с облегчением отвернулась от него и занялась приготовлением кофе. Нави в заднем помещении возился с большой пластиковой емкостью.

– Ты тут что, подрабатываешь? – спросил Джейсон. – Не ушла из своих “Возобновляемых решений”?

– Ушла. – Она выудила щипцами булочку “Медвежьи когти”. – Я уезжала. Совсем недавно вернулась.

– Где ты была?

– Сначала в Боливии, потом в Денвере.

– В Боливии? Серьезно? Что ты там делала?

У нее громко гудел капучинатор, поэтому можно было не отвечать.

– За мой счет, – сказала она, когда кончила. – Тебе не надо платить.

– Да ну что ты.

Он подвинул к ней десятидолларовую бумажку. Она подвинула ее обратно. Купюра оставалась лежать на прилавке. Глядя на нее, она проговорила:

– Я так и не извинилась перед тобой. А должна была.

– Да нет, бог с тобой, все нормально. Это я должен был извиниться.

– Ты извинился. Я получила твои сообщения. Но мне было так стыдно, что не могла заставить себя ответить.

– Мне очень совестно.

– А мне еще больше.

– Прямо вечер оплошностей какой-то у нас был.

– Да.

– Знаешь, парень, с которым я тогда переписывался... Мы теперь даже и не дружим.

– Ей-богу, Джейсон, не тебе передо мной извиняться.

Он пошел к своему столику, оставив деньги на прилавке. Она пробила чек и положила сдачу в стакан для чаевых. Полтора года назад она, может быть, испытала бы к нему неприязненное чувство из-за такой бесцеремонности по денежной части, но она уже не была той особой. На каком-то этапе она утратила способность обижаться, испытывать неприязнь и враждебность, и в определенной мере это делало ее менее интересной. Потеря ощутимая, но кроме как печалиться, поделаться с этим она ничего не могла. Она была более-менее уверена, что утрата случилась до того, как она узнала, что ее мать – миллиардерша.

Некоторое время клиенты шли ровным потоком. Нави не раз приходилось ее выручать; по невнимательности она допускала слишком большие потери кофе и молока. Во время очередного затишья Джейсон снова подошел к прилавку.

– Я пойду, – сказал он.

– Очень рада была тебя повидать. Ну, за вычетом мук совести.

– Я по-прежнему тут бываю каждое воскресенье. Теперь ты можешь думать: а, это Джейсон, ну и что? И я могу думать: а, это Пип, ну и что?

– Кажется, это я так тогда сказала.

– Да, это ты так тогда сказала. Через неделю мы здесь увидимся?

– Скорее всего. Это непопулярная смена.

Он двинулся было к выходу, но остановился и повернулся к ней.

– Прости, я вот что подумал... Это, может быть, как-то не так прозвучало. Мой вопрос насчет следующего воскресенья.

– Прозвучало по-дружески, и только.

– Хорошо. Я хочу сказать... У меня, в общем, есть девушка. Не хотелось посылать ложный сигнал.

Она ощутила легкий укол, но не удивилась.

– Сигнал дружелюбия принят, – промолвила она. Он вновь направился к выходу, и вдруг она рассмеялась. Он обернулся:

– Что случилось?

– Ничего. Извини. Из другой оперы.

Когда он ушел, ее снова разобрал хохот. Идиотский презерватив!

Самый смехотворный предмет на свете. Если бы она полтора года назад не пошла за ним вниз, оставив Джейсона в комнате, она, может быть, не стала бы отвечать на анкету Аннагрет и все, что случилось с ней потом, не случилось бы. Если бы у нее был бойфренд, она не захотела бы никуда уезжать. И не узнала бы про *другие* презервативы, про *ту* комедию. Про комедию самого ее существования. Нави смотрел на нее укоризненно, но она не могла перестать смеяться.

Во второй половине дня, когда смена кончилась, она пошла обратно вниз по склону. Небо было до того ясное, словно такой вещи, как туман, не существовало в природе. В теории ей надо бы сейчас работать над статьей, которую заказала “Ист-Бэй экспресс”, – над рассказом из первых рук о жизни практикантки проекта “Солнечный свет”. Но независимо от объема и качества статьи гонорар будет пара сотен долларов максимум, а учебный долг у нее так и не выплачен; потому-то она и устроилась в “Кофейню Пита” на полную ставку. Кроме того, она не знала, как ей писать про Андреаса. Ей мог понадобиться год, а то и все десять, чтобы разобраться в своих переживаниях после его смерти, а у нее и без того было так много всякого, в чем следовало разобраться, такая гора неразобранного, что после смены в “Кофейне Пита” она была способна только посылать теннисные мячи, потерявшие былую упругость, в дверь Дрейфусова гаража.

Дрейфус лежал на спине на диване в гостиной и смотрел бейсбол с участием “Окленд атлетикс”. Он приходил в себя после лечения от глистов, которыми его наградил, скорее всего, фриганизм^[106] его жильцов Гарта и Эрика. Сами они сейчас находились в окружной тюрьме. Три дня назад они “применили насилие” к агенту по недвижимости, пытавшемуся показать дом Дрейфуса потенциальным покупателям, и сбор средств, организованный их друзьями-анархистами, еще не принес достаточной суммы, чтобы внести залог.

– Кое от кого пахнет кофе, – констатировал Дрейфус.

– Я тебе сконы принесла, – сказала Пип, расстегивая рюкзачок. – Хочешь с молоком? Я и молока захватила.

– Проблема, создаваемая контактом черствого скона с постоянно пересыхающим ртом, без него была бы трудноразрешима.

Дрейфус положил пакет со сконами на свой уменьшившийся, но по-прежнему выпуклый живот и запустил туда руку. Пластиковую бутылку с молоком Пип поставила на кофейный столик.

– Срок годности истек только вчера, к твоему сведению. Из банка есть какие-нибудь новости?

– Даже банк “Деловая хватка” ослабляет ее в Шабат.

– Все будет хорошо. До суда они ничего не могут сделать.

– Из того, что мне известно про судью Косту, ничто не внушает ни малейшего оптимизма. Он производит впечатление человека с восьмилетним образованием, испытывающего рабское почтение к правам корпораций. Я сократил свою аргументацию до минимума, но все равно она содержит сто двадцать два дискретных нарративных элемента. Подозреваю, что внимания судьи хватит самое большее на три или четыре.

Пип уже не так боялась Дрейфуса, и банк, увы, тоже. Она похлопала его по почти безволосой тыльной стороне одной из тяжелых ладоней. Отклика на это прикосновение она не получила, да и не ждала.

Наверху, в своей старой комнате, переделалась в шорты и футболку. Половину комнаты занимали вещи Стивена и всякий хлам, притащенный с помоек, – ей, чтобы освободить место для матраса и чемодана, пришлось потрудиться, нагромождая все это вертикально. Две недели назад от своей подруги Саманты, выйдя из оцепенения, в которое привела себя с помощью ативана Саманты, она позвонила Дрейфусу сказать “привет” и сообщить, что он был прав насчет этих немцев. От Дрейфуса узнала, что Стивен отправился искать приключений в Центральную Америку с двадцатилетней девицей на деньги ее родителей. В доме на данный момент, кроме Дрейфуса, живут только Гарт и Эрик; она может, если хочет, занять свою прежнюю комнату. Грязь, которую развели в доме мужчины, оказалась еще отвратительней, чем она воображала, но уборка на время дала ей занятие, что было нелишне.

Среди барахла, оставленного Стивеном, она обнаружила старую теннисную ракетку. Деревянная дверь гаража у Дрейфуса разболталась на петлях и была подточена сухой гнилью. Даже очень сильно посланные мячи отскакивали от нее по-щенячьи неагрессивно. Роль заградительной сетки, не дающей мячам улетать, играли вечнозеленые кусты, стеной стоявшие за гаражом. Мячи, которые перелетали через них, она легко заменяла другими, обшаривая кусты в парке Моссвуд. Чем менее упругим был мяч, тем лучше он ей подходил, потому что цель была – лупить по гаденьшу что есть силы до полного изнеможения. Из всего, думалось ей, чем она когда-либо занималась, это, пожалуй, приносит наибольшее удовлетворение.

По нескольким неделям тенниса на школьной физкультуре она знала, что надо смотреть на подлетающий мяч и стоять к нему немного боком. Удар слева у нее выходил так себе, слишком размашистый, а вот справа – это был удар. Ее коронный был с верхней подкруткой – элегантный, точный. Она пятнадцать минут могла, не переводя дыхания, раз за разом

бить справа, успевая к отскочившему, вновь принимая стойку, – настоящая кошка, играющая с резиновой мышью. Каждый тук был очередной частичкой, откусываемой от слишком долгого вечера.

Когда пришло электронное письмо, озаглавленное *le1o9n8a0rd*, она еще была в Денвере – нагрянула на несколько ночей в Лейквуд к тем двум девушкам, с которыми делила жилье раньше. Она сразу почувствовала, что прикрепленный документ извлечен из компьютера Тома; читать его она не могла, не нарушая обещания. А позднее в тот же день, после утомительной автобусной поездки в денверский аэропорт, на электронную почту пришли два коротких сообщения от самого Тома:

Андреас погиб. Самоубийство. Я в шоковом состоянии, но решил дать Вам знать.

P. S. Я в Боливии, это произошло при мне. Если он прислал Вам что-нибудь, прошу удалить, не читая. Он был психически болен.

В том, что ударило ее в живот, вызывая тошноту, больше, чем шока, страха или боли, было *чувства вины*. Странно: разве она могла быть виновата? Но что она знала – то знала. Тошнотворное чувство, несомненно, было чувством вины. Механически, услышав номер своей группы, она отправилась на посадку – она летела в Сан-Франциско дешевым рейсом компании “Фронтир эйрлайнз”. В самолете сидели солдаты. Их пригласили на посадку раньше, и ее место было рядом с одним из них.

Он был психически болен. Она и знала это, и не знала. Видела это – и вместе с тем делала то, чего он просил ее не делать: проецировала себя. Проецировала на него свое душевное здоровье. Если он правда погиб, она, должно быть, могла его спасти. Она явно льстила себе, думая так, но, исследуя свои воспоминания о часах, проведенных с ним наедине, она испытывала чувство, что он просил ее спасти его. Она думала тогда, что, отказавшись от близости с ним, поступила правильно с моральной точки зрения, но что, если это был морально неверный поступок? Проявление бесчувственности? Она сидела, съежившись на узком самолетном сидении, и старалась плакать незаметно, глаза держала закрытыми, как будто могла таким образом сделаться невидимой для соседа в военной форме.

К тому времени, как добралась до Саманты, она уже сознавала, что переживает внутренний конфликт. С одной стороны – обещание Тому не совать нос в его личное, обещание, дополненное его ясно выраженным

указанием на психическую болезнь Андреаса; Том, казалось, подразумевал, что не видит ничего здорового в самом факте ее обладания чем-либо, что мог прислать погибший. И вместе с тем – отправление этого документа было одним из последних действий Андреаса в жизни. Между его письмом и сообщениями Тома прошло всего несколько часов. Сколь бы болезненным ни было состояние Андреаса, он подумал *о ней*. Полагать, что ее персона имела тогда для него значение, было, конечно, еще одной формой лести самой себе: ей бы проявить больше сочувствия к мукам человека перед самоубийством, понять, как маловажно было для него все, кроме душевной боли, которую он испытывал. И все же – то, что он послал ей это письмо, не могло ничего не значить. Не значит ли это, со страхом думала она, что в какой-то мере она была причиной его самоубийства? Если в его смерти есть ее вина, самое малое, что она может сделать, чтобы не уклоняться от ответственности, это прочесть то, чем он решил с ней поделиться. Она рассудила, что взглянет на документ и, помня о своем обещании Тому, никогда ему об этом не скажет. Ей казалось, что таков ее долг перед Андреасом.

Но документ оказался тем, что, раз открыв, закрыть уже невозможно, – рецептом расщепления атомного ядра, ящиком Пандоры. Когда она дошла до места, где Том упомянул о шраме на лбу своей бывшей жены и о ее восстановленных передних зубах, на нее нахлынул ужасающий холод. Этот холод имел отношение к Андреасу, в его состав входили странная благодарность и удвоенное чувство вины: в свой последний час он подарил ей то, чего она больше всего хотела, дал ответ на ее вопрос. Но, получив подарок, она тут же пожалела об этом. Она увидела, что, взяв его, очень дурно поступила по отношению и к матери, и к Тому. Оба они знали – и оба не хотели, чтобы она знала.

Не читая дальше, она лежала на раскладной кровати у Саманты. Ей хотелось, чтобы появился Андреас и сказал ей, как быть. Самый сумасшедший его приказ был бы лучше, чем никакого приказа вовсе. Она задавалась мыслью, не мог ли Том ошибиться насчет его гибели. Его смерть была для нее непереносима; ей не хватало его адски. Она взялась за свой телефон и увидела, что “Денвер индипендент”, обычно не публикующий репортажей с места события, уже дал сообщение.

прыгнул с высоты не менее пятисот футов

Она выключила телефон и прорыдала до тех пор, пока бьющая ключом тревога не взяла верх над горем и ей не пришлось идти будить Саманту и просить у нее ативан. Она сказала Саманте, что Андреас покончил с собой. Саманта, которой трудно было осознать что-либо, не соотнося тем или

иным образом с собой, заметила в ответ, что в школе, когда она училась в старших классах, у нее повесился друг и она преодолела это лишь после того, как поняла, что самоубийство – величайшая из тайн.

– Это не тайна, – сказала Пип.

– Еще какая, – возразила Саманта. – Я долго боролась с последствиями. Все думала: я могла это предотвратить, могла его спасти...

– Я могла его спасти.

– Я тоже так думала, но ошибалась. Мне еще предстояло увидеть, что это произошло не из-за меня. Я не должна была чувствовать себя виноватой по поводу того, что произошло не из-за меня. Меня это разозлило, когда я поняла. Я ничего для него не значила. Спасти его я никак не могла, потому что я была для него ничем. Мне стало понятно, что злость – это куда здоровее на самом деле...

Саманта говорила и дальше в том же духе, фонтанируя декларативными фразами о себе самой, пока ативан не начал действовать и Пип не захотелось лечь. Утром, одна в квартире Саманты, она медленно прочла документ Тома до конца. Ей нужны были базовые сведения, и чтобы получить их, не читая слишком много про половую жизнь родителей, приходилось что-то проглядывать бегло, к чему-то потом возвращаться. Не то чтобы ее особенно смущал секс как таковой; трудность заключалась в том, что родительские заморочки по поводу секса были ей совершенно чужды, казались дико старомодными, невыносимо печальными.

В документе была масса всего прочего, что давало поводы для беспокойства, но дочитывала она его с чувством, что главная проблема – деньги. Представлять себе Тома и Лейлу как новых родителей было, конечно, интересно; но она не могла позвонить Тому и сказать ему: “Здравствуй, папа” без признания в том, что она нарушила обещание, что она прочла документ и тем самым предала его еще раз. Если смотреть реалистически, Том и Лейла не должны были существовать в ее жизни – разве только мать почему-нибудь вдруг сама скажет ей, кто ее отец. И она хотела так жить, по крайней мере сейчас. Но доверительный фонд на миллиард долларов? Сколько раз мать ей говорила, что никого и ничто в мире не любит так, как ее! Если так, то почему же она, имея столько денег, позволяла Пип мучиться из-за учебного долга и ограниченных возможностей? Документ Тома был свидетельством его фрустрации, в которой виновата ее мать, и она чувствовала, что заражается его состоянием. Ей стало ясно, почему мать боялась, что Том заберет ее и настроит против нее. Она чувствовала, что настраивается против нее прямо сейчас.

Она проглотила еще одну таблетку ативана и написала очередное электронное письмо Коллин. На сей раз, менее чем через час, та ответила – после восьми месяцев молчания:

Снова в дураках. Думала, у него не осталось способов причинить мне боль.

Ответ пришел с калифорнийского телефонного номера, по которому Пип сразу же позвонила. Оказалось, что Коллин живет не очень далеко – в Купертино по ту сторону залива, работает главным юристом в сравнительно новой технологической компании. Вешать трубку она не стала – просто продолжила свои жалобы на дерьмовость мира с того места, на котором они умолкли в ушах Пип восемь месяцев назад.

– Его женщины подняли в Твиттере целую бурю, – сказала Коллин. – Тони Филд пишет, он был самым честным из людей, ходивших по земле, – иными словами: *я с ним спала*, вот вам, вот! Шила Тейбер пишет, в нем был жив гегелевский дух мировой истории, – иными словами: *я спала с ним до Тони*, и у меня это длилось дольше! Можешь присоединиться. Подай свою заявку на святого героя.

– Я с ним не спала.

– Прости, как же это я забыла. У тебя пломба выпала.

– Не будь такой вредной. Мне по-настоящему плохо из-за этого. Хотелось поговорить с кем-нибудь, кто понимает.

– Боюсь, я сейчас раскаленный комок боли и ярости.

– Может, тебе стоит перестать читать Твиттер.

– Завтра улетаю в Шэньчжэнь, это, думаю, поможет. Китайцы, благослови их боже, никогда не понимали, к чему вся эта наша суматоха.

– Можно будет встретиться, когда ты вернешься?

– Мне кажется, у тебя всегда было обо мне неверное представление. Это чуточку неприятно, но и мило. Давай встретимся, если хочешь.

Пип знала, что ей следовало бы позвонить матери и сказать, что она опять в Окленде. Теперь ей была понятна подозрительность матери насчет мотивов ее пребывания в Денвере: одного взгляда на сайт “Денвер индипендент” на компьютере соседки Линды было достаточно, чтобы увидеть на главной странице фотографию бывшего мужа и его еженедельный комментарий. Мысль, что Пип находится у него, наверняка была для матери мучительна. Этим объяснялась ее последующая упорная молчаливость: она была уверена, что Пип нашла отца и лжет ей, отрицая это. Пип хотелось по крайней мере доказать ей, что на *сей* счет она не

лгала. Но непонятно было, как это сделать, не сообщая матери об остальном, что она узнала, и о том, как она все узнала. Если матери станет известно, что Пип о ней прочитала, она умрет от стыда, может в прямом смысле умереть от того, что стала слишком *видимой*. Пип могла, конечно, просто лгать и дальше, по-прежнему делать вид, будто ее работа в Денвере была работой, и только. Но мысль, что лгать надо будет вечно, что нельзя будет упоминать про деньги, что ей придется лишиться себя Тома с Лейлой и год за годом потворствовать материнским фобиям и иррациональным запретам, злила ее. Андреас явно не был самым честным из людей, ходивших по земле, но ее мать, думала она, была из них, возможно, самым трудным. Как с ней быть, Пип не знала и потому некоторое время черпала успокоение в ативане.

Ракетка и теннисные мячи были для нее заменой ативану. Воскресное солнце опустилось по небу, где по-прежнему не было никакого тумана, за скоростную эстакаду. Засушливая погода стояла в Калифорнии не один месяц, но только теперь, после летнего солнцестояния (Пип поздравила мать с “ее днем” открыткой, где написала всего лишь: “Люблю тебя неизменно. Пип”), наступила засуха в полном смысле слова. Если бы утренний туман вернулся, она, возможно, почувствовала бы, что пора перестать лупить по мячу и пришло время зайти в дом; но он не вернулся. Она попыталась поработать над ударом слева, отправила два мяча за кусты в соседний двор и снова обратилась к удару справа. Можно ли вообразить себе ловчее сработанный предмет, чем теннисный мяч? Пушистый и кругленький, сжимаемый и прыгучий, с рисунком из двух изогнутых языков, он издает при ударе *тук* в самом что ни на есть приятном регистре. Собаки умеют распознавать хорошее, и они любят теннисные мячи; любила их и она.

Когда наконец, вся потная, она вошла обратно в дом, за кухонным столом сидели Гарт и Эрик с двумя большими бутылками пива, которые им купил некий добрый самаритянин во время их долгого пути домой после внесения залога.

– Краудфандинг – отпадная штука, – сказал Гарт.

– Особенно если это, по сути, заем, – добавил Эрик.

– Обвинения не сняли? – спросила Пип.

– Пока нет, – ответил Гарт. – Но если Дрейфус в суде возьмет верх, риелтор превращается в нарушителя, которого мы имели полное право выпроводить.

– Не думаю, что он возьмет верх. – Пип взялась за одну из полупустых бутылок. – Можно? – Колебания Гарта и Эрика продлились ровно столько,

сколько нужно было, чтобы она поставила бутылку обратно. – Могу сходить купить еще.

– Было бы здорово, – сказал Эрик.

– Я много принесу.

– Было бы здорово.

Прежде чем идти за пивом, она заглянула к Дрейфусу и увидела, что он сидит на кровати, закрыв лицо руками. Юридически его положение было ужасающим. Ему удалось оживить былую ипотеку, но за год, что Пип отсутствовала, давление рынка, ориентированного на новые технологии, увеличило стоимость дома на тридцать процентов, если не больше. Это спровоцировало новую серию махинаций с измененными ипотечными платежами. Ему дали разные цифры этих ежемесячных платежей, и он, естественно, выбрал ту, что поменьше; он получил ее от служащей банка, которая затем исчезла и о которой, по утверждению банка, у него не было сведений, хотя Дрейфус записал, как ее зовут и где она проживает. Но без денег, которые давала Мари, и без пособия Рамона по инвалидности он не мог платить даже по минимуму. В свою юридическую защиту он располагал только скрупулезнейшим перечнем отвратительных и, по всей вероятности, преступных деяний банка. Пип пыталась читать этот перечень, но он насчитывал почти триста тысяч слов.

– Послушай-ка, – сказала она, присев на корточки у его ног. – У меня есть подруга, она юрист в технологической компании. Может быть, она знает адвокатские фирмы, которые берутся защищать бесплатно. Хочешь, я ее спрошу?

– Я ценю твою заботу, – ответил Дрейфус. – Но я наблюдал воздействие, которое мое дело оказывает на бесплатных адвокатов. Вначале – милая атмосфера дружелюбия, мол, “это, конечно же, несправедливость, мы вам поможем, не сомневайтесь, почему вы раньше к нам не обратились”. Но проходит неделя, и у них уже ладони, лица прижаты к окну. Они кричат: “Выпустите меня отсюда!” Я думаю... впрочем, ладно.

– Что, скажи?

– Мне пришло в голову, что если бы найти психически нездорового адвоката, который уже на медикаментах... Глупая мысль. Забудь.

– Почему? Мне кажется, неплохая идея.

– Нет. Лучше молиться о том, чтобы до вторника на неделе после следующей судья Коста свалился с лестницы. Пип, ты веришь в действенность молитвы?

– Не особенно.

– А попробайся, – сказал Дрейфус.

В очередное воскресенье среди посетителей, дожидавшихся, пока Пип отойдет дверь “Кофейни Пита”, она увидела Джейсона. Зная, что у него есть девушка, Пип решила не придавать особого значения его раннему приходу, но впечатление было такое, что он шел сюда с мыслью пообщаться с ней. Задержавшись у прилавка, он стал рассказывать, как у него идет работа над новым учебником статистики и о своих выступлениях перед профессорами, не желавшими верить, что может существовать такой простой и интуитивно ясный метод.

– Они говорят: хорошо, в этом конкретном случае геометрия работает. Тогда я показываю им другие примеры. Прошу дать мне их собственные суперсложные примеры. Метод *работает всегда*, а они все никак не могут в это поверить. Начинаешь думать, что вся их карьера рухнет, если окажется, что к пониманию статистики можно привлечь интуицию.

– В колледже все говорили, что нельзя, – заметила Пип. – “Ни в коем случае не записывайся на этот курс”.

– Ну а ты? Ты ведь так мне и не рассказала, что делала в Боливии.

– Что делала? Ну... была практиканткой проекта “Солнечный свет”. В общем, у Андреаса Вольфа.

Забавно было видеть, как расширились у Джейсона глаза. Обожествление Андреаса шло полным ходом: мемориалы с горящими свечами в Берлине, в Остине, в Праге, в Мельбурне, терабайтные сайты памяти с изъявлениями благодарности и горя; похоже было на феномен Аарона Суорца^[107], только в сто раз масштабней.

– Шутишь, что ли? – спросил Джейсон.

– Ни капельки. Я там была. Не тогда, когда он погиб: я уехала в конце января.

– Невероятно.

– Я знаю... Странно, да?

– Ты имела с ним дело непосредственно?

– Конечно. Там все с ним имели дело. Он очень плотно с нами работал.

– Невероятно.

– Не повторяй это слишком часто, а то мне станет нехорошо.

– Я не то имел в виду. Я знаю, что ты умная. Просто я понятия не имел, что тебя интересуют сетевые дела.

– Раньше не интересовали. Потом начали интересоваться. Потом опять перестали.

Она была не прочь, чтобы он продолжил расспросы, хотя он

разочаровал бы ее этим, показывая, что так же благоговеет перед знаменитостями, как большая часть человечества. Но он сменил тему. Спросил, какие у нее планы сейчас. Она призналась, что не заглядывает дальше возвращения после работы домой, где ее ждут теннисная ракетка и мячи. Он сказал, что и сам недавно взял в руки ракетку. Надо бы, заметил он, как-нибудь пересечься на корте, но прозвучало неопределенно, особенно в свете того обстоятельства, что у него есть девушка, и он отправился за свой любимый столик, где лежала его воскресная “Таймс”.

Взаимное притяжение между ней и Джейсоном, похоже, не исчезло, пусть и приняло у нее форму сожаления об упущенной возможности. С особым сожалением она поняла, что он, должно быть, самый милый и симпатичный из парней, проявлявших к ней интерес. Ее огорчало, что она не оценила этого раньше, когда еще не было поздно. Она надеялась, что он и сам, зная теперь, что ее приглашал Андреас Вольф, испытывает некое добавочное сожаление.

После долгого перерыва она вернулась в Фейсбук. Это был, с одной стороны, способ дать старым знакомым знать, что она в городе, не видясь с ними, но главный мотив носил защитный характер. Среди ее друзей в Фейсбуке была соседка матери Линда, которая заверила ее, что в жизни матери мало что изменилось, и, судя по всему, была рада передать ей от Пип малосодержательный привет. Пип надеялась, что Линда покажет матери ее фейсбучную страничку или, по крайней мере, сообщит, что на ней есть – а не было почти ничего. Пип живет в том же доме в Окленде, что и раньше, и работает в “Кофейне Пита”. Точка. Она хотела избавить мать от мучительной мысли, что она по-прежнему в Денвере с отцом. На словоохотливую Линду вполне можно было в этом смысле рассчитывать.

Когда кончилась смена, когда она постучала по мячику, приняла душ и пришла на вокзал, она не удержалась и заглянула на страничку Джейсона в Фейсбуке. Его способность испытывать энтузиазм проявлялась там во всем. Но прежде всего, конечно, ей хотелось знать, насколько симпатичная у него девушка. На этот счет впечатление было смешанное. Очень красивое лицо, пугающе хипстерский вид и пугающе французское имя – Сандрин; но она была ниже Джейсона на целую голову, если не больше, вместе они смотрелись довольно странно. Содрогнувшись от неприязни и к самой себе, и к Фейсбуку, Пип выключила устройство.

Скоростной поезд повез ее через залив в Бернал-Хайтс, где Коллин назначила ей встречу в перуанском ресторане, – максимум неудобства для Пип, но у Коллин, видимо, имелись гурманские склонности, и она хотела попробовать эту кухню. И это после того, как Коллин дважды отменяла

встречи в последнюю минуту, ссылаясь на загруженность по работе. Если ее целью было и дальше наказывать Пип и создавать у нее ощущение собственной незначительности, она неплохо этой цели добивалась.

В Бернал-Хайтс стоял серый сезон. Ресторан был полон молодых горластых компьютерщиков и технарей. Коллин сидела за маленьким столиком, неудобно расположенным поблизости от стойки; для Пип она оставила стул, который то и дело обходили официантки. Пип удивила избыточность косметики на лице Коллин и бьющая в глаза дороговизна ее шелковой жакетки и украшений. Пип вспомнила предсказание Коллин, что она когда-нибудь найдет себе надежное и скучное занятие.

– Прости, что опоздала, – сказала Пип. – Из Окленда сюда такая мука добираться.

– Я заказала себе разного понемножку, – сообщила ей Коллин. – Мне еще надо будет вернуться в офис.

Пип уже понимала, что с Коллин у нее дружба не настоящая, а каникулярно-лагерная и что она зря так упорно посылала ей электронные письма. Но ей было больше не с кем поговорить об Андреасе, поэтому она заказала себе сангрию и принялась рассказывать. Начала с общей картины – с того, что он в Германии убил человека и потом зазвал ее в Лос-Вольканес в безумном стремлении обезопасить себя от разоблачения, – чтобы Коллин увидела, что события в отеле “Кортес” не носили личного характера.

– Я думаю, он был серьезно болен психически, – подытожила Пип. – Серьезней, чем кто-либо знал.

– Это не заставляет меня лучше думать о тех трех годах, что я хотела его.

– Я тоже его хотела. Но та его сторона, что он мне показал, слишком пугала.

– Ты думаешь, он и правда кого-то убил?

– Он так сказал. И я верю.

– Ты знаешь, я читаю о нем куда больше, чем полезно для здоровья. Чистейший мазохизм. Но про убийство не видела ровно ничего.

– Даже если он оставил признание или что-нибудь в этом роде, я уверена, они это скрыли. Трудно представить себе, чтобы Уиллоу и Флор не встали на защиту бренда.

– Ты должна объявить это миру, – сказала Коллин. – Просто чтобы дать поджопник этой сучке Тони Филд и всем остальным. “Ваш герой, которого вы причислили к лику святых, был психопат”. Сделаешь это для меня?

Пип покачала головой.

– Даже если бы я захотела выйти с этим на публику – кто мне поверит? К тому же у меня есть другие проблемы. Я узнала от него, кто моя мать.

– В смысле – помимо того, что она твоя мать?

– Коллин, она *миллиардерша*. На ее имя был создан доверительный фонд примерно на миллиард долларов. Наследница в бегах – так получается. Как с этим быть, ума не приложу.

Коллин нахмурилась.

– Миллиард? Ты же мне говорила, что она бедная.

– Она живет под другим именем. Сбежала от этих денег. Ее отец был президентом пищевой компании “Маккасвилл”.

– *Твоя мать?* – Коллин посмотрела на Пип искоса, словно Пип сама была кучей денег и Коллин решала, верить своим глазам или нет. – Тебе Любимый Вождь это сообщил?

– Да, по сути.

– Теперь понятно, почему ты ему нравилась.

– Спасибо за комплимент. Нет, к деньгам он как раз был равнодушен.

– К миллиарду долларов никто не равнодушен.

– Моя мама, например. Кстати, я даже не уверена, что деньги никуда не ушли.

– Тебе стоило бы выяснить.

– Я бы не прочь, чтобы все это куда-нибудь ушло.

– Тебе определенно надо это выяснить. – Коллин потянулась к Пип через стол и коснулась ее руки. – Не согласна?

Когда она очень поздним вечером вернулась в дом Дрейфуса, ее ждало длинное электронное послание от Коллин. Станным в письме было не содержание. Коллин извинялась перед Пип за то, что заставила ее проделать весь этот путь до Бернал-Хайтс; в следующий раз для встречи, которая, она надеется, произойдет скоро, она приедет к Пип в Окленд; так здорово было снова увидеться; новая стрижка Пип очень идет... Далее – несколько абзацев обычных жалоб Коллин на дерьмовость юридической профессии, на дерьмовость Китая, на дерьмовость компьютерщика, с которым она встречалась два месяца, прежде чем обнаружила в нем страсть к уходу от налогов. Станным в письме был момент его написания. Восемь месяцев Пип ждала от Коллин нескольких теплых слов. И только теперь их получила – и двух часов не прошло с тех пор, как она произнесла слово *миллиардерша*.

Понимает ли Коллин, до чего это все прозрачно? Нет, подумала Пип. Но следом пришла мысль, что, может быть, тут скорее ее собственная

паранойя. Она вспомнила, что говорил Андреас о популярности, о том, каким одиноким она делает человека, о невозможности поверить, что ты кому-то нравишься сам по себе. Не исключено, что миллиардер в этом смысле еще более одинок.

Следующий день, понедельник, принес еще одно длинное письмо от Коллин плюс два ее ласковых телефонных послания. Во вторник судья Коста провел заседание по делу о доме Дрейфуса; судья дал ему на изложение своих аргументов десять минут, после чего вынес решение: освободить дом в течение пятнадцати дней. В среду Джейсон спросил Пип через Фейсбук, не хочет ли она поиграть с ним в теннис. Такой вопрос, заданный парнем, находящимся с кем-то в серьезных отношениях, девушке, с которой у него полтора года назад практически дошло до секса, трудно назвать вполне невинным. Пип, возможно, была бы рада или по крайней мере польщена, если бы не внезапное дружелюбие Коллин. Сейчас об интересе Джейсона к ней она могла думать только то, что его разожгла ее работа у Андреаса. Это теперь что, ее новая норма? Ей и так не очень-то легко было доверять людям; теперь впереди вырисовывалась целая жизнь, полная недоверия к ним. Она ответила Джейсону: Обсудим в “Кофейне Пита”. После этого занялась кое-каким поиском в интернете и сделала несколько телефонных звонков. На другой день, в четверг, рано утром отправилась самолетом в Уичито.

Из такси, на котором ехала из аэропорта, она видела слово “Маккасвилл” над бейсбольными полями Детской лиги, на большом павильоне в деловом центре, на здании детского сада, на продовольственном складе в труппной восточной части города, на рекламных щитах, заверяющих, что МАККАСВИЛЛ КОРМИТ. Послеполуденная жара нисколько не уступала боливийской. Лужайки выгорели почти добела, деревья, казалось, готовы были сбросить листву за три месяца до срока.

Но в офисе компании “Джеймс Наварр и партнеры” благодаря кондиционерам было прохладно. Едва Пип открыла рот, как секретарша повела ее к большому, обшитому деревянными панелями кабинету, у двери которого стоял, поджидая посетительницу, мистер Наварр. Седой, маленького роста, он явно был из тех мужчин, что скованно чувствуют себя в немятой одежде.

– Боже ты мой, – проговорил он, глядя на Пип. – Неужели вы и правда ее дочь?

Она пожала ему руку и проследовала за ним в кабинет. Секретарша

принесла ей бутылку холодной воды и удалилась. Мистер Наварр не спускал с нее глаз.

– Спасибо вам, – сказала она, – что согласились со мной встретиться.

– Спасибо вам, что приехали.

– У меня есть мамины фотографии, если вам интересно.

– Разумеется, интересно. Да я и обязан поинтересоваться.

Пип протянула ему телефон. Чтобы не выдавать местоположение, она выбрала вечерние снимки, сделанные внутри материнского домика. Разглядывая их, мистер Наварр качал головой, словно был в замешательстве. На одной из стен его кабинета висели фотографии: люди со среднезападными лицами в экзотически нестильной одежде и обстановке, совсем другая Америка, чем она привыкла. Пип узнала Дэвида Лэрда, своего деда, – некоторые из ее вчерашних поисковых запросов были о нем – на гольфкаре с более молодым, но столь же мятым мистером Наварром.

Он вернул ей телефон.

– Она жива?

– Жива.

– И где она?

– Не могу вам сообщить. Она не знает, что я здесь, и не была бы рада, если бы узнала. Она просто-напросто не хочет, чтобы ее со всем этим беспокоили.

– Мы бросили искать, – сказал мистер Наварр. – В девяностые ее отец не раз пытался ее найти. После его смерти я был обязан сделать еще одну попытку. Он до самого конца считал, что она жива. Я в этом сильно сомневался. Люди то и дело умирают, что тут необычного? Но поскольку не было доказательств, что она умерла и не оставила наследников, я не имел права ликвидировать фонд.

– Значит, он – фонд – по-прежнему существует.

– А как же! Управление им сделало меня очень состоятельным человеком. У меня есть веские причины настаивать, чтобы вы сказали мне, где ваша мать. Ей не надо будет ничего делать – только расписаться в получении заказного письма. Она может и дальше ничего не делать, но ей следует знать, что она выгодоприобретатель.

– Нет. Мне очень жаль.

– Сандрин...

– Это не мое настоящее имя.

– Понимаю, – кивнул мистер Наварр.

– Я не хочу ничего менять. Я приехала ради одного: попросить вас

помочь мне кое в чем.

– Ага. Рискну высказать догадку. Вам нужны деньги.

– Даже не это. Деньги, впрочем, мне и правда нужны, но просьба у меня другая. Можно ее изложить?

– Я весь внимание.

– Я живу в Калифорнии, в Окленде. Там имеется дом, который банк забирает за долг по ипотечному кредиту, владелец должен освободить его менее чем через две недели. Он хороший человек, банк хочет раздеть его до нитки. И вот я подумала: у фонда куча денег, и вы можете решать, куда их вкладывать. Впечатление у меня такое, что вам мало чем приходится заниматься, кроме как выписывать себе чеки на хорошие суммы.

– Ну, это не совсем...

– Деньги большей частью вложены в акции компании “Маккасвилл” и должны там оставаться. Ну какие великие труды у вас могут быть? А вы, что бы там ни было, свой миллион в год имеете.

– Откуда вам это известно?

– Известно.

– Вы контактировали с бывшим мужем вашей матери. Это он вам сказал.

– Возможно.

– Сандрин. Окажите мне большее доверие.

– Я все-таки его внучка. Дэвида. Стало быть, я Лэрд, и я прошу вас о маленьком одолжении, которое лично вам ничего не будет стоить. Сумма по сравнению с размером фонда ничтожная. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас выкупили дом моего друга, а затем назначили ему посильную арендную плату. Он не может много платить, так что это не будет очень выгодное вложение. Но ведь вы имеете право вкладывать деньги так, как сочтете нужным, правда же?

Мистер Наварр свел пальцы обеих рук домиком.

– Я как управляющий обязан вкладывать деньги разумно. Как минимум мне понадобится письменное согласие вашей матери. Да, она вряд ли в обозримый период захочет оспаривать мои решения, но все же мне необходимо обезопасить себя на этот случай.

– В уставе фонда что-нибудь говорится о наследовании?

– Да, есть такой пункт.

– Тогда давайте я подпишу.

– Я не могу сознательно позволить вам подписать вымышленным именем. Пусть даже я был бы склонен осуществить такое вложение.

Пип нахмурилась. Она многое прокрутила в голове, пока летела с

пересадкой в Уичито, но об этом не подумала.

– Если я вам сообщу свое настоящее имя, вы постараетесь разыскать мою мать, даже если я попрошу вас этого не делать.

– Давайте обсудим все не торопясь, – сказал мистер Наварр. – Попробуйте встать на мое место. Я верю, что Анабел жива и вы ее дочь. Это крайне необычная ситуация, однако я верю, что вы говорите мне правду. Но, допустим, вы придете через месяц и попросите о новом вложении, для которого есть еще какая-нибудь причина, – где это кончится?

– Я так не поступлю.

– Это вы сейчас так говорите. Но аппетит приходит во время еды.

– Что ж, если он придет, мы возобновим этот разговор. Но он не придет. Этот раз – первый и последний.

Мистер Наварр сделал “крышу” из пальцев более островерхой.

– Что произошло в этой семье – в вашей семье, – я толком не знаю. Я никогда не понимал поступков вашей матери и ее отца. Но то, как он распорядился своей долей в “Маккасвилл”, породило дикое озлобление. Чтобы не усугублять налоговый удар, который он принял, оставляя ей четверть, ему пришлось большую часть остального разместить в благотворительных фондах. Вам кажется, я получаю деньги ни за что, но продать достаточно акций, чтобы заплатить налог на наследуемое имущество, – это были не пустяки. А братья Анабел получили между тем всего примерно по восемьдесят миллионов реальных денег. Остальное в фондах, они их контролируют, но мало что с них имеют. И все это ради того, чтобы дочь, которая Дэвида ненавидела, получила кучу денег одновременно. Сказать, что я никогда этого не понимал, – ничего не сказать. А сейчас вы не хотите даже, чтобы я ей сообщил об этих деньгах?

Да, выходит так, подумала Пип. Все должны быть в заговоре, чья задача – оградить мою мать от реальности.

– Я постараюсь решить этот вопрос, – сказала она. – Но это должна быть я. Не хочу, чтобы она получила от вас заказное письмо. Если я соглашусь этим заняться, вы купите дом в Окленде?

– Что меня может к этому побудить?

– То, что я, наследница, об этом прошу!

– Вы, значит, тоже сумасшедшая.

– Нет.

– Вы могли бы поговорить с матерью и стать миллиардершей, но вместо этого вы просите меня приобрести дом у банка для некоего третьего лица. Это не бойфренд ваш случайно?

– Нет. Шизофреник сорока с лишним лет, живет на медикаментах.

Мистер Наварр покачал головой.

– Вы не хотите искоренить малярию. Не хотите оплачивать учебу неимущих в колледжах. Не хотите совершить частный космический полет. Вы даже не хотите стать кокаиnistкой.

– Есть ощущение, что все Лэрды и Маккаскиллы от богатства сходят с катушек.

– Примерно половина, я бы сказал.

– Это правда, что один мой дядя пытался купить баскетбольную команду НБА?

– Хуже того. Он хотел, чтобы ее приобрел Благотворительный фонд имени Дэвида М. Лэрда-младшего.

– Тогда я не вижу, чтобы моя странность выходила за семейные рамки.

– Послушайте меня. – Мистер Наварр выпрямился и посмотрел на Пип в упор. – Не думаю, что мне когда-нибудь придется перед вами отчитываться. Я старше, чем ваша мать, и люблю мясо с жирком. Предложение, которое вы сейчас услышите, я делаю не потому, что должен вам что-то, и не в порядке любезности. Вы сообщаете мне свое подлинное имя и подписываете согласие на покупку. Прямо отсюда вы направляетесь к семейному врачу Лэрдов и оставляете образец крови. Через шесть месяцев, если за это время я ничего от вас не услышу, я нанимаю детектива, чтобы найти вашу мать. Взамен обещаю, что фонд приобретет дом вашего друга. Я вам это, вы мне вашу мать.

– Дом вы должны будете купить немедленно. Прямо сегодня-завтра. Самое позднее в понедельник.

– Вы согласны на мои условия? Вы получаете шесть месяцев на то, чтобы оповестить мать.

Пип мысленно соизмерила свое желание помочь Дрейфусу со своим нежеланием затевать этот разговор с матерью. В крайнем случае, пришло ей в голову, она может разговора и не затевать, мать не будет, когда мистер Наварр ее найдет, знать наверняка, что найти ее помогла ему она. Мать может решить, что это вина Тома или Андреаса. Распишется в получении, сожжет письмо не читая и будет жить себе дальше, отрицая реальность.

– Меня зовут Пьюрити Тайлер.

Когда она подписала согласие, сдала у врача кровь из вены и вернулась на такси в аэропорт, было четыре тридцать. Фюзеляжи самолетов мерцали сквозь струи выхлопов под неслабеющим солнцем, но что-то происходило с небом, в нем чувствовалось некое предвестье того, что бездонная синева скоро сменится более локальной серостью. Промежуточный рейс в Денвер задерживался на сорок пять минут. Завтра после полудня у нее была смена

на работе, но ей пришло в голову, что она могла бы пропустить сегодняшний вылет из Денвера и перебронироваться на утро. Перед расставанием с мистером Наварром она нагло попросила его возместить ей расходы на самолеты и такси; поездка на данный момент не стоила ей ничего.

С Томом она не могла повидаться, не сознавая, что прочла его мемуары, а что до Лейлы – хотя Пип страшно хотелось получить от нее прощение, ее беспокоило, что Лейла, может быть, по-прежнему видит в ней угрозу и не будет ей рада. С помощью телефона она принялась искать Синтию Аберант и нашла: доцент, ведет курс социальной антропологии. В мемуарах Тома его сестра была единственным безукоризненно добрым человеком, которого не в чем упрекнуть. Пип набрала ее рабочий номер и застала ее.

– С вами говорит Пип Тайлер, – сказала она. – Вы поняли, кто я?

– Прошу прощения, повторите еще раз ваше имя.

– Пип Тайлер. Пьюрити Тайлер.

Мертвая тишина сотового пространства. Потом голос Синтии:

– Вы дочь моего брата.

– Да. Мне хотелось бы с вами поговорить.

– Вам с Томом надо, а не со мной.

– Я прямо сейчас вылетаю в Денвер. Если бы у вас нашелся ну хотя бы час сегодня вечером. Вы единственная, с кем я могу говорить.

После новой паузы Синтия согласилась.

Полет в слишком маленьком самолете, маневрирующем, чтобы не попасть в грозу, избавил Пип от всякого желания передвигаться по воздуху впредь. Всю дорогу она ждала гибели. Но интересно, как быстро она потом, когда ехала к Синтии на такси, об этом забыла; что-то было в ней общее с собаками, для которых смерть непредставима. Собаки и тут правы. Их не заботят тайны, которых в любом случае не разгадать.

Синтия жила в отдельном доме в той же части города, что и муж Лейлы. Она открыла дверь, держа бокал красного вина. Полная женщина с длинными светлыми седеющими волосами и приятным лицом.

– Я, как видите, уже взяла старт, – сказала она, поднимая бокал. – Вы пьете вино?

Ее гостиная была научно-педагогическим вариантом гостиной Дрейфуса; предметы искусства, книги и даже мебель выдавали левые симпатии. Пип села рядом со шкафчиком, на котором яркими красками, в примитивистском духе были изображены латиноамериканские крестьяне. Синтия опустила в кресло, хранившее вдавненный отпечаток ее

обширного тела.

– Итак, вы моя племянница, – сказала она.

– А вы моя тетя.

– Так почему вы здесь, а не у моего брата?

Пип, сидя с бокалом вина, рассказала свою историю. Когда кончила, Синтия налила ей еще и заметила:

– Мне всегда казалось, что Том носит в себе роман.

– Он пишет об этом в мемуарах, – сказала Пип. – Он хотел стать писателем, но моя мама ему не позволила.

Лицо ее тети посуровело.

– У нее только это и было на уме: не позволять.

– Вы ее не любили?

– Нет, вначале она мне понравилась, даже очень. Я хотела, чтобы у нас завязались отношения. Но что-то в ней было труднодоступное.

– Она и сейчас такая же. Какая-то застенчивость в ней живет.

– Мне не понравилось, как она повела себя с моей мачехой. Правда, Клеллия сама была не подарок, человек резких суждений, поэтому тут я даю вашей матери скидку. Но потом... это, вероятно, есть в мемуарах...

– Плевок в лицо?

– Я была в комнате, видела, как это произошло. Том позднее мне объяснил, и в какой-то мере я поняла – я и сама не поклонница агробизнеса и капитала без намордника. Но я не могла отделаться от мысли, что Том совершил ошибку. Я подумала: “Эта женщина сумасшедшая”. А потом годы и годы я почти с ним не виделась, а с ней не виделась совсем: я растила свою собственную дочь. Но даже издали я чувствовала, что у них нездоровые отношения. Он был настолько ей верен, что я ничего не могла из него выудить, пока они были вместе. Даже потом он, по сути, никогда не отзывался о ней дурно. Я считала, он должен быть куда злее. Но в итоге у него все очень даже неплохо. Профессионал он выдающийся, а Лейла – ну, ее вы знаете. От Лейлы все без ума. Ему бы с самого начала такую жену.

– Согласна. Сразу видно, что она намного превосходит мою маму.

– Она просто чудо. Не понимаю, почему вы со мной говорите, а не с ней.

– Она, похоже, подумала, что я хочу забрать у нее Тома.

– Я бы об этом не беспокоилась. Мне кажется, они сейчас крепче спаяны, чем когда-либо. – Синтия снова наполнила свой бокал. – Так или иначе, вы у меня. Скажите еще раз: почему?

– Потому что я не знаю, как мне быть.

– Прóbите у меня совета.

- Да, очень прошу.
- Он вам может не понравиться.
- Дайте его мне все равно.
- Я думаю, вам надлежит быть очень-очень рассерженной.

Пип кивнула.

– Да, но это не так просто. Я чувствую, что предала Тома, прочитав его мемуары, а теперь я предаю мать тем, что за ее спиной поехала в Уичито и знаю то, что знаю.

– Извините, но это полная чушь.

– Почему чушь?

– Когда Том мне про вас рассказал, я очень сильно на него разозлилась. Вы бог знает сколько, не одну неделю, жили у него, он знал, что вы его дочь, и вам не сказал. Вам не кажется, что вы имели право на эту информацию?

– Я думаю, он не хотел вторгаться в жизнь моей матери.

– Вот! Ну что за дикая ерунда – меня просто бешенство берет. С какой стати ему оберегать ее покой? Зачем идти на поводу у бывшей жены за ваш счет? Она забеременела и не поставила его в известность. Все эти годы скрывала от него, что растит дочь. Использовала его – использовала вас, – чтобы продолжать свою бесконечную битву с ним. У него могла быть дочь, у вас мог быть отец, но она *ему не позволила*. С чего, ну с чего он взял, что в долгу перед ней?

– Да, полезные соображения...

– С чего *вы* взяли, что в долгу перед ней? Со слов Тома я поняла, что все детство вы жили ниже черты бедности. Ваша мать родила вас в своих эгоистических целях...

– Нет, это все-таки чересчур, – возразила Пип. – Ведь вы, кажется, тоже одинокая мать?

– Вынужденно. Отец Гретхен знал о ней, она знала о нем. Сейчас они общаются. И я сделала для Гретхен все что могла. Ради нее я ушла из профсоюза и вернулась к преподаванию; чтобы она не страдала из-за *моих* личных предпочтений. Какими личными предпочтениями ваша мать ради вас пожертвовала?

На глаза Пип навернулись слезы.

– Она любила меня.

– Разумеется. Я не сомневаюсь, что любила. Но судя по тому, что вы сами мне рассказали, у нее нет в жизни никого, кроме вас. Она сотворила вас, чтобы вы были тем, чем не может для нее быть больше никто. Ух как меня злит этот эгоизм. Меня злит, что она “феминистка” из тех, что

дискредитируют феминизм. Мне хочется сию секунду отправиться к Тому и дать ему по морде. За потворство ее фантазиям. У нее был настоящий талант – и все пропало зря. Я не в силах понять, почему вы не сходите с ума от ярости.

– Не могу объяснить. Она такая потерянная...

– Ну хорошо, хорошо. Я не могу заставить вас злиться, если вы не хотите. Но сделайте мне одолжение – постарайтесь понять: вы ничего этим людям не должны. Это *они* вам должны, и по-крупному. Ваша очередь теперь командовать. Если они окажут сопротивление – имеете полное право их разбомбить.

Пип кивнула, но думала она о том, как ужасен мир с вечно идущей в нем борьбой за власть. Секреты – власть. Деньги – власть. Когда в тебе нуждаются – власть. Власть, власть, власть... что это за устройство мира, когда все крутится вокруг борьбы за то, что делает тебя, если ты это имеешь, таким одиноким и подавленным?

Синтия приготовила простой ужин, открыла вторую бутылку и принялась рассуждать о своем видении мира: концентрация капитала в руках немногих, рассчитанное разрушение веры в правительство, глобальный отказ от ответственности за изменения климата, разочарование в Обаме. В ее словах попеременно звучали злость и отчаяние; Пип и разделяла ее злость, и не разделяла. Да, разумеется, выглядело несправедливым, что она, Пип, отправлена жить в дерьмовый мир, изготовленный ее родителями. Они ответственны за невозможные обстоятельства, в которых оказалась она лично, они принадлежат к поколению, которое ничего не сделало с проблемой ядерного оружия и меньше чем ничего с проблемой глобального потепления; ее вины во всем этом нет. И в то же время странное успокоение давала ей мысль, что, пусть даже она нашла бы этически верный способ распорядиться миллиардом долларов и распорядилась им, дерьмовой траектории мира это бы не изменило. Она подумала о материнских медитациях, о ее стремлении сосредоточиться исключительно на духовном, на внутреннем. Все-таки Пип, к добру или к худу, была дочерью своей матери.

Она продолжала думать о матери и после того, как легла в спальне Гретхен в ее кровать. Чего Синтия не могла знать – это какую улыбку Пип могла вызвать на лице матери. Какой чистой, мгновенной любовью освещалось ее лицо всякий раз, когда она видела Пип. Какой застенчивой была эта улыбка, как она выдавала беспокойство о том, что Пип, может быть, любит ее не так сильно, как она любит Пип. У ее матери было детское сердце. Прочитав мемуары Тома, Пип заподозрила, что она и по

сей день не разлюбила его. Эта мучительная сцена с плюшевым бычком... Пип отчетливо видела лицо матери, каким оно, вероятно, тогда было, – лицо, полное дурацкой, детской надежды. У нее на кровати, когда она была ребенком, тоже жили мягкие игрушечные питомцы, целый небольшой зверинец, и они с матерью часами в них играли, говорили их голосами, придумывали им моральные дилеммы и разрешали их. Маленькая девочка и большая, сидящая, чьи робкие взгляды искоса маленькая иногда ловила. Ее матери нужно было дарить любовь и получать ее. Вот почему она родила Пип. Так ли уж это чудовищно? Не было ли это, скорее, чудом инициативы и изобретательности?

В воскресенье, когда она отпирала “Кофейню Пита”, за дверью опять дождался Джейсон. Игнорируя недружелюбные взгляды Нави, он торчал у прилавка, пока у Пип не появилась возможность поговорить с ним.

– Останови меня, если я лезу не в свои дела, – сказала она, – но могу я спросить, почему ты в воскресное утро не со своей девушкой?

– Она поздно встает, – ответил Джейсон. – Спит до полудня и дальше. Сидит в интернете до четырех утра.

– Вы живете вместе?

– Нет, у нас не такие отношения.

– У вас такие отношения, при которых считается нормальным играть в теннис с девушкой, с которой ты встречался раньше?

– Да, а что? Мне не запрещено иметь друзей.

– Джейсон. Послушай. – Пип понизила голос. – Пусть даже твоя девушка не возражает против нашей дружбы, мне все равно кажется, что теннис – не лучшая идея.

Судя по всему, он был искренне озадачен.

– Ты даже не хочешь помахать со мной ракеткой? Да, я, конечно, не так хорош, как кирпичная стена. Но я совершенствуюсь.

– Если бы у тебя не было девушки, я была бы рада помахать с тобой ракеткой. Но она есть, так что извини.

– Ты хочешь сказать, что я должен *расстаться* со своей девушкой, чтобы ты согласилась выйти со мной на корт? Довольно значительная стартовая инвестиция ради того, чтобы просто поиграть в теннис.

– В городе масса людей, с кем ты можешь играть без всяких инвестиций. Не понимаю, почему тебе вдруг понадобилось играть именно со мной. Почему я вдруг перестала быть психованной особой, которая совершает пугающие поступки.

Он покраснел.

– Потому что у меня было два воскресенья, чтобы сидеть и смотреть на тебя за прилавком.

– Гм-м.

– Нет, ты права, ты права, – сказал он, поднимая руки. – Зря я это предложил.

Видеть, как он пятится от прилавка, было чуточку больно; слегка завуалированный комплимент еще звучал в ее ушах. Но еще большее было бы спровоцировать предательство.

Вернувшись под безжалостно ясным небом домой с работы, она почувствовала, что отрабатывать удары перед гаражом у нее желания нет. Похоже было на спагетти с баклажанами из мемуаров Тома: все удовольствие исчезло разом. Она и хотела поиграть с кем-то живым, с кем-то добрым, с Джейсоном, и испытывала облегчение от того, что не может. Один из уроков, которые она извлекла из мемуаров, был в том, что нужно принять закон, запрещающий отношения между парнями и девушками до тридцатилетнего возраста.

Телевизор в гостиной работал, но Дрейфус был поглощен печатанием на компьютере.

– Я подаю жалобу на судебскую недобросовестность, – сообщил он Пип. – В решениях судьи Косты четко прослеживается тенденциозность. Я изучил более трехсот релевантных случаев и считаю, что собранные мною данные вполне можно квалифицировать как убедительные.

– Дрейфус, – мягко промолвила Пип, – ты можешь перестать этим заниматься.

– Со вторника я накопил огромную массу новой информации в отношении Косты. Не могу пока быть вполне уверен в применимости слова *заговор*, но...

– Не используй это слово вообще. Мне тревожно, когда ты его произносишь.

– Бывают реальные заговоры, Пип. Ты сама в этом убедилась.

Она пододвинула стул, подсела к нему.

– Я должна была раньше дать тебе знать, – сказала она. – Один человек покупает этот дом. Человек, которого я знаю. Он позволит нам и дальше здесь жить.

В лице Дрейфуса мелькнуло некое подлинное чувство – не то беспокойство, не то печаль.

– Это мой дом, – сказал он. – В этот дом вложены мои деньги. Я купил его на средства, которые мне остались от покойной матери. Я никому не собираюсь его отдавать.

– Банк забрал его до того, как рынок восстановился. Ты потерял дом и обратно уже не вернешь. Я сделала то единственное, что могла.

Глаза Дрейфуса сузились.

– У тебя есть деньги?

– Нет. Но когда-нибудь будут. Когда они появятся, я выкуплю дом и преподнесу его тебе в подарок. Можешь мне довериться? Все будет хорошо, надо только, чтобы ты мне доверился. Обещаю.

Он, казалось, снова ушел в себя, в более привычную ему безэмоциональность.

– Горький опыт, – сказал он, – убедил меня в невозможности оказывать кому-либо доверие. Тебе, например. Ты всегда казалась мне человеком ответственным и великодушным, но кто по-настоящему знает, что у тебя на уме? Тем более – что тебе может прийти на ум в будущем?

– Я знаю, как тебе трудно, не сомневайся.

Он опять повернулся к компьютеру.

– Я подаю жалобу.

– Дрейфус, – сказала она, – у тебя нет выбора: ты должен мне довериться. Иначе ты окажешься на улице.

– Будут дальнейшие юридические шаги.

– Отлично, но давай пока что определим, какая арендная плата нам по силам.

– Я боюсь лишиться юридического права заявлять о мошенничестве, – сказал Дрейфус, печатая. – Платить этому якобы владельцу за аренду означает согласие с законностью продажи.

– Тогда отдавай деньги мне. Я буду выписывать чеки. Тебе не придется ни с чем соглашаться. Ты можешь...

Она замолчала. По щеке Дрейфуса катилась слеза.

Когда Пип подъехала на велосипеде к теннисным кортам парка Моссвуд, вечернее солнце светило сквозь кроны деревьев. Рядом с Джейсоном она увидела коричневого пса довольно нелепого вида: огромная голова, коротенькие ножки, длиннущее туловище. Он, казалось, гордо улыбался, чувствуя себя владельцем корзинки с потрепанными желтыми теннисными мячами, стоявшей рядом. Джейсон, заметив Пип, глуповато, с чрезмерным энтузиазмом ей помахал. Пес усиленно вилял мохнатым неуклюжим хвостом.

– Это *твоя* собака?

– С прошлой недели, – ответил Джейсон. – Унаследовал его от сестры. Она на два года едет в Японию.

– Как зовут?

– Шоко. Потому что шоколадный.

Пес презентовал Пип грязный облюбованный мячик и просунул голову между ее голых коленок. На удивление протяженный он был, этот Шоко, от морды до кончика хвоста.

– Я не был уверен, что справлюсь, что найду с ним общий язык, – сказал Джейсон, – но меня подкупила его привычка жевать лимоны. Ходит с полусъеденным лимоном во рту, вся морда в слюне, вид такой, как будто улыбается широкой идиотской желтой улыбкой. Мой практический ум сказал: нет, но сердце сказало: да.

– Кислота вряд ли хорошо действует на зубы.

– Он привык, потому что у сестры за домом лимонное дерево. Я ему потихоньку снижаю дозу. Зубы, как видишь, пока на месте.

– Великолепный пес.

– И чемпион по нахождению теннисных мячиков.

– Не лимоны, конечно, но тоже хорошая вещь.

– Ага.

За четыре дня до этого Джейсон прислал Пип через Фейсбук личное сообщение: загляни в “отношения” на моей страничке. Главным, что она, сделав это, испытала, было смятение. Нести какую-либо ответственность за прекращение чужих отношений было последним, чего она хотела. Помимо прочего, ситуация, похоже, обязывала ее компенсировать ему этот разрыв своей доступностью. Хотя, конечно, она сама прямо-таки на это напрашивалась. Из всех способов отказаться от тенниса выбрала самый неудачный: поднять вопрос о девушке Джейсона. Да, прав Дрейфус: никому нельзя доверяться – и самой себе в том числе! Замаскировала этикой отношений свой подлинный мотив: отнять Джейсона у Сандрин. И самой с ним спать? Ей, конечно, хотелось с кем-нибудь спать, с последнего раза прошла целая вечность. Но Джейсон нравился ей чуть больше, чем нужно, чтобы спать с *ним* выглядело хорошим вариантом. Что, если он понравится ей еще сильнее? Не ждут ли ее тогда такие спутники близких отношений, как боль и ужас? Она написала ему:

Я, конечно, обязана была внести ясность ГОРАЗДО раньше... в общем, на меня очень много сейчас всякого навалилось, и я не могу, если честно, ничего тебе обещать, кроме как отбивать мячи, посланные мне под правую руку. Должна была НАМНОГО четче сказать тебе об этом в воскресенье. Прости, прости и еще раз

прости. И пожалуйста, не считай, что не можешь теперь отказаться от тенниса со мной.

На что Джейсон очень быстро ответил: теннис как таковой меня устраивает.

На корте она очень быстро обнаружила, что играет он плохо – еще хуже, чем она. При первой возможности он старался ударить по мячу со всей силы, иной раз вовсе по нему не попадал, чаще посылал его в сетку или над ее головой, а его хорошие удары были неберущимися – настоящими пулями. Через десять минут она попросила о тайм-ауте. Шоко, привязанный к столбу за оградой, с надеждой встал на ноги.

– Я не специалистка по теннису, – сказала она, – но мне кажется, ты лупишь слишком сильно.

– Когда попадаю в площадку – *фантастическое* чувство.

– Я знаю. Но идея была – наладить обмен ударами.

Он помрачнел.

– Да, теннисист из меня отстойный.

– Для этого мы и практикуемся.

После этого он стал бить не так сильно, и кое-какой обмен ударами порой завязывался, но самый долгий розыгрыш, какой у них был за час, насчитывал шесть ударов.

– Кирпичная стена во всем виновата, – сказал ей Джейсон, когда они уходили с корта. – Я теперь понял, что надо было провести по ней черту на высоте сетки. И, может быть, вторую черту повыше – как бы заднюю линию.

– Я их провожу в уме, – сказала Пип.

– Мне, конечно, трудно надеяться, что тебе хочется услышать, как вычислить вероятность розыгрыша из шести ударов, если вероятность ошибки при одном ударе составляет пятьдесят процентов. Или, чуть поинтересней, как вычислить нашу реальную совместную вероятность ошибки, зная эмпирическую частоту розыгрышей из четырех ударов.

– Как-нибудь в другой раз, – ответила Пип. – Сейчас я бы поехала домой.

– Я слишком отвратительно играю, чтобы тебе захотелось это повторить?

– Нет. Кое-какие розыгрыши были очень даже ничего.

– Я должен был заранее тебе сказать, какой я отстойный игрок.

– То, что ты мне не сказал, бледнеет перед тем, чего я тебе не говорю.

Джейсон нагнулся отвязать пса. В “низкой подвеске” корпуса, в том,

как клонила тяжелая голова Шоко, чувствовалось что-то смиренное и терпеливое. Улыбка была глупой, но, возможно, глупой не без хитрости: мол, я из глупого собачьего племени, что с меня возьмешь.

– Прости, если я тебя огорошил, – сказал Джейсон. – В смысле – расставанием с Сандрин. У нас к этому, в общем-то, шло. Просто я не хотел, чтобы ты считала меня одним из таких... ну, ты понимаешь. Кто встречается с двумя одновременно.

– Понимаю, – отозвалась Пип. – Определенность – это хорошо.

– И еще я не хочу, чтобы ты думала, что ты единственная причина.

– Ясно. Не буду так думать.

– Хотя ты, безусловно, одна из причин.

– И это тоже усекла.

Они не говорили больше об этом ни в следующий раз, тремя днями позже, ни в какую-либо из многих своих встреч на корте в августе и сентябре. Джейсон испытывал такую же навязчивую страсть к ударам ракеткой по мячу, как Пип, и долгое время их взаимная темпераментная сосредоточенность на корте была адекватной заменой тем проявлениям темперамента вне корта, от которых она предпочитала воздерживаться и к которым Джейсон, обуздывая свои порывы, имел достаточную чуткость ее не подталкивать. Он, однако, ей очень нравился, а в Шоко она влюбилась. Как бы все ни повернулось в ее жизни, она хотела, чтобы в ней была собака. Задним числом, прочтя мемуары Тома и поняв происхождение и глубину сочувствия ее матери к животным, она удивлялась, что мать ни разу не взяла никакого питомца к ним в дом. Она сама, догадывалась Пип, была для матери всем, чем бы могло быть домашнее животное. К этому добавлялась диковинная материнская “космология” животного мира с упрощенной троицей на первом плане: птицы (чьи глаза-бусины пугали ее), кошки (они представляли женское начало, но на них у нее была сильная аллергия) и собаки (в них воплощалось мужское начало, и потому, сколь очаровательны они ни были, им с их мужским бесцеремонным напором вход в ее домик был заказан). Так или иначе, Пип до того истосковалась по собаке, что полюбила бы и кого-нибудь далеко не столь замечательного, как Шоко. Шоко был *странный* пес, очень ненавязчивый для пса, этакий дзэн-пес, готовый довольствоваться лимонами и хитрым признанием своей смехотворности.

Играя два-три раза в неделю, они с Джейсоном постепенно наловчились – настолько, что, если вдруг опять начинало идти хуже, они не на шутку огорчались или сердились. Они никогда не играли на счет, просто вели перестрелку, стараясь подольше держать мяч в игре. От недели к

неделе свет стал меняться, их тени вытягивались вдоль корта, закат, пахнувший осенью, приходил все раньше. В Окленде это время года самое сухое и наименее туманное, но сейчас она готова была мириться с такой погодой, потому что условия для тенниса она создавала идеальные. По всему штату пересыхали водохранилища и колодцы, вода из-под крана делалась мутнее и хуже на вкус, фермерам приходилось туго, север Калифорнии экономил воду, тогда как юг ставил рекорды ее потребления, но в те полтора часа, что она проводила на корте с Джейсоном, все это не имело для нее значения.

И наконец настал воскресный день, свежий и голубой, день перехода на зимнее время, когда они встретились в парке в три часа и играли так долго, что уже начало темнеть. Пип идеально вошла в колею со своим ударом справа, Джейсон бегал по корту и добивался рекордно низкого для себя процента ошибок, и хотя локоть у нее начал побаливать, она не желала прекращать игру. У них были немыслимо долгие розыгрыши, мяч летал туда и сюда, *стук – стук*, розыгрыши до того долгие, что к их концу она хихикала от счастья. Солнце садилось, воздух был блаженно прохладный, и они всё играли. Мяч, отскочив от площадки, летел по низкой дуге, ее взгляд был прикован к нему, главное – видеть его, просто видеть, не думать, все остальное тело делало само. Миг попадания по мячу, удовольствие от обращения его инерции вспять, сладость “сладкого пятна” – самой выгодной зоны ракетки. Впервые со своих начальных дней в Лос-Вольканес она радовалась жизни сполна. Да, это было подобие рая: долгие розыгрыши осенним вечером, упражнение в ловкости и меткости в негустых пока еще сумерках, когда виден мяч, когда раз за разом звучит его надежный *тук*. Этого было достаточно.

Потом, за оградой корта, когда было уже почти темно, она обняла Джейсона и прильнула лицом к его груди. Рядом терпеливо, улыбаясь открытой пастью, стоял Шоко.

– Ну вот... – сказала она. – Ну вот...

– Самое время, – промолвил он.

– Ты знаешь, мне надо тебе кое-что рассказать.

Дождь пролился три недели спустя. Ничто не заставляло Пип сильнее тосковать по родной долине Сан-Лоренсо, чем то, что сходило за дождь в Окленде и его окрестностях. Здесь это был заурядный дождь, редко очень сильный, всегда готовый уступить ясному небу, по которому беспорядочно расползаются щупальца грозowych туч, пришедших с Тихого океана. Только в горах Санта-Круз, притягивающих к себе тучи, дождь может идти

сутками без перерыва, как минимум умеренно сильный, но зачастую переходящий в ливень, идти всю ночь, весь день, поднимая уровень реки до самых мостов, покрывая местное Девятое шоссе глинистыми стоками с горных склонов, заваливая дорогу упавшими ветками, нарушая повсюду электроснабжение, творя среди дня бурный полумрак, сквозь который мигают фарами машины электроремонтников. Вот что такое настоящий дождь. Раньше, когда еще не наступили засушливые времена, каждую зиму здесь выпадало шесть футов осадков.

– Мне, наверно, понадобится съездить домой, в Фелтон, – сказала Пип Джейсону однажды вечером, когда они шли под зонтами вниз по склону от пансионата св. Агнессы. Она посещала там Рамона примерно раз в месяц, хотя отношения между ними уже были не такими, как прежде. Он был теперь приемным сыном только Мари, но не Стивена. У него появились новые друзья, в том числе “подруга”, и он очень серьезно относился к обязанностям уборщика, которые научился исполнять. Пип решила перед тем, как их жизни совсем разойдутся, познакомить с ним Джейсона.

– Надолго? – спросил Джейсон.

– Не знаю. Может быть, не на одну неделю. Свободных дней, которые мне положены, точно не хватит. Предчувствую, что с мамой придется трудно. С работы, видимо, надо будет уйти.

– А можно будет мне приехать повидаться?

– Нет, уж лучше я сама к тебе приеду. Там хибара, пятьсот квадратных футов всего. К тому же ты, боюсь, как увидишь мою маму, так побежишь от меня со всех ног. Подумаешь, что втайне я, наверно, такая же, как она.

– Родителей все хоть немножко, да стыдятся.

– У меня есть на это особые причины.

Пип была самым свежим увлечением Джейсона, но, к счастью, не единственным; чтобы увести его от разговора о ее качествах, достаточно было упомянуть о математике, теннисе, телепередачах, видеоиграх или литературе. Он жил гораздо более полной жизнью, чем она, и она была этому рада: это позволяло ей свободно дышать. Если ей хотелось вновь полностью завладеть его вниманием, надо было только взяться за его руки и приложить их к своему телу; в нем самом в этом отношении было что-то собачье. Если ей хотелось от него чего-то еще – например, чтобы он пошел с ней к Рамону, – он соглашался с энтузиазмом. Он умел превращать то, что они делали в данную минуту, в самое желанное для себя занятие. Однажды он быстро съел четыре самых обыкновенных печенья с ванильным кремом, после чего остановился и, держа перед глазами пятое, восхищенно проговорил: “Фантастика, до чего же они вкусные!”

Если она станет богатой – а она уже чувствовала, что дело к этому идет, ощущала деформирующий сознание вес слова *наследница*, – то Джейсон будет последним парнем, которому она понравилась, пока еще была никем. Он признавал, что практиканство у Андреаса Вольфа подтвердило его оценку ее ума, но заверял ее, что к расставанию с Сандрин это не имеет никакого отношения. “Тут дело только в тебе, в тебе самой, – сказал он ей. – Мне достаточно было видеть тебя за прилавком в кофейне”. Она доверяла Джейсону, как, может быть, не доверяла никому, но не хотела, чтобы он это знал. Она отдавала себе отчет в хрупкости того, что у них было с Джейсоном, и еще лучше, благодаря мемуарам Тома, отдавала себе отчет в опасностях любви. Ей хотелось зарыться в Джейсона, излить на него свое доверие, но она остерегалась, зная, что такое самозарывание и безудержное доверие могут обернуться нездоровыми отношениями. Поэтому она позволяла себе безоглядную несдержанность только в сексе. Тут тоже, вероятно, были свои опасности, но она ничего не могла с собой поделать.

Вернувшись в тот вечер в квартиру Джейсона, они снова легли в постель. Любовь, которую она начинала чувствовать, выводила секс на новый, почти метафизический уровень; стихотворение Джона Донна, которое она проходила в колледже и плохо поняла, стихотворение об Экстазе, освобождающем от смятения, теперь обретало для нее смысл. Но вслед за Экстазом опять пришло беспокойство.

– Я думаю, мне надо уже позвонить маме, – сказала она. – Не могу больше откладывать.

– Давай, звони.

– Можешь, пока я буду разговаривать, так и лежать, как сейчас? Руку не убирай. Мне надо, чтобы ты меня держал, на случай, если меня начнет засасывать.

– У меня сразу картинка в голове: самолет, где произошла разгерметизация. Говорят, на удивление трудно удержать человека внутри, если его засасывает в дырку. Хотя чему тут удивляться: перепад давления колоссальный.

– Держи изо всех сил, – сказала она, берясь за телефон.

Чувствуя, как любовно Джейсон относится к ее телу, она и сама начала ценить то, что оно у нее есть. Она ждала ответа матери, крепко уцепившись за его руку.

– Привет, мама, это я. – Она приготовилась услышать: *Котенок!*

– Да, я слушаю, – отозвалась ее мать.

– Прости, что так долго не звонила, но теперь я хочу приехать

повидаться с тобой.

– Ладно.

– Мама, ну что ты.

– Ты уезжаешь и приезжаешь, когда тебе вздумается. Хочешь – приезжай. Разумеется, ты имеешь право. Разумеется, я буду на месте.

– Мама, я знаю, что я очень виновата.

Щелчок, гудки.

– Черт, – сказала Пип Джейсону. – Повесила трубку.

– Ну и ну...

Ей не приходило в голову, что мать может быть на нее сердита; что моральный риск, на который она, терпя огорчительное поведение дочери, готова пойти, имеет свои пределы. Но, думая последнее время обо всем, что прочла в мемуарах Тома, Пип видела всю материнскую историю как повесть о предательствах, за которыми следовал уничтожающий моральный суд. Пип от этого суда была раньше избавлена, но страх Тома перед ним даже двадцать пять лет спустя показывал ей, как плохо приходится подсудимому. Теперь она утрастилась сама и почувствовала некую солидарность с Томом.

На следующий день она сообщила в “Кофейне Пита”, что увольняется, и, позвонив мистеру Наварру, сказала ему, что собирается поговорить с матерью, и попросила пять тысяч долларов. На мистера Наварра, который вначале, подозревая в ней меркантильный интерес, мог подтрунивать над ней в этом плане, явно произвело впечатление, что это была первая просьба о деньгах за четыре с половиной месяца. Она с удовольствием почувствовала, что прошла некую проверку, превысила некий уровень.

Микроклиматы Сан-Лоренсо: в Санта-Крузе у автобусной станции мостовая была почти сухая, но, проехав всего две мили до верхнего участка Грэм-Хилл-роуд, водитель включил дворники. Настал зимний вечер. Дорожка, по которой Пип шла к домику матери, пружинила от иголок секвойи, мокрых от дождя, окружавшего ее звуковой полиритмией: тут был и мелкий, ровный фоновый стук, и шлепанье более крупных капель, и икотное журчание. Ее переполнял сырой, затхло-древесный запах долины, насыщенный чувственной памятью.

Внутри было темно. Помещение наполнял звук ее детства – капли дождя по крыше из битумной черепицы, положенной на доски, под которыми не было ни теплоизоляции, ни потолка. Этот звук ассоциировался у нее с материнской любовью, в которой можно было настолько же быть уверенной, насколько в том, что сезон дождей будет дождливым. Просыпаться ночью под такой же стук дождя, каким он был,

когда она засыпала, слышать этот стук ночь за ночью – это было до того похоже на любовь матери к ней, что дождь казался самой этой любовью. Стук дождя за ужином. Стук дождя, когда она делала уроки. Стук дождя, когда мать вязала. Стук дождя над жалким рождественским деревцем, какое можно было взять бесплатно накануне праздника. Стук дождя, когда она разворачивала подарки, на которые мать копила всю осень.

Она немного посидела в холодной темноте за кухонным столом, слушая дождь и предаваясь воспоминаниям. Потом включила свет, открыла бутылку и развела огонь в дровяной печи. А дождь все шел и шел.

Та, которая была и ее матерью, и Анабел Лэрд, пришла домой в девять пятнадцать с продуктами в матерчатой сумке. Остановившись в двери, она смотрела на Пип и молчала. Под курткой с капюшоном на ней было старое платье, которое Пип любила и, если честно, не прочь была бы носить сама. Уютное, выцветшее серовато-коричневое хлопчатобумажное платье с длинными рукавами и множеством пуговиц – этакое платье советской работницы. В свое время, если бы она попросила, мать, вероятно, отдала бы ей платье, но у матери имелось так мало такого, на что можно было позариться, что лишить ее хоть чего-то из этого было немыслимо.

– Вот я и приехала, – сказала Пип.

– Вижу.

– Я знаю, ты не любишь пить спиртное, но сегодня подходящий вечер, чтобы сделать исключение.

– Нет, спасибо.

Женщина, которая была и ее матерью, и Анабел, повесила куртку у двери, поставила сумку и пошла в глубь дома. Пип услышала, как закрылась дверь ванной. Прошло минут десять, прежде чем она поняла, что мать не хочет выходить, что она там прячется.

Она подошла к двери из простых досок с поперечинами и постучала.

– Мама.

Ответа не было, но мать не заперла дверь на крючок. Пип вошла и увидела, что мать сидит на цементном полу крохотного душа, подтянув колени к подбородку и глядя прямо перед собой.

– Не надо тут сидеть, – сказала Пип.

Она села на корточки и тронула мать за руку. Та ее отдернула.

– Знаешь что? – промолвила Пип. – Я тоже на тебя злюсь. Поэтому не думай, что злость тебе что-нибудь даст.

Мать дышала ртом, глаза были широко открыты.

– Я не сержусь на тебя, – сказала она. – Я... – Она покачала головой. – Я знала, что это случится. Я знала, что, как бы я ни была осторожна, когда-

нибудь это произойдет.

– *Что* произойдет? Что я приеду с желанием с тобой поговорить, начистоту поговорить, и восстановить между нами связь? Ведь я приехала именно для этого.

– Я знала это так же твердо, как собственное имя.

– Кстати, назови свое имя. Может быть, с этого и начнем? Пошли посидим вместе на кухне.

Мать снова покачала головой.

– Я привыкаю быть одна. Я и забыла, как это трудно. Очень трудно, даже трудней на этот раз, намного трудней – ведь ты столько радости мне принесла. Но можно заставить себя поступаться своими желаниями. Я учусь этому снова. Делаю успехи.

– Так мне что, уйти сейчас? Ты *этого* хочешь?

– Ты уже ушла.

– Ушла, но вот я вернулась, ты не замечаешь?

– Из чувства долга, – промолвила мать. – Или из жалости. Или потому, что злишься. Я не виню тебя, Пьюрити. Просто я говорю, что смогу прожить и без тебя. Все, что у нас есть, временное: радость, страдания, всё. Ты была добрым ребенком, ты очень долго приносила мне радость. И, видимо, хватит. Я не имею права ничего больше требовать.

– *Мама*. Перестань так разговаривать. Мне нужно, чтобы ты была в моей жизни. Ты для меня самый важный человек на свете. Пожалуйста, выйди из своего буддийского кокона, и давай поговорим как взрослые люди.

– А если я не стану, что тогда? – Мать слабо улыбнулась. – Опять уедешь?

– Тогда – сама не знаю что. Буду царапаться, за волосы тебя таскать.

В том, что мать это не позабавило, ничего нового не было.

– Я уже не так боюсь твоего ухода, – сказала она. – Мне долго казалось, что это будет смерти подобно. Но нет, это не смерть. С некоторых пор настоящая смерть для меня – это пытаться тебя удержать.

Пип вздохнула.

– Ты знаешь, если честно – я многое буду рада оставить в прошлом. То, что ты звала меня котенком, то, что я не могла закончить с тобой телефонный разговор. Я стала намного старше. Ты не поверишь, насколько старше. И что, ты не хочешь знать, какая я теперь? Я – все та же я и в то же время другая. Я что, тебя больше не интересую? Ты-то меня по-прежнему интересуешь.

Мать повернула голову и посмотрела на нее пустым взглядом.

– Какая ты теперь?
– Не знаю. У меня настоящий бойфренд – это одно. Мне кажется, я его люблю.
– Мило.
– Так, а теперь другое. Важное. Я знаю твое настоящее имя.
– Я в этом не сомневалась.
– Скажешь его мне сама?
– Нет. Ни за что.
– Ты должна его произнести. Ты все мне должна рассказать, потому что я твоя дочь и не могу находиться с тобой в одной комнате, если все, что мы делаем, – сплошная ложь.

Мать грациозно встала, гибкая благодаря медитативным упражнениям, но, вставая, задела головой полочку для шампуней, и один флакон полетел на пол. Она сердито бросилась вон из душевого отсека, споткнулась о Пип и выбежала из ванной.

– Мама! – Пип поспешила за ней.
– С этой частью тебя я не хочу иметь ничего общего.
– С какой частью?
Мать резко обернулась. Ее лицо было не лицо, а чистое страдание.
– *Уходи! Уходи! Оставьте меня в покое, оба! Ради бога, умоляю, просто оставьте меня в покое!*

Пип с ужасом увидела, как та, которая теперь, казалось, всецело была Анабел, рухнула на кровать, натянула на голову одеяло и с громким мучительным плачем принялась лежа раскачиваться взад-вперед. Пип не ждала, что будет легко, но это было чересчур по любым меркам. Она отправилась на кухню и осушила стакан вина. Потом вернулась на веранду, подошла к кровати, отодвинула одеяло в сторону, легла позади матери и обняла ее. Она зарылась лицом в густые материнские волосы и ощутила ее запах, самый явственный из всех запахов, ни на что не похожий. Ткань серовато-коричневого платья была мягкая от сотни стирок. Мало-помалу плач утихал, сменяясь всхлипываниями. Дождь стучал по крыше веранды.

– Извини, – сказала Пип. – Извини, но я не могу просто взять и уйти. Я знаю, что тебе трудно, но ты меня родила, и тебе придется теперь иметь со мной дело. Это моя цель. Я твоя реальность.

Мать молчала.

Оба?

Пип понизила голос до шепота.

– Ты все еще его любишь?

Она почувствовала, как мать напряглась.

– Мне кажется, он по-прежнему тебя любит.

Мать судорожно втянула воздух и не выдыхала.

– Значит, должен найтись способ двигаться дальше, – сказала Пип. – Должен найтись способ простить и двигаться дальше. Без этого я не уеду.

Добиться того, чтобы мать рассказала свою историю, Пип сумела утром, дав ей понять, будто услышала от Тома его версию; она верно сообразила, что для матери это будет невыносимо. Подробности зачатия мать опустила – сказала только, что оно произошло в последнюю их встречу с Томом; но об остальном она говорила на удивление спокойно и внятно. Пип родилась не 11 июля, а 24 февраля. Роды были естественные, без медикаментов, но с помощью акушерки, и прошли они в убежище для жертв насилия в Риверсайде, Калифорния. До двухлетнего возраста Пип жила с матерью в Бейкерсфилде, где мать работала уборщицей в гостинице. Но потом по чистому невезению (ведь Бейкерсфилд – место малопопулярное) она встретила там с подругой по колледжу, которая стала задавать слишком много вопросов. Одна женщина, с которой мать познакомилась в убежище, знала про сдающийся домик в горах Санта-Круз, и она перебралась туда с Пип.

– В женских убежищах я массу всяких ужасов наслушалась, – сказала ей мать. – Столько женщин, которых бьют смертным боем. Столько историй про мужчин, которые понимают любовь так, что надо выследить бывшую жену и пырнуть ножом. Мне, наверно, следовало чувствовать себя виноватой, что я выдаю себя за жертву насилия, но я не чувствовала. Мужская эмоциональная жестокость может быть ничуть не менее болезненной, чем физическая. Мой отец был жестокий человек, но муж его превзошел.

– Серьезно? – спросила Пип.

– Да, серьезно. Я сказала ему, что, если он когда-нибудь возьмет деньги у моего отца, это убьет меня, и он их взял. Взял специально, чтобы причинить мне боль. Он переспал с моей лучшей подругой, чтобы причинить мне боль. Я давала ему советы, я поддерживала его морально, и он всем этим пользовался, чтобы сделать карьеру, а потом, когда я боролась за свою карьеру, он меня бросил. Молодость дается только раз, и я отдала ему свою молодость, потому что поверила его обещаниям, а потом, когда я уже не была молода, он их нарушил. И я знала это с самого начала. Я знала, что он меня предаст. Я с самого начала ему об этом говорила, но он все равно давал мне обещания, а я по слабости им верила. Я ничем на самом деле не отличалась от других женщин в убежищах.

Пип с прокурорским видом скрестила руки.

– И ты решила, что родить от него ребенка и ничего ему не сказать – это нормально. Что ты имеешь на это моральное право.

– Он знал, что я хотела ребенка.

– Но почему от него? Почему не от какого-нибудь случайного донора спермы?

– Потому что я свои обещания выполняю. Я обещала ему, что буду принадлежать ему всю жизнь. Он свои может нарушать, его дело, но я не такая. Нам было суждено иметь ребенка, и я его родила. А потом, сразу же, ты стала для меня всем. Ты должна мне поверить: меня перестало волновать, кто твой отец.

– Не верю. Ты продолжала с ним морально соревноваться. Кто лучше выполняет обещания.

– В наших отношениях под конец стало столько жестокости, столько грязи... Я хотела, чтобы из них возникло что-то безгрешно чистое. И оно возникло. Ты.

– Я далека от безгрешной чистоты.

– Никто не идеал. Но для меня ты была идеалом.

Момент показался Пип подходящим, чтобы, демонстрируя свою неидеальность, затронуть денежную тему. Она рассказала о своей поездке в Уичито и постаралась внушить матери, что она не должна отказываться от контакта с мистером Наварром. В том, как мать в ответ качала головой, было больше смятения, чем решительного отказа.

– Что я стала бы делать с миллиардом долларов? – спросила она.

– Для начала ты могла бы попросить Сонни откачать септик. Ночью я лежала и думала, сколько там накопилось. Его когда-нибудь откачивали?

– Это не настоящий септик. Мне кажется, хозяин его сделал из досок и цемента.

– Это успокаивает.

– Деньги для меня бессмыслица, Пьюрити. Такая бессмыслица, что даже отказ от них для меня пройденный этап. Они просто ничто.

– Мой учебный долг – это не ничто для меня. А ты мне говорила, чтобы я не беспокоилась о деньгах.

– Хорошо, я не против. Можешь попросить юриста заплатить твой долг. Я не возражаю.

– Но это не мои деньги. Тебе придется поучаствовать.

– Не могу. Я никогда их не хотела. Это грязные деньги. Они погубили мою семью. Убили мать, отца превратили в чудовище. Зачем я стану сейчас принимать все это в свою жизнь?

- Потому что это реальность.
- Реальность? Нет ничего реального.
- Я реальна.

Мать кивнула.

- Это правда. Ты для меня реальна.

– Поэтому слушай, что мне нужно. – Пип принялась загибать пальцы. – Полностью выплатить учебный долг. Еще четыре тысячи – мой долг по кредитной карте. Восемьсот тысяч – выкупить дом Дрейфуса и вернуть его ему. Дальше: если ты твердо намерена продолжать тут жить, надо купить этот дом и привести его в порядок. Магистратура, если я решу, что она мне нужна. Твои текущие расходы, если ты захочешь уйти с работы. Плюс, может быть, еще тысяч пятьдесят мне на то на се, пока я буду делать первые профессиональные шаги. Всего получается меньше трех миллионов. Это примерно пять процентов годовых дивидендов.

- Но откуда? От них. От компании “Маккасвилл”.

– Их бизнес – не только животные. Три миллиона ты уж точно можешь взять с чистой совестью.

Мать страдала.

– Так почему ты просто сама не возьмешь эти деньги? Возьми их все! А меня, пожалуйста, оставь в покое!

– Потому что я не имею на них права. Они не на мое имя. Пока ты жива, это для меня всего лишь большие надежды. – Пип засмеялась. – Почему, кстати, ты стала называть меня Пип? Из-за чего-то такого, что ты тоже “знала с самого начала”?

– Нет, нет, это не я, – с жаром возразила мать. Детство Пип было ее любимой темой. – Это в детском саду. Миссис Стайнхауэр – она, по-моему. Кое-кому из детей было трудно произносить твое полное имя. Видимо, она решила, что “Пип” тебе подходит. В этом имени есть что-то радостное, а ты всегда была так полна радости. Или, может быть, она спросила тебя и ты так назвалась.

- Не помню.

– Я даже не знала, что у тебя такое уменьшительное, пока не пришла на родительское собрание.

– Ладно, вернемся к нашей теме. Когда-нибудь, когда тебя не станет, проблема этих денег будет моей. Но на данный момент они твои.

Мать посмотрела на нее взглядом растерянного ребенка.

- Я не могу просто их все кому-нибудь отдать?

– Нет. Капитал принадлежит не тебе, а фонду. Ты можешь распоряжаться только дивидендами. Мы можем найти какие-нибудь

хорошие организации – защитников животных, экологически ответственных фермеров. То, во что ты веришь.

– Да, это звучит неплохо. Как ты считаешь нужным.

– Мама, неважно, что я считаю нужным. Это твоя проблема, а не моя.

– Боже мой, мне нет дела, мне нет никакого дела, – причитала мать. – Я хочу, чтобы у меня их не было, и ничего больше!

Пип увидела, что возвращать мать к реальности придется долго и что, возможно, этого сделать не удастся. Тем не менее кое-какой прогресс, она чувствовала, достигнут: по крайней мере, мать готова ее слушаться.

Дождь то утихал, то принимался, то снова утихал. Когда Пип оставалась в доме одна, она читала, писала Джейсону эсэмэски, говорила с ним по телефону. Ей нравилось сидеть за кухонным столом и наблюдать за парой тускло-коричневых птиц – калифорнийских тауи; они ворошили клювами в поисках пищи сырую наземную стлань во дворе или сидели на столбах забора без видимой цели – может быть, просто хотели покрасоваться. Нет на свете птицы, казалось Пип, которая превосходила бы великолепием коричневого тауи; на свой птичий лад они были так же великолепны, как Шоко. Размер – идеально средний, они были посolidней, чем юнко, но поскромней, чем сойки. Ни слишком робки, ни слишком нахальны. Им нравилось приближаться к человеческому жилью, но если их побеспокоить, они прятались под кусты. Никого не пугали, кроме жучков да матери Пип. Чаще прыгали, чем летали. Подолгу энергично плескались в воде. Кроме подхвостья, где перья были персикового цвета, и нежных серых полосок около головы, их окраска напоминала серовато-коричневый цвет застиранного материнского платья. Им была присуща красота второго взгляда – красота, которая открывается только при близком знакомстве. Слышала от них Пип только: *Ци! Ци!* Но они издавали этот звук часто – звук заостренно-приветливый, похожий на скрип баскетбольных кроссовок. Проще звука, казалось, не бывает – однако чудилось при этом, что он выражает не только все, что тауи может когда-либо захотеть выразить, но и вообще все, чем кому бы то ни было может понадобиться поделиться. *Ци! Ци!* Из интернета Пип узнала, что коричневые тауи редко встречаются за пределами Калифорнии и необычны тем, что образуют пожизненные моногамные пары. В брачный сезон якобы (хотя Пип этого не слышала) самец и самка поют дуэтом более сложную песню, давая другим тауи знать, что у них все слажено. Действительно, если она видела одну птицу из этих двух, вскоре непременно появлялась и другая. Так они и живут парами на одном месте круглый год – настоящие калифорнийцы. Далеко, далеко не худший образ жизни, думала Пип.

Шли дни, и по мере того как мать свыкалась с новой денежной реальностью, Пип начинала замечать в ней что-то от молодой женщины, о которой прочла в мемуарах Тома, – от дочери богатого отца, особы, не лишенной высокомерия. Как-то раз вечером она увидела, как мать хмурится, рассматривая старые платья в крохотном шкафу на веранде.

– Думаю, я не умру, если куплю себе кое-что из одежды, – промолвила мать. – Ты говоришь, там не все деньги в акциях компании “Маккаскилл”?

А однажды утром, глядя в кухонное окно на соседский курятник, мать заметила:

– Ха. Он и не подозревает, что я не только его петуха могу купить, но и весь его дом.

А в другой день, вернувшись вечером после смены в магазине:

– Они думают, я не могу позволить себе уйти. Но вот закатит Серина еще раз глаза – может быть, и уйду. Кто она такая, чтобы закатывать на меня глаза? Она хоть раз в неделю моется, интересно?

Но потом, ужиная с Пип, она задумчиво проговорила:

– Сколько денег Том взял у моего отца? Ты не знаешь? Для нас это должен быть абсолютный потолок. Даже ради тебя я никогда не возьму больше, чем он.

– По-моему, он взял двадцать миллионов.

– Гм. Вот сказала – и уже думаю по-другому. Боюсь, котенок, я ничего не смогу взять. Даже один доллар не смогу. Один доллар, двадцать миллионов – с моральной точки зрения это одно и то же.

– Мама, мы уже это обсудили.

– Может быть, юрист сможет выплатить твой долг. Он неплохо на всем этом нажился.

– Ты по крайней мере должна выкупить дом Дрейфуса. С ним ведь тоже обошлись аморально. Еще более аморально, я считаю.

– Не знаю. Не знаю. Я не верю в загробную жизнь. И все же мой отец... Если представить себе, что он может как-нибудь *узнать*... Мне надо еще подумать.

– Нет, не надо. Тебе надо делать то, что я говорю.

Мать посмотрела на нее неуверенно.

– У тебя всегда было хорошее моральное чутье.

– Я его унаследовала от тебя, – сказала Пип. – Так что доверься мне.

Джейсон очень просил ее приехать обратно, но ей хотелось продлить удовольствие от дождя в горной долине и связанное с ним удовольствие от новых отношений с матерью, от большей взаимной откровенности. К любви, которая всегда жила в Пип, стало добавляться новое, неожиданное

чувство: мать начала ей *нравиться*. Анабел была способна понравиться – по крайней мере Тому, по крайней мере вначале, и теперь, когда матери стало можно вновь сделаться Анабел, вспомнить о былых привилегиях и хоть чуть-чуть помыслить о новых, хоть немного *ожить*, Пип могла представить себе, что со временем их отношения станут по-настоящему дружескими.

Кроме того, перед ней все еще стояла одна задача – задача до того тяжелая, что она под разными предлогами все откладывала и откладывала ее выполнение. Прошло две недели, прежде чем она честно сказала себе, что никакой из дней и никакое время дня не лучше других, чтобы позвонить Тому. В конце концов она выбрала пять часов по денверскому времени в понедельник.

– Пип! – воскликнул Том. – Я боялся, вы никогда уже не позвоните.

– Боялись? Надо же. Почему, интересно.

– Мы с Лейлой все время о вас думаем. Мы по вас скучаем.

– Лейла по мне скучает? Надо же. Для нее не проблема, что я ваша дочь?

– Одну секунду, я закрою дверь.

Шорохи, шаги, щелчок, шаги.

– Пип, простите меня. Что вы мне говорите?

– Что я все знаю.

– Ух ты! Ладно.

– Это не то, что вы думаете. Я не читала ваш документ.

– Хорошо. Очень хорошо. Отлично.

Облегчение в голосе Тома слышалось явственно.

– Я его удалила, – сказала она. – Но Андреас сообщил мне перед смертью, кем вы мне приходитесь. Это облегчило мне дальнейшие поиски информации, а потом мама все мне рассказала.

– О господи. Она вам рассказала... Поразительно, что вы вообще со мной разговариваете.

– Вы мой отец.

– Я содрогаюсь, воображая, что она вам наговорила.

– Это лучше, чем нуль, который я получила от вас.

– Справедливо. Хотя когда-нибудь, надеюсь, вы дадите мне возможность рассказать, как мне все это видится.

– У вас была такая возможность.

– Ваша правда. У меня были свои причины – но справедливо. Вы, надо полагать, для этого мне и позвонили? Сказать, что я профукал шансы на ваше расположение?

– Нет. Я позвонила, потому что хочу, чтобы вы приехали сюда и повидали мою маму.

Том засмеялся.

– Я скорее готов очутиться в гуще гражданской войны где-нибудь в Конго.

– Вы хранили ее секрет – значит, в каком-то смысле она вам дорога.

– Пожалуй... в каком-то смысле...

– Она явно что-то для вас до сих пор значит.

– Пип, послушайте, мне очень жаль, что я ничего вам не сказал. Лейла настаивала, чтобы я вам позвонил. Напрасно я ее не послушался.

– Ну, так теперь я вам сообщаю, как вы можете мне это возместить. Сесть на самолет и приехать сюда.

– Но зачем? С какой целью?

– Потому что если вы не приедете, я не желаю иметь с вами ничего общего.

– Для нас это была бы потеря, точно вам говорю.

– Как бы то ни было – неужели вам самому не хочется с ней увидеться? Хотя бы раз после стольких лет. Я лично прошу об одном: чтобы вы друг друга простили. Я хочу общаться с вами обоими, но я не смогу, если буду чувствовать, что, общаясь с одним из родителей, предаю другого.

– Меня вы не можете предать никак. У меня нет на вас никаких притязаний.

– Зато у меня на вас есть. И вам никогда не приходилось ничего делать ради меня. Это моя единственная просьба.

В трубке раздался тяжелый вздох Тома, прошедший через часовые пояса.

– У вашей мамы вряд ли дома водится спиртное.

– Я позабочусь, чтобы оно было.

– А сроки – когда вы предполагаете? В следующем месяце?

– Нет. На этой неделе. Скажем, в пятницу. Чем дольше вы и она будете раздумывать и откладывать, тем будет трудней.

Том вздохнул еще раз.

– Я мог бы в четверг. Пятничные вечера у меня для Лейлы.

Пип ощутила укол неприязни и испытала соблазн настоять на пятнице. Но путь к восстановлению дружбы с Лейлой и так выглядел довольно долгим.

– И еще одно, – сказала она.

– Да, – отозвался Том.

– Я постоянно слежу за “Денвер индипендент”. Все жду вашей большой статьи об Андреасе.

– Он был нездоров, Пип. Я видел его перед самой гибелью, видел, как он прыгнул со скалы. В отношении него у меня одно чувство: печаль. Лейлу раздражает посмертное преклонение перед ним, но у меня не поднимается на него рука. Он был самым замечательным человеком из всех, кого я знал.

– “Экспресс” все еще ждет от меня чего-то о нем. Я чувствую то же, что и вы: печаль. Но я и другое чувствую: кто-то должен сообщить, как все было.

– Про убийство? Смотрите сами, вам решать. Помимо прочего, могут быть последствия для его бывшей подруги, которая ему тогда помогла. Последствия судебного порядка.

– Об этом я не подумала.

– Он оставил признание, которое его люди скрыли. Это вы могли бы, если захотите, попытаться раскопать и предать гласности.

Не озабочен ли Том и на свой счет как пособник в перезахоронении трупа? Вряд ли, подумала Пип, если он поверил, что она и правда не читала его мемуаров.

– Понятно, – сказала она. – Спасибо.

Когда мать вернулась с работы, Пип сообщила ей о предстоящем. К своему облегчению, Пип увидела, что мать не сошла с катушек сразу же. Причина, однако, была в том, что она сочла всю эту затею бессмысленной.

– Что, скажи на милость, я такого сделала, за что меня надо прощать?

– Гм... например, родила меня и ничего ему не сказала. Это не так мало.

– Как он может винить меня в этом? Он бросил меня. Он не желал про меня больше слышать и знать. *И получил от меня это.* Как и все остальное. Он всегда получал то, что хотел. Как мой отец.

– И все же на каком-то этапе ты должна была ему про меня сообщить. Скажем, когда мне исполнилось восемнадцать. Напрасно ты этого не сделала. Сколько можно злиться?

Мать сопротивлялась, но в конце концов уступила.

– Раз ты так говоришь... – сказала она. – И только потому, что ты так говоришь.

– Мама, держат зло слабые люди. Сильные – прощают. Ты вырастила меня сама. Сказала нет деньгам, которым никто в твоей семье не мог ничего противопоставить. И ты оказалась сильнее Тома. Ты положила этому конец – а он не мог. *Ты* получила все, что хотела. Ты победила! И

поэтому можешь позволить себе его простить. Как победительница. Правда же?

Мать хмурилась.

– И ты к тому же миллиардерша, – добавила Пип. – Это тоже победа в своем роде.

Наутро они поехали на автобусе в Санта-Круз. Было ясно и холодно: промежуток между ливнями. Бездомные кутались в спальные мешки с головой, на фонарных столбах трепетали от ветра рождественские банты, небо, кружа, наполняли чайки. В парикмахерской матери Пип сделали прическу: прямо-таки шквал секущихся волос. Потом Пип повела ее в маникюрный салон, и там это была Анабел, а не ее прежняя мать: Анабел велела маникюрше-вьетнамке не срезать ей кутикулы, Анабел объяснила Пип, что удаление кутикул – мошенничество: они очень быстро снова вырастают, и их опять надо удалять. Анабел энергично перебирала и отвергала платья на вешалках, обходя магазин за магазином, хотя терпение Пип давно уже иссякло. Платье, которое она наконец сочла “адекватным”, было сшито под старину; длинное, с широким подолом и двумя линиями пуговиц на груди, выдержанное в стиле “учительница из прерий”, оно не было лишено сексуальности. Пип пришлось признать, что это самое подходящее из всех платьев, какие они видели за утро.

Она попросила Джейсона взять напрокат машину и привезти Тома из аэропорта Сан-Хосе, чтобы она могла быть при матери и по возможности вселять в нее спокойствие.

– И возьми с собой Шоко, – добавила она.

– Он будет только мешать, – сказал Джейсон.

– Я и хочу, чтобы он мешал. Иначе моя мама сосредоточится на своем и будет истерика. Познакомится с тобой, познакомится с Шоко, и, кстати, да, с вами еще ее бывший муж, которого она не видела двадцать пять лет.

В четверг с утра – очередной дождь. Во второй половине дня по крыше забарабанило так, что Пип и ее матери приходилось повышать голос. Стемнело рано, и электричество несколько раз мигало. Пип сварила фасолевый суп и достала все остальное к ужину, в том числе ингредиенты для коктейля “Манхэттен”. Мать приняла душ, Пип высушила ей волосы феном, причесала их и распушила.

– Теперь немного косметики, – сказала Пип.

– Не понимаю, чего ради так прихорашиваться... – пробормотала ее мать.

– Это твоя броня. Тебе надо быть сильной.

– Я сама могу подкраситься.

– Давай лучше я. Я никогда еще этого с тобой не делала.

В пять, когда Пип растапливала печь, позвонил Джейсон: они с Томом попали в пробку поблизости от Лос-Гатоса. Мать, сидевшая на диване, была очень хороша в своем платье под старину, самая настоящая Анабел, хоть и постаревшая; но у нее началось это ее раскачивание – симптом легкой формы аутизма.

– Тебе бы выпить немного вина, – предложила Пип.

– Способность к медитации мне изменила. И когда? В самый нужный момент... Где она?

– Намедитируй себе выпить вина.

– Оно мне ударит в голову.

– Вот и отлично.

Когда машина с всюю работающими дворниками, приводя фарами струи дождя в белое бешенство, наконец подъехала, Пип с боковой веранды, где ждала гостей, выбежала под зонтом навстречу Джейсону. Он выглядел немного уставшим от езды, но его первое побуждение совпало с ее первым побуждением: прижать губы к губам. Потом залаял Шоко, Пип открыла заднюю дверь и позволила ему лизнуть ее в лицо.

Том выбирался из машины осторожно, выставив вперед зонтик. Пип поблагодарила его за приезд и поцеловала в мясистую щеку. Между машиной и дверью дома было всего ничего, но Шоко ухитрился не только вымокнуть, но и набрать в свою шерсть немало иголок секвойи. Он протиснулся в дверь мимо Пип. Мать подняла руки, словно желая его отогнать, и в смятении посмотрела на отпечатки грязных лап и иголки на полу.

– Ай-ай-ай, – промолвила Пип.

Она поймала Шоко за ошейник и вывела обратно на боковую веранду, где Том вытирал ноги.

– Это самый уморительный пес, какого я видел в жизни, – сказал он Пип.

– Понравился?

– Я в него влюбился. Не хочу с ним расставаться.

Они вошли в дом, за ними Джейсон. Мать, стоявшая у дровяной печи и не зная, что делать с руками, застенчиво подняла на Тома глаза. Пип было ясно: оба прилагают усилия, чтобы не улыбнуться. И все же, не совладав с собой, улыбнулись – оба, широко.

– Здравствуй, Анабел.

– Здравствуй, Том.

– Ну вот, мама, – сказала Пип, – а это Джейсон. Познакомьтесь:

Джейсон; моя мама.

Мать, словно в трансе, отвернулась от Тома и кивнула Джейсону.

– Очень приятно.

Джейсон помахал ей двумя руками, как персонаж водевиля:

– Здравствуйте.

– А теперь, как я и предупреждала, – сказала Пип, – сразу до свидания.

Мы вернемся после ужина.

– Ты уверена, что не хочешь остаться? – встревоженно спросил Том.

– Нет, вам, друзья, надо поговорить. Если вы все спиртное не выпьете, мы вам потом поможем.

Не дожидаясь осложнений, Пип поспешила вывести Джейсона наружу. Шоко был такой длинный, а боковая веранда такая узкая, что ему пришлось, пропуская их, отскочить задом наперед: повернуться было негде.

– Можем мы его тут оставить? – спросила она Джейсона.

– Да, я привез его еду и лимоны.

Пип намеревалась оставить родителей наедине часа на два, но получилось ближе к четырем. Они с Джейсоном сели в машину, и первым делом – в парк, где предались любви на заднем сиденье. Потом, едва они что-то на себя надели, сразу же захотелось снова снять и повторить все сначала. Потом – ужин в “Дон-Кихоте”, где местная группа “Темные личности” исполняла песни более известных групп. Когда им пора уже было уходить, зазвучала *Hey, Soul Sister* – песня, под которую нельзя было не потанцевать.

– Жуткие слова, ненавижу, – сказал Джейсон, танцуя. – И зло берет из-за использования в рекламе автомобилей. Но все-таки...

– Классная песня, – не согласилась Пип.

Они танцевали полчаса – а дождь тем временем лил, река Сан-Лоренсо поднималась. Джейсон был неумелый танцор, думающий танцор, и Пип была счастлива, что он мог быть собой, а она собой – не думать, просто двигаться, просто наслаждаться собственным телом. Выйдя наконец, обнаружили, что дождь перестал; пустые дороги наводили на мысль о конце света. Подъезжая к дому, увидели Шоко, стоящего на боковой веранде с лимоном во рту и замысловато, на свой манер, виляющего хвостом. Джейсон остановил машину на дорожке.

– Ну вот, – сказала Пип. – Была не была.

– Ты уверена, что я не могу просто посидеть в машине?

– Тебе надо узнать, что за люди мои родители. Вот такие они у меня.

Но едва она открыла дверь машины, послышались голоса – мужской и

женский. Крики. Сквозь тонкие стены домика неслись звуки, полные воспаленной ненависти.

Я этого не говорил! Если тебе за каким-то хером понадобилось меня цитировать, цитируй точно! Я вот что сказал...

Я тебе передаю ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ ПОДТЕКСТ того, что ты сказал. Ты прячешься за тем, что все согласны считать нормальным, обеспечиваешь себе этим, что весь мир на твоей стороне, но знаешь ведь, знаешь на самом деле, что есть более глубокая истина...

Глубокая истина, состоящая в том, что я неправ, а ты права? Это единственная глубокая истина, которая тебе ведома!

Ты сам это знаешь!

Ты только что ПРИЗНАЛА, что у тебя нет аргументов! Что ни один человек на свете с тобой не согласится...

У меня достаточно аргументов, и ты это знаешь! Ты это знаешь!

Пип снова закрыла дверь, но хотя слов теперь не было слышно, звуки ссоры все равно долетали. Два человека, подарившие ей жизнь в разбитом мире, злобно кричали друг на друга. Джейсон вздохнул и взял ее за руку. Она крепко сжала его ладонь. Можно, должно быть, справиться лучше, чем ее родители, но она не была уверена, что это ей удастся. Только когда небеса вновь разверзлись, когда по крыше машины забарабанил дождь, посланный необъятным темным западным океаном, когда звук любви заглушил те, другие звуки – только тогда она подумала, что, может быть, справится.

notes

СНОСКИ

1

Творит добро, всему желая зла (нем.). Гете, “Фауст”, перевод Б. Пастернака. Здесь и далее – *прим. перев.*

2

Стевия – многолетнее растение. Используется как сахарозаменитель.

3

Шекспир, “Отелло”, акт III, сцена 3, перевод А. Радловой.

4

Сквоттеры – лица, самовольно занимающие пустые помещения или незанятые земельные участки.

5

Величайший прерванный половой акт (*лат.*).

6

Дороти Дэй (1897–1980) – американская журналистка, стоявшая у истоков Движения католических рабочих, социалистка и пацифистка, участница антивоенных акций.

7

Антонио Грамши (1891–1937) – итальянский мыслитель и политический деятель, коммунист, один из основоположников неомарксизма.

8

Аун Сан Су Чжи (род. 1945) – бирманский и мьянманский политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира.

9

Искусственное немецкое слово, означающее примерно “трахальщик асоциальных телок”.

10

Народная полиция (*нем.*).

11

Маркус Вольф (1923–2006) – начальник Главного управления разведки Министерства государственной безопасности ГДР в 1958–1986 гг.

12

Расширенная общеобразовательная школа-двенадцатилетка (*нем.*).

13

Штази – неофициальное название Министерства государственной безопасности ГДР (сокращение от немецкого Staatsicherheit – госбезопасность).

Ким Филби (1912–1988) – двойной агент. Сделал блестящую карьеру в британской разведке, но еще в студенческие годы был завербован Советским Союзом.

15

Кошмарный беспорядок (*англ.*).

16

Прогнили (*англ.*).

17

Кто-то пукнул (*англ.*).

Второй... торта (*англ.*).

19

Что творится в твоей головке? (*англ.*; *goeth* – архаическая форма глагола *go* 3 л., ед. ч, *thy* – архаическая форма местоимения *your*).

Удар, удар всерьез (“Гамлет”, сцена дуэли, перевод Б. Пастернака).

Вернер Шмоль (род. 1926) – член союза писателей ГДР, автор книг о войне и о работе народной полиции.

“Голый среди волков” – трижды экранизированный роман Бруно Апица (1900–1979) о еврейском ребенке, спасшемся в концлагере.

“Маленькие рассказы по Шекспиру для юных читателей” (нем.).

Побольше кровный и поменьше сын (слова Гамлета – акт I, сцена 2, перевод А. Радловой).

¹ Каждый из столбцов представляет собой акrostих: первые буквы немецкой части складываются в английскую, а первые буквы английской части – в немецкую фразу: “Я посвящаю вашему социализму свою великолепнейшую эякуляцию”. В обоих случаях также обыгрывается заголовок: “Родной язык” – буквально “Язык матери”.

Перевод английской части: “Я ассоциировал ее с недозволенным желанием, каждый противоестественный отклик, полный энтузиазма, делал всецело своим. Она наблюдала ревностно, хоть и чуточку раздраженно; она придумывала такие смешные отговорки; никто на самом деле не любит лгать, если корректного лицемерия достаточно, чтобы избежать чего-то негативного. Она разрешала мне все; не всякое в корне нелепое воспитание столь успешно”.

Перевод немецкой части: “Я ежевечерне благодарен твоей бесконечной отваге: облекать властью сновидения. Сновидения оберегают беспомощный сон маменькиного сынка. Во сне возможна любовь без раскаяния: в Эдиповой преисподней поет ликующий, безумный хор, посылая ложь из сновидений нам в уши. Лишь днем раскрывается одержимость и буйство Иокасты – характерно и по порядку. Я же покоюсь во сне, мать”.

“Гамлет”, акт V, сцена 2, перевод А. Кронеберга.

Аллюзия на монолог Гамлета (акт III, сцена 1, перевод М. Лозинского).

Гюнтер Шабовски (1929–2015), новоназначенный секретарь ЦК по вопросам информации, на пресс-конференции 9 ноября 1989 г. объявил, не имея точных инструкций, что свободное пересечение границы для граждан ГДР вводится немедленно.

Весси – западные немцы, *осси* – восточные (разговорные наименования).

Штази – вон! Штази – вон! Штази – вон!.. (нем.)

Движение чаепития – консервативно-либертарианское политическое движение в США. Выступает, в частности, за снижение налогов. Название восходит к “Бостонскому чаепитию” 1773 г.

“Уотабургер” – тeхacская сеть предприятий быстрого питания.

С 1836 по 1846 г. Техас был независимой республикой.

“Сломанная стрела” – американский фильм-боевик 1996 г. В основе сюжета – инцидент с пропажей термоядерных бомб.

“Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу” (1964 г.) – американская кинокомедия Стэнли Кубрика, обыгрывающая в стилистике черного юмора тему ядерной истерии и страхов времен холодной войны.

Теодор Казински по прозвищу Унабомбер (род. 1942) – американский анархист, рассылавший бомбы по почте. В результате погибло три человека и более двадцати было ранено.

Эй, ребята, не люблю эту музыку. Меньше громко, пожалуйста (*исп.*
+ *англ.*).

Сэм Эрвин (1896–1985) возглавлял сенатскую комиссию по расследованию Уотергейтского дела. *Джон Дин* (род. 1938) и *Боб Холдеман* (1926–1993) были осуждены по этому делу.

Митико Какутани (род. 1955) – американский литературный критик, лауреат Пулитцеровской премии.

Джек Спрат – персонаж старинного английского детского стишка. Он мог есть только тощее, а его жена – только жирное.

“*Большие надежды*” – роман Диккенса, героя которого тоже звали Пип (уменьшительное от Филипп).

Подразумевается американский писатель Джонатан Сафран Фоер (р. 1977) и его книга “Мясо. Поедание животных”. Обыгрывается созвучие его имени и французского выражения *savoir-faire* – “находчивость, тактичность”.

Зэди Смит (р. 1975) – английская писательница.

Дирксен-билдинг – одно из зданий Сената США в Вашингтоне.

“Локхид-Мартин” – крупнейшая американская компания, специализирующаяся главным образом в области авиационной, космической и военной техники.

DHL, FedEx – крупнейшие международные логистические компании.

Первая поправка к конституции США защищает, в частности, свободу слова и печати.

Луддиты – участники стихийных протестов в Англии в конце XVIII и начале XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции.

“Блэкуотер” – американское охранное предприятие. “Халлибертон” – американская компания, поставляющая оборудование для добычи нефти и газа.

“Список Эмили”, *NARAL* – американские общественные организации, выступающие за право на аборт. Национальная организация женщин (*NOW*) – американская феминистская организация. *Барбара Боксер* (род. 1940) – американский либеральный политик, сенатор от Демократической партии.

Шон Комс (род. 1969) – американский рэпер и продюсер.

Элизабет Уоррен (род. 1949) – американский юрист и сенатор от Демократической партии.

Доктор Сюсс (наст. имя Теодор Зойс Гайзель, 1904–1991) – американский детский писатель, книжный иллюстратор, мультипликатор.

Генри Дэвид Торо (1817–1862) – американский писатель, философ и общественный деятель, автор книги “Уолден, или Жизнь в лесу”.

Вильгельм Райх (1897–1957) – австрийский и американский психолог, психоаналитик, автор учения об универсальной “оргонной энергии” жизни.

“Студия 30” – американский комедийный телесериал.

“Я? Вы уверены?” – “Да, конечно. Пип Тайлер. Вам понадобится паспорт” (*исп.*).

Música valluna (музыка долин) – разновидность латиноамериканской народной музыки.

Дела. Он всегда занят каким-нибудь дельцем (*исп.*).

Барбара Кингсолвер (род. 1955) – американская писательница. Преобладающие темы – социальная справедливость, феминизм, энвайронментализм.

61

Заведение, где подают чуррос – сладкую обжаренную выпечку.

Делишки (исп.).

Эстес-Парк – высокогорный курорт в Скалистых горах.

Джеффри Престон (“Джефф”) Безос (род. 1964) – американский предприниматель, один из богатейших людей мира. В 2013 году приобрел газету “Вашингтон пост”.

Слово *бранч* (*brunch*) образовано из слов *breakfast* (завтрак) и *lunch* (ланч, обед).

Делавэр-Уотер-Гап – разрыв в горной цепи, сквозь который течет река Делавэр.

67

Schrippe – булочка (нем.).

Барри Голдуотер (1909–1998) – американский политик консервативного направления, сенатор, кандидат от Республиканской партии на президентских выборах 1964 года.

“Спектрум” – спортивно-концертный комплекс в Филадельфии.

Aberrant – заблуждающийся, сбившийся с верного пути (*англ.*).

Чоут-Розмари-Холл – престижная частная закрытая школа в штате Коннектикут.

Колледж-Хилл – старый жилой район в Уичито, штат Канзас.

Фонд Барнса – художественный музей, до 2012 г. располагавшийся в пригороде Филадельфии. В 2012 г. открылось новое здание в центре города.

Роман американского писателя Сола Беллоу (1915–2005) “Приключения Оги Марча” начинается словами: “Я американец, уроженец Чикаго”.

Томас Икинс (1844–1916) – американский художник-реалист.

Имеется в виду Джимми Картер, президент США (1977–1981) от Демократической партии. Предыдущая фраза – о Ричарде Никсоне, ушедшем в отставку после Уотергейтского скандала.

Университет Брауна – один из старейших и наиболее престижных университетов США.

“*Фи Бета Каппа*” – почетное общество, куда принимаются лучшие студенты и выпускники американских университетов.

Лоукест-уок – бульвар в Филадельфии, идущий от Пенсильванского университета.

Стив Райш (Steve Reich, род. 1936) – американский композитор-минималист.

“Ле бек-фен” – фешенебельный французский ресторан в Филадельфии.

Уилмингтон – город недалеко от Филадельфии.

“Монсанто” – американская транснациональная компания, мировой лидер в биотехнологии растений.

Бен Брэдли (1921–2014) – американский журналист, главный редактор газеты “Вашингтон пост” с 1968 по 1991 г.

Генри Луис Менкен (1880–1956) – американский журналист, сатирик, исследователь языка и культуры. *Джон Херси* (1914–1993) – американский журналист и писатель. *Джозеф Митчелл* (1908–1996) – американский журналист.

Синди Шерман (род. 1954), *Нэн Голдин* (род. 1953) – американские фотохудожницы.

Отсылка к эссе английского философа Исайи Берлина (1909–1997) “Еж и лиса”, основанному на цитате из древнегреческого поэта Архилоха: “Лиса знает много разного, а еж знает что-то одно, но очень важное”.

Имеется в виду аскетический стиль мебели, традиционно изготавливаемой членами протестантского сообщества шейкеров.

Андреас Вольф, критик режима из ГДР (*нем.*).

Вы позволите? (*нем.*)

“Гамлет”, акт V, сцена 2, перевод М. Лозинского.

Имеется в виду песня *Sympathy for the Devil* (“Сочувствие дьяволу”) группы *The Rolling Stones*.

Пуэрториканские девушки, жаждущие познакомиться с тобой (*англ.*).
Из песни *Miss You* группы *The Rolling Stones*.

Асоциальные элементы (нем.).

Говори. Говори. – Я американец. Уроженец Денвера... (нем.)

Еще раз, пожалуйста (*нем.*).

Джеффри Дамер (1960–1994) – американский серийный убийца и каннибал.

Тут человек у ворот, говорит, что ваш друг. Его зовут Том Аберант (исп.).

Пусть войдет (*исп.*).

И вот ты хватаешься за то, что тебе кажется долговечным (англ.). Из песни *Reelin' in the Years*.

Новый Форум – независимое политическое движение, созданное в ГДР в сентябре 1989 г.

Шекспир, “Веселые виндзорские кумушки”, акт V, сцена 3, перевод
М. Кузмина.

“Фауст”, часть II, акт V, перевод В. Брюсова.

“Юлий Цезарь”, акт III, сцена 2, перевод М. Зенкевича. Эти слова саркастически произносит Марк Антоний после убийства Цезаря.

105

Лакомо (*нем.*).

Фриганизм – антиглобалистское движение, отвергающее принципы потребительства. Один из его отличительных признаков – употребление в пищу выброшенных продуктов.

Аарон Суорц (Шварц) (1986–2013) – американский программист и интернет-активист; покончил с собой, подвергаясь судебному преследованию за нарушение законодательства о защите информации.

Table of Contents

[Джонатан Франзен Безгрешность](#)

[В Окленде](#)

[Понедельник](#)

[Вторник](#)

[Среда](#)

[Четверг](#)

[Республика дурного вкуса](#)

[Лишняя информация](#)

[Ферма “Лунное сияние”](#)

[\[e1o9n8a0rd\]](#)

[Убийца](#)

[Стук дождя](#)

[Сноски](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[22](#)

[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)
[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)
[59](#)
[60](#)
[61](#)

[62](#)
[63](#)
[64](#)
[65](#)
[66](#)
[67](#)
[68](#)
[69](#)
[70](#)
[71](#)
[72](#)
[73](#)
[74](#)
[75](#)
[76](#)
[77](#)
[78](#)
[79](#)
[80](#)
[81](#)
[82](#)
[83](#)
[84](#)
[85](#)
[86](#)
[87](#)
[88](#)
[89](#)
[90](#)
[91](#)
[92](#)
[93](#)
[94](#)
[95](#)
[96](#)
[97](#)
[98](#)
[99](#)
[100](#)

[101](#)
[102](#)
[103](#)
[104](#)
[105](#)
[106](#)
[107](#)